

Жизнь  
Вебера

Марианна  
Вебер

Жизнь  
и творчество  
Макса Вебера





*...не искать никакой науки кроме той,  
какую можно найти в себе самом  
или в громадной книге света...*

*Рене Декарт*

Серия основана в 1997 г.

В подготовке серии  
принимали участие  
ведущие специалисты  
Центра гуманитарных  
научно-информационных  
исследований  
Института научной информации  
по общественным наукам,  
Института всеобщей истории,  
Института философии  
Российской академии наук.

Марианна  
Вебер

Жизнь  
и творчество  
Макса Вебера



Москва  
РОССПЭН  
2007



Главный редактор и автор проекта «Книга света»  
С.Я. Левит

**Редакционная коллегия серии:**

Л.В.Скворцов (председатель), Е.Н.Балашова, В.В.Бычков,  
П.П.Гайденко, И.Л.Галинская, В.Д.Губин, Ю.Н.Давыдов,  
Г.И.Зверева, Ю.А.Кимелев, Н.Б.Маньковская, Л.Т.Мильская,  
И.А.Осиновская, Ю.С.Пивоваров, М.К.Рыклин, И.М.Савельева,  
М.М.Скибицкий, А.К.Сорокин

Переводчик: М.И.Левина  
Научный редактор: Л.Т.Мильская  
Художник: П.П.Ефремов

**Вебер М.**

В 26 Жизнь и творчество Макса Вебера / Пер. с нем. — М.:  
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),  
2007. — 656 с. (Серия «Книга света»).

Книга жены Макса Вебера представляет собой описание жизни Макса Вебера и формирования его как ученого и политика. Наибольший интерес вызывает публикация его писем к членам семьи и друзьям, в которых выражены его впечатления о разных странах и его отношение к различным событиям и политическим деятелям. Главное достоинство книги заключается в том, что благодаря исключительной духовной близости к мужу и пониманию его натуры, Марианне Вебер удалось дать психологическую характеристику этого выдающегося мыслителя и замечательного человека. Книга предлагается вниманию всех тех, кто, занимаясь научным наследием Макса Вебера, проявляет интерес к его индивидуальности.

© С.Я. Левит, составление серии, 2007

© М.И.Левина, перевод, 2007

ISBN 978-5-8243-0851-8 © «Российская политическая энциклопедия», 2007

**Жизнь и творчество  
Макса Вебера**

Das war der Mann, der immer wiederkehrt,  
wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert,  
da sich enden will, zusammenfaßt.  
Da hebt noch einer ihre ganze Last  
und wirft sie in den Abgrund seiner Brust.  
Die vor ihm hatten Lust;  
er aber fühlt nur noch des Lebens Masse  
und daß er alles wie ein Ding umfasse, —  
nur Gott bleibt über seinem Willen weit:  
da liebt er ihn mit seinem hohem Hasse  
für diese Unerreichbarkeit.

*R. M. Rilke. Das Stunden-Buch, I*

Се человек! Он возвращается всегда  
в конце времен, когда свою сжимая ценность,  
Стремится время к завершенью и концу.  
Тогда весь груз его поднимет кто-то  
и низринет в бездну глубокую своей груди.  
Те, кто был до него, знали и страданье, и радость;  
Но ведал он лишь жизни вес, что чувству дан,  
и все, что объемлет он как вещь, —  
лишь Бог останется над волею его,  
там, бесконечно свыше:  
и тогда своею ненавистью высокой  
Его он любит за эту недостигаемость.

*Р. М. Рильке. Часослов. Кн. I.*

## Предварительное замечание

*Друзья и коллеги Макса Вебера предоставили его письма для создания этой биографии. Только посредством сопоставления бесчисленных мест из различных писем можно услышать в этой книге голос самого Макса Вебера и показать его воздействие на повседневность и на духовное и политическое движение его времени. Автор благодарит всех, особенно же тех, кто и при сложившихся конфликтах не утаил свидетельства о разногласиях, отраженных в письмах, и решил частично их использовать. Но прежде всего автор благодарит друзей, которые своим глубоким участием и советами помогли и ободряли при его написании этой книги.*

---

\* В эпиграфе Марианна Вебер опустила первую строфу этого стихотворения:

Das waren Tage Michelangelos,  
von denen ich in fremden Büchern las.  
Das war der Mann, der über einem Maß,  
gigantengroß,  
die Unermeßlichkeit vergaß.

То были времена Микеланджело,  
о которых читал я в книгах чужих.  
То был человек, кто за мерой  
гигантской забывал  
о неизмеримости.

*Прим. ред.*

## Глава I

# Предки

### I

Родители матери Макса Вебера были столь необычными людьми и черты их характеров настолько отчетливо проявляются в натуре их внука, что их образы должны присутствовать в начале описания его жизни. Семья Фалленштейн известна в Тюрингии с середины XVII века<sup>1</sup>. Отец и дед Георга Фридриха Фалленштейна относились уже к работникам умственного труда. Дед Фалленштейна из Вицельроде близ Мейнингена был директором гимназии в Херфорде, его отец некоторое время занимал должность директора учительского семинара в Клеве. Об этом человеке, прадеде Макса Вебера, сохранились некоторые сведения. Он был чрезвычайно одарен и отличался необычной, но неконтролируемой силой. Жил он в скудных условиях с также отличавшейся страстным и бурным характером и склонностью к приключениям женой, происходившей из гугенотской семьи.

Г.Ф. Фалленштейн, их старший сын, родившийся в 1790 г., был любимцем родителей и служил постоянным яблоком раздора. Он сохранил мучительное воспоминание, как он ребенком убегал, спасаясь от их ссор. Но затем стало еще хуже. Отец, известный филолог, стал пить и бросил, даже не попрощавшись, свою семью, которая больше ничего о нем не слышала. Осталось неизвестным, эмигрировал ли он или погиб, перебираясь в другую страну. Мать с несколькими детьми осталась в крайней нужде. Ее сын Фридрих растет сиротой, у чужих людей. Однако он противостоит всем трудностям и несчастной судьбе. Мейнингенский герцог предоставляет ему возможность учиться, но его занятия остаются совершенно беспорядочными. Он берется то за ботанику, то за зоологию, медицину, его поэтическая одаренность влечет его к филологии. Он переводит античных поэтов, пишет под псевдонимом Фрауэнлоб романтические стихи, рассказы и статьи. В ранней юности он находит мать с младшими детьми в страшной нужде, ютящихся во флигеле берлинского дома. У него самого

ничего нет, он — никто, но все-таки хочет помочь. Тем не менее он обручается — в девятнадцать лет — с пятнадцатилетней красивой девушкой, также не имеющей никаких средств к существованию. Когда же ее дед отказывается из-за этого дать согласие на брак, буйный юноша заболевает тяжелейшим нервным расстройством, которое длится несколько месяцев. По выздоровлении ему удается с помощью друзей получить место частного секретаря, и теперь он добивается разрешения на брак — в возрасте 20 лет. Прелестная, нежная жена становится его ангелом хранителем; он искренне любит ее и остается верным ей в своей беспокойной жизни. Она родила ему шестерых детей. Борьба за существование была невероятно тяжела. Молодые супруги были вынуждены в течение ряда лет жить раздельно. Вначале Фалленштейн может обеспечить только себя, зарабатывая на жизнь то в должности домашнего учителя, то секретаря уездного суда, наряду с этим — и в качестве писателя и поэта. Жена и дети находят пристанище у друзей. Однако благодаря энергии, чувству долга, благородному честолюбию он побеждает самые большие трудности, преодоление препятствий радует его. Его характерные черты — мужественная энергия, душевный порыв, строгое следование нравственным требованиям, прямота и вместе с тем страстная возбудимость, переходящая во вспышчивость, которая, однако, по отношению к более слабым, прежде всего к женщинам и детям, смягчается рыцарственностью и детской мягкостью души.

Его любовь к родине, пробужденная знакомством с Фризенем, Люденом, Яном, выдерживает любое испытание. В 1813 г. он предвосхищает призыв прусского короля и, не задумываясь, вступает в добровольческий корпус Лютцова и, невзирая на свою бедность, оснащает на свои средства двух товарищей в качестве добровольцев. Оставшиеся деньги он делит между своей женой и кассой полка в полной уверенности, что государство позаботится о своих солдатах. Однако если бы не помощь друзей, его жена с ее двумя детьми оказались бы в тяжелейшем положении. И все-таки одного ребенка она потеряла, он погиб в результате недоедания. Фалленштейн считал лично ответственным за это Наполеона и всю жизнь страстно ненавидел его. Жизнь в лагере и участие в битвах окрылило музу Фалленштейна; восторженная дружба связывала его с *Т. Кёрнером*, вместе с ним он сочинял песни о борьбе и свободе, которые распевали товарищи по оружию.

Он был преисполнен тевтонскими и свободолюбивыми идеалами своего времени; впоследствии коллекционировал памятники древнегерманского языка, давал своим сыновьям древнегерманские имена, ненавидел все романское и проявлял в общении излишнюю откровенность и «грубоватую жесткость».

По возвращении он очень страдал от политической бесплодности войны и лично от неблагодарности прусского правительства, не предоставившего вернувшимся с войны, несмотря на обещания короля, обеспечивающие их существование должности. В 1815 г., когда война возобновилась, Фалленштейн вновь ушел на фронт и дошел до Парижа. Там ему предоставили хорошо оплачиваемую должность в армейской полиции. Он мог впервые вздохнуть с облегчением и действовать по своему усмотрению. И тогда привыкшего к лишениям человека охватывает бурная радость от возможности расточительных дарений любимой жене, которая была лишена самого необходимого; он посылает ей серебряные вещи, шелковые платья, а также то, что сам называет «хламом и дребеденью»: младшему сыну дарит серебряную погремушку. Это характерно для его бурного темперамента. Одна его приятельница писала: «Многие видели в нем только гордость и строгость, однако тот, кто был близок ему, пребывал в атмосфере любви. Все богатство прекрасной человеческой души я открывала в нем, когда в его распоряжении оказывались небольшие денежные средства». Щедрость и готовность помочь нуждающимся были свойственны Фалленштейну всю жизнь, но наряду с этим в повседневной жизни он проявлял боязливую бережливость, к которой привык во времена нужды. Так, например, когда у него уже был прекрасный дом, он запрещал печь пироги даже к приходу гостей.

В 1816 г. он поселяется в Дюссельдорфе, занимает там должность регистратор-секретаря и приобретает репутацию прилежного, не щадящего своих сил чиновника, всегда готового проявить необычайную трудоспособность сверх требуемого для соблюдения государственных интересов. Это приводит к тому, что его вскоре обременяют дополнительными обязанностями: в должности и на жаловании секретаря он выполняет функции советника. Начальство прославляет его железную трудоспособность, выдающиеся дарования и многостороннюю образованность. «По своему честолюбию и стремлению к деятельности он был подобен тем благородным коням, которые используют все свои силы, пока не погибают» (Гервинус). Но невзирая на это, берлинское министерство грубо преднамеренно обходит его, не продвигает по службе и настолько скудно оплачивает его работу, что он вынужден для содержания растущей семьи наряду с должностными обязанностями заниматься литературной деятельностью. Почему же это происходит? Прежде всего вследствие его демократичности и свободомыслия. Ему представлялось, что «дух времени беспрепятственно проходит через все народы и культуры, как радостное дитя Божье, подобно тому как Бог шествовал перед Моисеем». Исходя из своих демократических убеждений, он воодушевляется идеей

равенства всех граждан и выступает вместе с Яном против реакции. Впрочем, он и вообще был неудобен. Так, он выступил с критикой правительственного решения в резкой статье, написанной в воинственном стиле времени освободительных войн, выразив протест против дарения домениального владения французскому аристократу и обратился с этим к королю. Следствием был процесс против него. Его, правда, оправдали, но пригрозили административным взысканием, что не состоялось только благодаря единому сердцу протесту его непосредственного начальства. С этого момента в Берлине к нему стали относиться с подозрением. После того как его несколько раз намеренно понижали в должности, он в раздражении решает избавиться от «рабства» и уехать из Берлина. Как только ему удастся свободно вздохнуть, он ощущает свою жизнь как жалкую каторгу и вздыхая молит, чтобы Бог «освободил его от этого чувства, если Он не может дать ему возможность жить другой жизнью». Наконец в 1832 г., после того как его, невзирая на 14-летнюю государственную службу, подвергли в Берлине экзамину, он получил соответствующую его заслугам должность в качестве советника при городском управлении в Кобленце.

Еще до переселения в Кобленц Фалленштейн испытал страшный удар — гибель любимой жены, всегда даровавшей ему счастье. Он остался один со множеством малолетних детей. Страстный и одновременно полный доброты человек оказался у края бездны, а на детей, часть которых пришлось передать в чужие руки, мрачный отец оказывал еще более тяжелое впечатление, чем обычно. Вообще не сгибаться под его властью было трудно. Старый вольнонаемный солдат Лютцовского отряда был строгим этическим ригористом и безусловно верил во все преодолевающую силу воли, в то, что «ты можешь, ибо ты должен». В гневе у него часто набухла жила на лбу. Особенно строг и требователен он был к сыновьям, по отношению к маленьким девочкам, как вообще ко всем слабым существам, он обычно проявлял мягкость. Впрочем, и к ним он применял закаляющие методы воспитания, которые мы сочли бы сегодня варварскими. Так, чтобы избавиться от головной боли, он подставлял их ранним утром под струю холодной воды, заставлял зимой ходить без теплого белья, а летом под жгучими лучами солнца без шляпы. Особенно строгие правила применялись за столом: дети получали большие порции нелюбимых ими кушаний, и беда, если тарелка не оказывалась пустой!

Неискренность даже маленьких дочерей он жестоко наказывал. Тем не менее они больше любили, чем боялись отца. Сыновья, напротив, стремились освободиться от его власти, как только им представлялась такая возможность: трое из них ушли за море, один бежал тайно. Ни одного из них отец больше не видел. Письмо к

конфирмации одного из его сыновей показывает, посредством каких напряженных этических требований Фалленштейн пытался воздействовать на его развитие, с какой героической строгостью он осуждал ребяческие поступки. Для этого отца существовало только «или — или». Либо прорваться и двигаться вперед по избранному почти в детском возрасте пути, либо — гибель.

9 июня 1835 г.

«Мой дорогой Отто, несколько написанных тобой строк в письме тети сообщили мне неожиданную, но приятную новость, что ты готовишься к конфирмации, а может быть уже ее прошел. Дай Бог, мой сын, чтобы ты понял должным образом важность этого периода твоей жизни и чтобы намерения и решения, принятые тобой для твоего блага, чтобы заверения и обещания, высказанные тобой у алтаря не теряли своего значения и выполнялись. Пусть перед твоим взором всегда будет Бог и честь верного немца: оставайся честным, верным, основывайся на голосе твоей совести и на учении Христа, и ты будешь спокойно и уверенно жить в мире. Несмотря на ряд шалостей, которые ты к сожалению, совершал, ты радовал отца, он видел в тебе искреннего, добропорядочного и доброго юношу. — Оставайся им и старайся постепенно преодолевать такие недостатки, как невежливость, резкость, своенравие и т. д. Будь прилежнее, мой сын, в выполнении твоих задач, важных для достижения поставленных целей и помни прежде всего, что человек представляет собой очень немного или ничто, если он не выдающийся или не совершает нечто выдающееся. Стремись всегда к высшему, к самому прекрасному, ибо посредственность всегда дурна и не стоит ни чести, ни жизни. Прежде всего оставайся честным и чистым, тогда ты будешь достоин нас, будешь твердо верить в Бога и не станешь мыслить, совершать или терпеть что-либо бесчестное. Не говори лишнего, но действуй всегда как бы при открытых дверях и окнах; то, чего ты стыдишься перед людьми, есть одновременно грех перед Богом. Держись своей веры, но будь всегда готов оказать помощь и услуги каждому и прежде всего будь всегда благодарным. Забывай о себе, но помни о тех, кто сделал добро тебе и твоим близким и был дружелюбен к вам. Сохраняй свою невинность, но не суди дерзко других. Не совершай несправедливости, но и не позволяй сознательно совершать ее другим по отношению к тебе. Помни всегда три правила: бойся Бога, почитай женщин, люби ближнего своего, и четвертое: знай, что я предпочту видеть тебя мертвым, чем знать, что тебя считают подлым и трусливым. Бойся только Бога, ненавидь зло, ложь, нечистое. Почитай женщин в мыслях и делах в память твоей матери и чтобы предотвратить грех. Люби ближнего своего и по-



мни, что никто не существует для себя, но каждый для другого; и нет любви и верности выше тех, которые жертвуют жизнью ради братьев своих. Ты весь во власти своего долга — не забывай этого никогда. Нет в мире достояния выше чести быть верным, правдивым и смелым. Прими эти напутствия, мой милый сын Отто, и вспоминай твоего отца и умершую, а также вновь обретенную мать, все они с любовью думают о тебе, надеясь, что ты останешься достойным их. Ты ведь знаешь, сколько горя принесли мне другие люди, постарайся, чтобы я не испытал подобного от тебя. Ты зовешься Фалленштейном, и я доверил тебе честное имя, следи, чтоб на нем не образовалось пятно; пусть его почитают и благодаря тебе — и дай Бог, чтобы никогда не стали бранить его или поносить. Об этом заботься и живи — или умри!..»

Счастьем для детей, в том числе и для тех, кто уже покинул родительский дом было то, что этот героический человек вулканического темперамента вновь встретил через четыре года после смерти жены нежную девушку, облик которой настолько напомнил ему умершую жену, что он с первого же взгляда потянулся к ней. Это была *Эмилия Суше*, дочь знатного и богатого франкфуртского патриция. Ее отец *Карл Корнелий Суше*, основавший торговую фирму во Франкфурте, Манчестере и Лондоне, происходил из гугенотской семьи Суше де ла Дюбуассьер, которая имела владение близ Орлеана и, спасаясь бегством в Германию, отказалась от принадлежности к знати. Часть беженцев поселилась в качестве золотых дел мастеров в Ганау, остальные во Франкфурте. Дед, К.С. Суше, был золотых дел мастером в Ганау, его отец — проповедником французской реформатской церкви во Франкфурте.

К.К. Суше, прадед Макса Вебера, веселый любезный человек, обретший в браке значительное состояние, владея которым не проявлял скарденности, ибо считал себя только управляющим своим имуществом и внушал это убеждение своим детям. Он жил в красивом, аристократически обставленном доме у городских ворот, обращенном широким фасадом, освещаемым солнцем, к Майну и возвышающимся за ним холмами Заксенхаузена. Потребностью его благорасположенной, веселой натуры было весело жить и давать жить другим; и смеясь, он говорил: «Я всегда жил как богатый человек и с Божьей помощью мне это удавалось; скупердяи, окружавшие меня, всегда считали меня богатым, даже тогда, когда я еще не был таковым». Чтобы улучшить условия своего существования, он сочетался браком с девушкой чисто немецкой крови из хорошего дома, Еленой Шунк, дочерью майора Шунка из Шюхтерна, которая родила ему семерых детей. Она была столь гармонична и очаровательна, что художник Штилер объявил ее самой красивой женщиной Германии и по собствен-

ному желанию запечатлел ее очарование на портрете, сохранившемся в семье. Исходя из этого, можно предположить, что прелесть и благородная красота матери Макса Вебера, которые унаследовал ряд ее детей, были скорее немецкого, чем французского происхождения. Правда, на Эмилию Суше, бабушку Макса Вебера ничего из этих свойств предков не перешло. Она была чрезвычайно мала ростом и очень незаметна, при этом умна и глубока, но отличалась большой хрупкостью, робостью и отчужденностью. Источником ее силы была глубокая религиозность, ангельская доброта и готовность отдаваться всему великому и прекрасному. В мемуарах, написанных ею для семьи, она пишет о себе: «Величайшие, можно даже сказать единственные страдания моего детства связаны с моим сложением — я, собственно говоря, не помню, чтобы когда-либо болела, но во всем теле я ощущала невыразимую нерешительность, которая часто угнетала меня... тоска по внутренней свободе становилась для меня иногда в страшные часы настойчивой мольбой; однажды, когда я открыла в таком состоянии Библию, я прочла следующие слова: «Довольствуйся моим милосердием». Я долго размышляла о смысле этих глубоких слов и нашла в них самое прекрасное толкование подобия данного мне дара».

В старости она подводит итог совокупности своих переживаний, сложившихся на основе хрупкой витальности, всегда ощущавшей угрозу из-за чувства своей неполноценности, и добавляет к сказанному: «Нам так хочется идти по жизни своим путем, и мы не понимаем, что нам уже самой нашей натурой поставлена цель, упускать которую безнаказанно нельзя. Мужественно видеть границы нашей натуры, избегать всех ложных стремлений, всем сердцем стремиться совершать то, что на нас возложено, смиренно надеясь на помощь Божию, — это представляется мне задачей, выполнение которой дает нам благословение».

Когда Фалленштейн встретился с Эмилией Суше, ей уже было 30 лет, и она никогда не помышляла о замужестве. По своей натуре она была, вероятно, предназначена скорее к тихой созерцательности монахини, чем к жизни с сангвиником, всегда преисполненным напряженных желаний. О браке ей вообще известно было только то, что он ведет к душевной общности и проникновенной дружбе между мужем и женой. Тем не менее внезапное сватовство Фалленштейна вызывает в ней большую внутреннюю борьбу. Она просит дать ей время обдумать это предложение, ей страшно, и соглашается она все-таки потому, что ее доброта оказывается сильнее ее страха перед жизнью. Она чувствует, что Бог призывает ее помочь этому человеку и стать матерью его осиротевших детей: «Ему было тяжело заставить меня нести такое бре-

мя, и поэтому он сначала ничего не говорил, я же чувствовала в себе силу в сознании того, что Бог поставил передо мной такую большую и прекрасную задачу и что Он мне поможет справиться с ней».

Письма, которыми обменивались Фалленштейн и Эмилия Суше, отражающие стиль того времени (1835) и характер корреспондентов, гласят:

«Нерешительно и с глубоким сердечным волнением, фрейлейн, я, для Вас, вероятно, не более, чем случайно промелькнувший образ, осмеливаюсь на шаг, связанный с внутренней, устраняющей соображения жизненных условностей необходимостью, и ищу слова, которые должны уверить Вас в том, что с момента, когда я увидел Вас, я пришел к дорогому для меня осознанию. Пусть дружелюбие и приветливость, которые излучают Ваши голубые глаза и весь Ваш облик, позволят мне продолжать говорить без борьбы в поисках выражения своих чувств.

Перед Вами признание в любви, на которое со страхом решается человек, многое переживший, но увереннее стоявший, подвергаясь большой опасности, чем теперь в ожидании Вашего решения.

Моя верная, нежная жена, первой любовью которой я был, спокойно и доверчиво с 15-ти лет делившая со мной в течение 21 года трудную жизнь, мое драгоценное сокровище, милая мать моих шестерых детей, похороненная мной 4 года тому назад, — она, которую я 25 лет назад полюбил с юношеской страстью, стояла вновь передо мной в тот вечер, когда я внезапно увидел Вас у Вашего брата, стояла во всем своем своеобразии, во всем своем внутреннем и внешнем бытии, будто возвращенная к жизни. Это впечатление было для меня глубоким потрясением, не лишенным боли в своей неожиданности. Дальнейшим следствием был этот шаг, от результата которого, фрейлейн, зависит моя будущность, тем в большей степени, как я чувствую, что Ваше появление столь удивительно связывает всю мою прошлую жизнь с предначертанным мне Богом будущим; поэтому, нежная, приветливая, тихая Эмилия, я могу со всей истинностью и перед Богом предложить Вам вместе с моей рукой любовь моей юности и моей жизни, которая стала чище и прекраснее благодаря пережитому и утраченному. Прежде чем сделать этот шаг, я добросовестно исследовал свою душу, и если бы Вы могли, фрейлейн, заглянуть, как Бог, в глубины моего сердца, если бы я мог словами открыть то, что в данное мгновение открыто нашему Творцу, Вы бы доверились простым, продуманным словам честного человека, когда он Вас уверяет, что сказанное им глубоко коренящееся в сознании, является не любовной страстью, а проникновенным, постоянным по-

чением, происходящим из глубокой печали об утраченном, освященной проникновенной радостью, вызванной вновь найденным.

Я понимаю, фрейлейн, как много я требую, прося Вас стать моим детям не второй, а вновь обретенной матерью, и моим высшим благом, и могу предложить в благодарность за это лишь честное, верное сердце, а с ним и всю мою жизнь и сердечную преданность. Прекрасная Эмилия, дорогая мне так же, как моя преображенная Бетти, — я нахожу лишь простые, религиозные слова, ибо душа моя полна чудесного волнения и торжественной радости; в эти дни 25 лет тому назад я был помолвлен с моей покойной Бетти, в эти же дни 4 года тому назад я опустил ее в могилу. В дни таких торжественных воспоминаний человеческое сердце не лжет. Решайте же нашу судьбу, — но каково бы ни было Ваше решение, моя почтительная любовь к Вам составляет мое достоинство и будет сопутствовать мне в случае Вашего отказа».

На это Эмилия Суше ответила:

«Не знаю, смогу ли я сегодня ответить, как следовало бы, как я хотела бы, на глубоко взволновавшее меня письмо, но хочу попытаться высказать благородному человеку, открывшему мне свое сердце, преисполненное никогда не предполагаемым мною богатством любви, как я это воспринимаю, хотя мне и самой это еще не вполне понятно. Мое твердое намерение быть совершенно искренней с Вами, так как я чувствую, что только *это* даст мне благословение, даст его для Вас и для меня, но смогу ли я при всем желании сказать правду, ведает только Бог, ибо он знает меня лучше, чем я сама. До сего дня моя жизнь была внешне вполне счастливой и не признавать радостно благоприятные условия моего существования было бы неблагодарностью. К тому же я не чувствовала желания, особенно в последние годы, изменить свою жизнь, тем более, что полагала, что будто мой характер неспособен принести счастье, во всяком случае в тех условиях, когда от меня требуется многое. Те, кто знает меня ближе, могут подтвердить Вам истину более убедительно, чем я.

Моя мать обещала мне сообщить Вам о всех моих недостатках и слабостях. Прошу Вас верить тому, что она скажет, и не сомневайтесь в том, что никто не ощутит истину этого глубже, чем я сама. Сначала мне показалось, что Вы вообще ошиблись во мне, только потому, что я вызвала столь милый образ в Вашей душе. Моя сестра рассказала мне об этом и представьте себе, как это должно было меня взволновать при нашей следующей встрече! Только твердое намерение не разрушать дорогое Вам воспоминание дало мне некоторую выдержку или, вернее, привело меня в такое приподнятое настроение, что я сама не узнавала себя.

После Вашего ухода меня охватило предчувствие возможного счастья, но одновременно и полная моя неспособность занять предлагаемое мне место; и с тех пор это чувство часто в тяжелые минуты угнетало меня, — затем мне опять становилось легче, и я ощущала возможность отдать мое будущее в Ваши руки и в руки вечного Отца. Все смешалось во мне; лишь одно ощущалось все яснее — то, что я должна следовать чистому голосу сердца и быть искренней по отношению к Вам и к самой себе. Вы можете мне верить: как только я отчетливо познаю в этом волю Божию, я радостно и мужественно, хотя и не без борьбы, выйду из милого мне круга людей, чтобы исполнить еще более прекрасное призвание. Но как бы я могла когда-либо предположить, что именно мне предназначена такая судьба? Дайте мне время, чтобы перейти от первого волнения к полному спокойствию и подумайте, насколько и Ваше счастье зависит от решения, которое я приму. Меня во всяком случае воспоминание об этих прекрасных днях будет сопровождать и дарить мне счастье всю жизнь, и дай Бог, чтобы для Вас также оно так или иначе стало благословением».

\* \* \*

Настало время, когда жизнь Фалленштейна надлежало ввести в более мирные воды нежной рукой новой жены, ибо его издавна пребывавшая в крайнем напряжении сила стала сдавать; у него часто возникало тяжелое настроение. Большим облегчением было то, что прекратились заботы о деньгах. Семья Суше обладала той же склонностью к щедрости, что и он, имея к тому же средства эту склонность удовлетворять. Теперь и Фалленштейн мог щедро помогать другим. Впрочем, приходилось мириться в личной и профессиональной жизни с рядом обид. Исчезновение сыновей, которых он никогда больше не увидел, несомненно сильно удручало его. Когда он, перегруженный работой, тщетно просил предоставить ему помощника, ему пришлось уйти со службы, выслушав ряд обидных упреков. В 1842 г. его переместили в Берлин, назначив на должность советника в министерство финансов. Однако он не мог приспособиться к совершенно новым условиям и обязанностям. Этот человек, который столько лет справлялся с необычайными трудностями, откровенно признается: горький опыт доказывает, что он не справляется с новыми задачами. К счастью, он мог через некоторое время уйти с этой должности. Он переселился в Гейдельберг и построил там в 1847 г. простой, благородный по своей архитектуре дом у Неккара напротив дворца. Большой сад, поднимающийся по горе до аллеи философов, он разбил сам и создал этим домом и садом, журчанье источника которого слива-

ется с шумом Неккара, остров красоты, любимое местопребывание детей и внуков, вызывавшее радость бесчисленных людей. В остальном он твердо держался стоической простоты и естественности своего образа жизни и требовал этого также от членов своей семьи: рано вставать, обтираться холодной водой, закаляться любым способом, уметь напрягать волю, владеть собой — все эти принципы, которые его дочь Елена, хотя ее хрупкий организм страдал от этого в детские годы, переняла в собственном образе жизни и в воспитании своих детей. Фалленштейн был постоянно деятелен, из числа государственных проблем его особенно интересовали стремление к конфессиональному миру и к сохранению в Рейнской области наполеоновских законов. Несмотря на его ненависть к Наполеону, он отдавал предпочтение его институтам по сравнению с тогдашними прусскими. К тому же он был убежден, что насильственное их устранение отдалит Рейнскую область от Пруссии. Кроме политической деятельности он занимался также различными общественно-социальными проблемами. Так, он организовал с помощью семьи Суше в Шёнау, одной из терпящей голод деревень Оденвальда, постоянную помощь деньгами и скотом бедным крестьянам. Он вернулся также к своей литературной работе, собирал немецкие поговорки и был усердным сотрудником Гриммовского словаря. В Гейдельберге он стал членом «Исторического кружка», который возглавляли Шлоссер и Гейссер, подружился с Гервинусом, переехавшим к нему. Он сохранял в качестве преданного чиновника верность своей родине Пруссии, но отказавшись в течение 1848 г. полностью от культа монарха, стал любить Германию больше, чем Пруссию и под действием мягкого воздуха юга вернулся к свободлюбивым идеалам своей юности.

Невзирая на пошатнувшееся здоровье, Фалленштейн еще проявлял силу богатыря, когда в его жизни возникала цель. Он умер 63 лет, как он всегда хотел, до наступления старческого упадка, и остался в воспоминании своих молодых дочерей от второго брака, как «прекрасная греза», как отец, «чьи теплые руки мы все еще чувствовали в своих и чье мягкое сердце всегда было открыто для детских вопросов и детской радости».

В воспоминании тех, кто его знал, он остался как человек, одаренный преизбытком физической и нравственной силы, закаленный в школе жизни, страстно возбудимый в любви и в ненависти, но вместе с тем преисполненный сердечной доброты и рыцарства по отношению к слабым. Умеренная уравновешенность не была ему дана, он часто бывал неудобен и обременителен в повседневной жизни, но в своей профессиональной деятельности самоотдача и отказ от эгоистических интересов

подавляли даже его горячность. Гервинус говорит: «По своей силе у него все легко граничило с чрезмерностью: и аффект мгновения, и твердый продуманный принцип». Эти слова подходят и к его внуку. На его могиле близкие поместили надпись: «Те, кого подгоняет дух Божий, суть Божьи дети».

\* \* \*

Но как же чувствовала себя нежная Эмилия Суше в совместной жизни с ним? Судя по письму, написанному подруге через долгое время после смерти мужа, она была лишена глубокого счастья полной душевной близости и сверхчувственной общности с ним. Его сильная натура заставляла его считать, что при должном требовании от себя и других можно всего достигнуть, никогда не позволяла ему сомневаться в том, что он — Фридрих Фалленштейн — правильно понимает, что следует делать, и не могла находить доступа к постоянной внутренней борьбе жены. Постоянное ощущение Эмилией своей неполноценности, а, с другой стороны, ее благочестивая покорность в том, чтобы действовать в установленных природой для нее и для других границах, вызывали его нетерпение: Ведь она *так* хороша, почему же она мучается, борясь с собой? И хотя он сохранял приверженность унаследованной вере, глубина ее религиозной жизни оставалась ему недоступной. Этический ригорист, который хочет и может делать то, что должен, уверенный, что и другие действуют так же, с одной стороны, и волнуемая робостью и божественной защитой душа — с другой, не могли понять друг друга. Через много лет после смерти мужа Эмилия подвела итог своей жизни в браке в следующих строках:

«Тяжелейшая борьба моей жизни (так я во всяком случае полагаю) позади. Она заключалась в невозможности пояснить моему покойному мужу, какова я действительно. С одной стороны, его чрезмерное преувеличение, которое заставляло его вместе с тем считать своего рода упрямством то, что является основой моей индивидуальной организации, и препятствует мне достигнуть идеала в жизни, заключенного в моем сердце, — доступ к такому пониманию для него полностью отсутствовал, а моя печаль, вызванная этим, представлялась ему слабостью. То, что он не мог это понять и неспособен был даже представить себе, что при всей печали по поводу своего несовершенства можно все же сохранять **надежду**, что допустимо покоряться определенным границам своей природы и тем не менее стремиться в этих границах достигнуть того, что велит нам Бог, в уверенности, что Он приведет нас к цели (ибо ведь сказано: Бог могуч в самом слабом, и для меня это истинное слово, тысячекратно меня поднимавшее) — короче говоря,

его непонимание того, что мне в сущности представляется основой христианства, *было* мне тяжело и несогласие между нами возникало именно тогда, когда наступали неприятности извне. Его манера отклонять мое вмешательство раздражала меня и мешала мне высказаться — если бы не это, мы несомненно лучше бы понимали друг друга; а из-за этого и сокровища его души лишь иногда становились мне очевидны, он же с точки зрения его религиозных взглядов (т. е. их воздействия на жизнь) оставался для меня закрытой книгой. Правда, и *это* я всегда ощущала, он был значительно теплее, чем Гервинус, а поэтому и дальновиднее; так он был вполне согласен с тем, что я хожу в церковь и охотно выслушивал мой рассказ о содержании проповеди в отличие от Гервинуса, который при таких обстоятельствах обдавал свою жену холодом. Однако обмениваться мнениями на эту тему не представлялось ему важным, а для меня чистое христианство было основным элементом моей жизни, проникновение в который составляло все мое стремление. До чего же я дошла? Я хотела только уяснить себе, что делало меня очень несчастной, больше, чем я теперь понимаю, хотя обвинять в этом я не могу ни Фалленштейна, ни себя. Все дело было только в том и является для меня все еще таковым, — что надо быть близкой мужу во всем, чтобы брак был благословен».

Такое требование сверхчувственной основы в браке Эмилия Суше передала своим дочерям и у многих из них отсутствие этой основы повторилось. Однако несмотря на эту резиньяцию, ее жизнь была благословенной. Ибо обетование ее любимого изречения осуществилось. Она родила 7 детей, из которых 4 дочери и сын достигли полного развития. Под бременем своих задач боязливая, нерешительная женщина стала средоточием моральной силы. Благодаря ее доброте, мягкости и полному отсутствию эгоизма она справлялась со всеми задачами. Пасынки нашли в ней любящую, понимающую мать и смелую защитницу от благородного, но слишком властного отца. Они с благодарностью отвечали ей преданностью и почтением. В натуре своего мужа она постоянно пробуждала свойства рыцарства, мягкости и доброты. Для своих собственных, значительно более жизнеспособных дочерей, она, никогда не пытавшаяся служить им примером, была образцом религиозно-нравственной жизни и душевной глубины, и каждая из них чувствовала, как простое бытие матери накладывало на нее определенный отпечаток. То, какое влияние она уже в старости оказывала на своих потомков, очевидно из слов одной из ее внучек: «Когда я думаю о бабушке Фалленштейн, мне вспоминается сказанное в Библии, о самом маленьком горчичном зерне, из которого выросло большое дерево и в ветвях его птицы небесные вили



гнезда. «Меньше», не только ростом, чем эта дочь богатого патриция, невозможно было быть. Столь робкая, столь не склонная к внешним проявлениям, к решительным действиям, она совершенно не думала о себе и нисколько не стремилась показать свою значимость. Однако никто из ее внучат не хотел, чтобы она была иной. Ребенка нельзя обмануть, он видит сущность. Бабушка была добра, была добра всегда, когда бы к ней не прийти; это было твердо установлено, поэтому у нее всегда было хорошо. Это знали все: большие и маленькие, бедные и богатые. Мы были отчаянными сорванцами, но я не помню, чтобы мы когда-либо допустили какую-либо дикую выходку в голубой комнате бабушки, которая казалась нам небом. Я никогда не видела ее неприветливой, в дурном настроении или нетерпеливой. И мне даже никогда не приходило в голову, что она может быть другой; я уверена, что она так же справлялась с мальчиками, как со мной. Ее нежность заставляла вести себя подобающе. Я отнюдь не была образцом добродетели, но, открывая дверь ее комнаты, я вступала в атмосферу тихой доброты, она охватывала меня, как тайна, обволакивала меня, как нечто нежное, задушевное и проникало в меня... Даже плачущей я никогда не видела бабушку, но часто видела ее утешающей, она утешала и мою мать при потере моего маленького брата; я ощущала ее власть над душами людей, даже когда не понимала этого. Она же не подозревала о своей тихой власти. Бесконечно глубоко радовалась бабушка природе, но эта радость была так же тиха, как вся ее сущность. Она благоговейно воспринимала красоту, так же как самозабвенно слушала хорошую музыку. Она могла полностью погрузиться в сияние огоньков на горе, отражавшееся в воде или в освещенную луной местность, реку и цепь горных вершин. Впоследствии я нашла отражение этого чистого наслаждения в ряде маленьких стихов. Тихо и радостно она созерцала красоту земли, которая была для нее всегда только покровом Божества. То, что в детстве проникало таинственно безобразно в меня от нее, мне стало ясно только тогда, когда ее уже давно не было с нами: в дни моей конфирмации я это ощутила в словах, которыми она начинала свои воспоминания, и в них концентрируется мое отрывочное понимание ее личности: тихое, доверчивое смирение, которое в связи с глубокой набожностью вело не к резиньяции, а к прекрасной внутренней гармонии». Пусть этот образ прежде чем мы с ним расстанемся, еще раз обратится к нам со словами, которые направляют всегда вновь завоевываемую веру, ведущую от бесконечного страдания в миру к божественной любви. Эти слова гласят:

«Наша последняя беседа была столь короткой и все-таки столь содержательной! Все глубокое страдание, пронизывающее мир и сердца людей, было в ней. Я могу сказать в связи с этим только

то, что без борьбы, без кровавой борьбы невозможно достигнуть истинного мира — почему эта борьба неизбежна, составляет великую загадку, которую никто не может понять. Однако сколь ни непознаваема для нас тайна, что любящий Творец мог создать мир, который уже самой своей организацией создает необходимость несказанных страданий живущих в нем существ и что именно людям вследствие духа познания, введенного в них самим Богом, предначертаны глубочайшие страдания... И тем не менее глубоко в наших сердцах пребывает уверенность, что Бог есть вечная любовь и мы все время направляем взор из глубочайшего душевного страдания к Нему как к спасителю; когда же после темной ночи возникает новый день и поля освещает свет, мы чувствуем восторг; и все мы, столь часто тщетно боровшиеся в мрачные часы в поисках утешения и силы, внезапно озаряемся сиянием неба и ощущаем, что и мы пребываем в сердце великого Отца и что *истинно* прекрасно изречение: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

## II

Из оставшихся в живых детей этой столь близкой по благородству характера, хотя и столь несхожей друг с другом пары, нас в данной связи интересует только Елена, мать Макса Вебера. Однако все четыре сестры Фалленштейн<sup>2</sup> были незаурядными женщинами по своим духовным и душевным качествам. Всем им была дана жизнь, преисполненная глубокими чувствами, делавшая их существование одновременно богатым и трудным, и смелость, с которой они решительно и уверенно противостояли судьбе. Все они преодолевали трудности жизни как силой религиозности, так и витальности. Все они строили свою повседневную жизнь, привнося в нее нравственную страстность и самоотверженную доброту. В качестве родственных по своей сущности цветений одного дерева они всю жизнь были очень близки.

*Елена Фалленштейн* (родилась в 1844 г.) расцвела в доме у Неккара в прелестную девушку. Она сохраняла благодарную и полную любви память к рано умершему отцу, с которым девочки безбоязненно играли, и хотя обладала в юности слабым здоровьем и часто страдала от головных болей, в раннем возрасте восприняла принципы отца и сохранила их до своего последнего дня. Железная сила воли, активность, героическое нравственное поведение, возбудимость, склонность к взволнованности были наследием отца. Но столь же глубоко было влияние нежной, беспомощной перед трудностями жизни матери. Елене было нетрудно сделать критерием собственного поведения ее неземную доброту, чисто-

ту и самоотверженность, ибо от матери она унаследовала глубокую религиозность и полную самоотверженность. Сестры вспоминали о различных событиях, характерных для смелости и импульсивной доброты этой подрастающей девочки — два таких события мы здесь приведем: как-то в солнечный день, когда мать прилегла отдохнуть, в комнату забежала крыса. Садовника не было, спящую не хотели будить. Елена сама поймала отвратительное животное, ловко схватила ее за шею и утопила в колодце. В другой раз произошел такой случай. В дом вошла крестьянка, торговавшая яблоками. В ходе переговоров она внезапно упала, и девушки сразу поняли, что это не просто обморок. Вызванный врач сказал: «Женщина при смерти, необходимо сразу же отвезти ее в больницу». Но Елена, сверкнув глазами, возразила: «Если женщина при смерти, то ее куда не отправят, она умрет у нас!» Так и произошло. Сама Елена, не отдавая себе отчет в красоте своей души, упоминает как-то о тонкости чувств, унаследованной ею и сестрами от матери: «Тому, что делает жизнь тяжелой, я все-таки в смиренной благодарности радуюсь как дарованному Богом богатству».

Жизнь со всех сторон улыбается прелестной расцветающей девушке: она чрезвычайно обаятельна, столь же красива, как добра, к тому же обладает пламенным, легко воспринимающим духом — люди радуются ей и любят ее. Однако ее совесть не позволяет ей чувствовать себя уверенной. Напротив, чем больше ее одобряют, тем больше она исследует свою душу, проверяет, имеет ли она право на это. Ретроспективно она пишет о времени своего становления:

«Обзор духовного мира вокруг меня, растущее понимание самоотверженного труда нашей матери привел меня к периоду размышлений и самоистязания, выявления источников и проявлений находящегося во всем, даже в лучших побуждениях людей, эгоизма. Я никому не могла сказать об этом по той достаточно обоснованной причине, что это, в свою очередь, могло бы быть следствием желания показаться интересной и значительной. Но в отношениях с Идой это, по-видимому, как-то проявилось. Ей ведь также было свойственно предаваться глубоким размышлениям, и она, как в ряде различных случаев и теперь целенаправленно сказала мне: «Знаешь, от большого желания обнаружить, где и когда действует дьявольский эгоизм, ты упускаешь наилучшую возможность побороть его посредством мышления, деятельности и заботы о других. Попробуй думать об этом каждый вечер и благодарить Бога, если тебе удалось сделать кому-нибудь что-либо приятное, хорошее, полезное». И это мне помогло».

Когда затем преизбыток молодости и счастливое чувство, что ее все любят, придавали ей повышенное ощущение радости суще-

ствования, слова дружески настроенной по отношению к ней старшей приятельницы указывают на внутреннюю направленность ее ощущения.

«Я была вполне готова весьма поверхностно принимать все даруемое мне жизнью как вполне естественное... Мы впервые танцевали в большом обществе, и я рассказала фрау Гервинус, как много меня приглашали, как любезны были со мной едва знакомые мне люди и как меня сердило, что Эмилия Х., которая гораздо умнее меня и так добра, сидела в углу. Пусть, дитя мое, это послужит тебе предостережением и напомним о скромности и смирении. Ты так жива, так охотно болтаешь, у тебя приветливое лицо, поэтому люди столь предупредительны к тебе и думают, что в тебе таится Бог, ведь что, не зная есть ли для этого основание. Пусть это послужит тебе импульсом действительно совершить что-либо достойное, доказать, что ты заслуживаешь такого отношения к тебе». В старости Елена добавила к этому следующие, написанные для ее детей строки: «Я еще сегодня ощущаю внутренний стыд, когда едва знающие меня люди ждут от меня чего-либо».

Господствующая в доме матери религиозность была свободна и совершенно недогматична, как и вообще протестантизм юга в то время в отличие от связанной традицией «правоверности» Северной Германии. И именно это освобождение христианства от необходимости верить в божественную природу Христа, в Его искупающее грехи людей страдание и в апостольское служение представлялось в этом кругу спасением, единственным средством предотвратить отпадение века сего от Его «сущности» и уничтожение общинного сознания. Эта «либеральная» христианская религиозность, стремившаяся преодолеть *credo quia absurdum*<sup>1</sup>, чтобы привести веру в соответствие с разумом, была тогда преисполнена высоко боевого пафоса.

Одним из сторонников этого направления был в Гейдельберге пастор Циттель; его мягкая, ясная набожность стремилась не к нетерпимому в своих требованиях, а к любящему Богу-Отцу, и он не мучился размышлением о непознаваемом. Когда его просили высказать свое мнение о бессмертии, он весело отвечал: «Дети, я жду неожиданности». Елена прошла у него конфирмацию и всю жизнь была благодарна за то, что наряду с тихой глубиной матери его чистый образ навек ввел в ее душу ценность религиозности. Между тем борьба рассудка, от которой ее сначала освободило свободное от догматизма учение Циттеля, разразилась вследствие влияния с другой стороны. Наверху в доме жил Гервинус, друг Фалленштейна, а после его смерти друг и учитель его дочерей, которого они чрезвычайно почитали. Его супруга также относилась к тем личностям, которых сестры считали высшими суще-

ствами. Бездетная пара особенно сблизилась с Еленой. «Тетя» занималась музыкальным образованием девушек, «дядя» ввел их в понимание античности. Он читал с ними Гомера, и этот поэт стал для них постоянным спутником жизни. «Наши занятия Гомером вновь вспомнились мне, вспомнилось, как мы в сущности годами жили в этих идеях и созерцаниях и видели наши идеалы олицетворенными в образах Афины, Аполлона, и мне вновь стало ясно, как прекрасны были эти времена и что эти знания были лучшее, данное нам Гервинусом; даже теперь у меня возникает особое чувство, когда я прочитываю отрывок из Гомера». Когда Елена уже в достаточно преклонном возрасте впервые попала в Рим, она все еще понимала руины античности благодаря этим урокам.

Впрочем, в период ее развития это расширение ее духовного восприятия было дано ей дорогой ценой. Ее душа была слишком глубока, чтобы она могла не чувствовать различие между христианской и античной жизненной настроенностью, и она ощущала склонность почитаемого учителя к тому миру посюсторонней красоты и всего земного как «искушение» к отречению от самой себя. Уверенность детской веры была уничтожена и ей пришлось перенести тяжелую борьбу, чтобы вновь почувствовать себя защищенной в руке Божьей. В 17 лет она писала:

«Вспоминаю, что раньше я вела длинные разговоры с Богом. Я спрашивала Его обо *всем* и Он отвечал мне. Я до сих пор отчетливо слышу внутренний голос, отвечавший мне. Это давало мне внутреннее спокойствие, которое я теперь утратила. Правда, эта детская вера, которая принимает все, не отдавая себе в этом отчета, не может сохраняться, да и не должна. Ведь в сущности каждый создает себе свою собственную религию. Однако меня лишили всего уроки дяди, который хотел все объяснить рассудком и настойчиво указывал мне на то, чтобы я создала свою религию с помощью рассудка. Но с помощью рассудка нельзя найти веру. В то время я не замечала, что я при этом теряю, и я жила привычной жизнью изо дня в день, хотя отношения с Гервинусом часто заставляли меня испытывать тяжелые угрызения совести».

Это стремление понять суть спорящих в собственной душе богов имело, однако еще не столь большое значение по сравнению с другой опасностью и бурей, которые Гервинус привнес в ее еще столь хрупкую душу и которые были ей тем страшнее, что голос Божий молчал. В 16 лет она была еще нетронутым, совершенно нераспустившимся бутонem, когда однажды почитаемый ею, любимый, как отец, учитель, к которому она многие годы испытывала полное доверие, внезапно потерял власть над собой. Этот стареющий человек излил вдруг на ничего не подозревающую девушку необузданное пламя страсти, справиться с которой он не

мог. Ужас, отвращение, сострадание и давнее благодарное почтение к другу и учителю боролись в ней, а так как она была нервной и хрупкой, едва не привели к краю бездны. Елена никогда не забывала об этом. С той поры чувственная страсть воспринималась ею как обремененная виной и недостойная человека. Еще в старости воспоминание об этом вызывало выражение ужаса на ее лице. Это событие усложнялось еще тем, что Елена воспринимала страсть к ней Гервинуса как тяжкую несправедливость по отношению к его почитаемой и любимой ею спутнице жизни и вынуждена была держаться в стороне, скрывая от нее причину этого. Тайна хранилась настолько, что фрау Гервинус не понимала причины изменившегося поведения девушки и долгое время считала ее неблагодарной. Потерявший же ощущение реальности человек, полагал, что и впредь может ждать от Елены полного доверия, надеялся даже на господство над ее душой и ее судьбой. Он ожидал, что она после короткой размолвки вернется к нему с прежней непосредственностью. Он распоряжался даже ее судьбой, предначинив ей в качестве мужа своего ученика. Но все случилось по-иному. Елена уехала в Берлин к своей рано вышедшей замуж за историка Германа Баумгартена сестре Иде, которая много значила для нее. В Берлине она познакомилась с другом и единомышленником Баумгартена в политических вопросах, доктором обоих прав Максом Вебером. Этот 24-летний молодой человек был умен, многообещающ по своим возможностям и очень привлекателен своими свойствами — лучезарной любезностью, жизнерадостностью, чистотой и излучаемым теплом. Молодые люди быстро нашли друг друга. Елене было только 16 с половиной. Несмотря на сомнения, высказываемые со всех сторон из-за молодости обоих, они заключили через несколько недель знакомства союз на всю жизнь. Елена вернулась домой как тайная невеста. Это событие было подлинным божественным предначертанием. Молодой человек понимал ценность найденного им сокровища и дарил прекрасной девушке с благородной душой чистую любовь своей молодости, на которую она отвечала все усиливающейся нежностью. Ее избранник не только принес ей солнце любви, в котором она чудесно расцвела, но и освобождение от мучительной ситуации, с которой она не могла справиться. Он становится ей родиной, защитой от бури несдерживаемой страсти, надорвавшей ее еще нежные жизненные корни. Так ее любовь соединяется с глубокой благодарностью, на которую она соответственно своей натуре отвечает смиренной, готовой к возможным жертвам отдачей. Молодая девушка ликует: «Ах, Макс, милый, единственный Макс, знаешь, когда я одна и думаю о твоей любви, представляю себе тебя, все твое милое существо, я все время чувствую (и это

то, что так прекрасно и *истинно* говорит Шамиссо, несомненно не преувеличено): «Не могу понять, не могу поверить, меня обманула греза». И вместе с тем я чувствую, что мы должны были найти друг друга, так как только в прочном, глубоком единении с **тобой** я могу стать вполне счастливой».

Реакция ее старого друга на это событие принесла ей вновь тяжелое потрясение. Когда она впервые после своей помолвки навестила его, она нашла его потерявшим всякое самообладание. Произошел сильный взрыв отчаяния и гнева; он упрекал ее в неблагодарности, в том, что она мошеннически воспрепятствовала его планам ее брака. Елена была на грани потери сил. «Если бы у меня не было моего Макса, матери и вас, — писала она Иде, — я бросилась бы, вероятно, в Неккар при мысли, что дело теперь обстоит так между мной и дядей. Ты не можешь себе представить, как тяжело мне было перенести это, особенно потому, что при его оценке случившегося он должен меня презирать, что он и делает. Ты, правда, писала мне, что он об этом думает, но так жестко, как он мне это сказал, он тебе сказать не мог, каждое его слово я ощущала как удар кинжалом в сердце — и я все еще чувствую эти удары. И все-таки я не могу сердиться на него, мне от всего сердца жаль, что он приносит такую боль мне, приносит ее себе, ибо он был при этом очень несчастен и плакал, как ребенок. Ах, Ида, видеть сильного человека плачущим и ощущать свою неспособность его утешить, ибо он ведь не хотел моих утешений, — я страшно страдала от этого. Когда я ушла от него, мир представлялся мне могилой, не знаю, что случилось бы, если бы я не сознавала, что многие люди меня любят и что моя борьба не была бы оправданной. Но я думала о Максе, о Максе, чье любящее сердце принадлежит мне».

Вебер проявил полное понимание ситуации и выразил готовность вынести этот тяжелый кризис вместе со своей невестой. Своим поведением он вызывает ее полное доверие. «Для меня благо знать по возможности больше от тебя о твоём отношении к Гервинусу. Я действительно хочу нести **все** вместе с тобой. Тебе не следует бояться, огорчить меня чем-либо, думать, что я буду слишком упрекать себя в том, что все эти грустные события, весь этот горький опыт вызван мной. Я должен был бы быть совершенно несведущим в области глубоких близких отношений между людьми, чтобы не ощутить огорчения от всего случившегося, чтобы разрыв таких прекрасных отношений не вызвал моего душевного сочувствия всей семье, тебе и самому себе, прежде всего, конечно, сочувствия Гервинусу, не только как твоему почитаемому и любимому другу, но и как человеку, с именем которого я еще в юном возрасте связывал воодушевленное почтение, на которого я

всегда с гордостью взирал, как на одного из самых выдающихся людей нашей родины». Елена нуждается в этом понимании, чтобы преодолеть горе. Она еще очень молода и хрупка, а ее нервная система тяжело потрясена. На первой карточке, подаренной жениху она выглядит не как счастливая 16-летняя невеста, а как прекрасная зрелая женщина, испытывавшая тяжелые страдания. Ее жених, получив эту карточку, пишет: «Твое милое, милое лицо смотрит на меня так серьезно, что я мог бы испугаться, если бы не знал, что за ним кроется...»

Пребывание вблизи человека, который не владеет собой, становилось настолько невыносимым, что Елене пришлось вскоре после помолвки на несколько месяцев уехать. Но и по возвращении установить с Гервинусом терпимые отношения оказалось невозможным. Даже через год после помолвки она рассказывает Веберу, как страшно ей было при случайной встрече с Гервинусом, которого как бы магически тянуло к ней. «Как бы мне хотелось тогда чувствовать твою твердую верную руку в моей или обнимающей меня и испытывать блаженное чувство, что на этой верной груди, в этом любящем сердце я защищена от всех бурь и что здесь мое место. И я очень хотела бы также показать тебя, мой замечательный Макс, ведь я так горжусь тобой». Вследствие своей возвышающей любви Елена воспринимала своего не склонного к решению сложных проблем жениха как более твердого в вопросах религии, и полагала, что может обращаться к нему за помощью в своей внутренней борьбе. Она относится ко всему так серьезно — даже эрос не может вытеснить в ее душе постоянное стремление к Богу.

«Внутренне я совсем не так спокойна, как может показаться; в вопросах веры и религии, в безусловном доверии Богу я могу еще многому научиться у тебя; я еще далеко не достигла полной ясности. Из-за отношений с Гервинусом все нарушено и утрачено и очень трудно вновь обрести это в борьбе.

Когда я тщетно искала выход из всех сложностей, когда я едва не пришла в отчаяние от как будто непреодолимых препятствий, возникавших между моей любовью, между тобой и мной, я вдруг как бы прозрела. Где же моя опора? Я, конечно, верила во всемогущество Бога, в его предначертания, но не могла отдаться ему с полным доверием, не могла из глубины души сказать: Отче, не моя воля, а Твоя. Даже после нашей помолвки я еще не научилась вновь полностью доверять Богу. И вот пришел ты с твоим чистым верующим сердцем и, хотя ты, быть может, не знал, что происходило во мне, но своими высказываниями указал мне правильный путь. Ты даже не знаешь, как ты осчастливил меня этим, но должен мне поверить, что тебе я преимущественно обязана



тем, что вновь в большей степени обрела моего Бога. Но, правда, мой единственный, любимый Макс, ты ведь поможешь мне сохранить мужество, если я когда-нибудь, как в последнее время, почувствую, что разучилась искать и обращаться к Всевышнему; я знаю, ты мне поможешь не утратить эту способность».

### III

Но каково же происхождение этого молодого человека? У него также было очень ценное, хотя и не такое необычное наследие, как у Елены. Его отец *Карл Август Вебер* был торговцем полотна в Билефельде. Его семья принадлежала уже в нескольких поколениях к торговому патрициату и была объединена воедино гордым сознанием родственных связей. Их предки были, по-видимому, изгнаны вследствие своей евангелической веры из Зальцбурга и внедрились на своей новой родине торговлю полотном. Дед жениха Елены, Давид Кристиан Вебер стал одним из основателей первой большой фирмы: «Вебер, Лаэр и Ниман», утвердившей славу билефельдского полотна. Совладелец фирмы, Карл Август, женился на Люси Вильманс, дочери известного врача из уважаемой семьи. Молодожены поселились в еще сохранившемся сегодня, фешенебельном доме в стиле ампира и вели глубоко духовный образ жизни. Впоследствии, когда дела ухудшились из-за новых технических методов, применять которые уже не могли стареющие главы фирмы, пришлось вести более скромный образ жизни. Повседневность гармонически регулировалась твердыми нормами бюргерской культуры уважаемой знати и носила характер уютного, но в перспективе индустриального городка, в который духовная и политическая жизнь нации проникала лишь мягкими всплесками волн. Когда молодая невеста впервые посетила с матерью свою новую семью, Билефельд показался ей городком времени Гёте, когда он воспевал Германа и Доротею. Торговля полотном, изготовленном на дому, носила в то время еще «докапиталистический» характер: прибыль была не самоцелью и не признаком процветания, а средством вести уютное, соответствующее своему сословию существование. Поэтому темп труда был умеренным. Вебер-отец, достигший определенного возраста, но не старый человек, вставал, по доброму старому обычаю, в 6 часов, но работал сначала несколько часов в своем большом саду, часто «уютно» читал вслух занятым чисткой овощей женщинам и только около 11 часов отправлялся в контору. Поход за пивом и бутылка хорошего бордо входили в распорядок дня. Этот человек остался позже в памяти его внука Макса как очень привлекательный, добрый, утонченный старый джентльмен, тип которого он изобразил

в своей работе о капиталистическом «духе». Бабушка Макса взирала красивыми умными глазами на мир. Тонкие черты ее лица свидетельствовали о духовной жизни. В доме царили религиозные убеждения; женщины, в частности, находились под влиянием господствовавшей в Вестфалии протестантской ортодоксальности и придерживались более строгих моральных взглядов, чем мягкий хозяин дома.

Гости дома, также глубоко религиозные люди, но значительно более свободные и догматически не связанные, обращают внимание на то, что утром и вечером члены семьи объединяются в совместной молитве. Об этом Эмилия Фалленштейн пишет: «Признаюсь, мне очень приятно, и я считаю очень трогательным, когда наш славный Макс так проникновенно и очевидно с наилучшими и святыми намерениями в будущем смотрит на свою Елену; я чувствую тогда, что мы все тесно связаны во времени и в вечности». Таким образом, Макс, посещая женихом семью Елены, полностью и без всякого сопротивления подчинялся религиозному ритму дома ее родителей, и в этом Эмилия видела вернейшую гарантию счастья ее ребенка, счастья, которого она была лишена. «Я всегда чувствовала, но с каждым днем это становилось мне яснее и давало мне счастье: Наше глубочайшее внутреннее стремление, благодарение Богу!, одинаково. И с этим чувством я спокойно доверяю твоему сердцу счастье моего ребенка. Я знаю, ваша жизнь будет благословенна Богом и нравиться людям. Большого счастья для матери быть не может».

Елена легко восприняла обычаи своей новой семьи, она нежно любит родителей мужа и они любят ее. Она старательно изучает все священные правила бюргерского ведения хозяйства. Здесь им придавалось большое значение, чем на ее родине, в Гейдельберге. Ибо свекровь была на редкость опытной хозяйкой, — и, конечно, сыновья представляли ее своим женам как образец для подражания. Посвящение в особый характер того, как следует готовить и печь, к чему мужчина привык в доме родителей, считалось тогда одной из необходимых основ счастья в браке, которая решительно определяла самочувствие мужа. Елена была готова усвоить то, что могло обеспечить благополучие ее будущего мужа; так все объединялось в радостную гармонию, и никто, видя красивую нежную молодую пару, не сомневался в том, что они навек предназначены друг для друга, но умный наблюдатель мог заметить излишнюю готовность и подчиненность невесты и излишнюю готовность молодого жениха принимать ее услуги и позволять безгранично баловать себя. Острый взор человека, знающего души людей, который сопоставил бы свидетельства внутренней борьбы Елены с жизненной философией ее мужа, мог бы заме-

тить, что совпадение глубочайшей направленности их натур не более, чем иллюзия: один из тех типичных самообманов людей, счастливых в любви, которые соединяют Эрос с самим собой, друг с другом и со всем миром: «Я надеюсь, что ты будешь во всех жизненных положениях применять мой принцип, который состоит в том, чтобы не воспринимать действительные *заботы*, которые мы слишком легко создаем в нашей слабости, а всегда делать то, что следует, и испытывать твердую уверенность что все произойдет наилучшим образом для нас и для всего существующего. Эту уверенность я всегда имела и никому не позволю лишить меня ее».

\* \* \*

Молодой 24-летний юрист занимал должность в берлинском муниципалитете, редактировал наряду с этим либеральный еженедельник и очень скоро стал заниматься проблемами активной политики. Время было очень бурное. Принц-регент Вильгельм, придя к власти, образовал преимущественно либеральное по своему составу министерство, чтобы показать, насколько для него серьезен вопрос конституции. Наступает «новая либеральная эра»; либералы могли надеяться на великое время, когда им наконец удастся осуществить их государственные идеалы. Однако после обнадеживающего начала все опять остановилось, права народных представителей были незначительны, верхняя палата осталась цитаделью консерватизма, а стремящееся к парламентаризму развитие было подавлено как попытка переворота. Важнейшим государственным правом был контроль над финансами. Весной 1862 г. парламент потребовал более действенной формы утверждения и контроля государственного бюджета. Король хотел противоположного, ибо Вильгельм стремился в два раза увеличить регулярную армию. Разразился серьезный конституционный конфликт, либеральные министры были отправлены в отставку, ландтаг распущен. Король видел крах своей политики. Тогда он обратился к человеку, которого он в течение ряда лет отстранял от политической деятельности: Бисмарк стал рейхсканцлером и решил в течение семи лет править без установленного бюджета. При нем прусское государство стало готовиться к военной экспансии, к великодержавной политике и к объединению Германии под эгидой Пруссии. В стране царил возбуждение, Бисмарк представлялся лучшим патриотам злым демоном отчизны, сокрушителем свободы и единства.

Вебер пережил это волнующее время со всей пылкостью молодости, для которой каждый повод к борьбе и действию уже представляет собой активизацию жизни. Он так же, как Герман Баум-

гартен, не демократичен, но безусловно либерален. 12-летним мальчиком он воспринял события 48-го года, и пламя в его душе не погасло. «Великое впечатление этих лет, правда, хаотических, но единственно прекрасных своими идеальными надеждами и своим воодушевлением на мою молодую душу будет жить во мне, пока я жив». Он входит в «конституционную партию», в одну из фракций правого крыла либерализма. Эта партия стремится к сильной королевской власти Гогенцоллернов и одновременно к полному предоставлению народу гарантированных прав. В период подготовки выборов в ландтаг Вебер становится секретарем берлинского Центрального избирательного комитета и благодаря этому знакомится с известными и опытными политиками.

«...Ты, вероятно, можешь себе представить, что я переживаю очень интересное время. Я соприкасаюсь почти со всеми государственными кругами и нахожусь в близких отношениях с рядом самых выдающихся и деятельных политических авторитетов всей страны. Часто мне кажется очень странным видеть себя в совете рядом со старыми, достойными людьми, уже в течение десятилетий известными борцами за нашу соответствующую конституции жизнь... Короче говоря, должен сказать, что чувствую себя в своей стихии, и вся эта деятельность, которая отнюдь не прерывает полностью мою работу в муниципалитете, доставляет мне большое удовольствие».

\* \* \*

Когда после двух лет помолвки молодые люди могли вступить в брак, они были безоблачно счастливы. Они всей душой любили друг друга. Молодая женщина была безгранично благодарна. После многих лет совместной жизни она пишет мужу: «Так хорошо, как мне, ни одной из сестер. Ни одна не может чувствовать себя столь единой сердцем и душой с любимым, как я; иногда я бываю «глупой» и недавно, когда Ида случайно сказала: «Видишь ли, ведь идеал, о котором мечтаешь, никогда не достигается», — я с трудом удержалась, чтобы не сказать ей, как был достигнут *мой* идеал, как я никогда и не верила, что мне, глупышке, может быть дано такое богатство в тебе». Вебер занимал теперь должность в магистратском совете Эрфурта. Спокойный ритм жизни провинциального города и скромный образ жизни предоставлял этой паре возможность чувствовать себя молодыми и веселыми. Вокруг них образовалась группа хороших друзей, всех их привлекало очарование Елены и открытая непритязательная жизнерадостность ее мужа. Когда Эмилия Фалленштейн посетила своих детей, ее впечатление было самым благоприятным: «Елена в качестве хозяйки впол-

не в своей стихии, только она до сих пор слишком серьезно относится к своим делам, особенно к экономии, — но это пройдет, дело вообще только в ее преувеличенной добросовестности, ведь она по природе практична». В области духовных интересов молодая пара была предоставлена самой себе. В Эрфурте господствовало духовное затишье по сравнению с взволнованной атмосферой Гейдельберга. Под влиянием Иды Баумгартен Елена погрузилась в работы недогматических англо-американских теологов Паркера и Ченнинга и в первые годы совместной жизни ей удавалось иногда втянуть в глубины своей внутренней жизни и своего спутника. В 1867 г. она пишет Иде: «Макс и я отпраздновали Пасху совместным чтением нескольких речей Паркера, которые Макс также очень понравились. Это — речь об идеале христианской церкви, затем речь о вере в бессмертие, действительно особенно прекрасную и убедительную, и об отношении Иисуса к его времени и всем временам. Макс только очень занят, ему приходится читать газеты и многое другое такого рода, поэтому ему очень трудно найти время для чего-то другого, как бы оно его не интересовало... Здесь в Эрфурте по отношению к такого рода вопросам все мертво. Никто или лишь очень небольшой круг людей, в число которых теологи не входят, этим не интересуется, здесь ничего не знают о стремлениях протестантского собрания, а многие и не *хотят* ничего знать о нем, они считают это радикальным и несоответствующим их взглядам. Говорю тебе: все теологи у вас и в Гейдельберге — истинная отрада по сравнению со здешними; там ведь жизнь, они трудятся и исследуют самостоятельно, а не пережевывают все время старое, как здесь... Должен прийти сильный человек и разбудить грезящих... а Паркер мог бы относиться к нему, как Иоанн Креститель, указать ему путь».

Очевидно, что молодая 23-летняя женщина, которая живет с любимым мужем и двумя маленькими детьми полной жизнью в посястороннем мире, сохранила прежние интенсивные религиозные интересы. О том, что они не изменились в результате ее счастья и атмосферы любви и восхищения, окружающей ее, свидетельствуют следующие строки к сестре: «Думаю, что меня бы страшно огорчило понять, чего можно достигнуть силой воли и не почувствовать в себе силы это совершить. Иногда мне кажется, что в некотором отношении я после замужества несколько продвинулась, но затем вновь наступают дни, когда мне становится ясно, что несмотря на добрые намерения все остается по-старому. Макс у я о таких настроениях ничего не могу говорить, он, правда, не высмеивает меня, но находит совершенно ненужным предаваться таким мыслям и не хочет их разделять». Странно! Несмотря на ее удивительную склонность к добру — или, быть может, именно

поэтому? — через всю ее жизнь, как и жизнь ее значительно более нежной матери, проходит тяжелая борьба с собой. Елена оценивает себя всегда, исходя из абсолютного, и во всяком положении требует от себя крайности. Поэтому она никогда не бывает удовлетворена и ощущает себя всегда недостойной своего Бога. Готовая всегда нести ответственность за все то, что происходит не так, как должно, она тяжело переносит всякую неудачу, хотя причиной ее никогда не является моральный недостаток, а лишь недостаток ума или силы нервной системы. Она, притягивающая к себе сердца людей, любит повторять стишок, которым она показывает, что она о себе думает: «Если ты розочка на кусте, благодари горячо Бога; если же ты мох на стволе, то благодари Его и за это». Елена — в которой другие видят прекрасную розу, считает себя только скромным мхом, сравнивая свои достижения с достигнутыми другими людьми. И вместо того, чтобы радоваться своей красоте и неиссякаемой силе любви, она все время в смиренном отречении наталкивается на пределы своего существа. Станным кажется, что уже в 24 года она высказывает желание, которое потом часто повторяет: «Ида, то, что ты совершенно так же, как я, думаешь о прелести *старческого возраста*, меня несказанно обрадовало и запомнилось — другие же осмеяли меня за эти фантазии».

Чем объясняется, что эта молодая женщина в своем счастье и расцвете сил часто мечтает о тихой старости?

Последующие указания позволяют предположить причину: заключалась ли она в том, что она по своей природе, как и ее мать, не была чувственной, что ее религиозное чувство восставало против этого или что тяжелое переживание в молодости сделало для нее эту сторону жизни всегда порочной — во всяком случае физическая сторона брака была для нее не источником радости, а тяжелой жертвой и одновременно *грехом*, оправдываемым только рождением детей. Поэтому она в расцвете молодости и счастья часто мечтает о старости, которая освободит ее от этого «служения». Но до этого еще далеко, а пока материнство дарует ей все новое земное счастье. Каждый ребенок для нее дар Божий, каждый служит цветению ее любви.

# Родительский дом и юность

Через год после заключения брака, 21 апреля 1864 г., у четы Веберов родился первый сын. Ему дали имя отца. Вслед за ним с перерывами в 2 года появились на свет семеро детей, из которых 2 маленькие девочки умерли; зрелости достигли 4 сына и две дочери. Старший сын вспоминает, что в детстве он ощущал себя «продолжателем рода» и был проникнут сознанием права «первородства» — чувством, которое рано превратилось в ответственность за младших детей. Его рождение было очень тяжелым для Елены, голова ребенка была чрезмерно большой, у матери появился жар и она не могла кормить грудью своего первенца, как впоследствии остальных детей. Поэтому новорожденного кормила другая женщина, жена столяра — социал-демократа; свои первые недели ребенок провел в корзине для белья, стоящей под верстаком. И когда впоследствии он пришел, в отличие от отцовского духовного наследия, к социальным и демократическим убеждениям, в семье, шутя, говорили: «Макс впитал свои политические воззрения с молоком кормилицы».

Мать и бабушка удивлялись ранней самоудовлетворенности малыша и его погруженности в свои игры; казалось, что ему ничего не нужно. Эмилия рассказывает, каким Макс был в два с половиной года: «Он большей частью играет в одиночестве, но игрушки, или, вернее, остатки их, клубочки ниток, кусочки дерева и все возможное служат, ему участниками в игре в такой мере, как я еще никогда не видела ни у одного ребенка. Например, сегодня утром он сначала построил вокзал из своих чурок и поставил в него поезд с небольшими вагончиками и пассажирами; на локомотив он прицепил длинную полоску бумаги, широкую сверху и тонкую снизу — она должна была изображать пар. Он восхищался этим длинным толстым паром и призывал нас также восхищаться им. Затем из деревяшек с помощью скамеечки и полосы бумаги была создана солеварня с множеством фла-

гов — все это собственное открытие, связанное с воспоминанием о Пирмонте. Так он играет часами и при этом почти непрерывно болтает». С ребенком часто гуляли по переходу через железную дорогу, где его таинственно обволакивает белый пар из проходящих внизу локомотивов. Игра в железную дорогу занимала его долго, а когда он в четыре года поехал с матерью в Бельгию, на него сильное впечатление произвел вид сошедшего с рельс локомотива. Об этом впечатлении он однажды написал, проезжая вновь по этому пути: «Близ Вервье я вспомнил о первом «потрясшем» меня событии в моей жизни: о железнодорожной катастрофе, случившейся 35 лет тому назад. Причем потрясающим для меня было не только то, что произошло, а восприятие ребенком столь возвышенного существа, локомотива, лежавшего в канаве, как пьяный, — первый опыт преходящести великого и прекрасного на Земле».

Вскоре мальчик подвергся большой опасности. Он заболел односторонним менингитом, последствием которого были в течение ряда лет судороги и приливы крови. Спал он теперь в кровати с обитыми стенками. Его хрупкой жизни грозило слабоумие или смерть — мрачная тень легла на счастье Елены. Вспоминая то время, она писала: «Каждому легкому удовольствию был положен конец, но мне была дана глубокая радость выполнять мои материнские обязанности, отказавшись от всего остального». Молодая мать заботится только о ребенке, она не выходит из дому, не сказав, где ее можно найти. Ее и без того необычная добросовестность доходит вследствие многолетней заботы о первенце до безграничной жертвенности по отношению и ко всем другим ее детям. Она неспособна понять, как матери могут оставлять своих детей по многу часов днем или даже ночью на руках чужих людей. Путешествия родителей без детей она считает легкомысленным «искушением милости Бога». Несмотря на это она потеряла двух детей — фатальные события, как мы скоро увидим.

За время болезни голова маленького Макса значительно увеличилась, члены же сохранили изящество, более свойственное девочке. Врач предрекал либо водянку головного мозга, либо то, что под поднимающимся куполом в будущем очень многое найдет себе место. Следствием болезни были разного рода нервные страхи. Елена рассказывает о четырехлетнем Максе: «Его нервные странности и страхи постепенно несколько уменьшаются; теперь он, выполняя мое поручение, идет один из сада в дом и возвращается в сад, что он еще несколько недель тому назад не мог выполнить, особенно потому, что для этого надо было пройти через двор, где его, по-видимому, пугают куры... и с другими детьми он теперь охотнее общается».



Когда мать, надеясь укрепить пятилетнего мальчика, пыталась в Боркуме выносить его на руках в море, он каждый раз поднимал такой крик, что курортники требовали прекратить эту процедуру; и даже взрослым Вебер не забыл ужаса этой экзекуции.

\* \* \*

В 1869 г. начинается новая глава.

Вебер senior<sup>2</sup> был вызван в Берлин на должность оплачиваемого члена городского совета и вскоре после этого началась его парламентская деятельность в качестве депутата национал-либералов. Временно он имел мандат ландтага и рейхстага. Семья поселилась сначала в наемной квартире, а затем вскоре в красивой маленькой вилле на краю города с садом величиной в морген в Шарлоттенбурге, на улице Лейбница 19. Там дети были вне большого города. Они растут почти на воле, радуясь солнцу и свободе. Сад с любовно и тщательно ухоженными плодовыми деревьями и овощами, с курами и кошками — источник радости. Семья растет и жизнь, проникнутая круговоротом большого города и политики, становится широким, стремительно ревущим потоком, в котором лишь посредством сильнейшего напряжения воли можно освободить часы для внутренней концентрации. Елене становится все труднее вводить мужа в круг ее духовных и религиозных интересов, — ибо они в сущности не являются для него жизненной потребностью; он полностью занят вопросами светской жизни, должности, политики, общения. У него целый день заседания, он совершает поездки в связи с выборами во время отпуска, много путешествует один, позднее с детьми, и ждет от своего дома, безусловным центром которого он себя ощущает, счастья любви, а также комфорта и услуг. Елена непомерно занята повседневной работой. В колыбели всегда «маленький», и кажется, что ее сила с каждой новой задачей растет. Она никого не допускает к уходу за ребенком и внимательно следит также за развитием школьников. При этом она не умеет перекладывать тяжелую работу на слуг, для этого ей не хватает организационного умения, да и желания: «Я не могу допустить, чтобы за меня работали другие». В молодости она уже рано утром, в 6 часов, стирает детские пеленки и до самого преклонного возраста выполняет по дому любого рода работу; ее можно обнаружить даже на крыше дома, если желоба забиты снегом. Она умеет все, понимает каждое устройство — ее члены действуют с удовольствием и привлекательной силой, наградой служит возрастающее чувство жизни. Особенно красива ее походка. Но дома она не ходит, а прыгает, вверх и вниз по лестнице, чтобы услужить мужу и детям, — Мария и Марфа в одном лице. В

городе она вскакивает на конку и также спрыгивает с нее — чтобы лошади из-за нее не уставали, трогаясь с места. Она ждет того же от своих племянниц, и это вызывает опасение их матерей. Слуги, которыми она благостно управляет, редко испытывают удовлетворение от своей ответственности вследствие ее бурной деятельности.

Вести хозяйство становится все труднее, так как Вебер senior приходит к трапезам в разное время, общение растет, постоянные приглашения депутатов входят в профессиональные обязанности отца. Елена тратит ежедневно свои необычайные силы, доходя до изнеможения. Это повторяется в бесчисленных письмах: «К вечеру у меня голова всегда как в тумане». Когда эпоха детей младшего возраста завершилась, она удовлетворяется 5—6 часовым сном, в результате на нее днем нападает непреодолимое желание спать. В 1875 г., когда ей был 31 год и она уже родила 6 детей, она описывает свой день следующим образом: «В 6 часов, следовательно, мы встаем, несколько позже 7-ми завтрак после того как (маленький) Макс повторил уроки. Когда он, получив завтрак, отправлен в школу и приготовлены бутерброды для других и для большого Макса, осмотрены лампы, выданы продукты питания, уже 9 часов. Тогда я готовлю малышке, которая в 6 получила свою трапезу, ее ванну. Затем, когда я спускаюсь, обычно завтракает отец Макс. Я выпиваю с ним еще одну чашку, быстро заглядываю в газету, так как читать мне, собственно говоря, некогда, и пытаюсь хоть немного поболтать с Максом — в это полное заседаний время я его почти не вижу. Затем опять кухня или домашние дела. В 12 кормлю малышку, мальчики также получают возмещение за наш поздний обед в 3 или 4 часа. В определенный час мы обедаем. Отец Макс приходит обычно гораздо позже, и я по мере сил готовлю что-нибудь для него. В 7 часов ужинают дети. Когда Макс (jun<sup>r</sup>.) также в постели и наш ужин окончен, уже 9. И тогда я уже ни на что не гожусь, особенно если мужа нет дома. Так проходит день, и тогда я задаю себе вопрос: Что ты совершила, если не считать работу о пропитании и уход за малышкой?»

Через несколько лет она очень мило описывает детские дела — детей осталось шесть: «Все дети легли, кроме Макса (jun.), он еще занимается в соседней комнате; хочу воспользоваться спокойным временем перед сном и написать тебе опять несколько слов. Такое крошечное существо, как моя Лили, занимает у человека весь день, особенно если приходится каждые два часа самой удовлетворять маленький голодный желудок. Если она сыта, она спокойно лежит в своей коляске, играет маленькими пальчиками и от большого рвения высовывает язык далеко изо рта. Основательно хватать и царапаться она тоже уже умеет. Артур гордо показал мне

сегодня рубец от царапины, которую она посадила ему на щеку. Этот маленький толстяк вообще очень забавен и нежен с малышкой; он не может удержаться, чтобы не целовать постоянно ее ручки, и поет ей прелестные песни. Так вчера он пел: «Ты мое сердечко, мое сокровище, моя кошечка, ты верна мне». А позавчера, когда она плакала, он пытался ее успокоить, повторяя утешительно: «Да, сестренка, ты умница, и когда ты плачешь, ты тоже умница, и когда ты мочишь пеленки, ты все-таки умница» — вероятно, думая о том, что для *него* такое поведение уже не может считаться умным. Меди ведет себя уже как взрослая сестра, помогает убаюкивать малышку; она осторожно развязывает свивальник и откладывает все кофточки, которые стали малы, и рубашечки, которые уже нельзя починить, на то время, «когда у меня самой будет живая кукла». Макс становится все больше похожим на будущего студента, к моей радости он теперь больше общается со своими сверстниками; некоторые из них приходят время от времени к обеду или на чашку кофе. Два раза в неделю он занимается фехтованием, и хотя мне не очень нравится такая подготовка к дуэли, это нужно для его здоровья, ибо он не занимается никакими иными физическими упражнениями, ни плаванием, ни гимнастикой, ни лыжами. Карл все такой же ветреник, но теперь он по крайней мере более серьезно относится к своим домашним заданиям и, став более самостоятельным, облегчает мне жизнь. Он по-прежнему прибегает в случае необходимости к таким забавным выдумкам и уверткам, что обезоруживает даже при сильном гневе. Так, когда он недавно вновь пришел в порванных штанах и я, наконец, рассердилась, он, преисполненный возмущения, сказал: «Я тут не при чем, парты очень плохи и вдобавок в ноги еще попадают занозы. Это происходит от того, что, садясь, приходится очень спешить, те, кто встает, могут двигаться спокойно, но когда мы ничего не знаем, всегда говорится «Быстро сесть»: и от этого штаны стираются. Ты могла бы пойти к директору и пожаловаться». Так как у него требование опуститься на парту играет большую роль, у меня наибольшие основания жаловаться! Альфред самый любезный в доме и к его услугам легче всего прибегать. Он очень хорошо справляется с малюткой и очень гордится тем, что недавно убаюкал ее...»

Однако во всем водовороте своих обязанностей Елена никогда не забывает о внутренней концентрации и считает своей главной задачей не физический уход за детьми, а их духовное воспитание. Однако как трудно найти для этого время, как трудно суметь радоваться детям! «Ах, если бы я могла выкроить больше времени, чтобы наслаждаться общением с детьми! Но теперь я буду всеми силами стремиться к этому, ибо твои слова были для меня реша-

ющими: то, что надо ценить *момент*, а не жить и работать все время для будущего. Я всегда работала в надежде на то, что таким образом можно обрести время покоя и наслаждения обществом мужа и детей, и как горько мне было уже тогда, еще до Рождества, когда я в нашей неурегулированной жизни с ее множеством забот радовалась, ожидая рождественских каникул и спокойного общения с детьми. И тогда ...» Да, тогда сразу после Рождества 1876 года, умерла ее четырехлетняя прелестная девочка. Это был первый смертельный удар, испытанный Еленой после 13 лет счастливого брака.

Елена уже в первые годы после замужества потеряла ребенка, маленькую Анну. Она принадлежала земле только как быстро раставшая снежинка и поэтому утрата ее оставила менее глубокие следы в душе матери. Четырехлетняя же Эленхен была уже очаровательным созданием, а дни страдания придали ей раннее совершенство. В канун Рождества она еще прочла свое маленькое стихотворение — правда, несколько хриплым голосом, а на следующий день выявился коварный дифтерит. Часы у постели покорно умирающей любимой девочки навек врезались в сердце матери. Она не восставала, для этого она была слишком набожна; она смирилась, но мир, где не было больше ее ребенка, изменился для нее. «Весна не приносит мне цветов, так как мой бутон розы сломан». Елена глубоко и мучительно страдала, она даже стремилась вслед за ребенком к вечному покою, но понимала, что не имеет на это права из-за других детей. И еще в одном отношении это событие стало роковым в ее жизни. Отец ребенка, сначала также глубоко потрясенный, оставил вскоре мать в ее смертельной борьбе одинокой. Ему, как многим мужчинам, было свойственно не предаваться длительно личному горю, не нарушать обычную жизнерадостность. «Он не был с ней». Это явилось для Елены сознанием глубокой трещины в их внутренней близости, которая уже никогда не могла затянуться. Борющаяся со своим горем женщина была слишком самоотверженна, чтобы тянуть мужа в свой горестный мир. Она скрывала от него свои страдания и делилась ими только с сестрами. То, что, быть может, уже давно готовилось в ней, перешло теперь порог ее сознания: ясное понимание того, что душа возлюбленного ее молодости совершенно иная, чем ее душа, и что ни она, ни судьба его не изменят. И вопреки ее обычному склонному к недооценке себя смирению, она инстинктивно прилагает к эмоциональной жизни других людей непоколебимые критерии, которым ее муж не соответствует. Елена замкнулась в отречении и внутреннем одиночестве, и началось ее неизбежное отчуждение от мужа. Уверенность ее матери в сверхчувственной связи этой пары оказалась — как некогда и в ее

собственном супружестве — заблуждением. С течением времени, в частности начиная с того периода, когда вследствие материнской доли наследства, полученной Еленой, внешние условия их жизни улучшились, в Вебере стала возрастать потребность его кругов во внутреннем и внешнем комфорте, в уюте и буржуазном наслаждении жизнью, представительстве в обществе и т. п. Он не расположен был страдать. А его жена медленно отдалялась от него, погружаясь в собственную глубину и в новые интересы, которые он не разделял. Сначала он не замечал, что она живет в другой сфере, чем он, так как она обслуживала его, как и прежде, в любящей подчиненности.

В старости Елена считала себя ответственной за то, что не взяла с собой мужа в свой мир. Много лет спустя после его смерти она писала своим взрослым детям: «Пришла утрата детей, которую мне отчасти из-за сложившихся условий, отчасти потому, что преисполненной здоровья и жизнерадостности натуре моего мужа не свойственно было переживать вместе со мной боль утраты, пришлось преодолевать в одиночестве, утверждаясь в моей вере в Бога и в моем интересе к религиозному развитию, который он не разделял. Тогда я полагала, что мое решение нести одной это страдание и не заставляя его идти за мной вопреки его природе является вниманием к нему, отречением, желаемым Богом, — а в действительности это было трусостью: страхом не быть понятой в этом самом трудном, проникновенном, и я не предполагала, к чему такое внутреннее расхождение может в своем развитии привести. Я была в то время все-таки столь счастлива, что часто не понимала, как это люди так мрачно и серьезно взирают на все».

Витальная сила и религиозное смирение помогли Елене справиться со страданием этих лет. К тому же вокруг нее цвела новая, полная надежд жизнь — 6 статных, способных детей; а так как она любила детей своих сестер как и своих, сфера ее любви все увеличивалась. Однако она знает, что таит в себе жизнь и находит поэтому в каждой смерти глубокий смысл. Когда ее ужасают страдания людей, она черпает утешение в том, что ее любимая девочка укрыта от жизненной борьбы. «Когда мы видим такие страшные страдания и, что еще тяжелее, боль, причиняемую одним человеком другому только потому, что он неспособен воспринять его мысли и чувства; видим, как из-за этого уничтожается лучшее в человеке и в том, что он хотел и должен был совершить, то утешением нам может служить мысль, что посвященное счастью и радости юное существование освобождено от земной жизни. Воспоминание о спокойном личике моей маленькой Елены всегда сопутствовало мне в тяжелые для меня времена. И все-таки у меня нет причины жаловаться на то, что моя жизнь тяжела, разве что я

в такой малой степени могла выполнить то и быть тем, что я сама требую от себя и что мне теперь так трудно в моих отношениях с моим сыном Максом». Что имелось в виду в этом написанном в 1880 г. высказывании о ее отношении к первенцу, станет ясным после того как мы проследим его развитие. Обратимся теперь к нему.

\* \* \*

После переселения в Шарлоттенбург атмосфера родительского дома все более наполнялась политическими интересами, жадно воспринимавшимися юными сыновьями. Отцу теперь как советнику городского управления Берлина было подчинено строительство. Он провел красивое озеленение улиц. В прусском ландтаге он занимал должность референта отдела культа в бюджетной комиссии. Ораторским даром он не обладал, поэтому он был не ведущим, но умным, компетентным политиком. В его доме бывали либо в силу дружественных отношений, либо на обычных приемах вожди национал-либеральной партии, благородный Беннигсен, воодушевленный Микель и другие известные политики, в том числе депутат Риккерт, затем Фридрих Капп, либерально-демократический политик старого типа, смерть которого была болезненно воспринята кругом его друзей; затем министр финансов Хобрехт и его брат, известный архитектор входящие в веберовский круг, советник посольства Эгиди, академический преподаватель и одновременно помощник Бисмарка в министерстве иностранных дел; Юлиан Шмидт, оригинальный историк литературы в качестве близкого друга, затем звезды ученого мира — Дильтей, Гольдшмидт, Зибель, Трейчке и Моммзен. Некоторые лица этого круга относились к вершинам, определявшим духовные контуры времени. Сыновья дома, к которым более близкие друзья родителей, прежде всего Кнапп, Юлиан Шмидт, Эгиди, проявляли живой интерес, получали от этого общения многосторонние импульсы. Уже подросткам им разрешалось предлагать при трапезах депутатов сигары после обеда и ловить из политических диспутов то, что им было доступно. Обоим старшим, Максу и Альфреду, благодаря этому рано становятся известны постановки политических вопросов и своеобразие политических отношений. К этому добавлялись ежедневные сообщения отца о событиях в парламенте и фракции и о вождях высокой политики, прежде всего о Бисмарке, которого национал-либералы тогда очень почитали. То, что молодой Макс непосредственно воспринял таким образом из становящейся мировой истории, осталось незабываемым еще 40 лет спустя. Уже начало войны 1870 г. запечатлелось в его памяти.

Шестилетний мальчик пережил его там же, где позже встретил начало Первой мировой войны, в доме деда у Неккара, где родители проводили летнее время. Невсоятное напряжение перед принятием решения, наивная вера в справедливость своего дела, радостная серьезная решимость готового к жертвам, воинственного народа, стремящегося добиться положения великой державы, — затем торжество и восторг победы и гордое чувство достигнутого единства империи — все это мальчик полностью воспринял, и оно отложило отпечаток на всю его жизнь.

Затем настало школьное время в Шарлоттенбурге. Последствия болезни были преодолены, однако маленький Макс ощущает себя слабым и тщедушным, робким и неловким во всех физических упражнениях — кажется, что его тонкая шейка с трудом несет большой, грушевидный череп. Напротив, школьные требования осуществляются без всякого труда и уже рано проявляется духовная активность и самостоятельное влечение к знанию. О девятилетнем мальчике мать рассказывает: «Макс погружен в историю и генеалогию», а бабушка говорит: «Макс проявляет уже более высокое стремление, его очень интересует латинский язык, он каждый день радуется новым словам и счастлив, когда его проверяют, причем он никогда не путает значения слов. Но писать ему стало скучно: он пачкает бумагу и даже руки, и ему, по-видимому, безразлично, какое впечатление он производит; это и то, что он бесится с соседними детьми и его щеки стали румяными, радостно. При этом он находит время играть в течение получаса после обеда на рояле, так как он уже некоторое время приступил к занятиям со здешним учителем, что его страстно увлекает: его пальцы быстро двигаются и у него, по-видимому, хороший слух.

Мальчик охотно пишет письма; когда родители уезжают, они получают хроникальные сообщения, если же он сам уезжает с отцом, то посылает матери подробные описания их времяпрепровождения. В такой форме он отмечает увиденное и пережитое. В этих детских письмах содержится очень мало о нем самом, но много о жизни дома и о прекрасном мире, впечатления от которого он жадно впитывает. Мы читаем сообщения о забавных и милых высказываниях младших, об их школьной жизни, ощущаем аромат летнего сада, в котором зреют любовно оберегаемые плоды, кудахтают куры и живут своей жизнью бесчисленные кошки.

В 12 лет Макс пишет: «Важное сообщение! Котята! Уже 4 дня тому назад рыжая кошка принесла на кровати Цербы четырех котят. Затем серая — четырех под лестницей веранды фр. Блум, из которых черный кот живет у нас. Теперь «старуха» произвела на свет в папиной комнате троих, черного кота, серого кота и серую кошку. Котят рыжей кошки утопили, но другие оказались уже

слишком большими, когда их заметили, так что у нас опять добавочно семь кошек (!!!!). Макс».

Мы узнаем также о летних прогулках на озерах, образуемых Хавельским каналом, об огромной снежной бабе, которая серьезно таращит свои угольные глаза на холодный воздух. Из письма двоюродному брату, о котором вскоре пойдет речь, мы узнаем, как старший мальчик по старому обычаю семьи украсил елку позолоченными им самим орехами и печеньем — на вершине елки возвышается старомодный младенец Христос — и как Елена, для которой после смерти дочери это праздничное время пронизано глубоким горем, после непрерывной занятости наконец сидит с толпой детей в таинственно затемненной комнате у закрытой двери и поет старые, прекрасные песни, — как наконец открывается перед взором детей рай, малыши совершенно очарованы сиянием елки и лишь медленно находят путь от священного чуда к собственной грубоватой сущности.

В этом описании событий Макс уже пользуется специальными терминами: «Куклу, которую ты послала Кларе, аннексировал Артур, несмотря на настойчивый протест Клары, и утвердил свое право, отстояв его от нападений под громкий рев обеих фракций. Он настолько влюбился в эту куклу, что не выпускает ее из рук и в конце концов ее пришлось положить к нему в постель. Клара, правда, часто пыталась вернуть себе свою собственность, но ей это не удалось, она смирилась с неудачей своих попыток и таким образом кукла, вероятно, перейдет по праву давности к Артуру».

Летом отец часто брал трех старших мальчиков с собой в различные поездки и знакомил их в далеких странствиях с великолепием немецких земель. Один его племянник сказал по этому поводу: «На это не у каждого отца хватило бы терпения и достаточно крепких нервов! Трудно даже представить себе, на какое озорство способны эти три сорванца и сколько драк им необходимо каждый день, чтобы чувствовать себя удовлетворенными». Длинные, похожие на дневники письма 14-летнего Макса ведут нас по городам и лесам Тюрингии к Рейну. В них чувствуется, как этот совершенно не занятый собой мальчик увлеченно воспринимает красоту земли и все, что насыщает его историческую фантазию. Мы как бы слышим в этих письмах веселый смех путешественников, когда 8-летний Карл делает свои забавные замечания. И ощущаем, как благоговейно вздрагивает старший мальчик, впервые входя в Кёльнский собор. «С вокзала мы пошли в собор. Мы вошли через будущий главный портал и сразу же ощутили во всей полноте поистине захватывающее впечатление от великолепного здания. Эта невероятная высота! Эти пилястры! Если смотреть на пилястры, строение представляется чудовищным, фантастическим



сооружением, если же смотреть на величественные готические своды, то охватывает неопишное чувство покоя и уверенности. В этот день было субботнее богослужение и обход был закрыт. Это придется, следовательно, отложить на многообещающее будущее, как и вообще более подробный обзор собора, о котором у нас осталось лишь общее впечатление. Затем мы поднялись наверх. Только оттуда можно увидеть всю полноту архитектуры и пластики и представить себе весь основной замысел строения; больше чем на окружающей местности, которую можно обозревать на много миль вперед вплоть до Зибенгебирге; больше чем на городе взор останавливается на обеих мощных башнях, которые теперь уже не подобны фрагментам, взирающим, как громадные вопрошительные знаки в будущее; уже построены 4 маленьких этажа, и их судьба полностью решена».

\* \* \*

Но самое важное в этой богатой впечатлениями жизни мальчика — все-таки книги. Макс рано начинает заниматься, исходя из собственного импульса, тем, что попадает ему в руки, прежде всего историей и античными классиками, затем философией, в шестом и седьмом классах он читает Спинозу и Шопенгауэра, в старшем классе — преимущественно Канта. В 12 лет он сообщает матери, что одолжил «Principe»<sup>4</sup> Макиавелли, затем предполагает прочесть *Antimacchiavell*<sup>5</sup> и заглянуть также в работы Лютера. В тот же год он спрашивает гейдельбергскую бабушку, обрадует ли он своего двоюродного брата Гаусрата составленным им генеалогическим древом Меровингов или Каролингов в качестве ответного дара за коллекцию бабочек. В 14 лет он ей рассказывает, что составляет историческую карту Германии за 1360 г. «Эта карта стоит мне много усилий, так как материал для нее мне приходится извлекать из различных генеалогий, локальных историй и энциклопедий и часто из-за совершенно незначительного местечка я Бог весть сколько времени роюсь в специальных словарях. Теперь эта работа идет к концу, и я полагаю, что, когда справлюсь с ней, она доставит мне много удовольствия». В письме матери, написанном в 15 лет, сказано очень характерно: «Я не фантазирую, не пишу стихи, что же мне делать, если не читать, а это я делаю основательно». К этому времени он уже начинает делать выписки из книг.

К началу 1877 г., следовательно, когда ему еще не было 14 лет, мальчик пишет, по-видимому, как запоздавший подарок к Рождеству, два исторических сочинения «по многочисленным источникам»: «О ходе немецкой истории, в частности о положении императора и папы» и «О Римской империи от Константина до

Великого переселения народов». Они «посвящены составителем р.р.<sup>6</sup> собственному незначительному Я и своим родителям, а также сестрам и братьям». В последнюю статью вставлен план Константинополя, генеалогическое древо семьи Констанция Хлора и изяшно нарисованные головы «Caesares et Augusti<sup>7</sup>, очевидно, по античным монетам, которые он тогда собирал. Через 2 года он пишет — также на Рождество — Соображения о характере, развитии и истории индогерманских народов». Эта статья уже является результатом близких к философии истории размышлений. В ней делается попытка понять всю историю культуры народов и уяснить «законы ее развития». Автор сначала описывает «сущность» и «культурный уровень важнейших народов», исходя из различия между «душой народа» как источника религии и поэзии народов и «народным духом» как формы деятельности рассудка, посредством которой только и создается «культура» в подлинном смысле слова. То, что имеется в виду, показано посредством сравнительного анализа различных поэтических произведений, философий и религий. Объектом этого анализа являются Восток и Запад, но прежде всего произведения греков. Его очень интересует противоположность между Гомером и Оссианом; он подробно сравнивает их различные жизненные идеалы и отношение к смерти, причем говорит об этом не только в данной работе, но и в ряде писем, с которыми мы скоро познакомимся. Во второй части будущий ученый пытается выявить «законы» политической истории народов от начала развития культуры до настоящего времени. Что такие законы в истории существуют, — как они существуют в природе, — для него несомненно: «народы так же не могут сойти с колен, на которую они вступили, как небесные тела, при условии, что к этому не приведут внешние помехи, посредством которых модифицируются и орбиты звезд». Причиной тысячелетней борьбы между Востоком и Западом представляется ему то, что два главных ответвления кавказской расы, семиты и индогерманцы, разделены непреодолимой неприязнью; эта необъяснимая неприязнь определяет, по его мнению, историю древности, и доходит до позднего средневековья. И ему все время кажется, что смещение обоих элементов ведет к «семитизации», то есть к подавлению арийской культуры. Семитский деспотизм и религиозный фанатизм все время угрожали индогерманским государствам. Даже битва при Саламине, которая на тысячелетие обеспечила арийское господство на Западе, не разделила навсегда враждующие Восток и Запад: античная культура была погублена новым вторжением семитского влияния, в том числе христианизацией Запада. Исходя из этого, мальчик в конце приходит к следующему политическому выводу: индогерманские народы чужды как духовному сме-

шению, так и свойственным семитам формам «деспотического» господства. Впрочем, и форма республиканского правления для них нежелательна, «единственным подходящим и поэтому желательным государственным устройством является для них конституционный строй».

Для школы этот подросток почти ничего не делает, лишь иногда обращает внимание на то, что происходит на уроках, так, например, в четвертом и пятом классах он во время уроков постепенно прочел под партой все 40 томов Гёте в издании Котта. В классе он всегда самый младший и самый слабый, к тому же, по его воспоминаниям, он «чудовишно ленив», полностью лишен чувства долга, а также честолюбия. Каждое «стремление выдвинуться» вызывает его презрение. Учителями он не дерзит, но внутренне не ощущает к ним уважения; у них же он вызывает некоторое опасение, так как часто задает вопросы, ответить на которые они не могут. Другам, с которыми он играет в скат и курит трубку, он очень помогает в их работах; как только оказывается какой-либо пробел в знаниях, он исследует вопрос полностью и находит удовольствие в сообщении своих выводов. Именно потому, что он хороший товарищ и совершенно лишен высокомерия, он кажется своим сверстникам «феноменом».

Воспоминание о его поведении в школьные годы сложилось впоследствии в представление, что он доставлял матери много забот в моральном отношении, — что она, улыбаясь, отрицала. Между тем ряд мест в ее письмах свидетельствуют о том, что она в самом деле страдала от растущей замкнутости и недоступности своего подрастающего, не по летам развитого старшего сына. Так она пишет Иде Баумгартен, которая живет в тесной близости со своими, правда, уже взрослыми сыновьями: «Я позавидовала той внутренней близости, которая побудила Отто написать тебе такое письмо. Будут ли мои сыновья также когда-либо обращаться за советом к своей матери в поисках опоры? Боюсь, что я для этого слишком “мох”»<sup>8</sup>.

Елене приходится в этот период видеть душу своего ребенка в некоем отражении. Летом 1877 г. и в следующую зиму старший сын Иды Фриц учится в Берлине. Елена полюбила как сына приветливого, сердечного юношу и радуется его обаятельной, сияющей свежестью молодости. Он постоянно бывает в доме, легко сходится с его обитателями, восхищается тетей, а юные кузены быстро привязались к нему. Он хочет стать учителем. Елена советуется с ним о своих сыновьях. Студент полностью вошел в шарлоттенбургскую семейную жизнь и ярко описывает своей матери членов этой семьи и мелкие характерные события в их жизни. «Теперь, после того как я уже много дней провел в Шарлоттенбурге,

я узнал здесь людей совсем иным образом. Я понимаю теперь, почему ты часто ссоришься с дядей; если бы он не был моим дядей, я бы поступал так же. Ему недозволительно хорошо живется с его Еленой, и он подлинный деспот. Но у него широкая натура, он щедро тратит свои возможности на окружающих людей, я тоже уже очень многим обязан ему. Правда, с тетей мне еще приятнее. Ее обращение с детьми совершенно великолепно, а она все время жалуется, что не может вести себя, как ты; будут ли когда-нибудь ее сыновья приходить к ней, как мы к тебе, представляется ей сомнительным, «а если бы они и пришли, говорит она, я не сумела бы дать им такой совет, как твоя мать. Мне недостает красноречия»...».

В Шарлоттенбурге дядя приветствовал меня нравоучением, что с моей стороны было непедagogично дать маленькому Максy биографию деда Фалленштейна — она была нужна Максy для большой таблицы членов семьи, которую Макс составляет. То, что я всегда порицал, а именно, что Макс читает многое еще несоответствующее его возрасту, — теперь обратилось против меня. После обеда мы совершили многочасовую прогулку в Грюневальд, вдоль прелестного, расположенного среди елей озера, где было замечательное эхо. Макс и Альфред участвовали в прогулке. Макс время от времени приносил нам куски дерна и шишки. Альфред простодушен, весел и шумен. Когда наступили сумерки, тетя стала петь своим прекрасным голосом одну песнь за другой, встала полная луна, звезды сверкали, дядя, тетя, племянник и сын радостно пели, идя по лесу. Макс ни за что не соглашается петь. Альфред же поет с увлечением — не легко найти братьев, столь непохожих, как эти двое. На обратном пути Макс рассказывал не без тщеславия о своем посещении Страсбурга, и Альфред внимательно прислушивался. Мне все время приходилось сдерживать смех, глядя на них. Родители, которые шли за нами, также посмеивались, особенно забавен был Альфред, считая мои охотничьи рассказы чистой правдой».

После отъезда Фрица из Берлина Макс, которому тогда было 14 с половиной лет, регулярно пишет ему, иногда целые сочинения обо всем, что происходит дома и что занимает его мысли. Елена благодарна взрослому племяннику за общение с Максом, она ждет от этого благотворного воздействия и просит племянника разрешить ей прочесть письма сына. По этим письмам можно судить о том, что духовно занимало его в 15 и 16 лет. Это История Греции Курциуса, работы Моммзена и Трейчке, История Соединенных штатов Америки, «Культурные растения и домашние животные» Гена. Попутно он упоминает о своей манере читать: «Я читаю медленно, так как делаю во время чтения много выписок».

Больше всех его восхищают романы В. Алексиса и Вальтера Скотта. «В последнее время я много размышлял об «Эдинбургской темнице» Вальтера Скотта. Не знаю, читал ли ты эту книгу, но это один из самых захватывающих романов, мне известных. Я удивляюсь моим товарищам, которые читают современные базарные новеллы и не уделяют внимания этим достойным восхищения старым романам. Вообще ученикам высших классов гимназий свойственна эта странная особенность — они чувствуют свое несомненное превосходство над авторами всех разумных романов, хотя часто совершенно не знают этих книг и находят удовольствие, как уже было сказано, в незначительных новеллах и скандальных историях — что напоминает, как мне представляется, характер чтения римской знати в период ранней Империи. Быть может, то, что я утверждаю, будучи одним из самых младших юнцов в старших классах, может показаться самонадеянным. Однако оно настолько бросается в глаза, что я могу утверждать это, не боясь ошибиться. Конечно, как всегда, есть исключения...»

Суждения Макса о греческих и латинских классиках, Гомере, Вергилии, Ливии, Цицероне, Саллюстии свидетельствуют о раннем развитии рассудочной деятельности и о поразительной духовной интенсивности; сравнение Гомера и Оссиана — о восприимчивости к поэзии и склонности души к «последним вопросам». Цицероном, которого он считает «невыносимым» как из-за его хвастливости и фразерства, так и вследствие его меняющейся политики, он занимается в течение ряда месяцев — очевидно потому, что созданный школой образ представляется ему неверным. Макс читает все доступное ему из речей Цицерона и о нем, вследствие чего выступающие на римской мировой арене лица и мотивы их действий предстают ему в их полной жизненности. Когда его кузен, который старше его на 6 лет и уже студент, неприятно пораженный решительностью этих критических суждений 14-летнего мальчика, намекает ему на то, что он, вероятно, откуда-нибудь переписал свои суждения, тот скромно, но решительно отрицает это. Елена не знает, радоваться ли ей, видя, как молодой орел поднимает крылья, или огорчаться, считая самонадеянностью его недетскую начитанность и способность к диалектике. Она ведь сама еще очень молода, и неспособна выносить суждения о прочитанном. Она от души радуется, когда Макс пишет чисто детские письма, например, подробное описание торжественного вступления в Берлин императора Вильгельма после покушения на него. Вот несколько выдержек из этих писем: «...Ты хочешь, чтобы я тебе сообщил, как мне нравятся отдельные писатели. Что касается Гомера, то ты ведь знаешь, что он мне нравится больше всех писателей, которых я читал. Причину этого, собственно, не так легко уста-

новить. Думаю, что дело не только в прекрасном звучании греческого языка самого по себе, а прежде всего в особой естественности, с которой рассказываются все события. Во всяком случае, я не могу утверждать, что когда-либо чувствовал при чтении Гомера то напряжение, которое связано с любовью к чтению романов, а также высшее очарование драмы. Правда, цель драмы не только в том, чтобы возбуждать напряжение и вызывать очарование, ибо тогда бы она не была, как я полагаю, в столь высокой степени средством образования старых и молодых людей, но тем не менее я нахожу, что драма, особенно трагедия, не произведет достаточного впечатления, если она не вызывает напряженного внимания. У Гомера же мы этого совершенно не находим. Поэтому прекратить чтение его произведений гораздо легче, чем оторваться от романа. Когда я читаю роман, мне трудно от него оторваться. Мне хочется читать дальше, и если я прекращаю читать, я ощущаю известную неудовлетворенность. Чтение же Гомера можно прервать в любую минуту, отложив книгу, чтобы впоследствии вновь к ней вернуться. Именно потому, что это не воспроизведение событий, а рассказ, потому, что он сообщает не цепь наступающих друг за другом событий, а описывает их становление и спокойное следование. Если наступает катастрофа, то мы уже заранее к ней подготовлены. Так, как, например, смерть Гектора, катастрофа же у Эккехарда и вообще у «предков», а также в большинстве других романов, за исключением, быть может, романов Вальтера Скотта, наступает внезапно. У Гомера все давно неизменно определено судьбой и вследствие этого напряжение и огорчение читателя уменьшаются. Значительно меньше, чем Гомер, мне нравится *Вергилий*. Он пытается вызвать в своей «Энеиде» известное напряжение, которое не очень ощущается, а если и ощущается, то вызываемое ею чувство неприятно. Это отчетливо проявляется в 4-й книге, где описывается катастрофа, перенесенная Дидоной. Отчасти это удалось, но чувство, которой я при этом испытывал, не было приятным, потому что напряжение не возникает естественно из самих событий, а искусственно вызывается различными средствами. Правда, небольшие бюргерские эпосы, как, например «Герман и Доротея» Гёте, не имели бы определенной цели и вообще были бы не эпосами, а идиллиями, если бы в них не было напряжения, но это ведь именно бюргерские эпосы. Их материал, как правило, ограничен и описывает лишь эпизод из жизни героя. Напротив, цель такой героической поэмы, как «Энеида», — по возможности прославить героя и наряду с этим радовать прекрасным описанием деталей. Поэтому она может, в сущности, создать напряжение лишь в незначительной степени... Что касается Геродота, то могу сказать, что питаю большое ува-

жение к нему и к его невероятному прилежанию; при чтении его истории заметно, что он почти повсюду бывал и старался получить точнейшие сведения. Этим он в значительной степени компенсирует легковерие, за которое его, имея в виду уровень образования тогдашнего времени, нельзя упрекать. Геродот не критик, он, правда, часто критикует, но его критика с нашей точки зрения часто более бессмысленна, чем критикуемые им теории и мнения. Он не пытается проникнуть во внутренние причины событий, а в тех случаях, когда он как будто это совершает, его объяснения являются порождением его собственного ума и обусловлены его набожностью и возникшим из этого суеверием.

Считать его достойным полного доверия историком, конечно, нельзя. Правда, он исследовал все с большим прилежанием, однако ему важно было прежде всего выявить движение судьбы и неизменные помыслы божества, судьбы, которая все время находит свое выражение в истории и все обуславливает. Манера его изложения поэтична. Он близок Гомеру. Его история — переложенный в прозу эпос. Читать его очень приятно, в частности из-за его всегда одинаково красивого языка и воодушевления, подчас прорывающегося в книгах о войне с персами.

*Ливий*, который жил на 400 лет позднее Геродота, совершает те же ошибки, но не имеет тех же преимуществ. Он также плохой критик: установить, как он пользуется своими источниками и какие источники он использовал, по-моему, трудно. Вряд ли он использовал все источники, которые тогда еще были. Это было для него, вероятно, слишком утомительным. Во всяком случае, прилежанием Геродота он не отличался, а поскольку он лишен также его наивности и одушевления, чтение его не доставляет мне большого удовольствия.

Что же касается *Цицерона*, не могу сказать, что он мне особенно понравился. Я нахожу, например, что его первая речь против Катилины полностью лишена огня и решительности. Во всех книгах о Цицероне, которые я до сих пор прочел, ему расточают похвалы. Но я действительно не понимаю, на чем эти похвалы основаны. Он несомненно был нравственно очень чистым человеком, совершенно не затронутым жадой кутежей и наслаждений, но об этом в книгах о нем почти нет речи или только упоминается между прочим. Что касается его первой речи против Катилины, то она, как и вообще его неустойчивая и неуверенная позиция, не произвела на меня никакого впечатления. Он так и не пришел к определенному решению, хотя видел, что опасность для государства была олицетворена в одном стоящем перед ним человеке. Вся речь против Катилины — лишь длинная песнь, преисполненная стонов и жалоб. И это в присутствии столь опасно-

го человека, главы заговора! Ведь в этой же речи он обвиняет Катилину в безнравственности и т. п.! Не думал ли он, что стенания о государственной опасности могут повлиять на безнравственного и равнодушного человека и что эта жалобная песнь заставит его отказаться от своих планов? Не думаю. Напротив; разве, говоря Катилине о страхе и опасениях сената и жителей Рима, он не утверждает его в желании осуществить свои планы? Затем он умоляет Катилину, и в этом основное содержание его речи, Бога ради уйти из Рима. Неужели он полагал, что Катилина обратит на это внимание? Напротив, видя колебание сената и консула, допуская мысль, что Цицерон настолько потерял надежду, что вынужден обратиться с просьбой к нему самому, он и его соратники должны были обрести еще большую уверенность. Да и вообще, что за близорукая политика, которая сводится к устранению из Рима одного Катилины! Думал ли он, что тогда легче справится с другими мятежниками? Тогда он заблуждался. Среди мятежников были люди, обладавшие совсем иной активностью и иными способностями, чем Катилина. Ведь Цицерон сам говорит, что ему известны мятежники, следовательно, он не мог этого не знать. Но даже если дело обстояло не так, Цицерон ведь знал о восстании Маллия у Фезул. Даже если бы ему удалось удалить Катилину из Рима, чем бы это ему помогло? Катилина прямо бы отправился в лагерь Маллия и это бы только усилило опасность для государства. Разве Цицерон не мог оставить его в городе и «прикончить» его? Мятеж же был всем известен. Никто бы не обвинил его за это, он ведь сам так говорит. В чем же была причина его нерешительности? Он говорит, что хочет подождать, пока у Катилины не останется ни одного защитника, тогда он должен будет умереть. Как это понимать? Мне это не ясно. Думает ли он, что сторонники Катилины покинут его, перестанут его защищать, если прождать достаточно долго? Тогда он ошибался! Напротив, число его сторонников должно с каждым днем возрасти, и это он также сам говорит в своей речи. В общем, я считаю его первую речь против Катилины очень слабой и бессмысленной, а его политику вообще неуверенной с точки зрения поставленных целей, самого же Цицерона — лишенным необходимой активности и энергии, политической ловкости и способности находить нужный момент для действия. Ибо если бы он арестовал Катилину в нужное время и уничтожил в зародыше укрепление Маллия, то римское государство не потерпело бы страшной и кровавой битвы у Пистойи, в которой тысячи погибли в смуте. Если ты другого мнения, напиши мне и изложи свои соображения, если у тебя будет время на это. Быть может, я иногда несколько увлекался и был слишком резок в пылу спора или не вполне ясно излагал свою мысль, тогда извини, так как я очень бы-



стро и недостаточно продуманно писал такое длинное письмо, ибо уже довольно поздно» (9.9.1878).

«... Большое спасибо за твое последнее письмо. Тебе кажется, что мое мнение о Цицероне слишком опрометчиво? Возможно, но ты ведь этого хотел. То, что ты говоришь о влиянии, испытываемом от прочитанных книг, очень верно. Не знаю только, прав ли ты, применяя это в данном случае ко мне; то что ты пишешь, звучит так, будто ты думаешь, что я взял книгу и списал оттуда или во всяком случае пересказал содержание ранее прочитанной книги. Ведь таков краткий смысл длинной речи? Ты пытаешься изложить эту мысль по возможности в менее конкретной форме, ибо исходишь из неправильного — поскольку я себя знаю — мнения, будто я способен на тебя обидеться. Между тем до сих пор при стремлении к самопознанию я не мог признать, что какая-либо книга или слова из уст нашего учителя производят на меня большое впечатление. Я действительно писал это письмо очень быстро и кое-что могло попасть на его страницы, что не было моими собственными мыслями, но ведь мы, младшие, вообще в значительной степени пользуемся сокровищами, которые вы, старшие, — а таким тебя следует считать — собрали. Однако *не могу признать*, что слышал от моего учителя-латиниста что-либо существенное о характере Цицерона или его политике. Не мог я много почерпнуть и из книг, так как в важные исторические работы, например, в «Историю Рима» Моммзена, я заглянул только теперь. Я согласен с тобой, что все может косвенным путем поступать из книг — к чему же вообще книги, если не для того, чтобы разъяснять людям то, что им не ясно, и поучать их? Возможно, что я очень склонен к восприятию книг, высказываний и дедукции, содержащихся в них. Об этом ты можешь судить лучше, чем я, ибо в определенном отношении легче понять другого, чем самого себя. Но прямо содержание моих, быть может совершенно неверных, утверждений не взято из книг. Впрочем, я никак не могу на тебя обидеться, так как убедился, что Моммзен пишет нечто очень близкое. Во всяком случае, я считаю, что сказанное мной о Цицероне вполне может быть выведено уже из знания Римской истории того времени и что, прочтя первые три речи против Катилины и поразмыслив при каждой фразе, почему оратор ее произнес, можно прийти к такому же результату. Отдавая должное красноречию Цицерона, его прекрасным оборотам, его большому значению в области языка и философии, должен сказать, что мне он совсем не нравится. И меньше всего после того как я прочел третью речь против Катилины. Конечно, и нравственную чистоту следует очень ценить в условиях того времени, хотя она и не вполне совершенна, одна-

ко сравнение его с Катуллом и Катонем равносильно сравнению Помпея или Бибула с Цезарем...»

(25.10.78)

«...К счастью, это обязательное чтение (стихотворение Виланда о природе вещей) не единственное, я читал кое-что и кроме этого, то, что меня очень интересовало и радовало. К этому относятся прежде всего некоторые вещи Оссиана, причем лучшие, которые я еще не читал. Не знаю, знаком ли он тебе, его теперь не много читают, но по языку и поэзии он относится к лучшему, чем мы располагаем. Я ставлю его едва ли не выше Гомера, во всяком случае считаю равным ему, хотя он и очень далек от него. Его дикая поэзия сначала полностью переполняет и, если стараться быть восприимчивым, еще долго звучит. Такой *memento mori*<sup>9</sup>, как

Hinter dir steht dämmernd der Tod  
Gleich wie die finstere Hälfte des Mondes  
Hinter seinem wachsenden Licht.<sup>10</sup>

я не забуду. Я, к сожалению, не слишком восприимчив, но я ничего еще не читал с таким удовольствием, как раньше «Фингала», теперь «Песни Вельмы», «Carthaun, Oighthama и др. Когда поэт заставляет нас лететь над сумрачным прибоем, блуждать в шумящем лесу, где сверкают молнии, в бурном урагане ехать верхом по сырой степи, мы испытываем такое же удовольствие, хотя и совсем иное по своему характеру, как то, которое доставляет нам Гомер, когда ведет нас мимо зеленых берегов по синему морю при мягком зефире, или предоставляет нам уютно сидеть за трапезой в теплой комнате. Оба поэта говорят устами старцев о молодых. Но по-разному. Гомер воспринимает молодость в ее радости, Оссиан же с точки зрения умудренной старости. Он считает молодость счастливой лишь постольку, поскольку ее существование есть греза. Так он однажды в мрачном настроении говорит в начале стихотворения о сражении:

Unsre Jugend gleicht dem Traum  
Des Jägers am Hügel der Haide:  
Er schlief im milden Sonnenschein,  
Ihn erweckt der tobende Sturm  
Umher zuckt flammend der Blitz  
Der Bäume Haupt erbrauset im Wind:  
Er denkt mit Freude zurück  
An die Tage des sonnigen Strahls,  
An die lieblichen Träume der Ruh.<sup>11</sup>

В этом стихотворении ясно просвечивает сентиментальное, бурное восприятие постаревшего северного поэта в отличие от наивной, солнечной, спокойной поэзии старого южанина. Трогательно другое место, где Оссиан жалуется, что он, слепой старец, не видит больше прекрасный свет солнца; но об этом Оссиан печалится меньше, гораздо сильнее огорчает его, что он не может больше увидеть дикого Фингала, что он утратил молодую силу своих рук, свое молодое мужество. Какая противоположность югу! Там для человека нет ничего выше жизни, и способности видеть прекрасный свет солнца φῶς Ἠέλιος; мрачен и темен, полон страха для элина потусторонний мир. Господствовать над тенями в мрачном Аиде — судьба умерших героев. Италику смерть не представлялась настолько ужасной. Он в отличие от скотоводов элинов привык получать все лучшее от земли. Для нордических народов в смерти не было ни страха, ни страдания. Она часто представлялась им желанной. Этим объясняются и описания борьбы тех и других. В то время как Гомер не считает бегство позором, если этим можно спасти жизнь, то у Оссиана смерть необходима, если избежать ее можно только бегством. — Прости, милый Фриц, если я здесь опять слишком увлекся, это происходит потому, что я уже столько нацарапал, что перестал следить за собой и легко становлюсь многословным.

(19.12.79)

Благодаря чтению таких писем у Елены сложилось впечатление о духовной жизни ее старшего сына, однако ее по-прежнему удручала закрытость этой молодой души по отношению к ней во время его конфирмации, когда она больше, чем обычно, стремилась к внутренней коммуникации с ним. Преподавание было условным и догматичным и ничего не давало пытливому рассудку; Макс не принимал это неуважительно, но по-видимому, с безразличием. Через год после этого он с напряженным вниманием воспринимал уроки уважаемого либерального преподавателя истории религии и стал по собственному желанию заниматься древнееврейским языком, чтобы изучать Ветхий Завет в оригинале. Перед конфирмацией мать пыталась передать сыну собственное волнение. «В прошлое воскресенье, когда я могла спокойно провести с детьми некоторое время, я попросила Макса junior прочесть мне проповедь пастора Риффа (оригинального эльзасца) о «воскресенье». Сначала ему не хотелось, и он предпочел бы что-нибудь историческое, Гомера или Данте; однако он все-таки выполнил мою просьбу, и я заметила, как его захватило, заинтересовало это реалистическое, сильное изложение и заставило задуматься». Так она боязливо борется за интерес сына к тому миру, в котором она живет, но должна с огорчением заметить, что ее 15-летний сын

лишен глубокого религиозного чувства и уклоняется от ее материнского влияния. Она чувствует себя беспомощной и тяжело страдает: «Чем ближе конфирмация Макса, тем меньше я замечаю, чтобы он ощущал какое-либо глубокое, волнующее влияние, заставляющее подумать о том, что он скажет перед алтарем о своем убеждении. Недавно, когда мы вновь были одни, я попыталась выяснить, что он думает и чувствует по поводу основных вопросов христианского сознания. Он как будто очень удивился моему предположению, что обдумывание и уяснение таких вопросов, как вера в бессмертие, в управляющую нашей судьбой всеблагость и т. д. должны проистекать как следствие из подготовки к конфирмации для каждого мыслящего человека. Я ощущала с таким теплом то, что будучи свободным от всякой формы, стало моим самым живым убеждением, но, милая Ида, высказать это так, чтобы оно произвело какое-либо впечатление на моего ребенка, я не могла. Хотя Фриц и любит повторять старую поговорку: Маленькие источники также могут утолить жажду! Но они ведь должны течь! И мне не легко было в этом случае также смириться, предоставить будущее влиянию других, времени или какому-либо опыту».

Вероятно, по ее просьбе и старший друг пытается проникнуть в замкнутую душу мальчика, и его ответ, в котором сквозит знание собственной сущности и того, почему он так труден для матери, должен был несколько успокоить Елену:

«Ты спрашиваешь о моей подготовке к конфирмации и рассказываешь мне о том сильном впечатлении, которое эти занятия произвели на тебя. Наш пастор еще молод, но это не является преимуществом для занятий перед конфирмацией, ибо недостаток энергии у более старого человека возмещался бы внушаемым им достоинством. Ведь всегда находятся глупые парни, которые видят удовольствие в том, чтобы мешать занятиям своими детскими выходками. Не думаю, чтобы они осмелились на это, если бы занятия вел пожилой, внушающий почтение пастор. Странно также, что нам совершенно не надо готовиться к занятиям, только помнить несколько изречений, смысл которых большинство понимает очень поверхностно. То, что ты говоришь о насмехающихся над религией, совершенно верно; действительно, человек, способный искренне утверждать, что у него нет никакого убеждения, никакой надежды на жизнь в потустороннем мире, должен быть, как я полагаю, очень несчастным существом. Ибо жить без всякой надежды, зная, то каждый шаг приближает к полному распаду, распаду, который навсегда завершит существование, должно быть в самом деле ужасным чувством, отнимающим у человека всякую надежду. Что у каждого человека могут возникать сомнения, в порядке вещей, и я полагаю, что именно эти сомнения служат тому,

чтобы, будучи побеждены, укреплять веру. Ты писал мне о громадном впечатлении, которое ты испытал при конфирмации; поверь, я также сознаю, какой важный поворот в жизни мне предстоит. Не думай, что я чувствую меньше, если до сих пор ничего тебе об этом не писал или не говорил. По-видимому, моей натуре свойственно редко говорить о своих чувствах и мне часто приходится преодолевать эту черту характера, чтобы сообщить что-либо о себе. Я и каждой радостью, как правило, наслаждаюсь в одиночестве, но от этого мои чувства не становятся слабее. Мне трудно, как я уже сказал, рассказывать об этом другим. И то, о чем я думаю, я обычно сохраняю для себя, хотя это может привести к тому, что меня сочтут вообще неспособным мыслить. По той же причине я неспособен проявлять себя в обществе, и что мне грустно сознавать, совершенно непригоден для того, чтобы вести беседу. Неприятное состояние, которое я при всем желании изменить не могу...»

Еще один, более поздний документ, письмо перед конфирмацией его младшего брата, показывает, что и его «югендвейе» торжественно взволновало, хотя по-другому, чем хотелось бы его матери. «С конфирмацией дело происходит особым образом. Меня в свое время этот торжественный акт действительно взволновал, я воспринял его в тот момент как своего рода рубеж. Какого рода этот рубеж и в чем его сущность — в этом я не мог отдать себе отчет, ибо само собой разумеется, что в моей жизни в остальном не произошло заметных изменений... Поэтому уяснить юноше нашего общественного класса смысл и значение конфирмации нелегкая задача; для меня она означала официальное вступление в большое сообщество, с теоретическими учениями и взглядами которого я, конечно, стал знаком не только благодаря подготовке к конфирмации — естественно, что значение этого акта ищут в *практической* сфере. Однако, во-первых, в этом возрасте молодой человек еще неспособен найти себе применение в практической сфере, а во-вторых, *понимание* практического значения христианства в повседневной жизни — нечто, что *может* быть постигнуто лишь при других обстоятельствах. Следовательно, понять значение этого дня для себя — отнюдь не легкая задача для конфирманта и в этом отношении притязания могут быть только скромными...»

Конфирмационное изречение, полученное Вебером, гласило: «Бог есть дух, а там, где есть дух Божий, там свобода». Вряд ли какое-либо другое библейское изречение могло лучше выразить закон, с которым этот юноша вступил в жизнь.

С младшими сыновьями Елена испытала то же огорчение от напрасных усилий ввести их в основу собственной жизни. Так, об Альфреде она говорит: «Он очень мучается, я замечаю это по горячности и неумолимости, с которыми он пользуется любым поводом для доказательства того, что каждое воззрение имеет не меньшее право и вероятность, чем христианская религия. Затем он обращается к «Жизни Иисуса» Штрауса и к кантовской философии, а я стою и чувствую озабоченно и огорченно, что не могу ему помочь, так как не нахожу нужного слова в нужное время. А он тогда думает, что я не понимаю и не могу помочь, и это трудно перенести... Однако в остальном он гораздо доступнее, приходит иногда и хочет мне почитать; беда всегда в том, что я очень устаю к вечеру».

Однако младший сын, по крайней мере, приходит к матери со своими трудностями; старшему же по его натуре свойственно преодолевать все самому и не позволять заметить, что он борется; и он замыкается тем сильнее, чем больше чувствует домогательства его близости со стороны матери. Его сердце было тогда упрямым и боязливым — как он впоследствии говорил. Однако ее любовь неотвратима: «Я освобождаю часы до и после чая, чтобы побудить Макса, которому я в течение дня не могу уделить время, ввести меня в курс своих интересов посредством разговора или чтения. Он не проявляет такой потребности, и при столь различных наших склонностях мне приходится серьезно заниматься этим, чтобы мальчик не стал внутренне мне чужим. К моей радости, мне кажется, что он несколько вышел из состояния принципиально не произносить в разговоре со мной ни единого разумного слова, и я пытаюсь, не давая ему это заметить, удержать его в этой позиции» (1880).

Как могло случиться, что эта удивительно обаятельная любящая женщина, полная жизни и, несмотря на ее внутреннюю серьезность, столь жизнерадостная, остроумная, веселая, полностью посвящавшая себя детям, не находила в их переходный возраст доступа к их внутренней жизни? Ибо и остальные дети не видели в ней близкого друга.

Старший сын — она называла его «Большой» — сохранил отчетливое воспоминание о своем отношении к ней в то время: причиной его оборонительной позиции была скрытая интеллектуальная надменность тех лет. Мать в самом деле не могла ничего предложить рано сложившемуся, превосходившему ее по интеллектуальному развитию юноше, и его внутренняя жизнь была подобна нераскрывшемуся бутону. Он еще не может оценить свою мать. И затем: родители несомненно совершают педагогические ошибки. Оба они еще слишком молоды и слишком связаны с ав-

торитарной традицией, чтобы найти правильный тон в отношениях с этим не по летам зрелым, более интеллектуально одаренным мальчиком. Именно первые дети часто становятся объектом излишних морализирующих наставлений и раздраженного порицания. Когда студент Фриц Баумгартен сообщает своей гейдельбергской бабушке впечатления о членах семьи Елены и упоминает, что Макс jun. для него еще загадка, она ему отвечает: «В том, что тебе в Шарлоттенбурге понравится, я была заранее уверена. Елена действительно олицетворение любезности, она уже трехлетним ребенком буквально очаровала меня своей грацией и такой она осталась духовно и физически — только с годами стала еще более чуткой. Дядю я также как бы вижу перед собой с его сердечной добротой и живостью, с которой он *управляет* мальчиками, — и тебя причисляя к ним. Там все как будто так просто, и все-таки не только родители, но и дети совершенно различны. Что касается Макса, то я считаю его внутренне *порывистым* человеком и несколько *замкнутым*. При этом он обладает сильным рассудком и также доброй волей (т. е. если другая воля не испортит его настроение). Когда мы гостили тем летом, в его обязанность входило приносить вино из подвала, и он делал это охотно; но если он приносил не то, которое требовалось, и его за это порицали, он становился сердитым. Но это со временем изменится. В Эрфурте я наблюдала, как он совсем маленьким часами играл один — тогда он был мне неописуемо мил. Мы ежедневно ходили гулять — и ему приходили в голову самые оригинальные выдумки. Полагаю (доверительно говорю тебе), ему нужно уделять больше *любви* в воображении, чтобы помочь освободиться от самого себя». Вебер senior посягал на духовный авторитет с юных лет и не мог переносить мнения, отклоняющегося от его взглядов. При конфликтах он всегда считал правым себя. Елена наоборот всегда считала себя причиной неудачи и тяжело страдала от этого: «Мигрень вызвана внутренней озабоченностью, правильный ли путь я выбираю в ряде случаев, и внутренней усталостью, которая заставляет меня вспомнить песнь — ах, устала я от этого...» То, что она бессознательно делает неправильно, позволяют предположить высказывания об отношении к одному из младших сыновей: «Я все время задаю себе вопрос, быть может, я и в данном случае действую неправильно, когда борюсь с тем, что мне хотелось бы видеть в нем иным? Не замкнется ли и он, как Макс?» Так оно и есть. Ей так многое хотелось бы видеть *иным* в ее детях. Не сознавая этого, она, смиренница, борется совершенно в манере своего отца за формирование молодых душ по собственному подобию. Право на это она черпает в сознании абсолютного, божественного закона, который она осуществляет. Так она внушает детям своим примером и на-

стойчиво требует от них убеждения и нравственной позиции, которые они по своему возрасту и своей собственной природе не могут ни понять, ни осуществить. Она ждет плодов определенного рода от слабых деревьев, которые, быть может, предназначены для других свершений. К тому же она склонна к морализированию, порицает детей часто и в присутствии посторонних, на что ее впечатлительный старший сын очень обижается и что вызывает у него внутреннее противостояние, так как она слишком серьезно воспринимает все ошибки и нежелательные события. И наконец, ее собственное образцовое поведение обременительно. В душе, конечно, к ней примеряются и признают ее недостижимой. Так подростки спасаются от чувства своей неполноценности в противостояние. Происходит странное явление: этой столь чарующей для других — молодых и старых — женщине не дано сделать действительно счастливыми своих детей и видеть открытыми их молодые души. Особенно беспомощным становится поток ее любви, наталкиваясь на одиночество старшего сына.

При этом его сердечность время от времени проявляется. Он нежно любит своих младших сестер и братьев, внимательно следит за их деятельностью и пишет об этом матери, что должно было бы радовать ее. Так, в 1879 г. во время летнего пребывания с младшими детьми в Гейдельберге он пишет: «Мне очень не хватает Клары и Артура, иногда, когда я сижу здесь внизу в моей комнате, мне кажется, что я слышу их веселую болтовню в саду, но эти приятно-неприятные заблуждения доставляет мне шарлоттенбургская молодежь. Дом мне представляется теперь всегда как бы вымерзшим — странно представить себе, какой шум может произвести пара маленьких легких. Правда, Альфред старается заменять его своим петушиным голосом. В остальном все в порядке, мы ходим в школу, занимаемся ерундой, и жизнь течет гладко, спокойнее, если можно так сказать; здесь стало идиличнее — если в Шарлоттенбурге вообще скрываются поэтические, идилические сокровища... Что касается меня, то я бы предпочел быть у вас в Гейдельберге с его шумом и скандалом, чем здесь в Шарлоттенбурге с его поэтическим спокойствием».

\* \* \*

В те годы было еще неясно, воспроизведет ли «Большой» тип отца или матери. Он уже смутно чувствовал, что когда-нибудь придется сделать этот выбор — как только он сам займется собой и начнет сознательно формировать собственную личность. В матери действуют силы Евангелия, служение любви, жертвенность до последнего остается второй натурой; но вместе с тем она живет по



очень неудобным героическим принципам, преодолевает превышающую ее возможности повседневную работу в постоянном напряжении нравственной энергии, никогда не может игнорировать малейшие погрешности, а каждое значительное событие тихо погружает в вечность. Она столь решительна и полна сил в преодолении повседневности, столь радостно открыта красоте жизни — как весело она смеется! Однако она ежедневно погружается в глубины, пребывает в неземном. И отец, очень почтенный человек, совершенно бескорыстный в области политики и в своей должности; к тому же он умен, добродушен, сердечен и любезен, когда все идет в соответствии с его желанием; однако он — типичный буржуа, довольный собой и миром. Понимание сложной проблематики жизни он принципиально отвергает. С годами он полюбил внутреннее спокойствие и стал уклоняться от страданий и сочувствия. Его либеральные политические идеалы не могли быть осуществлены, новые идеологии, которые потребовали бы от него жертвенности в каком-либо направлении, не вдохновили его. Радостная открытость миру, любовь к природе, непритязательная способность к наслаждению, ощущение себя баловнем судьбы, которому, собственно говоря, все удастся, например, в каждом путешествии светит солнце, — способность видеть во всем происходящем хорошую сторону — все это позволяло видеть в нем растущим сыновьям хорошего товарища. Воспитание он в существенном оставлял матери, но много путешествовал и ездил со своими детьми, предоставляя им таким образом впечатления, которые немногим даны. Милее всего он был в поездках — он отказывался ради детей от обычного уютного покоя и был молод вместе с ними.

Разве такие родители не дополняли друг друга наилучшим образом? И не кажется ли, что сын должен был быть ближе отцу, который в силу своей натуры освобождал его от неприятного чувства собственной неполноценности? Правда, «быть хорошим товарищем» мальчику раннего развития отец не вполне умел. Для этого он в качестве традиционного патриархального отца семейства слишком уверен в своем превосходстве и в неустранимом притязании на значение и авторитет. Некоторые его свойства, например, позволять жене обслуживать себя, вызывают тайную критику детей, хотя они и следуют его примеру. Рано проявляется и различие в характере чувств и их выражении; так 17-летний Макс, которого отец впервые взял с собой в Италию, внезапно решил в Венеции, что он один вернется домой, ибо он находил невыносимым требование постоянно выражать восторг. И все-таки тогда юноша ощущал значительно большую близость к отцу, чем к матери.

# Студенчество и пребывание в армии

## I

Весной 1882 г. Макс Вебер сдал экзамен на аттестат зрелости и помог в этом также своим друзьям. Учителя подтверждают его выдающиеся знания, приобретенные, к сожалению, не посредством школьного прилежания, но выражают сомнения в *нравственной* зрелости этого трудного, не проявляющего должного уважения юноши. Долговязый и худой, с изящными руками и ногами и покатыми плечами, «кандидат на чахотку», он поступает, едва достигнув 18-ти лет, в Гейдельбергский университет, преисполненный жаждой знания и одновременно желанием стать крепким, сильным «парнем». Он находит комнату напротив дворца в тогдашнем Вальдгорне (теперь Шеффельхаус) совсем рядом с хорошо известным ему владением деда и бабушки и радостно, но совершенно несентиментально воспринимает красоту и свободу. В его письмах родителям звучит грубоватый берлинский юмор и откровенная радость жизни.

Он избирает, как и отец, юриспруденцию в качестве основной специальности и подготовки к профессии, а к этому еще историю, политическую экономию, философию и начинает вскоре заниматься в области наук о культуре всем, что преподают значительные учителя. У Иммануила Беккера, который находится на вершине славы, он слушает лекции по римскому праву: пандекты и институции, и самостоятельно изучает *corpus iuris*: «поначалу очень трудная работа». Начинающему, который в эмпирически-догматических науках ищет прежде всего твердых и доказанных истин, а не остроумных гипотез, мешает критический скепсис правоведа: Беккер «дает слишком много контроверз и слишком мало твердых пунктов. В каждом месте он вынужден констатировать, что создание системы еще отстаёт, и суды не достигают твердой практики. Виндшейд думает таким образом, а Иеринг по-иному, при этом сам Беккер не излагает собственную точку зрения, которой можно было бы держаться до усвоения источниковеде-

ния. Благодаря этому право представляется значительно менее устойчивым, чем оно может быть, и великая деятельность создания права кажется значительно ничтожнее, если именно там, где должны быть приняты первые великие решения, вам предлагают в виде объяснения, что здесь еще большой пробел». «Крайне сухо преподаваемую маэстро Книсом политическую экономию» он не выдержал и предпочел ознакомиться с основными понятиями этой науки посредством чтения Рошера и Книса. Привлекают же его лекции Эрдманнсдёрфера по средневековой истории и его исторический семинар, в котором он берет тему для реферата. Наряду с этим он читает «Историю романских и германских народов» Ранке и его «Критику новых историков». «Обе работы настолько своеобразны по своему стилю, что я сначала не мог их читать, и если бы я не знал фактов, вообще не понял бы их. Их язык напоминает язык Вертера и Вильгельма Мейстера».

Свои философские знания, основу которых он заложил в гимназическое время, он пытается расширить, слушая лекции Куно Фишера. Он посещает в 7 часов утра его лекции по логике, но приходит к заключению, что затрата энергии, которую требует это раннее вставание, недостаточно вознаграждается знакомством с гегелевским реализмом понятия: «Ненавижу человека, который заставляет меня вставать в четверть седьмого утра». К тому же молодой студент очень восприимчив к каждому проявлению тщеславия, которое ведет доцентов к самолюбованию. Только когда во втором семестре он стал слушать историю философии, наряду с критикой приходит полное признание.

Жажда знания не препятствует Веберу обращаться и к другой стороне академической жизни. Его пытаются привлечь различные студенческие организации. Однако корпорации сразу же отталкивают его тем, что «обещают протекцию в достижении карьеры». Он со всеми завязывает отношения, принимает их приглашения, развлекается с ними, пользуется вследствие связей отца залом фехтования корпорации алеманнов, где тренируется по утрам между логикой и пандектами, становится их гостем, делает свои позже использованные наблюдения, но не чувствует желания связывать себя. У него вообще достаточно возможностей для личных связей. Недалеко, в доме родителей матери, живет теперь семья Гаусрат. Очень глубокомысленный и значительный, хотя и мизантропически настроенный дядя, который все больше превращается в силу своего характера в отшельника, интересуется умным студентом и охотно говорит с ним о дурных действиях неодобряемых коллег или о несправедливости времени. Его жена, Генриетта, сестра матери Макса, такая же, как та, удивительно богатая, сердечная и глубокая натура, вскоре внушает ему любовь, участие и понима-

ние. Затем кузены и кузины, участники детских игр, а также старший его несколькими годами второй сын Иды, Отто Баумгартен, который проводит свой последний теологический семестр в Гейдельберге. Этот молодой человек принадлежит свободному от догматики теологическому направлению, он духовно очень развит, обладает тонкой организацией, зрелостью и сразу же втягивает молодого кузена в круг своих религиозных интересов. Во второй и последний раз Вебер подпадает под влияние старшего, превосходящего его по развитию друга. Они встречаются за обедом и читают вечерами теологические и философские работы: Микрокосм Лотце, Платона, догматику Бидермана, «Старую и новую веру» Штрауса, «Паулинизм» Пфлейдерера, «Речи о религии» Шлейермахера и т. п. Макс посещает пробные проповеди Отто и даже читает с ним проповеди его товарищей.

Об их общем чтении он пишет домой: «В «Старой и новой вере» Штрауса не слишком много нового, ничего такого, что приблизительно уже сам не знаешь; эта работа задумана как краткая энциклопедия либерального созерцания мира и должна поэтому представляться достаточно поверхностной. «Речи о религии» Шлейермахера, в которые я, правда, еще не вчитался, вообще не производят пока на меня никакого впечатления. Или скорее очень неприятное впечатление, они остаются мне непонятны своим старофранкским цицероновским стилем, несмотря на то, что намерение автора мне приблизительно известно; однако меня интересует конечный вывод, и я полностью отдаю себе отчет в большой доброте этого человека, которая часто ощущается. «Паулинизм» Пфлейдерера очень интересен и уже по своему построению обещает нечто значительное».

Чтение Лотце через несколько недель прекращается: «В полном бешенстве от его невежества, нелепого поэтизирования и тусклого философствования о душе». Вместо этого начата «История материализма» Ланге, которая после лотцевского хаоса — иначе такого рода систему за исключением нескольких выдающихся по красоте частей назвать невозможно — действует своим трезвым изложением освежающе».

Юриспруденция, политическая экономия, история, философия, теология — это далеко идущее духовное воление должно было найти себе место в течение дня. Устанавливается определенное правило, которое часто нарушает растущее участие в жизни корпорации: «Лекции по логике в 7 часов заставляют рано вставать, затем я в течение часа занимаюсь фехтованием, после чего высиживаю свои лекции. В половине первого я обедаю поблизости за одну марку, иногда выпиваю четверть литра вина или пива, после этого часто играю до двух часов с Отто и господином Икратом (хо-

зяином) в солидный скат, без которого Отто существовать не может, затем мы отправляемся по домам, я просматриваю мои записи лекций и читаю «Старую и новую веру» Штрауса. Иногда мы после обеда уходим в горы. Вечером мы опять встречаемся у Икрата, где получаем за 80 пфеннингов довольно хороший ужин, и затем обычно читаем «Микрокосм» Лотце, по поводу оценки которого жарко спорим». Время от времени приглашения к профессорам дают обильную пищу его способности подражать характерным свойствам людей и событиям и создавать пластичные анекдоты.

В Троицу на каникулы Вебер едет со своим кузенком Отто в его родительский дом в Страсбург. В эти дни возникла духовная связь между ним и семьей Баумгартен. Длинное письмо матери о проповеди пастора Риффа в Троицын день, того, одну проповедь которого он некогда прочел матери по ее просьбе, свидетельствует о том, насколько Отто сумел ввести его в круг своих религиозных интересов. Остается, правда, неясно, был ли он сам религиозен или воспринимал все это как человек, которого феномен религии остро интересует, но который не подчинен ему. Некоторый свет на то, чем для него было «существо» христианства, бросает другой документ. Когда в те недели в Билефельде умерла бабушка и ее стареющая незамужняя дочь остается одинокой, 18-летний студент, глубоко тронутый ее судьбой, говорит матери:

«Что можно сказать человеку при таких бесконечно печальных обстоятельствах, человеку, когда он опустил в могилу вместе с другим человеком свою собственную, во всяком случае свою внутреннюю жизнь, кроме слов участия и почтения? Да и что еще мог я сказать тете, которая по возрасту, опыту и душевным качествам значительно превосходит меня? Можно только выразить надежду, что ее вера даст ей силу, надежда, какой бы она ни была, даст утешение; можно обратиться к ней с прекрасными словами, которые являются для меня воплощением христианства и подлинной терпимости: «Да свершится с тобой, с твоим сердцем, как оно верило!» Этого, только этого желаю я тете и знаю, что тем самым я пожелал ей все, ибо в ее сердце вера, которая сама по себе — твердая крепость, способная противостоять всему, что придет к ней в качестве слабости извне».

Во втором гейдельбергском семестре Отто уже не было. Более простые люди и более земные интересы заполняли теперь часы досуга. Создается впечатление, что Вебер обратился к другому полюсу своего существа. Он вступил в более тесные отношения с «алеманнами», обедал с ними, посещал два раза в неделю вечером пивную и все более тесно срастался с жизнью буршей; в третьем семестре он участвовал в принятой дуэли на шпагах и получил ленту. Он со всей непосредственностью отдался радостной жиз-

ни буршей, стал веселым соучастником всех забав и показал вскоре, как он способен много пить, не пьянея. А это означало немало, так как к мужеству студентов-буршей относилась способность влить в себя по возможности больше алкогольных напитков, не теряя при этом выдержки. К тому же ухудшающееся с каждым семестром питание заставляло увеличивать потребление пива. Под влиянием этого образа жизни физический облик Макса вскоре совершенно изменился. Желание, с которым он поступал в университет, было щедро исполнено. Физически он возмужал в еще большей степени, чем духовно. Долговязый юноша стал коренастым и крепким со склонностью к полноте. Когда мать впервые встретила его в этом виде с широким шрамом на щеке, она сумела выразить свое удивление и свой испуг только звучной пощечиной.

И в остальном метаморфоза старшего сына не доставила родителям большого удовольствия, хотя он и не слишком запустил свои занятия. Обязанности «объединения», красные шапки, парадный костюм, трактир, пирушки, фехтование и благословенный аппетит съедали значительно больше отведенной суммы. Совершенно не привыкший экономить студент вынужден был часто обращаться к отцу за добавочными суммами, что тот воспринимал с неудовольствием. Остается только постоянно брать в долг, продолжая этим традицию отцов, и если, с одной стороны, приходилось оплачивать «старым господам» праздничные удовольствия и т. п., всюду предоставляемый буршам кредит превращал необходимость занимать едва ли не в «сословный обычай». Трапезы, шапки, поездки оплачивались обычно только после нескольких лет и с ростовщическими процентами. Так поступал и Вебер, бюджет которого и в последующие семестры, когда он уже вышел из корпорации, никогда не сходился.

Но связь с буршами сильно повлияла не только на внешнее поведение молодого человека, но и на его внутреннюю сущность. Корпорация была маленькой, поэтому каждый считал себя ответственным за нее. Общение буршей отнюдь не было дружески теплым: напротив, ледяным. Дружба считалась неподобающей мужчинам. Между собой сохраняли дистанцию, внимательно следили друг за другом, критиковали друг друга, сталкивались друг с другом — этого требовал идеал мужественности, который видел самое важное в формальной позиции. Поэтично было только общее пение прекрасных песен буршей и песен о родине; эти мелодии Макс Вебер помнил до последних дней своей жизни. Тот, кто сумел утвердиться в этом сообществе, чувствовал себя и по отношению ко всему миру очень уверенным, высокомерным, безучастным. У корпорации были свои правила на все случаи жизни. «Проблем для нас не существовало — мы были уверены, — что бы

ни произошло, может быть решено нами так или иначе дуэлью». Вспоминая позже влияние этого времени, Вебер констатировал: «Привычное требование «бойкости» в жизни корпорации и в качестве унтер-офицера, безусловно, в свое время сильно повлияло на меня и устранило ярко выраженные робость и неуверенность мальчишеских лет».

## II

Осенью 1883 г. Вебер переселился в Страсбург, чтобы там отслужить год в армии. В выборе места было принято во внимание пребывание там семей Баумгартен и Бенекке. После трех семестров прекрасной свободы среди буршей эта форма мужского существования не могла, конечно, быть привлекательной, тем более что служба и муштровка значительно утомляли 19-летнего юношу. В физических упражнениях он, за исключением фехтования, неловок и настолько полон, что ему не подходит ни один мундир из имеющихся на складе и ему пришлось предоставить одеяние сержанта на кухне. Маленькие ноги и слабые голеностопные суставы с трудом несут тяжелое тело и не справляются при длительной строевой подготовке. На наводящий вопрос матери, для героической натуры которой является потребностью находить хорошую сторону не только в том, что «следует», но и в том, что «должно», именно потому, что это должно, и которая никогда не соглашается с тем, что необходимое может быть действительно неприятно, он несколько резко отвечает: «Твоя уверенность в том, что теперь я уже ощущаю известное чувство блага моего образа жизни, наталкивается пока на мое упорное недоверие. Во всяком случае такое чувство, если оно и существует, должно быть заглушено другим чувством, создаваемым распухшими и болящими суставами, на которых ежедневно передвигаешься по семь часов».

Но тяжелее, чем физические трудности, переносить невероятную тупость муштры на дворе казармы, придирки мелких армейских чинов, тем более, что вскоре становится ясна невозможность каких-либо регулярных занятий. «Когда я прихожу домой в 9 часов, я обычно скоро ложусь. Заснуть я, конечно, не могу, так как глаза не устали и дух человека вообще не был занят — во всем этом самое неприятное для меня, возникающее с утра и усиливающееся до конца службы чувство медленного погружения в ночь глубочайшей тупости». Удастся только посещать исторический семинар Г. Баумгартена, и это оазис в пустыне.

Как справиться с этим существованием, конец которого представляется чем-то находящимся за пределом того, до чего можно дожить? Остается, по-видимому, только клин клином

вышибать, поэтому одногодичник переходит на странный и очень нездоровый образ жизни. Вместо того, чтобы, как в первые недели рано ложиться, Вебер отправляется вечерами со своими товарищами по несчастью в пивную, пьет до полуночи, проваливается затем в тяжелый сон, утром бежит отрезвевшим к службе и тогда дремотное сумеречное состояние духа, «похмелье», помогает перенести повторение не тысячи, а миллионы раз многих чисто механических премудростей. «Часы пролетают как мгновение, ибо в черепной коробке не шевелится ничего, ни одна мысль». Дома хозяйка держит наготове черный кофе, который на время вновь превращает его в человека, пока послеобеденная муштровка не поглощает остаток пробудившейся духовной энергии. На упреки родителей по поводу редких писем он приводит в извинение странное физическое и духовное состояние, в которое приводит его военная служба, «в состояние, в котором полностью исчезает какая бы то ни было способность мыслить. После пяти- или шестичасовых упражнений до обеда в строевой службе с ранцем, шинелью и котелком я всегда ложусь; вечером тогда я физически, правда, разбит, но все-таки в состоянии с удовольствием читать Бокля, Гиббона или Бидермана; но если до обеда проводятся три часа, а после обеда два часа «строевой службы» и маршировка, в чем теперь состоит обычная служба, и сверх того линейка, чистка оружия, инструкция и прочая возмутительно излишняя ерунда, то я физически не чувствую особого утомления, но духовно просто ни к чему не способен. Не остается ни следа духовной энергии. Я не мог бы ни за какие блага заставить себя написать письмо, или попытаться работать; сижу в кресле, курю одну сигару за другой и ни о чем не думаю — действительно ни о чем. Мне показалось как-то, что я недолго просидел таким образом, но, взглянув на часы, установил, что провел три часа без единой мысли».

Однако всему можно научиться; после завершения обучения новобранцев Вебер физически привык к службе. Он оказался выносливее, чем большинство одногодичников. Не удается ему полностью только гимнастика. «Слушай, ведь кажется, будто сотня гектолитров болтается на турнике» — говорит берлинский унтер-офицер. Зато Вебер удовлетворяет — что он рассказывал не без гордости — даже высшее начальство правильностью и красотой своего церемониального шага и отличается в подготовке к полевой службе выносливостью при маршировке. Правда, ночную службу он переносит с трудом. «Беготня ночью при очень холодной температуре в совершенно промокшей одежде невыносима. Мне всегда кажется, что у меня очень высокая температура и после этого я так слаб, что, идя на службу, сомневаюсь, выдержу ли я».



Больше всего он не перестает восставать против «ужасной траты времени на то, чтобы превратить мыслящие существа в машины, реагирующие по приказу с автоматической точностью». «Заставлять одногодичников участвовать во всевозможных бессмысленных занятиях, при которых им надлежит лишь от трех четвертей часа до часа спокойно стоять и смотреть, «принимать участие» — это называют военным воспитанием! Это должно учить терпению, как будто — Боже ты мой! — после четверти года ежедневного, часами продолжающегося занятия строевой подготовкой и после того как ты вынужден выслушивать бесчисленные наглости от самого жалкого негодяя, может возникнуть подозрение в наличии достаточного терпения! Все направлено на то, чтобы в принципе лишить одногодичников возможности духовных занятий во время пребывания в армии, при этом предполагается, что это в интересах военного дела». Несмотря на свое раздражение, он достаточно объективен, чтобы признать, что физическая механика точнее всего работает при исключении способности мыслить.

При всем том, неискоренимый юмор и удовольствие от наблюдения за незнакомыми событиями и новыми типами людей помогают Веберу и в этом состоянии накопить опыт, от которого его жажда действительности позже стала бы отказываться. Каждое событие дает ему пластически формируемое созерцание человеческого своеобразия и влияния на него господствующих структур и представлений. Кроме он способен извлечь из многого материал для забавных анекдотов. Тип прусского унтер-офицера, лейтенанта, польский рекрут, происходящий из рабочих кругов, отбывающий 3 года, пребывание в казарме и в карауле, строевая служба — все это фиксируется в своем своеобразии несколькими штрихами и сохраняется в недрах голодного духа.

«Только что пришел с занятий по строевой подготовке и нахожу твое милое письмо; поэтому начинаю новое послание вместо того, чтобы продолжать начатое восемь дней тому назад и затем доведенное с перерывами до третьей страницы. Сегодня у меня, слава Богу, свободный день, если не считать семинар дяди и поэтому можно надеяться, что я письмо закончу. Последние полторы недели были очень содержательны по строевой подготовке и полевой службе; при одной мысли о пяти- до шестичасовых занятий по полевой службе, иногда на расстоянии в несколько миль от Страсбурга я чувствую себя усталым и разбитым. Такая подготовка по полевой службе, хотя в виде разнообразия она в первый раз довольно приятна, через длительное время превращается в дело, которое как предвкушение маневров и войны в высокой степени требует всех необходимых для солдата качеств. Проходит она примерно следующим образом: утром, почти в полной темноте

выступают в шлеме, с ранцем, котелком, вещевым мешком и шинелью и отправляются в поход. Сначала все хорошо. К шлему, который в первую неделю неприятно ощущается, теперь уже привыкли, так же, как к тяжеленным солдатским сапогам — если на голове вместо шлема шапка, а вместо солдатских сапог обыкновенные, кажется — мне по крайней мере — что идешь в носках и с непокрытой головой. Незаметен вначале и еще пустой ранец. Однако через некоторое время неприятно ощущается шинель, обхватывающая как колбаса грудь и ранец; при достаточно выпуклой груди она проходит прямо под правым плечом, очень затрудняя дыхание и необходимость нести оружие на левом плече. Затем начинают ощущаться обе патронные сумки, тяжело набитые холостыми патронами и давящие при каждом шаге на паховую область. И наконец, начинает чувствоваться давление нижнего края ранца на поясницу, что при длящейся несколько часов ходьбе — очень неприятная нагрузка. К этому еще присоединяются дополнительные удовольствия: так, например, если при занятиях по строевой подготовке кроме лейтенанта собственной роты присутствует еще поручик другой роты, которому вменено руководство, и оба они недолюбливают друг друга. Тогда поручик едет направо, а секунд-лейтенант налево и слева раздается команда: «Одногодичник, там у пристройки, удлините шаг», а справа: «Одногодичник, там, не мчитесь так, за вами не угонится даже мой конь», слева: «Одногодичник, там, чорт побери, ваш нос ведь полностью погружен в грязь!», справа: «Одногодичник Вебер, как вы, гром и молния, держите голову? Вы, вероятно, хотите, чтобы солнце утерло вам нос»; слева: «Вы, одногодичник, ваше ружье опять висит посередине живота! Чорт побери, отведите его назад»; справа: «Одногодичник там, ваше ружье свисает ведь сзади, как хвост белого слона» и т. д. и т. д. Так все и идет дальше, и господа офицеры разрешают таким образом свое недовольство друг другом. Первое время с нами большей частью обращались именно так, теперь с нами ведут себя достаточно прилично. Во всяком случае все очень довольны, когда наконец выходят за ворота, где можно идти не «шагом», т. е. с полным удовольствием. Тогда мы, оставленные без завтрака, постепенно вытаскиваем свои запасы. В вещевом мешке есть бутерброды, в рюкзаке бутылка водки, в патронной сумке, насколько там хватает места, сигары. Рядовые, конечно, также требуют свою долю и становятся постепенно понятливей. Большинство этих людей из области Эрфурта и Шварцбурга, кроме них много поляков — им здесь впервые унтер-офицеры вколачивают немецкий язык. Через некоторое время можно услышать какую-либо солдатскую песню, где «немецкий Рейн» всегда рифмуется с «Branntwein» (водкой), а «Vaterland» (отчизна) со

“Schnaps zur Hand” (водкой под рукой). Наконец, и достигнуто предназначенное место. После того как несколькими патрулями установлена позиция противника, начинается наступление; достигнув известного расстояния, колонна распадается на так называемую линию стрелков, на отряд. Так идет дальше в быстром темпе, пока не раздастся команда “Ложись”: услышав ее мгновенно падаешь со всей поклажей. Теперь начинается стрельба холостыми патронами в большом количестве, и остается только радоваться при мысли, что у Германской империи должно еще быть достаточно денег для таких дорогих забав. Затем в быстром беге еще один отрезок, чтобы опять лечь в лужу или кучу грязи или в какой-нибудь неизреченный предмет природной грязи, и опять начинается пальба. Нападение вражеской кавалерии блестяще отражено, дается убийственный залп — “Прицельтесь! Огонь!” В ту же минуту ты оказываешься глухим на оба уха, ибо стоящие сзади два глупых рекрута положили тебе дуло винтовки прямо на плечо. Теперь лейтенанты могут командовать сколько им угодно — их команды звучат как неартикулированный далекий собачий визг.

После того как еще некоторое время попеременно шагали или валялись в грязи, наступил момент, когда под защитой огня можно, примкнув штык, строиться для наступления. Под однообразные удары барабана “Бум! бум! Бум!” начинается сначала медленное, затем более быстрое движение. Наконец, весь отряд с винтовками наперевес и со зверским воем, который должен означать “ура!”, бросается на врага; причем, конечно, тебя, как правило, либо сбивают с ног и наступают на руку, или ударяют винтовкой по голове, или стоящий сзади колет тебя штыком в подколенную впадину. Офицеры едут верхом сзади и отдают с бешеным рвением тысячи команд, которые, конечно, совершенно не понимаются и в конце концов вырождаются в рев, напоминающий рев слонов. Результат, само собой разумеется, сводится к тому, что атака отбита и все еще раз повторяется с самого начала. После нескольких часов такого удовольствия наступает наконец отступательный марш, в котором ты совершенно глух на оба уха, глаз у тебя подбит, разбитая голова гудит и звенит, на ногах пузыри, шишки по всему телу, ты полураздавлен, весь в поту и в воде из луж, а в лучшем случае и в навозной жиже, отдельные части снаряжения едва различимы от грязи, а ноги, как конечности гиппопотама, утолщаются книзу и кончаются в куске липкой глины. После того как палками стерта самая явная грязь, нас ведут в этом состоянии обратно в город, представляя взорам жителей и жителейниц Страсбурга» (6.2.84).

Большие маневры вне города в прекрасных долинах Вогец и вокруг маленьких деревень северного Эльзаса и Лотарингии зна-

комаят с интересными впечатлениями «о влиянии прусской военной организации того времени на чужое, проявляющее по возможности нерасположение население». «Жаль, что народ в Эльзасе так не склонен к дружбе с нами, прусскими военными, и проявляет такое безразличие к нам. Только те женщины, у которых сыновья в немецкой армии, ведут себя по-другому. Так, например, когда меня мой капитан отправил на марше назад, чтобы передать что-то идущему вслед за нами подразделению, и я ждал его в крестьянском доме близ Пфальцбурга, крестьянка принесла мне кофе, хлеб и вино и ничего не взяла за это. Она сказала, обливаясь слезами, что может быть, если она добра ко мне, в Пруссии также найдутся люди, которые так же отнесутся к ее сыну, который находится там на военной службе. Осуществят ли силезцы и население других мест, где стоят эльзасские полки, надежду этой бедной женщины? Кто знает?...»

Дар обходиться с простыми людьми одновременно «гуманно», по-товарищески и немного свысока помогает Веберу. Он скрашивает свой язык — где бы он ни был — локальным колоритом, с крестьянином он крестьянин, не роняя своего достоинства; сердца открываются, и он узнает, что хочет знать.

Во второй половине года службы одногодичник стал капралом отделения роты и приобрел новый опыт. Ответственность и то, что твое слово имеет известный вес, дает удовлетворение, но требует еще больше времени и сил. У него теперь нечто подобное «домашним» обязанностям, к чему он от природы мало приспособлен, например, обязанность следить за чистотой не только военного мундира, но и «костюма Адама» «польских поросят», и контроль над всеми проявлениями жизни подчиненных занимает все его внимание. «После того как три дня *ощущаешь* себя значительным в качестве начальника, резь в животе и отсутствие аппетита — единственные результаты добросовестного выполнения обязанностей капрала. Благодарение Богу, и эта чаша когда-либо будет позади, но пока я представляю собой только служебную машину и мои внеслужебные обязанности только еда + питье + сон + 0».

Когда конец этого времени уже можно было предвидеть и возвращение к книгам становится вероятностью, Вебер резюмирует состояние и опыт своей военной подготовки следующим образом: «Это военное существование становится в конце концов слишком отвратительным и тупым, особенно потому, что оно в последнее время совершенно не давало возможности заняться еще чем-нибудь. Дни моих капральских обязанностей теперь, как я надеюсь, идут к концу, но последние 4 недели я целыми днями торчал в казарме и все-таки не сумел предотвратить то, чтобы при всех возможных случаях не исчезали вещи, чтобы на меня не донесли и я

не был бы наказан, чтобы мне не приходилось возмещать за свой счет... Для способности жертвовать ведь должно быть безразлично «приносишь ли ты жертву» ради упоительной великой идеи или ради грязной тряпки, да: “жертву”, ибо более позорный вид самораспятия, чем сознательное погружение в глубочайшую тупость вряд ли существует. К тому же этой жертве на алтаре человечества препятствует то, что все это ты делаешь значительно более неловко, чем любой унтер-офицер, и что это не имеет большой ценности ни для тебя, ни для германской армии. Научиться здесь также можно немногому, ибо единственному средству, в котором унтер-офицеры превосходят нас, мы научиться, правда, можем, но применять его не станем ... бить людей, пинать и т. д.» (30.5.84).

Другой вид приобрело армейское воспитание, начиная с того момента, когда Вебер перестал быть его объектом и вступил в круг исполнительных органов. Когда его через год (весной 1885) вновь призвали на 2 месяца в Страсбург на офицерские сборы, то это стало ему нравиться: «Здесь положение совсем иное, чем было раньше, и если я, как я надеюсь, в течение двух — трех недель продвинусь, то для меня получит значение кроме полезной, и приятная сторона военной сферы». Качества начальника, способность приказывать и учить были его врожденным свойством. К тому же он стал для офицеров желанным товарищем благодаря своей способности рассказывать и отменному юмору. Вскоре он мог сообщить домой: «Мне здесь, как я уже писал, довольно хорошо, и я доволен моими хозяевами. Военные занятия были в последние дни довольно утомительны, но в остальном теперь действительно очень славно и не лишено интереса. Как я уже говорил, начальники мной, по-видимому, очень довольны, — мои гимнастические упражнения капитан, слава Богу, еще не видел — а с остальным я более или менее могу справиться. Отношение более молодых офицеров в общем любезное и товарищеское. Капитан полагал, что эти 8 недель мне следует считать курортным лечением, и он прав. Я уже похудел на три застежки ремня и стал таким стройным, что никто больше не причисляет меня к толстякам. Капитан очень доволен, что теперь роту можно строить по мне, так как раньше этому постоянно мешал мой живот, который был виной всего проклятого свинства в роте. Теперь я считаюсь без сомнения хорошим солдатом, мой капитан как будто чрезвычайно доволен мной и уверен в моем безусловном прилежании; вчера он посетил меня и говорил в самых лестных выражениях о моей замечательной подготовке». Конечным выводом военного воспитания было восхищение «машиной», а также военно-патриотические убеждения, которые заставляли его мечтать о возможности когда-нибудь выступить во главе всей роты.

Страсбургский год, когда Вебер так страдал духовно, стал значительным для его внутреннего развития и в противоположном направлении. Постоянное посещение двух академических домов родственников: геолога Э.В.Бенекке и историка Германа Баумгартена, было духовным бальзамом этого времени и охраняло молодого человека от необходимости спасаться в свободные часы в грубой жизни пивной. «Воскресенья, конечно, источник света в том существовании лошади, которая должна быть обьезжена между конюшней и манежем. И чем бы они были без возможности всегда проводить послеобеденные часы в одном из любезных домов родственников! Семейные трапезы сами по себе никогда не были моим идеалом, но здесь, где, с одной стороны, со мной обращаются, как с сыном дома, с другой — как с каждым регулярно посещающим дом студентом, родственные отношения служат лишь мостом, позволяющим говорить о тысяче вещей, и говорить так, как и о которых при других обстоятельствах было бы невозможно» (22.10.83).

Жены обоих ученых — сестры матери Макса. Ида, старшая, уже нам знакома как близкая подруга и советница Елены. Она чувствовала большую близость с Идой и видела в ней образец религиозно-этического понимания жизни. Эмилия, младшая сестра, — жизнерадостный центр этого многодетного дома и солнце ее благородного, страдающего глухотой мужа. В обеих семьях выросли близко знакомые по общим гейдельбергским каникулам кузены и кузины. Из детей Баумгартена Макс уже давно был в дружеских отношениях с Фрицем и Отто. Ранняя помолвка Отто с Эмилией Фалленштейн, дочерью одного из эмигрировавших сыновей деда от его первого брака, очень занимала Вебера и впервые дала ему понимание глубоких душевных проблем. Эта девушка была во многих отношениях необычна; она была значительно старше молодых детей Баумгартена, некрасива, болезненна и очень нервна, но обладала исконным религиозным предрасположением и магическими силами — у нее был дар ясновидения. При этом она была всесторонне одарена, писала стихи и пела, отличалась острой способностью суждения и пылкой интенсивностью духовного бытия, чем подчинила себе не только Иду и ее детей, но и крут занимавших высокое положение молодых людей, посещавших Баумгартенов. Оба брата любили эту значительно более старшую, чем они, девушку. Отец же и другие родственники, не затронутые ее религиозной гениальностью, видели в ней только по существу неприятную больную.

Когда 24-летний Отто стал настаивать на жизненном союзе со старшей его семью годами подругой, отец, тяжело потрясенный,

воспрепятствовал этому. Эта совершенно больная женщина — разве она не является несчастьем для его сына? Ида, очень близкая сыну, относилась к его желанию по-другому; она верит в гениальную силу девушки и для нее духовная общность единственное, что имеет значение. К тому же она чувствует, что Отто стоит под властью судьбы и скорее всего уйдет от отца и матери, чем откажется от союза с этой девушкой. Это был тяжелый конфликт, который оставил глубокие следы в душах всех его участников и на время разделил отца и сына, отца и мать. Однако вскоре они пришли к согласию перед лицом неизбежного и брак был заключен. Молодые поселились в тихом пасторском доме в Вальдкирхе. Через год смерть расторгла с трудом заключенный брак. Эмилия умерла при рождении мертвого ребенка. Но для ее молодого мужа она не умерла, а только преобразилась. Он говорил с ней даже при открытом гробе, что ужаснуло всех.

Но и впоследствии, когда экстаз смерти ослаб, он продолжал жить с ней в духовном общении в созданных ею формах. И на протяжении всей его жизни она осталась для него немеркнувшей реальностью. Он, преисполненный теплом юности, готовый к общению, отзывчивый, самоотверженный, остался вдовцом и делил поток неисчерпаемой любви своего сердца между бесчисленными «бедными душами». Он всюду, где только мог, оказывал братскую помощь вплоть до полной самоотверженности. Детям своего отца он стал вторым отцом. Кто же был прав: та, для кого этот брак полного жизни молодого человека с женщиной, обреченной на смерть, был несчастьем, или ее муж, для которого она была вечным предназначением?

Вебер принял большое участие в судьбе своего друга. Уже при его посещениях Гейдельберга он стал доверенным лицом всех участников этого конфликта, так как мог вчувствоваться в точку зрения каждого. Эта значительная женщина представляла и для него большой интерес, но внутренне он оправдывал озабоченность отца. Таким образом еще до переселения в Страсбург он был другом не только сыновей, но и их родителей. Склонный к сообщению своих мыслей, но ставший одиноким, ученый чувствовал потребность сообщать племяннику, будто равному по возрасту свои мнения о политических событиях и часто высказывал ему свое волнение по поводу политического курса 80-х годов. Он, без сомнения, влиял на Вебера своим видением вещей. Мы остановимся поэтому на Г.Баумгартене, тем более, что он в такой же степени, как позже Макс Вебер, был ученым, стремившимся к лишенному предпосылок исследованию истины и страстным политиком.

Этот значительный человек<sup>3\*</sup> стоял тогда на пороге старости, он был уже несколько утомлен жизненной борьбой и тяжелым бременем личных забот. Баумгартен занимался уже больше научным и критическим рассмотрением государственных дел, чем их деятельным формированием. В молодости на вершине своих сил он с нравственной и политической страстью занимался вместе с Дальманом, Дункером, Гервинусом, Йолли, Зибелем, Трейчке и др. проблемой единения и положения Германии как великой державы во главе с Пруссией. Национальная борьба придавала всему существованию того поколения высокий накал и когда мечта о новом величии Германии осуществилась, Баумгартен в восторге воскликнул: «Чем мы заслужили милость Божию, которая позволила нам пережить столь великие и могущественные события» и, как бы предчувствуя, добавлял: «Откуда взять в моем возрасте новое содержание?» Да, в этом состояла трагичность: соответствующая надеждам этого поколения либеральных буржуазных патриотов задача — участие во внутреннем формировании империи, в создании внешней формы которой они участвовали, не было им предоставлено — Бисмарк один держал руль, а дни императора Фридриха, на либеральную эру которого они надеялись, были сочтены.

Баумгартен, для которого не открылись новые пути к соучастию в политике, видел с тем большей проницательной ясностью темные стороны, связанные с новым состоянием государства. Он понимал, что программа власти и обожествление государства с его последствиями, с *милитаризмом*, не только приносит опасность *духовности* немецкого народа в его человеческой сущности, но что сверх того вследствие господства Пруссии опасные ошибки совершаются и в области политики. Беспрестанные неправильные действия по отношению к эльзасцам он видел из непосредственной близости и с отчаянием терял надежду на то, что они могут стать частью немецкого народа. А нарушение его конституционных идеалов колоссом Бисмарком усиливало его недовольство, и он видел в полной обожествления отдаче молодого поколения этому гению опасное преувеличение, которое отомстит за себя утратой глазомера по отношению к другим ценностям. «Великий человек оставит нам великую беду». Все это выразилось в его привлечшем большое внимание споре в литературе с Трейчке, прежним другом. В качестве защитника маленьких южнонемецких государств и либеральных идеалов он резко критиковал одностороннее прославление Трейчке прусского духа и династии Гогенцоллернов. Однако так как опубликованная Трейчке «История XIX века»



произвела «своим блестящим изложением и страстным утверждением» того, что было достигнуто событиями 1870 г., громадное впечатление, даже большинство прежних единомышленников не хотели прислушиваться к неудобным предостережениям. Старейший Баумгартен чувствовал себя одиноким, даже отвергнутым и тяжело страдал от этого.

В это время часть буржуазной молодежи обратилась к идеалам социальной справедливости и примирения классов. Жена и сын Баумгартена восприняли их с воодушевлением, но сам он уже был неспособен принять новые идеалы. Так, чем старше он становился, тем мрачнее представлялись ему государственные дела. Молодой племянник не разделяет пессимизм дяди и все время старается представить ему происходящее в более светлых красках. Однако с оценкой политики Бисмарка он во многом согласен, критика ее привычна ему еще по убеждениям, воспринятым в родительском доме. Беседам с дядей и его сообщениям он обязан многим. Признаком этого является переписка с ним, начатая по желанию Баумгартена и продолжавшаяся долгое время. Но об этом позже.

\* \* \*

Душой баумгартенского дома была тогда Ида, женщина, очень достойная по своей натуре. Ее муж, которого так сильно занимали политические и научные интересы, был по своим взглядам — скорее унаследованным, чем обретенным, — сторонником протестантской церкви; он был сыном пастора. Во всяком случае очевидно, что в старости это для него уже значило немного. Ида, правда, разделяет духовные интересы мужа, но ее подлинная жизнь проходит в глубокой проникновенности перед лицом ее Бога. Все свои действия она оценивает по неумолимому критерию христианской этики. Поэтому она никогда не бывает довольна собой и всегда живет в напряжении воли. Самоудовлетворенность науки и типичное поведение ученого она все больше отвергает. Частое несоответствие мышления и действия вызывает ее возмущение. С высоты идеалов евангелического братства академическая среда представляется ей социально равнодушной, высокомерной и эгоистичной, к тому же по-человечески безнадежно мелкой: все окрашено тщеславием и недоброжелательством. Какую ценность имеет все растущее число книг, если знание не увеличивает мудрость и доброту, и повседневная деятельность не основана на высоком полете духа? В этой насыщенной культурой форме жизни она стремится жить по Евангелию и часто страдает от невыполнимости этого. Неужели действительно невозможно построить мир по учению Нагорной проповеди? Постоянно бодрствующее

болезненное чувство социальной ответственности заставляет ее совершать траты на нуждающихся, которые часто серьезно беспокоят ее мужа; однако он так нежно любит Иду и так высоко ее ценит, что она большей частью может следовать голосу своей совести. И вообще она часто ставит перед собой такие задачи, посредством которых, по мнению других людей, приносит страдания себе и членам своей семьи. Так, она теряет нежно любимую дочь вследствие того, что берет в дом сестру больного скарлатинной ребенка. Она в течение ряда лет держит у себя осиротевшую родственницу, хотя трудный характер той тяжело обременяет ее детей и ее саму. Ее сильная душа, заключенная в нежную физическую оболочку, одиноко борется с демонами глубокой печали. Но она не заставляет страдать от этого других, для них она всегда радостна и спокойна. «Самопреодоление» — ее ежедневный девиз. С годами Ида понимает, что ее муж живет по другому закону, чем она. Она замыкается и одиноко ведет свою трудную внутреннюю борьбу. Свои религиозные и социальные интересы она разделяет с сыном и молодыми друзьями. Она очень близка своей сестре Елене, обе они полностью унаследовали этически-религиозные принципы матери, но у Иды они более строго и мрачно окрашены.

Атмосфера баумгартенского дома была благородна и преисполнена духовностью. Молодой Вебер скоро почувствовал необходимость внутренне определить свое отношение к господствующему здесь пониманию жизни, — т. е. пониманию Иды — ибо его мать считала его безусловно более высоким по сравнению с тем, которое царило в их доме. Елена ведь была значительно мягче сестры, а влияние ее мужа было сильнее, чем влияние Баумгартена. Результатом размышлений Вебера было противостояние серьезного, но вместе с тем жизнерадостного и прежде всего «широкого» по своим взглядам молодого человека невероятному этическому напряжению, окрашивавшему повседневную жизнь в этом доме. Он разделял точку зрения своего отца, что «эксцентрично» подчинять каждое действие этическому закону, соизмерять его с абсолютом и отклонял бремя, которое не оставляет места улыбающейся терпимости по отношению к собственным слабостям, и своим «все или ничего» насилует человеческую природу. Такое «перенапряжение» казалось ему враждебным непосредственному счастью, которого он тогда ждал от жизни:

«Что я могу возразить против отношения к жизни в доме Баумгартена? Возразить я, конечно, ничего не могу, несмотря на то, что его трудно соединить с определенными воззрениями, которые у меня сложились. Я сказал только, что вижу опасность в возможности перехода их в определенную эксцентричность, которая легко *может* — не должна, а может, — нарушить счастье членов

этой семьи... Главная особенность этой эксцентричности состоит в стремлении отвернуться от реальности и в презрении к вниманию к ней — я вообще утверждаю, что в доме Баумгартена людей принимают не такими, каковы они суть, а какими они *должны* быть, а в ряде случаев, как их следует мыслить в соответствии с логическими дедукциями». Это суждение он обосновывает указанием на брак Отто: «Я полагаю, что развитие соответственно духу этого дома не могло быть иным и думаю поэтому, что этот дух также чреват опасностью и слабостями, как каждое другое отношение к жизни, которое может показаться менее глубоким и законченным, но не таит в себе такой опасности».

Через год его точка зрения осталась прежней. «Я всегда много извлекаю из посещения баумгартенского дома, хотя выводы, которые я из этого делаю, редко совпадают с образом мыслей большинства членов этой семьи. По отношению к ряду господствующих здесь основных воззрений я нахожусь в сознательной, решительной оппозиции, от которой *я не могу отказаться, если сам полностью не изменюсь*, и не должен отказываться, так как до сих пор не убежден в ее неправомерности. Я никогда не пытался скрыть это обстоятельство и обнаруживаю почти у всех участников таких обсуждений любезную терпимость».

Но несмотря на неприятие ощущаемого им ригоризма в доме Баумгартена, как враждебного жизни и чуждого действительности, молодой человек чувствовал себя там дома, и без того, чтобы он это отчетливо сознавал, влияние Иды на его внутреннее развитие росло. Впоследствии он благодарил ее за то, что, общаясь с ней, понял свою мать. Теперь он не испытывает давления ее нравственной жизни и ее требований, и хотя она не может высказать ему свое понимание, но соприкосновение с Идой и понимание ее своеобразия открывает ему и сущность Елены. Чувствуя, что растущее внутреннее одиночество Иды основано преимущественно на тяжести собственной жизни, он понимает, почему и Елена неизбежно должна была стать внутренне одинокой в жизни с его отцом. И прежде всего под влиянием Иды он осознает то, что он раньше лишь смутно ощущал: что ему придется сделать выбор между родителями — если и не между различными их внутренними содержаниями, то между типами личности, которые они представляют, и что этот выбор не столько дело чувства, сколько *нравственное* решение, определяющее судьбу души, формирование собственной сущности. В течение всей своей жизни Вебер решительно отрицал мнение, что природа преобразовала нас по определенному неустранимому закону, ибо он был уверен, что в нем могла обрести превосходство та или иная полярная возможность: например, возможность стать грубым эгоистом, в сущности амо-

рально наслаждающимся жизнью, который в силу интеллектуального превосходства считает себя вправе подчинять других своим целям. Или человеком, который рано ощутил потребность духовного покоя и удовлетворяется предоставляющим известные удобства положением, например, в качестве судьи в маленьком городе. Правильно ли он понимал это, скрыто для тех, кто знал его только как рано сложившуюся в своей духовности и в своем этическом выражении личность. В 24 года он был в основном вполне сложившимся человеком, взгляды которого могут расширить, но не преобразовать знания и опыт.

То, чем молодой Вебер был обязан Иде Баумгартен в своем внутреннем развитии, он выразил после ее смерти в следующих адресованных ее дочери строках: «Если я говорю, что твоя мать была и мне второй матерью, то ты лучше, чем кто-либо, знаешь, милый друг, насколько это внутренне глубокая правда. Теперь я вообще не мог бы мысленно устранить из моей жизни не стираемые, глубокие впечатления и формирующие личность нравственные влияния, обретенные мной в вашем страсбургском доме со всеми их последствиями, не испытывая при этом потрясение всего, что мне сегодня дорого и что я глубоко уважаю. Что существуют другие вещи и задачи, кроме выполнения долга во *внешней* профессии мужчины, я научился смутно ощущать под влиянием твоей матери, но лишь позже, когда у меня в собственной семье открылись глаза, я полностью понял это. Не знаю, с чего мне следовало бы начать, если бы я попытался написать, скольким обязан ей я, а посредством меня и другие, дорогие мне люди. Если она мне часто говорила, что ее жизнь была тяжела, то это было сказано не как жалоба, а в ином смысле: моя борьба была хорошей борьбой. Эта борьба была не напрасна, что засвидетельствует широкий круг ваших друзей и подруг, дышавших серьезным и чистым воздухом, который благодаря ей был в вашем доме».

\* \* \*

Тогда, в двадцать лет, ему еще не было ясно, что Ида все больше способствовала возникновению в нем тайного почтения к убеждениям и критериям, которым противоречили некоторые стороны его сущности. Когда в год военной службы вследствие воспаления сухожильного влагалища он мог несколько недель предаваться духовной деятельности, Ида снабдила его среди прочего и религиозной литературой, о которой он подробно пишет матери: «Единственно, чем я занимался во время моей болезни и вообще, было немного философии и чтение небольшого тома произведений Ченнинга.

Эта книжка, которую тетя Ида столь любезно мне одолжила, была мне исключительно интересна своей чрезвычайной и в своем роде неоспоримой высотой убеждений. Очень оригинальное и во многом исключительное, — впрочем, едва ли его можно назвать христианским — понимание сущности религии в сочетании с необычайно привлекательной личностью делает этого несколько более раннего современника и соотечественника Паркера еще более симпатичным, чем тот. Во всяком случае он гораздо универсальнее хотя бы потому, что не так страстно занимается столь важным для Паркера решением теоретических и религиозно-политических вопросов. Вследствие этого у него остается больше времени, и он яснее видит возможность решения и психологического обоснования этических и моральных вопросов, для обоснования которых ему достаточно нескольких философских положений. Точка зрения, из которой исходят эти теоретические части, достаточно наивна, ее можно, пожалуй, назвать даже инфантильной, но практические выводы, которые он из них делает, в некоторых случаях столь непосредственно убедительны, а ясный, спокойный идеализм, который он выводит из рассмотрения, как он выражается, «бесконечной ценности человеческой души» столь свеж и понятен каждому, даже далекому от созерцания человеку, что в универсальности понимания и его обоснованности действительными потребностями человеческой души не может быть сомнения. За ряд лет, которые я могу воссоздать в памяти, впервые нечто *религиозное вызывает во мне более, чем объективный интерес*, и я считаю, что не зря потратил время на ознакомление с этим значительным религиозным явлением». (Июль 1884).

Это — единственный сохранившийся документ того времени, который позволяет предположить религиозный интерес молодого человека. Остановимся поэтому на некоторых основных мыслях Ченнинга, который так много значил и для Иды, и Елены. Ченнинг был проповедником на востоке Соединенных Штатов в первой трети XIX века, следовательно, являлся современником Шлейермахера и создателя немецкой идеалистической философии. Его понимание христианства и вообще религии, которое он изложил в ряде исключительно одухотворенных, при этом прозрачно ясных, мягких и радостных проповедей и статей, с точки зрения господствующей теологии недогматичны и не связаны с какой-либо партией. Он считает себя членом «общины свободных душ», верит в гармонию разума и откровения и в христианство, против которого не восстает рассудок, совесть и любовь ни одного человека». Религия и нравственность тождественны. Мы близки Богу не в экстатическом порыве чувства, а в выполнении ясных и простых обязанностей. «Жертвовать вожделением ради

Божьей воли важнее всех восторгов». Высшим благом является нравственная энергия святого решения, духовная свобода. Ее сущность состоит в следующем: господствовать над чувствами, господствовать над материей, господствовать над судьбой, над всяким страхом, над привычкой, независимость от всякого авторитета: «Свободной я называю *такую* душу, которая бдительно оберегает свою свободу и самостоятельность, сопротивляется погружению в других, душу, которая не удовлетворяется унаследованной или пассивной верой, принимает каждую новую истину, как ангела небесного, а господство над собой считает более благородным, чем господство над всем миром; душу, которая добросовестно посвящает себя развитию всех своих способностей, преодолевая границы времени и смерти, надеется на вечный прогресс и в надежде на бессмертие находит неисчерпаемую силу для действий и страданий». Ченнинг занимается также отношением человека к государству; скажем и об этом несколько слов: конечной целью всех общественных институтов является развитие и защита людей, подобий Бога. Человеческий дух более велик и священ, чем государство, и никогда не должен приноситься ему в жертву. Гражданская и политическая свобода служат духовной свободе. Между христианской индивидуальной этикой и государственной этикой нет противоречия. Жизнь сообществ подчинена тому же нравственному закону, что жизнь индивидов — для утверждения государственной власти ради ее самой не остается места, борьба за власть за счет отдельных людей — зло, война порочна и т. д.

В этих приведенных здесь мыслях Ченнинга было, быть может, выражено учение о свободе, взволновавшее молодого человека. В строго логическом обосновании оно ведь было знакомо ему из его занятий Кантом. Но Ченнинг, достоверность веры которого остается по эту сторону границы, на которой идет тяжелая борьба между понятием и идеей, между требованиями рассудка и требованиями разума, предлагает возвышенные постулаты просто как последние, не нуждающиеся в логических доказательствах, как понимание узнающей самое себя души и погружает их в тепло непосредственно вытекающей религиозности, для которой исполнение ее требований является не только послушанием строгому велению, но путем души к Богу, ее путем к тому, чтобы стать подобием Бога.

Как бы Макс Вебер ни относился к этому учению, но душевная и нравственная свобода, «самопреодоление» личности «долженствованием» остается для него на протяжении всей его жизни основным звеном, которому он сознательно подчиняется и который он все время проверяет посредством самоконтроля.

Так же высказанное Кантом и Фихте в молодости и заимствованное Ченнингом или самостоятельно им выведенное убеждение, что целью государственных и общественных институтов является развитие автономной личности, сопутствовало Веберу на протяжении всей его жизни. Правда, — как сразу же будет показано, — он видит в этом не единственную цель данных институтов. Поэтому он отвергает понимание Ченнингом государства, прежде всего пацифизм. В декабре 1885 г. он пишет об этом Елене: «Что я собираюсь делать в воскресенье? Если я встану не слишком поздно, то мне удастся еще (до работы) почитать Ченнинга или Спинозу. Что касается Ченнинга, то я взял с собой не особенно удачный том. Статья о войне, которая в нем содержится, представляется мне не только совершенно непрактичной и чистой теоремой, но стремление *квалифицировать* все действия, связанные с войной, всех людей, занимающихся ею, как стоящих значительно ниже ремесла палача, просто *предосудительно*. Я совершенно не могу понять, в чем будет состоять усовершенствование нравственности, если профессиональные военные будут приравнены к банде разбойников и заклеимлены позором — от этого война отнюдь не станет человечнее. Правда, Ченнинг прибегает к излюбленному выходу, говоря, что для защиты нравственных и общечеловеческих прав война как последнее вынужденное средство допустима, но решение в таком случае должна принимать совесть отдельного человека, которому предписывается идти на войну; здесь он хочет применить очень сомнительные слова из Нового Завета «повиноваться следует Богу, а не людям» (он считает даже, исходя из точки зрения раннехристианского мученичества, «нравственной» честью, если кого-либо, чья совесть проснулась, расстреливают или отправляют в тюрьму как дезертира. Если бы Ченнинг не имел никакого понятия о таких вещах и исходил бы из условий в американских наемных войсках, с помощью которых демократическое американское правительство вело захватнические войны против Мексики и т. д., то это рассуждение, допуская, что он сам верит в возможность его осуществления на практике, следует назвать весьма легкомысленным; в действительности же перед нами просто *ошибка мышления*, которая состоит в том, что доктрина, если и не оправданная и не лишенная опасности, но в американских условиях все-таки понятная, в ходе спекуляции человека, в этом отношении далекого от практической жизни, рассматривается как основное всеобщее христианское воззрение, — что, впрочем, часто случается. Однако построение таких теорий нельзя считать безопасным, ибо легко ведет — и частично уже привело — к разрыву в чувствах людей между предполагаемыми требованиями *христианства*, с одной стороны, и теми следствиями и предпосыл-

ками, которые следуют из общественного строя государств и мира, — с другой. Все бедствия средневековья основаны на этой конструированной пропасти между предполагаемым божественным и человеческим порядком».

В этих строках выражена взволнованность студента, вызванная учением Ченнинга о несовместимости заповедей Евангелия с любым применением насилия, прежде всего с войной, если она направлена не только на необходимую оборону, но и на расширение власти национального государства. Ибо Вебер, который, правда, еще недавно очень страдал от военной муштры, тем не менее признает ее необходимость и даже обладает военным духом, столь же восприимчив к величию активной героической этики и к готовности приносить жертву ради отчизны, сколь и к братской этике и самопожертвованию ради ближнего. И для него неоспоримым «законом» является не только совершенствование души в понимании Евангелия, но в такой же степени осуществление выходящей за границы требований отдельного человека посюсторонней мирской культуры, необходимым орудием которой он считает власть национального государства. К тому же для него престиж и сила родины является неоспоримым благом, отодвигающим все остальные блага в тень.

Однако в то время он еще не познавал антиномию между различными оценками и, вероятно, не мог бы ее перенести. Он предполагает, что Ченнинг в неоправданной «последовательности» «конструирует пропасть» между божественным и человеческим порядком, когда считает, что задача государства служить человеку, и, ссылаясь на Евангелие, требует строгого пацифизма. Когда он за три десятилетия до мировой войны и в годы мировой войны неоднократно определяет свое отношение к этой проблеме, он продумывает со всей строгостью несовместимость выведенных из названных ценностей постулатов и отвергает как самообман каждую попытку привести в соответствие эти различные «законы».

«Отношение Евангелий к войне в решающих пунктах абсолютно однозначно. Они отвергают не только именно войну, — о ней даже редко упоминают, — а все законы социального мира, поскольку он хочет быть *миром посюсторонней «культуры»*, т. е. красоты, достоинства, чести, величия «креатуры». Тот, кто не делает эти выводы ... должен знать, что он связан законами посюстороннего мира, которые на необозримое время включают в себя и возможность и неотвратимость войны за власть, и что только *внутри* этого законодательства он может удовлетворять каждое требование дня».

Вебер сделал из этого знания другие выводы, чем Ченнинг, а после него значительно более радикальные — Толстой. Глубокое



почитание Евангелия братства никогда не покидало Вебера, и он принимал его требования в личной жизни. Однако он принимал и внутримирские ценности: чувство достоинства, противодействующее всяким нападкам, активную героическую этику, служение надличностным благам культуры, возвышающим постороннюю жизнь. Бог Евангелия не может притязать, по его мнению, на *исключительное* господство над душой, Ему надлежит делить это господство с другими «богами», прежде всего с требованиями родины и научной истины: «Тот, кто пребывает в «миру» в христианском смысле, может знать только о борьбе между рядом ценностей, каждая из которых сама по себе представляется обязательной. Ему надлежит сделать выбор, какому из этих богов или *когда* одному из них и *когда* другому, он хочет и должен служить. И тогда он всегда окажется в борьбе с одним или с некоторыми другими богами этого мира, и прежде всего вдали от Бога христианства, — во всяком случае от того, о котором возвещает Нагорная проповедь» (1916).

\* \* \*

Вернемся к Веберу в молодости. Под влиянием Иды и как следствие разлуки в страсбургский период меняется его отношение к матери. Как должно было взволновать Елену, которая так страдала от отчужденности своего «Большого», когда он впервые выразил то, что для него означает ее понимание жизни и в значительно большей степени — ее бытие: «... По поводу того, что ты далее пишешь, и уже не впервые, о твоей «неспособности» влиять на наше духовное и душевное развитие и быть нам также и духовно матерью, я должен со всей решительностью констатировать, что это полностью основано на заблуждении; открыто однако признаю, что я также виноват в возникновении у тебя этого мнения из-за моей неспособности объясниться, открыто высказаться о ряде вещей именно в общении с наиболее близкими мне людьми, быть с ними сердечным или даже просто любезным, одним словом, из-за моей «замкнутости» и нелюбезности моих форм общения. Могу только со всей искренностью убедить тебя, милая мама, что твое влияние на нас несмотря на то, и, быть может, именно потому, что для тебя самой оно не было очевидно, оно превосходило влияние большинства родителей на их детей — теперь я могу это констатировать исходя из опыта; если я часто бывал недружелюбен и неприветлив, то происходило это потому, что я был очень, быть может, слишком, занят собой, и пребывая в несогласии с самим собой, был неспособен ни открыто сказать об этом, ни полностью это скрыть; мои мысли шли часто совершенно экстен-

трическими путями, и должен приписать главным образом твоему влиянию, что я теперь достиг более спокойных воззрений, способен ценить опыт, непредвзято судить о мыслях и свойствах других людей и принимать их во внимание. В мой предшествующий университетский период я совершал много, как я теперь вижу, очень легкомысленных, но не дурных поступков, и если этого удалось избежать, — ведь я был молод и тогда и теперь, а искушение возникало часто, — то именно потому, что я тогда думал о тебе».

Да, действительно, молодой студент принял грубое времяпрепровождение буршей, он много пил, тратил значительно больше денег, чем было необходимо и чем ожидали родители, и в Страсбурге у него были товарищи, удовлетворяющие свою чувственность в безответственных и бессердечных формах. Но мать могла быть благодарной: без слов — ибо в те времена темные глубины существования и их грозная проблематика оставались глубоко скрытыми — только святой чистотой своей сущности она привнесла нерушимые препятствия требованиям инстинкта. Ее сын противостоял примеру других: лучше терзаться демоническими искушениями духа, грубыми требованиями плоти, чем отдавать дань физической потребности.

\* \* \*

Ему помогала также способность глубокого сердечного восприятия чистого очарования женской прелести, в котором чувственность замирает или полностью преобразуется в душевную силу. Его дружба со сверстниками носит характер хороших товарищеских отношений без опьяняющего чувственного порыва. Некоторую нежность он испытывал в Страсбурге к двум товарищам его возраста. За исключением отношения к Отто Баумгартену он всегда духовно превосходил своих друзей и к огорчению матери никогда не проявлял потребности иметь руководителя. Он остается собой и справляется сам. Но тот, кто к нему обращается, находит готовность все понять и с участием прочувствовать — уже рано ему не чуждо ничто человеческое. Ему же искать удовлетворения своих душевных потребностей вне круга семьи, например, в знакомстве с женщинами, было совершенно чуждо. Он дружен только с людьми, с которыми связан родственными узами и где основа для непосредственной сердечности дана с детских лет. В такого рода дружественных отношениях с молодыми и старыми людьми нет недостатка. Большая семья предоставляет любой возраст. К тому времени, когда сыновья выросли, гостеприимный дом в Шарлоттенбурге стал принимать кузин того же возраста в качестве гостей на несколько недель. Елена встречает племянниц с материн-

ской любовью, дядя радуется их молодости и охотно наслаждается вместе с ними возможностями большого города. Сыновья проявляют живой интерес к своеобразию каждой, эти выросшие на юге девушки привлекают их больше, чем часто «лишенные аромата» берлинские цветы большого города. Для юных племянниц этот дом с веселым, склонным к развлечениям дядей, бесконечно доброй жизнерадостной тетей, необычно значительными и столь статными сыновьями, привлекательными друзьями — увлекательное переживание. Пульс времени бьется здесь быстрее, чем в других местах, полноту впечатлений едва можно охватить. Молодой Вебер рад каждой и дарит некоторых из них нежной дружбой, не пленяясь ими и не отвлекаясь от своей работы. Только один раз, когда он был еще старшеклассником, он действительно влюбился в одну из кузин.

Очарование баумгартенского дома усиливалось двумя дочерьми, старшая из них 18-летняя Эмми расцвела в прелестную девушку, когда Вебер приехал в Страсбург. Она была необыкновенно изящна и нежна, к тому же умна и жива, молодая Мадонна с венком из светлых волос и узким овалом лица; по душе и нраву полностью фалленштейнского рода; она отличалась чистотой, глубиной и самоотверженностью. Однако она унаследовала и нервную систему своей матери и бабушки, и ее молодость уже рано омрачали тени усталости и грусти. Молодой одногодичник был глубоко тронут ее грацией, одухотворенной прелестью и открылся ей в нежной братской дружбе. В то время она — не подозревая об этом — относилась к числу его ангелов-хранителей. Военные занятия несколько раз заставляли его возвращаться в Страсбург, сначала весной 1885, затем в 1887 г. В промежутках он поддерживал связь с домом Баумгартена перепиской с Германом и Идой. В 1885 г. он стал переписываться с Эмми; когда молодые люди в его приезд на вторую офицерскую подготовку встретились, у них возникла затаенная склонность друг к другу. Веберу было 23 года и он только что стал референдарием. Впервые его глубоко затронул Эрос. Материнское сердце Иды чувствует, что происходит, испытывая противоречивые ощущения. Она любит этого необычного племянника как сына, ее муж также, но она боится последствий любовного союза между находящимися в таком близком родстве детей. И затем! Не слишком ли хрупкий инструмент ее нежная дочь для — правда, нежных — рук этого молодого колосса? Не подавит ли он ее душевно? К тому же он еще так молод, только в начале своего жизненного пути. Свадьба еще в недостижимой дали. Поэтому Ида — предотвращая опасность — посылает Эмми на время к ее брату Отто в Вальдкирх. Но Вебер едет вслед за ней, и молодые люди переживают там в поэзии весны, несколько дней чу-

десной близости. Оба они чувствуют взаимность любви, но об этом не сказано ни слова; ни один жест не нарушает целомудренную дистанцию, только при прощании на глаза молодого человека набегают слеза. В остальном все остается скрытым; предчувствующие матери также молчат.

Вебер надеялся тогда пережить простирающееся перед ним в бесконечной пустоте время до профессиональной самостоятельности и затем жениться на Эмми. Правда, наряду с надеждой возникали сомнения: хватит ли у него силы преодолеть все препятствия, которые возникнут перед этим союзом? Может ли он взять на себя ответственность за эту нежную жизнь? Он боится решения и оставляет все неопределенным. А затем тучи сгущаются над Эмми. Она заметно слабеет. Все-таки остается тайная надежда на поворот судьбы.

### III

Военная служба окончена. 20-летний Вебер возобновляет, по желанию родителей, свои занятия сначала в Берлине (осень 1884) и проводит год в доме родителей. Помимо всего прочего надо возместить большие затраты в годы принадлежности к корпорации и военной подготовки. Елена находит сына внутренне более взрослым. Прежде всего она ощущает — это для нее самое важное — обогащение и углубление его внутренней жизни, приписывая это влиянию сестры. Ей представляется, что годы в Гейдельберге и Страсбурге не слишком высоко оплачены: «Как мне важно, что Макс стал ближе Генриетте и старому дому и принят был вами как свое дитя. Мне хочется все время повторять вам это из глубины благодарного сердца, и я утешаюсь этим всегда, когда мой муж полагает, что неправильно было посылать его в Гейдельберг и такой дорогой город, как Страсбург, где он вел довольно пышный образ жизни. Да, он безответственно истратил много денег зря и был бы в Тюбингене далек от многого, однако то, что ему внутренне духовно и душевно дали эти два года, он бы нигде обрести не мог».

Елена прежде всего благодарна за то, что сын теперь действительно близок ей, старается разделять ее внутреннюю жизнь и позволить ей проникнуть и в его переживания. «Макс вполне вошел в жизнь родительского дома, и меня несказанно радует его внутреннее развитие в этом году. Он стал значительно более склонен к пониманию и к сообщениям о себе, причем с полным сознанием того, что он этим доставляет мне радость. До начала его занятий мы, если мне это удавалось, читали часок Ченнинга, преимущественно его проповеди о воспитании народа и самообразовании; нас это очень интересовало и даже восхищало, хотя Макс

и я придерживались совершенно различных точек зрения, ибо я не могу разделять его теорию, согласно которой часть людей должна только работать для других и зарабатывать себе на хлеб». Нет, с таким воззрением, которое отражает еще не сломленное утверждение культуры, требующей жертвы масс ради ее целей, Елена принять не могла. Для этого ей была слишком дорога единичная душа, и она глубоко и мучительно чувствовала, что «масса» состоит из отдельных борющихся, страдающих людей. То, что издавна было ей свойственно, проявилось теперь под действием учения Ченнинга и влияния Иды полностью. Она открывает доступ неимущим большого города к своему дому, смотрит замученным в лицо, и то, что она видит, заставляет говорить ее совесть: «Часто страшная нужда, которая, не увиденная и не услышанная, существует вокруг нас, настолько мучает меня, так же как беспомощность, с которой мы на нее взираем, что каждое наслаждение и владение представляется мне несправедливым. Я часто думаю о нашей матери и радуюсь, что она не соприкасалась с такими условиями жизни, с такой духовной грязью, которые из-за близости большого города окружают нас в Шарлоттенбурге, она бы не вынесла этого». Чувство социальной ответственности все больше проникает в ее душу.

У Елены создается впечатление, что ее «Большой» хорошо чувствует себя дома; он, правда, много работает, но не безудержно и оставляет время для общения с семьей, хотя ему все время и приходится внушать необходимость самоограничения в работе. Он концентрировался на юриспруденции как своей специальности, слушает курс частного германского права у Безелера, «чьи основополагающие знания заставляют забыть с сухости его изложения», курс международного права у Эгиди, германского государственного права и прусского административного права у Гнейста, историю немецкого права у Бруннера и Гирке, затем лекции по истории у Моммзена и Трейчке.

«Поскольку речь зашла о лекциях, хочу сразу Вас заверить, что я стал здесь действительно прилежным студентом». Особенно он ценит лекции Гнейста: «Я считаю их подлинно мастерскими ... Особенно меня поразило то, как в своих лекциях он непосредственно касается вопросов текущей политики, развивая при этом либеральные взгляды, но не прибегая при этом к пропаганде и агитации, подобно Трейчке в его последних лекциях о государстве и церкви». Впечатления от лекций страстно оценивающего события историка, который включал в свое преподавание всю свою политическую сущность, сыграли большую роль в последующих взглядах Вебера на права академического преподавателя — поэтому мы вернемся к этому в связи с другими высказываниями.

В дом приходят молодые, веселые, но элементарные по своему развитию страсбургские друзья, Елена радуется, но при этом пишет Иде: «Мне хотелось бы привнести несколько более глубокое содержание в это общение, как это тебе удалось в отношениях с Максом, что все время проявляется. Однако за исключением Ш... у большинства нет такой потребности, и это меня огорчает в общении Макса. Он нежно относится к двум своим страсбургским друзьям, но это своего рода отеческое отношение, так как они моложе его по возрасту и значительно ниже его по своим интересам. За исключением дружбы с вашим Отто, — так было всегда, — он не хочет искать тех, кто выше его, и это большая слабость». Правильно ли определяет Елена этим отсутствие у сына потребности в авторитете и руководстве? Это может быть выражением и силы юного титана, который не находит среди своих сверстников никого, кто бы его превосходил, впрочем, в ранней самоудовлетворенности он и не ищет никого. И затем — в общении с более элементарными людьми, которые притягают не на его дух, а на его душу, он отдыхает. Врожденное рыцарство заставляет его обращаться к более слабым. Так источником жизни являются для него младшие дети. Уже в 15 лет ему во время их отсутствия не хватало их «веселого щебетанья». Теперь же прелестные маленькие сестры, Клара и Лили, для него забава и радость; он безгранично их балует, но одновременно и воспитывает: на них он изливает тайную нежность и мягкость своей души. Елена рассказывает: «Четырехлетняя Лили вновь во всех своих правах и обязанностях. Ей поручена трудная задача по утрам будить Макса, и она прыгает вокруг него, пока он не решает встать, и сидит у него, когда у других нет времени заниматься ей». Его способность концентрации так велика, что он может работать, когда все дети вокруг него занимаются своими делами. Милые маленькие сестры для него неисчерпаемый источник радости».

Что касается братьев, то Вебер разделяет заботы матери о них; он работает с ними и входит в проблемы их возраста. Особенно близок ему следующий по возрасту Альфред. Он на 4 года моложе и охотно принимает советы рано сложившегося брата, которым он восхищается. Они во многом похожи, хотя в ряде отношений различны. Младший глубок по своей душевной жизни и, подобно старшему брату, стремится к духовному существованию. Он обладает многосторонними интересами и вследствие своей поэтической одаренности восприимчив к искусству. Поэтому выбор между различными склонностями для него труднее, чем для старшего брата, внутренняя борьба за свою цельность сложнее. Он занимается сначала историей искусств, затем также юриспруденцией и политической экономией. Самый ранний документ между

ними — длинное письмо 20-летнего студента еще из Страсбурга к конфирмации Альфреда. Одногодичник предполагает, что Альфред более, чем он сам, склонный к длительным размышлениям, нуждается также в ином толковании его конфирмации, нежели то, которое ему могут дать мать и пастор, и его старания помочь измученной молодой душе прийти к утверждению своего состояния, бросает свет и на собственное отношение Вебера к христианству,

Подрастающим сыновьям Елены нелегко в качестве детей своей семьи и своего времени определить свое отношение к этому акту. Они обладают острым умом, к тому же глубоки и склонны к размышлению. В родительском доме они дышат, с одной стороны, утверждаемой все время в борьбе евангелической религиозностью матери и чувствуют, *насколько* она всем сердцем хочет передать им это богатство. С другой стороны, они ощущают светское прохладное отношение к этому вопросу отца, который, правда, почитает религию, но с течением времени она теряет для него свое значение. К этому добавляется влияние среды: ослабление создающей общины церкви в кругах интеллектуалов и рабочих, растущий упадок единого мировоззрения, цинизм школьной молодежи большого города. Бодрствующий рассудок отрицает догмы церкви, не хочет приносить в жертву интеллект, а новые формы для выражения вечного в преходящем еще не найдены. Длинное письмо Вебера кажется несколько нарочитым; он обращается больше к рассудку брата, чем к его чувству; пытается обратить его внимание не на религиозное содержание веры отдельного человека, а на общее культурное значение христианства как силы мира, которая формирует всю жизнь Запада, его мышление и чувства; этим он пытается внушить, что отклоняться от включения в великий братский союз потому, что рассудок стоит перед неразрешимыми загадками, было бы дерзостью.

«Дорогой брат! Хочу наконец поблагодарить тебя за оба твоих письма, но также, и это главное, сказать тебе как брат и христианин хоть несколько слов по поводу значительного поворота в твоей жизни, который тебе предстоит, показать тебе, как я понимаю этот важный шаг и какое значение он, по моему мнению, имеет для того, кто его совершает, — а также, чтобы выразить тебе сердечные пожелания счастья в связи с этим событием.

Ты ознакомился с учением христианства, которое с давних пор утверждается и в которое с давних пор веруют в нашей церкви, и при этом ты не мог не заметить, что понимание его истинного смысла и внутреннего значения очень различны у разумных людей и что каждый пытается по-своему решить великие загадки, которые эта религия предлагает нашему духу. Таким образом, от тебя теперь, как от каждого христианина, требуется составить соб-

ственное мнение в качестве члена христианской общины; эту задачу должен решить каждый, и каждый решает ее по-своему, правда, не сразу, а на основании многолетнего опыта на протяжении всей своей жизни. За то, как ты решишь эту задачу, ты будешь нести ответственность перед собой, перед своей совестью, своим рассудком, своим сердцем. Ибо величие христианской религии состоит, как я полагаю, именно в том, что она существует для каждого человека, старого и молодого, счастливого и несчастного, хотя понимается и понималась она различным образом почти 2000 лет. Она является одной из главных основ, на которых покоится все великое, созданное за это время; государства, которые возникли, все великие деяния, совершенные ими, важные законы и установления, записанные ими, даже наука и все великие мысли человеческого рода сложились преимущественно под влиянием христианства. Мысли и сердца людей никогда, с тех пор, как мир мыслит, ничем не были столь преисполнены и взволнованы, как идеями христианства и христианской любви. И чем чаще ты будешь обращаться к истории человечества, тем яснее это тебе станет...

В это сообщество человеческого рода ты теперь вступаешь как член христианской общины, и ты, до известной степени во всяком случае, осознаешь, — тебе это будет, как и мне, становиться все яснее, — что посредством твоей конфирмации, произнесения символа веры, ты высказываешь пожелание быть принятым в этот большой, весь мир охватывающий братский союз и возлагаешь на себя известные права и обязанности. В качестве члена церковной общины ты возлагаешь на себя право и обязанность содействовать в своей сфере развитию великой христианской культуры и тем самым всего человечества — и раньше или позже каждый из нас понимает, что утверждение этой обязанности и задачи и возможное их выполнение — необходимое условие его собственного счастья. Чем раньше мы поймем, что наша удовлетворенность и наш внутренний мир неразрывно связаны с нашим стремлением выполнить эту обязанность, чем раньше мы радостно почувствуем, что находимся на этой прекрасной земле, чтобы участвовать в великом деле, тем лучше для нас. И в завершение я хочу тебе пожелать, чтобы ты все больше проникался этим сознанием плода истинного христианства, на радость нашим родителям и для мира тебе».

Если студент, пользуясь этим поводом, дал не религиозный ответ на мучительный для каждого мыслящего человека вопрос: Для чего? по поводу его собственного существования, а ответил на него «исторически», указав на культурное значение христианства и долг каждого служить надличностным задачам, то более позднее письмо брату ко времени его поступления в старший класс (1885)



показывает, что он сам понял значение совсем иных личностных «самых близких» обязанностей во всем их значении: «К тому же, именно это время, последнее до того как центр нашего существования надолго выходит из круга семьи, заставляет познать первые, действительные обязанности и выполнить их. Сколь ни простыми и незначительными представляются эти семейные обязанности, действующие в самом узком кругу, в границах которого находится человек, столь же трудно действительно их выполнять. Знаю из собственного опыта, как легко здесь заблуждаться, ибо эти внешне кажущиеся незначительными обязанности становятся именно вследствие их незначительности и очевидности обременительными и неудобными, и кажется очень тривиальным заниматься ими; между тем, именно полагая необязательным заниматься этими требованиями, мы доказываем, что неспособны их удовлетворить и справиться с ними. И в этом отношении указанный период жизни очень полезен для правильного понимания, ибо совсем не так легко, как часто думают, именно в этой сфере найти правильный путь; очень часто сознание и чувство этого приходят гораздо позже...»

Через полгода (весной 1886) Альфред, которого чтение «Жизни Иисуса» Штрауса привело к внутренней борьбе и сомнениям, обращается с письмом к старшему брату. Тот, несмотря на то, что ему предстоит экзамен на референдария, находит время на очень подробный ответ и пытается помочь, указывая на то, что понятийные основы Штраусовской философии религии уже устарели. Это письмо является почти статьей, здесь будут приведены лишь отрывки из него: «На твое милое письмо я ответил бы тебе гораздо раньше, если бы не был занят подготовкой, а потом ожиданием судьбы моей экзаменационной работы, — теперь я наконец могу найти свободный вечер, чтобы ответить на твое письмо.

Ты мне писал о ряде важных вопросов, и меня это интересовало тем больше, что я также в твоём возрасте и примерно таким же образом стал заниматься ими. С тех пор прошло уже некоторое время, но я живо помню, какое громадное впечатление произвела на меня «Жизнь Иисуса» Штрауса, когда я впервые прочел ее. Это произведение безусловно было событием, и написано оно с такой открытостью и честностью убеждения, которые как бы каждому угрожают пистолетом: «Либо ты согласишься со мной, либо ты лицемер!» Правда, посредством таких императивных «или-или» важные вопросы истории человеческого духа и нравов редко решаются, однако пролагающее путь действие людей такого духа, которые имеют достаточно мужества, чтобы ставить подобные вопросы, остается — это произошло и с идеями Штрауса; он устранил многое — половинчатое, существовавшее до него и внес яс-

ность; но, с другой стороны, наука пошла иным путем и отнюдь не приняла взгляды Штрауса как конечный результат, на что он притязал, а рассматривала их как импульс к новым, проникающим глубже вопросам; в последнее время было доказано, что книга Штрауса содержит не *ответ*, а вопрос, вернее, множество *вопросов*, что ряд более важных сторон предмета остались в ней не освещены и что поэтому в основу должны быть положены другие понятия, а не те, которые Штраус использовал и мог в свое время использовать.

Надеюсь, что нам удастся поговорить когда-нибудь об этом, ибо стоит труда уяснить себе то, что здесь важно; именно в подобном случае всегда грозит опасность быть односторонним, свести все вопросы к одному и затем найти выход для решения всех трудноразрешимых задач в понятии, значение которого мы сами в данный момент не понимаем или понимаем недостаточно ясно. Так обстоит дело, например, с понятием «мифа», которое приводит Штраус и которое, как я вижу и вполне понимаю, тебе очень понравилось, так как это понятие служит как будто легко постигаемым ключом для объяснения того, что непостижимо для наших рассудочных понятий и нашей логики. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что это понятие ничего не объясняет и нисколько не проясняет вопрос; оно ни в какой степени не объясняет связь Иисуса как отдельной конкретной личности с Христом истории и в сущности вообще неприменимо к рассматриваемым здесь изменениям человеческого духа и человеческой культуры. (Далее следуют объяснения сущности и возникновения мифа, с одной стороны, и возникновения христианства благодаря Иисусу как исторической личности — с другой). Если рассматривать миф о Геракле или Персефоне, создание поэтического восприятия природы оседлым высоко одаренным народом, так же, как то, что царило в обычно не имевших родины, длительное время борющихся с нуждой, собранных из разных стран первых христианских общинах — это было бы равносильно уподоблению деятельности редактора газеты (описывающего на основании статистических данных нужду трудящихся классов и следствия приверженности к алкоголю, связывая с этим благожелательные, полемические или сатирические соображения об этом состоянии и о том, кто ответствен за него) человеку, который в то же время борется с тяжелейшей нуждой и различными наблюдениями и фантазиями, возникающими в его уме. Можно провести еще ряд подобных сравнений: если кормилица вечером закупоривает флакон с чернилами и кладет на него крест накрест две спички, полагая, что в черной жидкости присутствует сатана, который теперь не может выйти, то мы смеемся над этим; когда же Лютер в

Вартбурге в тяжелейшее время его жизни бросает чернильницу во врага рода человеческого, над этим тоже можно смеяться, но это уже смех другого рода. А когда мы думаем о процессах над ведьмами, то у нас вообще проходит всякое желание смеяться — между тем во всех этих случаях речь идет об одном и том же — о суеверии; но в каждом случае оно относится к разным сторонам человеческого духа, и значение его каждый раз иное.

Ты мне писал еще кое-что, о чем можно было бы поговорить, например, о том, что касается ценности познания «только посредством опыта и рассудка». Безусловно нигде их ценность и объем не ставились так высоко, как в древности, однако условия и подлинная основа познания, а также наша способность к нему не были тогда поняты... Теперь мы ставим вопрос глубже, то есть мы не удовлетворяемся констатацией «опыта», но спрашиваем о причине того, почему опыт дает нам истину, о характере и ценности той истины, которую дает опыт, и о той, которую опыт дать не может. Так же обстоит дело с «непонятностью» религиозных догм, о которой ты говоришь; ее констатация еще ничего не решает, так как сразу же возникает вопрос: каково мое отношение к этому непонятному? Какую *ценность* оно имело для людей в истории, и какую оно имеет для меня? Или, быть может, оно из-за своей непонятности вообще не имеет для меня значения? Последнее, по моему мнению, ни при каких обстоятельствах не может получить утвердительный ответ, но на вопрос, каково же его значение, человек не может ответить сразу» (март 1886).

Когда же отказ брата от унаследованного круга христианских идей и его стремление к ясности понимания метафизических проблем в какой-то период принимают форму картезианского сомнения и отчаяния в себе, старший брат высказывается решительнее, чтобы заставить его побороть это состояние: «ибо хотя в общем я не очень склонен к принципиальным дискуссиям, твое письмо меня в ряде отношений порадовало, хотя кое-что представляется мне в нем странным. Начать с того, что я не могу понять, почему ты постоянно стремишься внушить себе, что с тобой все конечно, что ты неизбежно должен отчаяться в себе. Я просто спрашиваю тебя, почему? И если я не вижу другой причины, — а никакой иной я не замечаю, — кроме трудностей в понимании некоторых общих теоретических проблем, то могу это рассматривать только как громадную переоценку значения теории в мире и для отдельного человека. То, что человек, не приемлющий мысли о вечности адских мук или чего-либо подобного из теоретических соображений, серьезно приходит к мнению, что он не может больше существовать или что жизнь для него бремя — решительно абсурдно, если серьезно подойти к этому. Что этим можно

очень мучиться, я хорошо знаю. Однако тот, кто хотя бы в некоторой степени способен оценить и представить себе минимальную ценность и слабость наших органов познания — в абсолютном рассмотрении — и понимает это, никогда не придет к мысли о возможности ошибки в теории о вещах, которые никогда не будут доступны нашему опыту, к идее отказаться от стремления к познанию как таковому. Такого рода мысли я бы решительно продумал и задался вопросом, нет ли в этом некоего самообмана и не играет ли здесь роль известное очарование пессимизма, под власть которого время от времени подпадает каждый. Необычайная сила господства у тебя такого рода мыслей — это тупик, в котором я тебя иногда находил, тупик он и есть, ибо ни к чему не ведет. В остальном я не могу сказать, будто считаю, что ты уж настолько далек от пути, который я счел бы правильным».

По данным, сохранившимся от событий лета 1887 г., можно предположить, что 23-летний Вебер давно достиг признания границ деятельности рассудка и остановился на молчаливом почтении перед непостижимым. Но отказ поднять покров, скрывающий божественное, не препятствует его стремлению к познанию. Он ограничивает его пределами научного мышления о познаваемом.

## Глава IV

# Первый успех

Последний семестр перед экзаменом на референдария (зима 1885/86) Вебер провел в Гёттингене. Он сохраняет жесткую дисциплину в занятиях, рассчитывает свою жизнь по часам, делит день на точные отрезки для различных предметов, «экономит» на свой лад, удовлетворяясь вечером фунтом сырого рубленого мяса и яичницей из четырех яиц. В последний час дня он играет в скат с очень простым по своему уровню другом, который провалился на экзамене и которого Вебер теперь готовит для второй попытки. Его не привлекает ни зимнее веселье, звенящее под его окнами, ни желание странствовать весной — с тех пор как он больше не занимается фехтованием, он вообще не двигается. В каникулы он также ищет — если отец пожелает с ним путешествовать — не покоя и наслаждения природой, а впечатлений, способных удовлетворить его жажду знания: «Северное море и природа никуда от меня не уйдут и останутся достигаемыми предметами наслаждения, время же, в течение которого я могу наряду с юриспруденцией заниматься другими вещами, уходит. Считать наслаждение природой открытием Нового времени я не могу, к тому же я не обладаю этой способностью, но мне известны другие столь же большие наслаждения, которые я должен предпочесть наслаждению природой как таковой по той причине, что наслаждаться природой я смогу и позже и, вероятно, если когда-нибудь действительно очень замучаюсь, в большей степени, чем теперь, находить же время для духовных наслаждений мне станет все труднее».

Молодой человек решил на аскетизм труда, он отказывается от полноты разнообразных духовных интересов и концентрируется на ближайшей цели. При этом он впервые ощущает удовлетворение от полного «выполнения своих обязанностей. Он шутя пишет о своем состоянии: «Вообще я кажусь себе значительно улучшенным изданием себя самого». И дома на каникулах он также не позволяет себя отвлекать. Елена удивляется одержимости, с которой ее «Большой» отдается «требованию дня», и ее женский

нрав с его потребностью в гармонической целостности существования видит в этой специализации новую проблему: «Теперь ведь должен быть создан референдарий, и Макс целиком погружен в это, не смотрит ни направо, ни налево и к моему удивлению отбросил почти всю остальную литературу. Утром за завтраком, если ему представляется слишком долгим ждать прихода папы, он всегда вытаскивает из кармана миниатюрное издание «Морского права» или «Вексельного права» и погружается в них, как в роман. В будущее лето он хочет подготовиться здесь к степени доктора, думаю, что тогда другие интересы вновь получают превосходство над сухой юриспруденцией, совершенно мне чуждой. К тому же, Макс недостаточно практичен для чиновника и недостаточно аккуратен в повседневных делах; его с давних пор больше интересовало историческое развитие права, чем его применение».

Несмотря на занятия молодой человек остается хорошим товарищем, любит умную или веселую беседу за бокалом хорошего вина, а также просто по-человечески уютное пребывание в кругу близких и отнюдь не ощущает себя изолированным чудачком, желающим освободиться от данных жизненных форм. Для ощущения своей силы ему не нужно противоречить традиционному. Подготовленные для молодежи обоих полов празднества, требовавшие много времени, прежде всего танцы, удовольствия ему не доставляют. И каждый, видя этого молодого колосса и не исходя при этом из условности — несомненно освободил бы его от этого несоответствующего ему движения. Только не Елена. Сохранился ряд высказываний о его отношении к этому развлечению, ибо оно часто обсуждалось в разговорах между матерью и сыном. Глубоко серьезная, но вместе с тем жизнерадостная женщина не могла понять ту раннюю неприязнь к тому, что по ее представлению связано с молодостью; более того, она считала обязанностью человека и христианина готовность молодого человека предоставлять молодым девушкам столь важное для них удовольствие. И конечно, чем больше она подчеркивает этот обязательный характер танцев, тем больше усиливается сопротивление этому сына, которое иногда сообщается и младшим братьям, хотя они к этому в сущности относятся по-другому. Такая форма совместного времяпрепровождения никогда не дает ему усиления чувства жизни, а молодые девушки привлекают его меньше всего, когда он должен держать их в объятьях, извлекая их из повседневной жизни, празднично украшенных и полураздетых, без всякой возможности духовного или даже просто уютного общения. Он был нечувствителен к тому, что молодые люди обычно бессознательно ищут в таком удовольствии: к эротической игре, придающей тайное очарование даже самой банальной беседе. После одного гёттин-

генского празднества с танцами он делает попытку подробного юмористического подсчета затраченного времени на полученное развлечение, чтобы убедить мать в своем праве на неудовольствие: «Я тебе еще не ответил, так как в последнюю неделю потерял много времени из-за одного события, а именно 1. я приглашен к фон Бару на бал, я сержусь (1/4 часа); 2. иду покупать шапокляк (1/2 часа и большая трата); 3. забыты перчатки, выхожу, покупаю перчатки (1/2 часа и опять трата); 4. прихорашиваюсь, при этом 10 запонок покидают бранный мир, одна пуговица жилетки плохо держится и даже подтяжки рвутся (почти целый час!); 5. до всего этого уже крепче пришил рукав фрака, который трещал по швам (1/4 часа); 6. иду к парикмахеру причесаться, при этом на голове у меня оказывается целая аптека кремов и одеколона (1/4 часа); 7. бегу к господину фон Бару, считая, что опоздал на полчаса; 8. прихожу слишком рано (1/4 часа); 9. болтаю полчаса и веду много излишних разговоров; 10. кормят (5/4 часов); 11. топая, болтаю и потею (с 10 до приблизительно 3,5 часов); 12. проспал лекцию Дове (1 час); 13. должен догонять (1 час), вместе это составляет около 12 часов, следовательно, целый день! Погоди! 14. делаю, что случилось сегодня — едва не забыл — благодарственный визит. За это время можно полностью проработать общую часть имперского уголовного кодекса, а специальную по крайней мере до «социально опасных преступлений». Так вот, пусть мне говорят, что хотят, о танцах и их преимуществах — десятой части потраченного времени, может быть, это стоит для того, кто к этому склонен и хрупок по своему сложению, ко мне же не относится ни то, ни другое: «Каждый живет по тому праву, в котором он рожден» метко сказано в Саксонском зеркале; мы же, к сожалению не живем больше по праву наших отцов, а римское право говорит значительно менее великодушно «*ultra posse nemo obligatur*»<sup>12</sup>, следовательно, только когда больше не можешь, разрешено перестать — но даже этот предел не всегда принимают во внимание молодые дамы — очень несправедливо, если исходить из их способности топтать ногами, называемые «слабым полом»...

В остальном я получил даже большее удовольствие, чем ожидал, — с несколькими молодыми дамами я в самом деле побеседовал неплохо и основательно познакомился с рядом предметов, постепенно освещенных с различных сторон различными дамами: каток, певческий кружок, помолвка помощника библиотекаря, котильон, жара в комнате, случайности погоды. Общий результат: я соглашаюсь на 1—1½ часа танцев, если при этом выступать в своем качестве как разумно одетый человек, а не *qua* фрак, цилиндр, белые перчатки, черные брюки и соответствующие детали к ним наряду с механизмом речи».

Чтобы мать не беспокоилась, считая, что он приближается к состоянию отшельника, вскоре после этого тема «общение» освещается с ее положительной стороны — после приглашения к обеду в кругу семьи, он ей пишет: «Если бы я хотел в данном случае также рассуждать, то твои упреки были бы уместны, однако, по моему мнению, так называемый бал нельзя сравнить по его ценности и цивилизационному содержанию ни с таким очень приятным совместным пребыванием, ни даже с сидением за кружкой пива, которую выпивают вместе с разумным человеком. Господин и фрау фон Бар были очень любезны; он проявил свое замечательное остроумие и распространился почти по всем вопросам политической сферы; мне казалось бы, что при этой процедуре *sine figura et strepitu*, как сказано в *Corpus iuris canonici*<sup>13</sup> — без «фрака и топанья» — где после трех часов, услышав много вообще и специально интересного, прекрасно развлеклись и даже сытно поели, было бы гораздо лучше умиротворенно пойти домой и зажечь трубку вместо того, чтобы с трудом заработать кусок мяса кенгуроподобными прыжками и для наслаждения сигарой и стаканом пива осторожно и скрытно улизнуть на лестницу».

Год спустя в качестве берлинского референдария он вновь серьезно возвращается к типичному общению в большом городе того времени; и то, что он здесь говорит своей страсбургской знакомой остается его мнением и в последующие годы: «У нас к вреду всех участников общение понимают как «обязанность», которую, насколько это возможно, услаждают. Это проявляется уже в составе общества. Ведь сказано: *после* работы хорошо отдохнуть и нет никакой причины сводить это только к труду отдельного дня. Это вполне применимо и к работе всей жизни. Следовательно, можно предположить, что существенный элемент в обществе должны составлять те, кто уже совершил значительную часть своей работы и обзревают свои свершения в жизни. Вокруг них должно было бы вращаться общество. Они должны служить ему центром, остальное же только довеском, но нет! Здесь все по-другому: в центре именно самых больших и богатых по своему объему видов общения находится интерес молодежи к развлечению, он дает меру для объема и характера объединения. Поскольку общение для них не может иметь значения отдыха после бремени и жара жизни, оно становится для них самоцелью, институтом, который существует ради самого себя и у которого надо так или иначе найти лучшие стороны. Никто не заставит меня изменить свое убеждение: интерес к человеку как таковому никого не вытеснит из круга его семьи, где он найдет достаточно возможностей для неисчерпаемого изучения человеческой природы, на бал, где он то тут, то там обменивается несколькими поверхностными замечаниями, почти



всегда одинаковыми, и во всяком случае не найдет расширения знания о человеке, а в лучшем случае — знание о костюмах. Следствием этой цели беседы является стремление к известной рутине, просто выполнение обязанности, ибо с социальной точки зрения беседа должна происходить. Другими словами: всячески развивается нахальство, и здесь, в Берлине, в этом направлении достигнуты блестящие результаты, причем именно у дам, т. е. именно у тех, кого представляют как драгоценные камни каждого общественного объединения. Это легко меняет позиции полов. Перед такой критически настроенной девичьей, обладающей фантастическим даром говорения, кто-нибудь, например, я, может почувствовать смущение ... но не «замешательство», а оно и есть сознание *границ*, внутри которых в обществе должно существовать отношение между полами».

Странное впечатление производит, что 23-летний юноша с такой уверенностью порицает то, что потребности *молодежи* настолько определяют характер празднеств. В противоположность самооценке сегодняшней молодежи, которая в качестве «молодежи» ощущает свое превосходство, *его* привлекало прежде всего общение со зрелыми людьми как носителями знания и жизненного опыта. Его высказывания о старых людях могли быть юмористическими, но очень редко неуважительными. В общении ему было свойственно никогда не забывать о дистанции, рыцарская предупредительность и внимательность. Правда, испытывая в пылу научной или политической дискуссии страстное рвение, он защищает свои взгляды и по отношению к почитаемым корифеям с решительной откровенностью, свидетельствующей о большой внутренней уверенности.

\* \* \*

В женщине, а также в молодой девушке Вебер уже тогда видел прежде всего человека, и только потом представительницу другого пола, и от нее он требовал одухотворенного обаяния и сдержанности, определяющей поведение мужчины: «Старое правило состоит в том, что если в разговоре мужчина, как правило, берет на себя инициативу, женщина устанавливает границы и *только от девушки зависит*, будет ли молодой человек раз и навсегда приучен... в свою очередь держаться этих границ». Вебер серьезно относится к каждому проявлению объективного интереса у женщин и радуется, если он выражен с изяществом; но ему очень неприятны «берлинские замашки», под которыми подразумевается своего рода деланная уверенность и общественная рутинa, выражающаяся в псевдоостроумных или шутливых словопрениях и

стирающая очарование юной девушки еще до того, как она полностью расцвела. О новом, возникающем типе женщин, о первых студентках, которых он встречает в Берлине, он отзывается с интересом и благосклонностью: «Одна была еще новичком в третьем семестре, другая — старый студент, как я. Обе занимались медициной. Новенькая — еще и естественными науками. Ей была свойственна известная энергия в движениях, которая не всегда производила эстетически благожелательное впечатление, и, кроме того, научный характер выражений даже в совсем не научных беседах — это часто встречается у старательных новичков. Старшая студентка, напротив, вызывала мое полное одобрение» (3.12.85).

Правда, это одобрение нового типа было еще сдержанно. Студентки вели трудную борьбу за признание своих прав, поэтому были склонны часто пользоваться жесткими и напряженными манерами борца. К тому же в отношении к этому явлению, которое разделял и Вебер, коренился неосознанный собственный интерес молодого человека, в значительной степени нуждающегося в качестве основы собственного существования в женской заботе и готовности услужить. Поэтому он в письме к приятельнице, которая сама была прелестным воплощением специфически женственного, отдает предпочтение традиционному типу: «Другой тип, который меня в сущности еще больше привлекает и который кроме того имеет то преимущество, что он не продукт Нового времени, это так называемые *матери студентов*. К этому типу, причем к его превосходнейшим представительницам, относится в первую очередь моя милая хозяйка, «тетя Тёне», предмет множества воспоминаний моего отца периода его гёттингенской жизни, когда она странным образом выглядела как будто совершенно так же, как теперь, через 30 лет. Несмотря на то, что в эстетическом отношении ей присуще нечто неистребимо страшное, как теперь, так и с давних пор, мне нигде еще так хорошо не жилось, как у нее».

В остальном, он уже тогда считал внутреннюю свободу и самостоятельность женщины, в том числе и замужней, ее «неотъемлемым человеческим правом», таким же, как право мужчины. Он пытался незаметно усилить у своей матери сознание ее права, даже долга, на самоутверждение. Когда он летом 1885 г. подробно отвечал на письмо матери, взволнованно рассказывающей о судьбе своей близкой подруги в браке со значительным, но болезненным человеком, тирания которого грозит сломать силу ее сопротивления, то он, быть может, пытался сказать Елене между строк то, что выразить иным способом ему не позволяло сыновнее почтение к отцу: «Условия N.N. я примерно так себе и представлял, а робость и запуганность бедной женщины была мне также хорошо извест-

тна. Быть может, если бы она могла быть менее робкой и притязала бы на известную свободу движения как на нечто само собой разумеющееся и осуществляла бы такое притязание, то мне не представлялось бы невозможным, что ее муж, в свою очередь, стал бы считать менее естественной ставшую постепенно привычкой тиранизацию всех. У меня всегда было впечатление, что он при его остром понимании подобных вещей видит все то, что втайне совершается против его помыслов и его предрассудков, так же хорошо, как будто это делается открыто.

Я далек от того, чтобы судить, возможно ли такое поведение по отношению к нему, но со стороны возникает мысль, что открытые самостоятельные действия, быть может, привели бы его к некоторому сознанию, что он пытается подавить нравственное право на свободную мысль и свободную речь, на право личности вообще, и, может быть, он ясно почувствовал, что против него не совершаются происки и конспирации, как ему представляется в его болезненной меланхолии, а действует просто сознание права личности».

Впоследствии Вебер часто говорил то, что здесь сказано между строк: что замужняя женщина должна с непоколебимой твердостью ставить предел мужчине, который склонен лишить ее свободы и использовать для своих целей, выходя за границы необходимого разделения труда. Он считал это необходимым не только для женщины, но и для ее мужа и для благополучия брака: развитая собственная жизнь женщины означает возрастание богатства в сообществе; кроме того, мужчину не следует склонять к несправедливости жертвенностью, выходящей за пределы услуг, возложенных на женщину природой, которые она не может длительно совершать, тайно не восставая против них.

## II

В мае 1886 г. Вебер сдал экзамен на референдария и достиг таким образом дальнейшей ступени самостоятельности. 22-летний Вебер уже давно вышел за пределы студенческой жизни. Незадолго до завершения этой стадии он писал матери: еще раз пережить эти годы нельзя, это несомненно, и все-таки у меня впечатление, что теперь пора им закончиться и печалиться об этом я не могу. Однако он прослезился, когда единственный товарищ по корпорации гейдельбергского времени, с которым он провел в Гёттингене перед экзаменом последний час перегруженного работой дня, проводил его и по славному обычаю буршей спел ему на перроне грустную песню: «Старый бурш, я уезжаю». Это было прощанием с молодостью. Перед ним был еще бесконечно длинный путь, цель

которого — плодотворное использование всех сил и внешняя самостоятельность — была еще в тени.

Вебер вернулся в родительский дом и жил там, так как он еще ничего не зарабатывал, семь лет, до его женитьбы. Еще 6 длинных лет должны быть посвящены подготовке к своей профессии, пока наконец все цели будут достигнуты. Вебер стремится прежде всего получить степень доктора юридических наук, к чему в Берлине предъявляли высокие требования, следовательно, продолжает, наряду с деятельностью референдария, свои занятия, прежде всего в семинарах Гольдшмидта и Мейцена.

Его большая, посвященная Гольдшмидту диссертация «К истории торговых обществ в средние века» охватывает пограничную область между историей права и историей экономики. С этой работой было «несоразмерно много хлопот»; она стала уже подлинной научной работой, и ее выводы Вебер включил в свой последний социологический труд.

«Для этого мне пришлось прочесть сотни итальянских и испанских сборников статуты и сначала настолько усвоить оба языка, чтобы понимать в некоторой степени написанные на них книги, что применительно к испанскому потребовало довольно много времени. К тому же эти источники написаны большей частью на древних гнусных диалектах, так что удивляешься, как люди сами вообще эту тарабарщину понимали! Мне пришлось много работать и если при этом результат не большой, а малый, то виноват не столько я, сколько итальянские и испанские городские советы, которые не поместили в статуты именно *то*, что я в них искал».

Защита была торжественной и действительно строгой. Кандидат прошел проверку по семи юридическим предметам; в защиту входил и открытый диспут по трем составленным докторантом тезисам, оппонентами по которому были приглашены его друзья. Вебер предложил Теодора Моммзена, Отто Баумгартена и Вальтера Лотца, и последнему мы обязаны следующим описанием: «После того как мы закончили, Макс Вебер согласно обычаю должен был обратиться по-латински с вопросом, готов ли теперь, когда он опроверг всех противников и успешно защитил свои тезисы, еще кто-нибудь из слушателей оппонировать ему. Тогда из круга слушателей поднялся старый господин, худой, как паук, с очень красивыми седыми, гладкими волосами и выразительным профилем; это был Теодор Моммзен, которого я впервые тогда видел и слышал. Он высказался по второму тезису: докторант, говоря о *colonia* и *municipium*<sup>14</sup>, предложил определения, которые показались ему, занимавшемуся этим всю жизнь, удивительными и по поводу них он попросил дать дальнейшие разъяснения. Началась дискуссия между Моммзеном и молодым Вебером.

Моммзен в завершение сказал, что он еще не вполне убежден в правильности веберовского тезиса, но не хочет препятствовать продвижению докторанта и поэтому не будет настаивать на своем возражении. У молодого поколения часто появляются новые идеи, которые предшествующее поколение не может сразу принять, возможно, что так дело обстоит и в данном случае. «Но когда мне придется лечь в могилу, то я никому не сказал бы более охотно: Сын, вот мой меч, для меня он становится слишком тяжелым, — чем глубоко уважаемому мною Макс Веберу». С этими словами открытый диспут, после которого кандидату была торжественно присуждена степень доктора юридических наук, был при большом внимании присутствующих закрыт Теодором Моммзеном».

Как только первая работа была закончена, началась подготовка работы для получения доцентуры: «Один из моих самых уважаемых и любезных учителей, известный аграрный историк Мейцен, настойчиво требует публикации еще не готовой, по моему мнению, работы о распределении в Риме пахотной земли и колонате». Это начальная работа выросла затем в книгу «Аграрные отношения в древнем мире»<sup>15</sup>, которая послужила предметом полемики в литературе и в частных устных диспутах с Моммзеном. Вебер защищал этой работой право на должность доцента по римскому, германскому и торговому праву в Берлине в 1892 г. Он не позволил себе перерыва в работе и приступил примерно около этого времени по поручению «Союза социальной политики» к дознанию о положении остальбских сельскохозяйственных рабочих. К юридическим работам присоединились работы по политической экономии. Но об этом позже. Проследим сначала другую сторону развития Вебера. Наряду с научными интересами его страстно интересовали политические события. Они нашли свое выражение в письмах Герману Баумгартену 1884—92 и целесообразно сначала показать эту часть его жизненного пути.

Предпосылкой образования его политических суждений были национально-либеральные убеждения отца; однако к ним вскоре присоединились новые, возникающие в ходе развития элементы.

Представим себе прежде всего значительные политические события 80-х годов<sup>4\*</sup>, высказывания его о которых мы имеем. Они стоят под знаком Бисмарка, который все больше определяет судьбу нации. Великое время либерализма прошло; его левая партия прогрессистов во главе с Ойгеном Рихтером находится большей частью в оппозиции, национал-либералы во главе с Беннигсеном и Микелем «не хотят ни следовать канцлеру, ни бороться с ним, а стремятся влиять на него». Они помогли ему провести культуркампф и закон против социалистов: поддержали подавление по-

литического выступления рабочих масс, возглавляемых социалистами. Тем самым они отказались от своих идеалов свободы и перешли на сторону Бисмарка. Но они все-таки его не устраивают. Когда они стали ему не нужны для культуркампа, он попытался ослабить их посредством дальнейшего разделения их рядов и достиг этого, когда был поставлен вызвавший возбуждение вопрос, установить ли протекционистские пошлины или свободную торговлю. Беннигсен поддерживает бисмарковскую политику протекционистской пошлины, но останавливается в связи с условием Франкенштейна — вследствие чего часть его последователей, в том числе Трейчке, поворачивает вправо, примыкая к свободным консерваторам. Но прежде всего отделяется во главе с Форкенбеком, Риккертом, Ласкером и Бамбергером «Сецессион», который вскоре (1884) объединяется с прогрессистами в партию свободомыслящих. Новая партия находится в оппозиции, отвергает протекционистские пошлины, продление закона против социалистов и против того, как Бисмарк, чтобы подчинить себе центр, заканчивает культуркамп. Тем самым распад либерализма, к чему стремился Бисмарк, достигнут. Перед ним стоит выбор: проводить ли свою политику с помощью центра и крайних консерваторов или национал-либералов и свободных консерваторов, в обоих случаях сталкивая оба направления. Уменьшившаяся партия центра пытается применить старую национал-либеральную политику: поддерживать Бисмарка от случая к случаю, сохраняя верность либеральным принципам; она готова участвовать в социальной политике, введенной «императорским обращением» (1881) о социальных обязанностях государства, отказываясь поддерживать лишь пункт о финансовой политике. Беннигсен уходит на некоторое время из политики. Бисмарк управляет государством единолично и терпит рядом с собой только свои кресты или послушных ему ставленников, используемых как орудие. Национал-либералы все больше подпадают под господство его понимания государства, старые, индивидуалистические идеалы свободы в их рядах тускнеют, и они уступают свое знамя партии свободомыслящих, которая возлагает свои надежды на замену монарха и канцлера. Национал-либералы смирились с тем, «что Бисмарк в отличие от их мечты о парламентском правлении насильственно и лукаво вводит новый тип монархическо-конституционного государства»<sup>5\*</sup>. Следовательно, они все в большей степени принимают политику Бисмарка, одобряют продление действия закона против социалистов, поддерживают его поворот к социальной политике, законы о пошлинах, дают согласие на увеличение армии ввиду угрозы войны с Францией, короче говоря, приходят к тому, к чему вел их Бисмарк: становятся правительственной

партий «второй степени» наряду с умеренными консерваторами. Либеральные идеалы ими утрачены. Император Фридрих, на которого возлагали свои надежды либералы, после короткого правления умирает и, как сетует Густав Фрейтаг, «с его смертью отпала окраска, дополняющая сущность его отца». Бюргерство не достигает политической власти. Из вождей либерализма министром стал только умеющий приспособляться Микель и никто больше. Молодой правитель Вильгельм II проявляет церковно-феодалские склонности. Крайние консерваторы и высокие церковные круги, Штёккер и Гаммерштейн, пытаются привлечь его на свою сторону. Однако противодействие Бисмарка сильнее. Вильгельм провозглашает, что будет придерживаться установленного курса и объявляет себя сторонником картельной политики Бисмарка.

\* \* \*

Депутат Макс Вебер senior входил в группу Беннигсена, следовательно, строго держался средней линии, считал отделение левого крыла гибельным для либерализма и стремился к единству в партии. Сын в основном согласен с отцом, но не примыкает ни к какой партии. Он не придерживается односторонней либеральной ориентации, ибо сплоченное *национальное могущественное государство* представляется ему необходимой основой всего остального — однако он не поддерживает и возвеличение государственной идеи за счет духовной свободы и личностных прав каждого человека. Он хочет прежде всего учиться, наблюдать, взвешивать и понять суть различных течений. В его послании к Герману Баумгартену нет и следа односторонней партийности или одержимости молодого человека, а только желание понять события из них самих, объективно их постигнуть и справедливо оценить различные мотивы политических действий. И он пытается внушить дяде, который способен видеть эру Бисмарка только разочарованно и критически, более позитивное понимание.

Характерно для этого выжидательного отношения является, например, высказывание 20-летнего об исключительном законе против социалистов, за продление которого была ответственна национал-либеральная партия: «Если оправдывать его, то приходится принять, быть может, не вполне неправильную точку зрения, согласно которой без этого закона было бы неизбежно значительное ограничение многих достижений публичной жизни: свободы слова, прав на собрания и объединения. Ведь социал-демократы были готовы своей агитацией полностью компрометировать основные учреждения государственной жизни. Следует ли ограничить эти считающиеся необходимыми для общественной свободы

основные права или сделать попытку применить обоюдоострый меч для исключительных репрессивных мер? Попытка была во всяком случае оправдана. Правда, мне втайне иногда кажется, что всеобщие, равные права важнее всего и что предпочтительнее, если необходимо, на всех надеть намордники, чем заковать некоторых в цепи. Основная ошибка заключается в даре данайцев — бисмарковского цезаризма, всеобщего права голоса, сильнее всего удара по равноправию *всех в подлинном смысле слова*.

Веберовское чувство справедливости заставляло его протестовать против исключительных законов, затруднявших борьбу за свои интересы для становившихся неудобными пролетариев, — с другой стороны, он не одобрял символов общего политического равноправия — очевидно потому, что Бисмарк хотел в свое время посредством всеобщего права голоса в Империи уничтожить либерализм. Все положение страны заставляло, конечно, постоянно спорить с этим могущественным человеком, который господствовал в Германии, и оценка Бисмарка рано складывалась так, как она была фиксирована спустя 30 лет: восхищенное признание несравненного политического гения и его направленной на могущество и единство Германии политики, но одновременно отказ от лишенной критики покорности и обожествления. Столь близкий многим сверстникам Вебера пароль «Бисмарк sans phrases»<sup>16</sup> означал для него не только средство ослабления способности к политическому суждению, но и преклонение перед милитаристской и иной беспощадностью, внутренним огрублением и опошлением. К тому же конкретные парламентские переживания отца рано утвердили его убеждение в том, что герой не только совершает политические ошибки, но и обладает человеческими слабостями, которые отомстят ему самому и нации.

Молодому человеку особенно не нравилось, как Бисмарк общался с людьми — он, дабы утвердить свое фактическое единовластие, не терпел в своем правительстве самостоятельных и значительных политических деятелей, поэтому натравливал друг на друга своих чиновников, нанося этим вред их нравственности, и лишая честных людей (как, например, Беннигсена) возможности занимать ответственные посты. Им приходилось иметь в виду, что доверие их сотрудников уже с момента занятия ими должности было настолько подорвано, что малейшего повода было достаточно для удаления их со своего поста, причем непричастные к этому процессу люди не замечали, чьей рукой это совершалось. «Становится все очевиднее, что Бисмарку удалось либо уничтожить, либо оттеснить на совершенно ложные пути всех самостоятельных и значительных политических деятелей и их евангелических сторонников. Как же тут не удивляться, что очень многие люди,



которые раньше были других убеждений, теперь не желают знать никого, кроме него».

Следовательно, в поведении Бисмарка ему и тогда, и позже представлялось особенно недопустимым ненасытное влечение к власти, вследствие которого он не выносил присутствия рядом с собой какой-либо значительной личности, делал себя все более необходимым и приучал нацию находиться политически под его опекой. Правда, ответственным за это состояние, вредное действие которого ощущалось все сильнее в судьбоносные годы смены монарха, Вебер считал не только Бисмарка, но и нацию, которая допустила авторитарные действия претендующего на полное господство человека: «Страшное уничтожение собственных убеждений, которого достиг у нас Бисмарк, безусловно является основной причиной или одной из причин всех бед нашего теперешнего состояния. Но разве мы по крайней мере не так же виноваты в этом, как Бисмарк?». Воспитание в нации самостоятельности политического мышления и духовной свободы Веберу уже в молодости казалось самым важным — поэтому он часто высказывался против характера преподавания Трейчке. В кругах, находящихся под влиянием этого блестящего преподавателя, утверждается воззрение, что историю, доходящую до современности, следует понимать как средство политического воспитания и поэтому в отличие от истории прошлого в ней можно отказаться от научной объективности. Соответственно и поступал Трейчке. Он политизировал своих слушателей, вызывал их восторг перед Бисмарком и Гогенцоллернами и разжигал их антисемитизм. 23-летний Вебер, которому «антисемитский боевой клич консерваторов» был столь же противен, как легенда о Гогенцоллернах, порицает «не обнадеживающий, без сомнения, эффект, который создает личностное воздействие на скромность суждения, способность выносить свое суждение и чувство справедливости студентов» — и он считает такое влияние на молодых людей в то время, когда им надлежит еще искать собственную точку зрения, вредным. Вероятно, это впечатление от лекций Трейчке внушило ему уверенность, что преднамеренное формирование еще не сложившихся умов посредством насильственного внедрения политических ценностных суждений недопустимо с кафедры, что преподаватель, который пытается в *аудитории* воздействовать на восприимчивую молодежь в качестве демагога или пророка, превышает свои права. — Тем не менее Вебер пытается оправдать и этого страстного историка, приписывая характер его воздействия — так же как Бисмарка — не только ему, но и его среде. Чтобы сделать Г. Баумгартену более понятным «идеализм» Трейчке, он посылает ему томик стихов и замечает: «Если бы у моих сверстников поклонение милитарист-

ской и прочей беспощадности, культуре так называемого реализма, и невежественное презрение всех тех стремлений, которое направлено на достижение своей цели без обращения к дурным сторонам людей, особенно к грубости, не были бы соответственными времени, то бесчисленные часто резкие односторонности в борьбе с другими мнениями и вызванное сильным впечатлением успеха предпочтение того, что сегодня называют реальной политикой, было бы не единственным, что они извлекают из лекций Трейчке. Они воздержались бы выносить свое суждение об этих вещах или рассматривали бы их как не доставляющие радости крайности; но среди них, а частично именно в этих экстравагантностях политической страстности дня и односторонности они ощутили бы и усвоили великое и страстное стремление этого человека к идеальной основе. Теперь дело обстоит так, что серьезная, добросовестная, но интересующаяся результатом работа, которая ведется только в интересах *истины*, оценивается низко, и все больше распространяется грубая *suffisance*<sup>17</sup>, которая часто становится невыносимой даже в беседе, невероятная грубость суждения по отношению ко всем неоппортунистическим воззрениям» (1887).

Оценивая политические события, Вебер всегда исходит из одной предпосылки, которой он держится всю свою жизнь: он видит высшее благо в *духовной свободе*, достижение которой отдельным человеком он ни при каких обстоятельствах не считает возможным приносить в жертву даже интересам политической власти. Человек имеет право бороться против по-иному ориентированных содержаний совести не из политической целесообразности, а только во имя *совести*. Исходя из этого, он отвергает «Культуркампф» так же, как позже прусскую политику языка для германизации поляков. Впрочем, излюбленное Бисмарком внезапное изменение политики посредством полных уступок курии его также не радует, ибо разве это не означало признание нанесенной католикам несправедливости?

«Предложение по церковной политике принято. Кое-что в речах Бисмарка в самом деле носило грандиозный всемирно-исторический характер, и так как теперь должен быть положен конец этому делу, выгодно отличалось от того, что было сказано другими людьми. Но все-таки это незаметно заключенный мир печален, и если сегодня говорят, что с нашей стороны борьба была вызвана только «политическими» причинами, то в этом заключено признание несправедливости, причем тяжелой несправедливости. Если эта борьба была для нас на самом деле вопросом не совести, а только целесообразности, то мы действительно, как утверждают католики, совершили насилие над их совестью, исходя из причин

внешнего характера, ибо для массы католиков это было делом совести — и тогда совесть не противостояла совести, как мы им всегда говорили. Следовательно, мы поступили бессовестно и потерпели поражение также морально, и это самое тяжелое, ибо лишает нас возможности когда-нибудь вновь начать борьбу, причем так, как ее следует начинать, чтобы она привела нас к победе» (1887).

Тем не менее Вебер не мог принять и политику тогдашних либералов, которые значительно энергичнее, чем правое крыло, отстаивали старые идеалы свободной личности. Он сетовал по поводу раскола либерализма и считал постоянную оппозицию свободомыслящих Бисмарку, особенно при утверждении бюджета, неплодотворной и приносящей вред либерализму. «Ибо что можно сказать о партии, которая годами, как только государству предъявляется требование расхода, отклоняет его, утверждая, что средства для этого не выявлены, а теперь, когда средства должны быть созданы, отклоняет это с мотивировкой, что потребность в этом не доказана, — веселая ситуация (1887 в связи с проектами в области финансовой политики). И далее, у свободомыслящих нет выдающихся вождей: «Страшно подумать, что эти люди когда-нибудь займут место Бисмарка...»

Надежда левого крыла на отставку Бисмарка в правление Фридриха вызвала критику Вебера, ибо привела его к заключению о недостатке у этих вождей политической вменяемости. «Именно поэтому от мысли о какой-либо общей позитивной политике с этими людьми следует отказаться и тем самым раскол либералов и зрелище того, как он компрометируется шаблонными, фантазирующими демагогами, с одной стороны, и слепыми бисмаркианцами — с другой, увековечивается, тогда как следовало надеяться, что со временем часть прежде объединенных элементов левого крыла найдет возвратный путь к позитивной совместной работе (1888).

\* \* \*

События 1888 г., смерть старого императора, прежде всего трагедия императора Фридриха, глубоко потрясли молодого Вебера: «Я беспрестанно думаю о государственных делах». Он глубоко сочувствует несчастной императрице, которую в качестве чужой в стране и необычно значительной личности не любят; к тому же из-за конфликта с Бисмарком, отнюдь не компрометировавшим ее по-человечески — речь шла о том, чтобы пожертвовать счастьем дочери ради государственного интереса — она вызвала ненависть консервативной прессы. Когда после короткого правления Фридриха на престол взойшел Вильгельм II, для Вебера было наиболее

важным, чтобы молодой монарх не поддавался влиянию церкви и феодалов, и в сохранении власти Бисмарка он видел единственное противодействие этому.

Другие признаки также указывают на то исключительное влияние, которое оказывал на него Бисмарк, и существенным для него стало, сколько времени Бисмарк продержится у власти, чтобы парализовать воспринятые кронпринцем (Вильгельмом II) подлинно реакционные тенденции. Ибо то, что Бисмарк сами эти тенденции не одобряет, было ясно. Их опасность очевидна, сомнение в его политике вызывала только попытка *использовать* их в своих целях, а это не могло пройти без того, чтобы они не были использованы и другой стороной (30.4.88).

В остальном ему представляется решающим для будущего состояния государства, «сочтет ли Бисмарк своевременным подумать, как только установится спокойствие, о своем преемнике и вступить вновь в связь с действительно государственными элементами; в противном случае, если посредством радикальных противотечений власть перейдет к прусским юнкерам в союзе с ультрамонтанами, в Центральной Германии и на юге вследствие ослабления национальных элементов может возникнуть серьезная опасность — что вряд ли кто-нибудь станет отрицать». В стремлении Вильгельма II захватить всю власть, и особенно в его потребности проявить значимость своей личности в обществе Вебер видел грозящую опасность. В конце 1889 г. он сказал следующее: «Эти буланжистски-бонапартистские проявления весьма нежелательны. Создается впечатление, что сидишь в поезде, который мчится с бешеной скоростью, а ты при этом не уверен, правильно ли указание следующей стрелки». Спустя полтора года после падения Бисмарка он говорит: «Хорошо в этой ситуации то, что не просто один цезарь — император — мирно последовал за другим — Бисмарком, — а что между ними произошел конфликт и вследствие этого каждый человек не может не иметь на этот счет собственного суждения. О таком отказе от своего мнения по отношению к императору ни у кого не возникает сомнения» ... «Даже те, кто наиболее благожелательно судит о нем, вполне готовы обсуждать эту проблему, и до сих пор мы нигде не встречали того фанатичного преклонения перед ним, на уровне догмы, которое было свойственно сторонникам Бисмарка. С этой точки зрения преимущество императора, собственно говоря, в том, что он не удовлетворяет ни одно направление и до сих пор отталкивал то одно, то другое» (1891).

Через год (1892) для Вебера отпало и это косвенное преимущество монарха, из-за ошибок его политики. Следующее суждение остается окончательным и лишь обостряется дальнейшими событиями:

«Неблагоприятное мнение о нем все больше утверждается. Он рассматривает политику на манер обычного лейтенанта. Энергичное выполнение им служебных обязанностей никто отрицать не станет. Но сопровождающее его действия самодурство и внушающая опасение жажда власти, одушевляющая его, вносят такую неслыханную дезорганизацию в высшие инстанции, что обратное воздействие на управление в целом неизбежно. Так он унизил, едва ли не превратив в карикатуру, столь достойного уважения по своим человеческим качествам Каприви, а об авторитете государственного правления вообще вряд ли еще может идти речь. Чудесным образом мы избегаем теперь дипломатически действительно серьезных ситуаций. Но что политика Европы больше не совершается в Берлине, уже не вызывает сомнения» (1892).

### III

Однако невзирая на все большее омрачение внешнего и внутреннего горизонта, Вебер не мог разделять пессимизм старого Германа Баумгартена. Ведь он был молод и видел, как сквозь увядающую славу династической политики проступают свежие зародыши совершенно новых плодотворных задач, указывающие на грядущие дали. В период своей деятельности референдарием (с 1886 г.) Вебер вращался в кругу молодых людей — специалистов в области политической экономии, интересующихся вопросами социальной политики чиновников различных направлений, среди них были и ученики катедер-социалистов; все они были преисполнены социальными идеалами. Они уже не следовали наследию отцов, здесь расцветала новая весна политических убеждений и целей. Эти люди не относятся, по мнению Вебера, ни к безрадостным типам анти-семитов, ни к национальным фанатикам, мнимым реалистам и хвастунам; они стоят на другой почве, чем национал-либералы 70-х годов, но так же далеки от сословных прихотей и церковных тенденций, совершенно свободны от подозрений в домогательствах и прочих необъективных соображениях; короче говоря, я не могу отрицать, что они обладают духовной свободой. Они также видят время 1867—1877 гг. в совершенно ином свете, чем было принято раньше. Они по большей части специалисты в области политической экономии и социальной политики и, следовательно, неудивительно, что вмешательство государства в так называемую социальную проблему представляется им более важным, чем кажется другим, исходя из современного положения вещей.

Зарождение этих новых социальных и социально-политических интересов — первые следы этого обнаруживаются уже в письме 1887 г. — отдалило Вебера от национально-либеральной полити-

ки отцов, которую все больше использовало крупное индустриальное предпринимательство для защиты своих экономических требований.

«То несомненное обстоятельство, что для либералов 70-х годов социальные задачи государства, больше, чем может быть оправдано или чем мы по крайней мере теперь считаем возможным, отходили на второй план, что либералы и теперь часто принимают социальное законодательство с несомненно самим по себе оправданным, но почти пассивным недоверием вместо того, чтобы вмешаться и устранить действительно вызывающее сомнение законодательство посредством частичного его преобразования; что вообще — и, как я считаю, справедливо — интерес к законодательным проектам у них не исключителен — это побуждает данных политиков рассматривать национально-либеральную эру только как переход к большому по своему значению задачам государства...» (30.4.1888).

При первом участии в выборах Вебер отдал свой голос не кандидату национал-либеральной партии, а свободному консерватору. Возможно потому, что он ждал от этой партии большего понимания защиты социальных интересов и одновременно сочувствовал ее отношению к вопросам политической власти. Но он не становится сторонником какой-либо партии. Впоследствии он часто говорил об этом первом участии в выборах, но не упоминал о своих мотивах.

«Смена поколений» совершилась. Солнце культуры продвинулось дальше, перед новым поколением возникли иные проблемы, и это дает им новые импульсы к действию и исследованию. «Новое влечение пробудилось...»

\* \* \*

Эти интересы Вебера имели с самого начала двойное значение: во-первых, национально-политические идеалы, во-вторых — его пробудившееся чувство социальной ответственности и справедливости. Он рассматривает экономику, технику и государственные институты прежде всего исходя из того, насколько они могут служить опорой положению Германии как великой державы, и связывает с этим вопросом другой: какой порядок может обеспечить людям Германии, будь то крестьяне или промышленные рабочие, создающие своими руками основу национального могущества, достойное существование, здоровье и радость.

Страстное стремление к сильному национальному государству проистекает из врожденного, не подверженного рефлексии инстинкта — могущественная нация — это расширенное тело пред-

расположенного к могуществу человека: ее утверждение — самоутверждение. Новый же возникающий *социальный* интерес получает свою теплую окраску из-за того, что для близких ему людей — матери, Иды Баумгартен и ее сына Отто — это очень важно. Вебер участвует в новой, основанной Отто Баумгартеном газете, которая ставит своей задачей социальное обучение пасторов. Их следует поставить в определенные отношения с социальными политиками и чиновниками, чтобы между их различными мирами выросло взаимопонимание. Вебер пытается привлечь к этому и Германа Баумгартена и пишет ему:

«Теологам несомненно полезно и способствует уважению к их сословию, если им приходится, как в данном случае, трезво пользоваться языком других смертных. Напротив, светские круги, особенно молодые чиновники, в значительной степени привыкли — причем именно те, кто проявляет живой интерес к социальной политике, — демонстрировать уважение к церкви внешне и условно, связывая с этим, не говоря уже о полном индифферентизме, большое сомнение в практических способностях духовенства. Мне представляется полезным, принимая во внимание также и суждение многих социальных политиков о социальном ценностном отношении и способности к действиям католической церкви в отличие от евангелической, — если эти круги привыкнули к мысли об объединении в совместной с духовенством деятельности, сданной ими в архив (*ad acta*)» (1891).

\* \* \*

Социальные интересы уже давно ощущались в воздухе или, скорее, практическая проблематика современного индустриализма вызывала этот вопрос в совести понимающих людей. Уже в 70-х годах мелким группам граждан стало ясно, что для предотвращения грозящей беды следует заняться социальным вопросом. Повышающаяся рост процента фаза грюндерства, возникновение нового богатства благодаря развитию крупной промышленности, свободное проявление влечения к предпринимательству, отделили более заметно, чем раньше, формы жизни имущих классов от жизни трудящихся масс. А гениальные мыслители социализма дали неимущим духовное оружие для борьбы против общественного устройства, которое приковывает миллионы к машине ради целей меньшинства и предоставляет им за это лишь возможность скудного существования. Социал-демократия в качестве партии тех, которым нечего было продавать, кроме своего труда, и «нечего терять, кроме своих цепей», пыталась потрясти систему собственности и права, освящавшую это состояние, и стремилась так-

же посредством новых «таблиц ценностей» освободить массы от власти церкви, предоставляющей имущим спокойную совесть и обещающей неимущим потустороннее блаженство, неся тем самым для государства службу «черной полиции».

Целый ряд выдающихся ученых в области политической экономии, таких, как Адольф Вагнер, Шмоллер, Брентано, Кнапп и другие, к которым присоединились и специалисты по праву, как, например, Гнейст, признали справедливость социалистической критики общественного устройства. Некоторые из них считали виновными за обострение классовых противоречий принцип *laissez faire, laissez passer*<sup>18</sup>, учения о свободе торговли и фритредерство с его требованием свободы стремления к наживе, настаивали, чтобы политическая экономия вновь ориентировалась на этические идеалы и чтобы государство регулировало свободный трудовой договор. Эти люди, насмешливо именуемые их противниками «*катедер-социалистами*», воздействовали в своих лекциях и работах на академическую молодежь. Чтобы привлечь более широкие круги и оказать также влияние на государство, они основали (1873) *Союз социальной политики*, к которому присоединились купцы, предприниматели и чиновники.

На предварительном обсуждении в Эйзенахе, в котором принимали участие люди самых различных политических направлений, в центре стоял интерес к рабочему вопросу. Густав Шмоллер наметил очертания программы, которую союз — с многими расширениями — в целом принял. Шмоллер объявляет себя сторонником понимания государства, «одинаково далекого как от естественно-правового прославления индивида с его произволом, так и от абсолютистской теории всепоглощающей государственной власти»; он признает блестящие успехи техники в народном хозяйстве, но и глубокие недостатки, возникшие из-за растущего неравенства имущества и доходов, и их действия на нравы. Он считает главной причиной этого зла то, что, при всех успехах, в разделении труда и в законодательстве все внимание направлено на рост производства, а не на его воздействие на человека. Союз не стремится к нивелированию общества, отвергает социалистические эксперименты, признает существующие формы производства и собственности, но борется за улучшение положения трудящихся классов. Эти люди требуют прежде всего, чтобы государство регулировало трудовой договор, издавало фабричные законы, контролировало банки и торговлю, заботилось о лучшем воспитании, образовании и жилищных условиях рабочих и т. д. Союз объединяет ученых и практических деятелей и ставит научную работу на службу людям. Для этого организуется совместное исследование социальных и хозяйственных «вопросов»; полученный таким об-



разом материал должен создать основу для устных переговоров. В первое десятилетие своего существования Союз обращался с предложениями непосредственно к законодателям, и в то время его заседания были оживленно пропагандистскими и направленными на усвоение широкими кругами социально-политических идей. Но после того как Бисмарк, начиная с 80-х годов, стал заниматься социальной политикой и тем самым непосредственное влияние на государственную машину стало бесперспективным, Союз отказался от воздействия агитации и заменил пропагандистскую форму объяснения академической. Акцент перемещается на строго научное исследование актуальных вопросов.

На этой стадии Вебер вступил в Союз и оставался долгое время его членом. Тогда самым острым был аграрный вопрос, ибо крупные землевладельцы, класс, который всегда притяжал на особый мандат для защиты государства, требовал теперь в свою очередь особой государственной защиты своих хозяйственных интересов посредством повышения пошлин на зерно, запрещения эмиграции и т. п.

Около 1890/91 г. Вебер занимается по поручению Союза исследованием положения сельскохозяйственных рабочих. Разрабатывается анкета, для которой он набрасывает вопросы к землевладельцам. Поступающий материал распределяется между рядом молодых социальных политиков. Вебер разрабатывает самую важную часть: *«Положение сельскохозяйственных рабочих на землях Германии к востоку от Эльбы»*. Это, составляющее почти 900 страниц, первое произведение в области народного хозяйства, было написано в неимоверной спешке за год наряду с первыми юридическими лекциями. Оно сразу утвердило положение молодого ученого в науке, лежащей за пределами его специальности. С тех пор он стал считаться специалистом по аграрным вопросам.

Один из корифеев политической экономии и в частности аграрной истории *Г. Ф. Кнапп*, выступив на заседании Союза весной 1883 г. с докладом о данных анкеты, сказал: «В конечном итоге о трудовых отношениях к востоку от Эльбы господином доктором Максом Вебером написана монография, поразившая всех читателей богатством мыслей и глубиной понимания. У меня эта работа прежде всего вызвала ощущение, что наши знания уже недостаточны и что нам надлежит вновь начинать учиться».

В данном случае Вебер впервые выступил перед большим кругом ученых и социальных политиков. В простой свободной речи он излагает результаты своей работы<sup>6\*</sup>. Положение в исследуемой области было таким: земельной знати стало не хватать рабочей силы, самые трудоспособные и наилучше оплачиваемые слои крестьянского населения, которые с давних пор несли трудовую и гу-

жевую повинности за плату натурой, уходили с родных земель, эмигрировали или переполняли большие города, в свою очередь поляки и русские тысячами проходили через восточные границы, которые Бисмарк открыл только для отхожего промысла, не предоставляя допуска на поселение. Его преемник оказался недостаточно силен, чтобы противостоять натиску земельной знати. Чужеземцы беспрепятственно проникали в страну, сначала в качестве сезонных рабочих. Но часть осела и заняла таким образом завоеванную у этих народов столетиями тому назад немецкую Восточную марку. Отчего это произошло? В чем состоит опасность и как можно ей противодействовать? Эти вопросы должны интересовать не только непосредственных участников событий, но и политиков. Прежде всего: отчего это произошло? Расследование выявляет как самую важную причину обезлюдения восточных земель замену старого общинно-хозяйственного аграрного устройства крупными сельскохозяйственными предприятиями. Землевладельцы захватывают все больше земли, заменяют древние права их держателей и оплату натурой денежной оплатой, ведут хозяйство с расчетом на сбыт товаров, превращаются, следовательно, из класса патриархальных господ в класс деловых предпринимателей и разрывают тем самым прежнюю общность интересов со своими рабочими. Мелкий держатель, не имеющий больше доли в доходе с земли и перспективы на самостоятельность вследствие наличия земли, бросает службу господину — не из материальных соображений, так как уходят именно наиболее высокооплачиваемые работники, а из идеальных: чтобы стать свободным. «Их иллюзии служат примером того, что в хозяйственной жизни также существуют идеалы, власть которых сильнее власти заработка на пропитание». Сохранить личное подчинение господину невозможно, если устраняется его личная ответственность за отдельного работника. Следствием становится заинтересованность земельной знати в дешевой и покорной рабочей силе. Поляки и русские тысячами призываются в страну; а это может именно на востоке составить большую опасность для нации; приток чуждых иммигрантов усиливает стремление к эмиграции; и сверх того пропитание и культура немецкого сельского населения снижается до более низкого уровня восточной культуры. Весь этот показанный им процесс Вебер рассматривает со строгих государственных позиций: «Я оцениваю вопрос о сельскохозяйственных рабочих исключительно с точки зрения государственных интересов, следовательно, не как вопрос, хорошо или плохо приходится сельскохозяйственным рабочим, или как предоставить землевладельцам дешевую рабочую силу». Его мнение таково: Не интерес производства должен определять аграрную политику, а интерес *государства*, интерес со-

хранения плотного, сильного, верноподданного сельского населения в качестве резерва национального вермахта и для мирной защиты Восточной марки. Поэтому необходимо вновь закрыть границы, препятствовать захвату крестьянских земель крупными землевладельцами, проводить систематическую колонизацию. «Мы хотим прикрепить мелких крестьян к земле родины не правовыми, а психологическими цепями, мы хотим — говорю это открыто — использовать их жажду земли, чтобы приковать их к родине, и если для этого нужно было бы принести в жертву одно поколение, чтобы сохранить будущее страны, мы взяли бы на себя эту ответственность».

Своеобразно смиренна настроенность, с которой этот молодой политик видит задачи настоящего: «Не знаю, воспринимают ли мои сверстники это в такой же степени, как я в данный момент: на нации лежит тяжкое проклятие эпигонства, от ее широких слоев до ее высочайших вершин: мы не можем возродить наивную, преисполненную энтузиазма активность, воодушевлявшую предшествующее поколение, так как перед нами стоят иные задачи, чем те, которые стояли перед нашими отцами ... мы не можем апеллировать к великим, общим для всей нации чувствам, как это происходило, когда речь шла о создании единства нации и свободной конституции». И все-таки перед его взором возникает будущее нации, ради которого стоит служить всем по сравнению с делами отцов представляющимся незначительными внутриполитическим задачам: «Мы надеемся, что обращаясь к прошлому, сможем когда-нибудь сказать: в этом пункте прусское государство своевременно познало свое социальное призвание. Но мы, правда, предъявляем более высокие требования к будущему, мы верим, что наш вексель будет оплачен, мы надеемся, что некогда на закате наших дней нам будет дано то, в чем нам отказала молодость: что мы сумеем, уверенно взирая на будущее нации, основанное на прочной социальной организации государства и народа, обратиться к решению тех *задач культуры*, которые там тогда будут поставлены. «К вечеру прояснится» — такова была надежда этого одаренного политическим инстинктом и способностью проницательного суждения молодого человека, у которого политика ответственного правителя нации уже тогда вызывала серьезные опасения. Но когда его день стал клониться к вечеру, наступила глубокая тьма.

\* \* \*

В то время, когда деятельность Союза социальной политики послужила для Вебера импульсом направить свои научные исследо-

вания в область политической экономии, его социально-политические интересы возникли и в другой — близкой сфере. Агитационный оттенок социальной деятельности, от которого Союз отказался, под влиянием работы катедер-социалистов и в связи с ними использовала группа протестантских теологов. Протестантская церковь — как и католическая — пришла к убеждению, что одной *деятельности, основанной на любви*, недостаточно для устранения тяжелого положения пролетариата. В этой ситуации она видела и опасность для своего существования. Устрашающий рост социал-демократии грозно приближал духовный «обвал», отпадение масс от христианства и их освобождение от унаследованных авторитетов. Эта опасность открыла церкви глаза. Она поняла значение эпохи машин и была потрясена явлениями, которые до сих пор не могла или не хотела замечать. Библию стали изучать по-новому и ряд социалистических требований оказался легитимизированным Евангелием.

Несколько духовных лиц основали вместе с катедер-социалистами союз, который потребовал от церкви «решительной защиты справедливых требований четвертого сословия», а от правительства «инициативы, поддерживающей рабочих, в проведении радикальных социальных реформ». Штёккер призывал пасторов изучать социальный вопрос и объединиться в христианско-социальную партию. Государственный социализм представляется этому кругу лиц соответствующей христианству формой экономики. Придворный проповедник, блестяще одаренный агитатор, напоминает государству о его обязанностях, внушает имущим идти навстречу справедливым требованиям неимущих и основывает рабочую партию на монархически-христианской основе, посредством которой он надеется отвлечь массы от марксистски ориентированной социал-демократии. Но тщетно. Его партия не привлекла рабочих и стала партией «мелкого люда», ориентированной на аграрные интересы и интересы среднего сословия с ярко консервативной направленностью. Она резко выступает против евреев и чуждых церкви либералов, поэтому уменьшается и ее воздействие на бюргерство. Извне ей противостоит карательная политика Бисмарка. Церковь предостерегала от смешения религии и политики. Однако попытка приблизить церковь к народной жизни, внушить консервативным кругам идею государственного социализма сохраняла значение. Штёккер стал искать внеполитическую сферу влияния. В 1890 г. он создал первый *евангелическо-социальный конгресс*. Этот конгресс должен был служить вне партии местом встреч и обсуждений интересующихся социальными вопросами теологов различных направлений с чиновниками, политиками, специалистами в области политической экономии для об-

щего рассмотрения важных социальных и нравственных проблем. Первое заседание происходило на Троицкой неделе в 1890 г.; приглашены были представители всех политических и религиозных направлений, «ратующих за сохранение государства и дружественную настроенность к церкви». На съезд явились известные личности различного толка, прежде всего теологи, среди них много носителей высокого духовного сана. Императорское послание от 4.2.90, требовавшее разработки законов о защите рабочих, служило сторонникам правых убеждений гарантией, что их участие в конгрессе не является предосудительным. Сверх того предстояла отмена исключительного закона против социалистов и необходимо было принять меры, чтобы предотвратить опасность переворота. Так с высокими церковными авторитетами, такими как Штёккер, Натузиус, Кремер, Дриандер, объединились теологи свободного, научно-исследовательского направления: Хафтан, Зоден, Гарнак, затем более молодые — Раде, Баумгартен, Гёре, Бонус. Присутствовали также несколько известных чиновников и политиков. Среди правых большое впечатление производил светлый образ престарелого пастора Ф.Бодельшвинга. Его смиренная набожность и братская любовь воспроизводили дух подлинных учеников Христа. Теологические вопросы и вопросы церковной политики были предметом долгих дискуссий между ортодоксальными и либеральными корифеями, говорили преимущественно «языком ханаанским», избегали радикальных замечаний и сурово порицали социал-демократов, которые увели у пастырей их паству в пустыню неверия и враждебности авторитетам. Однако эти люди были искренне готовы помочь и проникнуть глубже, чем раньше, в судьбоносные причины усиления власти социал-демократов.

Конгресс определил религиозный и экономический кризис как общую вину и решил добиваться, «чтобы сословия сознавали свои взаимные обязательства и удовлетворяли их, чтобы прежде всего работодатели признали нравственную равноценность труда». Желая познакомиться на практике с внутренней и внешней средой промышленного пролетариата, *П.Гёре* работал несколько месяцев на фабрике и опубликовал свои впечатления в книге, которая привлекла большое внимание. На втором конгрессе был поставлен вопрос о новой «религии» рабочих: о материалистическом понимании истории. Ее преодоление было объявлено важнейшей социальной задачей церкви, одновременно было признано, что нельзя и не следует выступать от имени церкви против целей, к которым рабочие стремятся под руководством социал-демократов.

Среди слушателей были Елена Вебер и ее старший сын Макс. Он рассказывает: «Моей матери всегда доставляет большое удовольствие слушать, как спорят подчас несколько наивные, но

обычно оригинальные пасторы. И освежающе действует завидная легкость, с которой они решают, в надежде на понимание Господа Бога, хозяйственные проблемы, заставляющие нас ломать себе головы, причем их даже нельзя, собственно говоря, обвинить в поверхностности».

Когда около этого времени один ортодоксальный советник консистории выступил против Гёре и его книги, Вебер защитил его в журнале «Christliche Welt» («Христианский мир»): «Книга Гёре — это я могу засвидетельствовать по собственному опыту, и не только я, — возвела мост для взаимопонимания между молодыми теологами и социальными политиками, будущими чиновниками...» Одновременно Вебер указывает на то, что у старых теологов еще сохранилась авторитарная оценка интеллектуального стремления рабочих к эмансипации от господства церковной веры. «Современные рабочие требуют не снисхождения, сострадания и благотворительности; они требуют признания их права мыслить о том и так, о чем и как мыслят так называемые образованные люди...» «Не только *понимать* и снисходительно оценивать должны мы то, что их интеллект освободился от связи с традицией, но *принимать во внимание* и признавать оправданность этого».

На третьем заседании конгресса присутствовал и *Фридрих Науман*, который был тогда священником внутренней миссии Союза во Франкфурте-на-Майне, известный уже как «пастор бедных людей» и глава христианско-социального направления. В этой сфере он был пламенным борцом, чье социальное возбуждение заставляло теологическую казуистику осмотрительных и более холодных ученых умов безоговорочно признавать социальную нужду рабочих и обязательства христианских кругов.

Науман ощущает себя прежде всего и исключительно защитником пролетариев. Он всем сердцем демократ, подлинно религиозен, но догмат не связывает его, политика церкви ему безразлична, он не преследует никаких личных или партийных целей; он хочет только помочь неимущим получить их посюсторонние права и одновременно даровать им новую надежду и веру. От вступления в ряды социал-демократов его удерживает только религиозность. Он надеется на внутреннее преодоление марксизма посредством живого развивающегося христианства и на христианско-социальный век, который сменит социал-демократию. «Христианско-социальное движение есть для нас нечто становящееся, бурная весенняя песнь, наполняющая нашу душу». В конкретном понимании он, как и Штёккер, исходит из надежды на возможность создать наряду с социал-демократическим рабочим движением развитое христианское движение, не связанное марксизмом и интернациональными отношениями. Иисус должен

воскреснуть как человек из народа, христианское убеждение должно действовать преобразующе.

Науман определяет социализм как внутримирской хилиазм, осуществлению которого, правда, препятствует грех, — но «христиане должны верить в прогресс своего труда, направленного на создание земного блаженства, в противном случае в их труде нет ничего нравственного и ничего достойного энтузиазма». Он не находит, правда, в Евангелии указаний для создания идеального экономического устройства, но видит направляющие линии к этому: «Преодоление бедности есть непосредственная задача христианства по Новому Завету». Этим толкованиям и тезисам теологические авторитеты противоречат, в сомнении покачивая головами, но его убежденность увлекает прежде всего молодых; они вместе с ним отвергают назидательность, с помощью которой старые теологи пытаются скрыть бездну между классами: «Мы хотим направить резкий и ясный свет Евангелия на наше экономическое состояние и в этом свете искать путь к его улучшению и к излечению наших нравственных бед». На сторону Наумана переходят некоторые теологи — Отто Баумгартен, издающий журнал «Евангельско-социальные вопросы времени» («Die evangelisch-sozialen Zeitfragen»), Мартин Раде, еженедельник которого «Христианский мир» («Die christliche Welt») выражает свободную от догматов религиозность, Пауль Гёре, первым познавший на собственном опыте внешнюю и внутреннюю судьбу пролетария, и ряд других — круг полных энтузиазма, чистых людей, объединенных высоким волеием.

Питаемая Науманом и Гёре надежда на объединение рабочих в партию, параллельную социал-демократической, оказалась для них, как и для Штёккера, невыполнимой. Однако влияние Наумана и его друзей на формирование социальных убеждений бюргерства оказалось более длительным, чем влияние старого направления, ибо Науман действует не полемически, а только позитивно; он не только вдохновенный пророк, но обладает и той «веселой трезвостью», которая пытается понять и формировать конкретность по ее собственным возможностям: он — мыслитель, преисполненный неустанным стремлением к непредвзятому познанию действительности, всегда готовый переучиваться, всегда ищущий совета и поучения у научно образованных людей.

Науман и Вебер познакомились на одном из первых заседаний евангелическо-социального Конгресса. Их знакомство скоро перешло в дружбу и обрело большое значение прежде всего для Наумана. Он почувствовал в Вебере врожденный политический инстинкт, которого сам был лишен, и стал вскоре видеть в молодом специалисте живой источник знания и руководителя в воп-

росах политики и экономики. Оба они были едины в признании машины и индустриализма как необходимого условия существования великой державы и роста населения. Они не намерены повернуть колесо истории вспять, а хотят бороться с недостатками на почве современной капиталистической хозяйственной деятельности. Но в капиталистическом развитии крупного землевладения в провинциях к востоку от Эльбы оба видят национальную и социальную опасность. Науман перенял у Вебера прежде всего оценку национального могущества. Он признает под влиянием Вебера, что сохранение и утверждение положения Германии как великой державы не только наш долг перед ее прошлым, но и условие достойного человеческого существования масс. Отчизна, организованная как могущественное государство с растущим работоспособным населением, которое благодаря политической зрелости не только может отстаивать свои права, но и участвовать в ответственности за судьбу нации, рассматривается Науманом и Вебером как цель политической деятельности. Позже Науман выразил это в формуле: «Демократия и императорская власть» в надежде на то, что Вильгельм II решится стать «социальным» императором.

По предложению Гёре и Вебера, которые также подружились, было задумано, что на Пятом евангелическо-социальном конгрессе будет поставлен аграрный вопрос. Друзья объединились, чтобы вновь организовать серьезное обсуждение положения сельскохозяйственных рабочих, причем на этот раз анкеты посылались не работодателям, как было сделано Союзом социальной политики, а сельским священникам. Они были менее связаны с партиями, к тому же предполагалось, что это побудит их приобщиться к социальной деятельности.

На этот раз предполагалось изучить не только экономическое положение сельскохозяйственных рабочих, но и их духовное, нравственное и религиозное состояние, а также взаимодействие того и другого. Вновь был собран большой материал, о котором на пятом конгрессе во Франкфурте-на-Майне (1894) сообщили Гёре и Вебер. Результат в принципе не отличался от полученного раньше, но дал ценные дополнения. Интересна здесь одна из точек зрения, с которой Вебер рассматривает свою тему: *он показывает на конкретном материале границы понимания экономической истории*: «Железный закон заработной платы не действует в сельской местности, низкая оплата встречается при высоких ценах на продукты питания, жалкие условия жизни рабочих — при высоком качестве почвы и наоборот. Решающими для судьбы и положения сельскохозяйственных рабочих являются не общие условия экономики их среды, а исторически сложившаяся соци-



альная стратификация, а для нее в сельской местности главное — не технические и экономические условия, а тип группировки населения, распределение предприятий и земель, правовые формы трудового договора».

В исследовании Вебера вновь господствует в качестве затаенного пафоса требование строгого подчинения судьбы отдельного человека интересам нации. Поэтому он в дискуссии с Науманом решительно отвергает перед этим форумом мысль о возможности и желании дать массам *счастье*: «Мы занимаемся социальной политикой не для того, чтобы создать людям счастье». «Вчера вечером мы слышали в выступлении господина пастора Наумана бесконечное стремление к счастью людей, которое безусловно всех нас взволновало. Однако именно исходя из нашей пессимистической позиции мы все, и я в частности, приходим к точке зрения, которая представляется мне несравненно более важной. Я думаю, что нам надо отказаться от мысли создать позитивное чувство счастья посредством какого-либо социального законодательства. Мы хотим другого и можем хотеть только другого: мы хотим хранить и поддерживать то, что представляется нам *ценным* в человеке, ответственность перед собой, стремление ввысь, к духовным и нравственным благам человечества, его мы будем хранить даже там, где оно предстает перед нами в своей самой примитивной форме. Мы хотим, поскольку это в наших силах, придать внешним условиям не такую форму, чтобы люди себя хорошо чувствовали, но чтобы в бедствиях неизбежной борьбы за существование в них осталось лучшее, те свойства — физические и душевные — которые мы хотим сохранить в нации».

# Домашняя жизнь и развитие личности

Мы вновь обращаемся к развитию Вебера, возвращаясь для этого к 1886 г. и показываем сначала домашний фон его существования. Внешне стиль жизни семьи изменился с тех пор как Елена после смерти матери получила довольно значительное по тем временам наследство. Жили, конечно, не пышно, так как большое хозяйство и без того требовало значительных затрат, тем не менее скромная вилла на Лейбницштрассе была в 1885 г. во второй раз расширена и к ней были добавлены помещения для приемов. Это влекло за собой обязательство еще более широкого общения. Оно выражалось в свободном посещении старых и молодых друзей и было для большинства членов семьи обогащением их жизни, особенно для Елены: она действительно наслаждалась благами жизни лишь тогда, когда могла разделить их с другими. Ей приятнее всего, когда по воскресеньям дом и сад заполняют сверстники сыновей, и она приглашает всех одиноких людей; девушек, пополняющих свое образование в Берлине, она называет своими «воскресными дочерьми». «Я хотела бы, чтобы люди имели достаточно времени и готовы были бы в такие дни открывать двери своего дома по возможности большому числу посетителей. Для нашей молодежи такое общение было бы значительно лучше, чем лишенное критики чтение и резонерство по поводу того, что газетная болтовня подбрасывает молодым душам. Они бы слышали кое-что разумное. А что можно все устроить уютно и очень просто — немного холодного мяса, чашка чая и пиво — в этом я убеждаюсь все время». Эти воскресенья, на которые могут приходить молодые друзья обоего пола и обычно оказываются за обеденным столом семьи, становятся по мере того как вырастают сыновья необыкновенно многолюдными. Гости собираются вокруг милой, полной жизни хозяйки, которая так горячо отзывается на все происходящее вокруг нее. При этом ее глаза излучают доброту и участие. Она ничего не ищет для себя и охотнее всего расточает свое внимание тем, кто в чем-то терпит недостаток. Если круг гостей невелик, то после обеда часок музи-

цируют или читают вслух; она или «Большой» выбирают простые, понятные всем рассказы, например, Фрица Рейтера; на «литературность» не претендуют. Обычно происходит живой обмен мнениями на политические, социальные и человеческие темы, и вскоре референдарий становится, не желая того, духовным центром для молодых людей. Вечером исчезает не «немного мяса», а гигантское жаркое и длинные колбасы. Чтобы слуги были свободны, Елена готовит сама с помощью опекаемых ею молодых девушек. Они весело возятся в большой кухне. Вебер описывает воскресенье в отсутствие родителей следующим образом: «Оба воскресенья прошли очень оживленно. В первое я обедал только с Отто (Баумгартеном), после обеда пришел сначала доктор Вальтер Лотц, как всегда с грузом книг по политической экономии для меня, позже Хаген и Карл Моммзен. Было предпринято соответствующее разделение между бильярдом и скатом, и послеобеденное время проведено правильно. Правда, после еды к ужасу Моммзена возникла очень оживленная политическая беседа о забастовках, законе против социалистов, о Штёккере и т. д., в которой выявилось опасное преобладание врагов империи и которая длилась так долго, что Отто с трудом успел на последний поезд, а остальные — на последнюю конку. Второе воскресенье прошло в большем соответствии с программой; за обедом и после обеда были Нассе и Лотц, причем Нассе ловко перевел разговор на вопрос о банках и монетную систему — это его совершенно не интересует и относится к области интересов Лотца. Это позволило ему наслаждаться на свой вкус — устроиться в кресле на веранде и слушать. Удивительный он человек: хотя понимал он не более половины, это доставляло ему удовольствие. Вечером явились на неизбежный для Нассе скат, ради которого он только и пришел, Гребер, Хомейер и, конечно, Карл Моммзен, а также Отто. Он был недавно в Гамбурге и Киле. Дело в том, что эти достойные стать жертвами каннибалов восточно-африканские санитары написали ему из Южной Италии жалобные письма, сообщая, что у них больше совершенно нет денег. Поэтому они молят его, так как сами они стесняются (!), обратиться к господину Вихерну с просьбой снабдить их тем, к чему взывает весь мир. Таков результат готовности без всякой необходимости оплачивать другому его пиво!.. По-видимому, у молодых людей царит в голове страшнейшее смешение понятий и ужасающая беспомощность. Если эти африканские деятели и впредь будут так себя вести, то они вскоре окажутся, как это изображено на прекрасной картине в листовках «Холодный миссионер», в кладовой черного вождя».

Впоследствии в число молодых людей, приглашенных сыновьями в дом, вошел также Карл Гельферих. Этот одаренный специ-

алист в области политической экономии был связан с ними политическими интересами в сфере банков и биржи. Они ввели его в «Объединение общественно-политических наук», в тот круг молодых людей, интересующихся политическими и социальными проблемами, которые регулярно встречались по четвергам.

\* \* \*

Такое непринужденное гостеприимство было, как уже указывалось, для Елены потребностью, этим она осуществляла важную для нее задачу. Поскольку, однако, широкий уклад жизни увеличил и обязанность устраивать также представительные «приемы» старых сановников, где надлежало соблюдать признанное словным обычаем чередование блюд и напитков, он принес дополнительное бремя, которое оставляло еще меньше досуга для себя. «Когда-нибудь почувствовать, что обязанности дня выполнены хоть и наполовину, и можно, не нанося ущерба другим, немного быть предоставленной самой себе, спокойно читать, писать, заниматься своими делами. Но времени не хватает даже для самого необходимого...» И затем: Разве оправданно тратить деньги на пышные приемы — изысканные блюда, тонны вина — если нельзя предложить хотя бы то же неимущим? Но говорить об этом с мужем она бы не осмелилась, да и то, к чему она склонна, в самом деле невозможно. Ее муж и так уже начинает считать экстравагантностью, которую он приписывает влиянию Иды, ее растущее желание отдавать значительную часть их состояния другим. Поэтому ему и в голову не приходит допустить Елену к распоряжению собственным имуществом; он считает, как это было принято в то время, что использование семейного дохода находится полностью в его власти, и он вправе не посвящать жену и детей в то, каково оно. Потребность того поколения в патриархальной власти коренилась в убеждении, что женщины ничего не понимают в денежных делах, и их «сущность» не соответствует этому занятию. Так Елена по обычаю этих кругов на пятом десятке не располагала ни твердой суммой на домашние расходы, ни деньгами для своих личных потребностей. Со своими записями расходов в руках, которые никогда точно не сходились, она должна была время от времени выпрашивать необходимое на хозяйство и на свои нужды для себя, следовательно, пребывала под постоянным контролем и — что также было типично — должна была выслушивать критику и удивленные замечания по поводу больших затрат, о необходимости которых ее муж, собственно говоря, судить не мог. С тех пор как ее собственное имущество стало составлять больше половины доходов

семьи, она невольно воспринимала это как все более противоречивое и тягостное положение.

Может быть, все еще обошлось бы, если бы у Елены в свое время хватило твердости выдержать борьбу и просто принудить к другому положению дел. Но для этого Елена при всем ее героизме была слишком мягкой — в чем она себя впоследствии упрекала — ведь речь шла о ее собственных интересах. К тому же она тогда еще не была свободна от представления о богоугодной подчиненности и уступчивости. Она, правда, не скрывает, что страдает от установленного порядка, но на это ее муж не обращает внимания, ибо он считает долгом отца семьи держать имущество в своих руках и опекать свою некомпетентную в делах и слишком готовую к благотворительности жену. Он не склонен к отзывчивости и рассматривает свои — отнюдь не скромные — расходы зажиточного человека с чистой совестью представителя своего класса. Елена поняла слишком поздно, что во всех отношениях было бы лучше бороться, чем страдать, ибо ощущаемое ею давление стало настолько тяжело, что ей пришлось поведать о нем взрослому сыну. Этим она — не желая того — противопоставляла его отцу. Вместе с тем он видит, что нехорошо все время обвинять отца, исходя из страдания матери. Поскольку Елена редко может удовлетворить свое сердечное желание, она постепенно теряет всякую непосредственность по отношению к домашнему образу жизни и постоянно мучается тем, что слишком много делается для собственного комфорта и «недостаточно для других». Она начинает экономить, на чем только можно и берет на себя дополнительные работы по дому, для которых она обратилась бы за помощью к другим, чтобы этим «заработанным трудом» тайно увеличить свой фонд для бедных. Вечером в постели она физически страдает, думая о сотнях тысяч жителей большого города, не имеющих теплого ложа. Каждый раз, когда муж ей делает подарок, она предпочла бы иметь эти деньги для бедных. Короче говоря, чем больше сужается деятельность ее любви, тем сильнее проявляется францисканская сторона ее сущности. Ее сердце полно горячей любви к братьям и для нее было бы не жертвой, а освобождающим благодеянием, если бы она могла отказаться от всякой роскоши. Она чувствует теперь несоответствие евангельского учения формам существования крупной буржуазии, чувствует его подобно своей сестре Иде, как вечное острие. Все то, что так глубоко ее волнует, едино с бурным пробуждением *социальных* интересов в ее кругу.

Вопрос молодых теологов и специалистов по политической экономии о причинах роста пролетаризации на одной стороне и увеличения богатства на другой и отход масс от христианства с давних пор волновал Елену — теперь все это замечено молодым

поколением и показано ее сыновьями. Она счастлива и надеется всей душой, что молодежь, поняв причины, найдет и средства устранить их. Она бы охотно пожертвовала ради этого всем. Эта общность социально-религиозных интересов, связывающая ее с Отто Баумгартеном, Гёре, Науманом, Раде вливается как новый, свежий источник жизни в приближающуюся осень ее жизни. Но ее муж не сближается с этой молодежью, он остается тем, чем был: либеральным буржуа. «В нашем доме интерес именно к этим вопросам проявляется с особенным трудом. Вольнодумство старшего поколения в общем связано с нетерпимостью, и все, что не входит в шаблонное мышление, не только отталкивает этих людей, но приводит их в состояние своего рода нервозности. Тогда возникают конфликты и попытки насилия. Страх перед «человеком в черном» у наших либералов в крови и заставляет их видеть в каждом пасторе по крайней мере склонность к лицемерию».

Старший Вебер не принимал и других движений, близких Елене. Наряду с социальной проблемой в обществе возник интерес к *женскому вопросу*. Стало совершенно очевидно, что тысячи молодых девушек бюргерского круга не могут быть уверены в том, что жизненное счастье и осуществление смысла их бытия даст им мужчина. Завершение образования молодых мужчин для высших профессий и воинская повинность длятся бесконечно, заключение брака становится для них возможным после 30-ти лет, молодым девушкам приходится долго ждать, и число тех, кто вообще не вступает в брак, все растет. Какой бессмысленной и зависимой становится их жизнь, если они не научатся собственными силами заполнять ее трудом! Елена была из первых, кто понял мучительные переживания девушек того времени, хотя сама не испытывала их. Она была способна почувствовать, что существование в качестве дочери, ожидающей мужчину, грозит тысячам девушек бессмысленным страданием и увяданием. Как только она узнает о борьбе женщин за право на образование и более широкую деятельность, это ее захватывает. Она сразу же присоединяется к первым робким попыткам совместного женского движения. С ним ее познакомила дружественно расположенная к ней жена депутата Риккерта, чье хрупкое тело таило великую, свободную душу: «Фрау Риккерт прислала мне несколько дней тому назад меморандум и петицию о предоставлении учительницам права на высшее образование; я подписала их, хотя мой муж ничего не хотел об этом слышать. Мне очень понравилось предложение положить в основу обучения самостоятельное мышление и глубокое изучение нескольких предметов в зависимости от способности и склонности». Ее собственный опыт матери еще шире осветил ей вопрос женского образования: Она ведь все время следит за духовным

развитием детей; и если по отношению к необычайно способным старшим сыновьям ей очень рано пришлось отказаться от этого, то теперь она чувствует, что младший сын и дочери также выходят из-под ее надзора: «К школьным работам Артура мне следовало бы относиться совсем по-другому, чтобы он не пошел по пути Карла и не стал лодырем, а теперь и Клара может вскоре превзойти мои возможности и с каждым днем мне все тяжелее сознавать, как мало позитивного я знаю. Я ничего не знаю твердо, ни грамматику, ни орфографию, ни историю. Будь моя воля, девушки должны были бы сдавать выпускные экзамены. Моего мужа это совершенно не интересует (1888)».

Ее старший сын Макс, как мы видим, уже став референдарием, вошел в круг социальных интересов и стал руководителем матери во всех социальных проблемах. Альфред также вскоре доставил ей такую же радость.

Около этого времени она сблизилась также с молодым теологом, который поселился в их доме в качестве воспитателя третьего сына, Карла. То, в чем ей отказывали собственные сыновья, она обрела в этом молодом человеке: полное проникновение в борющуюся молодую душу большой чистоты. Здесь она могла влиять на натуру в период становления, которая при своей религиозной одаренности была ей по существу ближе собственных детей. Впервые она проводит дни с человеком, дух которого есть и ее дух. Она делит с ним и постоянные заботы о Карле, для надзора за которым он был приглашен после ряда попыток. Этот третий сын шел в годы своего становления совсем иным путем, чем его старшие братья. Он был очень одарен, красив и любезен, рано был способен ярко выражать свои мысли, обладал художественным темпераментом — в общем, привлекательный ветреник, способный всех очаровывать. В школе он был ленив и к тому же легко поддавался влиянию легкомысленных товарищей. Он как бы выпадал из семьи. Мать уже видела в нем «блудного сына» и следила за ним с тревожной любовью. И как всегда, когда с детьми что-либо происходило не так, как ей бы хотелось, она винила себя в том, что возникало из свойств других людей или из неизбежного влияния среды. Молодой теолог сумел с большим тактом обуздать Карла, этого ретивого жеребенка, и Елена была ему очень благодарна. Однако радость домашнего общения с молодым человеком, душа которого была настроена так же, как и ее, длилась недолго. Муж Елены по натуре своей не мог согласиться с тем, что его жена, которую он страстно любил и над которой хотел по-прежнему властвовать, все больше проникалась несимпатичными ему интересами и сближалась с людьми, ничего для него не значащими. Он уволил молодого человека до выполнения его задачи, — действие,

которое Елена ощущала как несправедливость по отношению к нему, и к сыну, и долго не могла забыть.

\* \* \*

Так, жизнь в доме с тремя взрослыми сыновьями, каждый из которых жил своими интересами и имел свой круг друзей, и с тремя меньшими детьми была необыкновенно богата, но не гармонична. Приводить к согласованию различные по склонности и стремящиеся в разные стороны элементы естественно, становилось все труднее. Впрочем, для взгляда извне это оставалось скрытым. Глядящие со стороны ощущали бьющую юмором свежесть, полноту значительных интересов и все обволакивающую доброту Елены. Ради нее семья часто собирается по вечерам в «старонемецкой» комнате для совместного чтения. Они общаются друг с другом в предупредительной и сдержанной манере, много шутят и поддразнивают друг друга. Но мрачные тона присутствуют, и любящее сердце Елены страдает от того, что ей не удастся охватить внутреннее различие между отцом и взрослыми сыновьями атмосферой такой нерушимой симпатии, в которой разрешились бы все диссонансы, причем истинно трагическое состоит в том, что именно она сама и ее страдания от совместной жизни с мужем, которое уже невозможно скрыть от старших детей, является в конечном итоге кристаллизационным пунктом всей проблематичности. Она воспринимает всё тяжелее, чем раньше, потому что не может больше противопоставить несогласию прежнюю неисчерпанную свежесть. Так день серебряной свадьбы, — который для бесчисленных браков означает трудный переход к осеннему существованию, — для Елены, несмотря на то, что вокруг родителей объединились шестеро цветущих, одаренных детей, таил в себе тайную, полную отречения грусть.

Правда, многочисленные друзья, участвующие в празднестве, ощущали полное, ничем не омраченное счастье и большое изобилие. Елене величайшую радость доставила подаренная сестрой картина с изображением балкона гейдельбергского дома, где перед волшебной освещенной местностью сидят уснувшие родители. «Большой» повесил картину рано утром, и когда оживленное беспокойство в доме, который она готовит для праздника другим, дает ей спокойную минуту, она незаметно подходит к картине, чтобы успокоить свою тоску по уснувшим, по молодости, по родине ее души.



Что все это, а также собственное, не удовлетворяющее его существование, означает для старшего сына, сквозит в его письмах близкой приятельнице Эмме Баумгартен. Период годами длящейся деятельности реферндария был в большой степени заполнен механической работой — просто секретарскими функциями. Молодые сотрудники преимущественно использовались для ведения протоколов — Вебер, конечно, это ненавидел. При этом его почерк настолько испортился, превратившись в трудно читаемые иероглифы — в ряде случаев приходилось повторять свидетельские показания — что вскоре оказалось целесообразным использовать его иным образом. Но и эта деятельность не давала ему удовлетворения. Почему? Это он впоследствии объясняет следующим образом: «С ужасом я вспоминаю большую часть периода моей деятельности в качестве реферндария. Вряд ли существует нечто более мучительное, чем годами использовать свою силу только в половину или даже меньше, причем по времени таким образом, что заняться каким-либо другим делом и не иметь возможности сократить энергичной деятельностью это четырехгодичное паломничество хотя бы на минуту, невозможно. Создается впечатление, будто тебя тянут свинцовыми гирями на спокойное ложе духовной непритязательности и удобства... в то время я действительно завидовал каждому ремесленнику, честно зарабатывающему свой хлеб, хотя мой рассудок и говорил мне, что я в бесконечно более преимущественном положении по сравнению с миллионами людей, не знающих такого понятия, как «профессия». Вебер спасался от духовной пустоты этого времени и опасности привыкнуть к покою напряженным продолжением своих занятий, целью которых он видел защиту докторской диссертации на юридическом факультете в Берлине, где требования для получения этой степени были очень высоки. Единственными продолжительными каникулами для напряженно работающего были повторяющиеся офицерские двухмесячные учения. Тогда прикованное к письменному столу тяжелое тело подвергается физической нагрузке и странным образом, несмотря на отсутствие какой бы то ни было тренировки, преодолевает все трудности. Эти учения способствовали встречам с близкими Веберу южно-немецкими семьями родственников, но когда его полк был в 1888 г. переведен в Познань, и этот источник душевной радости иссяк. Там новые впечатления удовлетворяли его потребность в созерцании и жизненном опыте. Он с интересом изучает общественные и социальные условия и приходит к выводу, что здесь, в восточной пограничной области, прусское правление испытывает те же трудности, что в Эльзасе, в

стремлении ввести чуждый народ в немецкую нацию, соединить с политическим завоеванием завоевание «моральное». Уже в 1888 г. он к концу занятий объехал владения прусской комиссии по заселению, «где делалась попытка основать в купленных на государственные средства рыцарских землях деревни немецких крестьян». Завоевание Востока посредством политики заселения стало для него одной из важнейших государственных проблем.

В период одного из таких занятий он пишет Елене из Шрима: «Наконец служба кончилась так рано и к тому же корректуры доведены до такого состояния, что я могу написать тебе. Самое заметное изменение в общих условиях военной службы, которое наступило с моего последнего призыва, заключается в значительном увеличении занятий, в частности для офицеров. Единственное большое расстояние, которое здесь для нас существует, это переход до стрельбища — около 3/4 мили — и его я должен почти ежедневно совершать *per pedes*<sup>19</sup> туда и назад, что увеличивает время службы на 2 часа и удовлетворяет склонность к прогулкам на 10 лет вперед. В остальном я не могу жаловаться на условия службы; у меня оказался очень приятный, причем не нервный начальник и так как я у него самый старший офицер, он, очевидно, считает неудобным поручать мне, как бывает обычно в этих условиях, более неприятные и менее самостоятельные обязанности, чем другим офицерам, состоящим на действительной военной службе. С ними вполне можно иметь дело, хотя не могу отрицать, что предпочитаю наши «вечера по четвергам»...

«... К моей деятельности последних дней относится среди прочего 1 час (!) преподавания «отечественной истории» и 1 час (!) преподавания о королевско-императорском доме. Какая беда, что 6 принцев еще не женаты, ибо тогда прохождение биографий их шести жен дало бы такой материал, что им можно было бы заполнить 1 час примерно так же, как «отечественной историей»...

\* \* \*

Дома референдарий наряду с юридической практикой все больше погружается в мир своих книг, во-первых, потому, что его научный интерес все растет, во-вторых, потому, что он не хочет терять время и стремится скорее достигнуть цели. Иначе и быть не может: включение в рамки семейной жизни, ежедневный ритм которой устанавливает хозяин дома, вынужденная длительная финансовая зависимость от отца, который становится ему все более чуждым, ложатся как тяжесть и темные облака на его жизнь. Правда, сквозь них все время прорываются лучи юмора и юношеской свежести, но рассеять их полностью они не могут. Это тем

тяжелее, что при замкнутости Вебера он никогда внутренне не освобождается от трудностей, открыто выражая их. Он все таит в себе, даже до Эмми доходят лишь намеки, да и то только тогда, когда она сама просит его объяснить свое положение в родительском доме. Он больше, чем раньше, ценит одиночество: «Я сижу здесь в философском одиночестве уютно в моих четырех стенах, как в своей семье. Это имеет свои хорошие стороны, можно как угодно распределять день, никому не мешаешь и все время чувствуешь, что в таких условиях можно было бы сделать гораздо больше и иметь гораздо больше времени. Следовательно, моя судьба отнюдь не достойна сожаления, и я совсем не хотел бы, чтобы это одиночество было скоро нарушено».

К Елене он полон понимания и глубокого заботливого участия. Одна гостившая у них кузина пишет: «Макс — замечательная «старшая дочь». Его практические интересы развились в том же направлении — хотя исходя из других отправных пунктов — как и ее. И если его новое воззрение на положение трудящихся классов определено не милосердием, как у матери, а политическими мотивами — интерес к тому, чтобы утвердить связь рабочих с государством и вывести их из-под влияния социалистов — то цель у них одна: выравнивание классовых различий, более справедливое распределение тягот и благ. И к этому очень скоро добавляется теплое сочувствие к судьбе тех, кто прикован к безрадостному механическому труду.

23-летний референдарий разделяет также заботы матери о ее 17-летнем сыне Карле и серьезно занимается вопросом, как лучше всего подойти к этому способному и привлекательному озорнику, какие методы воздействия посоветовать матери. Вспоминая о своем отношении к ней, он считает, что ее ищущая взаимности любовь и ее морализирующие предупреждения нецелесообразны. Он бы считал, что юношу нужно держать в строгости, но меньше проповедовать и, занимаясь более длительно братом во время отсутствия матери, он пытается указать ей не такие прямые методы воспитания. Его размышления, характеризующие одновременно мать, брата и его самого, отражены в письме к Эмми. «С Карлом дело обстоит плохо; я, к сожалению, понимаю из опыта характер мальчика, а именно, как развивается легкомыслие и как трудно выйти из этого состояния; боюсь, что понимаю лучше, чем мать, которая всегда считает, что силой своей любви к этому трудному ребенку она может и должна удержать его от падения, от обеднения его внутренней жизни. Я твердо уверен в могуществе воздействия этого чувства, я понял это, когда достиг сознательного возраста, и мог бы даже сказать, в каком отношении. Но здесь многое зависит от почвы, на которую оно падает, и такое действие не ли-

шено опасности. Карл, как мне кажется, живет моментом. Когда он дома и ощущает заботу и любовь матери, он воспринимает это, как я полагаю, с подлинной благодарностью, которую он часто выражает в своем поведении. Но придя на другой день в школу, он оказывается в том же обществе легкомысленных, высокомерных и — из чистого легкомыслия — готовых ко всему, в том числе и к худшему — мальчишек, которые считают его своим. Нужно значительное моральное мужество, чтобы не участвовать во всем, что они делают. Но даже независимо от этого, он руководствуется простым соображением — то, что делают столь многие, не может быть дурным и для него; и если другие совершают глупые и дурные проделки, надеясь и желая при этом благополучно существовать, то почему бы это не удалось и ему? И он участвует во всем, более того, чтобы завоевать расположение других, он даже опережает их. После того как он дома преисполнился, как мне кажется, наилучшими намерениями и уже этим обрел приятное чувство, — так ведь бывает, — что совершил громадный шаг к тому, чтобы стать лучшим человеком, он в школе обретает чувство своего рода героизма, совершенно особой свободы; так он дома и в школе использует ситуацию момента для хорошего самочувствия в каждое данное мгновение и боязливо избегает мыслей, способных испортить ему удовольствие. Таково вполне тривиальное положение, очень часто возникающее у подростков. Вопрос в том, чего можно достигнуть на этой стадии, если обращаться к их сердцу. Думаю, что это безуспешно и применяющие такой метод строят на песке. Применительно к Карлу, во всяком случае, этим достигается только уверенность, что он может совершать или не совершать, что захочет, не неся ответственности за последствия, а это у таких людей момента очень опасно. Думаю, можно ограничиться тем, чтобы он не полностью утратил чувство доверия и сохранял сознание того, что о нем заботятся и считают его своим. В остальном следует при каждом негодном поступке подчеркивать свое неудовольствие, если нужно, в жесткой форме, и внушать тем самым ему, что таким образом он не может рассчитывать на уважение других.

Ибо для того, чтобы действительно ценить любовь и заботы матери, он еще далеко недостаточно зрел и поэтому пользуется удобством этой любви, а в остальном отстраняет ее как нечто неудобное; тем самым он приходит к несомненной грубости, к своего рода черствости, что помешает ему впоследствии обрести понимание, которого он еще лишен.

Здесь дело обстоит так же, как с любовью к истине и внушении ее в воспитании. Хотя я отнюдь не склонен превращать человека посредством длительного недоверия в лжеца, я считаю столь же

неправильным совращать его неоправданным доверием, позволять ему использовать это доверие для обмана и привести его к тому, что вместе лжи — продукта легкомыслия — возникнет привычка к нарушению доверия, что всегда носит известный оттенок подлости. Моей матери будет трудно признать, что мальчик ей теперь внутренне недоступен, и у нее возникает чувство, что она не выполняет свою роль; я знаю, что эта мысль давно ее очень мучает, полагаю, что зря, ибо значение ее влияния трудно переоценить, оно действует медленно, но непрестанно. Но такова трудность положения матерей в нашем воспитании и образе жизни: начало этого влияния внешне мало заметно и не может быть иным и поэтому так трудно победить чувство неудовлетворенности собой» (1887).

\* \* \*

Участие молодого теолога в воспитании Карла старший брат приветствовал, видя в этом облегчение забот матери. К тому же ему был симпатичен скромный молодой человек, который сумел тактично войти в отношения семьи, и он жалел о его преждевременном уходе. Молодой теолог же относился к немногим более старшему, чем он, референдария с большим доверием и обращался к нему за советом во всех душевных трудностях. Возможно, что атмосфера дома несколько поколебала его догматически ориентированные представления; во всяком случае она побудила его принять во внимание более свободное понимание их Еленой и при этом он неизменно обращался и к референдария. Мать радуется, что сын с таким пониманием выслушивает опекаемого ею юношу и видит в этом новую связь между собой и им: «Наши точки зрения теперь значительно ближе, и он столь терпим и ясен в изложении своих мыслей. Особенную радость доставляли мне те дни, когда V... до своего ухода был у нас и со всеми своими вопросами и сомнениями, будь то слушание молитвы, церковная дисциплина или символ веры, неизменно обращался с вопросом: «Скажите, господин референдарий, как это понимать, как Вы относитесь к этому?» И однажды даже сказал: «Макс замечательный парень, ничто человеческое ему не чуждо». Отзвук этих бесед молодых людей обнаруживается в письме к Эмми и больше характеризует автора письма, чем его предмет. Письмо свидетельствует о ранней способности Вебера к участию и вчувствованию даже в далекое от его сущности своеобразие характера и прежде всего: об уважении и осторожности к становящемуся, борющемуся человеку. Чувство ответственности по отношению к более молодому собеседнику запрещает ему затрагивать его веру, вместо которой он не может

предложить ничего лучшего, и он столь же тщательно избегает навязывать ему свои оценки, как и способствовать тому, чтобы тот преждевременно утвердил свои. Его последующая научная позиция как будто предначертана в том, что он хочет только привести к более *ясному* пониманию различных возможностей мышления и верования, к такому пункту, где выбор должен быть сделан самостоятельно. «То, что господин V. в начале апреля действительно покинул нас, принесло большие изменения. Меня это прежде всего огорчает из-за матери, ибо она сходилась с ним во многих, более далеких для нас вопросах, особенно связанных с церковью. Но кроме того его уход — потеря для всех нас, ибо он действительно на редкость тактичный, честный человек, непосредственный, не склонный к фразам; этому у него можно было поучиться, особенно тому, как он вошел в ложную ситуацию. Для меня, хотя мы пойдем очень различными путями, часто было удовольствием говорить с ним на разные темы и не хочу скрывать: быть может, особенно потому, что мне было приятно заключающееся в этом его, человека более молодого, доверии, чувство, которое я ценю тем больше, что по опыту знаю, как на стадии внутренних сомнений и постепенного образования собственной точки зрения люди не склонны его высказывать ... особенно по отношению к тем, кто им наиболее близок. Я тем более считал это почетным для себя, так как обретал этим известное чувство ответственности, ибо наблюдение показывает, что человеческий дух именно в такой ситуации, когда он серьезно стремится обрести самостоятельность, в известном отношении очень податлив, именно потому, что не знает, что им руководят; посредством влияния будь то сведущим или несведущим человеком его направляют на путь, по которому он именно вследствие серьезного стремления обрести твердую почву идет и таким образом легко принимает основополагающее для всего его духовного развития в жизни решение, и, не рассмотрев полностью вопрос, делает выбор, вообще не зная, *что* он выбирает. Хотя мне и не известно, что сказал бы теолог по поводу моих ответов господину V. на его многочисленные вопросы — некоторые из них в первый момент поражали, — например, «Что Вы думаете о крещении?» или «Как бы Вы в качестве проповедника определили свое вероисповедание?» — но полагаю, что во всяком случае в меру своих сил я в каждом случае пояснял ему, с *каких различных точек зрения* можно подойти к ответу на эти вопросы. Что касается моего мнения, я всегда был с ним честен, напротив, даже при самых подробных дискуссиях всегда воздерживался, и, думаю, справедливо, от прямых вопросов, *что* он думает о том или другом важном пункте. И это потому, что я также по опыту знаю, что если на той стадии развития, на которой находится господин V., тре-

буют ответа на то, в чем человек еще не разобрался, и он по этому поводу высказывается, то легко — ибо человек чувствует себя известным образом связанным тем, что он сказал, — теряет способность непосредственно искать истину и вместо этого, не «сознавая, ищет основания, оправдывающие ранее сказанное и таким образом оказывается крепко привязанным к собственному изречению, высказанному лишь под влиянием момента» (1887).

Каждый, кого серьезно интересуют глубокие проблемы, и кто с доверием открывается Веберу, может рассчитывать на его участие и интерес. Он с удовольствием помогает молодым людям достигнуть большей ясности и всегда находит для этого время. В той мере, в какой эта его способность выражена в письмах к Эмми, мы получаем дальнейшие сведения о его тогдашних оценках. Так, например, нам известно его характерное для этого периода (1887) высказывание о Гёте. Ему было тогда 23 года.

«Я был очень рад, что Вы получили такое удовольствие от несомненно превосходного исполнения артистами Мейнингенского театра «Орлеанской девы». И особенно потому, что сегодня далеко не каждый способен воспринимать Шиллера. Преувеличенно исключительное поклонение Гёте лишает вкуса к Шиллеру именно людей, занимающихся литературой, и вообще делает их несправедливыми по отношению ко всему, кроме Гёте, чем меня часто сердят, например, Альфред и его сверстники. Ибо как мне могут помочь утверждения о всеохватывающем поэтическом восприятии Гёте и о том, что в нем находят все содержание человеческой жизни от А до Я, если я не вижу, что едва затронута лишь *одна* ее сторона, причем важнейшая? Ведь люди обычно в целом понимают свою жизнь так, будто им важно только чувствовать себя хорошо и найти в этой жизни сторону, в которой они могут ею наслаждаться, и перед ними отнюдь не стоит *только* вопрос, на каком пути они достигнут или не достигнут счастья и внутреннего удовлетворения. Между тем это важнейший вопрос, который мы находим в произведениях Гёте, например, в «Фаусте», если подойти к этой проблеме трезво и точно, и все, даже самые сложные этические проблемы освещаются с этой точки зрения. Ведь удивительно, что Гёте ощущал недостойное как таковое только если оно было одновременно уродливо и мелко; напротив, он не ощущал это отчетливо, если оно являло себя ему в форме прекрасных чувств — ср. «Избирательное сродство», или в гигантском величии — см. его встречу с Наполеоном. Для него все дело было в форме, также и в его стихах; под «формой» я имею в виду не только красоту стихов, а форму, в которой мыслятся вещи. И поэтому он был великим художником, ибо он владеет формой, как немногие, а посредством формы художник делает из своего предмета, что

он хочет. Однако в качестве поэтов и писателей, можно, думаю, назвать еще и других...» (1887).

В зрелые годы Вебер видел в Гёте всеохватывающего гения и понял, что не потребность в «счастье» определяла его жизнь, а титаническая борьба за самоусовершенствование в действии собственных громадных творческих сил и благочестивое единение с законами мироздания. Но тем не менее: он и позже отказывался почитать Гёте как неприкасаемую, не допускающую нравственной оценки величину, и этот образ никогда не воплощал для него *тотальность* человеческого, ему не хватало в Гёте героического начала. А когда обыкновенные люди в молодом возрасте притязали на следование в собственном стремлении к счастью его примеру, Вебер насмехался над ними, говоря, что надо быть Гёте, чтобы жить, как Гёте. Он не допускает существования определенной «морали гения». У него, правда, нет потребности морализировать в применении к творческим людям, однако, если он слышит подобные высказывания, он со всей твердостью говорит: то, что является «грехом» для Мюллера и Шульце, должно быть таковым и для Гёте. Различие он видит только в том случае, если последствия такого поведения для всей личности гения *иные*, чем для среднего человека. Он соглашается с тем, что вина и грех могут служить как почвой для творческого свершения, так и для развития личности в сторону внутреннего богатства и суверенности — но прежде всего, по его мнению, тогда, когда вина познана и выстрадана как таковая. Однако он не отказывается в принципе от измерения и «сверхчеловека» нормами, которые приняты как общезначимые и которым он подчиняет собственное поведение.

\* \* \*

В другом письме обнаруживается, что мировоззрение Вебера находилось тогда под влиянием Канта; это было плодом длительной, относившейся уже к последним школьным годам борьбы, начавшейся раньше с исключительного следования Спинозе. «Много лет тому назад я основательно измучился, постигая сущность понятий; оно меня опять притягивает; оно дает немного, но время от времени опять привлекает».

На этот раз повод к философствованию был очень прост. Осуждающие высказывания кузины о несимпатичном ей молодом человеке дали ему возможность наглядным образом пояснить ей учение о «свободе и необходимости» в ответственности действующего лица и его природной обусловленности. Размышления над этом вопросом были связаны с его деятельностью в суде, где ему ежедневно приходилось оценивать действия асоциальных по своей при-



роде людей: «Кто же вводит в душу преступника мысль, которая ведет к действию? Ведь не он сам, он приведен к этому обстоятельствами, предпосылками, существовавшими в нем, которые не он дал себе: иначе все не могло бы произойти, одним словом, его нельзя считать ответственным за то, что он совершил, так как он не свободен. Его внутренняя сущность так же подчинена необходимому развитию, как любой продукт природы. Человеческий рассудок неспособен понять, как может то, что он делает, и то, что мы называем дурным, не быть столь же «естественным» и, следовательно, оправданным, как то, что другой называет приятным, «хорошим»... приятное размышление не так ли? И рассмотренное с точки зрения рассудка совершенно правильное... Однако теперь мы должны проверить рассудок, вправе ли он вообще судить об этих вопросах, может ли он вообще с помощью своих понятий в них проникнуть и не притязает ли он на то, что он не в состоянии сделать, так как у него отсутствуют для этого понятия. Дело, по моему, обстоит именно так. Ибо легко заметить, что мы с нашим милым рассудком не можем понять, какое значение имеют, собственно «хорошее и плохое»; в противном случае лучше всего были бы осведомлены об этом самые умные люди, между тем всем известно, что это, к сожалению, не всегда так; кроме того, в мире должны были бы делаться по крайней мере такие же великие изобретения и открытия, как они делаются в ряде областей с помощью рассудка, посредством тех же средств в области морали и так же быстро, что, однако, не происходит. И наконец: никому не удастся объяснить мне с помощью рассудочных понятий и дефиниций, в чем разница между «хорошим» и «дурным», следовательно, у рассудка нет для этого понятий... Сознание человеком ответственности за свои действия основано не на рассудочных понятиях и не может быть ни конструировано, ни опровергнуто рассудком. Поэтому неправильно считать, что это старый предрассудок, привитый нам в молодости воспитанием. Я утверждаю: нравственные суждения не могут быть воспитаны, если отсутствует способность их постигать, если отсутствует *нравственная способность различения*, а эта способность основана именно на противоположности хорошего и дурного. Следовательно, чтобы сделать воспитание возможным, эти противоположности следует предполагать, они уже заключены в человеке, воспитание может их развить, обострить, дать им практическое содержание, но не создать их».

К этому объяснению он добавляет поучение о своеобразии этических, эстетических суждений и суждений вкуса, затем вновь возвращается к проблеме ответственности: «Поэтому тем, что о человеке говорят — он доведен до этого обстоятельствами, еще ничего не объяснено; это дает лишь отправную точку для того, что-

бы сделать развитие нравственного состояния данного человека *понятным*... однако этим моральное суждение еще не вынесено. Это объяснение может, правда, помешать нам «проклясть» такого человека, в этом я с тобой согласен (но только потому, что я вообще противник проклятий). Однако суждение, хорошо или дурно то, что он сделал, и наше суждение об его ответственности за его действия этим не затрагиваются; по этому поводу не могу обратиться за советом к рассудку, в этом отношении он стоит перед неразрешимой для него загадкой... Мы находимся здесь на границе нашего понимания и вступаем в совершенно иной мир, где о вещах судит совсем другая сторона нашего духа и каждый знает, что ее суждения, хотя они и не основаны на рассудочных понятиях, столь же достоверны и ясны как цепь логических доказательств...»

У Елены с каждым годом усиливается ощущение, что ее «Большой» слишком погружен в книги. Очевидно, ее отягощенная заботами душа ищет все большей поддержки во взрослом сыне. Она говорит об этом со столь близкой им обоим племянницей, и та призывает Вебера уделять матери больше внимания. Его ответ свидетельствует, что он признает свои сыновние обязанности и охотно бы их выполнял, но наряду с неотложной работой это ему трудно. Он ощущает напряженный конфликт обязанностей, которые обычно переживают только дочери, и пытается объяснить Эмми, что удовлетворительное решение этой проблемы невозможно. Ведь один только факт, что он на этой стадии причастен в качестве сына жизни родителей, братьев и сестер, служит препятствием на пути к собственной цели. «Ведь дома делаешь только половину того, что можно было бы сделать; мне часто тяжело видеть, что у моей матери создается впечатление, будто меня интересуют лишь какие-то честолюбивые планы, и я держусь в стороне от своих, но по-другому невозможно: я работаю медленно и, может быть, раньше многое упустил... возникает вопрос, какие же обязанности более важны, и я полагаю, что для меня следующие: по мере сил обрести знания, тем более, когда я думаю о том, сколько людей других сословий в моем возрасте вынуждены думать только о повседневном труде, который у меня по сравнению с ними не так уж велик и не связан с вопросом о хлебе насущном» (1887).

Однако собственные его интересы не заслоняют сознания о положении матери и о справедливости ее притязаний, он только не знает, как полностью удовлетворить их. Узы, которые держат его дома и которые он не может и не хочет из-за матери порвать, становятся с каждым годом все теснее: «Могу тебя уверить, что мысль о недостаточном выполнении здесь в доме моей матери того, чего от меня ждут, неприятна и несомненно не облегчает

мне работу. Ты говоришь, как и что я должен делать по-другому, вероятно, ты права... но мне совсем нелегко изменить все. Неужели ты действительно не веришь, что мне надо еще *очень* много работать, чтобы чего-нибудь достигнуть?

Вот ты мне говоришь, что мне нечего спешить. Но я и не спешил. Этим летом было очень странно. Сложилось впечатление, что моя семья отправилась в Гейдельберг только для того, чтобы с расстояния артиллерийского выстрела бомбардировать меня из орудия большой мощности, выясняя, когда же я пройду свой экзамен на доктора. Отец, как я знаю, был втайне несколько разочарован, что я не сумел сделать это быстрее. Поэтому я и не хочу быть в этом виноватым, ведь верно? И в этих условиях достаточно трудно найти на все время, и особенно трудно мне предпринять какие-либо совместные действия с матерью, ибо у нас обоих время для этого есть только вечером, а к вечеру — это главная трудность — она почти всегда смертельно устает и мне часто кажется, что она с трудом меня слушает, делая это только ради меня».

В трудные минуты он поддерживал мать — он был всегда готов помочь ей, когда она обращалась к нему со своими заботами или вопросами, — но дать ей ту душевную атмосферу, которая согревала бы ее в повседневной жизни, он при своей напряженной работе не мог. И несмотря на то, что внутренне он был на стороне Елены, он не обвинял в омрачении ее жизни только отца. Елена постарела, надорвала свои силы, а это уменьшало гибкость в повседневных трениях в браке: «Все это было бы еще, как я все время повторяю, не так страшно, если бы моя мать с течением времени не стала на многое значительно болезненнее реагировать; скажу только одно: мой отец по своему темпераменту сангвиник, и его настроение часто меняется по малейшему поводу. В отличие от прежних лет теперь это производит на мою мать часто очень глубокое, болезненное впечатление, с которым она не скоро справляется, даже если повод, вызвавший огорчение, был минутным. Ты, вероятно, согласишься, что мне как сыну не пристало вмешиваться иначе, чем косвенным образом: это не способствовало бы улучшению семейной жизни».

Он объяснял ранимость Елены и общими причинами: как типичную судьбу тонко организованной женской души, ее суть, — в отличие от типичного мужчины, которого профессия заставляет преодолевать множество трудных проблем, — состоит в переработке сложных душевных переживаний.

«Ежедневная работа людей различна по своему характеру и можно на себе заметить, что деятельность в бюро и более или менее напряженное занятие многочисленными, бесконечно меняющимися отношениями людей, которые на бумаге и в актах полу-

чают своеобразный характер призрачной жизни — как будто мы видим на занавеси силуэты действительно живых людей, исполняющих танец; мы замечаем, что речь идет о существовании тех, кто за занавесом ведет ежедневную борьбу за меня и тебя, что именно занятие этими силуэтами и вообще мелкими и большими интересами *внешней* жизни, как она нам дана, затрудняет понимание того, что другие, профессия которых связана с *внутренней* стороной жизни, легко глубоко внутренне реагируют на вызванное лишь мгновенным настроением высказывание и поэтому дольше находятся под его впечатлением, чем заслуживал бы такой мгновенный импульс. Все это я говорю только потому, что мне не хотелось бы создать видимость, будто я считаю себя вправе на упреки какой-либо стороне».

\* \* \*

Однако не только вчувствование в душевную жизнь матери, но и судьба Эмми усиливает понимание Вебером особой проблематики существования женщины, деятельность которой для других выражается не в предметных действиях, а исчезает в протекающей повседневности.

Бремя его собственной жизни в эти годы увеличивает то, что покров непостижимой меланхолии и физического изнеможения все чаще и сильнее падает на Эмми. Она тем сильнее страдает от ограничений болезни, что по своей натуре, близкой Елене и Иде, стремится служить и помогать. Уже через год после того совместного пребывания весной она заставляет себя внутренне отказаться от любимого. Да и любит ли он ее вообще еще? Его по-братски доверчивые письма не дают ей на это уверенного ответа. Но даже если он ее любит: разве она поправится и сможет стать ему спутницей жизни? Это представляется ей все более сомнительным. Она никоим образом не хочет связывать его или создавать впечатление, что она его ждет. Она удалилась, и оба они в течение ряда лет не делают попытки увидеться. Письма становятся реже, образ подруги исчезает. Однако внутренне Вебер не отошел от нее; ведь еще есть надежда на то, что она когда-нибудь освободится от покрова болезни, выйдет навстречу ему здоровой и улыбнется ему с прежним очарованием. Он оставляет все нерешенным, а так как в то время еще мало знали характер подобных болезней, он тайно чувствует себя виноватым, считая, что его нерешительность является причиной болезни Эмми, что она увядает от несбывшейся любви. И с каждым годом он все больше подчиняется мысли, что, если он не может спасти и осчастливить Эмми, он и сам не имеет права на полное человеческое счастье. К этому прибавляется

постепенно вырастающее из темных глубин жизни, таинственное чувство, что ему вообще не дано принести счастье женщине.

Дружба продолжается. Он пытается в своих письмах, правда, более редких, усилить ее доверие к себе и дать ей почувствовать ее значение для него и других. «Не требуй от себя слишком много, милая Эмми, ты делала это и раньше, я помню, как ты все время считала, что не являешься для других тем, кем должно быть, а между тем пребывание с тобой было для всех нас таким благотворным. С тобой происходит на иной манер то же, что с моей матерью, которая никогда не понимала, как много *косвенно* значила для нас ее жертвенная любовь в моменты, когда необходим была *внутренняя* защита от чего-нибудь, и эта защита была в мысли о ней». Он не соглашается с тем, что ее мучает, — будто она не может в достаточной степени помогать своим и толкует ее уныние как следствие особой судьбы женщины: «Это напоминает мне некоторые мысли, которые подчас преследуют мою мать. Я все больше понимаю, что подлинная тяжесть обязанностей, которые мировой порядок установил для женщин, заключается именно в том, что эти обязанности коренятся в отдельных специфически внешних важных вопросах, которые должны быть сознательно разрешены, чем в выполнении их посредством длительного самопреодоления и что успех выполнения этих обязанностей значительно реже конкретен и осязуем, — их плод созревает как будто в самой собой разумеющемся порядке повседневной жизни».

Через несколько лет, когда Вебер ближе познакомился с внутренней подавленностью молодых девушек нового поколения, он еще ярче выразил свое понимание специфики женской доли: «Я вновь вижу, насколько легче сделала природа жизнь для нас, мужчин. Даже в самой неудовлетворяющей мужчину профессии мы все-таки *видим* внешний результат нашей деятельности; женщина же, мать, дочь или сестра, не видит ничего из того, что означает ее существование для других, ей может даже часто казаться, что она не более, чем дополнительные забота и бремя, ибо выразить внешне, какое громадное обогащение жизни заключается в том, что есть кто-то, принимающий на себя наше обеспечение, и показывает этим свое чувство принадлежности к нам, невозможно. Однако нам присуща потребность иметь внешние признаки нашей деятельности и именно в этом отношении природа предоставила нам, мужчинам, преимущество, правда, оно дано ценой большей внутренней бедности».

В какой мере Вебер ощущал материальную зависимость от отца, которому он становился чужим, позволяют предположить следующие строки, выражающие его ощущение со сдержанностью, требуемой почтением сына к отцу: «Знаешь, странное состо-

ание, когда, постепенно выходя из положения студента, еще годами приходится ждать независимости; я во всяком случае это постоянно ощущаю и вынужден почти ежедневно преодолевать эту мысль. И я не могу также убедить себя в том, что это чувство не оправдано, ибо *собственный хлеб для мужчины основа счастья*, для большинства людей содержание их стремления на протяжении всей жизни... для меня это еще далеко, изменить это теперь невозможно, но мне этого очень не хватает, больше, чем другим, и поэтому я очень неохотно теряю нужное для независимости время» (1887).

\* \* \*

Неужели же не было для Вебера более короткого пути для желаемой независимости? Разве необходимо, чтобы этот всесторонне одаренный человек, чувствующий себя способным к самым разнообразным формам деятельности, которому каждый из его учителей предрекал значительное будущее, тратил свою юношескую силу на бесконечном пути юридической специализации? Почему бы не совершить быстрый переход в какую-либо другую свободную профессию? Его преподаватели видели в нем будущего ученого и не представляли себе лучшего применения этого выдающегося интеллекта. Так, Герман Баумгартен еще до защиты докторской диссертации говорит ему о доцентской должности. Но он колеблется, не решается свернуть с дороги, на которую вступил, ведь в качестве доцента ему пришлось бы, по-видимому, достаточно долго ждать «собственного хлеба», и прежде всего: он склонен больше к *активной*, чем к созерцательной жизни. Научная работа, например, в области юриспруденции, привлекает его как интересное занятие, но не как содержание жизни, ибо его не менее интересуют политические и социальные проблемы, к тому же его волевой характер требует большой ответственности, «потока жизни и штурма действий». Даже позже он завидовал капитану корабля, ответственного в каждую минуту за жизнь людей. Когда он к концу своей юридической подготовки заменяет несколько месяцев известного берлинского адвоката, он находит такое удовлетворение в деятельности, требующей проницательности, способности принимать быстрые решения и инстинктов борьбы, что предполагает даже после габилитации дополнительно заняться работой адвоката. Настойчиво рекомендуящему доценту дяде он пишет: «Иногда и чисто научная деятельность совершенно теряла для меня свою привлекательность, так как создавалось впечатление, что практические интересы, регулирование которых является основной задачей развития права, создают такие комбинации, охва-

тить которые средствами нашей науки, как мне казалось, невозможно; и тогда желание заниматься нашей наукой ради нее в самой значительной степени уменьшалось».

Если Вебер, несмотря на это, уже в период деятельности референдарием решил наряду с юридической практикой стремиться и к академической профессии, то руководствовался он, вероятно, прежде всего соображением, что на этом пути он скорее достигнет своей цели: «Мне ясно, что я никогда не откажусь от практической деятельности после того, как я обрел уверенность в том, что могу достигнуть в этом успеха; в академической же деятельности это неопределенно. Если бы я в нынешних условиях не оказался еще дальше от этой цели (есть собственный хлеб) и не было бы перспективы скорее продвинуться на другом пути и в этом отношении, то ее надо, как я полагаю, по крайней мере испробовать. Это, видимо, совсем не идеалистическая точка зрения, однако я считаю ее оправданной. Правда, нельзя отрицать, что при этом я часто неправильно понимал и не выполнял другие обязанности по дому, попытаться удовлетворить их мне следует, хотя я чувствую себя очень мало способным для этого».

Еще до получения доцентуры он предпринял серьезную попытку порвать цепи. Он подал заявление на место синдика в Бремене, поехал туда и лично представился городским властям. Предпочтение было отдано местному юристу. Впоследствии он сказал об этом дяде, который не одобрил этот шаг: «Меня очень влечет практическая деятельность, здесь она, может быть, получила бы удовлетворение и с этим было бы покончено. Сознаюсь, что я лишь с трудом — как меня ни привлекает научная профессия — думаю о том, что от выжидающего, неоплачиваемого референдария и ассессора перейду к столь же выжидающему и неоплачиваемому приват-доценту. Полагаю, что при финансовой независимости у меня было бы меньше внешнего, но несравненно больше внутреннего покоя для научной работы».

Тем самым вопрос профессии был на данной стадии решен: Вебер представил работу по римскому, германскому и торговому праву и начал читать лекции весной 1892 г. Одновременно была возможность заняться юридической деятельностью, он размышлял о месте адвоката или о сотрудничестве с каким-либо известным адвокатом. Однако обстоятельства заставили его идти по другому пути. Его почитаемый учитель, специалист по торговому праву, Гольдшмидт, тяжело заболел. Он уже во втором семестре передал Веберу чтение своего курса лекций. Теперь молодой доцент должен был перед большой аудиторией читать лекции по торговому и вексельному праву. Могущественный властитель университетского образования, Альтгоф, интересовался им, допускал,

что он заменит знаменитого ученого, и предоставил ему сначала (1893) должность экстраординарного профессора, желая этим привязать его к Берлину. Таким образом внезапно открылся путь к значительной карьере. Но интересы Вебера уже в значительной степени перешли в область политической экономии. Он не хотел связывать себя с преподавательской деятельностью в области юриспруденции, так как начались уже переговоры о предоставлении ему кафедры политической экономии. В 29 лет он был у цели. Его три книги получили научное признание. В социально-евангелических кругах в нем видели будущего политика. Еще в это время он говорил: «Я не являюсь в сущности подлинным ученым; научная деятельность для меня слишком связана с заполнением часов досуга, хотя я вполне понимаю, что успешно заниматься научной работой можно только полностью отдаваясь ей. Надеюсь, что *педагогическая* сторона профессии доцента даст удовлетворение моему непреодолимому желанию заниматься *практической* деятельностью, но не могу еще решить, обладаю ли я способностью именно к этому ее аспекту».

О безудержной интенсивности работы в эти годы дает представление его последнее письмо Г. Баумгартену (написанное незадолго до смерти Баумгартена), датируемое началом его первого семестра в качестве доцента: «Причина моего длительного молчания в том, что в последнее время я пострадал вследствие переоценки моей трудоспособности. Я объявил частный и общий курс лекций, а также частные семинарские занятия и начал их вести. Одновременно я принял участие в составлении анкеты для Союза социальной политики по следующему вопросу: «Условия сельскохозяйственных рабочих на востоке». И наконец, заменяя адвоката в каммергерихте, я ежедневно был занят с 9 часов до 7 часов вечера то в суде, то в бюро. Все это вместе создавало очень хорошее чувство действительной занятости сверх головы. Параллельно шли еще несколько обещанных рецензий и с этой почтой я посылаю тебе статью, написанную *in usum pastorum*<sup>20</sup> для журнала моего друга Гёре, которая, может быть, возбудит ваш интерес. Теперь я готовлюсь к моей деятельности доцента и должен сказать, что текущая подготовка от одной лекции к другой во многом более значительна, чем я предполагал. Думаю, что особенно семинарские занятия доставят мне со временем большое удовлетворение и радость. Помимо всего этого мне необходимо готовиться к походу против моих уже возникших и еще возникающих критиков во главе с Моммзеном, чья объективно отвергающая, лично достаточно дружелюбная полемика с моей книгой, напечатанная в «Гермесе», требует подробного ответа. Лето, следовательно, будет, как я полагаю, достаточно заполнено работой, тем более, что я еще



обещал Отто «синюю тетрадь» о сельскохозяйственных рабочих на востоке».

Какой ценой был достигнут этот крутой подъем под постоянным давлением домашних условий, можно предположить из его письма к Эмми: «В последние годы, о безрадостной пустоте которых я вспоминаю с ужасом, я погрузился в такую полную, несвободную от известной горечи резиньяцию, что, если бы яркие, прекрасные воспоминания не освещали известным горестным светом мое существование среди книг, я занимался бы исключительно, я бы сказал, автоматически, моей требуемой долгом профессиональной работой, к большому огорчению моей матери». Все высказывания Вебера позволяют прийти к заключению, что он, независимо от своей воли стремится к этой цели. «Собственно говоря, я не настоящий ученый». Это сказано в то время, когда он достиг первых больших успехов на поприще науки. И каждый, кто при непредвзятом отношении к научной карьере — посмотрит на эту мощную богатырскую фигуру, должен с ним согласиться. В сущности парадоксально представлять себе этого человека проводящим всю жизнь за письменным столом с пером в руке, согнувшимся над фолиантами. Его стремление к знанию, так же, как стремление и способность сообщать знание другим, были несомненно исконны и сильны, они проявились уже в детстве. Ненасытный интеллект требует все время новой пищи. Но наряду с этим другие — активные — силы его существа так же настойчиво требовали своего применения. Познание действительности, ее подчинение рассудку может быть для этого человека лишь предварительной ступенью для *непосредственного* формирования ее действием, ибо кажется, что этот человек еще больше, чем для мышления, рожден для борьбы и господства. Все дело только в том, найдется ли верная форма для этого, обладает ли его время соответствующим предметом для кристаллизации этих сил. Он сам помышляет о том, чтобы стать впоследствии практическим политиком.

\* \* \*

Скрытая нежность Вебера, его вытесненная потребность в счастье и женском очаровании находили в этот период лишь одно осуществление, — в прелестных, нежных играх с молодыми сестрами. Здесь одушевленная натура могла свободно выражать себя, не связанная конфликтами совести. Младшая, Лили, белокурое создание с грацией и изяществом эльфа, была умной оригинальной школьницей с рано сложившейся склонностью задумываться. Уже в 7 лет она спрашивала мать: «Для чего, собственно говоря, живут?», «Почему Господь Бог создал и злых людей?» И испуганной

матери было нелегко ответить на такие вопросы. К счастью, позже ее стремление к познанию обратилось на более простые вещи. Ее брат рассказывает: «Наша крошка задала мне сегодня богатый содержанием вопрос, во сколько лет становятся подростком? Ей еще придется этого подождать. Она все еще сохраняет неодолимое стремление к знанию, и я в самом деле не знаю, откуда мне взять материал для вечерних рассказов у ее кровати, ведь в мировой истории поистине слишком мало произошло». Плотный бородатый брат, которого девочки неуважительно называют «Толстяк», приходит каждый вечер к ее кровати, заплетает ей косу и рассказывает постепенно всю историю мира, но больше всего о Фридрихе Великом, рассказов о котором она не может наслушаться.

Старшая сестра — Клара, уже оканчивающая школу, расцветающая «молодая девушка» с длинными каштановыми кудрями, очень милая и живая. Ее наивная, беззаботная жизнерадостность и исконная самоуверенность, которая позволяет предположить, что ее везде ждет солнечный свет, составляют особую усладу брата. Это молодое, непосредственное создание, которое прежде всего хочет жить и процветать «блаженным в себе самой», так благотворно и необходимо отвлекает его от всего тяжкого бремени серьезной жизни! Он может дразнить, ласкать, баловать ее и одновременно образовывать и направлять. «Моя старшая сестричка стоит перед важным моментом ухода из школы; она сначала будет обучаться ведению хозяйства в рекомендованной нам семье лесника в гессенской земле. Она летит в жизнь на всех парусах, к счастью, с полной непосредственностью, хотя уже с некоторыми углами, которые должны быть сглажены. Вероятно, она моя любимица потому, что в ней я нахожу некоторые черты, которые, насколько позволяет всегда особенно несовершенно познание себя, как я вспоминаю, были присущи мне в том же возрасте». Воспитание брата состоит, правда, преимущественно в безграничном баловстве, он выполняет все ее желания — на что Елена взирает с некоторой озабоченностью; из первых заработанных денег он осыпает ее подарками; она уж не знает, что ей пожелать. Но он дает ей и другое; пусть она об этом скажет сама: «Как он любил природу и как он умел в странствиях рассказывать, учить и делать все прекрасным. Как он наслаждался музыкой. Он познакомил меня со всеми операми Вагнера, и только благодаря его тонкому пониманию, его способности восприятия, они стали тем, чем они являются для меня. С его поразительным музыкальным слухом и памятью он воспроизводил услышанные мотивы, и я с радостью вспоминаю о наших оперных вечерах, о том, как мы рука об руку шли через Тиргартен домой, причем он все время свистел отрыв-

ки из опер. Иногда он рассказывал этой девочке что-либо о себе — например, что он из-за Эмми не считает себя вправе жениться. К тому же нет женщины, которая могла бы его полюбить, которой он в силу своей натуры мог бы дать счастье. Брат и сестра рисуют свою будущую совместную жизнь. «Что ты там придумала? Говори, могу себе представить, но знаю, что это неверно. Такой старый медведь, как я, топчется лучше всего один в своей клетке».

В важном для него году 1892—93 (который завершился научным признанием, самостоятельностью в определенной профессии и женитьбой) Клара была в пансионе, он посылал ей приятные подарки, писал ей нежные и веселые письма и требовал от нее того же: «Я охотно расскажу тебе еще больше, но будешь ли ты мне часто писать? Пусть это будет даже вздор, но *очень* часто! Но ведь я тебя знаю! В тебе всегда есть немного любви, немного верности и немного большого лицемерия».

Когда сестра посылает домой письмо о плодах ее швейцарского учения, написанное на плачевном французском, он высмеивает ее на ярко выраженной тарабарщине<sup>21</sup>. В этом удивительном письме содержатся также определенные важные сообщения навестившему ее отцу о предстоящем решении по поводу профессии:

«Милая детка,

Приношу тебе благодарность за твое превосходное письмо — но чёрт возьми — что это за ужасный французский, на котором ты пишешь? О Господи, в Веве, по-видимому, говорят на каком-то сельском диалекте — деревенском, постыдном, как мы такой называли. Если я стану профессором в Марбурге, ты умрешь? Я? Не в Марбурге, а — ты можешь сказать об этом папе, но тихо, так как это секрет — в Берлине: экстраординарным профессором, читающим курс торгового права, как мне сказали господа тайный советник Альтгоф и тайный советник Экк — может быть уже летом, вероятно в конце июля, несомненно в течение зимы — ты расскажешь папе и это. Факультет как будто согласен. Понимаешь, какое это замечательное положение? Теперь ты должна относиться ко мне с большим уважением, чем раньше, но без страха, я буду относиться к тебе с любезностью и снисхождением. Я охотно уступаю тебе мои комнаты, которые ты хочешь унаследовать, так как мне необходима вилла и по крайней мере два или три прислуживающих духа».

Клара была свежим молодым источником, которым он наслаждался в своем книжном мире. Что он значил для сестры и каким она его тогда воспринимала, она, вспоминая, выразила следующим образом: «И как он переживал со мной все, все мои дружбы,

все наши глупости! Сколько у него было шуток и понимания этого! Для меня Макс вообще был душой дома. Со всем мы шли к нему, и он всегда мог помочь, так или иначе. И как замечательно он, который уже в юности превосходил своих сверстников, умел, несмотря на его чрезвычайную скромность, всегда вносить особую ноту в наш молодой воскресный круг. Исключительна была его способность учить. Уже тогда он, уходя далеко вглубь, отвечал на довольно глупые подчас вопросы, не заставляя человека почувствовать свое невежество, и представляя исчерпывающие и обогащающие сведения; об этом я вспоминаю, когда часто вижу его в кругу других, и они все через некоторое время слушают только его. И эта ясность мышления, эта сила концентрации, которая позволяла ему заниматься своей работой при оживленной беседе, чтении и т. п. в кругу семьи; это ему не мешало, более того, он мог даже следовать нашим разговорам и подчас сопровождать их забавными замечаниями. Он несомненно был для мамы замечательным старшим сыном, который уже тогда ей очень помог.

Да, присутствие в доме этого сына давало Елене многое. И все-таки она от души желала ему уйти из дома и жениться. Он никогда не говорит о своих переживаниях, но она понимает всю тяжесть обуревающих его чувств и причину того, что он так много работает. Она видит, как он силой своего духа и напряженной воли сохраняет власть над собой, но при этом за стенами, которыми он себя окружает, ему приходится преодолевать демоническую страсть, которая время от времени с уничтожающей силой прорывается. Он, не зная того, предъявляет себе, но и другим, высочайшие требования и может придти в *ярость*, когда видит их «мелкими» — разве что его смягчает любовь.

## Глава VI

# Женитьба

Весной 1892 г. в Берлин приехала Марианна, внучатая племянница Макса Вебера senior, чтобы получить там образование для самостоятельной профессиональной деятельности. Ее дед, *Карл Давид Вебер*, был старшим братом городского советника, ее мать, следовательно, кузиной его детей. После того как за открытием механического изготовления пряжи последовал упадок его билефельдского дела, Карл Вебер перенес кустарное производство полотна в сельскую местность, в тихую, красивую деревню у отрогов Тевтобургского леса. Местечко Эрлингхаузен тянется по уступу северного склона подобного валу Тёнберга. С его гребня открывается замечательный вид на все великолепие немецких земель: на востоке и западе — лесные вершины, которые в виде широких стен продвигаются в местность; на юге широкая, пустынная украшенная соснами степь (*Senne*), таинственная синева которой у горизонта как будто исчезает в безграничном море. На севере открывается противоположная картина, — постепенно нарастающая волнообразная вестфальская долина — до того, куда доходит взор, тщательно обработанные поля, окаймляемые лесами и группами дубов. Между вершинами деревьев виднеются остроконечные крыши вестфальских дворов — яркий ковер жизни. Здесь деятельный сын пришедшего в упадок вследствие введения механических станков билефельдского торгового дома вновь создал свое дело с нуля. Он засадил бедных крестьян степи, обрабатывавших только картофель и гречиху, за станки и предоставил им пряжу. При сбыте выработанного в домашних условиях полотна он первым в своем кругу использовал современные методы капиталистического ведения дел, которых отцы избегали в качестве «неблагородных»: вместо того чтобы ждать скупщиков, он разъезжал сам со своими образцами. Этим он вызвал большое недовольство среди представителей его сословия — пока они не пошли по его следам. Его племянник Макс характеризовал впоследствии его новые методы торговли и его

деятельность как пример современного предпринимательства в своей большой работе о «духе» капитализма.

Карл Вебер достиг медленно и с большим напряжением заметного благосостояния и репутации выдающегося, даже гениального торговца. Он жил скромно, его удовольствием и отдыхом были охота и прекрасный сад. Большая семья, родоначальником которой он стал, дети и внуки почитали его как патриарха и подчинялись во всех сферах жизни его авторитету. В деревне он также главенствовал, не только потому, что у него было больше денег, чем у других, и он давал возможность заработать, но прежде всего вследствие его благородно-дистанцированной манеры себя вести. Он держался в стороне от жителей деревни, был властно приветлив со своими подчиненными, безукоризненно вежлив с равными, рыцарствен с женщинами. На него взирали с почтением и тайной робостью и награждали его, когда он стал стареть, неким мифическим нимбом. Он в зрелые годы потерял свою любимую, духовно одаренную жену и остался один. Его старшая дочь Анна вышла замуж в 18 лет также за очень молодого, приезжего врача Эдуарда Шнитгера из Лемго, и вхождение этого несостоятельного молодого человека в патрицианскую семью было для него большой честью. Но счастье было недолгим. Анна умерла при родах второго ребенка. Эдуард сам заразил ее послеродовым сепсисом, связанным с его практикой. С этой высокоодаренной молодой женщиной было утрачено невосполнимое сокровище едва раскрывшихся сил любви и духовной силы. Вся деревня оплакивала ее. Но в ее молодую, воодушевленную любовью жизнь рано пала тень тяжелого горя. У ее мужа стали проявляться следы таинственного психического заболевания — беда была тем страшнее, что причина его странностей не была признана болезнью. После смерти Анны судьба его была решена. Он продолжал работать, но фурии мании преследования гнали его с места на место. Иногда ему казалось, что ближайшие родственники являются причиной его страха и мученья. Семья *была* в отчаянии из-за гибели Анны. Эдуард вскоре передал свою маленькую дочь старой матери, вдове директора гимназии, в маленьком городке Лемго на Липпе, красивые старые остроконечные дома которого свидетельствуют о значительной древности. В жизни этой женщины одно бремя сменяло другое: в тяжелейших условиях с многочисленными болезнями и страданиями она, наконец, вырастила шестерых детей, и теперь три ее сына были поражены тяжелыми психическими заболеваниями. Лишь один сын и дочери были здоровы, умны и решительны, они зарабатывали на жизнь преподаванием и несли вместе с болезненной старой женщиной тяжесть судьбы. Всем им помогали юмор, великодушие, непритязательность в отношении к

жизни и непоколебимая, смиренная набожность, в силу которой они пытались объяснить все несчастья как «испытания», как знак особого богосыновства. Они боролись и страдали, но без озлобления, их жизнь была скудна и тяжела, но каждая весна все-таки дарила новые цветы, любовь и уважение людей. Под попечением этих женщин росла Марианна. Тетя была строга и требовательна, к тому же измучена заботами и всегда перегружена работой. Но дитя с благодарностью ощущало горячую любовь, понимало и смиренное величие этих женщин, которые еще способны были улыбаться при всех своих бедах. И Марианна пережила все тяжелые обстоятельства их жизни: внезапное безумие двух дядей в тесной квартире, жалобы женщин на их тяжкую ношу; тайный ужас, страшные звуки и картины наложили на нее свою печать.

Однако радость молодой жизни подчинила себе все эти впечатления без заметного вреда. Ведь земля была новой и прекрасной и, несмотря на все, полной любви. К тому же фон ее жизни составлял считавшийся богатым эрлингхаузенский дед, благодаря которому она принадлежала к уважаемому роду. Настанет день, когда ворота откроются ей для более широкого, светлого существования. Только когда детство отзывалось, тяжесть пережитого легла на душу девушки. Она быстро сложилась в рефлектирующую, борющуюся натуру, восприимчивую к радости и жаждущую жизни, но также открытую для страданий. Когда ей было около 17 лет, ее дед Вебер решил, что уже пора вывести внучку из жизни маленького города и воспитать ее соответственно ее сословным требованиям в известном институте большого города. Марианна охотно учится многому, начинает ощущать духовный голод, становится честолюбивой, слушает настоящую музыку и видит подлинное искусство, сравнивает себя с другими. Когда она около 19 лет уезжает из Ганновера, она является во всех отношениях культурным человеком, предъявляющим определенные требования, и становится чуждой скудным условиям жизни в маленьком городе. Она уже не годится для этих рамок; вскоре умирает бабушка, Марианну никто не задерживает в этом городишке, да и как ей там удовлетворить свою жажду жизни? Ее школьные подруги уже пережили неплодотворное страдание неполноценной молодости, и теперь медленно увядают в неутоленной тоске по женскому счастью, предназначенному лишь немногим в кругу уважаемых лиц маленького города. Ведь молодые мужчины уезжали, часто навсегда, или возвращались со спутницей жизни. Девушки оставались дома у стареющих родителей, и лишь самые сильные вырывались, чтобы наравне с братьями искать удовлетворяющую их работу. Лемго, прежний ганзейский город, был подобен забытой новым временем красавице, жизнь там была трясинной без свежего притока — из

глубины которой иногда поднимались дурные пузыри: отвратительные сплетни, злобные интриги.

Марианна оказалась без родины. Трудное существование отца она разделить не могла. Эрлингхаузеновская семья готова была приютить ее; многодетная младшая сестра Анны, муж которой стал совладельцем отцовской фирмы, сердечная и глубоко чувствующая женщина, ласково встретила ее. В этом гармоничном кругу семьи Марианна должна была, помогая, подготовиться к своим будущим обязанностям хозяйки и матери. Уже давно пора. Когда-нибудь ведь найдется подходящий для нее человек, хотя условия в сельской местности не слишком благоприятны для духовно притязательной девушки. Однако Марианна нетипична и восстает внутренне против традиционной девичьей судьбы. Мелкие домашние обязанности в семье, которая в сущности не нуждается в ее помощи, представляются ей незначительными, она не обладает готовностью вмешиваться в дела; подчиненная помощь стоит ей преодоления. Гармоническая, но однообразная сельская жизнь, в которой мужчины заняты делом, а женщины домом и детьми, не могут удовлетворить ни ее полный стремлений дух, ни ее жажду жизни. Нет никаких предметов для развития заключенной в ней силы. Она чувствует, что пульсирующий в ней дух осужден на бездействие. Дни не летят, а тянутся. Она почти заболевает от скуки, глубоко несчастна и при этом ее мучает совесть. Вся семья ощущает ее чуждость с растущим неудовольствием, ей охотно бы помогли, но как? Эта девушка настолько не соответствует считающемуся священным идеалу женственности, который привлекает мужчин и служит образцом женщинам, к тому же пребывание в институте, с его строго регулируемой работой и богатством импульсов, сделало ее, вероятно, непригодной для жизни в деревне. Так что же делать? Искать профессию? Это ни к чему. Смысл в профессии для женщины есть, только если она бедна и не может рассчитывать на замужество. Внучка Карла Вебера не может и не должна зарабатывать деньги, что бы подумал об этом «свет»! Девушка сама также не знает, что предпринять. Стать учительницей как вечно перегруженные тети или ухаживать за больными? Нет, это ее не привлекает и в этом нет необходимости. Учиться? Рассказывают, что некоторые энергичные женщины изучают в Швейцарии медицину. Однако это слишком необычно, ее пугают требования этой профессии. Она, правда, смела, но нервна и негероична по своей натуре.

Когда Марианне был 21 год, шарлоттенбургская семья сжалась и пригласила ее на несколько зимних недель. Теперь она может воспринять духовную атмосферу этого дома и сокровища культуры большого города. Быстрый ритм берлинской жизни ох-



ватывает ее — *вот, наконец, жизнь!* Она с трудом справляется с впечатлениями. Ассессор Макс везет ее на первый бал и благодушно играет роль дядюшки. Она впервые знакомится с кругом интересных молодых людей. Самыми статными и значительными ей представляются три взрослых кузена. Оба более молодых безусловно красивы, этого нельзя сказать об ассессоре. Он не уделяет никакого внимания своей внешности, он корпулентен, его грушеобразная голова со шрамом коротко острижена. Тонко обрисованные губы странно контрастируют с большим, некрасивым носом, мрачный взор часто скрывается за пересекающимися бровями.

Нет, этот колосс некрасив и не моложав, но в каждом своем движении сильный *мужчина* и, несмотря на его массивность, его движения полны тайного очарования. Как эластична его походка, как много говорят его руки! Время от времени в его взгляде сверкают молнии: добрые, гневные, озорные — и время от времени прорывается его своеобразный, освобождающий юмор, участливое понимание, рыцарская доброта. Но больше, чем молодые люди и вся эта шумная жизнь, значит для девушки материнская любовь Елены, которая, правда, указывает новой племяннице на «верность в мелких делах» и на ценность помощи и служения, но одновременно признает ее право на работу вне дома и выход из семьи. Впервые девушка почувствовала, что ее собственное бытие рассматривается не как невежественное и эгоистическое, а принимается таким, как оно есть. Она возвращается в эрлингхаузеновскую семью с серьезными намерениями, успокоенная сознанием того, что когда-либо сможет приложить усилия и найти путь к собственной жизни. Эрос ее еще не затронул. Но дома в тиши сельской жизни образ странного кузена встает в ее памяти и втайне принимает все более прочные очертания. Он вел себя так просто, скромно, даже почти скучно, совсем не казался «демоничным» и все-таки занимает фантазию. Оценить его дух она еще не может, его судьба для нее скрыта, но при этой дистанции она ощущает его человеческую значимость, его душу. После многих совещаний и так как еще через год ничего не произошло, патриарх соглашается с тем, чтобы Марианна попыталась развить скромный талант к живописи. Весной 1892 г. она переезжает в Берлин. Там она наконец находит то, что ей нужно: строгую, направленную на достижение цели работу и шарлоттенбургский дом. Теперь перед ней чрезмерность богатства, которую она может охватить, если будет внешне и внутренне мучиться, для чего всегда существует повод. Непосредственное наслаждение моментом редко бывает дано этой борющейся за свою форму душе; она слишком занята собой и слишком непреодолимы судьба ее юности, страдание близких. У нее тонкое восприятие страдания других, она прежде всего пони-

мает Елену, понимает ее судьбу, чувствует ее недостижимую доброту и чистоту, почитает и преданно любит ее, охотно позволяет ей себя воспитывать, хотя ей совершенно ясно, что она — дитя земли, совершенно иная по своей натуре, чем эта святая женщина и совершенно иной останется навсегда. «В твоём обществе сердце всегда становится открытым для всего человечества!» Дочери Елены еще слишком молоды, к тому же с ними она и не могла бы делить домашние трудности — так Марианна становится ее близким другом еще до того как Елена предполагает, что она станет ей в будущем дочерью.

Когда девушка через полтора года вновь встречается с ассессором, она сразу же понимает, как с ней обстоит дело, но знает также, что может оставаться вблизи него только в том случае, если никто не заподозрит о ее любви. Она узнает и о нежной, прелестной Эмми, о ее таинственной болезни и о том, как она близка Елене. Остальное она предполагает. Эта тайна ее не беспокоит, она хочет в данный момент только любить и дышать вблизи любимого.

Осенью 1892 г. Вебер поехал на юг, чтобы впервые после пяти лет увидеть Эмми, которая обрела вторую родину в санатории, расположенном в прекрасной местности. Она все больше преодолевает свою болезнь и служит другим страдающим помощью и опорой. Когда он рассказывает об этом Марианне, она чувствует, что он посетил Эмми, чтобы понять, каковы теперь их отношения — и что он покончил с прошлым. Она размышляет о том, почему это произошло именно теперь. Ее чувство получает новый оттенок, она начинает надеяться. Но этот путь ведет вдоль бездны. Друг ассессора, которого опекает Елена, просит руки Марианны. Она слишком занята своими мыслями, чтобы заметить это. Она только ощущает, что кузен изменил свое поведение по отношению к ней и опять ушел в себя. Елена страстно желает заключения этого союза, в котором она видит счастье обоих. И «ее взор был затемнен», тем более, что она все еще надеется на брак Макса с Эмми. Ведь ее сын навестил Эмми, приходят сведения о ее медленном выздоровлении. Марианну отдали, не спросив ее. Возникло невероятное смятение. Елена чувствовала себя ответственной перед своим молодым другом, она настолько страдала от чувства вины перед ней, что оказалась на грани душевного заболевания. Этот момент требовал всестороннего отрешения. Оно казалось единственно достойным, единственно выносимым. Вебер написал Марианне письмо, которое, как ни что другое, освещает судьбу его юности и его сущность в то время.

«Прочти это письмо, Марианна, когда ты будешь спокойна и способна владеть собой, ибо я скажу тебе то, услышать что ты, быть может, не готова. Ты думаешь, полагаю, что между нами все

кончено, и я укажу тебе на тихую, прохладную гавань резиныции, в которой я сам уже несколько лет пребывал. Но это не так.

Прежде всего одно: если мы как-то друг друга понимаем, то мне не надо тебе говорить, что я *никогда* не посмею предложить мою руку девушке как свободный дар, — только в том случае, если я сам нахожусь под божественным принуждением полной безусловной отдачи, я могу и со своей стороны ее требовать и принять. Это, чтобы ты в последующем не поняла бы меня неправильно. Теперь слушай.

Я знаю тебя, ты можешь сама это сказать себе после нескольких дней, так как ты во многом, — это я теперь понимаю, — была для меня загадкой. Ты же меня не знаешь, иначе быть не могло. Ты не видишь, как я мучительно и с меняющимся успехом пытаюсь обуздать страсти, которые природа заложила в меня; но спроси мою мать; я знаю, что ее любовь ко мне, которая смыкает мне уста, потому что я не могу ей отплатить за нее, коренится в том, что я в моральном отношении всегда был предметом ее постоянных забот. В течение многих лет я никогда не думал, что сердце молодой девушки может принять мою трезвую сущность, поэтому я был слеп и в моем отношении к тебе так же верил в свое мнение.

Когда я заметил чувство моего друга к тебе и мне показалось, что ты на него отвечаешь, я не мог понять, почему все вновь и вновь меня охватывало смутное чувство как будто бы грусти, когда я смотрел на тебя и думал, что увижу тебя идущей жизненным путем с ним или с другим. Я счел это эгоистическим ощущением того, кто завидует чужому счастью и подавляет это чувство. Но это было нечто другое. Ты знаешь, что это было. Мои уста не смеют произнести это слово, ибо я несую двойную вину перед прошлым и не знаю, смогу ли ее искупить. Ты знаешь о ней, но несмотря на это я должен об этом сказать.

Сначала события последних тяжких дней. Более тяжелый удар, чем ты теперь способна оценить, мы оба, но только по моей вине, нанесли счастью жизни моего друга. Его чистый образ стоит между нами. Он знает об этом моем письме тебе, он мужествен и честен. Однако не знаю, придет ли время и когда, чтобы он мог спокойно и без чувства утраты, живо разделяя твое чувство, посмотреть тебе в глаза, видя, как ты появляешься перед ним с другим. Пока это не свершится, я не могу строить счастье своей жизни на его отречении. Ибо тень прошлого легла бы на чувство, которое я мог бы предложить женщине, идущей со мной.

Но мне предстоит сказать и о еще более тяжелом.

От моей матери ты знаешь, что я — как я теперь полагаю — был шесть лет тому назад близок чистому сердцу девушки, она кое в

чем похожа на тебя, но не во всем. Но тебе неизвестна вся тяжесть ответственности, которую я, тогда еще почти мальчик в отношении к девушкам, взял на себя; я ощутил это поздно и на всю жизнь. Она, я это понял позже, лучше меня чувствовала мое состояние. Долгое время я сомневался, кончено ли все между нами. Чтобы удостовериться, поехал в Штутгарт. Я увиделся с ней, ее образ и голос были прежние — но, видишь ли, как будто рука некоего духа стерла ее образ в глубине моего сердца, передо мной был не тот образ, который жил во мне, будто из другого мира. Почему? Не знаю. Мы расстались, как я думал, навсегда.

И вдруг на Рождество до меня доходит слух, что врачи не могут обнаружить причину ее продолжающейся болезни и приходят к выводу о все еще *существующем* скрытом чувстве. И я тщетно ишу в себе окончательный ответ на вопрос: возможно ли, что я, желая ей помочь покончить с тем чувством (если оно еще было), пробудил в ней надежду? Теперь приходит известие, что она поправляется и сама в это верит, а меня вдвойне мучает сомнение: что укрепило ее нервы — надежда или отказ? Как бы то ни было, уже от нее я не мог бы принять холодный отказ, покорность; я не должен быть мертв для нее, если хочу жить для другой; поэтому я должен посмотреть ей в глаза и убедиться в том, что ее сердце бьется в унисон с моим, видя, что счастье жизни, которое она бы мне дала, если бы этому не воспрепятствовали предрассудки, неопределенность моего положения в тусклое время пребывания референдарием, и моя слабость, я получаю от другой. Но когда это случится? Не знаю.

И вот я тебя спрашиваю: отказалась ли ты внутренне от меня в эти дни? Или приняла такое решение? или ты сделаешь это *теперь*? Если нет, то уже поздно, тогда мы связаны, и я буду требователен к тебе и не буду щадить тебя. Я говорю тебе: я иду тем путем, которым должен идти и который тебе теперь известен. И тебе придется идти им со мной. Куда он приведет, далек ли он, поведет ли он нас вместе на этой земле, я не знаю. И хотя я теперь знаю, как ты сильна, гордая девушка, ты все-таки можешь не выдержать, ибо если ты идешь со мной, тебе придется нести не только твою тяжесть, но и мою, а ты не привыкла идти таким путем. Поэтому проверяй нас обоих.

Однако мне кажется, что я знаю, как ты решишь. Высоко вздымаются волны страстей, и вокруг нас темно, пойдем со мной, мой великодушный товарищ, выйдем из тихой гавани резиньяции в открытое море, где в борьбе душ вырастают люди и преходящее спадает с них. Но *помни*: голова и сердце моряка должны быть ясны, когда под ним бушуют волны. Нам нельзя допускать какую-либо фантастическую отдачу неясным и мистическим настроени-

ям души. Ибо если чувство захлестывает тебя, ты должна обуздать его, чтобы трезво управлять собой.

Если ты идешь со мной, то *не* отвечай мне. Тогда я при встрече молча пожму тебе руку и не буду опускать глаза перед тобой, и ты также не делай этого.

Прощай, тяжелое бремя возлагает жизнь на тебя, ты, непонятое дитя, — я же скажу тебе только одно: благодарю тебя за то богатство, которое ты внесла в мою жизнь; мои мысли с тобой. И еще раз: пойдем со мной, я знаю, ты пойдешь».

Когда девушка прочла это письмо, ее потрясло невыразимое, вечное. Она больше ничего не желала. Все ее существование будет впредь благодарственной жертвой за дар этого часа. Но ах! как тяжело было ожидание, когда экстаз прошел. Ибо отречение сменилось теперь надеждой. Ида и Елена обменивались письмами. Через несколько месяцев после этого — они казались долгими — Макс и Марианна могли обручиться. Душа Елены была еще больна, но она уже могла вынести новое событие, ведь девушку она давно полюбила как дочь. Так она начала тихо и самоотверженно радоваться будущему своих детей.

Когда сын посетил невесту в ее общей семье, Елена дала ему следующее благословение: «Макс, который сейчас уезжает, передаст тебе сердечное приветствие. С радостным и благодарным сердцем я провожаю моего «Большого», я ведь знаю, я не теряю его, напротив, получаю его с удвоенным богатством, поэтому час расставания мне не тяжел, как иной бедной матери. Все, что я пропустила и сделала неправильно, это знаешь ты, как и он, вы вместе доведете в обоюдном воспитании до завершения; и еще одно, милые дети, запомните как предостережение: Делите радость *и горе*, такова воля Божья: если одному становится тяжело, пусть другой поможет, а не проявляет из любви или из страха трусливую и ложную заботливость. Макс знает, что в этом ему еще многому надо учиться, и он будет об этом помнить из любви ко мне. Храни вас Бог! Любовь остается навсегда. Твоя мать».

Над становящимся счастьем лежал покров всех пережитых чужих и собственных страданий. Эта пара не могла и не хотела ничего сбрасывать, Их молодость еще стояла перед ними и они медленно учились ей. Новая жизнь лишь постепенно снимала наслоения с сущности Макса, образовавшиеся вследствие чувства вины, отречения и вытеснений разного рода. Он не щадил себя. Сразу после помолвки Вебер поехал в Страсбург, чтобы поговорить с Идой, которая была ему второй матерью. Оказалось, что и она годами переходила от страха к надежде за свое дитя. Перед Вебером вновь встает вся его ответственность за то, что он заставил нежную любящую девушку мучительно ждать решающих слов,

которые никогда не были сказаны. С дороги он пишет невесте об этой волнующей поездке: «... В кармане моего пальто я нашел второй том книги Мюнхгаузена, которая там застряла и вместо задуманных рецензий прочел историю белокурой Лизбет. Думал при этом о моей смуглой вестфальской девушке и мне становилось ясно, что ты по ряду черт могла бы быть Лизбет, но еще яснее, что я *ничем* не похож на Освальда. Что за старого холостяка выбрала ты, мое дитя, — мне подчас становится очень тяжело, будто я — объект невероятного заблуждения твоего вкуса, которое в один прекрасный день может исчезнуть. Но дальше. В Гейдельберге меня узнали в доме Бенекке, мимо которого я проезжал; я ужинал там, принятый с поистине трогательной радостью этими удивительно хорошими людьми, — только Дора (подруга Эмми), казалось, еще оставалась под впечатлением последних событий и была сердечной, но оставалась довольно молчаливой. И во мне ожило прошлое, давно уже забытое чувство растроганности охватило меня, когда я возвращался вдоль Неккара домой. Лунный свет дробился на бесчисленные сияющие лучи в неудержимо стремящемся потоке; и замок, освещенный сзади, темно взирал на него, контуры его фасада оставались неразличимыми и неопределенными, как будущее. Лежа в кровати, я смотрел на эту темную, большую и грозную массу лунного света, но проснувшись, я увидел в окружающей его зелени растений радостных предвестников весны... Здесь очень тепло, и поездка в Страсбург была почтилетней. Тетя встретила меня очень сердечно, и после трапезы мы долгие часы сидели в саду и говорили обо всем. В основном все обстоит так, как я думал — я тебе еще напишу об этом, мы еще не совсем кончили. Мое чувство ответственности не вполне ослабело, оно останется у меня надолго, это я вижу, но будь спокойна, дитя, я уже давно справился с ним, и оно больше не является для меня источником волнения, как это было в тяжелой ситуации последнего времени; я сознаю, что виновен в тяжких ошибках, но не совершил ничего, чего мне следовало бы стыдиться. Летом тебе надо будет познакомиться в Страсбурге с тетей и с Эмми, этого я добился, я ведь знаю, как охотно ты пойдешь на это из любви ко мне».

«... Никогда в жизни еще не чувствовал себя таким усталым, как теперь. Отчасти, вероятно, и от того, что всему предшествовали страсбургские дни. В них было непривычно для меня то, что я просто тихо сидел и воспринимал в непрерывном духовном общении с моей тетей прошлое, настоящее и будущее, причем больше с эмоциональной точки зрения, чем ставя перед собой практическую цель. Это очень противоречит моим привычкам, и ты в моем письме, вероятно, заметила большое утомление, которое я

от этого испытал. Тем не менее это помогло ей и мне, и хотя у меня теперь такое чувство, что я прошел через своего рода мельницу, перемалывающую кости и душу, ты увидишь, любимая, когда я вновь обниму тебя, что я сделал дальнейший шаг в преодолении всего того, чем обременило меня прошлое. Тогда ты больше не будешь думать, дитя, что я что-то вынужден скрывать от тебя, как ты пишешь в своем последнем письме. Что бы это могло быть? Ты ведь знаешь все о прошлом и о моем внутреннем отношении к нему и знаешь, что меня заботит только то, чтобы установить по возможности сердечное и непринужденное отношение между прошлым и настоящим, чтобы освободить нас от всякого предположения, что наше счастье построено на молчаливой и болезненной покорности других».

Когда Эмми, узнав о его помолвке, написала ему с любовью стрелы сердечное письмо, он ответил ей следующее:

«Моя милая Эмми, много лет я не испытывал такой чистой радости от письма, как вчера от написанного тобой в день моего рождения, ибо ты уверила меня в том, — на что я надеялся, — что мы остались столь же близки друг другу, как всегда, и что я нашел в тебе сестру одного возраста со мной, которой мне всегда очень не хватало. Я всегда — ты это знаешь — сравнивал встречающихся мне женщин и девушек с тобой, для моей грубой натуры было большой удачей, что я внутренне чувствовал необходимость видеть представительниц другого пола твоими главами. Так же я поступил по отношению к той, за счастье жизни которой я теперь несу ответственность, и думаю, что это не изменится. Осенью мы с тобой виделись лишь мельком и говорили недолго. Тогда я еще не предполагал, что мне предназначено взять на себя такую ответственность за чужую жизнь. В последние годы, о безрадостной пустоте которых я вспоминаю с ужасом, — ты, вероятно, почувствовала это в моих письмах, — я был настолько погружен в полную резиньяцию, несвободную от известной горечи, что, если бы прекрасные воспоминания прошлых лет не бросали грустный свет на мое книжное существование, полностью ушел бы — я бы сказал — в автоматическое выполнение моей профессиональной деятельности, к большому горю, как ты понимаешь, моей матери. Не знаю, насколько подробно твоя мать при ее недолгом пребывании рассказала тебе предисторию моей помолвки и знаешь ли ты, что своей резиньяцией я доставил и другим тяжелые страдания. Неспособный поверить, что чувство столь одаренной девушки может относиться ко мне, я решил, не без некоторого внутреннего преодоления, сущность которого я тогда не понял, что объектом его является один из моих ближайших друзей, который, в свою очередь, проявлял к ней большой интерес. Лишь тяжело взволновав-

шая мою мать и Марианну катастрофа, которая была результатом одобренного мной предложения моего друга, показала мне, насколько я был слеп.

Я — странный, чрезмерно рефлектирующий и не по годам состарившийся жених; к этому моей невесте, которая после событий в прошлом и в настоящем это понимает, так же, как и ты это поймешь, придется проявлять некоторое снисхождение. Правда, мир кажется мне теперь совершенно иным, чем он был в последнюю осень; ныне передо мной стоят трудные и сложные задачи чисто человеческого характера, к которым стоит приложить свои силы, хотя внешне они и кажутся незначительными по сравнению с теми целями, которые предлагает нам действующая на рынке жизни профессия мужчин. В последнюю осень при моем, к сожалению, кратком посещении Оттилиенхауза я научился ценить внутреннее богатство и незаметное величие, которые могут быть вложены во внешне столь мелкие и незначительные вещи и события повседневной жизни. И поскольку я всегда чувствовал по отношению к мужским профессиям не более, чем внешнее уважение, если не стоит вопрос «об обязанности спекулировать своим талантом», то я чувствую сильнейшее стремление решать такие чисто человеческие задачи, а это вследствие установленного в жизни порядка для нас, *мужчин*, — в отличие от вас — возможно только в собственном доме.

Я был бы очень рад, если бы мы чаще получали вести друг о друге, но я не хочу настаивать на том, чтобы ты писала чаще, чем это позволяет осторожность, в которой несомненно еще нуждается твое здоровье. До свидания! С братской любовью и дружбой  
Твой Макс».

Незадолго до своей свадьбы он пишет ей следующее:

«Моя милая Эмми, я уже давно ответил бы на твое столь взволновавшее меня письмо, если бы до недавнего времени не надеялся лично выразить тебе мою благодарность за все с любовью сказанное тобой. Приходится это отложить до свадебного путешествия и поэтому я пишу тебе. Теперь ты все знаешь о прошлом и понимаешь, почему для меня было невозможно *не* поговорить с тобой открыто обо всем до того как я перейду к своим новым обязанностям. Убеждение в том, что я не смогу ни принадлежать женщине, ни сблизиться с девушкой было, ты знаешь это, следствием моего долгого неразрешенного сомнения в том, как ты относишься и относишься ко мне, и я никогда бы не вышел из этого состояния, не придя к уверенности о нашем отношении друг к другу. Теперь прошлое нам ясно, я признаю все иллюзии, которые я создал, все ошибки, которые совершил и мою



ответственность, и все-таки я почти уверен в том, что мы *оба* не хотели бы отказаться от этого прошлого в нашей жизни. Я ни за что не согласился бы терять его из своей памяти, ибо благодаря ему я понял, что существуют чувства, которые изменяются, но никогда не ржавеют и не гибнут. Наряду с образом моей матери твой образ давал мне в прошлые, часто пустые, почти безнадежные годы силу к добру, которой я обладал и которую сохранил; поэтому я благодарю и тебя за то, что чувствую себя достаточно сильным взять на себя большую ответственность, которая состоит для меня в союзе с женщиной, доверившей мне счастье своей жизни. С большой радостью мы, моя будущая жена и я, ждем встречи с тобой. Теперь прощай. Тебе известны мои искренние пожелания; я еще никогда не думал о человеке с таким своеобразным сочетанием тяжелого чувства ответственности и одновременно благодарности, радости и дружбы, как о тебе, моя милая, дружбой которой я был так горд. Так все и останется, я знаю. А по поводу праздничного платья не беспокойся — меня моя жена также знает только в обычной воскресной одежде, несмотря на все мои старания. С братской любовью. Твой Макс».

Так Вебер осторожно связывает настоящее и будущее с вневременным содержанием прошедшего, поднимая перед началом нового существования покров с прошлого. Он дарит подруге своей юности уверенность в том, что она владела его любовью и теперь также ему дорога. В своей надежде, что и она не хотела бы не иметь в прошлом это юношеское переживание, он не ошибся.

Что оно для нее значило, Эмми Баумгартен высказала после смерти Вебера следующим образом: «В течение ряда лет мне было неясно, чувствует ли Макс по отношению ко мне нечто большее, чем сердечную дружбу, братскую симпатию. В 1887 году, когда он проходил военные занятия в Страсбурге, мне показалось, что в его отношении ко мне сквозит нечто другое. Это время осталось для меня светлым воспоминанием, оно было самым прекрасным в моей юности, я летала, как по облакам, несмотря на все сомнения, которые и тогда были. Я вспоминаю об этом всегда с величайшей благодарностью за то, что мне было дано благодаря ему узнать это чудесное состояние и короткое время парить на вершинах жизни».

Что касается ее, то она уже давно нашла свой внутренний центр в жертвенности ради других.

## II

Но постепенно настоящее стало заявлять свои права. Пара сближалась в своей радости друг другом и серьезность сочеталась с юмором, лукавым поддразниванием. Помолвку предполагалось

держат в тайне, но Вебер утверждает: «Каждая скотина значительно смотрит на меня и спрашивает, не случилось ли со мной что-то. Я никогда не предполагал, что буду так сиять». Он с нетерпением ждет создания собственного дома — все лето предполагается предоставление кафедры политической экономии во Фрейбурге, но это не решено; все равно, было решено, что он женится тогда как доцент с перспективой на замещение Гольдшмидта. Все, что молча годами преодолевалось в родительском доме, теперь прорвало плотины.

«Утром я смотрю на твой венок и на зеленую ленту надо мной и мне кажется, что я проснулся в гостинице или еще где-нибудь, к чему я не отношусь. Работа стоит, я чувствую себя в переходном периоде и испытываю бесконечную лень думать, что ты, конечно замечает в моих письмах. Причина ясна; в течение ряда лет я с горечью ощущал, что не могу достигнуть самостоятельного положения; уважения к понятию «профессии» я никогда не испытывал, так как полагал, что в некоторой степени гоюсь для ряда мест. Единственное, что меня интересовало, это — зарабатывать себе на хлеб, и то, что это мне не удавалось, делало мое пребывание в родительском доме мукой. Теперь завершение этого — в обозримом будущем, причем иначе, чем я мог надеяться, считая, что буду вести жизнь странствующего холостяка. Вследствие этого возникает нетерпеливое ожидание, чтобы это наконец произошло».

Впрочем, молодым людям еще предстояло подготовиться к браку. Прежде всего Марианна должна научиться готовить, чтобы ей можно было доверить физическое благосостояние мужа. Семья беспокоится, будет ли она достаточно почитать «льняное таинство», сохранять домашнюю добродетель и справляться с повседневными заботами. Вебер беспокоится меньше, ему важно развитие ее собственного бытия, ее внутренняя свобода и самостоятельность, — прежде всего ей не следует с самого начала смиренно взирать на него как на «высокую звезду величия» — прямо и гордо должна она стоять рядом с ним.

«Приложены два письма наиболее близких мне, кроме Эмми, кузин... к нашей беседе, содержание которой ты знаешь, примыкает стихотворение, — оно отчетливо покажет тебе эту тонкую чувствительную натуру, господствующую со своеобразной грацией над своей эмоциональной жизнью; правда, я полагаю, что в понимании *одного*, чувства, которое она определяет как «самоуничтожение», она применительно к тебе ошибается. Ведь, дитя мое, правда? Это неверно? Ничего этого ты не чувствуешь? Мы *свободны и равны друг перед другом*».

Однако Вебер также полагает, что его будущей жене равенство будет гарантировано лучше всего, если она найдет в сфере хозяй-

ства собственную, недоступную ему область господства. Когда она в период своего постижения хозяйства обратилась к нему за советом о поучительной литературе — она ведь была в самом начале своего духовного развития — то прежде всего возмутилась Елена: Разве не правильнее и ближе к обстоятельствам было бы невесте на досуге шить свое приданое, хотя бы для того, чтобы в тихом размышлении и в грезах погрузиться в мечты о том, что ее ждет? Так поступала Елена в бытность невестой и разве теперь это тоже не самая подходящая подготовка к браку? Жених заразился сомнениями матери и написал Марианне следующее:

«... Прислать тебе Бебеля? Если хочешь, я сразу же его тебе пошлю, ибо я не считаю, что призван быть твоим опекуном». Или прочтем его когда-нибудь вместе? Хочешь ли еще какие-нибудь книги? Я отложил для тебя «Введение в философию» Паульсена, которую он мне прислал. Это хорошая и не слишком трудная книга, в которую я вечерами в постели заглядываю. Но прежде всего живи теперь твоим телом. Тебе следует развить мускулатуру и глядеть больше вовне, чем внутрь — как в твою, так и в мою внутреннюю жизнь, и не следует относиться с таким презрением к «только домашним хозяйкам». Это я говорю в твоих интересах: Существует необходимая *pièce de résistance*<sup>22</sup>, ты должна иметь сферу господства, в которой я не могу с тобой конкурировать, как в области мысли. Ты даже не можешь себе представить, как мало я уважаю так называемую «духовную образованность»; мне импонирует — быть может, потому, что я сам этого лишен — сила и непосредственность чувства и практическая деятельность, — а я хочу, чтобы мне что-то импонировало. Опять проповедь, но не сердись, ты ведь знаешь, что я понимаю, в чем твое своеобразие, правда? Я хочу только, чтобы у тебя была недоступная мне область, круг домашних обязанностей и работ, который тебе не будет казаться неизбежным злом, ибо, мне приходится все время повторять это, тебе не будет со мной так легко, как тебе может быть кажется. И чем больше будет совпадать наша область самых глубоких интересов и чем идентичнее будет она, тем менее независима будешь ты по отношению ко мне и тем легче ты можешь быть задета. Понимаешь, что я имею в виду? Только конечно: никакого *искусственного* «самоограничения».

«Следовательно, «проповедь» тебя не шокировала? Тем лучше. Отсутствие уважения к духовному образованию должно лишь означать, что я ни для кого не считаю счастьем, если он рассматривает удовлетворение жажды знания как подлинное содержание жизни и тем, «что делает человека человеком», а хозяйственные обязанности — только как неизбежное бремя существования. По характеру ощущения существует громадное различие между муж-

чиной и женщиной, складывается ли это само собой или для женщины бессознательно, но естественно искать в своей практической позиции центр своего существования. Что касается меня, то я издавна стремился к хозяйственно самостоятельной и практической деятельности, чего я был лишен обстоятельствами. Научно приемлемые *новые* мысли приходили мне в голову всегда в то время, когда я с сигарой во рту лежал на софе и «*con amore*<sup>23</sup>» мыслил; следовательно, не как результат действительной работы, и я рассматриваю эту подлинно духовную продукцию в тесном смысле только как продукт свободного времени, как дополнительное дело жизни; и теперь также для меня радость от научной профессии всегда была бы в практическо-педагогической, а не в подлинно «научной» деятельности. Большое счастье браков наших вестфальских родственников также основано на полностью удовлетворяющей *практической* профессии мужчины. Нет для меня ничего более неприятного, чем высокомерие «духовных» и научных профессий. Это я имел в виду, и если я говорил, что тебе не будет со мной совсем легко, то это должно было только означать, что именно круг моих обязанностей мне не в той мере приятен, чтобы я вносил в дом то бессознательное счастье, которое он при других обстоятельствах дает. Для тебя же трудность заключается в том, что ты относительно в малой степени *наивно* практична, если можно это так определить».

«Неужели моя проповедь, дитя, заставила тебя опять размышлять? Действительно ли ты та, которая мне нужна? Не вижу ли я в тебе отсутствие каких-либо качеств? Тогда мне лучше молчать. Ты ведь знаешь, что сердце не ищет качеств и не может быть научено. Но *рассудок* говорит мне, что ты будешь иметь более прочную и легкую для тебя позицию, если твой *центр* будет находиться как бы не в чисто духовно-философской области, если основу твою составит не допускающая моего вмешательства область практической деятельности, Боюсь, что ты это поняла так, будто я отказываюсь от моего раньше высказанного желания, что ты можешь предъявлять ко мне высокие притязания на сообщение или общность духовных интересов? Напротив, дитя, дело заключается в следующем: для того, чтобы такая совместная жизнь в «духовной» области не вызывала сомнения по поводу твоего положения, у меня никогда не должно возникать — неосознанное — ощущение, будто ты, в силу того, что я естественным образом располагаю здесь более изощренными методами вследствие продолжительной работы, во всех отношениях зависишь от меня; а именно это, как мне представляется, легко могло бы произойти, если у меня не было бы представления, что ты в своей практической области располагаешь столь же независимой, подчиненной тебе и выражаю-

шей твои *практические* интересы сферой действия, как я в моей преподавательской профессии или другой, которая мне достанется. Сердце мне говорит: «мне кажется, что ты именно для меня пришла в мир», — но рассудок спрашивает, пришел ли и я также для тебя, и тогда я думаю, что ты недооцениваешь трудность иметь дело со мной. И поэтому ты должна пребывать в прочном кругу деятельности, который *ценен* тебе как таковой, чтобы не зависеть от колебаний моего темперамента».

Но Марианна делала то, что ей предписывал ее собственный демон, хотя она и не предполагала, что в будущем хозяйство не будет требовать многого от нее и что счастье ее брака в значительной степени будет зависеть от ее самостоятельного духовного существования.

Веберу предстояло в это время справиться с многими задачами: лекции, новая анкета о сельскохозяйственных рабочих для евангелическо-социального конгресса, подготовка для аграрно-политического осеннего курса пасторов, накопившиеся рецензии и т. д. Поэтому он был рад, что дом, как обычно летом, опустел: «Я надеюсь, что скоро буду совсем один. Странно, как это всегда действует на меня. Нежелание работать, преследовавшее меня в течение ряда месяцев, исчезает, сегодня я прочел 100 страниц по физиологической психологии, 100 страниц по теории познания и итальянскую юридическую работу, причем в моем мозгу все это не смешалось и я впервые после долгого времени нахожусь в обладании своими духовными силами. Не потому ли, что в моем возрасте больше не принадлежат родительскому дому? Подъем был необходим, ибо у меня лежат уже 6 месяцев около 30 книг для рецензирования; я получаю грубые письма, и хотя я тоже грубо на них отвечаю, мое раздражение свидетельствует о том, что в сущности эти люди правы».

Когда его невеста перед бракосочетанием провела несколько недель в Шарлоттенбурге, она стала усердно ему помогать в извлечении материала для анкеты. Этот тип работы ей нравился прежде всего — он был формой общности с обремененным трудом человеком. Ей казалось необходимым как можно скорее войти в науку, если она хочет быть внутренне близкой мужу и не быть побежденной этой ненасытной конкуренткой. Елена радовалась и беспокоилась одновременно. За шесть недель до свадьбы пальцы в чернилах?! Сможет ли эта девушка когда-либо удовлетвориться повседневностью домашней хозяйки, поднимать и носить, готовить и создавать для других? Не будет для нее этот род деятельности тяжелой жертвой? Марианна думает: «Всему свое время».

Ранней осенью в Эрлингхаузене празднуется большая свадьба. Для Вины, у которой невеста прожила мучительные годы юности, для любящей очаровательной властительницы расцветающего рода предоставить ее прекрасное владение стольким значительным гостям — праздник. После помолвки тамошняя семья очень довольна Марианной. Здесь нежно любят Елену и ее семью, восхищаются приват-доцентом, видя в нем значительного человека, перед которым большое «будущее». Кто бы мог подумать, что эта странная девушка вытянет такой жребий?

Поэтичная, обширная местность с искусно расположенными прекрасными садами, частично же словно грезящая в тиши, служила очень удачными рамками торжества. Отто Баумгартен венчал молодую пару в деревенской церкви: «Любовь верит всему, надеется на все, терпит все». Люди знающие и зрелые чувствуют сильное волнение. Здесь присутствуют родственники невесты с отцовской стороны, которые, вероятно, никогда больше не будут принимать участие в таком веселом и большом празднестве, здесь и отец Марианны, нелюдимый робкий Эдуард; на него также падает отсвет гордого счастья, ибо его зять сумел добротой и гениальным знанием людей завоевать его полное доверие. Здесь купцы с их большими семьями, вдумчивые люди, подчиняющиеся закону строгого выполнения долга и высокой деловой морали; с профессиональной деловитостью они соединяют тонкую душевную культуру. И здесь вся шарлоттенбургская семья, которая приносит в сельскую идиллию дыхание бурной значительной жизни и высокой духовности. Вина украшает праздник цветами, Елена прекрасными стихами. Самоотверженная доброта и милая благовоспитанность этих женщин соединяет различные элементы в гармоническое звучание. Но проявляется и терпкий юмор. Местный ортодоксальный пастор в знак несогласия со свободомыслием своего собрата, совершавшего венчание, произносит у алтаря символ веры — к большому удовлетворению тех, кто причислял себя к «маленькой кучке». Баумгартен восхваляет своего друга, жениха как «радостно вкушающего пищу, которого любит Бог». Для Елены и молодой пары счастье этого дня освящено перенесенным страданием.

# Молодой преподаватель и политик

Осень 1893—97

«Мы ладим даже слишком», — писала молодая женщина из свадебного путешествия. Однако несколько критических моментов показали ей нервную раздражительность мужа. Ей предложено принять решение о дальнейшем пути, и она не может решить, что из различных прекрасных возможностей для нее предпочтительнее. Вебер серьезно рассердился. Он, который в решающие моменты всегда следует собственному демону, впервые требует, чтобы жена освободила его от решения вызывающего сомнения практического вопроса. Это повторяется и позже, часто в важных вопросах, когда например, речь идет о том, принять ли ему предложение или отказаться.

Это первое совместное путешествие дает Веберу лишь короткую передышку. Сразу после въезда в собственный дом начинается организованный комитетом Социально-евангелического конгресса курс по политической экономии для пасторов, в котором Вебер принимает участие. Он читает лекции по аграрной политике, ибо она вызывает его наибольший интерес. Дома гостят друзья из других городов. Молодой супруг любит широкий круг гостей, и он испытывает удовлетворение от того, что наконец может собрать их за своим столом.

Впрочем: Сумеет ли молодая хозяйка справиться и вообще способна ли она вести хозяйство? Вся семья напряженно ждет вестей о домашних неурядицах, почти ежедневно кто-нибудь заглядывает в обеденное время. Но ничего необычного не происходит. Более того — о чудо! — Марианна считает делом чести, как и другие молодые женщины, удовлетворять всем претензиям и способна это осуществить. К тому же благосклонная судьба послала ей девушку из восточной Пруссии, для которой подчинение и готовность служить означает желаемую Богом форму существования, и в ней она полностью выражает себя. Она отдается своим хозяевам с непоколебимой верностью. Эту связь разрывает только ее

смерть после 23-х лет службы. Елена, которая втайне боялась серьезных трудностей и облака неудобств в период «Годов учения», приходит к успокаивающему впечатлению, что ее невестка полна доброй воли. Марианна же ей пишет: «Вот видишь, ты полагаешь, что я кое-чему научилась в последний год — но у кого же, непосредственно или окольным путем? Мне не хватает слов, чтобы сказать тебе, чем ты являешься для меня, — но ты, ведь, и сама это знаешь».

Существование молодой пары оставалось еще в тени шарлоттенбургского дома и прошлого. Они жили в тесном сообществе с Еленой и делили с ней ее многочисленные, усиливающиеся постоянным перенапряжением трудности. Вебер senior ушел с работы и этот еще полный сил человек, почти ничем не занятый, оставался большую часть времени дома. Как Елена воспринимала свое существование и что означала для нее внутренняя общность с молодой парой, она выразила в нежном стихотворении на случай:

Пришла весна, дети, и в ваши сердца,  
Щедро дарит древо жизни цветы и плоды.  
Тихо и счастливо смотрю, как оно растет,  
ибо знаю, что ни одна жизненная буря не  
лишит листвы рожденное страданиями.  
Что вы для меня, вы полностью не знаете, вы оба...  
Но сила и мужество в жизни приходит мне только из  
счастья других.

Наслаждение настоящим, покой, дни, полные только своим счастьем, редко выпадали в жизни молодых людей. Сознательно они живут для «задач» и для «других». Но они и не желают ничего другого — привычные к нагрузке корабли нуждаются в балласте, чтобы уверенно плыть новым путем. Тихому и уверенному покою в простой радости существования еще надо учиться, это знают оба. Правда, острый юмор и радостное удовольствие, желание дразнить и быть дразнимой, освещает серьезность каждого дня. С помощью какого бешено терпкого юмора Вебер иногда справляется с неприятными ситуациями, может показать его письмо жене, написанное через полгода после женитьбы из Познани, где он опять должен был на два месяца натянуть на себя военный мундир. «Мне не удастся сегодня избежать «приглашения», т. е. получить представленный мне несколькими активными товарищами, которых обязывает к этому обычай, немного оплаченного, невыразимо отвратительного секта, продающегося здесь по цене едва ли не ниже баварского пива с фатальным условием его выпить. Исходя из принципиального следования фундаментальному принципу моей



жизни — так называемому «праву участия в выпивке», значение чего тебе должно быть известно, — я устранию с лица земли этот наказуемый штрафом отвар, но каковы будут последствия для моего духовного состояния после обеда, вряд ли известно самому небу, а тем более мне.

Теперь у меня уже более обитаемо: во-первых, помещение отапливается, во-вторых, есть спиртовка и коробки какао, выщарапывать который утром грязными лапами мне пришлось запретить моему слуге. Ты увидишь, далее, в моей спальне в стеклянном шкафу серию грецерского пива и всякие роскошества, начиная с копченой гусиной грудки (!) и затем вниз вплоть до обычной артиллерийской колбасы из конины. Мой собственный труп, сегодня вновь оживший в русской бане подобно Галатее — или как звали эту мраморную женщину? я теряю здесь всякое классическое образование — пребывает даже в льняной рубашке, что случается только по воскресеньям» (Познань, 11.3.94).

В то время, когда Вебер мучился в Познани, дома в его семье произошло обрадовавшее всех событие: его сестра, 18-летняя Клара, обручилась с врачом Эрнстом Моммзенем, сыном известного ученого. Обе семьи были с давних пор связаны дружескими отношениями. Теодор Моммзен особенно симпатизировал Елене и возлагал большие надежды на молодого исследователя и политика Макса. Он охотно дискутировал с ним и не таил на него обиду даже после горячих схваток. Один из его сыновей, Карл, был школьным другом Макса. Оба дома так же подходили друг к другу по своей духовной традиции, как и молодая пара. И если старый ученый воодушевлялся свежей прелестью и сияющей жизнерадостностью своей новой дочери, то Елена чувствовала себя обогащенной душевной тонкостью и вчувствующим пониманием Эрнста. Вебер был так взволнован счастьем своей молодой сестры, как будто оно непосредственно касалось его самого, — он считал это единственно соответствующим ей предназначением. Она настолько отличается по своей натуре от него, создана для земного счастья, ведь именно ее сильной активной непосредственностью он так наслаждался. Он благодарит судьбу, что этому созданию дана другая молодость, чем ему, — что она без душевной тяжести, без борьбы и сложностей находит место под солнцем:

«Если бы я не отучился реветь, то сегодня утром после получения твоего милого письма с сообщением о таком сказочном счастье я бы это осуществил. Меня только огорчает, что я уехал и не увижу мою маленькую любимицу как *втайне* обрученную невесту — ибо до этой стадии ведь дело, по-видимому, дошло? Минутами я пугаюсь, не мистификация ли это с твоей стороны или не разорвете ли внезапно все. Как хорошо, что в мире также слу-

чается, что такие солнечнее натуры несломленными переходят из девического состояния к высшему счастью, которое жизнь способна дать им, — опыт и разочарования она достаточно еще хранит для будущего, почему бы им страдать от этого уже в молодые годы? Сегодня я не могу больше писать об этом, я хочу еще раз черным по белому *увидеть* в твоём письме, что сказанное не запоздалая масленичная шутка. Представить Клерхен как невестку «дяди Теодора» или как его теперь следует называть, превосходит пока еще мое понимание.

«... Это фантастическое счастье, в которое едва можно поверить, было после всего продуманного в последнее время освобождением, недоступным в этом мире. Но эта девчушка! Она написала мне очень славное письмецо и, по-видимому, приняла ситуацию со свойственной ей непосредственностью. Некоторым людям нужен длительный незамутнённый солнечный свет, чтобы они обрели силу противостоять непогоде и действительно раскрылись; к ним принадлежит и это дитя с ее еще недисциплинированной жизненной силой. По самом глубоком размышлении я не мог бы назвать никого в мире, кто бы подходил ей так, как этот человек в качестве мужа. Правда, под каблуком он будет в значительной степени, но отчасти это ему нужно». Надежды, связанные с этим союзом, оправдались. Вновь возникшая семья процветала и достигла полного благополучия. И совершенно так, как ожидал ее брат, Клара развилась в солнечном свете в сердечную и очень деятельную, умную женщину, которая в любом отношении справлялась со всеми трудностями жизни и несла своей несломленной жизненной свежестью счастье мужу, детям и большому кругу друзей. Дерево ее жизни все дальше распространяло свои ветви, несло одновременно плоды и цветы.

\* \* \*

Берлинский образ жизни Вебера иногда все же тревожил женщин. Неужели было действительно необходимо в такой мере перегружать себя работой? Преподавательская деятельность — около 19 часов лекций и семинаров — уже требует достаточного напряжения, тем более, что заменяющий своего знаменитого учителя молодой профессор сразу же должен был принять участие в предварительных испытаниях к государственным экзаменам по юриспруденции. К этому еще множество самим поставленных задач! Едва решена одна, этот неистовый дух находит другую. Для совместного досуга остается очень мало времени. Два месяца военной службы также должны быть возмещены. Весна зеленеет и буйствует, но молодой жене редко удается увести мужа от письменного

стола и из дома; собственно говоря, ему достаточно балкона, на котором легко изобразить подобие письменного стола. Здесь ведь свежий воздух, часть неба, даже несколько ярких цветов. Правда, взор ведет только по скудно озелененным дворам большого города к железнодорожной насыпи, за которой видны белые известковые заводы. Совместная прогулка по Тиргартену уже подарок. Так, Марианна пишет Елене: «Представь себе, Макс час гулял со мной в Тиргартене, что было для него подлинной жертвой и все-таки позже доставило удовольствие. В остальном, как я и предполагала: он по уши в работе, очень тих, и у меня такое чувство, что я не должна ему мешать... Так как я полностью понимаю его и его натуру, мне нетрудно терпеливо ждать лучших дней».

Когда Марианна через несколько месяцев в письме ему выразила тревогу, что он перенапрягается и что его образ жизни нездоров, Вебер успокаивает ее соображениями, из которых явствует, что он несмотря на свою необычную трудоспособность временами ощущает нервное состояние и отнюдь не чувствует себя вполне уверенным в своем здоровье. «Мое *общее* состояние несравненно лучше, чем в предыдущие годы, на это я даже не надеялся, разве что в значительно более позднем возрасте и во что я даже в период нашей помолвки, для меня в этом отношении очень тревожной, не верил. После того как я в течение отвратительных мучений наконец *внутренне* достиг уравновешенности, я боялся тяжелой депрессии. Она не наступила, как я думаю, потому, что посредством непрерывающейся работы не позволял ощутить покой нервной системе и мозгу. Поэтому также — оставляя в стороне естественную потребность в работе — я так неохотно делаю ощутимый перерыв в моих занятиях. Я думаю, что не должен рисковать и позволить наступившему успокоению нервной системы — а я наслаждаюсь этим ощущением действительно нового счастья — превратиться в расслабленность, не должен рисковать до тех пор, пока не пойму твердо, что стадия выздоровления окончательно завершена».

Итак, он продолжает напрягать свои силы. Материал пасторской анкеты ждет еще переработки, но сначала в ее основу должны быть положены обширные исчисления движения населения в отдельных округах к востоку от Эльбы. И уже надвигается нечто новое: специальное изучение биржи. Вебер и в этой области становится компетентным. Рейхстаг планирует «реформу биржи», опубликовано расследование. Вебер начинает публиковать ряд статей по этому вопросу для журнала Гольдшмидта по торговому праву, в которых преимущественно рассматривается вопрос сделки на срок. Одновременно он по просьбе Наумана пишет для Гёттингенской библиотеки для рабочих свое «Руководство к понима-

нию биржи и банка ценой в 10 феннигов», ясность которого позволяет понять действие центральных органов народного хозяйства и неспециалистам. Он в частности поясняет, что даже чисто спекулятивная торговля служит не только частному обществу, но выполняет важные и полезные функции выравнивания цен и распределения благ.

В этом, как и в аграрных вопросах, его интересует *политическая* проблема: концентрации капиталов в банках и в руках крупных торговцев в рамках нации не следует препятствовать, ибо она означает накопление силы для хозяйственной конкурентной борьбы нации. Морализирующе мотивированное законодательство, которое подавляет определенные виды спекуляционных дел, прежде всего, по настоянию аграриев, сделки на срок по зерну, только переместит рынок этого товара за границу и усилит финансовую мощь других государств за счет Германии. «Политически не безразлично, предлагает ли берлинская или парижская биржа нуждающимся в деньгах державам, например Италии и России, лучшие шансы для сбыта их облигаций, выпущенных акционерными обществами. И для экономических интересов страны не безразлично, господствуют ли на рынках торговцы данной страны или заморские торговцы». «Проведению чисто теоретико-моральных требований, пока нации, даже если они в военном отношении пребывают в мире, ведут беспощадную и неизбежную борьбу за их национальное существование и экономическую власть, поставлены узкие границы соображением, что и экономически нельзя *односторонне* разоружаться. Сильная биржа не может быть клубом «этической культуры», а капиталы крупных банков в такой же степени не являются орудиями благотворительности, как ружья и пушки. Для народно-хозяйственной политики, которая стремится к достижению *посюсторонних* целей, они могут быть только одним: *средствами власти* в упомянутой экономической борьбе. Такая политика будет при этом приветствовать соблюдение и «этической» потребности, сохранит и право, но ее долг *в конечном счете*, следить за тем, чтобы фанатически заинтересованные лица или чуждые миру апостолы экономического мира не разоружили собственную нацию»<sup>7\*</sup>.

Через два года, осенью 1896 г., Вебер и его старший коллега Лексис были привлечены к совещаниям биржевого комитета, в задачу которого входило выяснить действие новых законов. Веберу поручили сообщить в бундесрат о переговорах.

Здесь встретились конкурирующие за господство в Германии капиталистические и политические магнаты: представители крупной промышленности и финансов с крупными землевладельцами. Веберу было очень интересно сидеть напротив тех, к борьбе с по-

литическим преобладанием и политикой хозяйственных интересов которых он уже несколько лет стремился.

«Мы заседаем в помещении бундесрата, парни с биржи оккупировали весь главный стол, за которым сидят представители Пруссии. Аграрии заняли места нескольких членов средних государств федерации и, презрительно не замечаемые обеими группами, сидим, коллега Лексис и я, у папок старшей и младшей линии Рейсов, далеко в углу. Благородные типы аграриев — граф Каниц, граф Шверин — молчат, выступают только невежды». «Обсуждение стало более живо и интересно. К большому негодованию аграриев меня также выбрали в комиссию, в которой я с графом Каницем и несколькими парнями с биржи должен буду совещаться о будущем немецкой торговли зерном. Несколько оживленных столкновений с этими господами уже произошло. Я также уже сцепился с этими отчаянными парнями, но тон до сих пор настолько вежлив, что бояться взаимного уничтожения не следует. Однако очевидно, что до сих пор я пользуюсь расположением миллионеров, по крайней мере, тайный коммерческий советник Х. так настойчиво жмет мне руку, что я удивляюсь, не найдя чек в несколько 100000 марок под моей папкой — которой обычно пользуется старшая линия Рейсов» (20.11.96).

\* \* \*

Вероятно, во всех отношениях было хорошо, что философский факультет Фрейбургского университета возобновил начатые год тому назад переговоры и что баденское правительство решилось на необычный шаг — передать специалисту по праву кафедру политической экономии. Это событие стало для Вебера поводом к интересным переживаниям, связанным с ответственным референтом в системе прусского преподавания, тайным советником Альтгофом, который в качестве просвещенного деспота господствовал над прусскими университетами. Поскольку это и другие события такого рода побудили Вебера позже к публичной критике системы Альтгофа, здесь следует кое-что сказать по этому поводу.

Альтгоф очень интересовался способным доцентом, хотел удержать его в Пруссии в качестве преемника Гольдшмидта, но не знал, согласится ли берлинский факультет предложить такого молодого ученого в качестве преемника старого человека высокого научного ранга. Поэтому он попробовал в надежде на человеческие слабости жонглировать и привязать Вебера разного рода обещаниями к Пруссии. Он сообщил также баденскому референту, что Вебер рассчитывает на великолепную юридическую карьеру и

использует Фрейбург только как «трамплин». Вебер же ответил ему, что никогда не стал бы навязываться берлинскому или какому-либо другому факультету, на что Альтгоф сказал: «Этот Вебер афиширует в личных делах преувеличенную деликатность». Когда Альтгоф, встретив отца Вебера, заговорил с ним как с одним из референтов по делам бюджета на эту тему, отец и сын взволновались, очевидно потому, что предположили в этом попытку какой-то махинации. Когда баденский министр народного просвещения обратился к Альтгофу за сведениями о Вебере и сообщил, что необычное предложение факультета вызывает известные сомнения, Альтгоф показал Веберу конфиденциальное письмо с замечанием: «Я бы не принял должность в земле, министр просвещения которой столь отчетливо выражает *animus non possidendi*<sup>24</sup>». Вебер между тем предпочел оставить за собой право свободного решения, если Альтгоф прямо не требует, чтобы он остался в Берлине. Альтгоф предъявил Веберу письменное обещание предложить его кандидатуру берлинскому факультету, правда, не связывая этим доцента. Вебер согласился. Но, открыв дома конверт, он заметил добавление, в котором было сказано, что он обязан отказываться от любой предложенной ему должности. Его немедленное возражение было отправлено обратной почтой, где он указал, что добавление основано на ошибке; более ранняя же датировка письма создавала впечатление, что оно было составлено *до* возражения Вебера. Он всегда был уверен в обратном. Это и другие события утвердили в нем впечатление, что для этого значительного человека, как и для Бисмарка, каждое средство хорошо, если оно ведет к цели, что он для этого пользуется также зависимостью и моральной слабостью людей, чтобы затем их презирать. Такого рода шахматная игра с характерами — пусть даже она объективно служит очень ценным целям — в глазах Вебера презренна, и он не прощает ее.

Желание выйти из сферы подчинения этой автократической личности было причиной принять предложение из Фрейбурга. Привлекает также юг и особенно новый предмет. Правда, потребуется серьезная работа, прежде чем он сам окажется удовлетворен, но изменение предмета соответствует его желанию; политическая экономия как наука еще эластична и молода по сравнению с юриспруденцией, к тому же она граничит с самыми различными научными областями: от нее идут прямые пути к истории культуры и истории идей, а также к философским проблемам; и наконец, она более плодотворна для политической и социально-политической ориентации, чем более формальная проблематика юридического мышления. Вебер быстро принимает решение, хотя и не без борьбы. Ибо прощение отдаляет его от центра по-

литической жизни и от матери, и он знает что разлука будет очень тяжела обоим женщинам.

«Все различные сомнения против согласия занять должность во Фрейбурге возникли у меня вновь, и мне иногда казалось, что уход из Берлина превращает меня в «пенсионера». Что ж, это естественно после такого долгого пребывания в Берлине, и я уже позаботился о том, чтобы не чувствовать себя во Фрейбурге вне мира. Я теперь уже вновь «в порядке» и говорю себе, что, во-первых, расставание стало бы позже еще труднее и затем — что мое положение во Фрейбурге более ясно, вероятно, более соответствует моим интересам, и что у тебя будет, вероятно, правда, сначала очень много работающий, но зато удовлетворенный и поэтому более приятный и менее «раздражительный» муж. Я думаю также, что в будущем для моей матери будет более ценным иметь неоспоримое право на длительное пребывание у нас на юге, чем более частые, но всегда торопливые и редко спокойные часы теперь».

Перед прощанием с Берлином в конце первого года брака Вебер подарил жене почти все гравюры Макса Клингера, символическое содержание которых произвело большое впечатление на обоих. На одном из листов цикла «О смерти», где смерть была изображена как Христос, он написал следующее стихотворение:

Ich hoffte einst, es wäre mir beschieden  
Ein früher Tod in voller Jugendkraft.  
Ich wünsch' ihn nicht mehr, denn ich fand hinieden  
Was Menschenherzen ewige Jugend schafft.  
Naht einst, mein Kind, das Ende unsrer Tage,  
So legen wir die Arbeit aus der Hand  
Und wandern froh des Todes dunkle Pfade,  
Vereint ins unbekannte Land<sup>25</sup>.

## II

Осенью 1894 г. совершился переезд во Фрейбург. Вебер теперь очень радовался новой сфере деятельности; все новое и неизвестное имело для него большое очарование, и связанное с рядом мрачных воспоминаний пребывание в Берлине кажется изжитым. Правда, ожидающая его нагрузка еще больше, чем он представлял себе, и превосходит все предшествующее. Ведь он впервые, как он говорит в шутовском преувеличении, слушает у себя самого большие лекции по политической экономии. Он сразу же читает 12 часов лекций и проводит два семинара. Когда во втором семестре дружественный ему коллега Г. фон Шульце-Геверниц берет отпуск, он считает своим долгом взять на себя часть его нагрузки.

Он сам называет себя затравленной дичью. Вскоре образуется кружок учеников, тщательное обучение которых научной работе его больше всего удовлетворяет. Одновременно издатель торопит с продолжением статей о бирже. Анкета о сельскохозяйственных рабочих ждет, для нее он поручает обработать много тысяч примеров своим помощникам. Материал становится все более обширным и в сущности интересует его меньше, так как он убежден, что результаты подтвердят его прежние выводы. К тому же его уже ждут более важные задачи. Задуманная новая работа также не продвигается. Ценный статистический материал частично передан ученикам, частично использован в позднейших аграрно-политических статьях. Кое-что сразу вошло как наглядный материал в академическую вступительную лекцию, о которой речь еще пойдет. Ко всему этому он читает доклады в научных и политических объединениях и выступает по польскому вопросу в местной группе пангерманского союза, членом которого он является. К нему обращаются с предложениями выступлений также извне. Его способность легко выступать с устными докладами стала известна. Он дает себя уговорить и соглашается не только на отдельные доклады, но и на целые циклы, как, например, по просьбе Наумана во Франкфуртском евангелическом рабочем союзе о «национальных основах экономической науки». Иногда он после лекции едет во Франкфурт, вечером там выступает, ночью возвращается домой, а утром до восхода солнца уже сидит за письменным столом и готовит материал на следующий день. Его работоспособность как будто удвоилась и он справляется со всем. Он работает, как правило, до часа ночи и сразу же погружается в глубокий сон. Если жена уговаривает его не переутомляться, он отвечает: «Если я не буду работать до часа ночи, я не смогу быть профессором». В конце третьего семестра — весной 1896 г. — он чувствует, что полностью овладел своим новым предметом и ощущает себя вполне здоровым. На пасхальные каникулы он уезжает на некоторое время в Берлин, принимает там участие в заседаниях комиссии Союза социальной политики, работает в библиотеке, видится с друзьями. Этот водоворот составляет его отдых после семестра с тремя большими лекциями: «Удивительно полезен берлинский воздух, чувствуешь себя нервно более работоспособным, так как «тяжесть и усилия» последних дней были велики и все-таки я вполне свеж» (март 1896).

Несмотря на «гонку», Вебер дома радуется перипетиям семейной жизни. Щенок, весьма плебейского происхождения, приобретенный для удовольствия экономки, служит и ему игрушкой, доставляющей большое наслаждение. При отъездах жены он в письмах к ней сообщает о проделках забавного животного: «Только что Берта собралась уйти и обращает мое внимание на то, что



берет с собой маленького Муркса, очевидно для того, чтобы я с балкона наблюдал за этим зрелищем; оно в самом деле очень смешно. Она ведет его на синем поводке, и он яростно лает на нее, ложится на землю, скачет, как бешеный, так что ей приходится бежать за ним, пока она его наконец не отпускает. Тогда он начинает волочить поводок и, громко лая, следует за ней. Однако воспитание по-видимому, происходит и у него трудно. Он усердно выискивает помещение. Это у него, вероятно, наследственно...»

Внешне жизнь супружеской пары проходит в традиционных формах их круга. Тем не менее они воспринимаются, как «другие». У них такие социальные воззрения и представления об отношении полов, которые еще чужды их среде. И на стенах у них висят гравюры Клингера, некоторые из них с обнаженными фигурами. Можно в сущности сесть на софу под маленькую, мечтающую у лесного озера Еву. Или спокойно рассматривать обнаженную мужскую фигуру, поднимающуюся из темного фона к свету, которую художник назвал «И все-таки». Затем: молодая жена ведет себя, как находит нужным и высказывает совершенно необычные мнения. К тому же она занимается социальной деятельностью и прежде всего — что особенно странно! — наукой; посещает даже, — едва ли не первая женщина, — философские лекции и семинар Г. Риккерта. Это в самом деле *очень* странно и дает поводы к различным предположениям и взволнованным обсуждениям о том, что женщине можно, дозволено и должно. Может ли быть счастливым брак, если жена наряду с интересом к хозяйству и мужу имеет и другие серьезные интересы? И как вообще в принципе относиться к этой аномалии?

Когда Елена посещает своих детей во Фрейбурге, она слышит кое-что из того, о чем думают люди, и хотя ее собственная озабоченность об их благополучии уже почти исчезла, она вновь стала беспокоиться по другому поводу. Правильно ли, что они вызывают недовольство? Не лучше ли было бы им считаться в их внешнем образе жизни с взглядами других, по крайней мере снять гравюры Клингера? Этот вопрос ее серьезно волнует. Но дети смеются и уверены в своей правоте. Они отнюдь не стремятся бросаться в глаза и не хотят никого шокировать, но с традициями, принятыми в маленьком городе, они считаться не будут. Общество скоро привыкает к Веберам, они находят близких друзей, среди них и таких, кто также не считается с условностями. Близкие отношения устанавливаются прежде всего с многодетной семьей Фрица Баумгартена. Он работает в гимназии, признан выдающимся учителем и женат на глубоко религиозной, сильной духом, но часто болеющей женщине. Их жизнь не легка, и Веберы восхищаются силой любви, с которой эти люди несут бремя дня. Баумгар-

тены — мост к прошлому: Ида часто живет у детей во Фрейбурге и поддерживает дружественные отношения с Веберами.

В доме философа А. Рилья они вошли в атмосферу духовного общения, возвышенного редким очарованием и венской традицией значительной женщины до высокого искусства. В лице своих сверстников, молодого философа Генриха Риккерта и его супруги Софи они находят высоко одухотворенных друзей, отношения с которыми остались для них сокровищем всей жизни. Уже родителей Риккерта и Вебера связывали близкие политические и общественные отношения. Сыновья их, которые были почти одного возраста, знали друг друга, хотя и не близко, еще мальчиками. Вебер уже несколько лет тому назад изучал первые гносеологические работы Риккерта — «Zur Lehre von der Definition» (К учению о дефиниции) и «Предмет познания» и восхищался остротой мысли и ее прозрачностью. Когда А. Риль последовал вызову в прусский университет, Вебер пытался преодолеть все мелкие противодействия на факультете, чтобы обеспечить Риккертту освободившуюся кафедру. Правда, теперь у него нет времени углубляться в гносеологические проблемы — систематически размышлять о смысле существования и мира начинает жена. Она становится прилежной ученицей Риккерта и держит мужа в курсе пройденного. «Макса, маленького Муркса и «Предмет познания» я люблю больше всего». Женщины этих семейств очень дружны. Марианна впервые видит в скульпторе Софи новый тип женщины: отдающее все силы, готовое к жертвам женское сердце и пламенную душу художника; женщину, которая о такой же силой чувства отдается деятельности художника, как остается женой и матерью.

К кругу более далеких друзей относятся коллега Макса Г. фон Шульце-Геверниц, психолог, и философ Гуго Мюнстерберг, затем ученый филолог Готфрид Байст, оригинальный чудака, удивительные знания которого приходится выпрашивать, ибо сам он не может высказать их ни письменно, ни в гладкой речи. Вебер находит новых коллег «исключительно приятными» и охотно встречается с ними в часы досуга. Обычные вечерние приемы служат значительными поводами для испытания возможностей молодого хозяйства, к трапезе часто приглашают и учеников, а в субботу вечером собирается круг неженатых коллег для непринужденной беседы — форма общения, которая больше всего нравится всем участникам. Вебер и вне дома ищет в общении отдыха от напряжения. В еженедельных встречах для игры в кегли его анекдоты вызывают веселье, а его способность пить не пьянея — такое же удивление, как его другие деяния. Его обществом наслаждаются, только молодые жены жалуются, что их мужья теперь приходят домой значительно позже, чем раньше. Летом раз в неделю регу-

лярно отправляются с несколькими друзьями и с Г. Байстом в качестве постоянного сопровождающего в сельскую гостиницу и наслаждаются форелью и маркгрефлерскими винами. На одной торжественной трапезе в «Leimstollen» в честь известного исследователя фон Криса, отклонившего предложение переехать в другой город, сильно выпили. В поздний час Вебер держит пари, что он весит 2 центнера и обязуется за каждый меньший фунт веса осушить стакан. Его с шумом и криками взвешивают на местных весах, он проигрывает пари и должен расплатиться. Обратно все общество погружается в телегу, только Вебер уверенно идет пешком.

Когда он на пиршестве в честь того же ученого выиграл у одного из коллег четыре кружки молодого пива, поражено было и студенчество: кто же это, воскресший богатырь из лесов Германии, которому невоинственная эпоха дала вместо копья перо? Или он был когда-то герцогом, который шел в бой во главе своих вассалов? Во всяком случае весь его облик не соответствует типу профессора. А по возрасту он немногим старше некоторых своих учеников и когда он после каждого семинара сидит с ними за «кружкой», они восхищаются не только его знаниями, но и его способностью рассказывать. Он отвечает на все вопросы и не притязает на авторитет, — но, несмотря на это, каждый ощущает дистанцию и никто не помышляет о возможности не соблюдать ее.

В часы досуга он хороший товарищ, который ведет себя так просто и непритязательно, что никого не угнетает, но в качестве коллеги по факультету он часто неудобен, так как нетерпим по отношению к «человеческим слабостям» своего сословия, как только, например, вопросы профессии противостоят чисто объективному решению. Если надо помочь кому-нибудь добиться своего права, как, например, в случае с Риккертом, он действует решительно и беспощадно. Тогда он не щадит никого. Поскольку он не боится никаких неприятностей, его коллеги часто прибегают к его помощи при решении шекотливых вопросов: «Все время различные неприятности. Как будто на мне лежит проклятие всегда появляться своевременно, чтобы совершить работу палача. Например, нам надлежит призвать к дисциплине коллегу за непристойность его убеждений, и конечно, так как всем это противно, задача провести эту акцию падает на меня».

\* \* \*

Фон этого наполненного существования составляют мрачные вершины Шварцвальда. Конечно, помышлять о постоянных общих прогулках нечего и думать. Вебер только в перерывах между рабо-

той стремительно поднимается на Шлосберг. Тем с большей благодарностью принимается дар редких странствий. Вебер любит поросшие хвойным лесом горы с находящимися перед ними освещенными солнцем виноградниками, путников повсюду приветствуют следы древней культуры. Большой город представляется вскоре каменной тюрьмой, ему не хочется возвращаться. В конце второго семестра Вебер впервые после женитьбы позволил себе достаточно продолжительный отдых. Он едет с женой в одиночество горной Шотландии и на западный берег Ирландии. Наконец можно свободно вздохнуть и прийти в себя. Он полностью освобождается от напряжения только в путешествиях и созерцаниях. Тогда он становится совсем молодым и открывается всей красоте земли. Кажется, что он не может поглотить достаточное количество мира. Больше трех дней он не задерживается нигде. Все, что он видит и узнает, окрашивает уже узнанное и придает ему образ.

Путники проносятся на изящных двухколесных «hackmeys»<sup>26</sup> по лондонскому асфальту, чтобы быстро приветствовать исторические места, которые они видели в их первом совместном путешествии. Затем они садятся в удобные кожаные кресла «Flying Scotchman»<sup>27</sup>, мимо них пролетают зеленые виды. Вебер указывает на старые церкви, одиноко рассыпанные по местности; принадлежавшие к ним раньше деревни исчезли, уже много столетий тому назад лендлорды захватили крестьянские земли; Вебер думает о возможной судьбе немецкого востока. И с северным серым городом Эдинбургом связано столько исторических событий, трагические воспоминания хранят прежде всего серые, холодные стены дворца, а то, что глухое высокогорье доходит до города, как будто придает его современному состоянию оттенок грусти. Путешественники остаются здесь недолго, они находят то, что им нравится, в пересеченной озерами одинокой горной местности: нетронутую, далекую от мира повседневности природу, приветливую, грустную и веселую одновременно. Почти ежедневно гряды облаков придают ей мрачную серьезность, но и нетронутую свежесть, и почти ежедневно через туман прорывается яркая игра солнечных лучей.

Вебер описывает увиденное в радостных письмах Елене. А у нее возникает впечатление, что теперь наконец ее дети действительно молоды вместе. Здесь последует ряд таких описаний:

Лусс у Лох Ломонда. 14.8.95.

К вечеру мы совершили прогулку к одному из маленьких озер. Наша прогулка началась при солнечном сиянии — однако, как здесь обычно бывает, не успеешь оглянуться как несколько облаков пролетают над зелеными вершинами и тогда кажется, что кто-то выжал губку. Однако это, по крайней мере, для меня — свой-

ство данной местности; гуляя, почти не обращаешь внимания, идет ли дождь пять минут или нет, и каждый день почти регулярно переживаешь всю шкалу погоды. Это полное отсутствие людей, где бы ни находиться, за исключением нескольких пастушеских хижин и великолепная серьезность природы действуют в своей совокупности почти трогательно, столь просты средства и в частности краски, посредством которых местность украшает себя. Собственно говоря здесь только две основные краски: зеленая и серо-стальная, но они бесконечно варьируются в своем смешении: коричнево-зеленые, желто-зеленые, сине-зеленые луга и папоротники, которые покрывают вечно серые скалы до вершин и пробиваются только степью: коричневато-серые маленькие речки, молниеносно, как кошки, пронсящие по лугам; свинцово-серые озера, как будто неспособные к сильному движению волн, и ко всему этому попеременно, то сильная, то легкая дымка, сквозь которую светит солнце. Но все это составляет только дополнение громадного, удивительного одиночества, которое, заполняя передний план ощущения, создает местность. Уже отсутствие леса и за исключением некоторых частей Лох Ломонда и Троссаксы — почти всех достойных упоминания деревьев создают такое впечатление. Мне кажется, что здесь это одиночество равнины, которое доходит до входа городских ворот, воспринимается иначе, чем в Англии, где на всем пути от Лондона до Эдинбурга нет ни одной деревни, лишь иногда замок в парке, а в некотором расстоянии жилища арендаторов и отдельные хозяйственные постройки, время от времени церкви XIII и XIV веков, которые находятся между дюжиной хижин рабочих, а не среди 50—60 крестьянских домов, как раньше; кажется, что они стали слишком велики для своей общины, как одежда для чахоточного. В Англии чувствуешь, что здесь могли бы найти место сотни тысяч крестьян, тогда как Шотландия создана как пастбище для крупного рогатого скота или скорее овец. Сегодня утром мы направились *per coach*<sup>28</sup> через горы в Троссакс — единственно достойный упоминания лес у Лох Кетрин. Поразительно выглядит серо-стальная листва дубов, каштанов, лиственниц и колючих кустов, которые со своими удивительно спутанными искалеченными ветками составляют большинство этих поросших кустарником низкоствольных лесов. Как полагаются, внезапно пошел дождь, минут пятнадцать сильный, но затем во время поездки к Лох Ломонду и во время пребывания там проглянуло солнце, а после обеда мы увидели редкое зрелище почти голубого неба и солнечного света при обычном здесь удивительно приятном мягком и все-таки свежем тепле. Озеро предстало нам во время поездки и после на прогулке во всем своем великолепии.

Впрочем, мир и в Великобритании — деревня; можно себе представить, что мы и здесь встретили берлинских знакомых? На пароходе при приближении к Лох Кетрин я внезапно заметил среди толпившихся у пристани англичан с их резкими ртами лицо германского барда — Гирке. Мы ехали вместе до Лох Ломонда, где наши пути разошлись. Встреча с соотечественниками действует странно: мы уже настолько здесь акклиматизировались, что переняли общую манеру говорить шепотом, делаем вид, что не замечаем людей ни справа, ни слева, и только если к нам обращаются с вопросом, отвечаем кратко и очень вежливо, едим всегда немного меньше, чем хотелось бы, при этом по возможности меньше открываем рот; даже при явном шуме в животе вертим ложкой в тарелке с супом, будто еда нас совершенно не интересует. Но едва вблизи оказались немцы, уже при ожидании *soach* поднялся такой хохот, что все англичане бросились к нам посмотреть на варваров, и я услышал, как кто-то в *soach* сказал «*metty Germany*»<sup>29</sup>. А перед прощанием мы соорудили *lunch*<sup>30</sup> о котором будут помнить все тамошние кельнеры. Г. начал поглощать еду, как в Тевтобургском лесу, я следовал ему. Ошеломленные *waiters*<sup>31</sup>, видя, как все сразу исчезает, стали приносить невероятные количества ростбифов, семги и т. д., по-видимому, боясь, что в противном случае мы начнем хватать людей. Втроем они стояли вокруг нашего стола, с ужасом взирая на остатки их достояния, и с явным облегчением вздохнули, когда пароход наконец зазвонил к посадке, положив конец трапезе. К этому мы выпили — Г. из убеждения, что все отелы воздержанности ненадежны, я из соревнования — к удивлению официантов, не знаю уже сколько графинов воды.

Лох Маре. 17.8.95.

«Путешествие сюда в Герлох у Лох Маре показало характерное отличие подлинного северного нагорья от Южной и Центральной Шотландии. Ощущение полного одиночества здесь еще значительно возрастает. Если на юге острые углы базальтовых гор как бы покрывает своего рода зеленый ковер, то здесь они так остры, что весеннее таяние снега, по крайней мере на зубцах гор, уносит все, что выросло там летом из трав и степи; массы камней, часто в странных группах, покрывают склоны, а между ними вместо больших, сменяющих друг друга по краскам, желто-коричневых и серо-зеленых равнин юга здесь пестрая степь, которая на каждом мельчайшем пятнышке соединяет все свои краски от фиолетовой до желто-зеленой, где они затем смешиваются и создают коричневатое сияющее впечатление общности красок. Можно на протяжении миль глядеть на лощины между горами, на такие покрытые торфяными болотами поверхности, которые, несмотря на полное

однообразие, создают впечатление чего-то меняющегося, подобно морю. После целого часа езды с преодолением сильного подъема перед нами открылась далеко уходящая долина Лох Маре, и мы сразу поняли, что строгое одиночество этого места земли должно удовлетворить даже потребность Марианны в одиночестве. За несколько часов езды мы видели деревню, состоящую из восьми маленьких разбросанных домов и охотничий домик. В общем создается впечатление, что вокруг на много миль почти нет людей. Проложенная на базальте узкая дорога странно гремит под колесами — возможно, из-за трещин, которые промыла вода, — наподобие отдаленного звучания колоколов. Поразительные эффекты производит послеобеденное и вечернее солнце. Из-за дымки тонкого тумана, который всегда более или менее ощутимо покрывает всю местность снизу доверху, лучи солнца становятся несколько блеклыми, иногда почти зеленоватыми, переходя только на закате в розовые, и странно бледнеют сырые скалистые края гор там, где на них падают эти лучи. В этой скалистой глуши неожиданно появляется в углублении у озера очаровательный отель Лох Маре с маленьким разбитым парком в зеленой долине. От небольшого центрального здания бутовой кладки идут в одноэтажном деревянном строении очень уютные номера, которые выходят на зеленый двор, — один из них занимаем мы. Этот укрытый носитель культуры среди почти полной дикости — нечто подобное мы видим уже в третий раз — собственно, самое привлекательное в Шотландии. Объясняется это, очевидно, тем, что если у нас гостиницы возникали частично на основе городских и деревенских трактиров или купеческих постоялых дворов и затем получали характер международной культуры, здесь ими становились охотничьи домики лендлордов. В то время как в Германии они *возвышались* и посещающая их публика становилась все более изысканной, здесь первым находил пристанище высший общественный слой и лишь постепенно круг посетителей распространялся на более низкие слои. Еще теперь в английских путевых справочниках указано, каким эрлам или герцогам они принадлежат. Лендлорды создают отели, сдают их в аренду, в аренду сдаются и принадлежащие им пароходные пристани и поездки на паромов в ряд Лохов Северной Шотландии, для них огорожены охотничьи угодья — так, здесь напротив для эрла Росса огорожен пространственный «deep forest»<sup>32</sup>, которому для леса в немецком понимании не хватает только *деревьев*. Общество — от 14 до 16 лиц — кроме усыпанной бриллиантами дамы, которая пьет виски, самое избранное, всех настойчиво просят вести себя очень прилично. При этом, однако, общество отнюдь не ведет себя натянуто, беседа протекала очень живо (то есть не с нами, нас как незнакомую породу животных игнорируют), а сидящий во главе сто-

ла старый арендатор — очень приятный человек с прекрасными манерами и страстный охотник».

Сторноуэй, Гебриды, 22.8.95.

«Как видишь, мы достигли местности, северо-западный характер которой удовлетворяет всем справедливым требованиям и преимущество перед которым может иметь только поездка в Ирландию, к чему Марианна, как я думаю, вполне была бы готова. Из Сторноуэй мы проехали через остров два часа по дороге, которая своей пустынностью превосходит все виденное до сих пор: куда ни глянешь — ничего, кроме коричневого торфа. Затем, когда мы уже ощутили некоторую угнетенность, появилось несколько белых точек вместе с океаном, и одна из этих точек оказалась одноэтажной гостиницей, где мы устроились в комнате, в которой в качестве величайшего чуда висело изображение локомотива. Сначала казалось, что Барвас состоит только из названных светло окрашенных домов. В остальном по всей улице были видны только ряды больших нор кротов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это около ста подземных пещер, в которых нашли себе пристанище столько же семей. Над землей стоит стена из песчаника в метр высотой, крыши домов из торфа, охраняемые от ветра сетчатой тканью, на которой лежат тяжелые камни с дыркой для дыма. Там живет не понимающее английского гэльское население, добывающее торф. При этом удивляет, что у каждой семьи есть лошадь и телега, их единственный капитал для перевозки торфа в Сторноуэй. Следовательно, мы, слава Богу, действительно достигли конца культуры «безотрадных» смоловарен. На маршах у моря пасется бесчисленный полудикий скот, у хижин — лошади, для них вокруг хижин посеяно немного овса, на торфе — овцы. После того как мы с удовлетворением констатировали это состояние райского отсутствия культуры, надо сказать, что в отеле нам предоставили вполне чистую комнатку на первом этаже, о потолок которой я ударился головой; меню сократилось до бараньих котлет гигантского размера и странного пудинга из фиолетового клейстера; но это не препятствовало тому, что эти богатства подавались, как в больших английских отелях, с 5—6 сортами уксуса, соусами, тарелками и тарелочками, огромными крышками и всем педантским сопровождением, при сервировке которого у голодного человека слюнки текут; институты, здесь сокращенно именуемые W.C., находились в полном порядке, короче говоря, и в эту местность жителей пещер культура английских отелей направила свои лучи. После того как мы все это увидели, мы отправились искать шtrand с very strong bathes<sup>33</sup>, о которых нам говорили. И оказалось, что после поисков в течение трех четвертей часа, которые я сопровождал бранью, а



Марианна испуганно трусила рядом со мной, — штранда не было, то есть он был засыпан камнями и недоступен; начался дождь, мы заблудились в дюнах и пришли «домой» мокрые до костей, пропахшие дымом из пещер и обрызганные торфом. Нам объяснили, что штранд находится севернее. На следующей утро мы вновь отправились на поиски, но с еще более отрицательным результатом: во-первых, мы обнаружили только высокий скалистый берег, у которого в бесчисленных расселинах в кипящем прибое бушевал океан; впрочем, и это мы почти не увидели, потому что в ярости искали кусочек песка; к тому же мы не могли спокойно наслаждаться этим зрелищем, так как два свирепых молодых бычка в стремительном галопе наскочили на нас, сшибли с ног и едва не сбросили с берега, к счастью, — там, где до подводных скал шел песчаный склон. После этого удовольствия нам было достаточно впечатлений от Барваса и вечером мы поехали сквозь туман и через степь назад в Сторноуэй, не увидев ни камней друидов, ни других диковинок. И затем сразу же отправились ночью в Стром Ферри, где мы были вновь возвращены человеческой культуре и отчистились от всей грязи этого сибаритского путешествия. Таким образом мы в течение 24 часов были в двух экипажах, на двух пароходах, в поезде и в пяти отелях»...

«... Скай (Skye) развитая культура домов для приезжих и отелей. Мы провели сначала ужасно пустое воскресенье в Портри, восхищаясь шестью существующими там и друг за другом звонившими церквями — к счастью шел дождь. В понедельник и вторник мы совершили несколько путешествий в горы. Лучшее было на юг острова к Cuchullin hills<sup>34</sup>, сначала в коляске, потом несколько часов верхом на пони и наконец пешком по альпийской тропе. Вначале шел дождь, как почти каждый день в Скай: я был в некотором возмущении от этих вечных душей, но здесь нельзя задерживаться из-за дождя. Через некоторое время наступила прекрасная, полностью соответствующая местности погода: сквозь облака, которые летели вокруг зубчатых горных вершин, прорывались все время солнечные лучи, время от времени с черных скал в Глен опускался до нас и тонкий туман и внезапно оказывался коротким ливнем, как будто на вас вылили лейку. Дорога от отеля в горы к Кукуллинским холмам просто ужасна, я, кажется, никогда не видел столь тернистой «тропы» — через бурные реки, глубокие торфяные болота, валуны, скользкие луга, острые и скользкие скалы, по которым приходится подниматься и спускаться. Ее можно было бы назвать почти непроходимой для людей, но как ее проходят «лошади», я просто не могу понять. Я сидел на крепком маленьком пони, ногами почти касаясь земли, как патриарх Иаков. Марианна, очень довольная, на высокой лошади, и

проводник — так мы продвигались, как святое семейство на пути в Египет. Лошади были то по живот в воде, переходя реки шириной в несколько метров со скалистым и каменистым дном, то шлепали по торфу, то массы булыжника скользили у них под ногами, то они карабкались вверх почти вертикально, чтобы потом так же спуститься; сначала казалось невозможным, что у них при каждом шаге нога не застревала между камнями, но вскоре мы стали чувствовать себя вполне уверенно. Правда, от моего искусства верховой езды не много осталось, и когда «Чарли» на ровном месте переходил на мелкую рысь, мне часто приходилось прибегать к узде. К тому же некоторые части тела у меня настолько повреждены, что я еще и теперь предпочитаю сидеть на мягком. Поразительно, как хорошо действует путешествие на Марианну: она спит, как сурок, десять часов. Все это составляет громадную разницу по сравнению со свадебным путешествием с его нервной спешкой; такого чувства облегчения во всех отношениях мы до сих пор еще никогда не испытывали.

С вершины гор можно за долиной с дикими скалами увидеть глубоко внизу озеро, которое на противоположном конце оставляет открытым отверстие, ведущее в скалистую бухту ярко освещенного моря. Над вершинами гор и над нашими головами плыли облака, так что сцену внизу мы видели, словно занавес театра не вполне поднят. Формы скал в некоторой своей части невероятны, а между этими разорванными зубчатыми вершинами возникают колоколообразные массы куполов, которые выглядят так, будто быющий ключом базальт внезапно застыл».

Килларни, Ирландия, 7 сентября. 95.

«Пункт, на котором мы находимся, уже по нашему краткому впечатлению заслуживает наименования самого красивого на британских островах. Голые закругленные вершины Шотландии — только мягче, чем, например в Скай, здесь впервые дополняются удивительными древними деревьями. Юго-западное окончание Ирландии, на котором находится Килларни, первым ощущает Гольфстрим, и таким образом здесь обнаруживаются все растения, например, те, которые встречаются в саду Виллы Карлотты у озера Комо, пышно растущие под открытым небом. Сад отеля, английский парк с одиноко разбросанными прекрасной формы деревьями на широких пространствах бархатной зелени, кроме того клумбы, напоминающие ковры и спортивные площадки, преимущественно без тропинок, — идешь по травянистому ковру — это самое прекрасное, что я когда-либо видел.

Ирландия представляет собой удивительную противоположность Англии и Шотландии, что становится очевидным уже из

окна поезда. В Шотландии царит величественная пустыньность, в горной местности едва увидишь человека. В Ирландии следы его рук видны при каждом взгляде из окна; по причинам, связанным с прошлым аграрным развитием, вся страна занята почти исключительно отдельными мелкокрестьянскими дворами. Деревень почти нет, но если в Англии они исчезли вследствие «огораживаний» лендлордов, когда крестьяне «были уничтожены», в Ирландии их никогда не было. Каждый двор находится на замкнутом участке, обрабатываемом его хозяином. Развитие с начала XVII века вследствие конфискаций земли английскими землевладельцами, превратило собственников земли в мелких арендаторов, живущих в типичных, выкрашенных в белый цвет домиках с дверью и двумя окнами и обычно с соломенной крышей. Вся страна разделена на огороженные мелкие участки земли. На севере близ Бельфаста и Ольстера это обычно живые изгороди, на западе в графствах Галуэй и Коннот земля ужасающе камениста. Ежегодно выворачиваемые камни складывались у границ, позже из них строили без известкового раствора циклопические стены, и вся страна кажется при многочасовой езде разделенной подобно ко-соугольной шахматной доске вплоть до не очень высоких гор. Бесчисленные массы камней придают местности очень необычный для нас вид. Леса нет совсем, кроме того места, где мы теперь находимся и в нескольких других пунктах».

«... Сегодняшние беседы были самые приятные из тех, которые мы до сих пор вели с местными жителями. Все объявили себя ревностными сторонниками гомруля, как они признались — потому, что справедливо видели в лендлорде корень всякого зла и надеялись, что при гомруле его сила будет сломлена. Аграрные условия здесь, правда, невероятны. Отдельные суммы, уплачиваемые за аренду маленьких пастбищ в горах, о которых мы узнали, позволяют судить об истинно бесстыдном ростовщичестве. Поскольку, как сухо и со своеобразной покорностью замечают люди, земля теперь «very quiet»<sup>35</sup>, и «Captain Moonshine» («Капитан лунный свет»), который в прошлом десятилетии препятствовал с оружием в руках новому захвату уже оплаченных земель, еще спит, нам показали многих изгнанных арендаторов, которые перебиваются то как нищие, то как продавцы прохладительных напитков. При этом охота в горах эрла Кенмэра, которому здесь все принадлежит, сдается в аренду за 1000 фунтов, его владения дают ему 60000 фунтов в год. На всех дорогах, мостах, пристанях и т. д. приходится платить пошлину этим грабителям-рыцарям, которые два раза в год появляются в своих чудесных замках на несколько недель для охоты или для взимания ренты, остаток который они проедают в Англии. Ничто не волнует здесь так людей, как это. Неблагопри-

ятный для гомруля результат последних выборов очевидно заставит массу людей отправиться за море, в том числе нашего погонщика, который собирается уехать в Соединенные Штаты. Он спросил меня, верю ли я в то, что Ирландия когда-нибудь получит гомруль — он в это не верит. Я сказал ему, что и я сомневаюсь и противодействие этому могу понять, так как страна была бы отдана во власть католических священников, а их не каждый способен выносить. Между тем наш погонщик пони, как он ни острил по поводу хождения в церковь, все-таки был социальным сторонником клира, ибо, происходя из крестьян, знает, в чем беда страны. Достаточны грустны эти исключения; красивые парни с меланхолическим выражением лица и с оттенком покорно веселого озорства иллюстрируют верность типа. Отвратительное состояние нравов в старых, общих (!) для 16 семей клановых домах, и веками длящееся угнетение воспитали население, которое не скоро изменится в своих основных свойствах.

Изумительны здесь руины, во всяком случае часть их. Марианна застывает, как загипнотизированная, когда видит распадающуюся стену; я же, несмотря на некоторые навыки, чувствую замешательство от необходимости выдумывать все новые лживые истории о жизни жителей руин, чтобы как-то удовлетворить ее потребность знания о них. Впрочем, нет, вероятно, страны столь богатой руинами, как Ирландия, только они большей частью мало романтичны, это разбросанные по всей стране большие каменные дома вождей старых кланов, поднявшихся до лендлордов, а также резиденции лендлордов XVII века. Теперь они брошены, 9/10 лендлордов живут в Англии, а их резиденции используются как каменоломни. Но отнюдь не поэтическое прошлое не препятствует плющу красиво их окаймлять. Другой тип руин — множество аббатств; сегодня мы видели два красивейших — их создал Кромвель, имя которого связывают здесь со всеми разрушающимися зданиями».

### III

К началу второго фрейбургского семестра Вебер выступил по тогдашнему обычаю с публичной вступительной лекцией перед большой аудиторией на тему «Национальное государство и политика народного хозяйства»<sup>8\*</sup>. Слушатели и докладчик были очень взволнованы, ибо эта речь была одновременно познанием и признанием. Ход мыслей вызвал большие споры. «Своей вступительной лекцией я вызвал возмущение брутальностью моих взглядов, наиболее довольны были, кажется, католики, так как я дал основательный пинок “этической культуре”». Ряд молодых людей ока-

зался под сильным политическим влиянием этой речи, из более старших, когда она появилась в печати, — прежде всего Фр. Науман и часть его сторонников. Вебер вновь рассматривал аграрные проблемы к востоку от Эльбы и поставил перед прусским государством те же требования, что и раньше. К изображению конкретного положения присоединяется вопрос о *ценностных масштабах*, на которые должна быть ориентирована политика народного хозяйства — проблема, которая тогда под влиянием катедер-социализма очень занимала представителей экономических наук. Вопрос состоит в том, существуют ли действующие *по своим законам* ценностные масштабы для оценки и создания форм хозяйственной жизни — например, идеал технического усовершенствования для производства товаров? Или социальной справедливости для их распределения? Вебер отрицает это исходя не из другой идеологии, а из конкретного опыта: экономическую борьбу между немцами и поляками делает столь потрясающей именно тот факт, что в силу технического прогресса более высокий тип, оседлый немецкий крестьянин вытесняется более низким, польским сезонным рабочим. Следовательно, «мы не должны предаваться оптимистической надежде, что с наибольшим развитием хозяйственной культуры цель будет достигнута, и выбор, проведенный в свободной и мирной экономической борьбе обеспечит победу типу более высокого развития». Или, может быть, ценностным масштабом послужит улучшение «*баланса удовольствия*» человеческого существования, *счастье* в мире? И это отвергает Вебер. «Уже мрачная строгость проблемы населения мешает нам быть эвдемонистами и полагать, что мир и счастье человечества скрыты в будущем, предполагать и верить, что иначе, чем в жестокой борьбе человека с человеком может быть завоевано жизненное пространство в существовании на земле».

Для грезы о мире и счастье людей над вратами неизвестного будущего человеческой истории начертана надпись: «*Lasciate ogni speranza*»<sup>36</sup>.

Политическая экономия неспособна извлекать собственные идеалы из своего материала, она связана со старыми, общими типами человеческих идеалов. Это — наука, которая ставит вопрос прежде всего о *качестве людей*, воспитанных определенными экономическими и социальными условиями существования. При этом, однако, она, вынося ценностные суждения, «связана с тем типом человечества, который мы находим в собственной сущности»... «Если бы мы могли через тысячелетия выйти из гроба, мы стали бы искать в лицах будущего поколения далекие следы нашей собственной сущности. Наши высшие и последние земные идеалы также меняются и проходят. Мы не можем навязать их

будущему. Но мы можем желать, чтобы оно признало в нашем типе тип своих *собственных предков*. Мы с нашей работой и нашей сущностью хотим быть предками будущего рода. Ценностные масштабы немецкой политики народного хозяйства могут быть, следовательно, только *немецкими*. «Интересы *могущества* нации суть, когда речь идет о них, последние решающие интересы, служить которым должна ее экономическая политика».

Себя Вебер определяет в этой связи как «националиста в экономике», политику народного хозяйства — как служанку национального государства. С интересами государства он соразмеряет значение различных классов для политического руководства и приходит к пессимистическому выводу: к руководству пригоден лишь один слой, тот, который способен ставить политические и экономические интересы нации выше собственных; — к прусскому юнкерству, с тех пор как оно превратилось в класс предпринимателей, это больше не относится: оно притязает быть опорой государства за счет других. Бюргерству цезаристское солнце Бисмарка выжгло медленно развивающуюся способность суждения. Рабочий класс также еще не находится на пути к политической зрелости, «в нем нет той искры катилиновской энергии *действия*, но нет и дыхания властной *национальной* страсти, которая господствовала в залах французского Конвента. Следовательно, во всех слоях следует провести огромную политическую работу по воспитанию, если Германия хочет утвердиться как государство национальной власти, если будущее высокого по своему типу германского народа может быть обеспечено...» «И тяжелую нужду масс нации, которая обременяет обостренную совесть нового поколения, нам следует искренно признать: еще сильнее обременяет нас сегодня сознание нашей ответственности *перед историей*. Не нашему поколению суждено увидеть, принесет ли борьба, которую мы ведем, плоды, признает ли нас потомство как своих предков. Нам не удастся освободиться от проклятья, которое висит над нами, быть потомками политически великого времени, — разве что мы сумели бы стать чем-то другим: предшественниками времени более великого».

\* \* \*

В этот период Науман пытается в большей степени втянуть Вебера в круг своих интересов. Весной 1894 г. основан еженедельник «Помощь». Вебер назван среди его сотрудников. Крупный предприниматель, «просвещенный деспот» Саарской области, фрейгерр фон Штумм открывает поход против этого своеобразного еженедельника и в большой речи в рейхстаге<sup>9</sup> объявляет На-

умана и социально настроенных пасторов более опасными, чем социал-демократы. Он приобрел большое влияние на монарха. Был внесен проект «закона о каторжных работах» — принудительных мерах для подавления борьбы за повышение оплаты труда. Все это вновь призывает Макса Вебера на передний план. Он выступает со свойственной ему резкостью, набрасывает для Франкфуртской газеты объяснение против принудительных законов и нападает на Штумма и аграриев в «Крестовой газете». Эта консервативная газета принимает его статьи или отвергает их в зависимости от того, откуда дует ветер:

«Ты, вероятно, заметил, что “Крестовая газета” все-таки приняла мою статью после того как она пролежала у них полторы недели. Х. все-таки непостижим. Очевидно он относит изменение настроения императора против аграриев к Штумму и если он, пока казалось, что император милостиво взирает на аграриев, считал “в данное время политически неразумным” нападать на него и не трогал властную фигуру, то теперь он вынимает мою статью из ящика и швыряет в него!» «Прошу тебя следить также за “Почтой”, чтобы, как только она откроет рот, сразу схватить ее за горло» (22.7.95).

На Троицу в 1895 г. Вебер вновь принимал участие в заседании социально-евангелического конгресса в Эрфурте. На этот раз в центре стоял женский вопрос и речь Элизабет Гнау-Кюне произвела наиболее сильное впечатление. Женщины почерпнули из нее большое воодушевление для распространения своих идеалов.

Науман думал уже о создании политической организации. Для данного собрания он сделал заметки к социально-христианской программе антикапиталистической настроенности. Национальных и конституционно-правовых, следовательно, подлинно политических постулатов там не было, в ней проявлялась лишь взволнованность судьбой нуждающихся людей<sup>10</sup>, Ганс Дельбрюк и Вебер обратили его внимание на важность национально-политической идеи. Вскоре после этого в печати появилась вступительная лекция Вебера. Она привела к решающему изменению в кругу идей Наумана и части его сторонников. Венк сказал: «Впечатление, произведенное этими мыслями на молодых христианских социалистов, прежде всего на самого Наумана, было велико. Перед ними открылась совершенно новая перспектива. До сих пор отправным пунктом было пролетарское христианство. Сострадание бедным людям, а как следствие этого раздумья о бедных людях... Национальный момент принимался во внимание только в своем этическом значении как любовь к отечеству, которая концентрировалась в отношении к монарху, затем к монархии. Теперь же национальный момент вступил как фактор политической вла-

сти в круг мышления и вскоре полностью заполнил его». Науман сам писал в июльском номере «Помощи» о веберовских идеях: «Разве он не прав? Чем нам поможет наилучшая социальная политика, если придут казаки? Тот, кто хочет заниматься внутренней политикой, должен сначала обезопасить народ, отчизну и границы, должен позаботиться о национальной силе. В этом самый слабый пункт социал-демократии, нам нужен социализм, способный управлять государством: способный проводить лучшую политику обеспечения наших границ, чем это делалось до сих пор. Такого социализма у нас до сих пор нет. Такой социализм должен быть национально-немецким. К этому замечает Венк: «И с этого часа началось создание *национального* социализма, вышедшего из христианского социализма». Науман планировал создание ежедневной газеты и политической организации, которая должна была подготовить национал-социальную партию.

Вебер с самого начала возражал. Как ни близок он был по-человечески Науману и его узкому кругу: Гёре, Раде, Баумгартену и другим, как ни радовало его их молодое воодушевление — эти политические планы представлялись ему с самого начала осужденными на неудачу. У большинства этих людей отсутствуют врожденные политические инстинкты, значительная часть их сторонников останется ориентированной на этико-религиозные идеалы и прежде всего: им не хватает основного интереса к единым хозяйственным проблемам. Вебер с самого начала считал в высшей степени маловероятной возможность — на что надеялся Науман — освободить часть рабочих от влияния социал-демократов. По его мнению, было бы правильнее отказаться от собственной партии, чтобы свободно воздействовать на бюргерство социальным убеждением и воспитывать рабочих для понимания национальной политики. Он не советует, но не хочет оказаться в стороне от общей попытки друзей и вступает в комиссию подготовки газеты. Осенью 1896 г. Науман приезжает во Фрейбург, чтобы все обсудить. Марианна рассказывает: «Науман задавал вопросы по записи, Макс отвечал «из полноты своей премудрости». Я была публикой, бросила все домашние дела, сидела как прикованная в соседней комнате и слушала. Вновь вызвали мое удивление громадная объективность, трезвость Наумана и скромность, с которой он позволял себя поучать». Через короткое время появились газета и Союз; он был основан (в ноябре 1896 г.) в Эрфурте; Вебер, одновременно приглашенный в Берлин на совещания комиссии биржи, принимал в нем участие. Впечатление от конференции усилило его сомнения. Это смешение духовных лиц, профессоров, чиновников с ремесленниками и несколькими рабочими казалось ему очень мало способным к формированию политической воли. Поведение Наумана также



было неприятным началом: «В понедельник в Эрфурте Науман все испортил, ибо вместо (подготовленного) наброска программы предложил совсем иной, в котором *вычеркнул* женский вопрос и отношение к крупным землевладельцам. Результатом было, что я резко выступил против него и всей «партии», сказал, что, действуя таким образом, они станут «политическими марионетками», и заметил, что если рассмотрение польского вопроса останется без изменения, я не только не буду поддерживать «Время», а самым решительным образом выступлю против него... Болтовня пасторов, из которых состояло 3/4 собрания, и все зрелище того, как дети в политике пытались уцепиться за спицы колеса развития Германии, было бесконечно жалким. В общем от основания «партии» отказались, как я узнаю из газеты, и основали «Союз». Посмотрим, что из этого получится. Думаю, немного». Участники его были — как и боялся Вебер — ориентированы на очень различные и большей частью неполитические идеалы, их объединение потребовало бы тяжких усилий. Целыми днями шли безрезультатные споры о том, должна ли служить введением в программу национальная или социальная идея. Еще труднее было достигнуть ясности в вопросе о взаимоотношении христианства и политики. Вебер безжалостно критикует программу Наумана<sup>11</sup>:

«Науман хотел участия образованных людей. Но предлагает он здесь, несмотря на все национальные точки зрения, партию утомленных и обездоленных трудностями, тех, кому приходится трудно, всех тех, кто не имеет собственности и не хочет ее иметь. Выявляя разницу между трудом и собственностью, эта программа превращает все поднимающиеся слои народа, уже обладающие собственностью, в том числе и поднимающиеся слои рабочего класса, в естественных врагов национально-социального движения. Только низшая часть населения присоединилась бы тогда экономически к национально-социальному движению. Эта партия слабых никогда бы ничего не достигла. Такая жалкая точка зрения превратила бы деятелей этого движения в политических марионеток, в людей, которые вследствие того, что какие-либо хозяйственные бедствия действуют им на нервы, реагируют неартикулированными движениями то направо, то налево, здесь против аграриев, там против биржи и крупной промышленности. К этой политической сущности пришли потому, что отказались от содержащейся в первом наброске позиции против крупного землевладения. Остается только выбор, поддерживать либо бюргерский, либо аграрно-феодальный класс. Социал-демократия своим наступлением на бюргерство лишь проложила путь реакции. Та же ошибка грозит здесь. Поэтому необходимо решаться на то, чтобы стать новой национальной партией бюргерской свободы,

стремящейся к бюргерско-капиталистическому развитию. Нам не хватает *национальной демократии*, которой мы можем доверить посредством наших голосов, на выборах управление Германией, обладая уверенностью, что она сохранит национальные и экономические интересы могущества Германии. Сохранение интересов национальной власти должно происходить со всей строгостью и, принимая во внимание все последствия, в частности также в польском вопросе. Ибо и национальная точка зрения не сочетается с сочувствием нужде. Тот, кто хочет заниматься земной политикой, должен быть свободен от иллюзий и знать о фундаментальном факте — о вечной борьбе людей друг с другом. Венк добавил к этому выступлению следующее: «Лишь отдельные одобрения, которые встретила эта несомненно замечательная речь, показали, какое преобладающее большинство стояло на точке зрения “сочувствия нужде”».

Несмотря на эти принципиальные различия — ибо и для Наумана национальное могущественное государство было прежде всего средством социальной реформы, — Вебер, напротив, требует социальной и политической справедливости для утверждения национального государства. Он вступает в Национально-социальный союз и где только может поддерживает Наумана — тогда как другие его соратники (в том числе Пауль Гёре и Мауренбрехер) отошли от него, примкнув к левым. Первую кандидатуру Наумана в рейхстаг финансировали Елена Вебер и Ида Баумгартен, обе к тому времени овдовевшие. Но, к сожалению, опасения Вебера оправдались. Газета перестала выходить уже через год из-за недостатка средств. Первая борьба за представительство в парламенте принесла, правда, известный успех, основанный на уважении, но ни в одном избирательном округе не достигла цели. Новая организация, которая не хотела быть бюргерской партией и держалась также в стороне от социал-демократии, привлекла, правда, личностью своего вождя ряд значительных и благородных лиц из бюргерства, но массы остались в стороне и тем самым она не стала «машиной». Когда после пятилетней дальнейшей работы в избирательной компании опять прошел только один кандидат, а Науман вторично потерпел неудачу, судьба национально-социального союза как отдельного движения была решена. «Большая волна поглотила нас». По предложению Наумана оно объединилось с левым демократическим крылом бюргерства, со свободомыслящим союзом, и образовало с ним либеральный избирательный союз, следовательно, примкнуло к бюргерству, как того желал Вебер 5 лет тому назад.

В рассмотренных здесь годах линия жизни Вебера несомненно шла в сторону практически-политической деятельности. Его национальное чувство было слишком сильным, чтобы позволить ему удовлетвориться деятельностью за письменным столом. Его инстинкт борьбы и дар речи также требовали иного, не только литературного использования. И если теперь способности к преподавательской деятельности и научной работе не могли больше вызывать у него сомнения, то он отнюдь не был уверен в том, что для него самого они являются подходящей формой применения его сил. В этом смысле он и сказал Л.Брентано: «Если я и достиг в академической деятельности успехов, к которым не стремился и на которые не претендовал, то они оставляют меня холодным и не дают мне ответа на вопрос, нахожусь ли я на *этой* стезе на подходящем для меня месте». Впрочем, он откладывал каждую попытку перейти в область практической политики на более позднее время, хотя пути к этому были проложены уже тогда. В начале 1897 г. он принял предложение либерального политического союза в Саарбрюккене, в сфере господства Штумма, прочесть там доклад. Через некоторое время ему предложили выставить отсюда свою кандидатуру в рейхстаг. На этот раз Вебер отказался, так как перед ним открывалась новая сфера деятельности. Философский факультет Гейдельбергского университета пригласил его в качестве преемника старого профессора Книса. Вебер счел политическую деятельность несовместимой с новыми обязанностями.

К тому же ему было бы нелегко войти в какую-либо из существующих партийных групп. Национально-социальное движение в качестве платформы не могло быть серьезно принято в расчет. С левыми либералами он разделял *демократические* идеалы, но не находил у них атмосферы большого национально-политического пафоса — в этом отношении они были для него «обывателями». С национал-либералами он разделял *индивидуалистические* убеждения и отношение к промышленному капитализму как к необходимой для народного хозяйства организующей силе. Препятствием был недостаток у него социальных и демократических убеждений и социально-политического понимания. С консервативными и пангерманскими кругами его объединял *национальный пафос*, однако они поддерживали экономическую политику аграриев за счет немцев, за счет других соотечественников. В апреле 1899 г. он вышел из пангерманского союза, сообщив об этом в следующем письме:

«Не зная, кому мне следует направить подобное сообщение, я имею честь уведомить Вас о моем выходе из «Пангерманского со-

юза». Причина заключается в отношении Союза к вопросу о польских *сельскохозяйственных рабочих*. В то время как Союз с одинаковой страстностью обсуждает и рассматривает важное и неважное (часто просто *quisquilien*<sup>37</sup>), он в *жизненном вопросе* немецкого народа не вышел за пределы случайных, очень редких и чисто платонически высказанных пожеланий, *никогда* не требовал полного — конечно, лишь постепенно возможного — выселения поляков хотя бы приблизительно с такой энергией, как национально-политически не имеющего большого значения выселения датчан и чехов, посредством чего правительство успокаивает общественное мнение. Ваш союз принял готовность кенигсбергской сельскохозяйственной палаты бесстыдно требовать *поселения* поляков: требование аграриев в ландтаге облегчить польскую иммиграцию правительство поддержало при условии согласия на это России (!), Денежные интересы аграрного капитала, представителями которого являются многочисленные консервативные члены Вашего союза, выше для него, чем жизненные интересы немецкого народа. Чтобы иметь свободу публично выразить свое мнение, когда представится такая возможность, я выхожу из Вашего союза. Я защищал свою точку зрения внутри союза в докладах, прочитанных в Берлине, Фрейбурге и т. д., безуспешно пытаясь изменить позиции союза: эти бессмысленные попытки мне, наконец, надоели, тем более, что мой голос, как Вы знаете, в этих вопросах вообще не имеет веса. Я ведь считаю «врагом юнкеров». Все сказанное, конечно, никак не препятствует мне ощущать живую симпатию к стремлениям союза и не ослабляет моего искреннего уважения к его ведущим деятелям» (22.4.1899).

## Глава VIII

# Падение

Когда Вебер вошел в курс всех требований круга фрейбургской деятельности и стал там укореняться, его пригласили в Гейдельберг. От предложенных ему незадолго до этого руководства и организации Института социальных наук во Франкфурте (фонд Мертона) он отказался, хотя свободное распоряжение миллионами для развития науки и было привлекательно. Прощание с Фрейбургом и кругом друзей, в котором он так хорошо себя чувствовал, было тяжело, но чаша весов опустилась все-таки в сторону Гейдельберга, где мягкий воздух родины окружал Неккар, к нему притягивали веселые воспоминания детства и первые радостные годы студенчества. К тому же там он будет меньше чувствовать себя «вне политического мира», чем во Фрейбурге, и с этим университетским городом издавна связана слава особенно интенсивной духовной жизни. Итак, Вебер благодарит и прощается с Фрейбургским университетом. Закончившийся отрезок жизни был во всех отношениях благословен. Вебер сбросил тень прошлого и со все растущим познанием силы справился с громадной нагрузкой. Он стал весел и свободен. Дружественные связи, особенно с риккертовским домом, неразрывны. Однако Веберы теперь душевно более гибки, чем 2 1/2 года тому назад, когда они уезжали из Берлина, к тому же их привлекают новые задачи в любимом родном городе. Вебер обещает жене осторожнее относиться к своему здоровью, так как он не связан обязательствами, и он выполняет это решение, редко выходит из дому и рано ложится спать.

Вебер стал коллегой своих прежних учителей, так как в Гейдельберге работали еще — в очень преклонном возрасте — звезды научного мира: Куно Фишер, Иммануил Беккер, Эрдманнсдёрфер и другие. И все академическое общение еще носило по своему стилю жизни, взглядам и общественным привычкам отпечаток этого поколения сильных духом, старых тайных советников. К этому относились и пышные трапезы. В то время как во Фрейбурге старшие ученые в соответствии со скромными условиями моло-

дых приглашали на скромный ужин, здесь, напротив, в задающем тон кругу «торжественный обед» занимает ранг культового акта: Веберу было сказано, что принятие приглашения к старейшине (senior) юридического факультета И. Беккеру относится к «обязанностям», ради которых допустима даже отмена семинара. Однако Вебер протестовал против этого обычая и после того как он с женой несколько раз принимал в нем участие, при свечах за закрытыми ставнями даже летом, когда светило яркое солнце, они решили во всяком случае для себя вывести эту «обязанность» из обихода и собираться со своими сверстниками, сохраняя неприятительные фрейбургские привычки.

Новая жизнь складывалась разнообразно и хорошо. Вместо высоко поднимающихся гор Шварцвальда теперь к радостному отдыху призывают мягко тянущиеся вершины Оденвальда с их пышной южной растительностью, и серебряная река, которая здесь течет в далекую радостную рейнскую область, соединяя уютный уголок с далью. Находятся новые, значительные друзья: Георг Еллинек, Пауль Хензель, Карл Нейман и прежде всего ровесник Вебера, теолог Эрнст Трёльч, которого связывает с супружеской четой тесная дружба. Свобода и широта ума, бьющая ключом живость, пластически-созерцательное мышление, тонкий юмор и непосредственное теплое чувство делает его собеседником, научный и душевный обмен с которым приятен и плодотворен. Правда, в ряде вопросов, особенно политических, у мужчин ориентация различна. Трёльч относился по своим тогдашним воззрениям еще к старому «национально-либеральному» поколению; его ярко выраженным буржуазным инстинктам были чужды социальные и демократические идеалы. Он не верит во многое из того, к чему стремятся Веберы: ни в духовное и политическое развитие рабочего класса, ни в духовное развитие женщин. Различны они и по темпераментам. Для Трёльча достаточно, что он борется в теологии за духовную свободу и терпимость — в остальном он не борец и считает возможным прийти в человеческих слабостях к соглашению, компромиссу и примирению.

\* \* \*

В своей профессии здесь также надо было быстро решить ряд срочных проблем. Предшественник Вебера Книс ушел со своего поста старым человеком. Педагогический состав был недостаточен. Вебер был вначале единственным ординарным профессором по данному предмету, состояние которого он сразу подверг критике как неудовлетворительное для университета высокого ранга. Поэтому он добивается создания второй кафедры. А так как профессор

Книс презирал семинары, которым Вебер придает решающее значение, ему пришлось организовать семинар и создать необходимую для этого библиотеку. Однако это его даже радует, так как он владеет своей специальностью и сам находит удовольствие в прозрачном, строго расчлененном построении своих больших лекций по теоретической и практической политической экономии, аграрной политике и рабочему вопросу. Его лекции всегда тщательно продуманны, но при этом он говорит свободно под влиянием момента: строгая структура понятий покрывается полнотой исторического знания, необычная острота мышления дополняется столь же необычной пластической силой. Он делает даже самое абстрактное понятным посредством полноты примеров и непосредственности преподнесения материала. Каждая лекция выходит как будто свежей из мастерской его духа. Для большой лекции по теории политической экономии он дает студентам напечатанный обзор, который предполагает переработать в учебник. Марианна живет — в соответствии с желанием Вебера — собственной полной духовной жизнью. Она слушает его лекции по политической экономии, и другие лекции по философии и берет тему в семинаре Пауля Хензеля. Помимо этого она берет на себя руководство недавно основанным союзом распространения современных женских идеалов. Вебера радует ее жажда деятельности, он едва ли не более рьяный защитник женских прав, чем она, внимательно следит за отношением к этому общественного мнения, помогает, где может, и готов с копьем в руке оказать, когда понадобится, сопротивление старой гвардии. После одного из первых публичных диспутов со светилом университета о правах женщин — волнующее событие для молодого Союза — Марианна рассказывает следующее:

«Настроение было создано четвертьчасовой речью Макса. Он построил ее очень дипломатично, облек свои замечания в такую форму, будто хочет лишь подробнее интерпретировать воззрения «господина коллеги», которые мы, быть может, неправильно поняли. При этом он, конечно, развил *свою* точку зрения, описал в кратких чертах весь женский вопрос и говорил от имени женщин то, что они таили в душе, но пока еще способны были лишь неясно пробормотать; попутно он сделал ряд сильных предостережений старомодным женщинам, значительно более рьяным врагам всего движения, чем мужчины, вследствие своей нетерпимости к новому типу. Он сравнил их с курами, немилосердно бьющими клювами чужую курицу, попавшую на их двор. В общем это было замечательно, мне кажется, что женщины готовы были выразить ему свои чувства в благодарственной процессии».

Постепенно в аудитории университета проникают первые студентки. Они хотят достигнуть не только своего женского, но и

общего человеческого предназначения. Каждую из них окрыляет сознание, что она пионерка нового мирового порядка, каждая чувствует себя ответственной за преодоление противостояний. Женщин нового типа жестоко преследуют стрелами насмешек и более тяжелым этическим оружием, и они медленно добиваются терпения и признания. К молодым девушкам, которые благодаря своей привлекательности скорее обретают одобрение, принадлежит первая ученица Вебера Эльза фон Рихтхофен, которая вместе с Марианной сидит на его лекциях. Она хочет, невзирая на свою молодость и нежность, стать инспектором на фабрике; это одна из программных профессий, к которым стремятся женщины, убежденные, что в качестве адвокатов женщин-работниц они выполняют необходимую социальную миссию. Одинаковые стремления женщин вскоре связывают их дружбой, и Вебер принимает большое участие в развитии своей ученицы. Под его влиянием прозорливый баденский фабричный инспектор готов взять ее в число своих чиновников. Это и происходит, причем располагающая личность молодого доктора, так же, как и с честью выдержанный экзамен, предоставивший эту степень, устраняют все сомнения. Это — первая женщина-чиновник, выполняющая свою трудную службу с мужеством и осмотрительностью, которая утвердила веру женщин в их дело.

\* \* \*

Так новая жизнь быстро давала богатое цветение. Вебер и Марианна чувствовали себя увереннее и эластичнее, чем раньше. Вдруг в начале лета 1897 г. разразилась тяжелая буря, оставившая неизгладимые следы в душевной жизни всех затронутых ею. Для Елены было потребностью ежегодно проводить у столь близких ей детей с тех пор как они уехали из Берлина несколько спокойных недель. Однако этого счастья никогда не удавалось достигнуть без трудностей, ибо ее муж не мог, как и раньше, смириться с тем, что его жена разделяет с другими чуждые ему интересы и состоит с ними в глубоких душевных отношениях, из которых он ощущает себя исключенным. Он не может отказаться от представления, что уже стареющая женщина все еще ему «принадлежит», что его интересы и желания важнее стремлений остальных и что у него есть право определять время и продолжительность ее отпуска. Гейдельбергские дети это признавать не хотят. В этом году оказалось особенно трудно согласовать различные желания. Елена не обладает силой просто делать то, что она хочет. Справляться с дурным настроением она не умеет, и когда речь идет о ее желаниях, она никогда не знает, чего ей ждать от супруга. Договоренности не со-



блюдаются, происходят раздраженные письменные объяснения — и в конце концов старший Вебер сопровождает жену в Гейдельберг, и таким образом ее спокойный отдых у детей укорачивается или вообще расстраивается.

И тогда давно грозившая беда разразилась. Сын не мог больше сдерживать накопившееся раздражение. Лава вышла из своих границ. Случилось невероятное: сын судил отца. Сведение счетов происходит в присутствии женщин. Никто его не удерживает. У него совершенно чистая совесть, ему становится легче от этой разрядки, которая кладет конец всем дипломатическим рассмотрениям семейных трудностей. Речь идет о свободе матери, она более слабая, никто не имеет право душевно властвовать над ней.

Старший Вебер бы настроен иначе, сохраняя понятия другого времени; он не мог и не хотел понять и признать — и меньше всего в этот момент — что его поведение было неправильным. И резкий характер упреков также не способствовал этому. Отец настаивает на своей точке зрения, поэтому и сын остается непримиримым — только понимание отца могло бы смягчить его. Они расходятся непримиренными. Для Елены наступают мучительные дни обвинения и самообвинения. Покров с иллюзии спадает. Так долго скрываема истина открывает свое строгое лицо: разбитый брак, сломанный пьедестал. Елена мучительно переживает судьбу своего мужа, виноватой в которой она видит себя; однако и ей кажется, что этот долго назревавший кризис был неизбежен. Однако она еще надеется, надеется на будущее понимание мужа, на возможность нового построения общей жизни, которая, начавшаяся под светлой звездой окрыляющей молодой любви, благословенная цветущими одаренными детьми, стоит теперь на голой скале отречения и истины. Правда, весна и лето давно прошли, но разве невозможно, что в осени жизни они, умудренные, вновь подадут друг другу руки для нового союза в свободе и помогающей друг другу любви? Сила ее надежды и ее сострадательной любви потрясает при чтении следующих строк:

«Бог даст, должен дать ему и мне силу нести и улучшить это. Поэтому я уничтожила ваши милые письма, в которых присутствует только мысль обо мне, поэтому я прошу вас при всей любви ко мне — дайте мне идти своей дорогой и попытайтесь, *пожалуйста*, попытайтесь подавить горечь, чтобы помочь мне. Ведь *не напрасно* я дала перед алтарем обет верности и любви в радости и *горе*; это не просто слова, а значит, что если горе исходит от него — ведь и я приношу *ему* горе. Я не могу, как это сделала Ида, сломать мосты, я должна строить, пусть даже в этой жизни мое построение будет непрерывно срываться. Я строю с мужеством веры и надежды, которая никогда не исчезает. Знаю, я часто бываю сла-

ба и делаю все неверно, но жить без этого я не могу. Видите, вас, взрослых, я уже не могла избавить от отчуждения и горечи, что он так глубоко чувствует и считает виноватой в этом меня — он и не *может* относиться к этому по-другому, но более молодым — позвольте мне сделать разрыв менее ощутимым. Сдаться, нет этого я не могу и не хочу; это было бы ложью по отношению к нему, и если только он мне опять поверит, то научится, насколько может, проявлять терпение к тому, что мною внутренне движет и подавлено быть не может. Но строить я должна, и для того, чтобы он научился верить тому, что христианство означает держаться любви, которая все терпит, на все надеется, и что он должен признать это во мне. И поэтому предоставьте мне строить, и ах, пожалуйста, помогите в терпеливой любви!»

Но судьба шла своим путем. Стареющему человеку не было дано сломить черты собственной сущности. Когда Елена через несколько недель вернулась домой, он замкнулся по отношению к ней. Этим он достиг противоположного тому, на что в глубине души, быть может, надеялся: Елена, обычно всегда готовая обвинять себя, когда случается дурное, не смягчается невыносимым положением, напротив, становится более уверена в сознании высшего права, которое должно быть наконец завоевано. Ее муж отправляется с другом в путешествие. Она еще может надеяться, что после перерыва он встретит ее изменившимся. Но через короткое время ей приносят его брентную оболочку. Его жизнь внезапно прекратило кишечное кровотечение. Оказалось, что его сильный организм уже давно таил в себе очаги болезни. Открытого радости и наслаждению человека, всегда уверенного, что ему предназначено «счастье», способного вытеснять из своего сознания растущие несогласия, в конце концов настигла истина, которая должна была его душевно разрушить, разве что он сумел бы в смирении задуматься о себе и вывести из этого новое понимание. Но было слишком поздно. «Умри и стань» не было ему дано в его земной жизни.

В яркий августовский день на траве сада стоял катафалк. Елена и все ее дети окружали его. Молодые переживали смутно, старшие с отчетливой ясностью — жестокою трагедию этого конца. Но старший сын не ощущал упрека. Происшедшее семь недель тому назад объяснение казалось ему и у этого гроба неизбежным. Лишь через много лет на свободной от чувства дистанции он сказал о своей вине — по форме, не по существу. Его отношение внушало и Елене уверенность. Своему младшему брату он позже писал следующее:

«Несомненно, что тогда со всех сторон очень много делалось неправильно, в частности и мной. Однако по существу мама не могла действовать иначе, она могла только следовать своей природе и своей совести. Если она допустила ошибку, то эта ошибка

заклучалась в том, что она просто не *делала* то, что считала необходимым — тогда наш отец, который ведь был очень привязан к ней, *привык* бы к ее другому поведению и к ее особым интересам, которые он не разделял (религиозные и социальные). Но у нее была потребность иметь его внутреннее согласие. Его она не получила, а так как она по своей природе не была способна силою проводить свою линию, она внутренне очень страдала и наконец полностью отошла от него, значительно дальше, чем он предполагал, пока наконец это не увидел. Он сам не понимал ни ее, ни свое собственное преимущество; ведь насколько счастливее был бы он, если бы решился дать ей полную свободу по изречению: «Живи и давать жить другим»...

Продуманное толкование судьбы матери в браке и личности отца, которое Вебер дал матери к ее семидесятилетию, выражено в документе, приведенном в дальнейшем изложении.

## II

Через некоторое время после похорон чета Веберов отправилась в Испанию. Макс нуждался в духовном и душевном успокоении, и его он находил только в новых впечатлениях, которые он и на этот раз излагал в подробных письмах матери. Сначала на души путешественников оказывает воздействие величие Пиренеев и их холодное, живительное дыхание — перед этими отступающими от земли контурами в легком, пьянящем воздухе вся человеческая суэта теряет свое угрожающее значение. Затем внимание приковывает новый чуждый мир Северной Испании, который ежедневно заставляет мириться с неудобными неожиданностями. Вебер легко раздражается, сердится на неразбериху в средствах сообщения, но и на этот раз открыт новым впечатлениям, которые он жадно впитывает, замечая самые привлекательные стороны чуждого мира. Лишь беспокойство, с которым он все время ищет новых впечатлений, он сам расценивает как признак нервного истощения. «То, как ты пишешь, что в нормальных условиях множество воспринимаемых нами впечатлений могло бы не быть благотворным, верно. Однако пока о работе у меня не могло быть и речи, я в *одном* месте бы не выдержал; для обычного спокойного восприятия природы настроения, конечно, не было; можно было лишь подвергнуться всей полноте мощных впечатлений, чтобы обрести силу нервных ощущений и вернуться к способности объективного переосмысления всего пережитого. Это, как мне кажется, достигнуто. Но на обратном пути перенапряженный организм реагирует плохим самочувствием. Вебера лихорадит, и он чувствует себя больным. Даже по дороге домой, отложить которую было невозможно, он еще не-

здоров. Но на это он не может обращать внимание, так как назначенный евангелическо-социальным конгрессом в Карлсруэ курс заставляет его начать занятия: «Мы, правда, дома, но ежедневно в пути, в 3 часа после обеда мы едем в Карлсруэ и возвращаемся вечером, сегодня мы вернемся даже в 3 часа утра, так как после доклада Макса последует дискуссия. Я радуюсь за него, что эти дни скоро пройдут, и мы сможем отдохнуть от нашего предназначенного для отдыха путешествия». С начала семестра все как будто в порядке. Вебер выполняет все профессиональные обязанности, совершенствует свои лекции и уделяет особое внимание работам своих учеников. Если он встречается у ученика подлинный интерес к предмету, он настолько увлекается, что откладывает собственные работы. В то же время прочитан ряд докладов в других городах — в Мангейме, Франкфурте, Страсбурге.

И вот в конце перегруженного работой семестра из неосознанных глубин жизни некое злое нечто направляет на него свои когти. Как-то вечером после проверки работы ученика, при которой он, как всегда, расходовал все свои силы, на него нападает полное истощение, ощущение жара в голове и сильное чувство напряжения. Семестр закончился, но эти призраки не исчезают. Вебер чувствует угрозу и обращается к врачу. Тот отнесся к этим симптомам у крепкого человека несерьезно, отнес их к постоянному переутомлению и душевной возбудимости и посоветовал отправиться в путешествие. Вебер провел с женой несколько недель у Женевского озера. Там на этот раз весна запоздала. Было холодно, склоны гор оставались мертвыми и коричневыми, они не могли прижаться к земле. Вебер много ходит, надеясь успокоить нервы физическим утомлением. К началу семестра он чувствует себя, как он пишет матери, скорее перенапряженным, чем изнуренным:

«Пребывание было очень полезным, я ощущаю его последствия теперь, когда вновь начинаю много работать, и надеюсь, что через несколько недель забуду о всех неприятностях тем более, что признаки выздоровления несомненны, так как помимо напряжения определенных нервов головы и легких приливов крови чувствовал себя физически и духовно особенно хорошо и теперь только чувствую...»

«Конечно, нервными чудаками все мы остаемся, с этим ничего не поделаешь, но после того, как все, что подавляло, преодолено, юмор помогает больше об этом не заботиться» (Глион, 14.4.98).

Но через несколько недель умственной работы он перестал спать — обычно сон был для него источником сил для каждого занятого работой дня — стали проявляться функциональные нарушения. Вебер чувствовал себя больным. Когда он на Троицыну

неделю, чтобы избежать обычно желанного посещения друга, предпринимает в одиночестве прогулку в Оденвальд, пышность мая внезапно скрывается под темным покровом. Он чувствует себя очень измученным, его сильный организм слабеет, набегают слезы. Вебер ощущает себя на повороте. Столь долго подвергавшаяся насилию природа начинает мстить. Врач не отнесся к этим симптомам серьезно, прописал процедуры холодной водой, что только усилило возбудимость и привело к полной бессоннице. На каникулы врач посоветовал пребывание в санатории. Вебер подчиняется всем врачебным советам с доверчивостью ребенка, проводит несколько месяцев в переполненном, беспокойном заведении у Боденского озера. Там его подвергали всем принятым тогда процедурам и необычным телесным упражнениям. Он с готовностью всему подчиняется и с любопытством наблюдает за всем, что с ним предпринимают. Когда же восстановить желанный ночной покой и устранить напряжение не удастся, он тайно хочет только освободиться от всех должностных обязанностей. Но он не говорит об этом — «ведь не мог же я сам предписать выписать себе отпуск». Осенью его состояние как будто значительно улучшилось. Физически полный сил, духовно неизмененный, он возвращается к работе. Никто не считает его больным. Но через несколько недель нервы опять сдают, преподавание — ведь раньше каждая лекция была свободным творчеством — становится мукой. Он готов к длительной болезни: «Теоретически я полностью принял к сведению, что мне придется достаточно долго иметь дело с этими историями (которые, вероятно, подготавливались годами)». Но он еще имел большой запас сил и полагал, что видит уже дно чаши. И не была ли эта болезнь лишь долго собиравшимся облаком, заключительный разряд которого мог действовать почти как освобождение от таинственно угрожающей враждебной силы? Не готовит ли она в будущем большую *гармонию* жизненных сил? В этом смысле писал он жене, когда ему пришлось на несколько недель расстаться с ней:

«В такой болезни есть все-таки много хорошего — мне, например, она открыла чисто человеческую сторону жизни, которой маме всегда у меня в известной мере не хватало, открыла в степени, мне ранее не известной. Я мог бы вместе с Джоном Габриэлем Боркманом сказать «ледяная рука отпустила меня», ибо моя предрасположенность к болезни выражалась в прошлые годы в том, что я судорожно цеплялся за научную работу, как за талисман, хотя и не мог сказать, почему. Теперь, когда я это вспоминаю, мне все становится достаточно ясно, и я знаю, больным или здоровым, таким я больше не буду. *Потребность* ощущать себя изнемогающим под бременем работы погасла. Я хочу прежде все-

го по-человечески прожить свою жизнь с моей «девочкой» и видеть ее такой счастливой, какой мне дано ее сделать. Что я при этом буду совершать меньше, чем раньше в моей внутренней деятельности, я не думаю: конечно, это будет всегда зависеть от моего состояния в каждый данный период, действительное полное улучшение которого потребует во всяком случае основательного времени и покоя. Но ты вполне права, душа моя, так интенсивно жить вместе с кем-нибудь, как в это время с тобой, я раньше вообще не мог».

Да, это время принесло супружескому сообществу особенное благословение. Жена Вебера была сама нервна и с ранних лет приучена щадить психически больных. Поэтому она могла полностью вчувствоваться в состояние мужа и вести себя так, чтобы ему было хорошо с ней. Если раньше суверенная самодостаточность Вебера время от времени ставила перед ней вопрос, нужна ли она ему, то теперь она в этом не сомневалась. Из открывшейся узкой расщелины расцвело ей высокое счастье: этот сильный человек нуждался в ее постоянной заботе и присутствии, она могла ему служить. Совместная жизнь наполнилась глубиной и близостью, которые и больной воспринимал как новое счастье: «Ты недавно писала, что последнее время было в некотором отношении прекрасным в частности потому, что мы так интенсивно жили вместе — и это действительно так, а для меня это было, несмотря ни на что, особенно прекрасным и будет всегда таким в воспоминании, потому что до того я еще никогда так не ощущал, как прекрасно чувство глубокой благодарности по отношению к любимому человеку, как то, которое я ощущал по отношению к тебе».

\* \* \*

Но это было только началом адских мук. Рассчитанное на сильное тело лечение обмена веществ достигло успеха. Вебер начал в хорошем состоянии читать лекции. Но через несколько недель произошел новый обвал, перед Рождеством такой упадок сил, что спина и руки отказывали даже при украшении елки. Вебер промучился до конца семестра:

«Это трудное время, но мы не дадим себя победить. Макс, несмотря на иногда прорывающуюся ярость и нетерпение в целом переносит это со стоической объективностью или, вернее, как принесенное судьбой. Мы не теряем и юмор и почти всегда веселы, когда вместе. Только не надо другим слишком много спрашивать или давать добрые советы. *Мне* хорошо — то, что я ему нужна, является все время вновь дающим блаженство источником счастья».

Чем же больному человеку, для которого каждая духовная работа — яд, занять свои пустые часы? Практическая деятельность любого рода ему не подходит. Художественные способности он не развивал; с юного возраста у него все было направлено на мышление. Эта остановка драгоценной машины, которая до сих пор, послушная духу, работала непрерывно — разве это не невыносимо? «Плохо, что у него нет никаких любимых занятий или что ему нельзя дать какую-либо «ручную работу» или механическое, но все-таки интересное занятие. Мне уже пришлось в голову уговорить его делать зарубки, но пока еще он меня высмеивает. Когда он много часов подряд сидит и «тупеет», как он это называет, я становлюсь совсем грустной. Он же утверждает, что это приносит ему пользу. Эти односторонне образованные мужчины становятся как бы преданными и проданными, когда их голова не повинуется, — если бы можно было послать его в кухню!» Да, что только не придумают! Елена прислала воск и слепленную маленьким Максом фигурку. Жена дает ему глину и счастлива, когда он добродушно соглашается лепить из нее.

«Несколько раз он с большим рвением моделировал, я удивлена его талантом, мне кажется, что у него художественное дарование. Чего он вообще *не* может? И поэтому так трудно видеть его силу неиспользуемой. Заниматься лепкою ему можно тоже недолго, это его утомляет. Елена получает в день рождения его первое пластическое произведение — воспроизведение умирающего люцернского льва — было ли это неосознанным символом? Посылая это, он пишет ей: «С нашими сердечными представлениями в соответствии с изменением функций в нашем хозяйстве на этот раз от меня приходит ручная работа — продукт довольно утомительных часов, которую ты может быть используешь как пресс-папье». Но затем от ручной работы приходится отказаться, она утомляет. Его жена предпринимает последнюю попытку и приносит ящик для каменных сооружений — друзья рассказали ей, как увлекательна эта игрушка — больной действительно начал строить из любви к ней, но руки дрожат, когда он кладет камни друг на друга, спина болит. Ничего не поделаешь, приходится полностью отказаться от попыток развлечь его таким образом. Он просто сидит у окна своей квартиры в «парке» и смотрит на расцветающие верхушки каштанов. «О чем ты думаешь?» — «По возможности ни о чем, если удастся». Он стал очень раздражителен. Человеку, который раньше после напряженнейшей работы засыпал глубоким сном и совершенно не реагировал на шум, теперь после обеда и вечером мучителен малейший звук. «Мице также стала вызывать раздражение, так как она иногда днем или утром мяукала и выводила Макса этим из себя, поэтому мы ее отдали, тем более, что у Берты теперь

есть жених, и она не нуждается больше в четвероногих». Поскольку состояние Макса не изменилось и в каникулы, он, наконец, решил просить освобождения от лекций в летнем семестре (1899) и сохранить только свой семинар: время, подобное неделям последнего семестра, он просто неспособен еще раз выдержать! Перспектива освобождения сразу подействовала облегчающе, так же как новая врачебная консультация. Вебер пишет матери — правда, стремясь прежде всего обрадовать ее:

«Теперь, если правительство удовлетворит мою просьбу об освобождении от лекций, меня ждет довольно спокойный семестр и так как мне теперь уже гораздо лучше — примерно как осенью — то я надеюсь значительно продвинуться в моем состоянии. После того как еще раз — теперь уже в последний раз! — проверено все, что есть у меня и во мне с одинаковым негативным результатом, и после того как я могу точнейшим образом указать, что мне полезно и что нет, можно распределить находящееся в моем распоряжении рабочее время. Я хочу только, чтобы вы поверили, что не психическая апатия заставляет меня в определенные стадии переутомления отказываться от всех так называемых «импульсов», и если я теперь взял отпуск, то неспособность говорить носит чисто физический характер, нервы отказываются реагировать, и тогда при взгляде на мои записи лекций я близок к потере сознания. *Теперь*, как всегда, когда путь идет решительно вверх, я в наилучшем настроении, как, впрочем, уже некоторое время».

Ряд строк этого письма позволяют предположить, что Елене трудно понять, в чем состоит таинственная болезнь сына. Ведь ее героическая, постоянно напряженная до немилосердного насилия над собой воля преодолела все душевные и физические трудности. Почему же не может это совершить ее сын? Правда, напряжения творческой способности жизнь от нее не требует. Но разве действительно человек *не* может то, чего он хочет, если члены его тела здоровы? Или разве нельзя по крайней мере, не обращая внимания на отдельные симптомы болезни, достигнуть большего равновесия? Вебер действует в субстанции своей сущности как неизменяющийся, и хотя он стал теперь стройным и бледным, физически все еще воспринимается как могучая сила. Иногда можно все счесть злым призраком, который при сильно сказанном «Я не хочу» так же быстро исчезнет, как появился. Активная женщина, от которой ожидание и наблюдение во всех жизненных ситуациях требует большого преодоления, тяжело страдает от того, что по отношению к этой болезни ей приходится сознавать — при ее посещениях она это чувствует, — что невысказанное, правда, но ощущаемое предположение скорее утомляет, чем помогает сыну. Для тонкого чувства чести Вебера самым мучительным является, когда



ему, желая его ободрить, говорят, что он совсем не производит впечатления тяжело больного и когда друзья, утешая, восторгаются его хорошим видом.

Елена и ее остальные дети строят издала время от времени предположения и планы, принять которые невозможно. Марианна пишет: «Мне очень жаль, что я так раздраженно ответила на Ваш продиктованный любовью план. Подлинно глубокая причина этого заключается, вероятно, в том, что я время от времени ощущаю Ваше предположение, будто состояние Макса может быть улучшено энергией, самопреодолением. Я не могу допустить у него даже видимость слабости воли. То, что он уже пять недель не ведет семинар, что и теперь он еще каждую неделю снимает две лекции, хотя это ему чрезвычайно неприятно по отношению к студентам и коллегам, свидетельствует о том, насколько он чувствует, как ему *вредно* каждое духовное напряжение. А что это ощущение объективно обоснованно, сразу бросается в глаза. Эти недели были невыносимым психическим и физическим бременем, так как он ощущает, что в данное время просто неспособен выполнять свои профессиональные обязанности. Вам отнюдь не следует представлять себе Макса апатичным и безучастным по отношению к внешнему миру, он лишь искусственно налагает на себя ограничения, пока идет семестр, так как его нервная система легко возбудима. Не представляйте себе также домашнюю атмосферу серой и мрачной, нет, несмотря на все, мы почти всегда веселы».

Но через несколько месяцев страдания: «Пока мы совсем маленькие люди, которым надлежит думать лишь о том, как им справиться своими слабыми силами со взятыми обязательствами и как достойно пробиться через возложенную на них в данный момент судьбу». Высказывание Вебера в письме более позднего времени позволяет предположить, какую внутреннюю позицию он занимал в период своего страдания. «Нужда учит молиться» — всегда? по личному опыту я бы это *отрицал*, хотя, конечно, я с Вами согласен, что это часто — для человеческого достоинства слишком часто — происходит». (5.4.08 из письма К. Фосслеру о его Данте.)

\* \* \*

От летних лекций 1899 г., следовательно, во второй год болезни, Вебер освобожден, но он все еще ведет свой семинар и руководит работой студентов. Каникулы супруги проводят у Эйбского озера и переезжают оттуда через горный перевал в Венецию. Освобождение от тягостных обязанностей и красота новых впечатлений оказывают и теперь свое действие. Но когда осенью Вебер опять берет на себя небольшую часть преподавания, вскоре происходит

обвал, более тяжелый, чем все предшествующие. Теперь больной не сомневается больше, что уже давно любая, даже самая незначительная часть его должностных обязанностей углубляет его болезнь и угрожает его духу. Он стремится выйти из прежнего круга деятельности. На Рождество он подает прошение об отставке. Это был трудный шаг. Ибо как удастся даже чисто внешне, без жалования, продержаться годы болезни, рассчитывая только на помощь семьи? Баденское управление народным образованием нашло выход. Оно хотело помочь больному человеку и сохранить его силы в будущем. Факультет также не хотел дать ему уйти. Прощение об отставке отклоняется и вместо отставки Веберу предоставляется длительный отпуск с сохранением оплаты. Для этого надо было немедленно создать вторую кафедру политической экономии, чего Вебер давно добивался. До приезда нового коллеги Вебер будет вести работы своих учеников. Подлинный отпуск начнется с осени 1900 г.

«Только что здесь был Арнсбергер — в министерстве они совсем по-другому поняли тонкости послания Макса и в конце концов решили, что у него другие планы и он *поэтому* просит об отставке!! Когда А. это узнал, он сказал, что об этом не может быть и речи, его, конечно, ни в коем случае не отпустят. Я стояла, как Сарра, за дверью и дружелюбные слова доброго старого господина были для меня посланием ангела. Макс вел себя, конечно, очень «благородно», но, слава Богу, не как завзятый моралист! Его отпуск продлится столько, сколько ему будет нужно. Итак, мы не совсем лишены корней».

Благородное решение было удивительным облегчением; можно было пока не беспокоиться о будущем. Правда, Макс втайне сомневался, что он сможет когда-либо вернуться на свою должность. Теперь он направил всю силу воли на то, чтобы должным образом способствовать занятию новой кафедры. «Последние 14 дней были нелегкими, каждое слово давалось ему с трудом. Предложения готовы, и Макс добился на факультете того, чего он хотел. Но это потребовало многих разговоров, вследствие чего он затем пролежал 8 дней...»

Кандидатура Вернера Зомбарта, которого Вебер уже во Фрейбурге предлагал в качестве своего преемника, была отклонена, кандидатура Карла Ратгена принята.

Теперь Вебер освободился и от этого, но его состояние не улучшается. Все, каждое движение для него чрезмерно: он не может, не испытывая мучений, ни читать, ни писать, ни говорить, ни ходить, ни спать. Все духовные и часть телесных функций не повинуются. Если же он все-таки заставляет их служить, то ему грозит хаос, чувство, что он может подвергнуться вихрю затемняюще-

го дух возбуждения. «Ему немного лучше, но может ли он, не причиняя себе вреда, следить за работами учеников, я не знаю — и поэтому решила, как только замечу, что ему хуже, проводить его в находящийся неподалеку санаторий».

Это и пришлось совершить в начале июля. Они решили надолго покинуть место их мучений и освободить дом. Вебер направился сначала в небольшое заведение для нервных больных в Урахе в Рауэ Альбе<sup>38</sup> и пробыл там несколько недель один. Низшая точка достигнута.

### III

Палатки, были, следовательно, снесены — кто знает, насколько? Мы были в полной печали и не всегда могли бороться с ужасом: концом будет, быть может, совместная гибель. Правда, большей частью вверх брала уверенность, что все еще может стать опять хорошо, как раньше. Марианна надеется и верит — верит в нерушимую творческую силу мужа, для нее он и в своем бессилии остается тем же суверенным человеком, каким он был всегда — скованным титаном, которого мучают завистливые злые духи.

Ее поддерживала в это время работа над ее первой публикацией. Вебер радовался этому, как всем выражениям ее собственной жизни. Он всегда предоставлял ей возможность следовать своим интересам. Даже в это страшное время, когда ему было трудно обходиться без нее, он уговорил ее пойти на женское собрание, почувствовав, что это доставит ей удовольствие. Он никогда не поддавался эгоизму. Уход из Гейдельберга был освещен в виде грустной радости по поводу выражения любви и почитания его учеников:

«Вчера был памятный день, богатый событиями. В 12 часов явился во фраке и белом жилете Лео Вегенер и, произнося торжественную речь, которая его так взволновала, что он почти плакал, передал мне адрес твоих учеников. Они действительно трогательны. Эльза сказала о старании, с которым они все придумывали и размышляли над каждым словом, и это было очаровательно. Адрес представляет собой довольно большую картину, выполненную в технике сепии, помещенную в красивый кожаный переплет. Она написана мюнхенской художницей — человек бросает с крутой скалы, на которую он взобрался, головни, они соскальзывают к его ногам по поросшей терновником скале, на которой высечены имена твоих учеников. Фоном служит золотая блестящая даль. Посвящение гласит: «Высокочитимый господин профессор и учитель! Счастливого Вам пути! Мы, не только обозначенные здесь, но *все*, на всю жизнь которых Вы оказали влияние, — желаем Вам

скорого радостного возвращения на гордость и процветание науки и к сердечной радости Ваших благодарных учеников».

\* \* \*

Вебер провел несколько однообразных тихих месяцев в лесном швабском городке Урахе среди добрых простых людей. Время от времени он проверял свои силы, прогуливаясь по высокогорному плато Рауэ Альба, но всегда ощущал движение как источник возбуждения и предпочитал спокойно лежать в саду. Его жизнь была теперь замкнута в маленьком кругу, любая проблематика была недопустима, даже посещение милых ему людей означало напряжение. Время от времени ему давала отвлекающую от однообразия радость природа, особенно если он мог без усилий воспринимать в экипаже ее меняющиеся картины. Через много лет с этой местностью он связывает свои воспоминания. «Когда я увидел «Рауэ Альб» с Нейфеном и вдали урахскую долину, я вспомнил тогда о той большой, большой любви, которую моя любимая девочка дала своему мужу, действительно странному парню; вспомнил о нашей поездке в Нейфен в день твоего рождения в первый, несколько более радостный день после трех четвертей года мрачной тьмы, вспомнил и о многом другом, что не забывается — и больше всего о моей девочке, которая все еще такая же теплая и молодая, как в то время, когда она была моей единственной связью с миром...»

Вебер чувствует себя еще больным, и одно для него несомненно: мученье последних месяцев, когда он под бременем многочисленных остатков от обязанностей своей должности, которые раньше он выполнял играя, задыхался в смертельном изнеможении, не должно повториться! Вспоминая об этом, он охотно сразу же порвал бы с прошлым, чтобы когда-нибудь начать с самого начала: «Я довольно подробно говорил с врачом о моих шансах в будущем, по поводу которых очевидно нельзя сказать ничего определенного. Что я в *обозримом* времени смогу заниматься *постоянной*, связанной с *определенными часами* работой без угрозы скорого повторения адского состояния прошлой весны, почти исключено. Поэтому мы не должны связывать наши помыслы с гейдельбергской должностью — я считаю даром неба, что не обременен честолюбием и достаточно «безразличен» к успеху, а для «мира» нет никого, кого было бы легче заменить, чем доцента. Психически было бы, наверное, даже лучше, если бы обстоятельства позволили сразу полностью от всего отказаться, я мог бы тогда медленно и свободно направить мой кораблик в море, когда ветер вновь станет благоприятнее, вместо того, чтобы стоять с моими надежда-

ми на якоре в Гейдельберге. Но все иметь человек не может, насколько еще нам лучше, если сравнить наше положение с участью тысячи других людей».

Осенью молодой кузен Вебера поступил в клинику с тяжелым психическим заболеванием. Умный юноша с тонкой душевной организацией стал жертвой того загадочного процесса, сущность которого тогда еще не была полностью уяснена, а для неспециалиста совершенно непонятна. Его очень мучили невысказанными требованиями к его «силе воли». При полной ясности мышления его действия были подвержены тяжелым торможениям, и замкнутый в стеклянных стенах, невидимых, но непреодолимых, он считал свое существование бессмысленным. Удастся ли вырвать его из темницы и вернуть осмысленной жизни? Врач не считал положение безнадежным. Задача была увлекательной. Когда серые ноябрьские туманы скрыли осеннее великолепие, Вебера потянуло на светлый радостный юг. Оставить юношу одного в пустынную зиму, в лишенном любого импульса окружении, Веберы не могли — может быть, нести ношу на плечах двоих легче, чем на одном. Когда они предложили ему сопровождать их, радость впервые озарила его мрачные черты. И они поехали втроем на Корсику. Целью было рекомендованное им как наиболее мягкое по климату Аяччо. Первое время все было удачно. Они находят действительно южную ясность, сияющую синеву высокого неба, которому подчиняется и море; по ночам царит такая ясность, что крупные планеты ярко освещают залив. А перед высокими, снежными горами — благородные серо-зеленые маслины, эвкалипты, кактусы. Покрывающий склоны лиственный лес наполняет остров ароматом лаванды и тимьяна. Красивый, смотрящий на замкнутую горами бухту отель почти пуст — англичане не приезжают из-за англо-бурской войны. Таким образом они находят тишину.

«На Макса местность и климат производят свое обычное воздействие и помогают ему преодолевать свое дурное самочувствие. В первую половину дня он почти всегда лежит у горы под маслинами, после обеда мы вместе гуляем, если он способен ходить, позавчера предприняли очень приятную поездку вдоль берега залива. Макс пытается не принимать ни снотворное, ни бром, спит он поэтому менее спокойно, но лучше, чем при подобных попытках в Урахе. Он стал значительно общительнее, что заметил и Отто, и что меня поэтому особенно радует. Только духовную пищу, кроме «Франкфуртской газеты» и «Фигаро» голова все еще отказывается принимать».

Вебер радуется новому и благодарно впитывает мягкую и одновременно величественную красоту — готовый в каждый хороший час забыть о себе и своем бремени. Иное происходит с больным

юношей, которого бессмысленная судьба лишила возможности действовать и приносить пользу. Он может лишь с большим усилием и преходяще освободиться от себя, его сковывает пронизательная безнадежность и даже при виде всего нового после короткого прояснения лицо вновь застилает покров апатии и глубокой оцепенелости. Если он несколько задерживается на прогулке, мы — в предвидении его дальнейшей судьбы — боимся, что он покончил с собой. Ради него они бы об этом не сожалели, но родители! Меланхолия, исходящая от этого недоступного выздоровлению человека, начинает через некоторое время оказывать влияние на самочувствие Вебера, — не грозит ли ему такое же безнадежное обволакивание? Юноша очень чуток, он не должен ничего замечать, это бы его погубило, усладить его одного также невозможно. Приходится терпеть. Возможно только одно, Марианна должна полностью посвятить себя молодому больному, чтобы по возможности воспрепятствовать Веберу общаться с ним. Поэтому Вебер был большей частью один. К тому же красивый опустевший отель закрыли. Они поселились в меблированных комнатах, не было больше ни бильярда, ни газет. Начался длительный период дождей. Почти невозможно было выйти из дому. Опустевшие дни однообразно и бесцветно тянулись под небом. Не было ни приятного кафе, ни витрин, ни музыки, видеть было нечего, ничего не происходило. Они ощутили, в какой степени существование культурных людей питается внешними импульсами. Вебер много лежит на софе и дремлет, но он не проявляет ни уныния, ни нетерпения, ибо несмотря на это однообразие он чувствует себя лучше. Мятежники, кажется, подчиняются: его приветствуют послы улучшения.

В марте они поехали в Рим, опекаемый ими юноша с ними, он все эти месяцы жил подготовкой к этому времени. Вебер хочет утопить болезнь и тяжесть жизни в море впечатлений. Здесь он может, минуя невзгоды дня, прийти к единству с вечным всех времен, ощутимо пережить в созерцании известное науке величие прошлого, расширить свое Я до предела сосуда истории. Каждый древний камень великого города говорит его исторической фантазии и очень волнует его; это лучше всякой терапии. Однако присутствие другого больного препятствует полету одухотворения, ибо он, несмотря на свой интерес, неспособен к этому чувству. Поэтому Вебер ощущает его присутствие как невыносимую тяжесть. Рим в качестве лечебного средства будет безрезультатен, если он не окажется, наконец, свободен. На обеих сторонах на карту поставлено многое. Юноша ничего не должен замечать. Наконец удастся расстаться, не нанося ущерба больному. Он прощается с полным доверием и возвращается к своим, на время более жизнеспособным, чем раньше. Когда после многих тщетных попыток придать смысл

своему существованию он через несколько лет в крайнем напряжении воли сломал свою тюрьму, Вебер мог изложить родителям его судьбу следующим образом:

«Дорогой дядя! Мы глубоко потрясены, — Вы это знаете, — завершением этой жизни. Каждый раз, когда в Аяччо Отто уходил на более длительное время, мы боялись, что не увидим его больше, *боялись* не за него, а из-за нашей ответственности. Я всегда считал заблуждением нашей не знающей жизни повседневной морали, что она в отличие от настолько более свободного и величественного ощущения древности, стремится видеть земную жизнь как благо, от которого человек никогда, даже если ее продолжение теряет всякий духовный *смысл*, не должен отказываться. Ваш сын был человеком, который, прикованный к безнадежно больному телу, все-таки, — может быть, отчасти *поэтому*, — достиг тонкости ощущения, ясности по отношению к самому себе и глубоко скрытой, гордой и благородной высоты внутренней жизни, как очень немногие здоровые. Это может знать и об этом судить только тот, кто видел его так близко и полюбил его, как мы, и кто одновременно сам знает, что такое болезнь. Насколько бедным и — как он сам слишком хорошо знал — все *более* бедным становилось содержание его жизни в ходе его судьбы, настолько богатой и нежной была его замкнутая стенами темницы повсюду препятствующей ему болезни все-таки столь своеобразно свободная его душа. К числу моих самых горьких воспоминаний относится то, что мы в свое время должны были прервать совместную жизнь с ним — причиной был мой ежедневно растущий страх, что он при его необыкновенной чуткости мог заметить, что моя способность выносить чье-либо общество и силы Марианны иссякают. Именно в последнее время мы обсуждали, посоветовать ли Вам отпустить его с нами в Америку или предоставить ему здесь возможность учиться. Быть может, он немного продлил бы этим свою жизнь, ... однако я почти верю, что *для него и для Вас* лучше то, что случилось. Ибо перед таким будущим, которое стояло перед ним, он поступил правильно, уйдя теперь в незнакомую страну *до Вас*: ведь Вам бы пришлось оставить его на земле беспомощным, одиноким, идущим навстречу темной судьбе. Поистине тяжело бремя жизни — и все-таки не тяжелее, чем некогда, бремя той греческой матери, которой по ее молитве была дана как единственное счастье смерть ее цветущих сыновей. Многим Вашим сыновьям жизнь дала самые значительные задачи — для этого ребенка Вы сами едва ли попросили бы нечто другое, чем такое счастье. Он проявил то, что от него требовалось: углубленность, духовную тонкость его самости, преисполненную силы воли, терпение без жалоб. *Внешние* задачи судьба перед ним не поставила и лишила его возмож-

ности самому поставить их себе. Это было не трусливое бегство, он распоряжался собой и отказался от жизни, которая была бы недостойна его. Мы никогда его не забудем, будем чтить воспоминание о нем и любить его так же, как Вы».

#### IV

После того как эта задача была выполнена, Вебер всеми силами стремился сразу же на долгое время уехать из Рима, чтобы перекрыть мучение последних недель другими впечатлениями. Супружеская пара едет в Южную Италию: Неаполь и его окрестности, Сорренто, Помпеи, Капри, Пестум. Вебер проводит ряд дней совсем тихо в Сорренто на покрытой пестрыми каменными плитами скалистой террасе над морем, погруженный в созерцание голубого залива, контур Искии, дымящегося Везувия с его покрытым белыми домиками шлейфом.

При погружении в это сияющее великолепие его равновесие восстановилось: «Для Макса самое целебное — радоваться и видеть по возможности больше прекрасного. Я часто думаю, что если бы мы предприняли такое путешествие уже два года тому назад, и он тогда взял бы отпуск, его выздоровление пошло бы скорее. Это врачи упустили, никто нам тогда этого не посоветовал». Когда Макс почувствовал себя лучше, он погрузился в созерцание Помпей и Пестума, а на пути в Салерно через пышущую весной Кампанию он установил сохранившееся древнеримское деление полей. «... Итак, мы были два дня в Помпеях. Макс совершил там нечто для его состояния грандиозное, два раза в день он по 2 1/2 часа наблюдал, очень интересовался и радовался...» В Неаполе они жили далеко вне города у Позилипа, над самым морем. Эта прекрасная местность, эти чистые линии, эта прозрачная голубая вода — источник забвения самого себя. И чем непривычнее впечатления, чем меньше они напоминают родину, — тем лучше: «Макс не проявляет еще ни малейшей тоски по прежнему существованию или по родине — признак того, как он все еще нуждается в отдыхе. Однако сил его хватает, чтобы радоваться ежедневным впечатлениям». Затем они вернулись в Рим, чтобы вместе воспринять реликвии наслаивавшихся друг на друга тысячелетий. Все руины озарены летним щедрым солнечным светом, каждый купол, каждый фасад купается и сияет в нем, и даже ночью за сверкающими звездами синее небо. Чудесна легкая жара раннего лета. Они подолгу лежат на зеленой траве виллы Боргезе и радуются, глядя, как молодые клирики сбрасывают свои развевающиеся сутаны и подобно другим детям мира играют в мяч. Природа и все происходящее действуют хорошо. Только люди часто



нарушают драгоценный покой ночей. Борьба за покой и сон иногда действительно труднее, чем борьба за мировоззрение: чего только нельзя было бы совершить, если иметь семь часов спокойного сна!»

В разгар лета спутники удалились в Швейцарию, в Гриндельвальд, чтобы испытать и действие горного воздуха. Сначала действие было дурным. Преодоленные демоны трясали своими цепями: бессонница, возбуждение, беспокойство — все духи мучений возобновили свои действия. Едва завоеванная почва стала вновь колебаться. Больной был глубоко потрясен рецидивом. Когда его жена после нескольких недель отсутствия вернулась, она нашла его почти в таком же состоянии, как год тому назад. Значит, ни в чем нельзя быть уверенным? Значит, каждая случайность может все поставить под вопрос? Правда, навестивший его брат вынес более благоприятное впечатление. «Правильно ли впечатление Альфреда о достигнутых успехах в состоянии Макса? Хотелось бы верить, но он уже сегодня сказал, что так устал, так устал и ему не легче от того, что мы предполагаем у него способность к действиям: он чувствует, что ее нет. Он все еще очень легко возбуждается и может иногда быть очень резким и субъективным, — но если спокойно развивать собственную точку зрения, он проявляет прежнюю объективность. В конце концов лабильный организм привык к горному климату — в Церматте при виде огромных глыб льда Вебер мог вновь поверить в улучшение. Теперь ему время от времени удавалось немного читать. Осенью путники в третий раз вернулись в Рим, в этот раз на всю зиму. Приятная итальянская семья предоставила им спокойное пристанище. Они живут в полном одиночестве. Когда Елена посетила своих детей, она нашла сына в значительно лучшем состоянии. Он опять доступен общению и счастлив, что находит в восприимчивой женщине еще одно зеркало величия Рима. В последние годы матери приходилось все время держаться в стороне — теперь ему доставляет удовольствие показывать и объяснять ей все. Елена счастлива, она впервые видит Рим, и хотя выглядит она — в 57 лет — как старая женщина, чувства и сердце ее молоды. Она настолько гибка, что способна стряхнуть все прошлое и полностью отдаться великому новому. Она воспринимает все: самодостаточное совершенство античных произведений искусства так же, как полную настроения глубину раннехристианских святынь, языческий Пантеон, как катакомбы и купол храма святого Петра. На форуме приходится следить, чтобы она не засунула в свой ридикюль слишком много мраморных обломков в качестве «сувенира» — или во всяком случае, чтобы «Большой» не заметил этого, так как это запрещено, а Вебер не любит нарушать закон и право. Недели в Риме относят-

ся к самым лучшим, проведенным ею со своими детьми, а для них это самоотверженно любящее материнское сердце — самое дорогое на родине. После ее отъезда Марианна ей писала:

«Макс шлет тебе сердечный привет, но он рассердился на твоё замечание, что ты на этот раз чувствовала себя принадлежащей нам, тогда как до того ты ощущала себя скорее «вторгающейся» в нашу жизнь. Это «ерунда», его и так огорчает, как ему трудно выразить тебе свою любовь, а это усиливается при таком ощущении — «так говорит патриарх». Итак, милая мама, я знаю, что в последнее время тебя одолевали эти грустные чувства, но причиной тому было безотрадное состояние Макса и твоё ощущение своей беспомощности помочь нам, правда? А замкнутость Макса была лишь инстинктивной защитой от всякого волнения».

Через некоторое время после приезда Елены Макс стал вновь читать серьезные книги по истории искусства. Он брал из библиотеки союза художников том за томом. Женщины незаметно подталкивали друг друга: Гляди-ка, он читает! Но делали вид, что ничего не замечают. Лишь через некоторое время они решились указать на успех. На это Вебер отвечал: «Кто знает, сколько это продлится»... «и только никакой специальной литературы»! Однако способность восприятия продолжала расти и с этого действительно после болезни, продолжавшейся 3 1/2 года, началось выздоровление. До этого времени он был убежден, что не сможет занять свою прежнюю должность, но теперь ему в счастливые дни кажется, что выздоровление в свое время не полностью исключено. Но всяком случае, чтобы не действовать опрометчиво, он хочет объявить на летний семестр лекцию и семинар. Надежды женщин возрастают.

«... До сегодняшнего дня самочувствие Макса было равномерно хорошим, он очень много читал — один толстый том сменяет другой, теперь это различные исторические книги, и он с поразительной быстротой расправляется с ними. Если бы я не звала его гулять, он не прерывал бы чтения, он наслаждается им, как человек, измученный жаждой. Меня согревает все это время большое чувство благодарности, правда, часто сменяемое неуверенностью и страхом — ночью сердце бьется попеременно от страха и надежды. Иногда надежда так растет, что резиныция на ближайшее будущее вновь с трудом завоевывается. Мне также еще предстоит научиться жить без равномерно давящей тяжести. Но если Макс постепенно вновь станет способен к деятельности, я каждый день буду петь: «На меня пал самый чудный жребий». И даже в воспоминании о прошедшем страдании останется только благодарность».

Улучшение продолжалось. Он начал и разговаривать, мог время от времени прерывать замкнутость и вступать в духовное общение с другими. Он виделся с другом своей молодости профес-

сором Шеллхасом в Институте истории и диспутировал с молодым историком Галлером.

«С Максом все хорошо! Я каждый день преисполнена тихой благодарности. Вчера он около трех часов беседовал с доктором Галлером, пошел в половине третьего в Институт истории и вернулся только около половины седьмого. Он читает статьи в «Ежегодниках» Конрада и «Философию денег» Зиммеля. В подходящий момент я, быть может, скажу ему, что при теперешнем состоянии его здоровья мне не кажется неуместным вторичный отпуск. Правда, пока я не жду успеха; впрочем, нельзя знать, каким будет при постоянном улучшении его внутреннее отношение к этому вопросу. Твою и Ш. озабоченность, что Макс в качестве приват-доцента будет впредь страдать от отсутствия влияния, я не разделяю. Я полагаю, что он продумал все последствия своей отставки и принял их. В этом ему очень помогают свойства его характера. Именно по отношению к коллегам по специальности у него потребность далеко идущего признания и терпимости к их своеобразию. В коллегиальных отношениях он вообще удивительно объективен. Я все время *удивляюсь* этой его способности и тем, насколько у него отсутствует потребность показать свою значимость».

Выздоровление манило. Казалось, все дело только во времени — так втайне думала Марианна — он должен быть на кафедре и в кругу студентов. Бессмысленно ведь, если этот дар учить юношество и руководить им посредством живого слова и влияния его личности не будет использован. Она могла еще надеяться, что все будет хорошо, так как и начавшийся новый год дарил признаки подъема. Он, правда, устает; выздоравливающий часто вынужден отдыхать по дороге; Марианна постоянно ощущает скрытое напряжение: достигнет ли он своевременно цели?

«Три дня тому назад его посетил очень умный доктор Х. Макс в течение двух часов говорил с ним об очень трудных вещах. Все шло от полного знания и так же пластично и остро, как раньше. Правда, ночью после этого было беспокойство и трионал». Он теперь часто бывает в Институте истории, чтобы поговорить с Шеллхасом и Мюллером, потребность в «жизни», следовательно, увеличивается. Лишь каждое долженствование приводит его в плохое состояние, как и раньше; так, ученическая работа, требующая основательной переработки, вновь убедила его в том, что пока каждая обязанность вызывает у него чувство бессилия и несоответственно обременяет его. Теперь мы живем в окружении самых разных книг, до чтения которых никогда не доходили; Макс поглощает невероятное смешение книг по истории, устройству и хозяйству монастырей, затем — Аристофан, «Эмиль» Руссо, Вольтер, Монтескьё, все тома Тэна и английские писатели».

Кульминацией этого отъединенного римского зимнего существования было посещение Фридриха Наумана, который принес сведения о современной жизни Германии и волну тепла и свежести.

«Догадайся какую радость мы неожиданно испытали! Позавчера явился во всей красе — я едва не обняла его в моем радостном изумлении — в нашу тихую келью *Науман!* Он приехал из Палермо, пробыл здесь лишь несколько дней, и мы провели много времени вместе. Позавчера после обеда были на Пинчо, вчера в первой половине дня совершили трехчасовую круговую поездку. Макс говорил, как водопад, был, правда, за обедом усталым, так что на *Via Appia* я поехала с Науманом одна. Мы показали ему все, но у нас обоих было впечатление, что прошлое его интересует значительно меньше, чем нас. Он, настроен слишком «современно», слишком социально и слишком экономически. Может быть, ему недостает и внутренней и внешней концентрации. Исторической фантазией Макса он также не обладает. Каменные памятники прошлого для него лишь пустые и сломанные раковины улиток, ему нужно непосредственное очарование местности и впечатления живой народной жизни. На него длительное пребывание в Риме оказало бы значительно меньшее воздействие, чем на Макса. Так мы наслаждались на исторической почве прежде всего настоящим и его личностью. Что он за милый человек! Его внутреннее спокойствие и объективность благотворны, его естественная любезность, личное участие и юмор очаровательны, а мягкость и широта его суждения о людях заставляют стыдиться своих оценок. Подумай, он едет всю ночь в Геную, чтобы дать жене обещанную телеграмму в воскресенье!»

Однако после прекрасных возвышенных дней вражеская рука вновь столкнула борющегося человека в состояние больного: «В последнюю неделю наша душа должна была опять ползть в пыли. У Макса было подряд несколько очень плохих ночей, он был этим совершенно разбит и в отчаянии, а я, если сказать правду, вне себя. Это была, по-видимому цена за посещение Наумана. На этой неделе он опять пришел в себя. Несомненно, такие нарушения нам придется переживать еще часто, но не могу сказать, что это частое переживание позволяет к нему привыкнуть».

## V

Незадолго до Пасхи 1902 г. Вебер уехал из Рима, чтобы быть ближе к родине. Ибо теперь после почти двухлетнего отсутствия и четырех лет болезни следовало опять начать гейдельбергскую жизнь. Вебер не поправился — он не чувствовал себя в состоянии

прочитать объявленную лекцию — но его состояние было значительно лучше, и он возвращался к духовному существованию. Прежде всего он был благодарен солнцу и великолепию вечного города за наполненные прошлым часы, которые почти в течение года сделали скудное настоящее достойным жизни. Он прощался с югом, как со второй родиной, куда его, когда по ту сторону Альп длилась продолжительная зима, часто влекло неудержимое желание. Сначала он провел еще некоторое время во Флоренции. Оттуда он вторично просил об отставке.

«Макс все-таки обратился с просьбой об увольнении его из числа ординарных профессоров и о зачислении в число профессоров без кафедры. Этим и министерство освобождается от увольнения его на пенсию. Это несомненно правильно; я тоже не хотела, чтобы он еще раз просил об отпуске и чувствовал себя обремененным этим. Однако я не нахожу, что правильные действия оставляют приятный осадок. При диктовке просьбы об отставке на меня еще раз напала весьма нефилософская и нехристианская ярость; не обошлось и без слез, которые очень рассердили Макса. Конечно, мне было стыдно, но не очень. В этой ситуации я совсем не героична».

Да, Вебер преодолел лишь низшие круги ада. То, что он около этого времени мог написать довольно длинное поздравительное письмо ко дню рождения матери, очень взволнованной помолвкой своего младшего сына, представилось ей и ему самому как заметное достижение: «Все довольно хорошо. Я даже написал маме письмо в восемь страниц, правда, не без труда». Оно гласило:

«Кажется, прошло несколько лет с тех пор как я не сам писал ко дню твоего рождения, и на этот раз тоже спина позаботится, чтобы я не сообщал слишком много. Однако тем не менее, когда здесь все в расцвете весны, я чувствую себя по-другому, чем в два последних раза, когда деревья зазеленели, и могу выступить с моими поздравлениями. Надеюсь, что волнующие эпизоды последнего времени в некоторой степени преодолены, и ты в начале нового года жизни смотришь в будущее увереннее, чем можно было ожидать. Что внутренние трудности, связанные с союзом двух людей, совершенно различных по степени своего развития, еще очень очевидны, вполне естественно. И так как именно перед Артуром стоит задача сделать прыжок на несколько лет вперед, то тебе предстоит длительное время ожидания, что внутренне тяжело. Наряду с другими трудностями, возложенными на матерей, таковой является и их судьба, которая заключается в том, что стремление детей к самостоятельности, когда оно пробуждается и пока оно не уверено в себе, обращается чисто негативно против родителей, и особенно против матери. Так ведь происходило со всеми нами, и я полагаю, что то же произойдет с Артуром и что,

быть может, в ходе этого развития и новая невестка не способна еще быть настолько открытой, насколько это станет для нее потребностью, что Вы пишете о ней...

Я ушел с моей прежней должности на должность руководителя семинара. Продолжать ждать можно было бы только если исходить из того, что зимой я смогу прочесть большой курс лекций. Это *невозможно*, ибо громко говорить я не могу. Сделают ли они меня почетным профессором или чем-либо подобным, уже совершенно неважно.

Приблизительно через три недели я еду в Болонью, затем в Милан и Лугано. От Сиены и т. д. я отказываюсь, так как это был бы крик и стоило бы дороже, а я хочу сэкономить, чтобы купить какую-нибудь мелочь для Марианны. Ведь неизвестно, когда мы вновь попадем сюда. Здесь во Флоренции только становится ясно, какое уродливое гнездо, собственно. Рим, и все-таки! там я мог бы жить всю жизнь, здесь вряд ли. Главное — историческая фантазия, тот, кто ее лишен, не должен ездить в Рим. Наличие ее у тебя — заслуга Гервинуса и древнего гейдельбергского воздуха. Но теперь спина решительно больше не хочет — она впервые так долго выносила. Итак, до свидания в новом, будем надеяться лучшем и богатым году жизни» (Флоренция 14.4.02).

Вебер возвращается в свой 38-й день рождения — орлом со сломанными крыльями. Коллеги и друзья находят, что его состояние очень улучшилось и надеются, что через некоторое время он станет прежним. Воздух родины обвеваает его теплом: «Хайни фон Штейер опять в стране!» Он приехал в воскресенье вечером из Фрейбурга, где он предстал перед Баумгартенами, Риккертами и Байстами. Затем, поскольку дрожки найти не удалось, мы отправились пешком под проливным дождем домой. Все было готово, украшено и освещено, и я заметила, что он радостно ощущал уют и чистоту собственного дома. Он находит квартиру очень красивой, играет со своими вещами и устраивается за письменным столом. Друзья приходят, уходят и радуются его свежему виду».

Через короткое время Марианна сообщает:

«Только что здесь был Дитрих Шефер и сообщил мне, что правительство предлагает Максу взять назад свою просьбу об отставке! Его хотят удержать на любых условиях». Вторично начинается колебание между отказом и надеждой. Вебера так уговаривают, что он, сопротивляясь и все-таки с благодарностью, соглашается на вторичное временное решение. Он будет вести семинар и участвовать в экзаменах. Он живет очень замкнуто, но старые друзья, прежде всего Трёльч, Хензель, Еллинек, Нейман приходят, и жена вынуждена все время следить, чтобы беседы не принимали слишком затяжной характер.

Летом по субботам он после обеда встречается в Штифтсмюле, а зимой в Шеффельгаузе с большим и все увеличивающимся кругом людей и незаметно опять становится центром. Эти свидания в третьем месте в течение ряда лет остаются единственной формой общественной жизни, в которой он участвует. Если жить так, как ему необходимо, и это удастся, то достигнутый уровень сохраняется; но любое принуждение или давление установленной сроком обязанности грозит рецидивом — будто организм, который до болезни слепо повиновался требованиям духа, раз и навсегда перестал покоряться долженствованию.

В июле этого года предстояла свадьба младшей сестры Вебера Лили, которая стала красивой и умной девушкой. Она была невестой архитектора Германа Шефера, сына гениального готика Карла Шефера, вызвавшего тогда всеобщее волнение своим планом восстановить постройку Отто-Генриха в Гейдельбергском замке, а если окажется возможным, и все строение в целом. Елене очень хотелось, чтобы ее «Большой» принял участие в празднике. Она втайне надеется, что одной из своих воодушевленных речей он освятит праздник и еще раз внушит молодой женщине, на душу которой она хочет влиять, ее дух. Однако то, что обычно Вебер легко совершал по такого рода поводу, означало теперь для него невыносимое требование: «Вчера я осторожно намекнула, не может ли он посидеть полчаса за трапезой, он очень взволновался и сказал: никоим образом!» Мысль о необходимости произнести тост перед еще незнакомыми ему людьми будет стоить ему трех бессонных ночей, он не понимает, как мы можем надеяться на это. Он придет только в церковь и может быть на полчаса для приветствия вечером накануне свадьбы и больше ничего. Насколько охотнее он остался бы дома, чем выставлял себя там полным участия и вопросов глазам большого круга людей! Но мать должна быть уверена в его доброй воле. Для Елены этот праздник означал новый отрезок жизни: прощание с младшей нежной дочерью, переходящей в чужую семью еще до того как ее душа полностью открылась матери, прощание также с большим красивым домом, из которого надо будет переехать в меньший. Вебер чувствовал себя в Берлине так плохо, что должен был держаться в стороне от всех проявлений радости, ощущал себя совсем больным — это были грустные дни, следы которых еще долго ощущались. Но через несколько месяцев Марианна пишет:

«Макс чувствует себя пока сносно, он работает около четырех часов в день. Первым маленьким весенним признаком возвращающейся работоспособности можно считать его рецензию, написанную за несколько дней по просьбе Генриха Брауна на книгу Лотмара о трудовом договоре. Сама по себе эта работа вследствие

ее юридического характера была далека от его интересов, и он согласился рецензировать ее только из любезности. Однако теперь он втайне доволен тем, что, хотя и против своего желания, выпустил первую после 4 1/2 лет литературную работу. Он царапает все время что-то на больших листах бумаги, но что это, не говорит; скорее всего — методологические работы о Книсе, к чему он *polens volens*<sup>39</sup> обязался для юбилейного выпуска» (20.10.02).

## VI

*Началась новая фаза продуктивности*; она была совсем иной по своему характеру, чем предыдущая. Первой важной работой была статья «Рошер и Книс и логические проблемы исторической политической экономики». Поводом к ее написанию явился толчок извне. Гейдельбергский философский факультет планировал издание юбилейного сборника к торжественной дате Университета и настойчиво просил Вебера дать для этого сборника статью. Конечно, при других обстоятельствах он не занялся бы этой сложной областью первой при его, правда, восстановившейся, но еще колеблющейся работоспособности. Этими проблемами, впрочем, он уже давно занимался. Работа Генриха Риккерта о границах естественнонаучного образования понятий, второй том которой вышел около этого времени, также возбудил его интерес к этому вопросу. Когда он полгода тому назад прочел во Флоренции эту книгу, он написал о ней жене следующее: «Риккерта я кончил. Он хорош, в значительной степени я нахожу в его работе то, что я думал, хотя и не в логически разработанной форме. По поводу терминологии у меня сомнения».

Но какая беда! Это сложное исследование мыслительных форм его специальности и истории все увеличивалась у него по своему объему, а ведь его следовало закончить к определенному сроку. Этим оно вскоре стало для него постоянной мукой, так как его способность работать была еще неустоявшейся и только в хорошие дни его мозг выносил сильное напряжение при решении логических проблем.

«Наше небо опять заволокло тучами. Макс в последние 14 дней очень устает, плохо спит и должен делать перерывы в работе, хотя все мысли им продуманы. Он считает, что его трудоспособности хватает пока только на четыре недели, затем ему, в сущности, надо опять на четыре недели уехать, чтобы в полном безделье и смене впечатлений накопить новые силы для следующих четырех недель. Каждый раз берет отчаянье, думаешь всегда, что наконец можно рассчитывать на известную равномерность работоспособности или суметь вымолить ее у неба. Но все время одно и то же: терпение».



Все опять сводится к вопросу, удастся ли получить в течение дня несколько часов для работы. Он так терпелив: если это удастся, то для него и мрачный день имеет смысл. На одной карточке написано по-итальянски: «La pioggia mi fa molto bene — na dormito, non bene, neanche molto, ma assai, e posso lavorare, non molto, ma un poco. Dunque sta bene...»<sup>40</sup>

Но уже через три дня: «Этот проклятый экзамен стоил мне еще одной плохой ночи. А до Рождества предстоят еще три экзамена! Когда же наконец я смогу начать работать. Погода прекрасна, тепло, как на Ривьере, жаль, что я не могу выйти погулять. Вчера в Шеффельхаузе были Трёльч, Ландсберг, Гис и профессор Фосслер со своей очаровательной женой. Однако беседа не пошла мне на пользу».

Вебер не смог выполнить свое обещание. Это легло на него тяжелым бременем; к тому же, темные зимние дни. Новый упадок сил. Опять сплошное мученье. Его тянет на юг, где его не достигает никакое долженствование, где он ни с кем себя не сравнивает, даже со своей собственной прежней силой, и где свет и тепло позволяют выносить и мрачные дни.

«Состояние Макса колеблется со дня на день, настроение и общее самочувствие значительно хуже, чем были долгое время. Он работает 1—2 часа в первую половину дня, но без удовольствия, и вынужден затем после обеда дремать на софе; он все время жалуется, что не мог пять недель тому назад, когда этот период начался, сразу уехать и в результате оказался теперь в этом состоянии. Я считаю дни до его отъезда и надеюсь только на то, что до этого ему не станет хуже. Он опять говорит о том, что его больше всего мучает; это все то же самое, психическое бремя «недостойной ситуации» — получать деньги и не быть способным что-либо сделать в обозримое время; к тому же чувство, что для нас всех, тебя, меня и всех людей полноценным человеком является только *профессионал*. А также разные неприятные воспоминания прежних лет, когда все мы и врачи якобы считали, что его болезнь может быть преодолена волевым усилием — и это самое мучительное для его чувства чести. Что же еще рассказать? Собственно ничего, милая мама... В Шеффельхаузе я встречаю знакомых, но без Макса это не доставляет радости, ибо страшная разница между их жизнью и его, тем, как он теперь опять и вообще уже около пяти лет живет, встает особенно отчетливо перед глазами. И участливые вопросы людей. Я попросила их не делать больше этого...»

Так солнце начавшегося с надежды года зашло в черные тучи. Вебер уехал на юг. В Нерви на скалистой террасе над морем, где он в мягком воздухе проводил дни и при облачном небе, исчезла отвратительная мука. «Чувствую себя вполне прилично, хотя тру-

доспособность только незначительно больше, чем в Гейдельберге — для *этого* я уехал слишком поздно. Но здесь на воле, у моря, это все-таки *жизнь*, а таковой предшествующие недели действительно не были. Теперь я некоторое время ничего не делаю. Надеюсь привезти с собой по крайней мере расположение материала для остатка этой прокл... работы» (Нерви, 3.1.03).

Иногда он считает трудную работу, конца которой он не видит, препятствием для дальнейшего — «если бы я этой зимой не занимался ею, а спокойно подготовил курс лекций, я мог бы, вероятно, прочесть его летом». В начале марта он опять поехал в Рим, который, однако, на этот раз не оказал своего целебного и восстанавливающего воздействия. Вебер там все уже знает, не находит больше ничего нового, что могло бы его сильно отвлечь, власть впечатлений исчерпана. Он стал беднее на одну надежду. Если бы можно было отправиться в другой мир, например, в Константинополь! Но для этого не хватает средств. Правда, Елена, изошряясь в спасительных предложениях, предлагает помочь. Веберы должны, так как в Риме в марте еще неуютно, поехать в Африку, к оазису Бискре, там ведь *должно* быть солнце. Но Вебер чувствует, что убежать от самого себя невозможно, к тому же душевная тяжесть с тех пор как он не *должен* работать, опять прошла. Ясно одно: «игре в профессора» должен быть положен конец, Марианна также прониклась этой мыслью. «Теперь мы, следовательно там, куда хотела нас привести судьба. Я надеюсь и верю, что это завершение принесет нам обоим через некоторое время облегчение, а Максу более равномерную силу, но тысячи разочарований последних лет, в частности последних месяцев, для меня еще слишком живы, чтобы я могла верить в новое будущее».

Правда, тайные желания жены время от времени заставляют ее сомневаться в необходимости такого решения. «На конгрессе историков Макс слушал лишь несколько докладов и в дискуссии не участвовал. Однако в течение этих дней приходили люди навестить его, и он интенсивно разговаривал с ними на самые различные темы с диалектическим искусством, которое всегда вызывает мое удивление. Когда слышишь его в такие моменты, хочется схватиться за голову и спросить: возможно ли, чтобы этот человек не мог прочесть небольшую лекцию? В первое утро нашего пребывания здесь пришел советник министерства Бём и самым любезным образом просил его не делать этого шага; однако когда Макс остался непоколебим, было договорено, что он в октябре уходит, остается «почетным профессором» и ему будут поручены небольшие лекции. Макс сказал, что титул и поручение читать эти лекции имеют для него смысл только если он будет иметь место и голос на факультете, а это предложение... может исходить только от факультета».

тета, а не от правительства. Бём вставил тогда в свое предложение факультету пункт, который для того, кто хотел, означал, что факультет может предложить Максу место и голос. Декан, распространивший бумагу, — намеренно или ненамеренно? — не понял этого пункта. Так желание Макса было в корректных формах обойдено. Он был этим очень взволнован и хотел отказаться также от титула и поручения прочесть лекции».

Это не произошло, но Вебер долго ощущал горький осадок, ибо он почувствовал себя более отдаленным от своего прошлого и от коллегиального сообщества, чем он хотел. «Внешне мы спокойны и веселы; как Макс все это ощущает, я точно не знаю и предпочитаю его не спрашивать, мы теперь говорим по возможности меньше о наших делах. Мне кажется, что по сравнению со страданиями последних пяти лет эта внешняя утрата не должна быть для него очень болезненна, ведь это лишь заключительное звено длинной цепи отречений. Однако мне кажется, что вместе с *fait accompli*<sup>41</sup> в нем сильнее, чем раньше, пробудилось желание не терять возможность восстановления связи со своей профессией и слабая надежда когда-нибудь начать там, где он прекратил свою деятельность. Он спрашивает себя и меня, ограничиться ли теперь чисто литературной работой или разработать записи лекций. Я предпочитаю второе, главным образом потому, что мне очень больно, если в противном случае от громадной работы прошлых лет ничего не останется».

\* \* \*

Вебер вытолкнут из своего царства в расцвете лет. Его внешняя будущность лежит позади — это глубокий упадок. Но в основе своей сущности он стоит несломленным над своей судьбой. Он не относится к этому, как к событию большой важности: «Я не воспринимаю мой уход трагически, так как я уже в течение многих лет был убежден в его необходимости и испытывал тяжесть только от того, что ни один врач не был настолько откровенен, чтобы убедить в этом и Марианну. Трудоспособность еще не вернулась, в остальном же чувствую себя вполне сносно. Он сердится и огорчается только тогда, когда, что еще часто случается, ему мешают заниматься необходимой духовной работой. Обычно он не жалуется, а смиренно успокаивает: «То, что я не сделаю, сделают другие» или говорит с полной надеждой: «Когда-нибудь я еще найду дыру, из которой вновь взмою вверх».

## Глава IX

# Новая фаза

### I

Благодатное освобождение от должности не слишком скоро стало ощутимо. В качестве завершения длившегося годами ожидания и тайной надежды уход с должности имел подчеркнутое значение, и побуждение в будущем вернуться к прежней деятельности в свободной форме также исчезло. «У меня впечатление, что возобновление преподавательской деятельности *здесь* потеряло для Макса всякую привлекательность, после того как его не оставили на факультете и не дали промоционных прав. К тому же эта висящая над ним случайная методологическая работа («Рошер и Книс»). Она впервые привела Вебера от конкретного формирования материала в далеко идущую логическую проблематику и принудила к критическому проникновению в уже сотканые и отчасти устарелые ходы мыслей. Это само по себе не вызывало интереса, так как не вело к новому пониманию реальности.

Вебер ждет от жизни лишь способности к тихой исследовательской работе. Если ему удастся занести на бумагу кое-что из накопившегося в его духе даже в дурные годы, то такие дни полны для него смысла. Если же орган мышления отказывает в послушании, то существование под столь часто покрытым облаками северным небом становится для него мучительным. Нервное беспокойство, раздражение средой, тоска по теплу и свету в это время очень часто концентрируются в настойчивое желание навсегда покинуть Германию.

Однако несмотря на возникающее иногда гневное недовольство, при возвращении к спокойствию никогда не проявляется ни злоба против судьбы, ни утрата мужества. Вебер, вероятно, все время чувствует, что ядро его сущности, скрывающее творческие зародыши, неизменяемо и неприкасаемо, что болезнь не проникла через защитный покров. Этому способствует и защищенность личностного существования, глубокая солидарность спутницы, для которой он всегда здоров и целостен, которая даже в самые дурные дни чувствует его харизму. Так он пишет, когда в это время

умирает ее отец: «Помня о трудном существовании твоего отца, мы должны всегда думать о том, как хорошо нам в нашей богатой жизни, даже если мне будет хуже, чем теперь».

Когда осенью круг его коллег по специальности встретился на заседании Союза социальной политики в Гамбурге, Вебер ощутил внутреннюю свободу, чтобы принять в нем участие. Тот, кто здесь так рано блистал, был теперь, правда, только слушателем, но он говорил со старыми знакомыми и настолько наслаждался заполненной предметными вопросами встречей, что отправился с несколькими друзьями, Зомбартом, Брентано, в Гельголанд и продолжал там волнующий обмен мнениями — духовный избыток, который, правда, завершился новыми приступами бессонницы. Простой рыбак, который часто возил по волнам ученых, ничего не понимая, конечно, из их разговоров, почувствовал, что нечто здесь происходило, и высказал свое восхищенное признание.

Значительно тяжелее, чем Вебер, мирилась с наступившим изменением его жена. Когда она видела его тихим в кругу, над которым он раньше господствовал силой своих слов, она иногда чувствовала дикую боль: «... Но во мне горит желание, что и моя звезда будет когда-нибудь сиять — нам на радость, а другим на помощь! Боже мой, как тяжело видеть, что другие действуют и создают, а он исключен из их круга. Неужели он тоже не ощущает этого? Не знаю, но верю, что соприкосновение в эти дни с кругом старых друзей заставило его многое почувствовать. Может быть, болезнь, инстинкт самосохранения спасает его от таких мыслей, которые иногда восстают во мне».

Вообще эта нелепость! Женщине приходится теперь время от времени говорить публично, и это ей очень трудно, — а ее мужу не дано выразить всю полноту своих мыслей. «Недавно я впервые была в национально-социальном собрании, на повестке дня стоял порядок в школе. Мне пришлось, плохо ли хорошо, впервые высказать воззрения нашего движения перед толпой мужчин. Какая ирония судьбы, что я, ничтожная женщина, сидела на политическом собрании до часа ночи, а наш “Большой” должен был лежать в кровати с 10 часов!»

Когда осенью этого года наступило десятилетие их свадьбы, оба они подвели итог своего совместного существования в следующих строках:

Вебер: «Будем надеяться, что следующие десять лет принесут нам такое же внутреннее богатство, как то, которое в бесконечной полноте дало нам истекшее десятилетие. Мы ведь и сегодня такие же новые друг для друга, как тогда, разве что только каждый настолько вернее нашел путь к душе другого. Сегодня я с благодарностью думаю о тех сложных, напряженных и внутренне небезо-

пасных временах и о том, что судьба своим решением вела меня так, как это случилось, все остальное — события, раздражения и препятствия — представляются по сравнению с этим несказанно ничтожными и второстепенными...» (19.9.03).

Жена: «Мы озираемся на десять лет, полных любви, общего роста и тяжелой человеческой судьбы. Наша совместная жизнь, несомненно, не была бы такой глубокой и богатой, если бы мы в последние пять лет не были так исключительно близки друг другу. Мне ведь часто казалось, что судьба перенесла нас на одинокий остров, на котором все голоса мира живых заглушаются беспрерывным прибоем. Ибо чем могли бы помочь нам друзья и даже наши любимые! Нести это надлежало нам одним и вынести тоже одним. Думаю, что поэтому мы так неразрывно срослись, что обычно не дано или дано лишь очень немногим супружеским парам. И таково было одно из самых горячих желаний моей жизни, мое *величайшее желание*, — правда, я никогда не думала и не предполагала, что бы его выполнение могло быть достигнуто ценой твоей болезни. Но наша любовь дала нам силу вобрать и эту судьбу в нашу волю, мы не стали от этого мелкими и жалкими, и надеюсь, будем и впредь ее нести, надеясь, ожидая и любя».

## II

Дух еще с трудом утверждал свое господство над мятежными подданными. Вебер сначала мог работать всегда лишь несколько недель, а затем освобождался от грозящей безрадостности мертвого времени в кратких поездках, в 1903 г. — не меньше шести раз. В начале года он на Ривьере, в марте-апреле в Италии, в июне он отправляется в Шевенинген, в августе — в Остенде, в сентябре — в Гамбург и Гельголанд, в октябре вторично в Голландию. Новое приносит всегда освобождение и отвлечение, в котором отказывает знакомое. В течение летнего пребывания в Голландии и Бельгии Вебер был меньше изнурен, чем обычно — он не только увлеченно воспринимает, но и испытывает потребность отрывками удерживать в памяти увиденное и пережитое, и почти все усвоенное им таким образом оставляет следы в его произведениях. Бушующее, гонимое штормом или сияющее на солнце море, а также задумчивый блеск Гааги с ее торжественными творениями искусства погружают душу в вечность прекрасного. Но его также привлекает меняющееся поведение людей. Пребывание в социалистическом народном отеле Остенде приводит его в тесное соприкосновение с обычно далеким типом людей — с рабочими, ремесленниками, торговцами. Он наблюдает без всякого академического высокомерия, встречает понимание и симпатию и узнает кое-что, его интересу-

ющее. Вебер писал, сидя на побережье, почти ежедневно и мотивировал эту потребность следующим образом: «Я пишу так много по двум причинам: во-первых, так как знаю, что когда я уезжаю, ты еще некоторое время киснешь. Позже, когда ты привыкаешь, это становится несколько слабее. Затем по той причине, что ставший педантичным кабинетный ученый разучился интуитивно наслаждаться и может лишь дискурсивно овладеть впечатлениями, так что ту меру наслаждения искусством и природой, которую ему еще оставило его окостенелое состояние, он может вобрать в себя, лишь выразив ее в словах. Как я завидую тем, кто оказывается в лучшем положении, тем более, что мне *каждое общество*, за исключением очень немногих людей, портит всякое удовольствие, так что, если со мной нет моей женушки, я вынужден ограничиваться монологами, как те фигуры китайской и индийской драм, которые таким образом объясняют зрителям, что, собственно, происходит».

Несколько отрывков из писем знакомят с пребыванием Вебера в Голландии.

Шевенинген, 6 июня 1903

«Я довольно хорошо спал и чувствую себя вполне прилично, позавтракав чаем с worst, kaas, 1 waterbroodge, 1 eier-broodge, 1 soete-broodge, honig kock<sup>42</sup>. Жизнь здесь, если ходить в рестораны на штранде, почти в 1 2/3 раза дороже, чем в Боркуме, гульдена хватает здесь на столько, на сколько там марки. Но теперь я, как уже вчера вечером, езжу всегда за 10 центов в Гаагу, где я открыл прекрасный вегетарианский ресторан, такого типа, как здешний, который союз пропаганды основал во всех городах: никаких напитков, никаких чаевых. Живешь за 50—60 центов на спарже, реване и sinasappels (апельсинах) и лишаешь здешнюю банду ее грешного заработка... Шевенинген в своем роде грандиозен, несомненно лучшее, что может быть, если исходить из роскоши построек штранда. На далеко в море уходящем выступе, на котором расположен театр варьете на тысячу мест, чудесно; сидишь, ощущая замечательный резкий морской ветер и смотришь на бесконечный берег дюн, вечером на освещенный штранд; а к этому еще присоединяется флотилия рыбаков; за дюнами тысячи построенных для заработка маленьких двухэтажных домиков, которые сдают желающим, а за ними простирается пустой, прекрасный шевенингенский лес, куда можно на конке добраться за 10 минут — только в деньгах это общество заинтересовано так же, как какой-нибудь неаполитанец. До Гааги 20—25 минут. Живя в Гааге, может быть, не всегда решишься выехать, иначе я бы предпочел жить там. Город до смешного тих, все там миниатюрно: музей, публичные здания и т. д., все здания двухэтажны; кажется необходимым соблюдать осторожность, что-

бы не опрокинуть или не раздавить что-нибудь, как Гулливер, когда он вернулся из Бробдиньяна; наш Бробдиньян — сдающиеся внаем дома казарменного типа, за немногими исключениями, здесь отсутствуют. Прекрасные тихие пруды с лебедями, прекрасные липы, буки или каштаны, бесконечная чистота: сегодня они скребут дома с внешней стороны, до высоты, которой достигают, — все это действует очень успокаивающе.

7 июня

«Вся Гаага носит характер чего-то старомодного, все сияет, все хорошо расположено, все в высшей степени неграциозно, а жители безвкусно одеты — самое отвратительное — народная одежда женщин: староголландская белая косынка на голове, в которую втиснуты волосы и вся голова, наподобие задней части паука; спереди все это укреплено в гладко причесанных волосах двумя большими булавками с изогнутым щитком из позолоченной стали, которые выглядят, как щупальца улитки; походка ужасающе неуклюжа. Парни — неотесанные мямли с лицами моряков, как будто они 30 лет шурились от резкого северо-восточного морского ветра. Неизменно серое небо придает местности и городу нечто усталое, при солнце все должно выглядеть веселее».

8 июня

«Преимущество галереи в Гааге то, что она мала и можно легко найти, что хочешь. Лучшее, что я до сих пор нашел, это “Саул и Давид” (играющий на арфе) Рембрандта. Как можно написать двух типичных евреев, царя к тому же как султана в безвкусном костюме, Давида — как подлинного приказчика из магазина деликатесов, и написать так, что мы видим только людей и потрясающую власть звуков, почти непостижимо. Благочестие играющего прямо напоминает выражение в “Концерте” Джорджоне, — а один глаз царя — его только мы и видим, лицо он закрывает, плача, — почти ужасающе говорит о том, что игра на арфе не дала ему, как он тщетно надеялся, забвения того, что он идет под гору. Фотографии не дают такого представления. Наряду с этой картиной все остальные с их “канализированными” лучами света не представляются мне значительными и даже великолепная “Анатомия” свидетельствует больше о том, что Рембрандт — виртуозный портретист и мастер техники, чем — как видно по названной выше картине, — полный душевной глубины художник».

9 июня 03

«Я не мог удержаться, чтобы не купить воспроизведение углем картины Рембрандта, хотя полное впечатление оно дает только



тому, кто знает оригинал. Глаз царя действует в оригинале сильнее. Р. писал эту картину, когда он после потери своей Саскии, своего имущества и своих картин объявил себя банкротом и, живя в Амстердаме на вершине своего искусства, одиноко со своим сыном и верной Хендрикье, чувствовал приближение старости.

Вчера здесь был очень сильный северный ветер, тонкий песок дюн летел порывами над шtrandом и всеми улицами; при этом голубая дымка окружала мачты и маяк, ложилась на море белая, через нее солнце как через матовое стекло покрывало однотонную серую массу зелено-желтым сиянием; если отвлечься от пыли, это было очень красиво. Сегодня ветер с суши, небо настолько голубое, насколько это здесь возможно — за исключением разгара лета здесь всегда дымка, которая даже в ясный день придает освещенному солнцем лесу и окруженным деревьями площадям города нечто вечерне грезящее. Только очень трезвые лица людей с их вполне посясторонним поведением выравнивают настроение».

Остенде, 21.8. (Народный отель)

«Еда вполне прилична и очень обильна, экономят только на скатертях, салфетках, полотенцах. В общем вполне чисто и пансион за 4 1/2 франка (с пивом) — действительно недорого. Со мной за столом сидят немцы из всех стран (Англии, Голландии, Бельгии, Вестфалии, Австрии), кое-кто с некоторым налетом классического образования, другие без него, молодые купцы и редакторы; из Бельгии присутствуют и фламандские рабочие. Все ведут себя во всяком случае не менее благопристойно, чем немецкие горные туристы у Эйбского озера, большей частью даже значительно вежливее и менее чванно. Беседы довольно стереотипны, но совершенно непосредственны...»

23.8.03

«Мои собеседники — славные хорошие ребята, которые не обидели бы и кошку, не говоря уж о князе. При этом радуют хорошие манеры людей, они значительно лучше, чем обычно у немцев за границей. Здесь, за границей, господствует специфически национальный тон — строгое отделение от валлонов и французов. По отношению к женщинам воззрения вполне патриархальны. Прелестны соображения о *верности* в браке: право женщин рассматривается как право на тело мужа или на его функции — различие взглядов состоит в том, обладает ли жена (по “естественному праву”) абсолютной монополией, или достаточно, чтобы муж (в поездках) не “расслаблялся” и не “ущемлял” ее права — при этом не останавливаются перед весьма смелыми шутками. Состоящие в браке держатся более строгого воззрения».

23.8.03

«Вчера у меня был длинный разговор с очень милым закройщиком из Парижа, а в общении с двумя другими спутниками, портным и сапожником из Лондона — мне все время вспоминалась классификация старого Рюмелина людей на портных и сапожников (помнишь, как мы во Фрейбурге делили людей по этой схеме?) — и здесь все подтвердилось. Я плачу теперь только 4 фр. в день, при этом на обед полагается суп и три блюда, вечером теплое мясо и десерт. Комната большая и приятная. Люди, правда, иногда едят с ножа — но в остальном они, как уже было сказано, *очень* благовоспитанны, а на прогулке ничуть не менее элегантны, чем я, и значительно более элегантны, чем я в художественном произведении папы Систо».

25.8.03

«Вчера перед моим окном развевался красный флаг гигантских размеров и было мощное празднество с Марсельезой рабочих и т. д. Музыканты Союза брюссельских ремесленников заполнили дом. Впрочем, они очень хорошо играли легкую музыку, их попросили даже играть в курзале. В разговорах узнаешь кое-что интересное, так о парижских дамских ателье мод — странным образом все выдающиеся заведения принадлежат немцам (австрийцам) и *почти* все квалифицированные рабочие, в частности, половина высококвалифицированных сапожников (рабочих) из *Лондона*, в ателье индивидуального заказа — немцы; происходит это, как люди единогласно полагают, потому, что жены английских рабочих то пьют, то бесхозяйственны, слишком много расходуют и поэтому дети должны рано зарабатывать и не успевают ничему дельному научиться. Им остается только идти на фабрики... Мой парижский портной поехал сегодня с моим Бедекером и книгой о Брюгге, чтобы осмотреть этот город — думаю, из банды, которая сидит здесь на дамбе ни одному из десяти не пришла бы в голову мысль, что это стоит сделать. Теперь, когда я плачу 4 фр. за пансион, ко мне стали обращаться как к “товарищу”, хотя люди, конечно, знают, что я не таков и кто я».

28.8.03

«Вчера я познакомился с одним из вождей бельгийских социалистов и с их величайшим организатором Анселе. Он пришел с 300 детьми с красными бантиками, красными перьями на шапках; партия ежегодно снаряжает и посылает их на каникулы в Швейцарию или к морю. Вечером они пели очень славные песни. Эти люди полны громадного энтузиазма. *Женщины*, о которых ты спрашиваешь, здесь также есть, но никакой роли они не иг-

рают, французы с ними вежливы, немцы более патриархальны. О праве голоса женщин и тому подобном товарищи ничего не желают знать».

Домбург, 29.8.03

«“Товарищи”, очевидно, охотно общались со мной, и мы попрощались очень сердечно; конечно, все происходит *абсолютно* на равных, при их почти суеверном уважении к “науке” для них “профессор” — лишь человек, у родителей которого было достаточно денег, чтобы научить его чему-нибудь. Впрочем, по *интеллигентности* они в общем не уступали среднему уровню наших коллег. Адвокат из Дортмунда, не имеющий лицензии, который ехал со мной до Миддельбурга, в прошлом помощник мясника, был даже выдающимся по своему уму парнем».

Домбург, 31.8.03

«Сегодня я совершил длинную прогулку; можно часами идти по густому дубовому лесу за дюнами. Шел я довольно хорошо, но голова все-таки устает. Красиво здесь, старые липы и дубы заглядывают в комнаты и шепчут, а за дюнами море, бушующее, требует издавна принадлежащей ему земли».

Шевенинген, 13.10.1903

«Осеннее море, когда солнце прорывается через облака в своем бледно-коричневом цвете тоже прекрасно — как старый, старый человек. Деревья еще не кажутся осенними, долины в своем большинстве теперь под водой, а большие и маленькие ветряные мельницы, которые накачивают воду в каналы, жестикулируют в воздухе, болтая, как глухонемые, и делают вид, что они незаменимы. Сегодня тепло с сильным ветром и бушующим дождем. Штандл покрыт густым покровом пыли, которая проникает глубоко внутрь улиц и бьет в лицо, делая его красным, и даже раня его — ложишься на согретые солнцем черные камни базальтовых бун и покрываешься тонкой соленой пылью.

Сюда можно добавить голландские картинки о более позднем пребывании».

Шевенинген, 27.7.07

«Ничего нового. Серое небо, небольшой дождь, довольно тепло, сижу в кресле на пляже, ем сыр, фрукты, бисквиты, валяюсь на кровати и читаю немного Метерлинка “Сокровище смиренных”, я тебе его пошлю. Надо подождать, пока нервы начнут успокаиваться. Пожалуй, ветер для этого слишком сильный. По вечерам люди долго болтают на улице и по соседству, но мои

хозяева, которых отделяет от меня лишь стеклянная дверь почти во всю ширину комнаты, ведут себя очень тихо. Утром висающая над моей кроватью канарейка с семи часов робко чирикает, прося света и радостно восторгается, когда я убираю занавески. W.C. вне дома, идти в него надо через кухню, загадочно крошечное место, имея в виду мощную фигуру старого рыбака».

Эгмонд у моря, 3.8.07

«День твоего рождения я вчера отпраздновал очень приятной поездкой на пароходе от Амстердама до Алкмаара; три часа на Noord Hollandshe Canal<sup>43</sup>, сначала между бесчисленными домиками рядом друг с другом, на протяжении миль, с кукольными садиками и цветами в кукольных окошках, тихими каналами, верандами, крошечными лодочками, затем через шлюзы в бесконечную даль северо-голландского пастбища. Все желто-зеленое до горизонта, только бесчисленные ветряные мельницы, которые качают воду из земли, лежащей ниже уровня моря и также глубже, чем запруженный канал, день за днем; прерываются они только красивыми, расположенными между деревьями дворами крестьян — деревья защищают от страшной силы ветра. За день до того, поскольку библиотека была закрыта, я совершил поездку на пароходе из моего любимого Лейдена в Кадвик, чтобы постепенно познакомиться со всеми купальнями берега; на обратном пути я заехал в Шийнсбург и был в жилище Спинозы: в одном из миниатюрных домиков, которые там, как и везде, лежат у каналов в густой зелени, две каморки, каждая величиной с наш closett, одна несколько больше, одна из них с мансардой; место совершенно очаровательно. Вчера был в Амстердаме в доме Рембрандта в еврейском квартале. Ночь я провел в Лейдене в вегетарианском отеле, очень патриархальном с большой ванной комнатой, баснословно дешево».

Эгмонд, 10.8.07

«В течение этих дней я хочу совершить еще несколько поездок в Северную Голландию, чтоб действительно знать эту прекрасную страну. Над ней царит особая тишина, и кажется, что история здесь спит. Многое здесь совершенно такое, как его рисовал 300 лет тому назад Аерт ван дер Неер: ветряные мельницы, маленькие кирпичные домики, каналы, группы деревьев и бесконечно простирающиеся грезящие душистые зеленые долины»

Ниддер-Беемстер, 12.8.07

«Сегодня я отправился в экипаже в Алькмаар — очаровательное гнездышко, маленький городок с каналами, зелеными судоходными каналами, крошечными домиками, живописной церковью и

ренессансной палатой мер и весов; затем мы поехали в Беестер Польшер, сооружение Олденбарневелта начала XVII века в пять миль шириной и длиной; поразительно плодородная долина, лежащая на 6 метров ниже уровня моря, постоянно сухая благодаря прежней работе 50 ветряных мельниц, теперь — трех паровых машин, где бык — господин творения. Теперь вечером я опять еду на экипаже к мессе в старый городок Хоорн у Зюдерзее по пути домой».

Маркен, 20.8.07

«Этот остров плывет, плоский, как тарелка, по Зюдерзее. Домики, собранные на отмели, повсюду соединены маленькими каналами; внутри они чисто побелены, а вокруг на стенах висят пестро обожженные фаянсовые тарелки. Места для сна — своего рода ящики в стене; вокруг только вода и луг. У женщин желтые, как лен, твердые, как солома, волосы, выбиваются спереди и по бокам под тесным чепцом, при этом они носят яркие корсажи. Мужчины ходят в неуклюжих шароварах».

### III

Однако не поможет ли дома в повседневной жизни какой-нибудь порыв вольного ветра, который надует паруса Макса для нового движения? Близкие строят разные планы. Елена так хотела бы сделать детям жизнь приятной в Гейдельберге, в красивой квартире в зелени у Неккара. Некоторое время увлеченно играли этим сияющим мыльным пузырем, пока он не лопнул из-за недостатка средств. Вебер при его потребности в смене впечатлений предпочитает вообще не связывать себя владением. Около этого времени (лето 1903) Фридрих Науман пережил второе поражение на выборах и ликвидировал национально-социальную партию. Не продолжать ли друзьям их совместную деятельность на новой основе, например, создав политический журнал или участвуя в редакции уже существующего? Однако Вебер отвечает на такого рода предложения следующее: «... Создать *новую* политическую газету *после* подобной неудачи представляется мне внутренне и внешне невозможным — и тем больше, чем больше я об этом размышляю. Что касается моего участия, то об этом теперь нечего и думать, — как бы я мог нести такую ответственность? Заниматься постоянно политическими вопросами, которые меня глубоко волнуют, — я был бы физически способен в лучшем случае несколько месяцев, и что еще важнее: для того чтобы не загубить политическое дело, нужна абсолютно холодная голова, а это я теперь гарантировать не могу. Поэтому я решил вместе с Зомбартом вступить в редакцию Архи-

ва Брауна, если Яффé его приобретет. Редактор, кажется, склонен именно к такой комбинации, и я смогу, будучи здесь, быть полезен Яффé и при незначительной работоспособности» (17.7.03).

Следовательно, Вебер не считал себя способным выносить волнения политической деятельности. Он размышлял над предложением молодого коллеги и друга Эдгара Яффé, который около этого времени обручился с Эльзой фон Рихтхофен. Он предполагал приобрести научный журнал «Архив социальных наук» Генриха Брауна и хотел бы иметь в качестве соредакторов Зомбарта и Вебера. Счастливая идея предоставить таким образом Веберу новую форму деятельности сыграла в этом свою роль. На такого рода деятельность он мог решиться. Правда, сначала у него и в данном случае возникали разного рода сомнения: «Смогу ли я в достаточной мере участвовать в этом деле, все-таки сомнительно, мне претит, чтобы за меня работали другие, а я дал бы только свое имя, не предоставляя постоянно определенного количества работы. Быть может, удастся найти для меня модус, который позволит мне участвовать и формально. По существу я, конечно, буду тогда по мере своих сил работать, т. е. писать *только* для этого журнала...» Вебер знает: при выполнении каждой задачи им овладевает рвение к предмету и он не вынесет положения, при котором работу будут совершать другие: «на советы *время от времени* я не пойду». К тому же состояние нервной системы может препятствовать спокойствию при неизбежных столкновениях своего желания с желанием других. Однако эти сомнения были устранены друзьями. Эта задача была в данное время наиболее подходящей для него, ибо она требовала не оценивающего политика, а стоящего вне вынесения решения мыслителя, она не связывала его работоспособность с определенными часами и оставляла простор для деятельности еще неустойчивых сил.

Он вновь вошел в большой круг ученых и социальных политиков, начал вести широкую переписку, чтобы приобрести для «Архива» новых сотрудников, сохранить старых и распространить многосторонние импульсы для статей. Редакторы не ограничивались привлечением специалистов своей профессии, они обращались также к ученым смежных областей. Ибо в написанном Вебером введении в первой тетради новой серии было указано, что журнал расширит свой прежний круг проблем (научного исследования созданных современным капитализмом состояний и критического рассмотрения развития законодательства) до «исторического и теоретического познания *общего культурного значения капиталистического развития* в качестве той проблемы, которой «Архив» служит, и поэтому будет находиться в тесном контакте со смежными дисциплинами: с общим учением о государстве, философией права, социальной этикой, социально-пси-

хологическими и обычно охватываемыми общим названием социологии исследованиями».

За глубоким интересом к социальным фактам, который еще в прошлом поколении проявляли лучшие мыслители, последовал вместе с возрождением философского интереса вообще интерес к социальным теориям, удовлетворить который по мере сил составит одну из главных задач «Архива». «Мы будем рассматривать социальные проблемы как с философских точек зрения, так и называемую “теорией” форму исследования в нашей специальной области: образование ясных понятий... Поэтому нам предстоит постоянно следить за научной работой в области критики теории познания и методологии».

Тем самыми область журнала была настолько расширена, что наряду с социальной эмпирической наукой и ее теорией в нем нашли место также научная философия и философское осмысление общественных явлений.

На Рождество 1903 г. Марианна писала: «В этом году мы будем вновь праздновать, свободные от тяжелого страха и забот, впрочем, и без слабых надежд последних лет. В общем Макс теперь в настолько лучшем настроении и переносит, впрочем, очень мягкую в этом году зиму, настолько лучше, чем в прошлом году, что я могу только соглашаться с его взглядами и действиями и быть благодарной за то, что мы, внешне по крайней мере, перенесли разрыв с прошлым».

Вебер ощущает обязанность и желание писать для журнала и, несмотря на разного рода препятствия и сомнения, вскоре начинают различные работы. Летом 1903 г. закончена, наконец, первая часть «многострадальной» статьи (Рошер и Книс) и опубликована, кроме «Архива», также в «Ежегодниках» Шмоллера. К началу 1904 г. он заканчивает для первого выпуска новой серии задуманную как методологическая программная работа статью «Объективность социально-научного и социально-политического познания». После перерыва Вебер начинает работу над другой статьей, связанной с прежним кругом аграрно-политических интересов и конкретными проблемами законодательства: «Аграрно-статистические и социально-политические соображения к вопросу о фидеикомиссе в Пруссии»: «Макс опять после нескольких дней отдыха очень прилежен, проводит громадные аграрно-статистические вычисления и мне приходится все время напоминать ему, чтобы он не слишком много и непрерывно работал. Теперь он опять способен работать больше, чем я». Эта статья опубликована в начале лета. В это же время идет подготовка к более важному произведению — к «Протестантской этике и «духу» капитализма». Первая часть этой работы вышла в осеннем номере «Архива». Таким образом за девять месяцев 1904 г. Вебер написал три большие

статьи на самые разные темы и сделал важный доклад, о котором сейчас пойдет речь.

Так мрачная тяжесть, которая еще год тому назад его давила, постепенно исчезала. Сквозь облака время от времени видно небо, на котором вновь вспыхивает светило созидающего.

#### IV

В разгар лета 1904 г. опять наступил некоторый перерыв в работе, но на этот раз вызванный радостным событием. Прежний фрейбургский психолог и философ Гуго Мюнстерберг, в течение ряда лет работающий в Гарварде, воспользовался всемирной выставкой в Сент Луисе, чтобы одновременно организовать там всемирный научный конгресс. При этом он больше всего стремился установить духовную связь между Соединенными Штатами и Германией. Приглашения получили немецкие ученые всех факультетов, в том числе Вебер и его гейдельбергские друзья Трёльч, Хензель и другие. Каждый должен был прочесть в Сент Луисе доклад за значительное вознаграждение. Эта возможность увидеть новый мир была настолько привлекательна для Вебера, что он, невзирая на все препятствия и сомнения, решает поехать на несколько месяцев с женой в Сент Луис. Уже само по себе решение и планы приносят свежее дыхание. В конце августа путники уже на борту корабля. Тонкий юмор Эрнста Трёльча также окрашивает поездку. Спокойное морское путешествие создает хорошую подготовку для новых впечатлений, особенно это относится к Веберу. Ибо широкие зелено-голубые волны океана легко убаюкивают его, даруя обычно мучительно достигаемый сон. Он, глубоко дыша, наслаждается снимающим напряжение простором — игрой облаков, волн и ветра, а движение толпы людей служит все время новым материалом для наблюдения. В этом плавучем городе, в котором рафинированная техника способна удовлетворить все потребности в комфорте, в этой чудесной свежести соленого воздуха ему действительно становится *хорошо* и наличие большого количества вкусных вещей в нем вновь пробуждает «любителя поесть»; морская болезнь не портит ему удовольствия — останавливают разве что опасения Марианны из-за увеличения его веса. С дороги она пишет Елене: «От морской болезни мы все трое не страдали, правда, у Трёльча мы констатировали некоторую склонность к аскезе; Макс же ежедневно с удовольствием поглощал содержание всего меню; и я сдалась, смирившись с утратой его красоты. Вообще он чувствует себя хорошо, как мне кажется. Признаком этого служит его постоянное присутствие на бесконечно длинных обедах, и даже после них он еще охотно разговаривает в курительной, где мы облюбовали уют-



ный уголок с приятным регирунгсратом и несколькими старшими инженерами. Вообще нет формы существования, которая бы больше способствовала растительной жизни, абсолютно лишенной желаний и мыслей, чем морское путешествие; превращаешься просто в промежуток между мыслями или в медузу, состоящую только из органов пищеварения. Впрочем, Макс обычно развивает ряд социально-политических принципов и внушает добрым людям «точки зрения»; при этом я все больше понимаю, что он не только безумно много знает, но и способен передавать это знание, делая его понятным другим и, следовательно, является прирожденным учителем».

Как прекрасен был ранним утром сентябрьского дня вход в нью-йоркскую гавань с видом на громогласящие в голубом воздухе небоскребы — мимо зеленой бронзовой статуи свободы, которая величественным жестом поднимает свой далеко освещающий факел и ежедневно вселяет надежду в души тысяч несчастных пришельцев из подавляемых в Европе каст и рас, надежду на будущее, которое может быть достигнуто решимостью и шансами на счастье. Вебер с трудом дождался высадки и окончания таможенного досмотра. Выйдя, он быстро пошел пружинящими шагами, оставив своих спутников позади — подобно освобожденному орлу, который наконец-то взмывает ввысь. Они направились к двадцатизэтажному отелю в деловом квартале Манхеттена, где теснятся дерзкие башни-жилища и «капиталистический дух» этой страны создал свои самые впечатляющие символы. Здесь буквально дышишь и ощущаешь на губах засохший навоз этих полных яростного движения улиц. Боже мой! какой контраст с Италией: Римом, Флоренцией, Неаполем! Все действует ужасающе чуждо: эта безликая казарма для странствующих купцов, в которой каждый являет собой лишь номер. Лифт поднимает вас на высоту колокольни в помещение, которое замечательно пустотой, внутренним телефоном и двумя огромными плевательницами. При взгляде из окна охватывает ужас и головокружение, улица лежит глубоко внизу в бездне, а стоящие напротив тридцатизэтажные дома смеются над маленькими спутниками! Разве здесь не чувствуешь себя как в тюремной башне отрезанными от милой земли? Здесь без сомнения можно заболеть и умереть, и никто не проявит к этому интереса. Большинство немецких эмигрантов, попавших в такой лишенный любви безличный квартал, издевающийся над немецким уютом, чувствуют себя вначале очень неприятно. Яростная сутолока вне дома, которая исключает всякое удовлетворение и с которой вместе с тем человек не связан трудом, — обостряет чувство заброшенности. Ряд коллег отвечают на это различными нервными нарушениями, — но не Вебер: «Макс чувствует себя до сих пор лучше, чем когда-либо после

своей болезни, особенно в способности ходить. Его живой интерес к Новому миру помогает ему не замечать отсутствия привычных удобств, Он сердится, когда этому уделяют внимание, он хочет, любя, понять все, по возможности больше воспринять. И только когда ему скучно и он бессмысленно тратит время, как в многочасовой поездке в трамвае по Нью-Йорку с гостеприимным американским коллегой, и видны были одни только цоколи домов — только тогда лев начинает тайно бесноваться в своей клетке и удерживать его от вспышки можно лишь с трудом.

В остальном он отвергает всякую критику нового, связанную с другими условиями — становится его сторонником, как бы превращается в него, чтобы быть справедливым по отношению к нему. Через три дня пребывания в Нью-Йорке Марианна пишет: «Правда, мы еще не пришли к выводу — я во всяком случае — следует ли считать эту часть мира, на которой столпились пять миллионов людей, великолепной и значительной или грубой, отвратительной и варварской. Наиболее вдохновлен, как всегда в путешествиях, — Макс: в силу своего темперамента, а также благодаря обзореваяющему знанию и научному интересу он вначале находит все в принципе прекрасным и лучшим, чем у нас, — критика появляется лишь позже». Вебер по этому поводу замечает: «Об особом моем воодушевлении не может быть и речи, меня сердит только, что мои немецкие спутники, проведя 1 1/2 дня в Нью-Йорке, порицают Америку».

Длинные письма Елене также описывают все впечатления, кое-что из этих писем, свидетельствующее о характере восприятия Вебера, здесь приведено: «Самые сильные впечатления в Нью-Йорке это, с одной стороны, панорама, открывающаяся с середины Бруклинского моста, с другой — большое Бруклинское кладбище, до которого можно доехать по эстакаде через мост. Контраст поразителен. На Бруклинском мосту тротуар посередине поднят, с обеих сторон мимо тебя, если ты проходишь по мосту вечером около шести часов, каждые 1/4 минуты проносятся крыши железнодорожных вагонов надземной дороги, а дальше с обеих сторон на расстоянии нескольких метров друг от друга трамваи: набитые людьми, половина из которых висит на них — вечное жужжание и шипение; в грохот железной дороги врывается рев свистков больших грузовых кораблей глубоко внизу — при этом великолепное зрелище цитадели капитала на юге острова, на котором расположен Сити Нью-Йорка, одни башни, как на старых картинах Болоньи и Флоренции, повсюду в окружении легких облаков пара подъемников — это в самом деле неповторимое впечатление, особенно в связи с видом на дальний аванпорт, Статую свободы и далекое море. Небоскребы я также не могу назвать уродливыми: это наши сдающиеся внаем ка-

зарменные дома с их запущенным фасадом, десять раз поставленные друг на друга. Они выглядят как скала в прожилках с разбойничьим гнездом на вершине, что, конечно, не может быть названо «красивым», но и не противоположным этому, оно находится по ту сторону того и другого, и если не рассматривать их слишком близко, они являются символом того, что здесь происходит, наиболее подходящим из тех, которые можно себе представить.

Как велико сделанное человеком, но как мал он сам. Когда к вечеру невероятный поток стремится из деловых кварталов к мосту, охватывает ужас: бесконечная ценность отдельной души, вера в бессмертие становятся абсурдом».

О жизни отдельных людей, образующих эту толпу, путешественники узнают сначала немного; открывается только дверь какого-либо из маленьких домов в просторных жилищных кварталах и образует в своей скромной бедности резкий контраст с цитаделью делового мира; и то, что они там видят, близко существующему на родине: «маленький, тихий кабинет американского профессора — клуб дыма из моей длинной трубки надолго внес бы темноту в это пространство».

«Дорого в этом скоплении масс каждое проявление индивидуализма, будь то в жилище, будь то в еде. Так, квартира профессора Гервея, одного из германистов Колумбийского университета — подлинный кукольный домик. Крошечные комнатки, умывальная, ванная и W.C. в одном помещении (как почти у всех), общество, состоящее больше чем из четырех гостей немыслимо (достойно зависти!), при этом час езды до центра города. Хозяева были едва ли не чрезмерно любезны: и он, и она страстно сохраняют «немецкие привычки». О ней расскажет Марианна. Что касается его, то он с гордостью сообщает, что два раза в год в германистском отделении университета празднуется немецкое *commerz*<sup>44</sup> с шлагерами, песнями и пивом из бочки; в этих празднествах участвуют восемь учителей-германистов, *graduates*<sup>45</sup> и студенты колледжа за исключением новичков (*Fuchsen*). Это сказано в том же стиле — первое университетское здание в Америке, в которое была принесена бочка пива. Настолько серьезно относятся здесь к тому, чтобы приобщить студентов к духу немецкой культуры».

Спутники оставались на этот раз в Нью-Йорке лишь несколько дней — более длительное пребывание составит завершение поездки. Прежде всего они едут на запад вдоль лесных берегов Гудзона к Ниагарскому водопаду. Повсюду действительно обнаруживается «самое большое в мире», размеры человеческих произведений являются лишь соответственным выражением неслыханно просторной, стремящейся к гигантизму природы — здесь этот прекрасный поток, такой широкий, что противоположный берег воспринима-

ется как голубая даль, затем еще почти не тронутая рукой человека широкая прерия и затем — чудо этого низвержения воды — не милое переливающееся разными красками движение воды в романтическом скалистом ущелье, а бешеный прыжок в бездну океана, внезапно освободившегося из плена. Вебер наслаждается этим невероятным зрелищем, в бешенстве которого не слышны человеческие голоса, но он посвящает ему лишь несколько взволнованных строк, ибо больше, чем природа, его интересует здесь то, что сделано руками человека и как здесь живут люди: «Я пишу тебе, пока Хензель и Трельч пошли на зеленый остров между двумя большими пространствами, где бесчисленные тихие места в густой зелени создают совершенно особое чувство глубокого покоя перед бурей. Как ни удивительна красота природы, — несмотря на позорное искажение — но самым интересным было наше позавчерашнее посещение в промышленном городке Норд-Тонаванда, в получае отсюда, пастора Гаупта, зятя профессора Конрада в Галле». Здесь путешественники нашли удивительный по контрасту с Нью-Йорком маленький город и узнали от акклиматизировавшихся соотечественников больше о своеобразии американской жизни, чем могли бы узнать за недели: «Уже один вид городка представляет собой невероятный контраст с небоскребами Нью-Йорка. Здесь только одно- и двухэтажные деревянные домики, у тротуара из поперечно положенных досок, каждый с верандой, цветами, маленькими садами, на улицах деревья, все очень доброжелательно и скромно внешне, крошечно внутри. Дома изготавливаются на больших лесопильнях и фабриках, как одежда, затем подвозятся и собираются. Конечно, почти у всех одинаковое распределение площади; в зависимости от величины дома стоят от 1000 до 3000 долларов. Помещения очень маленькие, 6 человек со стульями и столами полностью заполняют самое большое из них. Потолка можно коснуться рукой, но приятная облицовка красивыми американскими панелями из дерева твердой породы, окантовка дверей и одноцветные обои придают комнатам большую прелесть. Кухня всегда расположена рядом со столовой, клозет, умывальник (один для всех), ванная в одном помещении, близко друг от друга. Окна крошечные. Немногим больше других и дом пастора рядом с маленькой, очень приятной и уютной (с кухней и *dinning room*<sup>46</sup>), оборудованной для частых общинных празднеств деревянной церковью». Здесь они познают и контраст образа жизни социально привилегированных слоев и видят впервые непритязательный, трудный образ жизни духовных работников, которые без государственной поддержки, складывающегося из добровольных пожертвований рабочей общины дохода ведут культурный образ жизни. В семье четверо детей, обычно помощь по дому отсутствует, высокообразован-

ная женщина готовит, убирает, стирает, шьет всю одежду, мужчина помогает при трудной работе — и все-таки они остаются духовно живы. Путешественники поражаются способности нести такую тяжелую нагрузку, не подозревая, что в будущем их собственная родина заставит своих носителей культуры принять тот же стиль жизни.

Следующим этапом был Чикаго, чудовишный город, еще в большей степени, чем Нью-Йорк, кристаллизационный пункт американского духа. Здесь они видят все противоречия еще усиленными. Нелепая пышность новых богачей, выставляемая напоказ в великолепных сооружениях из мрамора и бронзы, запущенность и бедность, глядящая из выбитых оконных стекол и грязных темных передних бесконечно пустых улиц, бесконечная возня смешанного населения всех рас и частей света, охота за добычей до полного изнеможения, использование людей, при котором ежедневно жизнь тысяч без всякого внимания подвергается опасности, вечное строительство и разрушение, перекопанные улицы, бесконечная грязь, оглушающее перекрикивание друг друга; а над всем толстый слой копоти, который окрашивает в черный цвет каждый камень, каждую травинку и лишь изредка пропускает сине-золотой свет неба и серебряное сияние звезд. Вебер пишет:

«Чикаго — один из самых невероятных городов. У моря расположено несколько уютных и красивых кварталов вилл, обычно это каменные дома тяжелого и прочного стиля, непосредственно за ними следуют деревянные домики, точно такие, как в Гельголанде. Затем идут *tenements*<sup>47</sup> рабочих и невообразимая уличная грязь, асфальта нет, разве что жалкие шоссе вне квартала вилл, а в Сити между небоскребами совершенно возмутительное состояние улиц. При этом жгут мягкий уголь. И когда горячий сухой ветер из юго-западной пустыни метет по улицам города, его облик, особенно если солнце садится в темно-желтых облаках, становится фантастическим. Днем видно лишь на расстоянии трех уличных блоков, все — сплошная мгла, чад, все озеро покрыто на большой высоте фиолетовой атмосферой дыма, из которой внезапно появляются маленькие пароходы и в котором быстро исчезают паруса отплывающих кораблей. При этом бесконечная безлюдная пустыня. Выезжаешь из Сити по *Halsted-street* — кажется, длиной в 20 английских миль — в бесконечную даль между блоками с греческими надписями «*Xenodochien*» и т. д., затем мимо других с китайскими трактирами, польскими рекламами, немецкими пивными — пока не достигаешь *stockyards*<sup>48</sup>. Насколько можно видеть с башни с часами фирмы *Armour a. Co.*, только стада скота, мычанье, блеянье, бесконечная грязь — на горизонте же вокруг, ибо город тянется еще на много миль, пока не теряется в массе пригородов, — церкви и часовни,

склады подъемников, дымящие трубы (у каждого большого отеля здесь есть свой дымящий подъемник) и дома любого формата. Большею частью маленькие, самое большое для двух семей (этим объясняется огромное пространство города) и в зависимости от национальности проживающих в них отличающиеся по чистоте. Дьявол бушевал в stockyards: проигранная забастовка, масса итальянцев и негров в качестве штрейкбрехеров: ежедневно перестрелки, дюжины убитых с обеих сторон, перевернутый трамвай, при этом раздавлена дюжина женщин, так как там находился non-union-man<sup>49</sup>, угрозы применения динамита на надземной железной дороге, с которой действительно соскользнул и упал в реку вагон. Рядом с нашим отелем средь бела дня убит продавец сигар, за несколько улиц отсюда в сумерки разбойное нападение трех негров на трамвай и т. д. — в целом своеобразный расцвет культуры все во всем. Невероятно смешение народов: греки чистят улицы, янки — обувь за 5 cts<sup>50</sup>, немцы служат кельнерами, ирландцы действуют в политике, итальянцы выполняют грязную работу на земле. Весь этот громадный город — он более растянут, чем Лондон! — похож, если оставить в стороне кварталы вилл, на человека, с которого стянули кожу, и работу внутренностей которого мы видим. Ибо видят все — вечером, например, на боковой улице в Сити девки в витрине при электрическом свете и рядом указание цены! Характерно здесь, как и в Нью-Йорке, утверждение собственной еврейско-немецкой культуры. Ставят на еврейско-немецком “Венецианского купца” (причем Шейлок оказывается прав) и собственные еврейские пьесы, которые мы собираемся посмотреть в Нью-Йорке».

«Повсюду бросается в глаза невероятная интенсивность труда. Больше всего в stockyards с их “океаном крови”, где ежедневно забивают несколько тысяч быков и свиней. С момента, когда бык, ничего не подозревая, входит на бойню, падает от удара молотка, затем подхваченный железной скобкой поднимается вверх и начинается его странствие, процесс неудержимо идет своим ходом, минуя все новых рабочих, которые потрошат быка, сдирают с него шкуру, но все время в темпе работы, привязанные к машине, которая проводит его мимо них. Нам предстает совершенно невероятная интенсивность труда в атмосфере чада, нечистот, крови и шкур, где я в сопровождении boy<sup>51</sup>, который ведет меня за 2 доллара, балансирую, чтобы не утонуть в нечистотах — где можно проследить свинью от ее пребывания в хлеву до превращения в колбасу и коробку консервов. Когда в 5 часов работа закончена, людям часто приходится много часов ехать домой — трамвайное общество обанкротилось, уже несколько лет, — как обычно — им управляет receiver<sup>52</sup>, который не заинтересован в сокращении проста и поэтому не приобретает новые вагоны, старые же выходят

из строя ежеминутно. Ежегодно около 400 человек погибают или становятся калеками, первое стоит обществу по закону 5000 долларов (компенсация вдове или наследникам), второе — 10000 долларов (пострадавшим до тех пор, пока общество не применит определенные меры предосторожности). Общество вычислило, что 400 случаев возмещения стоят ему меньше, чем требуемые меры безопасности и поэтому не применяет их».

Спутникам казалось, что лишь теперь их разбудили из грез полусна: «Смотри, такова современная действительность». Однако в лике этого чудовища, которое равнодушно поглощает все единичное, потрясает не только величественная дикость, но и мягкие черты любви, доброты, справедливости, воли к красоте и духовности. На колоннах висит плакат «Христос в Чикаго». Что это, дерзкая насмешка? Нет, и здесь веет этот вечный дух. Он чувствуется прежде всего в деятельности мужественно верующей женщины. В безутешных рядах улиц рабочего квартала основала свой знаменитый settlement<sup>53</sup> Джейн Аддамс. Там мы находим мягкую благородную женщину, которая с большой группой вдохновенных помощников создает и дарит заброшенным со всего света пролетариям то, что они сами построить для себя не могут: в горячей борьбе за существование — местонахождение прекрасного, радости, духовной возвышенности, физического развития, заботливой помощи. Люди видят, удивляются и верят в этого чикагского «ангела». Существуют и другие оазисы: колледжи, колонии очаровательных построек далеко от большого города, вдали, на тщательно ухоженном газоне в тени старых деревьев; миры сами по себе, полные поэзии и пронизанные духом юной радости. Все нежное, прекрасное, глубокое вносится здесь в души широкого слоя американской молодежи. Вебер рассказывает: «Все очарование воспоминаний юности относится только к этому времени. Массовый спорт, красивые формы общения, бесконечные духовные импульсы, длительная дружба — результат этого периода. И прежде всего здесь значительно более, чем у наших студентов, воспитывается привычка к работе». Здесь он сразу находит то, что его так интересует: отчетливые следы организаторских сил *религиозного* духа. Большинство колледжей создано пуританскими сектами и нечто от традиции отцов пилигримов в них все еще ощущается, они сохраняют в юношах идеал целомудренности, осуждают непристойность и внушают молодому человеку рыцарственность по отношению к женщине, не известную нашим убеждениям среднего уровня. Религиозный дух особенно ощущается в колледже квакеров Хаверфорд близ Филадельфии, правда, здесь уже в сочетании с чуждыми компонентами. Там Вебер знакомится с библиотекой для своей работы о «духе» капитализма и получает незабываемые

впечатления. «И эти квакеры лишь постольку “ортодоксальны”, поскольку они не унитарии, все остальные привычки исчезли, их cricket-team<sup>54</sup> считается лучшей в стране, эти парни чрезвычайно богаты; в одной студенческой комнате я обнаружил две крест накрест положенные биты и надпись «курильщики», очевидно, утащенные из немецкого купе для курящих. Но богослужение все еще особенно. Эта тишина: в совершенно лишенном украшений помещении — там нет алтаря и т. п. — слышно было только потрескивание дров в камине и сдерживаемый кашель (было холодно). Наконец кто-нибудь встает, тот, кого «заставляет дух», и говорит, что хочет. Обычно это один из elders<sup>55</sup>, назначенный для этого общиной; на несколько более высокой скамейке сидят мужчины и женщины любого числа. К сожалению, на этот раз избрана была, не как мы надеялись, женщина, очень старая квакерша, которая считается лучшей из выступающих, а библиотекарь колледжа, дельный, довольно скучный теолог. Дух внушил ему дать тщательно подготовленную, вначале довольно скучную, но затем вполне красивую, практически направленную на интерпретацию различных определений христиан, данных в Новом Завете, речь, затем опять длительное молчание, импровизированная молитва другого elder — длительное молчание — конец. Пение и орган отсутствуют.

Правда, в других местах, прежде всего в больших городах, сохранились лишь внешние черты, исконный творческий дух исчез, так что возникли характеризованные нами как cant<sup>56</sup> явления англо-американской жизни. «Невероятным представляется, когда в первоначально методистском университете Чикаго читаешь: студент должен посещать 3/5 ежедневных богослужений, или же вместо повторяющегося каждые три часа богослужения слушать лишний час лекционный курс. Если у него больший chapel record<sup>57</sup>, чем требуется, то оно переносится на следующий учебный год, и тогда у него может быть на столько же меньше attendance<sup>58</sup>. При неудовлетворительном chapel record он через 2 года отчисляется. При этом богослужение своеобразно: так, иногда его заменяют доклады по «Истории догматов» Гарнака. В конце сообщается о ближайших foot-ball, boye-ball, cricket<sup>59</sup> и т. д. — как раньше в немецких деревнях об уборке урожая. В целом это дикая мешанина — трудно сказать, в какой степени усилилась индифферентность в данное время. Что она усилилась в частности под влиянием немцев — несомненно. Однако власть церковных общин все еще сильна по сравнению с нашим протестантизмом».



Теперь дальше — в длительную поездку через пылающую степь в Сент Луис. Там путешественники отдохнули в гостеприимном немецко-американском доме. Хозяин дома, некогда эмигрировавший бедный вестфальский крестьянский парень, теперь зажиточный *selfmade man*<sup>60</sup> и вместе с тем совсем не парвеню. Гости удивлялись его благородному поведению и убеждениям и видели в этом пример того, каким типам благоприятствует демократия, которая не интересуется ни воспитанием, ни дипломами, но в принципе помогает каждому, обладающему волей и способностями к этому, подняться до слоя «*kaloikagathoi*»<sup>61</sup>.

В сияющей огромной панораме выставки восхищал больше всего «немецкий дом», издалека заметный благодаря мощному орлу с широко раскрытыми крыльями на фронте. Здесь были соединены достижения в области искусства, композиции пространства, мебели, выразительности художественной культуры вообще, каких путники еще никогда не видели и которые выделялись даже там среди произведений всех стран земли. «Все произведения прикладного искусства немцев прекрасны и настолько соединены в единое целое, что любая другая нация уступает им — это с готовностью признавалось всеми». Как своеобразны эти немцы, во многом вплоть до высшего слоя плебейские в своем бытии, и в такой законченности *предметного* свершения — учителя Запада! Глядя на эти произведения, Вебер мог гордиться своей нацией, недостатки которой он видел с болезненной остротой любви. Для Марианны же самое главное здесь доклад ее мужа «Об аграрных условиях Германии в прошлом и настоящем». «Можете себе представить, что происходило во мне, когда я впервые после 6 1/2 лет вновь увидела его перед внимательно следящими за его речью слушателями! Он говорил прекрасно, очень спокойно и сильно; доклад был блестящ по форме и содержанию и сопровождался рядом политических замечаний, интересных американцам. К сожалению, круг слушателей был очень мал, как и всегда на выступлениях всех иностранных ораторов, не имеющих, подобно Гарнаку, мирового признания, однако все коллеги-специалисты присутствовали, и Вебер сделал ряд важных знакомств. И слава Богу, за докладом не последовали особенно плохие дни. На следующий день он даже пошел на ленч к здешнему представителю правительства и на обед к губернатору, правда, после этого он отчаянно бранился». Не окажет ли благотворное влияние на выздоровление Вебера то, что он нарушил обет молчания?

Из Сент Луиса его тянет дальше в южные штаты. Там он хочет найти отколовшихся от родины и дружбы сводных кузенов,

внуков деда Фалленштейна от первого брака, отец которых еще почти мальчиком тайно бежал в Америку от деспотизма отца. Но и помимо этого его многое очень интересует. Прежде всего то, что неизвестно Европе — завоевание дикости цивилизацией: становящийся штат Оклахома в еще недавно оставленной индейцами области. Здесь можно еще наблюдать безоружное подчинение и эксплуатацию «низшей» расы «высшей», более интеллигентной расой, превращение индейского племени в частную собственность, захват первобытного леса колонистами. Вебер живет у индейца-метиса. Он смотрит, слушает, входит в его среду и проникает повсюду в суть вещей.

«Нигде, так как здесь, древняя поэзия индейцев не смешивается с современной капиталистической культурой. Недавно проложенная железная дорога из Тулсы в МакАлестер идет сначала в течение часа по берегу Canadian River<sup>62</sup> через подлинный девственный лес — не следует только представлять себе это как “молчание в лесу” с огромными деревьями. Непроходимые дебри — такие густые, что даже не замечаешь, разве только по некоторым просветам, что едешь на расстоянии всего лишь нескольких метров от Canadian River — темные деревья, так как климат здесь уже почти южный (снег редок), до самой вершины обвитые вьющимися растениями, между ними желтые тихие лесные ручьи и небольшие реки с берегами, полностью одетыми зеленью. Наиболее поэтичны большие реки, как Canadian River, которые в своей совершенной дикости с громадными отмелями и густой, темной зеленью на берегах несут свои воды в извивах и разветвлениях — они производят своеобразное впечатление чего-то таинственного; неизвестно откуда они приходят и куда они идут. За исключением одной увиденной мной индейской рыбацкой лодки, эти реки совершенно мертвы. Однако час первобытного леса здесь также пробил. В лесу, правда, можно иногда увидеть группы подлинных древних рубленых домов — дома индейцев можно отличить по ярким шалам и развешанному белью — но есть и совершенно современные деревянные дома и домики фабричного производства ценой в 500 долларов, положенные на камни, а при них большое пространство засеяно кукурузой и хлопком: деревья смазывают внизу дегтем и поджигают, они отмирают и простирают свои бледные, закоптевшие сплетенные пальцы в воздух, что вместе со свежими посевами под ними производит странное, но отнюдь не приятное впечатление. Затем следуют большие пространства прерий — отчасти пастбища, отчасти также посевы хлопка — и поля кукурузы; и внезапно начинает пахнуть керосином. Мы видим высокие, напоминающие Эйфелеву башню скважины среди леса и попадаем в «город». Такой город нечто совер-

шенно невообразимое. Палаточный лагерь рабочих, особенно тех, кто занят на постройке многочисленных железных дорог, дороги в естественном состоянии, обычно 2 раза в год поливаемые от пыли керосином и соответственно благоухающие, деревянные церкви по крайней мере 4–5 деноминаций; на этих “улицах” в качестве препятствий для передвижения деревянные дома, посаженные на ролики и такдвигаемые: владелец разбогател, продал свой дом и построил себе новый, старый вывозится в поле и в нем поселяется new comer<sup>63</sup>, который его купил. Ко всему обычная путаница телеграфных и телефонных проводов, строящиеся электрические дороги — ибо “город” распространяется в неизмеримые дали. Мы объехали “город” в маленькой телеге с громадным конем: там 4 школы различных сект, затем public schools (gratis)<sup>64</sup> — обязательное образование в перспективе — отель со скромными комнатами, но — несмотря на низкие цены — ковры на всех полах и все accommodations<sup>65</sup>, интервьюеры, которые хотят услышать о величине их страны и т. д. Полная очарования — то есть не эстетического очарования — картина становления, которая в будущем году уже полностью примет характер Оклахома-сити, то есть любого другого западного города. Иммигранты приходят с севера и востока, обычно это бедные парни, которые действительно могут в несколько лет стать богатыми людьми: поэтому “бум” колоссален и невзирая на все законы спекуляция землей процветает. Два real estate men<sup>66</sup>, рабочий по асфальту и два странствующие торговца заговорили со мной».

«Здесь царит сумасшедшая суэта. Но должен сознаться, что я нахожу громадное очарование в этом, несмотря на вонь керосина и чад, на плюющих янки и ужасающий грохот многочисленных узкоколеек. Не могу также отрицать, что — в общем — я нахожу этих парней приятными. Все служащие принимают, конечно, в рубашках, и мы сообща кладем ноги на подоконник. Адвокаты создают несколько дерзновенное впечатление — господствует поразительно грубоватая, и все-таки все время сохраняющая взаимное уважение, бесцеремонность. О чем только меня не спрашивали (как мы справляемся с неграми в Германии? еще не самое невероятное) — трудно себе представить; однако они в свою очередь рассказывают о себе, и мне кажется, что после моих первых студенческих семестров я еще никогда так не веселился, как здесь с этим по-детски наивным и все-таки способным справиться с любой ситуацией народцем; и это несмотря на господствующий здесь абсолютный — и фактически действующий — запрет алкоголя. “Цивилизации” здесь больше, чем в Чикаго, и совершенно неверно считать, что можно вести себя как угодно: вежливость, правда, при очень сжатых высказываниях заключается в интонации и

манере поведения, а юмор совершенно неповторим. Жаль: через год здесь все будет так, как в Оклахоме, т. е. как в любом другом городе Америки. С поистине бешеным неистовством раздавливается все лежащее на пути капиталистической культуры».

Своеобразным переживанием, доставившим Веберу большое удовольствие, была поездка напролом через корчевку девственного леса в клуб в Форт Джибсон у Canadian River: «Форт Джибсон — очаровательный пункт в лесу, расположенный довольно высоко над рекой. Клуб, как все ему подобные, — место, где господствует форма уюта, неизвестная нам, немцам. “Aunt Bessie” и “Uncle Tom”<sup>67</sup> — два очень старых негра в качестве прислуги; постели для людей, которые в палящей жаре приходят на ночь; простые country-dinners<sup>68</sup>: сырые помидоры, ветчина, яйца, мед диких пчел, молоко и прежде всего почти всегда веселое общество. Клуб состоит — без партийных различий — из примерно 40 человек всех возможных профессий с добавлением посредством баллотировки и стоит своим членам 75 долларов с человека в год. Он заменяет трактир, вечернюю кружку пива, общество (для мужчин; у дам свои receptions<sup>69</sup>) и служит предметом гордости, ибо выражает социальную эксклюзивность всех участников. Клуб — переведенный на американские условия симпозиум, ибо здесь господствуют беседы и шутки, немного спорта, для чего, правда, на Гранд-ривер нет достаточных возможностей, к тому же для этого существуют другие организации. Эта затея была очень приятной. Правда, моему сидилицу еще никогда не доставалась такая бастонада, как на этих «улицах», прямо верх и вниз сбегаящих линий управления геодезической съемки. “Дыры” не были бы правильным обозначением для этого формирования долины, в которую повозка взлетает, чтобы затем вновь гроыхать вниз. Лужи, болота, стволы деревьев — все это оставляет лошадей равнодушными и не приносит никакого вреда твердым тонким колесам из древесины пекана. Мы едем через длинный железнодорожный мост с опасностью, что какой-либо поезд решит принять кого-либо на своей cow catcher<sup>70</sup>, переплываем на пароме типа надувной лодки реку в другом месте — к тому же дикость местности раскорчевки, обугленные стволы деревьев, временные лагеря поселенцев, иногда высоко нагруженные телеги переселяющихся мелких арендаторов, рубленые дома предыдущего времени, полузаконченные современные фабричные здания, густо наполненные черным народом негритянские хижины; и все это разбросано на большом расстоянии по прерии и густому лесу у реки. Затем внезапно такой возникающий “город”, как форт Джибсон, быть может, с сотней далеко разбросанных домиков, но с электростанцией, телефонной сетью и т. д. Затем опять полное одиночество. Дважды мы переехали корову, один раз одну

из отвратительных черных техасских свиней; затем нам пришлось около полуночи несколько раз будить фермеров, храп которых мы слышали при открытых дверях палаток<sup>12\*</sup>, чтобы спросить о пути — меня удивляла вежливость этих людей; короче говоря, это была своеобразная прогулка сначала в темноте, потом при луне. Сегодня я видел индейцев, которые приходили группами за деньгами — в лице чистокровных индейцев заметна своеобразная усталость, они, несомненно, обречены на гибель, среди иных встречаются интеллигентные лица. Одежда их почти всегда европейская. Я слышал еще много интересного от разных людей и думаю, что мой хозяин-ирокез выступит в «Архиве» против современной политики Соединенных Штатов по отношению к индейцам. Его глаза горели, когда он об этом говорил. Однако довольно об этом путешествии “в древнюю романтическую страну” — когда я в следующий раз попаду туда, исчезнут и последние следы романтики».

В Новом Орлеане, самом южном пункте длинного путешествия по девственному лесу, где путешественники искали своеобразие исконной французской основы, их встретила еще в октябре парализующая тропическая жара, невыносимая даже для негров, высохший, погибающий в серой пыли растительный мир, смертельная тоска над всем — «мы были счастливы, когда через 2 1/2 дня проклятое место осталось позади». Слава Богу, мы опять направляемся к северу и останавливаемся в городке Тускеджи, чтобы познакомиться со знаменитым заведением Букера Вашингтона по воспитанию негров. То, что мы обнаружили, было самым сильным впечатлением путешествия: огромная национальная проблема — выяснение отношений между белой расой и ее прежними рабами, — которая ощущается во всей жизни Америки, может быть здесь понята в ее корне. Чувствуется прежде всего трагедия жребия пария, выпавшего тому все время увеличивающемуся народу, в котором вследствие смешения выражены все оттенки от темно-коричневого до белого слоновой кости. Люди, которые по происхождению и способностям принадлежат к расе господ, изгнаны из нее, будто на них стоит клеймо позора. Юридически рабов больше нет, но белый господин южных штатов мстит посредством социального бойкота их детям и детям их детей; он использует их для любой работы, тот же, кто примет метиса в качестве гостя, исключается раз и навсегда из общения с собственной расой. Поэтому вождям негров остается только обратное действие: пробуждать в парии расовую гордость и пытаться превратить его в культурного человека. Какая титаническая задача: речь идет о том, чтобы научить расу, которая в своем чистом виде как будто предназначена к пребыванию в преддверии царства людей, «культуре», и соединенный со здравым рассудком идеализм вождей пытается достиг-

нуть этого как посредством «Евангелия зубной щетки», так и посредством воспитания для рационального труда любого рода. Когда-нибудь — так надеются они — *должен* ведь и белый человек выразить им уважение. Он же пытается посредством бойкота защитить собственную расу от вырождения. Какое неслыханное, неразрешимое напряжение в этой части земли и какой мелочной представляется по сравнению с ним национальная жизнь родины! Именно теперь американские газеты сообщают с ироническим удовольствием о всех перипетиях спора за престолонаследие в княжестве на Липпе. Вебер рассказывает: «В Тускеджи никому не дозволено заниматься только интеллектуальной работой. Цель этого — воспитание фермеров, “conquest of the soul”<sup>71</sup> — выраженный идеал. У учителей и учеников развивается невероятная степень одухотворенного энтузиазма, прежде всего у многочисленных негров с половиной, четвертью и сотой доли негритянской крови, которые ведь по закону лишены права вступать в брак с белыми, фактически иметь какие-либо отношения с ними; негры обязаны пользоваться собственными вагонами, залами ожидания, отелями, парками (так в Ноксвилле), хотя ни один неамериканец не отличит их от белых; Тускеджи является для них единственным местом социально свободного воздуха. Страшен контраст с ними полуобезьян, с которыми встречаешься на плантациях в хижинах негров в Cotton Belt, но страшно также духовное состояние белых юга, если заглянуть под по-человечески привлекательную внешность. О Букере Вашингтоне и его деле у каждого из них свое мнение: от глубокого отвращения к каждой попытке дать образование негру, которое лишает плантаторов рабочих «рук», вплоть до не редкого у белых юга мнения, что он является величайшим американцем всех времен после Вашингтона и Джефферсона, — но все они без исключения разделяют мнение, что “social equality” и “social intercourse”<sup>72</sup> невозможны также и именно с образованными и часто на девять десятых белыми неграми высшего слоя. При этом белые слабеют вследствие этой задуманной как расовая защита изоляции, и энтузиазм можно встретить только на Юге среди негров высшего слоя — у белых же только бесцельную и беспомощную ненависть к янки. Я говорил не менее чем с сотней южан всех партий и социальных классов и проблема, во что превратятся эти люди, кажется совершенно безнадежной. Так, например, дядя Фриц, у которого никогда не было раба, принадлежал к строгим аболиционистам, но при этом *поддерживал* рабовладельцев, поскольку по его Джефферсоновско-Калхунской теории его штат, Вирджиния, обладал формальным правом сецессии; этот человек, у которого было всегда слишком много лошадей, отказывался от самых выгодных предложений продать их, опасаясь, что тогда у его соседа окажется ло-

шадь лучше, чем у него, который был методистом потому, что его жена ежегодно пугала его адскими муками — этот дядя Фриц принадлежал к смелым, гордым, но безголовым и в сегодняшней борьбе за существование потерянным людям».

Путешественники познакомились и с потомками Г.Ф. Фалленштейна, которые не унаследовали дух янки, скорее воспитаны в неприятии его, ведут свое скромное, бедное культурой существование. Один из них, попеременно работавший то горняком, то учителем начальных классов, теперь — владелец адвокатского бюро в ассоциации с хитрым ирландцем, для которого он делает всю работу, и находится на пути в высшие классы. Два других сына достигли только владения выкорчеванными ими холмами пригорья Блю Ридж (Blue Ridge) на границе между Северной Каролиной и Вирджинией, малопривлекательными фермерскими домами на вытопанной вершине, ничего общего не имеющими с уютными, украшенными цветами немецкими крестьянскими домами. Они мучаются с множеством детей в неосознанной тоске по другому существованию. Вебер рассказывает: «В темноте мы пришли в Маунт Эйри (Mount Airy), Джим и его старший сынок встретили нас в повозке и мы ехали 1 1/2 часа в полной тьме при появляющейся луне вверх и вниз по долине через заросли кустарника, вброд по реке ужасной дорогой. Один раз мы серьезно решили, что сломали все ребра, повозка трещала — мы переехали толстый ствол дерева, который лежал поперек дороги. Но лошади оставались спокойны, а Джим тем более. Ледяной холод — первый мороз, и мы были ослеплены и поджарены камином. Во всем доме нет ни клочка бумаги — ни для того, чтобы писать — Джеймс пишет свои письма в Маунт Эйри, когда он там бывает, — ни для каких-либо других целей, для которых культурный человек ее обычно употребляет — зато колодец, ледяная вода, очень хорошие кровати в комнате наверху двухэтажного деревянного домика. О людях пусть расскажет Марианна, я опишу внешние черты и события. Дома обоих братьев Джефферсона и Джеймса стоят друг против друга на двух холмах, довольно круто спадающих на расстоянии звука голоса в сторону маленького ручья. Внизу в низменности хорошая земля, на которой они — каждый на своей части — сажают табак, кукурузу и пшеницу. На холмах пасется скот, наряду с табаком единственный предмет сбыта. Зерно они съедают сами или скармливают его. Чрезмерно обильная, очень хорошая, но однообразная еда такова: вареная говядина, свиной фарш, фруктовые консервы, «hot rolls» (пирог из кукурузы, испеченный на сильном огне), вареные фрукты, кофе и молоко — все это три раза в день. Один из подростков обмахивал нас громадным веером от мух; Джеймс и Джефф наполнили нам тарелки до краев, женщины сто-

яли и наливали кофе или молоко; после того как старики поели, за стол сел второй ряд, иногда потом еще третий (дети), негр ел последним в одиночестве (он живет в сторожке, к которой примыкает немного земли, то и другое дает ему Джеймс). У Джеймса перед трапезой читают короткую молитву, у Джеффа, дети которого, кроме одной дочери, не принадлежат ни к какой церкви, ничего подобного нет. После трапезы сидели у камина, — сидеть вне дома считается неудобным — и все жевали табак. Джефф сплевывал точно попадающие в огонь потоки коричневой слюны через ноги сидящих. Мы были довольны, только Джефф, который испытывает глубокое отвращение к *farming*<sup>73</sup>, пребывал большей частью в угнетенном настроении.

Неожиданно и здесь возникают впечатления, которые дают Веберу наглядный материал для его работы: старые и новые формы социальной дифференциации в демократическом обществе. Он видит исконное формирующее жизнь действие религиозных сект и одновременно растущее вытеснение их орденами и клубами разного рода. Отражения его впечатлений обнаруживаются прежде всего в его статье «Церкви и секты». «В воскресенье рано утром с Джеймсом, Франком и Бетти в церкви. Молодой методистский проповедник, а также очень далекий от церкви Джефф и его семья, были к обеду у Джеймса. После обеда все пошли на баптистское крещение. Восемь человек: трех женщин, несколько подростков, двух мужчин погружали в ледяную воду горного ручья — единственно значимая форма крещения по строгому баптистскому учению. Проповедник стоит в черном костюме по пояс в воде. Желаящие креститься входят друг за другом в лучшей одежде (*dress*) в воду, подают проповеднику руку и после того как произнесены различные обеты, опираясь на его руку и подгибая колени, наклоняются назад так, чтобы лицо оказалось в воде: затем, отфыркиваясь, выходят, поднимаются на берег, принимают поздравления (*congratulated*) и либо едут совершенно мокрыми домой, либо, если они живут далеко, переодеваются в деревянной будке. Они проводят эту процедуру и в разгар зимы, разбивая для этого лед — вера (*faith*) защищает их от простуды, полагает Джеймс. Джефф, который считает все это чепухой, рассказал, что он спросил одного “*didn’t you feel pretty cold, Ben?*”<sup>74</sup>, на что тот ответил: “*I thought of some pretty hot place (об аде, конечно), sir, and so I didn’t care for the cold water*”<sup>75</sup>. Бетти строго следует требованиям церкви — она “*almost as fanatic as her mother was*”<sup>76</sup>, говорит Джефф, которого, как и других, ужасная суровость матери заставила порвать все узы с церковью. Церковность вообще теряет силу, то есть старые методистские *revivals* и *class meetings*<sup>77</sup> (еженедельные испо-



веди каждого в кругу присутствующих) вышли из употребления, как признал молодой проповедник. Проповедь была хороша, чисто практична и произнесена с большим волнением; кто почувствовал себя «пробужденным», преклонял колени у алтаря. Старый крестьянин молился громко и страстно за всех — однако невыносимое пение резкими голосами возвращало к реальности сарая, в котором мы находились. Конечно, никакой рясы не было, священник говорил в пиджаке и совсем как политический оратор, на “алтаре” (столе) лежала его войлочная шляпа. Поэтичны были одиночество пестрого леса и затем при крещении серьезность старых крестьян вестфальско-голландского типа. Старая социальная функция этих сект также ослабла; правда, каждый, даже священник представляется как “брат”, но Джеймс входит в “орден” — от этого в значительной степени зависит доверие для предоставления кредита — в который избираются баллотировкой по предложению 5 членов и из которого при дурном поведении исключаются. Такой орден представляет собой кассу на случай болезни, смерти и вдовства, обязует своих членов помогать друг другу в случае не вызванной виной хозяйственной нужды посредством предоставления кредита — под страхом исключения в случае немотивированного отказа в помощи. Это было некогда важнейшей функцией американских сект. Огромное увеличение клубов и орденов заменяет распадающуюся организацию сект. Едва ли не каждый фермер и многие деловые люди среднего и высшего ранга носят свой badge<sup>78</sup> в петлице, как французы красные ленточки. В первую очередь не из тщеславия, а в качестве легитимации того, что данный человек признан определенной группой людей джентльменом посредством баллотировки на основании проверенных сведений о его характере и поведении (это напоминает наши дознания об офицерах запаса); совершенно такую же роль играли в старых сектах (баптистов, квакеров, методистов и т. д.) 150 лет тому назад предоставляемые их члену “letter of recommendation”<sup>79</sup>, данные общиной для представления чужим братьям».

Вебер жадно впитывает все это, охотно сообщая и о себе то, что может доставить удовольствие этим простым людям, и получает доступ к их жизненному опыту. Здесь он также равный среди равных, «брат». Каждый чувствует, что Вебер его понимает и относится к нему с уважением. Жена ловит лишь отрывки разговоров, которые ведутся в кукурузном поле, — «мне приходилось оставаться с женщинами, и я могла лишь иногда прибегать на взрывы смеха, которые вызывал у мужчин Макс. Конечно, он быстро завоевал их сердца своим прекрасным ниггер-английским и своими рассказами. Они ударили его плашмя по колену и на-

зывали mighty jolly fellow<sup>80</sup>. Эти хорошие простые люди огорчились, что их гости должны так скоро уехать, и мы облегчили им прощание обещанием скоро вернуться — но выполнить это не удалось.

\* \* \*

Затем путешественники едут назад в центры культуры восточных штатов, осматривают в быстром темпе Филадельфию, Вашингтон, Балтимору, Бостон и их пригороды. Все это почти невозможно усвоить. Марианна чувствует себя часто пресыщенной — какое ей в сущности дело до всех этих чуждых вещей, — которые невозможно в своей деятельности включить в круг собственного бытия? Напротив, восприятие Вебера сохраняет все время одинаковую интенсивность, к тому же он способен посредством духовной переработки всегда что-либо создать. В Вашингтоне представляется возможность впечатляющей поездки в Маунт Вернон, на место рождения великого вождя народа. Они плывут в туманный день по широкому, темноватому Потوماку, лесные склоны его берегов окрашивает теперь осень, поднимаются по склону к маленьким белым деревянным домам, бидермейерская скромность которых напоминает родные реликвии гётевского времени. Над всем глубокая уединенность и тишина того, чего больше нет, возвышенная грусть завершения. Исчезнувшее, полное движения существование открывается еще только тем, кто прячет его в себе. Внизу вновь бушует жизнь, будто она в каждом отдельном человеке полна неслыханной важности. Воспринимаются и очень чуждые впечатления — негритянское богослужение, причем в высшем негритянском обществе: «Все в шелку, элегантные черные леди, тонкие умные лица негров и мулатов; проповедник уехал, его заменяют светское лицо и гость из чужих мест. Как бы вместе с усилением настойчивости и наконец страстности проповеди началось жуткое глухое стенание, сначала неприятно напоминавшее урчанье живота, затем своего рода шепчущее эхо: последние слова каждой фразы повторялись сначала тихо, затем резким голосом с повторением yes, yes! или no, no! в ответ на обращение проповедника; он был не более страстен, чем молодой методист в Маунт Эйри, а до Штёккера ему было далеко. Постепенно становилось противно и тревожно. А при этом сзади, где мы сидели, были также улыбающиеся квартероны и хихикающие девушки-мулатки — какие контрасты в отличие от нашего представления о единообразном слое негров!»

И какое различие в движущих силах этой построенной на состязании жизни вообще! Все еще возникает удивительные сцены. Отъезд в Бостон не обошелся без трудностей. В Бостон отправля-

лась футбольная команда Пенсильванского университета на состязание с Гарвардской и провожали их все 2000 студентов, сотни проехали для этого с ними десять часов. Поэтому в течение одного вечера вокзал был несколько часов недоступен. Эти парни никого не пропускали, все опоздали на свои поезда, одна дама сильно пострадала. Мы видели все из коляски: старые джентльмены построили за полмиллиона громадный каменный амфитеатр величиной с Колизей с местами на 40000 человек. Оглушительный рев раздавался при победе той или иной команды, после каждой play<sup>81</sup>, ибо присутствовал весь Бостон и значительная часть Филадельфии — весь город был украшен флагами, а когда Гарвард потерпел поражение, последовала глубокая депрессия — 1/2 страницы о войне в восточной Азии, 3 — о выборах президента, 8 — об игре в больших бостонских газетах и бесконечные интервью с каждым из 22 игроков. В Филадельфии иллюминация и, конечно, полное единодушие во мнениях, что растоптанная леди вполне компенсируется эти успехом. Невероятное событие!

В фешенебельном Бостоне с его потемневшими от времени строениями и прежде всего в Гарварде путешественники вновь почувствовали себя в привычной обстановке. Казалось, что здесь вся дикость приключений колониальной жизни успокоилась в твердо установленной староанглийской традиции: достигнув зрелости, все пришло к благообразному выравниванию. В прекрасном архитектурном комплексе Гарвардского колледжа все возвысилось до монументальной красоты. Да, в этих рамках духовного борения учителей и учеников, в котором не государство, а устное меценатство ищет гордого выражения развития своих сил, мог быстро освоиться и немецкий ученый. Удивительно, что Гуго Мюнстерберг, значительным способностям которого родина не нашла соответствующего применения, и который теперь здесь предоставляет советы и гостеприимство различным высокопоставленным немецким путешественникам вильгельмовской эры, всегда прежде всего чувствовал себя немцем!

Путешествие закончилось длительным пребыванием в Нью-Йорке. Вебер хотел помимо всего остального поработать в библиотеке Колумбийского университета и углубить все свои впечатления. Он завязывал знакомства и расспрашивал теперь спокойно о стране и людях: «Мы жили в эти дни в бешеном темпе и видели столько новых людей, сколько увидели бы в Гейдельберге за год. Удивительно, что Макс вынес все это! Он ворчит иногда немного, когда надо надеть смокинг или чистую рубашку, однако он выходит и днем, и по вечерам. Чтобы осилить это, нам приходится половину послеобеденного времени заниматься нашим туалетом, от чистки обуви до выбора подходящего галстука, что, конечно, очень способствует отды-

ху». Из американцев, с которыми мы познакомились, снова самой значительной была женщина: инспектор по ремеслам, Флоренс Келли. От этой страстной социалистки мы узнали еще многое в радикальном зле этого мира: «Вся безнадежность социального законодательства при системе государственного партикуляризма, коррупции многих рабочих вождей — которые организуют забастовки, а потом принимают от фабрикантов деньги за их прекращение (у меня самой было такое рекомендательное письмо к подобному негодяю) — условия в Чикаго, где несмотря на страстную агитацию не удавалось принять закон в защиту женщин от опасности определенных профессий, пока не возникла фирма, которая изготавливала защитные аппараты и посредством подкупа депутатов различных штатов сумела провести закон об их применении! и т. д. И все-таки это «удивительный народ — ибо только негритянский вопрос и ужасная иммиграция образуют огромные черные облака».

«Удивительный народ» — так же, как несломленное зло, действует молодая доверительная энергия к добру. На этот раз впечатляющий символ этого предстал нам в еврейском квартале, в этом особом мире, в котором иммигрировавшие несчастные восточные евреи служат одновременно Богу своих отцов и своему делу. Поразительное предприятие — это основанное на частных средствах учреждение по воспитанию и поддержке переселенцев; его выдолбленный за несколько лет каменный порог свидетельствует о том, что здесь ежедневно проходят тысячи этих детей народа-пария. «У них здесь есть все — библиотека, ванны, гимнастический зал, преподавание музыки и рисования, уроки по готовке и шитью, курсы ремесла и научные курсы, уроки танцев и даже маленький театр, где дети выступают, чтобы развить свой вкус. Самым существенным средством американизации является абсолютное самоуправление детей, клубов, в которые они никого не допускают с советами, и не позволяют чужим даже заглядывать туда. Отсутствие влияния авторитетов на молодежь в борьбе за существование приносит здесь свои плоды. Приходят они сюда как дети бродяг, строго придерживающиеся ритуала религии, а выходят из этого воспитательного учреждения как «джентльмены» и набрасываются на негров Юга, которых они страшно эксплуатируют».

\* \* \*

Наступило прощание. Год идет к концу, дни становятся короче, путешественники хотят быть на Рождество дома. Они еще раз смотрят на вид с Бруклинского моста: в вечернем освещении дня ранней зимы он еще великолепнее, чем летом: небо, погасающее в темно-красном и лиловом, вторгающееся в него как скалистые горы

странных очертаний нагромождение огромных строений на вершине Манхэттена, освещенное миллионами огней, будто дух, который живет в этих скалистых башнях, концентрировался в пылающих золотых потоках. Последний вечер мы провели в еврейском квартале. «Сначала в “yiddischeia”<sup>82</sup> театре, затем вместе с нашим другом, доктором Блауштейном, руководителем приемного дома иммигрантов, идеалистом чистой воды, при этом «ярко выраженным» евреем с толстой физиономией, и с автором драмы “Die emtje (истинная) сила”, которую мы слышали вчера. Несмотря на то, что язык на две трети непонятен — ужасно испорченное произношение немецкого с еврейскими и иногда русскими словами: “was is des Laben mies”<sup>83</sup> (горе) можно было время от времени в высоко трагические моменты услышать — несмотря на то, что мы не всегда могли воспринимать сказанное, — игра артистов была настолько великолепной в своем роде, что действие полностью понималось, тем более, что в произведении вошли несколько характерных типов (особенно “социалиста” и “ученого” раввина), которые изображены в карикатурном виде еврейскими актерами, лучшими в Америке...»

Когда Вебер это писал, пароход уже отбивал свой равномерный такт, бурная жизнь утихала в тумане зимнего дня, Вебер с благодарностью смотрел на берег, где ему была дано такое счастливое время. У Марианны часто возникает чувство, что она привозит домой выздоровевшего, который вновь осознал наличие медленно собиравшейся совокупности сил. Вебер сам подводит итог следующим образом: «Что «научный» результат путешествия соответствует для меня его затратам, утверждать, конечно, нельзя. Я привлек к участию в нашем журнале значительную часть интересных сотрудников; я могу теперь совсем иначе, чем прежде, понимать статистические данные и сообщения правительств в Соединенных Штатах, напишу сам ряд критических статей на тему о негритянской литературе и тому подобном, быть может, еще ряд мелочей; — но для моей работы по истории культуры я узнал не многим больше, чем то, где находятся вещи, мне необходимые, особенно библиотеки, которые мне надлежало использовать и которые, рассеянные по всей стране, находятся в маленьких сектах и колледжах. При этих условиях путешествие в нашем теперешнем положении оправдывается только с общей точки зрения расширения научного горизонта (и состояния здоровья). Результаты его в этом отношении могут, конечно, проявиться только через некоторое время. Во всяком случае хорошо, что мне удалось так справиться с этой задачей — еще год тому назад это было бы совершенно невозможно... Возбуждение и занятие мозга без духовного напряжения являются вообще лучшим лечебным средством».

# Новая фаза продуктивности

В этой главе делается попытка предложить неспециалистам в науке кое-что из мира мыслей Вебера, что может дать представление о его духе и прежде всего расширит представление о его личности. Его научная работа неизмерима, и только тот, кто вступает в этот процесс мыслей и сам борется с трудной темой, сможет приобрести кое-что от нее. То, что здесь предлагается из содержания веберовских работ, в сущности, сложилось на границе между научным познанием и формирующим жизнь убеждением, там, где сущность созерцательных способностей так тесно соприкасается с активными, что их образ освещает личность мыслителя, учителя, политика. Но и это лишь кубок, зачерпнутый из журчащего источника: в нем вода, но он не содержит сущность источника.

Стремление Макса Вебера к познанию и формообразованию было направлено в первый период его деятельности главным образом на определенные стороны самой действительности, то есть на события в области истории права и хозяйства, имеющие социально-экономическое и политическое значение. В его первых произведениях проявляется в сущности молодой историк, чей голод к материалу неутолим и который так возбужден становлением и преходящестью исчезнувшей за горизонтом настоящего жизни, что отблеск ее превращается у него в новую жизнь. При этом его в равной степени волновали политические и социальные проблемы собственного времени. Мы видели, что он открыл имеющие важные последствия сдвиги в условиях господства и владения в сельском населении Германии, связал результаты исследования с идеалами национального государства и использовал ориентированное на это суждение сущее для установления политических целей. Исследователь и политик взаимно оплодотворяли идеи друг друга. Ведущие точки зрения при выборе материала — в первую очередь политический пафос, затем чувство справедливости по отношению к занятым ручным трудом представителям народных

слоев и, наконец, убеждение, что все дело не в *счастье* людей, что последние и высшие ценности — *свобода* и человеческое *достоинство*, осуществление которых должно быть доступно всем. Рано приобретенное владение фактами предоставляло Веберу неистощимый материал наблюдения — шла ли речь об уточнении научно-технических или практически-политических связей.

Теперь, в 1902 г., после еще далеко не преодоленного тяжелого кризиса, творчество Вебера переходит в совершенно другие духовные области. От активной жизни университетского преподавателя и политика он вынужден обратиться к созерцанию в тихом кабинете ученого. Были ли это внешний повод или внутренняя необходимость, что он теперь и как мыслитель отступил за пределы действительности и посвятил себя мышлению о мышлении: логическим и гносеологическим проблемам его науки? Без сомнения действовало и влияние извне. Коллеги философского факультета Гейдельбергского университета убедительно просили его представить статью в задуманный к празднованию обновления университета юбилейный сборник. Весной 1902 г. он начал свою первую методологическую работу «Рошер и Книс и основы политической экономии». Статья разрасталась в процессе работы, она требовала сильного напряжения, что мучило еще больного ученого, тем более, что окончание ее к указанному сроку оказывалось невозможным. В конце концов он ее, как и ряд других логических работ, вообще не закончил, ибо перед ним возникали новые задачи, а медленно выздоравливающий, трудоспособность которого колебалась еще ряд лет, нуждался, по его собственному мнению, в постоянных сильных импульсах, помогавших ему преодолевать коварные препятствия. Ему представляется безразличным, что он делает и как его воспринимают, если ему только удастся вообще работать.

Несомненно, что интерес Вебера к философским и логическим проблемам был возбужден не только этим поводом, такой интерес пронизывал всю его духовную жизнь уже во время его становления. Теоретический аспект его специальности всегда интересовал его так же, как ее исторический аспект, его лекции по теории политической экономии были построены на совокупности точных понятий. А в своей фрейбургской вступительной речи он впервые обратился к философским проблемам. Их фактический материал группируется вокруг вопроса о ценностных масштабах политики народного хозяйства как учения. Для этой дисциплины, для которой теоретические вопросы, что было и что *есть*? непосредственно служат другим: что *должно* быть и что должно произойти? Ясность в понимании собственных ведущих идей особенно важна — поскольку здесь ученый в значительной степени участвует

в определении формирования социального существования. Его тезисы и мнения входят в законодательство, в структуру собственности, в оценку положения слоев, занятых ручным трудом и т. п. Мышление ученого также ответственно за формирование мира. Ориентация того времени в области социальных наук была такова: старые классики, прежде всего английские основатели политической экономии, считали само собой разумеющейся целью рост удовольствия посредством увеличения богатства, следовательно, способствование производству хозяйственных благ любой ценой. Когда же при защите этих идеалов «свободная игра сил» превратилась в хищническое стремление к приобретению и эксплуатации неимущих стала очевидной, ориентация большинства молодых ученых изменилась: они стали, как мы видели, «кафедр-социалистами». Целью народно-хозяйственной политики считалось справедливое распределение благ, следовательно, осуществление этического долженствования.

Вебер хотел в своей вступительной речи прежде всего уяснить, что вывести *самостоятельные* идеалы из материала политической экономии невозможно: «В действительности это — старые общие типы человеческих идеалов, которые мы применяем также к материалу нашей науки». А сам он признает себя сторонником убеждения, что политическая экономия должна ориентироваться не на производственно-технические, не на эвдемонистские, не на этические, в конечном итоге, а на «национальные» идеалы. При этом первом рассмотрении ведущих идей специальной науки речь, правда, еще шла не о *логических* проблемах, а об ориентации волюнтаристически направленного (на формирование существования) учения; целью было уяснение определяющего в известной степени хозяйственную и политическую *деятельность* мышления. Это были животрепещущие вопросы.

В первой работе новой фазы предметом исследования является уже не ориентация волящих людей, а направленное на научную истину мышление — задача, не имеющая непосредственного отношения к действительности. В дальнейшем Вебер никогда не переставал заниматься логическими вопросами, они рассматриваются даже в его последней работе. Однако уже после опубликования первого раздела статьи о Рошере и Книсе они стали занимать второстепенное место, ибо в тиши научного кабинета его охватило стремление к универсально-историческим проблемам: желание по возможности больше узнать и формировать все значительное, происходившее в мире. Но об этом позже. Сначала будет сделана попытка дать представление о занимавших Вебера *логических* проблемах и тем самым найти мост к тому пункту его духовной личности, где возможно понимание познающего и во-



лящего человека в его корнях. Опубликованные Вебером в период 1903—1918 гг. статьи по логике наук о культуре исходят в своей большей части из критически полемической отправной точки. Вебер развивает собственные воззрения, открывая заблуждения и борясь с ними. При этом ему и здесь помогает его пластическое, насыщенное полнотой действительности мышление. Трудный логический анализ повсюду поясняется созерцательными, полными жизни примерами. Они создают непреднамеренное личностное очарование этих в целом трудных работ, длинные фразы которых затрудняют понимание. Так, например, на примере писем Гёте к фрау фон Штейн он поясняет, с каких совершенно различных точек зрения может быть «исторически значимо» одно и то же явление культуры или показывает на примере эпизодов игры в скат — совершенно различное значение понятия правила, или описывает совершенно конкретные события — полученную ребенком пощечину и ее последующую мотивировку матерью, чтобы во всех этих случаях показать, что уже познание собственного переучивания есть не его простое повторение, а формирование его правилами мышления.

Для Вебера не имеет значения обобщение результатов его мышления, ибо он ведь не хочет быть профессиональным логиком, и как ни высоко он ценит методическое понимание, но не ради него самого, а как необходимое орудие для ясности познавательных возможностей конкретных проблем. И совершенно никакого значения он не придает форме, в которой выступает богатство его мыслей. Если массы приходят в движение, то из кладовых его духа поступает столько, что часто не позволяет выразить себя в прозрачной структуре предложений. И он хочет быстро и по возможности кратко изложить свои мысли, так как действительность посылает ему все новые проблемы. Как досадны пределы дискурсивного мышления, не позволяющие одновременно высказывать связанные друг с другом ряды мыслей! Вот и приходится быстро запихивать многое в длинные грамматические периоды, а то, что в них не входит, помещать в сноски. Пусть же читатель «окажет любезность» и помучается с этим так же, как он сам! Иногда даже кажется, что этот мастер свободной речи, который способен так приближать самое далекое, будто он присутствовал при этом, и непреднамеренно, простыми средствами, как бы без всякого искусства, совершенно без риторики, — правда, обладая удивительной способностью — достигать большого воздействия, — будто он намеренно пренебрегает своим научным стилем — из противодействия возникшему стремлению придавать чрезмерное значение ценности формы и терять время, стараясь придать научным образованиям характер художественных произ-

ведений. Вебер видит в этой эстетике стиля смешение духовных сфер, подчиненных различным законам, и совершенно не выносит легко пропикающую при этом в изложение «вычурность» средств выражения, так же, как желание отразить «личностное отношение» к теме. Он часто цитирует сказанное в Фаусте: «Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor»<sup>84</sup>.

Стиль должен соответствовать предмету, но не выходить за пределы своей объективной цели. Личность мыслителя не должна намеренно выступать в области науки на первый план, ей надлежит отступать перед предметом исследования.

\* \* \*

Преднайдённая Вебером логико-гносеологическая центральная проблема была противопоставлением естественных наук и так называемых наук о духе, которое занимало большинство философов и логиков того времени во главе с Дильтеем, Виндельбаном, Зиммелем и Генрихом Риккертом. Данная дискуссия перешла в опытные науки. Вследствие огромных успехов естественных наук возникла уверенность, что возможно свободное как от всякой метафизики, так и от всех индивидуальных случайностей «рациональное» познание всей действительности. *Один* универсальный метод может и должен господствовать над ней во всем ее объеме, только результаты *этого* метода могут притязать на истину: то, что ими не может быть постигнуто, не относится к науке, это — «искусство». «Натурализм» как метод и мировоззрение требует единовластия во всех областях жизни и мышления. Защита «наук о духе» концентрировалась на доказательстве их своеобразия и самостоятельности, которые обосновывались прежде всего различием областей *материала*. Особенно сильно разгорелся спор о методе в области социальных наук, так как их предмет — действия людей, в отчетливо познаваемой форме зависящие от природных явлений, — лежит как будто на границе природного и духовного и может быть с одинаковым основанием отнесен как к царству «природы», так и к царству «свободы». Так «классическая» и «историческая» школы политической экономии противостояли с неодолимой резкостью друг другу. Антон Менгер, вождь «классической» школы, отверг деление на предметы познания, относящиеся к «духу» и к «природе» как логически недопустимое и заменил его различием *точек зрения*, с которых может быть логически разработан один и тот же материал действительности. Но именно поэтому он относил учение о народном хозяйстве к естествознанию. Он считал целью этой науки открытие *законов* хозяйственной жизни и был убежден в их однородности с зако-

нами природы. Система абстрактных понятий и научных положений, с помощью которых можно мысленно вывести действительность, представляется одновременно единственным средством практического и духовного господства над процессами, происходящими в обществе.

Обратных взглядов придерживалась молодая «историческая» школа, отколовшаяся под руководством Густава Шмоллера от классической школы. Она видела цель экономического и социально-научного исследования — как и исторического — в созерцаемом воспроизведении своеобразия конкретной действительности. Проблема усложнялась еще тем, что значительные представители политической экономии, такие, как Рошер и Книс, были, правда, сторонниками исторической школы, но тем не менее считали возможным открыть *естественные законы* народного хозяйства. Так, например, Рошер допускает наличие закономерных стадий происходящего у различных народов, и понимая «народ» как единое родовое существо, наподобие того как биология трактует человека, разделяет ход истории на различные возрастные периоды и говорит о молодости, зрелости, старении и умирании народов. То, что не объясняется такими формулами, а именно действия конкретных людей и их влияние, приписывается «свободе воли», которая *необъяснимо* нарушает закономерность природы, или таинственной основе божественных деяний в истории.

При таком положении проблемы в специальности Вебера складывается его логическая работа как процесс научного самосмысления. Необходимые для этого духовные орудия дают ему логика и теория познания его времени, прежде всего наукоучение Генриха Риккерта, в котором ему особенно важно отделение практической оценки от теоретического «отнесения к ценности». В статье о Рошере и Книсе Вебер объявляет о попытке применить риккертское образование понятия к политической экономии. Между тем собственные методические идеи вскоре вывели его за эту цель. Он обращался к логическим проблемам повсюду, чтобы обрести ясность в понимании научного процесса. Так он привлек в круг своего рассмотрения работы Дильтея, Вундта, Зиммеля, Мюнстерберга, Готтля, фон Криса, Эдуарда Мейера, Штаммлера и других. Из риккертской логики «наук о культуре» Вебер взял тогда, — позже, правда, дополнив его собственным социологическим методом, — учение, согласно которому науки делятся не только по различию *материала* познания, но и по различию *интереса* к материалу, по постановке вопроса; таким образом естественные науки действуют «генерализирующе», потому, что они интересуются общим, однородным в явлениях и охватывают их сетью общих понятий и законов, тогда как, наоборот, интерес «индивидуализи-

рующей» истории и родственных ей дисциплин направлен на своеобразие конкретных событий и предметов, причем таких, которые в качестве культурных событий обладают «смыслом и значением». Эти определенные человеческими действиями события суть предмет исторических и особых, по своему типу, юридических наук, которые Риккерт отделяет от естественных наук и определяет как науки о *культуре*. К ним относятся социальные науки, ибо они занимаются определенными сторонами значимого для культуры человеческого поведения, их познавательная цель — в отличие от естественно-научной является не системой общих понятий и законов, а своеобразием конкретных явлений и связей, при этом они также пользуются понятиями и правилами происходящего как средствами познания. И хотя сам по себе каждый предмет *может* быть подвергнут как генерализирующему, так и индивидуализирующему способу познания, все-таки для изучения событий внешней природы больше подходит первый, для человеческого поведения — второй способ. Кроме того человеческие действия доступны нам посредством своеобразных, неприменимых при естественных событиях, духовных процессов, а именно посредством сопереживающего *понимания*, позволяющего толковать смысловые связи.

Вебер развивает для социальных наук учение о понимании, подступы к которому обнаруживаются у Дильтея и Зиммеля, оно занимало Мюнстерберга, а общее использование его для политической экономии и истории пытался осуществить коллега Вебера Готтль. Вебер сначала критически излагает учения Мюнстерберга и Готтля<sup>13\*</sup>, а затем представляет свое, полученное таким образом учение в отдельной работе<sup>14\*</sup> и в методологическом введении своего основного труда<sup>15\*</sup>. По Веберу «понимать» и «объяснять» не противоположности, а дополняющие друг друга средства познания. Подробное изложение логического анализа, посредством которого он это устанавливает, увело бы нас слишком далеко. В связи с учением о понимании возникает учение о «*смысле*», о толковании смысла человеческого поведения. Осмысленным мы считаем то, что постижимо пониманием, которому сопутствует чувство «очевидности». Но следует помнить, что *смысл*, который ищут науки о культуре, находится в области опыта. Это смысл, который *субъективно имеет в виду* действующий человек, а не объективно «правильный» или метафизически обоснованный «истинный» смысл. Веберу очень важно, чтобы его учение о «субъективно имеющемся в виду смысле» было правильно понято и тем самым ясно познана «тончайшая граница» между верой и знанием, доказуемым и недоказуемым. Ибо привнесение объективного толкования смысла происходящего, что кое-где встречается, например, у

Зиммеля в его глубоких анализах явлений культуры, выходит за границы эмпирических наук и затемняет чисто теоретическое значение истины их результатов.

Тот, кто настолько резко проводит границы между доказуемым и недоказуемым, будет самым настойчивым образом заниматься вопросом о содержании истины в науках о культуре. Ибо они в конечном отношении коренятся в недоказуемом, а именно в идеях ценности, следовательно, эмпирически связаны с субъективными и меняющимися предпосылками: с субъективными — ибо признание фактически значимых ценностей, которые придают явлению культурную значимость, не может быть насильственно выведено при помощи логического доказательства; меняющимися предпосылками — ибо ценностные идеи медленно меняются вместе с характером культуры, «до тех пор пока китайское оцепенение духовной жизни не лишит человечество способности все время задавать новые вопросы вечно неисчерпаемой жизни». Вебер учит: содержание истины в эмпирических науках, отправной пункт которых пребывает *вне* науки, создается тем, что сначала «понятое» или «интуитивно» постигнутые связи подчиняются правилам строгого мышления, прежде всего правилам «каузального сведения». Логически убедительное объяснение каузальной связи событий необходимо: *«Только то, что объяснено каузально, обработано научно»*. Опираясь на остроумные учения физиолога фон Криса, Вебер анализирует сложные логические операции, посредством которых устанавливается значимое историческое познание конкретных событий, и приходит к выводу, что естественные науки и исторические науки о культуре, несмотря на их различные отправные пункты и различные цели познания пользуются аналогичными логическими орудиями. Ибо и исторические науки стремятся выявить не *только* конкретные связи, но помимо этого и *правила* отношения причины и действия. К этому добавляется особенность каждой области: естествознание обращается к нашей способности подчинять события «законам», явления в качестве «примеров» родовым понятиям — естествознание объясняет и понимает. Наука о культуре постигает, объясняет и понимает. Ее «постижение», правда, в отличие от естествознания не самоцель, а только вспомогательное средство. Она ищет правила происходящего и образует общие понятия, чтобы с их помощью лучше понять и объяснить конкретное.

Учение об *общих понятиях в науках о культуре* — самый характерный пункт в веберовской логике истории. Ясное понимание особенности этого учения, прежде всего в области социальных наук, было основной темой почти всех его логических работ и посредством него он конституировал позднее свою социологию. Ему

важно было показать, что теоретические мысленные образования в этих дисциплинах не являются — как считалось в классической политической экономии — естественнонаучными родовыми понятиями, а имеют другие задачи и получаются посредством своеобразной обработки действительности. Такие, используемые в каждом историческом исследовании общие понятия Вебер называет «идеальными типами» — выражение, которое применял уже Георг Еллинек в его общем учении о государстве в том же смысле, как после него Вебер. А именно: определенные события и связи исторической жизни соединяются во внутренне свободный от противоречий космос *мысленных* связей, «который так, как он мыслится, нигде не существует и представляет собой утопию». Такие понятия, как экономический обмен, homo oeconomicus<sup>85</sup>, ремесло, капитализм, церковь, секта, христианство, средневековое городское хозяйство и т. п. являются конструкциями, в которых определенные элементы действительности «мысленно усиливаются», чтобы тем самым сделать познаваемыми и наглядными конкретные явления и события, в которых действительные элементы совместно мыслимого. «Идеальный тип не есть изображение действительного, но он стремится дать изображению наглядные средства выражения». «Он не гипотеза, но стремится указать направление образованию гипотезы; он не историческая действительность и не схема, в которую она должна быть введена, а *пограничное* понятие, по которому действительность должна быть *измерена* для уточнения определенных значимых составных частей ее содержания, с которыми она *сравнивается*».

Следовательно, идеальные типы в отличие от родовых понятий — *средства* познания, а не цели познания, и так как «вечно движущееся течение культуры» все время предлагает новые постановки проблем вечно юным историческим дисциплинам, все время могут создаваться новые идеальные типы, а существующие постоянно подвергаться корректировкам. Историческое познание с необходимостью пребывает в вечном течении. Поэтому его окончательная структуризация в замкнутую систему понятий, из которой должна быть выведена действительность, бессмысленна.

Новую трудную проблему исторической логики Вебер видит в том, что не только определенные стороны явлений, но и рассеянно действующие в одной эпохе *идеи* объединяются в идеально-типические понятия. Например, такие понятия как христианство, либерализм, социализм, демократия, империализм, с которыми работает история, суть идеальные типы так же, как соединение основных элементов хозяйственной эпохи. Однако их применение затруднено тем, что в них часто мысленно вводится не только сущее, но и должноствующее, а именно то, что в них с точки зре-

ния *изображающего* их представляет собой длительную ценность. Но как только такой вненаучный элемент привносится в применение понятия, оно теряет свою познавательную ценность, так как в этом случае незаметно смешиваются теоретическое «отношение ценности» и практическое «суждение о ценности». Тогда идеальные типы перестают быть логическими вспомогательными средствами и превращаются в *идеалы*, по которым измеряется вненаучное значение конкретных явлений. Тогда возникает логически нечистое смешение субъективного и объективного, веры и знания, и познавательная ценность исторического изображения тускнеет.

\* \* \*

Мы находимся в кругу проблем, который постоянно занимал Вебера — отношение доказуемого и недоказуемого в науке, познания и оценки, практического оценочного суждения и теоретического отнесения к ценности. Иными словами: речь идет о проблеме сущности и границах доказуемой науки. Может ли она нас научить не только тому, как нам мыслить, но и как нам действовать? И способна ли она установить смысл существования объективно значимым, *обязательным* образом? Эта проблема входит во все методологические исследования Вебера; она подробно рассмотрена сначала в написанной в 1913 г. для Союза социальной политики статье, расширена и опубликована потом в «Логосе» в работе «Смысл свободы от ценности социологических и экономических наук»<sup>16</sup> и наконец еще раз поднята до общей формы в прочитанном для учащихся докладе «Наука как профессия»<sup>17</sup>. Отношение Вебера к этим вопросам приведено здесь потому, что оно имеет не только предметное, но в большой степени и биографическое значение; оно прямо ведет к центру его духовной личности. В этом одинаково проявляется как ищущий *любой* ценой истину мыслитель, так и добросовестный учитель, а также и осторожный политик, сознающий, что посредством выдающегося красноречия и догматического дара можно подчинить людей своему влиянию. Мы познаем также здесь поднятое до надличностного размежевания между двумя одинаково сильными сторонами его сущности — активной и созерцательной, между интеллектом, направленным на свободное от предрассудков, универсальное, мыслящее господство над миром, и столь же сильной способностью создавать *убеждения* и решительно их отстаивать. Логические исследования показали, что науки о культуре основаны на недоказуемых предпосылках, но, несмотря на это, дают значимое познание. Но теперь возникает вопрос, как исследование, определенное в своей направленности ценностными от-

ношениями, относится к другому вненаучному элементу, к «практическому» *ценностному суждению*?<sup>18\*</sup>

Ценностное суждение возникает, если я, исходя из «в высшей степени индивидуального чувствования или воления, или из сознания определенного долженствования, выражаю, утверждая или отрицая, определенную позицию». Или в другой формулировке: «практическое» ценностное суждение есть суждение о явлении, которое находится под влиянием наших действий, как о достойном одобрения или порицания, желательном или нежелательном, добром или злом. Следовательно, если при теоретическом отношении к ценности событий и явлений как «значимых и поэтому «достойных знания» исследователь, наблюдая и познавая, держится на расстоянии от предмета, так что он в состоянии изменять по отношению к нему свою точку зрения, то в практическом *ценностном суждении* активная, волящая, ориентированная на собственный интерес или на идеальное сторона сущности прорывается, ломает созерцательное отношение к действительности, сужает кругозор, затуманивает при определенных обстоятельствах зеркало сознания и уменьшает таким образом содержание истины в мышлении. Так, старые историки подходили к своим предметам с позиций мирового судьи, сопровождая изложение происходящего личностными комментариями, и вскоре оказывалось, что их критерии были обусловлены временем и обладали лишь кратковременной значимостью.

Опасность того, что заинтересованное в привычном состоянии воление затуманивает взор исследователя, грозит особенно социальным наукам. Ибо государство в качестве господствующей организации определенных групп людей ждет от них указания направлений для его экономического и политического поведения и поддержки его мероприятий. А так как исследователи сами относятся к господствующему слою, даже большей частью являются владельцами доходных мест в государстве, их интерес, естественно, связан с дающим им привилегии строем. Ясно, что им особенно близко неосознанное взаимопроникновение познания фактов и ценностных суждений, возникающих из определенной практической заинтересованности. Вебер замечает, как часто в области его специальности ученый, сам того не замечая, выступает не только как слуга истины, но как слуга существующего строя, следовательно, «между строк» защищает политику, окрашенную интересами собственного слоя, так что сказанное Карлом Марксом о «буржуазной науке» не лишено в этом отношении основания.

Но возможно ли вообще разделение этих двух духовных функций: теоретического отношения ценности и практического ценностного суждения, познания и воления? Это все время многи-



ми оспаривается, и Вебер также знает, что он провозглашает *идеал* исследования, полному осуществлению которого препятствует единство личности, знает, что и в акте познания созерцающий человек с трудом отделяется от действующего. Однако исследователь должен признавать этот идеал и *насколько это возможно* приближаться к нему. Ибо подобно тому как мистик, который хочет «иметь» Бога, сначала заставляет остановиться каждое проявление воли, так мыслитель, чтобы провозглашать истину, должен сначала освободиться от своего практического интереса к процессу происходящего. Если ему это не удастся, он обязан ясно показать себе и другим, «где замолкает мыслящий исследователь и начинает говорить волящий человек, где аргументы обращаются к рассудку и где они обращаются к чувству. Следовательно, все дело в том, чтобы в области научной работы устранилось не признанное смешение предметно и личностно обоснованных суждений, которое создает видимость, будто мыслитель провозглашает объективную истину, тогда как он внушает убеждения. Но он отнюдь не должен избегать высказывания собственных идеалов. Напротив, отсутствие определенных убеждений и научная объективность не обладают внутренней родственностью». Прежде всего это относится к ученому в *области социальных наук*; так как его знания в особой мере ценны для формирования *жизни*, и он поэтому также ответствен за политический курс и перед ним стоит двойная задача: выявление истины ради нее самой и «ориентация своих действий на ясные, сознательно избранные убеждения».

Эти постулаты относятся в равной мере как к исследователю, так и к университетскому преподавателю, особенно преподавателю социальных наук. Вебер делает еще более конкретные выводы. Уже будучи молодым студентом, Вебер считал — как было показано раньше — неприемлемым, что обладающий научным авторитетом и достоинством своей должности профессор внушает с кафедры своим слушателям убеждения и взгляды, которые они неспособны оспаривать и которым не могут ничего противопоставить. Особенно неприемлемым считает Вебер использование должности профессора в студенческой аудитории для формирования *политических* взглядов. С внутренним протестом он следил на лекциях Трейчке за их демагогическим воздействием на души молодых людей. Но еще хуже представляется ему скрытое влияние. Поэтому он утверждает: «Из тех ученых, которые считают *невозможным* для себя отказываться от практических оценок в своих эмпирических исследованиях, скорее всего можно выносить самых страстных — таких, как Трейчке, по-своему и Моммзена. Ибо именно вследствие сильной подчеркнутости аффекта слушатель может по крайней мере *в свою очередь* оценить субъективность

оценки преподавателя по ее возможному влиянию на его установки и, следовательно, сам совершить то, что помешал сделать преподавателю его темперамент. Смещение научного исследования с личностными оценочными суждениями представляется Веберу сомнительным по другим причинам: оно приучает учащегося к сенсациям и уменьшает его интерес к предмету. Единственный педагогический идеал, к которому профессор может с полным правом стремиться в студенческой аудитории — это воспитание в своих слушателей интеллектуальной добросовестности и *простой деловитости*. Все, что не относится к теме исследования надо устранять, в первую очередь любовь и ненависть». Студент должен научиться в аудитории у своего учителя довольствоваться простым выполнением поставленной задачи. Поэтому учитель должен скрываться за предметом и подавлять потребность «представлять по собственному побуждению свой вкус и другие ощущения».

Что каждый стремится быть «личностью» и показать себя таковой, Вебер воспринимает как болезнь времени, излишнее внимание к себе, что прежде всего не следует поддерживать у молодых людей; «подростающее поколение должно опять привыкнуть к мысли, что стать личностью нельзя под действием намерения и что есть только один путь (быть может) стать таковой — полная самоотдача «делу», каким бы ни было оно, и связанное с ним «требование дня». Сам Вебер так и действовал. В своих научных выступлениях он сдерживал свой темперамент, который в сфере волеия каждое мгновение принуждал его к выбору и к требованию и отречению, к любви и ненависти. В своей должности он полностью заслоняет свою личность делом. То, что все-таки сквозило в тоне и жесте обладало привлекательностью таинственности; и, быть может, именно могущественная сдержанность его убеждений и сокрытие всей его личности действовали сильнее всего.

Своим мнением, что намеренное формирование молодых людей посредством политических, этических или других «практических» идеалов культуры не является задачей университетов, Макс Вебер противостоял распространенному течению времени, возникшему из особой внутренней «трудности», присущей растущему поколению. С одной стороны, социализм своей политической пропагандой, прежде всего импозантным, революционизирующим умы толкованием истории Карлом Марксом поколебал уютное буржуазное существование. Он требовал создания нового общественного порядка и разрушал существующий, освобождая духовно массы от господства христианской церкви. С противоположной стороны разрушал существующий строй Фридрих Ницше, ломая во имя антично аристократических жизненных идеалов законы буржуазного общества, основанные на христианских пред-

ставлениях. Все традиционные оценки, идеалы, понятия, формы мышления, в кажущемся нерушимым владении, которыми люди чувствовали себя столь уверенно ориентированными, были поставлены под вопрос в качестве необязательных предрассудков стадных людей, подтверждающих ими свою обыденность. И если Маркс стремится к революционизированию во имя демократических идеалов, то Ницше, напротив, требует господства немногих и создания типа сильного аристократического человека, который в силу своего самоутверждения обретет полное удовлетворение в посягательстве на жизнь.

Сколько ни противоположны направления, на которые указывают ведущие идеи этих двух великих мыслителей, в одном они совпадают: в стремлении ликвидировать оценки, происходящие из многообразного и противоречивого смешения «христианской культуры». В чем же находить опору современному человеку, особенно молодежи?

Новое возвышение великого поэта Стефана Георге, кое в чем близкое мыслям Ницше, отрицает все господствующие власти машинного века: рационализм, капитализм, демократию, социализм. Оно обращается к немногим представителям аристократии духа и трактует о *формах* бытия, благородном отношении к жизни, не указывая при этом на нормы поведения и новые осязаемые содержательные цели. Его действие на формирование человека осуществлялось в маленьких интеллектуальных и художественных кружках. Идеалы, охватывающие большие сферы, образующие общество, новую веру для *широких* кругов, предлагал лишь социализм. Тот, кто покинул старых богов, не обращаясь к социализму или к аристократизму художественных кругов, чувствовал себя в «свободе пустого пространства». Все господствовавшие веками над жизнью отдельного человека общие идеи: христианская религия, выведенная из нее буржуазная этика, идеалистическая философия, этическое отношение к идее профессии, наука, государство, нация, семья, все то, что еще до рубежа века связывало и держало отдельного человека, было поставлено в их этике под вопрос — состояние, с которым значительная часть борющейся за форму своего существа молодежи не могла справиться. Она чувствовала себя оставленной Богом и не находила закона, которому хотела бы повиноваться. И если опору не давали наследственная мудрость отцов и несокрушимость инстинктов, молодые души испытывали потрясение от огромной неуверенности во всех направляющих действия критериях. В этой ситуации возникло мнение, что университеты в качестве центров духовности и одновременно институтов обучения не должны довольствоваться сообщением знаний молодому поко-

лению и его духовным воспитанием, но что перед ними стоит и другая задача: общее формирование личности, передача убеждений и взглядов, практически оценивающая позиция по отношению ко всем важным жизненным проблемам, восстановление единого образа мира, мировоззренческое возведение. И эту задачу должны были взять на себя не только теология и философия; и другие дисциплины в области наук о культуре представляют для этого достаточно возможностей; для формирования *политической* воли таковы прежде всего социальные науки и история. На основе оценивающего сознания и мировоззрения — какого, правда, неясно — и разрозненное специальное знание вновь замкнется в единстве. Поэтому студент — таково было мнение — должен видеть в преподавателе не только учителя, но и *вождя*, который указывает его воле цели, а его личностному развитию — направление.

Вебер, который уже будучи молодым доцентом, не желая и не зная этого, почитался своими учениками как «вождь», резко выступает против этих тенденций при малейшем их проявлении. Ибо свойства, которые делают кого-либо выдающимся ученым и преподавателем, не превращают еще его в вождя в области практической ориентации в жизни, особенно в политике. Является ли он таковым или нет, пребывание на кафедре не дает ответа на этот вопрос. «Профессор, который чувствует себя призванным быть советником молодежи и пользуется ее доверием, может говорить открыто в личном общении. Если же он чувствует себя призванным участвовать в борьбе мировоззрений и партийных мнений, то пусть он выступает вне университета на рынке жизни: в прессе, на собраниях, в союзах, где угодно. Но слишком удобно проявлять свое мужество в признаниях там, где присутствующие и, быть может, иначе думающие вынуждены молчать».

Столь же нежелательным, как преднамеренное политическое формирование, Вебер считает и внушение в аудиториях определенных *мировоззрений*. Быть может, это допустимо в век общей веры. Однако сущность нашей эпохи состоит именно в том, что она лишена сплоченности, предоставляемой посредством единой ориентации. Насильственное внедрение субъективной мудрости только усилило бы общую внутреннюю неуверенность молодежи. «Из всех видов пророчества это личностно окрашенное *профессорское пророчество* — единственное совершенно невыносимое».

Все это относится в первую очередь к специалисту в области эмпирических наук<sup>19</sup>. Ценности и оценки для него не являются предметом провозглашения, но, конечно, предметом познания и учения. Он может вплотную подвести как познающего, так и действующего к ценности факта и указать ему следствия его выбора;

но это предел: *суждение* о ценности ценностей или даже выбор между различными ценностями в качестве путеводной звезды образа жизни; следовательно, решение, какие ценности *должно* осуществить, предоставляется самому человеку. «Научная аргументация никого не заставляет принимать решение в ценностной сфере». Оно совершается с помощью других средств, не средств рассудка, и никто не должен быть лишен этого права. Так Вебер ограничивает задачу эмпирических наук в отличие от «догматических». Но как он понимает задачу *философии*? Дает ли она право быть «провозглашенной» с кафедры? Вебер воздерживается от ответа на этот вопрос. «В этом я ничего не понимаю». В сущности он различает научную и вненаучную философию. Логика, теория познания и учение о ценности, позволяющее судить о смысле различных оценок, остаются по сю сторону границы. Метафизическая спекуляция как попытка толковать надэмпирический смысл существования и представить единую предметную картину мира — вне ее. И ценность фактически признанных ценностей, ее вневременное объективное значение нам неизвестны, мы можем только верить в них. Того, кто оспаривает ценность научной истины, искусства, национального чувства или религии, логическое средство убедить не может. И уж совершенно невозможны общеобязательные указания практического действия уже потому, что *идентификация культурных ценностей с этическими* императивами невозможна. Спекулятивная философия, правда, по методу есть наука, но у нее нет постигаемого наукой предмета. Она сообщает *недоказуемое* знание.

Здесь мы оказываемся в пункте, который позволяет как через узкую щель познать *этическое* мировоззрение Вебера: он видит возможные идеалы расходящимися на два противоположных полюса невероятного напряжения. В одном случае культурные ценности могут быть даны, даже если они вступают в неразрешимый конфликт со всякой этикой. И наоборот, возможна этика — как этика Толстого — без внутреннего противоречия, которая отвергает все ценности культуры. Существуют сферы ценностей, ценности которых может без сомнения реализовать лишь тот, кто этически берет «вину» на себя. Сюда относится прежде всего сфера политических действий. (Об этом еще пойдет речь в другом месте)<sup>20\*</sup>. Но не только она. Однако и в ее области перед нормативной этикой возникают вопросы, которые она не может решить сама, где решение становится возможным только посредством ориентации на внеэтические ценности. Так, например, в этике не может быть решен вопрос, достаточна ли *собственная ценность* этического действия — «чистая воля» или *убеждение* для его оправдания или должна быть также принята во внимание *ответствен-*

ность за предполагаемые последствия действия. И кто осмелится «научно» опровергнуть этику Нагорной проповеди, например, веление: не противодействуй злу, или подставь под удар обе щеки? И тем не менее ясно, что в мирском понимании в этом велении содержится недостойность. Приходится выбирать между *религиозным достоинством* этой этики и *человеческим*, которое требует совершенно иного: «Противодействуй злу — иначе ты также не сешь ответственность за его превосходящую власть». В зависимости от последней занятой позиции для человека одно есть дьявол, другое — Бог, и человек должен решить, что для него Бог и что Дьявол. «При выборе между ценностями речь всегда и повсюду идет не об альтернативах, а о непреодолимой *смертельной борьбе*, такой, как между «Богом» и «дьяволом». То, о чем здесь Вебер прежде всего думает, ясно из включенного в работы о социологии религии раздела «*Промежуточное рассмотрение*»<sup>21</sup>. Здесь на основе подводящего итог исторического обзора показано, как сублимированные посредством рационального мышления *религиозные* толкования мира, которые до сих пор все суть «религии спасения», неизбежно должны прийти и действительно приходят в растущее напряженное противодействие со всеми самостоятельно развивающимися сферами мирских ценностей; поскольку вытекающие в одном случае из религиозной, в другом из мирской ориентации различные идеалы и жизненные учения продуманы до конца и сознательно избраны для руководства в жизни. То и другое случается нечасто. Ибо большинство людей неспособны вынести даже понимание этого и им удается жить одновременно следуя самому противоположному по своему смыслу. Плоскость повседневности заключается именно в том, что живущий ней человек не сознает этого смещения смертельно враждебных друг другу ценностей и прежде всего не *хочет* сознавать, что он отказывается от выбора между «Богом» и «дьяволом» и от последнего решения, какие из противоположных ценностей относятся к царству одного и какие — к царству другого. Пусть даже эта всегда готовая к компромиссам и релятивированная позиция действующего человека неизбежна — проникающее до самого дна собственных построений *мышление* должно проходить через покровы, посредством которых действующий человек защищается от трудно переносимых открытий.

Так Вебер немилосердно освещает то, что большинство современных христиан не желают замечать. Центральным этическим постулатом каждой религии спасения является *братство* как сила самоотверженной жертвенности сообщества, человеческой солидарности вообще. Она противостоит в растущем напряжении всем видам целерационального действия, направленным на все

больше распространяющиеся блага культуры. И еще больше она противостоит иррациональным силам жизни: хозяйству, политическим структурам, искусству, эротике — ибо все они неизбежно ведут к поведению, враждебному братству, к тайному отсутствию любви, к человеческим отношениям, которые никак не могут быть этически регулированы к отрицанию послушания Богу. Но самое принципиальное и осознанное противостояние существует между религиями спасения и *мыслящим познанием*, хотя религия сама все время вступает в новые связи с интеллектуализмом. Ибо прогрессирующее эмпирическое познание противоречит решающему религиозному притязанию, согласно которому мир создан Богом и поэтому являет собой этически осмысленно упорядоченный космос. Оно окончательно совершило расколдование мира посредством его превращения в каузальный механизм. Так последние формы образа мира в понимании религии, с одной стороны, и эмпирической науки — с другой, находятся на противоположных полюсах. Религия притязает не на последнее интеллектуальное знание о сущем или нормативно значимом, а на последнее отношение к миру посредством постижения его *смысла*, что совершается не рассудком, а озарением. В отличие от этого наука во всех попытках философии (и теологии) показать... этот последний смысл и постигающую его позицию видит только стремление интеллекта нарушить свои собственные законы. И наконец религия спасения оказывается в напряженном противодействии не только отдельным сферам ценности мирской культуры, но и отрицает мир как целое. Она отрицает мир, в котором нравственное притязание на справедливое равенство не реализуется и в котором люди не только осуждены на несправедливое страдание и бессмысленную смерть, но очевидно и созданы для того, чтобы *грешить*. Лишение мира этической ценности беспредельно вырастает вследствие представления, что все высшие культурные ценности *обременены специфической виной*, так как все они предполагают формы существования несовместимые с братством. Тяжкая религиозная *вина* выступает как неразрывная составная часть всякой культуры, всякого действия в мире культуры, всякой жизни вообще.

Эти размышления не претендуют на философию, как решительно утверждает Вебер; они стремятся выявить скрытые факты и открыть последовательно до конца продуманные смысловые связи: «Мысленно конструированные типы конфликтов жизненных структур свидетельствуют только о следующем: в этих местах такие конфликты внутренне *возможны* и «адекватны» — *но не о том, что не существует точки зрения, с которой они могут считаться «снятыми»*. А это может означать: с точки зрения эмпири-

ческого познания дана, правда, растущая коллизия ценностных сфер, которая исключает единый образ мира. Но ничто не препятствует спекуляции и вере перекрыть эти данные другими — правда, недоказуемыми — толкованиями. Как Вебер сам относился к подобным возможностям, пояснит, быть может, следующее место из письма от 19.2.09: «Религиозно я, правда, совершенно немусыкален и не обладаю ни потребностью, ни способностью создавать какие-либо душевные построения религиозного характера. Но после внимательной самопроверки могу сказать, что я не антирелигиозен и *не иррелигиозен*». Для Вебера оставалось несомненным, что трезвое *эмпирическое* рассмотрение этого положения *дел* ведет к признанию «многобожия» как единственной ему соответственной метафизики: «Все это как в древнем еще не расколдованном от своих богов и демонов мире, только в другом смысле». «Как эллин приносил жертву то Афродите, то Аполлону и прежде всего богам своего города, так в расколдованном и освобожденном от мифической, но внутренне истинной пластики этого дело обстоит еще сегодня. И над этими богами и их борьбой властвует судьба, но отнюдь не наука».

\* \* \*

Толкование этой точки зрения как «релятивизм» Вебер отвергает, полагая, что это — «грубейшее непонимание». Ибо сколь для него ни несомненно, что безусловность конкретных идеалов недоказуема, столь же твердо он *верит* в них и требует от самого себя их осуществления. По поводу *Что* долженствования могут с равным правом существовать различные мнения, но только выбор и признание идеалов, задач, обязанностей создают смысл и достоинство человеческого существования — это для него несомненная внутренняя уверенность. Наша судьба знать, что мы не можем постигнуть смысл происходящего в мире даже при самом совершенном результате его исследования; мы должны суметь создать этот смысл сами. Как бы глубоко ни проникал свет разума, *царство познаваемого остается окруженным непостижимой тайной*. Поэтому «мировоззрения» никогда не могут быть продуктом прогрессирующего опыта, поэтому высшие идеалы, которые нас больше всего волнуют, во все времена могут действовать только в борьбе с иными идеалами, которые другим так же святы, как нам наши. «Тот, кто неспособен понять это, пусть не обращается с вопросами к науке, которая, оставаясь верной себе, не дает нам ответа. Пусть он обратится к пророку или к спасителю, верит и следует ему. Но он должен знать, что не будет избавлен от жертвования интеллектом («Credo non quod sed



quia absurdum»<sup>86</sup>), от этого решающего признака каждого позитивно религиозного человека».

## II

Как уже было сказано, занятие проблематикой логики культуры составляло лишь побочную тему работы Вебера. В 1903 г., предположительно во второй половине, сразу после окончания первой части статьи о Рошере и Книсе, он начал свою до сих пор самую знаменитую работу *«Протестантская этика и дух капитализма»*. Первая ее часть была закончена еще до поездки в Америку, ранним летом 1904 г., вторая часть вышла через год и отражает новые впечатления. Они в значительной степени повлияли на Вебера так сильно потому, что там он мог повсюду видеть живые следы возникновения современного капиталистического духа и самый этот дух в «идеально-типической» чистоте. Вероятно, идея этого произведения зародилась у него уже давно, во всяком случае с начала выздоровления. Подготовительными занятиями к этому могло служить также интенсивное изучение истории и устройства средневековых монастырей и орденов во время пребывания в Риме. Названная работа является первой в ряду пространственных *универсально-исторических* исследований, в которых сопоставляются полярно противоположные явления — содержания *религиозного* сознания и хозяйственная повседневность, а также отношение религиозности ко всем важным формам и структурам общественной жизни. Все эти статьи вышли в «Архиве социальных наук». В качестве соредактора «Архива» Вебер считал себя обязанным постоянно заполнять его страницы. К тому же он всегда спешил и такого рода непритязательная публикация была для него наиболее удобной. Поэтому ни одна из этих работ не вышла при его жизни в виде книги. Таким образом его новый свет просиял сначала только в узком кругу ученых. Впрочем, именно первая работа по социологии религии, вызвавшая множество контrovers, вышла далеко за круг читателей «Архива». Данные выпуски быстро разошлись, а так как Вебер все-таки не хотел тратить время на то, чтобы издать их в виде книги, эта работа была более десятилетия недоступна. Мы еще вернемся к этому. Только за год до своей смерти он решился вследствие многочисленных просьб опубликовать повторно часть своих работ. Ему еще дана была возможность переработать помещенные в первом томе статьи по социологии религии. До появления этого тома в печати он уже не дождался.

Круг этих проблем был не единственным, занимавшим его. Вновь обретенная продуктивность Вебера шла часто по нескольким параллельно текущим потокам; а время от времени она лег-

ко переходила в боковые каналы вследствие внутренней потребности или импульсов извне. Ведь он интересовался всем, его жажда знания не знала границ. О работах по логике мы уже говорили. Но это не все. Вебер обращался к своему научному прошлому. Прежние национально-политические и особенно аграрно-политические интересы могли в любую минуту возродиться. Осенью 1903 г., когда он был уже занят двумя другими работами, появляется проект закона, цель которого облегчить увеличение и преобразование фидеикомиссов. К идеологии здесь относится: сохранение аристократической передачи имущества и убеждений посредством поддержки земельной знати. Это пробудило внимание борца с консервативной романтикой, за которой скрываются материальные и политические классовые интересы. Вебер вынимает из письменного стола разработанный им в берлинский и фрейбургский период аграрно-статистический материал и уничтожает проект закона в статье, соединяющей тщательные научные доказательства с острой и резкой полемикой. Перо вновь становится копьем. Вебер показывает, что задуманный закон приведет к накоплению земли и капитала в немногих руках, обострит социальные противоположности на селе, неизбежно приведет к изгнанию свободных немецких крестьян и привлечет в сельскую местность славянских чужаков. И он разоблачает все это как подлинные, скрытые идеологией действительные мотивы: интерес династии и господствующего слоя к распространению послушной авторитету государства касты господ и придворных. Династия укрепляла свое господство, удовлетворяя таким законом тщеславные интересы, а именно стремление буржуазных владельцев капитала к «аристократизации» их доходов и к сеньориальному типу существования. Соображения Вебера вызвали сильный гнев, но оказали воздействие. Обсуждение проекта закона было отложено и в конце концов отменено. Закон не вступил в силу.

Политический интерес Вебера был также страстно возбужден, когда в 1905 г. разразилась первая русская революция. Он быстро изучает русский язык, напряженно следит за ежедневными событиями по ряду русских газет и ведет оживленный обмен мнениями с бежавшим в Гейдельберг русским профессором государственного права Т. Кистяковским, одним из духовных вождей «кадетов», которые участвовали в подготовке революции. Конституционно-демократический проект государственного строя», предложенный «Союзом освобождения», вызывает ряд его «замечаний» в «Архиве». Однако они вскоре разрослись в два больших тесно набранных тома и превратились в хроникальную историю борьбы русских за освобождение.

Вебер полностью сжился с душой и культурой русского народа и в течение ряда месяцев, затаив дыхание, напряженно следил за развитием русской драмы. Быть может, при повороте огромного восточного государства на путь европейского развития речь идет об одной из последних возможностей построения полностью свободной культуры. Быть может, теперь, «когда экономическая и духовная «революция», бесконечно порицаемая «анархия» производства и столь же порицаемый «субъективизм» еще не сломлены, наступил момент, когда посредством них и *только посредством них* предоставленный самому себе индивид широких масс может завоевать «неотчуждаемые права личности». Когда мир экономически «полон» и интеллектуально «сыт», эти права окажутся для него навсегда недостижимы. Вебера больше всего волнует вопрос о возможном влиянии событий в России на развитие Германии. Будет ли восточный колосс, который уже одной своей материей оказывает такое давление на западного соседа, так подвержен влиянию европейской либеральной идеи, что династическая жажда власти не сможет больше опираться на царизм? Будет ли там как следствие мученичества русской «интеллигенции» принята конституция, которая окажет влияние на освободительные стремления собственной страны. Вебер вскоре понял, что завоеванные у автократии формы принесли лишь видимость свободы, а не ее саму. С чисто азиатской хитростью полицейское государство саботировало поставленные самому себе границы. А политические деятели, которые могли бы справиться с огромными проблемами, не допускались к управлению: «Состояние России вызывает к назначению опытного государственного деятеля, — но династические амбиции личного правления так же препятствуют там деятельности крупного реформатора, как в других странах, в том числе и у нас». Революция заходит в тупик, грядут новые беды.

Все *экономические* признаки указывают на рост несвободы, повсюду в индустриально организованной жизни были подготовлены условия для новой зависимости. В такой ситуации те, кто живет в вечном страхе, что в будущем может оказаться слишком много «демократии» и «индивидуализма» и слишком мало «авторитета», «аристократии» и внимания к ценности должности, могут наконец успокоиться: проявлено достаточно заботы, чтобы рост демократического индивидуализма не достиг слишком большой высоты. История вновь неумолимо создает, — нам известно это из опыта, «аристократии» и «авторитеты», за которые может цепляться тот, кто находит это необходимым для себя и для «народа».

После этого Вебер написал несколько статей по логике. Но осенью 1908 г. его захватила большая историко-социологическая работа для руководства по государственным наукам «Аграрные отношения в древности» [русский перевод: «Аграрная история древнего мира»]. Уже ее объем — 136 страниц в 2 столбца петитом ин-фолио — совершенно не соответствует рамкам этого произведения, а скромное название отражает лишь небольшую часть содержания. Это — в сущности своего рода социология древности, то есть исторический анализ и понятийное проникновение во все важные структурные формы социальной жизни античности. Огромный исторический материал сжат здесь в самую тесную, точную форму. Введение представляет собой экономическую теорию государств древнего мира. Стадии их различной организации постигнуты в их своеобразии посредством идеальных типов, и Вебер показывает, в какой мере развитие определено здесь основными географическими условиями — распределением воды и земли; как своеобразие античной культуры основано на том, что она возникла на морском берегу или на берегу реки, в отличие от сложившейся внутри континента культуры средневековья и Нового времени. За сжатым обзором структурных форм Древнего Востока, Месопотамии, Египта, древнего Израиля следует подробный анализ западной древности: Греции, эллинизма, Рима, Римской империи. Все важные социальные явления сопоставляются друг с другом и с явлениями средних веков и Нового времени; одно поясняется другим, типическое и индивидуальное разделяется, в носящем одинаковое название показано различие и посредством точно построенных «идеальных типов» выявлено, как возникает ошибка, когда историк интерпретирует прошлое явлениями настоящего. Примерно в то же время, в 1908—1909 гг., Вебер еще раз вернулся к интенсивным исследованиям в своей узкой специальности. Поводом к этому послужили поставленные Союзом социальной политики, главным образом по инициативе его брата и коллеги Альфреда Вебера, проблемы: «Возвышение посредством выбора и приспособления», выбор профессии и ее судьба в кругах рабочих крупных индустриальных предприятий. Так же, как в работе по анкете сельскохозяйственных рабочих, речь и здесь идет о коллективном выяснении еще темных областей современного существования масс на основе с трудом обретенных отдельных исследований первичных материалов. Суть постановки проблемы состоит в следующем: каких людей создает современная крупная промышленность и какую профессиональную и иную судьбу она готовит им; другими словами: как действуют технические аппараты, в дей-

ствие которых насильственно втянута значительная часть современных людей, на их характерологические свойства и стиль их жизни, развитию каких психофизических свойств способствуют различные индустриальные процессы? В использованных в теме понятиях: «выбор», «приспособление» выражена идея Альфреда Вебера, согласно которой применение «естественно-научных» методов и познаний плодотворно. Макса Вебера интересовал в данной работе не только предмет, который может дать новое понимание духа современного капитализма, но прежде всего вопрос метода. Ведь успех коллективных работ, выполняемых частично новичками в научной работе — докторантами различных семинаров — зависел от выбора правильного пути и плодотворных точек зрения. Поэтому он разработал большое «Exposé»<sup>87</sup> для Союза, которое демонстрирует важные цели рабочего плана и одновременно дает отдельные указания о правильном научном применении. Вебер даже указывает, что при отправке списков вопросов к ним следует прилагать адресованные и оплаченные конверты. Чувствуется рвение преподавателя, одинаково заинтересованного также в том, чтобы помочь другим использовать свои способности для науки. Но эти указания были лишь результатом одновременного собственного углубления в проблемы. Вебер проверял естественно-научные методы исследования с точки зрения их применимости к задуманным работам и дал сам в качестве примера специальное исследование. Результаты были опубликованы в ряде статей в «Архиве социальных наук» под заглавием: «К вопросу о психофизике промышленного труда». Материал к предметному исследованию дала ему эрлингхаузенская ткацкая фабрика, которая вообще в ряде случаев служила источником наглядных примеров. Летом 1908 г. он провел много недель у родственников, углублялся в книги оплат и регистрационные списки фабрики, прилежно вычислял кривые производства ткачей за часы, дни и недели, чтобы прийти к заключению о психо-физических причинах колебаний в размере продукции. Однако эти утомительные исследования не были самоцелью, они должны были стать лишь иллюстративным сопровождением к научной работе. Главной целью было, следовательно, уяснение *методической* проблемы, прежде всего вопросов, могут ли служить анализу в области социальных наук, с одной стороны, естественно-научные учения о наследственности и затем психофизический эксперимент научного анализа. Вебер изучил важнейшую психофизическую литературу, особенно работы *Крёпелина* и его учеников, анализировал их методы и понятия и пришел к следующему выводу: совместная работа естествознания и социальных наук в принципе возможна и их психофизические понятия можно использовать для намечен-

ного повышения уровня исследования, однако для анализа массовых явлений в области социальных наук речь не может идти ни о методах «точных» лабораторных экспериментов, ни о достаточно достоверных данных теории наследственности. После того как все это было выяснено, Вебер возвращается к своим универсально-социологическим штудиям, причем в двух аспектах. Он хочет продолжать статьи по социологии религии и готовит одновременно по предложению своего издателя Пауля Зибекка большую коллективную работу «Руководство к политической экономии». Он набрасывает план, привлекает сотрудников и наряду с организационной работой продумывает важнейшие части. Статьи по социологии религии частично черпаются из тех же источников, что и новая работа и создаются параллельно с ней. Мы снова обращаемся к ним.

По собственному указанию Вебера, эти статьи должны служить характеристике современного западного человека и познанию его становления и культуры. Вначале он предполагал обратиться от Реформации к более раннему времени, чтобы дать также анализ отношения средневекового и раннего христианства к социальным и экономическим формам существования. Однако когда Эрнст Трёльч начал свое исследование о социальных учениях христианских церквей (первая статья была опубликована в «Архиве» в начале 1908 г.) он предположил, что области исследования могут слишком тесно соприкасаться и обратился сначала к другим задачам. Когда он впоследствии (около 1911 г.) вновь занялся работами по социологии религии, его привлек Восток: Китай, Япония и Индия, затем иудаизм и ислам. Он хотел изучить отношение пяти великих мировых религий к хозяйственной этике. Анализ раннего христианства должен был замкнуть круг. И если Вебер в первой статье о «духе» капитализма хотел осветить лишь *один* каузальный ряд — влияние религиозного сознания на экономическую повседневность, то теперь он ставит себе более широкую задачу: исследовать и другой ряд, а именно влияние материальных, хозяйственных и географических условий жизни различных культурных кругов на их религиозные и этические представления. Это собрание статей он назвал *«Хозяйственная этика мировых религий»*, понимая под хозяйственной этикой, как и в первой статье, не этические и теологические теории, а происходящие из религии практические побуждения к действию.

Эти работы об азиатском мире не задуманы как завершенное познание в каком-либо направлении, ибо для Китая, Индии, Японии Вебер пользовался переводами источников, а по иудаизму обнаружил едва ли не необозримую литературу. Поэтому Вебер, который до сих пор основывал свою работу на тщательном

исследовании источников, оценивал эти статьи очень скромно, но все-таки надеялся на то, что его постановка вопроса позволит по-новому увидеть знакомые факты и прежде всего на то, что освобождение анализа от религиозных и этических ценностных суждений, которые естественным образом окрашивают все частичные исследования в области истории религии, подготовит почву для более ясного понимания. Поскольку исследовать многообразно переплетенную зависимость религии и хозяйства во всех деталях было бы невозможно, выявляются элементы, указывающие на *направленность* образа жизни тех социальных слоев, которые сильнее всего воздействуют на практическую этику соответствующей религии и придают ей хозяйственно-этические важные черты: в Китае, например, конфуцианство, связанное с жизнью и мышлением представителей литературно образованного, занимающего государственные должности слоя; в Индии — древний индуизм, связанный с наследственной кастой литературно образованного слоя — брахманов; в древнем буддизме — распространяющее его странствующее нищенствующее монашество, в древнем исламе — воин-завоеватель, в иудаизме после пленения — гражданский «пария», в христианстве — странствующие ремесленники и городское бюргерство. Но Вебер решительно отвергает в этой связи неправильное понимание, будто своеобразие религиозного содержания является отражением материальных интересов или «функцией» социального положения несущего его слоя: как ни глубоко экономически и политически обусловленные социальные влияния действуют на религиозные этики, первично религиозные этики обретают свой облик из *религиозных* источников, из содержания их возвещения и обетования, из религиозных потребностей их сторонников. Каузальные ряды идут в обоих направлениях: «интересы (материальные и идейные), а не идеи, непосредственно господствуют над действиями людей. Однако «образы мира», созданные идеями, очень часто в качестве стрелок определяли пути, по которым динамика интересов направляла действие». В прошлом важнейшими формирующими образ жизни силами были повсюду магические и религиозные власти и связанные с ними в вере представления об обязанностях. И повсюду проходил один и тот же процесс: постепенная сублимация примитивной веры в духов и демонов в *религию спасения*, то есть в религию, которая отрицает мир, каков он есть, и стремится к достигаемому в этой или потусторонней жизни освобождению от страдания и греха. Как только человек начинает мыслить вне пределов сегодняшнего дня, у него возникает уверенность, что мир есть осмысленно упорядоченный космос или может им стать. У него возникает вопрос об отноше-

нии счастья к его заслуженности, он ищет удовлетворяющее разум оправдание страдания, греха, смерти, создает «теодицею». Другими словами: религиозные чувства и переживания мысленно разрабатываются, *процесс рационализации* устраняет магические представления, «расколдовывает» и обезбоживает мир. Религия превращается из магии в учение. И после распада примитивного образа мира появляются две тенденции: к *рациональному* господству над миром и к *мистическому* переживанию. Но не только на религии накладывает свою печать развивающееся мышление — процесс рационализации движется по различным колеям и его законы охватывают все области культуры: хозяйство, государство, право, науку и искусство.

Прежде всего *западная культура* во всех ее формах определяется развитым сначала в Греции методическим *образом мышления*, к которому в век Реформации присоединяется ориентированный на определенные цели методический *образ жизни*. Это соединение теоретического и практического рационализма отделяет современную культуру от античной, а своеобразие обеих — современную западную культуру от культуры Азии. Правда на Востоке также происходил процесс рационализации, но ни в области науки, ни в сфере государства, хозяйства, искусства он не пошел по пути, свойственному Западу.

Для Вебера это познание особенности западного *рационализма* и его роли в западной культуре означало одно из его важнейших открытий. Вследствие этого его первоначальный вопрос об отношении религии и хозяйства расширился до еще более пространного — о *своеобразии всей западной культуры*. Почему только на Западе существует рациональная наука, создающая доказуемые истины? Почему только здесь существует рациональная, гармоническая музыка, пользующаяся рациональными конструкциями архитектура и живопись? Почему только здесь существуют сословное государство, организация профессионально подготовленных чиновников, специализация в разных областях, парламент, политические партии, вообще государство как политический институт с рационально разработанной конституцией и таким же правом? Почему только здесь действует судьбоносная власть современной жизни, только здесь современный капитализм? Почему все это только на Западе? Эти вопросы постоянно занимали его в той или иной форме и заставляли его выходить за рамки своей специальности, более того, вообще *каждой* научной специализации, в область познания действительности в ее мировом масштабе.

Он устанавливает также, что рождение современного западного государства, так же, как западных церквей, было делом юристов: юридический рационализм — особое достижение римлян — ус-



танавливает, что современный буржуазный «предпринимательский капитализм» в значительной степени определен и своеобразием западной науки, которая делает возможным исчисляемость его технических факторов, точную калькуляцию и т. д. И к самым поразительным выводам относится то, что определенную роль в своеобразии западного искусства, во всяком случае архитектуры, живописи и музыки, играла также *наука*. Во времена Вебера порицали рационализм, и многие художники считали, что он препятствует их творческой способности, поэтому открытие особенно поразило Вебера. Он предполагал также написать работу по социологии искусства и в качестве первой попытки к этому предпринял в 1910 г. наряду со своими другими работами также исследование музыки с точки зрения ее рациональных и социологических основ. Это ввело его в далекие области народоведения и к труднейшим исследованиям арифметики тонов и символики.

Однако когда эта часть была временно фиксирована, он заставил себя вернуться к начатым и обещанным статьям. Основные части нового ряда статей о хозяйственной этике мировых религий была закончена около 1913 г. Но публикация их началась только в 1915 г. Вебер хотел еще добавить научный аппарат и дополнить некоторые части. Этому помешала мировая война и призыв его на военную службу. В конце концов он все-таки начал публикацию с раздела о конфуцианстве и даосизме, предпослав ему введение, носившее характер философии истории. Когда он осенью 1915 г. был демобилизован, он вернулся к этим работам. Раздел, посвященный Китаю, был в 1919 г. еще раз переработан для второго издания.

\* \* \*

Если в дальнейшем подробнее пойдет речь о первой религиозно-социологической работе, то потому, что она была первой, вновь подтвердившей значение Вебера после того как он вследствие тяжелого нервного кризиса был вынужден к трагическому отказу от активной деятельности, а также потому, что эта работа связана с глубочайшими корнями его личности и неопределимым образом несет ее отпечаток. В методическом отношении она также парадигматична. Одним из ее подтвержденных всеми последующими работами результатов является позитивное преодоление «материалистического» понимания истории. Вебер относился с восхищением к гениальным конструкциям Карла Маркса и считал вопрос об экономических и технических причинах происходящего чрезвычайно плодотворным, более того, специфически новым эвристическим принципом, открывающим познанию целые до сих пор

не освещенные области. Однако он не только отвергал возвышение этой конструкции до мировоззрения, но и абсолютизацию материальных моментов в виде *общего знаменателя* каузального объяснения. Ибо непредвзятое исследование уже рано научило его тому, что каждое явление культурной жизни обусловлено *также* экономическими факторами, но ни одно из них не обусловлено *только* ими. Уже в 1892/93 г., когда Вебер еще молодым ученым занимался выявлением причин бегства крестьян с земли на востоке Германии, он пришел к выводу, что идеологические соображения были для этого явления столь же решающими, как и материальные (Messer- und Gabelfrage); когда же он вместе с теологом Гёре предпринял составление второй анкеты сельскохозяйственных рабочих, им руководило с самого начала намерение наряду с хозяйственным положением сельского населения исследовать также нравственное и религиозное положение и взаимодействие различных факторов. Очевидно, что его уже очень рано занимал вопрос о формирующем мир значении идейных сил. Быть может, эта направленность его познания — *длительное исследование сущности религиозности* было той формой, в которой врожденная религиозность семьи его матери продолжала в нем жить.

Он совсем не хочет заменить материалистическую конструкцию истории конструкцией спиритуалистической — обе одинаково возможны, но посредством каждой из них в отдельности истина не была бы достигнута; в каждом значительном явлении следует освещать меняющееся взаимопроникновение различных сил формирования бытия. Методически эта работа интересна и потому, что в ней Вебер впервые *сознательно* применяет одновременно анализированные им в его логических работах поиски социологической истины в науках о культуре. Здесь перед нами построение таких центральных идеально-типических понятий, как «дух» капитализма или его противоположности — «традиционализма»; они не дефинируются, а «компируются», то есть их не дедуцированные, а взятые из действительности признаки постепенно выступают из исторического исследования; и то, что нам сначала дается как абстрактное понятие, наполняется в ходе изложения все более богатым, образно наглядным содержанием. Далее Вебер тщательно стремится дать каузальное сведение интуитивно понятых связей. Он ведь хочет дать не остроумное «зрелище», а по возможности доказанную истину — поэтому он подвергает гениальную концепцию строгой логической обработке. Этим в значительной степени объясняется сложная двойственность ведения мыслей — в тексте и в примечаниях. Отчасти это было вызвано желанием сэкономить место в журнале. Читателю приходится одновременно воспринимать в тексте поразитель-

тельные синтезы, а внизу под чертой тщательное научное доказательство. Каждый тезис подтвержден отчетом об источниках, важнейшие детали, в том числе филологическое объяснение возникновения современного понятия профессии помещены в качестве примечания мелким шрифтом. Во второй, в остальном неизменной редакции объем примечаний еще возрос вследствие полемики с теми из его критиков — как Brentano и Zombart — которым он не посвятил, как Рахфалу, отдельные антикритики. Что именно в этой работе необходимо было представить весь научный аппарат и все источники, показывают контroversы, которые возникли главным образом потому, что идеи были слишком неожиданны, а их тщательно проведенная относительность сначала не была полностью воспринята. И наконец: тот, кого не убеждает *логическая* аргументация Вебера, что разделение познания и оценки в рамках исторического изложения возможно, увидит это, быть может, посредством углубления в данную работу, где оно сознательно проведено. Вебер решительно воздерживается от суждений о ценности различных анализируемых им религиозных и этических построений и нигде прямо или косвенно не устанавливает иерархию рангов между «богами». А там, где он, как в конце, акцентирует возможности будущего развития, он сразу же указывает, что здесь область доказуемой науки уже оставлена. Идейное содержание католицизма и протестантизма в его различных ответвлениях (так же, как позже азиатских религий) трактуется с той же непредвзятостью, не поддающейся ни одному из этих пристрастных стремлений к истине. Можно в самом деле сказать: Вебер постигает в принципе все эти формы явления человеческого духа не *sine ira et studio*<sup>88</sup>, а с *равной любовью*, правда, с незаинтересованной любовью созерцательного человека, который отказался от собственного владения каким-либо из этих содержаний.

Он всегда ощущал глубокое почтение к Евангелию и подлинной христианской религиозности; притчи Иисуса, Нагорная проповедь, затем послания апостола Павла, а в Ветхом Завете особенно пророки и книга Иова являются для него несравненными документами религиозной одухотворенности и глубины. Однако со времен своей зрелости он был вне всякой связи с содержанием религии и мог поэтому как мыслитель с одинаковым интересом обращаться к каждой религиозной системе. Но несмотря на это «пребывание над» — или, может быть, именно поэтому — простой безыскусственный ход мыслей потрясает, причем не только предметным содержанием этой первой религиозно-социологической статьи, но и исчезающей за ней личностью мыслителя. Чувствуется глубокое волнение, вызванное судьбами человечества, «заставляющее биться его сердце»; прежде всего потрясение тем, что

идея, проходя свой путь на земле, всегда и повсюду в конечном итоге действует противоположно ее первоначальному смыслу и этим уничтожает себя. И в великих образах героического пуританизма, которые показывает нам Вебер, мы как будто чувствуем известные, ему самому свойственные черты. Поэтому мы осмеливаемся на попытку подчеркнуть здесь некоторые мысли этой работы.

Алчность, жажда денег, беззастенчивое стремление к наживе существовало всегда и повсюду. Невнимание к нормативным требованиям в приобретательстве больших благ, чем нужно для жизни, капитализм искателей приключений, спекулянтов, любителей наживы, колониальный капитализм и подобное присутствует в каждом пользующемся деньгами хозяйстве. Однако утверждение добычи денег ради нее самой, рассматриваемой не как приключение, а как *нравственный долг*, не является чем-то само собой разумеющимся, и существует только начиная с определенной эпохи, причем только в определенных слоях и только на Западе. Для того чтобы это могло произойти, западный человек, в частности западное *бюргерство*, должно было быть воспитано для определенного образа жизни и научиться воспринимать рациональный методический труд как нравственный долг. Как это произошло и как оно действовало? Эта лишь постепенно открывающаяся цель постановки вопроса обволакивает исследование столь же смелыми, сколь продуманными ходами мыслей, пока наконец не открываются все ведущие туда нити. Мы подойдем здесь к этому самым коротким путем и можем лишь частично обозреть все богатство духовного мира, через который ведет Вебер. Сначала он освещает близкое нам настоящее. На материале статистики конфессии, проведенной учеником, показывается, что католическое население Германии значительно меньше участвует в капиталистическом приобретательстве, чем протестантское, и что это определяется не внешними, а внутренними, психическими причинами — воспитанным в тех и других религиозным пониманием *профессии*. Давно известно, что протестанты кальвинистского и баптистского толка характеризуются с давних пор своеобразным сочетанием интенсивного благочестия с развитым и плодотворным пониманием в деловой практике. Для того чтобы выявить каузальную связь между этими бросающимися в глаза явлениями, исследователь проникает шаг за шагом из настоящего и известного в прошлое вплоть до идейного мира Реформации и средневековья.

В качестве одного из характерных документов капиталистического «духа» Вебер анализирует сначала поучения Бенджамина Франклина молодому купцу. Здесь дан идеал пользующегося кредитом почтенного человека, для которого рост его состояния по-

средством неустанной работы, сбережений и отказа от наслаждений есть *долг*; он рассматривает добытое богатство как знак личностной доброкачественности. Эти религиозно индифферентные представления, которые в древности и в средние века презирались бы как недостойные, находили на родине Франклина всеобщее одобрение, задолго до того как там возник капитализм в качестве формы производства. Они продолжают и сегодня жить в современном предпринимателе, для которого работа является нравственной обязанностью, а дело — самоцелью.

За этим чисто этическим и ориентированным на мирские дела типом встают как его предтечи — преисполненные Богом, глубоко благочестивые, великолепно строгие образы эпохи Реформации: Лютер, Кальвин, Беньян, Бакстер, Кромвель, пуритане и баптисты, люди, для которых нет ничего более важного, чем их отношение к Богу, спасение их души, их будущая судьба в потустороннем мире. А за ними — *Deus absconditus*<sup>89</sup> Кальвина. Он, которого мы не знаем, уже не любящий отец Евангелия, а неизвестный, таинственный Бог, который не хочет ничего, кроме собственного величия. Что общего у них с капиталистическим духом, создающим маммонизм? Не слишком ли смело соединять дух отрицания мира, отрицания земного великолепия с этим «дьяволом»? Но в цепи доказательства одно звено следует за другим, пока мы не достигаем того места, где в силу собственной закономерности вечно враждебные силы соединены.

Мы видели, что понимание деятельности, направленной на доход как обязанность «профессии» еще придает жизни современного предпринимателя этическое достоинство. Откуда оно происходит? Ни древность, ни средние века не знали этого слова в таком смысле. Филологический анализ Вебера определяет его как творение Лютера. Лютер создал его при своей работе над переводом Библии, при этом он исходил не из духа оригинала, а из собственного духа. Реформатор хотел выразить этим достоинство мирского выполнения долга в *отличие* от католического идеала уходящей из мира аскезы. Это слово превращает мирскую повседневную работу в высшее содержание нравственной деятельности. Оно одно из имеющих наибольшие следствия свершений Лютера, ибо все протестантские сообщества приняли его новый созданный смысл. Но несмотря на это — не Лютер создал капиталистический «дух». У колыбели его стояло то, что по своему *смыслу* больше всего противоречит всякому земному делу: страшное учение Кальвина об избранности к спасению и все, что из него следовало. Непостижимый Бог определил одних людей к вечной жизни, других — к вечной смерти. Предопределенную судьбу не меняет ни заслуга, ни вина, ни таинство, ни добрые дела, его

смысл — темная тайна. Каждый, кто верит в это, спрашивает со страхом и дрожью, принадлежит ли он к избранным или к проклятым. Бог сделал выбор. Никто не может это изменить, можно только предполагать, к какой стороне ты относишься, и единственное средство увериться в своей принадлежности к спасенным — это подтверждение, причем *подтверждение* в своей профессии, неутомимый успешный труд во славу Божию.

Это — основная мысль, которая создала совершенно новые религиозные типы, тип «пуританина», квакера, меннонита, баптиста и т. д. Этот новый человек ощущает себя зависимым только от себя, в страшном одиночестве, утратившим все магические средства спасения. Ни церковь, ни проповедник, ни таинство не могут ему помочь в решающем деле его жизни. Поэтому он не подчиняется земным авторитетам и недоверчиво и скрытно отдалается от людей. В глубоко внутренней изолированности общается он с Богом, которого не знает, от которого он чувствует себя в страшном отдалении. Он — орудие Бога, а не Его сосуд, и Бог требует от него *действий*, а не чувств и настроений. Он требует *рационального* образования мира в соответствии с Его велениями. Пуританин держится в стороне от всякой чувственной культуры и чувственной радости. Направляя взор на потустороннюю жизнь, полный страха за спасение своей души, занимается он своими земными делами как богослужением. И так как каждая сильная чувственная связь между людьми подозрительна в качестве «обожествления твари», его образующая сила переносится на *дело*: он с рвением и успехом организует мирскую жизнь. Этот дисциплинированный, отвергающий наивное наслаждение образ жизни, — не только желаемое Богом, а совершаемое Богом изменение, — должен свидетельствовать об освящении избранного. Несовершенства среднего католика могут исправить святые таинства церкви. Лютер также сохранил непосредственность инстинктивного действия и наивной чувственной жизни. Но не кальвинист. Для него существует только или-или: Божья воля или тварное тщеславие. Он создает свою уверенность в будущем спасении только посредством систематического самоконтроля для преодоления иррациональных влечений, посредством методического образа жизни, *мирской аскезы*. Таков решающий идеал пуританского «святого». В отличие от монаха он живет *в* мире, но он, как и тот, не *от* мира. Лютер отверг *уходящую* из мира аскезу как небиблейскую и синергическую; поэтому страстные в своей серьезности, целиком отданные Богу натуры той эпохи были вынуждены осуществлять свои аскетические идеалы *в* мире. И позитивным импульсом к аскезе была идея необходимого *подтверждения*. Она соединяет веру и нравственность и становится

ся благодаря этому решающе значимой для повседневной жизни. Она создает совершенно нового человека, который знает только или-или: Божию волю или тварное тщеславие и может в земной жизни выразить себя только в неустанном труде.

Однако мы все еще не видим, какова связь между идеями, как профессиональный труд предстает в качестве нравственного долга, как подтверждение состояния спасения посредством аскезы в миру и современным капитализмом. В этом месте напряжение парадоксальности достигает своей кульминации. Для пуританской религиозности *богатство* — опасность, стремление к нему бессмысленно. Но богатство — неизбежное следствие методического приобретения и воздержания от наслаждения, в качестве такового оно *признак подтверждения, даже состояния спасения*. Презрен только *покой* во владении. Только деятельность служит славе Господней, тяжелейший грех — трата времени; лишенное действия созерцание также не имеет ценности, если оно совершается за счет профессионального труда. «Работай, не жалея сил, в своей профессии» — повелевает Бакстер благочестивым. И «не для плотских радостей, а во славу Божию можно вам трудиться, чтобы быть богатыми». Этим наконец все замыкается, образуя круг. Тем, кому в качестве важнейшего содержания жизни предписана методическая работа без усталости, а наслаждение и покой при успехе запрещены, остается только вкладывать большую часть своей прибыли во все новые приобретения. Он *должен* стать капиталистическим предпринимателем. С трезвым бюргерским *self-made-man*, который воздаст хвалу Богу за созданную благодаря ему беспорочность, покончено. Оковы совести сняты, накопление богатства освобождено от уз традиционализма, результатом может быть только образование капитала посредством экономии, накопления богатства. Бог сам благословляет деятельность своих святых. Но он требует отчета о каждом доверенном Им пфенниге. «С холодеющей тяжестью ложилась на жизнь идея обязательства человека по отношению к своему имуществу». И с этого начинается трагедия идеи. Испытаниям *добытого* богатства не удастся противостоять и пуританизму, так же, как не могли им противостоять и средневековые монашеские общины. Грандиозная религиозная стилизация жизни уничтожается своими собственными следствиями. И только когда ее корни отмирают, идея профессии и аскетическое воспитание оказывают свое полное действие. Постулированный Франклином современный экономический человек, «вырезанный из твердого дерева бюргерской добропорядочности», стоит в конце ряда образов: вместо религиозного энтузиазма его переполняет трезвая профессиональная добродетель, вместо поисков Царства Божия — поскюсторонность.

В качестве наследника религиозного прошлого он обладает специфически бюргерским профессиональным этосом и чистой совестью при зарабатывании денег. Воспитание к трудовому аскетизму предоставляет ему трезвых совестливых рабочих и легализует эксплуатацию их услужливости.

Этот космос современного экономического строя, в создании которого участвовал дух христианской аскезы, неизбежно определяет сегодня стиль жизни каждого человека. «Пуританин хотел быть профессионалом, мы *должны* ими быть». «Только как легкий плащ, который можно всегда сбросить, должна была лежать забота о благах земли на плечах его святых, но плащ судьба превратила в жесткий панцирь. Сегодня религиозный дух ушел из него. Окончательно ли? Кто знает?» В конце Вебер касается на мгновение покрыва, скрывающего будущее этого невероятного развития, но поднять его он не осмеливается.



# Расширение деятельности

Мы остановились на возвращении Вебера из Америки и продолжаем теперь излагать его жизненный путь. Полного выздоровления большое путешествие не дало. «Мы оба еще не вполне восстановили равновесие нашей нервной системы, быть может, ощущается также, что Америка не дала подлинного отдыха. Во всяком случае Макс опять не всегда хорошо спит и сердится на недостаточную трудоспособность. Станным окажется, если он будет переносить здесь спокойную жизнь хуже, чем бурную жизнь в Америке». Однако несмотря на ряд колебаний Макс сохраняет привычку к более нормальной жизни. В виде исключения больной лев и вечерами выходит из своего логова. Когда гейдельбергские национальные социалисты под руководством А. Дейсманны устроили «вечер Америки», на котором наряду с Эрнстом Трёлчем выступала и жена Вебера, он дает себя увлечь и импровизирует в дискуссии дольше, чем оба главных оратора вместе взятые. Накопившиеся впечатления неудержимо текут.

Он соглашается также на доклад в организованном Дейсманном религиозно-научном кружке, который объединяет небольшую группу таких известных ученых, как Виндельбанд, Еллинек, Готейн, Трёлч, Нейман, Домашевски, А. Дитерих, Ратген, фон Дун и другие; его привлекает возможность обмена мнений, позволяющего, отправляясь от мнений других, превращать собственное знание в нечто новое. Правда, и такие связи в обществе вызывают беспокойство: «Завтра, в воскресенье нам предстоит «Эранос», научный кружок с десятью участниками. Макс готовит «протестантскую аскезу», а я «ветчину в бургундском». Из-за Макса мне хотелось бы, чтобы это уже было позади. Дело в том, что в последнее время он чувствовал себя нехорошо».

Статья о «духе» капитализма быстро подвигается к завершению. В конце марта, менее чем три месяца окончена вторая часть. Вебер пишет Риккерт: «Я работаю, правда, с ужасными мучениями,

но все-таки по несколько часов в день. В июне или июле Вы получите, быть может, интересную для Вас культурно-историческую статью: Аскеза протестантизма как основа современной *профессиональной культуры* — своего рода «спиритуалистическая» конструкция современного хозяйства» (2.4.05).

За окончанием этой работы не последовало истощение. Сдерживаемое счастье от удачной работы соединяется с радостным восприятием прекрасной весны. Веберу удастся без перерыва продолжать работу. Он пишет матери в ее день рождения: «Я вновь возвращаюсь к ряду оставшихся неоконченными работ, более философских по своему характеру после обильного пуританского масла последних месяцев. Но голова еще не вполне к этому готова. Здесь настоящая теплая весна во всей своей красе. Надеюсь, что и у вас, внешне и внутренне». Да, волшебство солнца дало вновь благословение земли, уверенность теплого сильного чувства жизни. С трудом соединенные осколки прежнего богатства как будто срастаются. «О нас я могу сообщить только хорошее. Весна с ее солнечным светом и волшебной зеленью бутонов, которые на каштанах в «палисаднике» кажутся маленькими зелеными звездочками, вызывает благодарность наших сердец. Макс опять больше выходит, он поднимается по своей любимой горной канатной дороге, а в послеобеденные часы мы сидим в саду на нашей скамье. И я могла бы танцевать и петь с птицами, радуясь тому, что жизнь все время обновляется, всему тому, что у нас есть, в частности тому, что у меня есть *он*». Как хорошо, что они научились благодарно радоваться каждому прекрасному часу, ибо за такими периодами растущей силы следуют необъяснимые ухудшения — в резких подъемах и падениях растет и падает волна.

Во второй половине этого года Вебера захватила революция в России. Он прервал научную работу, выучил за короткий срок — он занимался этим с раннего утра еще в постели — русский язык настолько, что мог читать русские газеты, и следил с большим напряжением за событиями. Затем он фиксировал их письменно, сохраняя в хронике дня. Внутренне его больше всего в этом волновал вопрос о возможных последствиях освободительной борьбы в России для собственного народа (в предыдущей главе об этом уже шла речь). Первая книга «К вопросу о буржуазной демократии в России» была закончена в конце 1905 г., ибо последняя четверть года была особенно благоприятна: «Макс очень трудоспособен и прилежен. Меня удивляет только, что он в такой степени расточает и разбазаривает свои труды, пишет статью за статьей в «Архив», где они тонут и читаются очень немногими. Удивляет меня также, что его совершенно не тянет более к публичной деятельности, ни к актуальным политическим стать-

ям, ни к докладам. Думаю, что он мог бы читать доклады, если бы стремился к этому, но он отклоняет все предложения». Несмотря на его удивляющую многих продуктивность, Вебер и теперь жил в постоянной неуверенности и не решался поэтому соглашаться на связанные с определенным сроком работы. Старшие мастера его специальности уговаривали его подать новую работу для чтения лекций в одном из крупных университетов, но тщетно. На одно такого рода предложение особенно уважаемого им Л.Брентано он отвечает: «Вы опять любезно говорите о переезде в *Мюнхен*. Теперь я это сделать не могу, сходное предложение Шмоллера применительно к Берлину я также отклонил, так как не могу регулярно работать. Я вполне хорошо переношу довольно трудную умственную работу, но *физическое* утомление от устного выступления приводит к бессоннице, и через короткое время к неспособности работать. Мне несомненно понадобятся еще полтора года, прежде чем я смогу серьезно думать о реабилитации при другом университете. Что я счел бы особенным счастьем работать вместе с Вами, Вы знаете. С точки зрения дела возникает вопрос, не важнее ли, чтобы именно в Берлине был кто-нибудь, разделяющий мои взгляды в качестве противовеса абсолютной беспринципности, которая там царит» (28.2.06).

Несмотря на этот вынужденный отход от университетских дел, интерес Вебера к университету остается прежним. Коллеги и факультеты часто обращаются к нему за советом, когда идет речь о замещении кафедр, а молодые доценты делают его адвокатом их профессиональных интересов. Он не жалеет в этих случаях ни усилий, ни времени, относится к делу других, как к собственному, проверяет добросовестно, что может быть объективно желаемым и справедливым, проявляет при этом глубокое знание предмета и людей и защищает свое мнение твердо, но деликатно и с большим дипломатическим тактом. Если же он наталкивается на мелочную узость, тщеславие и прочие «человеческие» свойства, то он становится неудобным для коллег, применяя свое копьё и пытаясь преодолеть противодействие посредством сильного морального давления, действие, которое подчас оказывается безуспешным. В такой ситуации Вебера часто особенно возмущает известная склонность многих коллег отдавать при назначениях предпочтение посредственным, но приятным специалистам перед значительными и решительными личностями. Он видит в этом специфическую профессиональную болезнь — профессорское тщеславие. Столь же ненавистен ему антисемитизм, на основании которого выдающимся умам, как, например, Георгу Зиммелю, не предоставляется деятельность, которую они заслуживают. Что не удалось пригласить этого философа в дополне-

ние к Вильгельму Виндельбанду в Гейдельберг, он долго не мог простить участникам этого решения. И наконец, ему были противны политическая несвобода и боязнь, препятствующие приглашению ученых социал-демократического направления.

Характерный, долгое время занимавший его случай заключался, например, в том, что по этой причине многообещающему молодому социологу Роберту Михельсу были недоступны немецкие университеты. Ему оставалось только одно — габилитироваться за границей. Вебер говорит следующее — «Если я сравниваю с этим итальянские, французские, в данное время даже русские условия, я вижу в этом нечто постыдное для культурной нации, и я уверен, что большинство лучших немецких ученых, независимо от партийной принадлежности каждого из них, согласно со мной». Когда Альфред Вебер упомянул об этом на первом заседании преподавателей высших учебных заведений, кое-кто из коллег заявил, что кроме политических для этого были личностные основания, а именно то, что Михельс не крестил своих детей. В ответ на это Макс Вебер опубликовал во Франкфуртской газете статью о «так называемой свободе преподавания», в которой говорится: «До тех пор пока господствуют такие взгляды, для меня нет возможности делать вид, что у нас существует что-либо, подобное «свободе преподавания»... и до тех пор, пока религиозные общества сознательно и открыто позволяют использовать их таинства подобно ленточкам корпораций и патентам офицеров запаса как средства к карьере, они заслуживают того пренебрежения, на которое они обычно жалуются» (Сент. 1908).

К основным принципам Вебера относится то, что во всех, связанных с «ценностями» дисциплинах, следовательно, прежде всего в философии, истории, науке о государстве, должны по возможности действовать представители различных направлений. Университет, как он его мыслит, не должен быть «церковью» или «сектой», а также сохраняющим государство институтом; он — только место духовной свободы и духовной борьбы.

\* \* \*

Весна 1906 г. принесла давно желаемое изменение: переезд с узкой уродливой главной улицы на правый берег Неккара, на ривьеру Гейдельберга. Для совершения этого важного акта были проданы оригинальные гравюры Клингера. Их еще любили, но уже достаточно полно восприняли. Что они попали в Музей императора Фридриха в Познани и тем самым служат пропаганде немецкой культуры, вызывало удовлетворение Вебера. Громоздкая современная мебель из дуба с колоннадой также была заменена простой

старой мебелью. Помогает Елена, ибо она всегда готова доставить радость детям. Давняя мечта Марианны об эстетически безупречной квартире осуществилась — она радовалась как ребенок. Веберу, совершенно не придающему значения внешнему обрамлению, в сущности безразлично, в какой обстановке находится его письменный стол и полки с книгами, а если он может работать, он не смотрит на местность. Ему не нужна законченная гармония дня. Ему и городская квартира подходила. А чтобы испытать очарование перемены, он вполне охотно меняет рамки рабочего аскетизма и безделья, удовлетворяя свою потребность в красоте прежде всего в путешествиях. Но он рад, что жена получила свою «красивую игрушку». К тому же покрытый нежной зеленью склон горы и весело блестящая река доставляют и ему новую радость. Впервые расцветающий мир в любой час дня глядит в собственный дом. У дома расцветают персиковые и сливовые деревья. Вебер пишет Елене: «Наконец пришла весна, и мы наслаждаемся новой квартирой со всем великолепием ее вида на замок, горы и сельскую местность с кудахтаньем кур, плодовыми деревьями, садовым хозяйством и думаем, так ли все выглядит у вас и будет ли день твоего рождения так же ласково заглядывать в твою комнату, как здесь у нас... Я ежедневно сижу с 12 до часа как меня создал Бог, с длинной трубкой на балконе («солнечные ванны»), с каким успехом, — будет видно...» Однако в разгар лета, время, которое он так любит, его опять мучают демоны. Он, собственно говоря, должен был бы уехать, но этому помешал задержавшийся выход работы о русской революции, что каждый день очень его сердит. Дело в том, что эта вторая большая часть печатается медленнее, чем пишется, и теряет тем самым, по мнению Вебера, свою цель. Он совершает все необычные действия только ради дела и ради «Архива» и оплачивает печать, трудность которой усиливается его почерком и многими собственными вставками, из своего кармана. То, что «аппарат» все-таки отстает и как будто пассивно сопротивляется, приводит его в бешенство, как всякое сопротивление объектов. Он решает отказаться от издательской работы в «Архиве».

Как всегда в конфликтах, Вебер ставит все на карту и готов, невзирая на внешние интересы, расторгнуть любой договор. И не только в тех случаях, когда речь идет о его делах, но и тогда, когда другие изливают ему свой гнев или апеллируют к его рыцарству. И в этих случаях он рискует, если необходимо, своими связями. И тогда может случиться, что он идентифицирует себя с одной стороной, не выслушав другую, и из-за этого ошибается. С другой стороны, он охотно идет на мировую, когда его удастся убедить, что дело пострадает, если он откажется от него. Так и упомянутый спор с «Архивом» закончился примирением.

Но теперь уже пора странствовать. Осенью 1906 г. Вебер с матерью и женой едет в Сицилию; опять чужой, прекрасный мир, новый даже по сравнению с Италией. Путешественники едут сначала вдоль благоухающих садов лимонов и виноградников побережья в Таормину. Широкие, мертвые русла рек, которые вместо воды несут только камни, позволяют догадаться о пустыне внутри острова. Но рядом с обгоревшими склонами гор сияет море, глубоко синее, фиолетовое и зеленое, как сверкающая драгоценность. Пена волн ликующе окружает в танце таинственные Липарские острова. Затем из моря встает Этна, все величественнее, чем выше поднимается дорога, под ветвями олив и миндаля. Широкое подножье горы украшено виноградными лозами и блестящими вечнозелеными растениями, подъем — скромнее, лиственным лесом и соснами. Наконец, оставив жилища людей позади, Этна становится отвернувшимся от всех красот земли отшельником, покрывающим главу бестелесным всеединством вечных снегов. Там наверху она как будто ближе бесконечному, чем земле. Удивительно омывает меняющийся свет ее недоступность. Гроза покрыла ее черными, затем пурпурно вспыхивающими облаками; но розовым мерцает белая глава в обещающие ранние часы, розовым на фоне нежного зеленого пробуждающегося эфира. Однако грозовая туча стоит над холодной главой! — Нет, не к небу относится это удивительное порождение, власть земного пламени кипит в прочно утвержденной форме, и ежедневно с высоты может сорваться неукротенная первозданная сила и безжалостно разрушить прислонившуюся к ней жизнь.

В полукруге театра, связывающего героическую местность с греческим духом, Вебер читает нам из Одиссеи — его окружает Эллада. Он вместе с Гомером видит винно-красный цвет моря. Затем Сиракузы, некогда важный центр деловой жизни и значительное место греческой культуры, теперь — пустынное, серебристо-серое горное плато, в пещерах которого вновь живет пастух со своими овцами. В утренние часы он хватает из узкого выхода пещеры одну овцу за другой, чтобы подоить их, как Полифем. Бесконечная печаль прошлого царит под этим сияющим небом, лучи которого беспощадно спят глаза северян. Нигде нет тени леса, чтобы отдохнуть. Но море шумит так же радостно, как некогда, ударяя в скалы, и вымывает там себе все новые пестрые пещеры. Путники качаются в лодке, плывущей по движущемуся кристаллу, его ясность открывает перед взором чудеса его дна. Устав от солнечного сияния, они сидят в широком лабиринте (Latomien)<sup>22\*</sup>, где некогда было похоронено целое войско пленных афинян. Здесь тысячи людей безрадостно закончили свое существование. Теперь их страдание превращено в красоту: погруженный вглубь волшеб-

ный сад с грядками цветов и группами деревьев. Высокие каменные стены обвивают пышные вьющиеся растения; далекая от мира тишина шепчет; полчища пчел жужжат вокруг резко пахнущих цветов плюща, а высоко на краю верхнего мира на фоне синего неба выступают гирлянды стройных кипарисов и дает свою тень вершина хлебного дерева. И источник Сюане. Путешественники плывут на маленькой лодке по извивам быстро текущей реки. Вода становится все более голубой и река все более узкой, кусты папируса на берегу низко склоняются и скрывают мир. Затем узкая расселина внезапно расширяется в голубой круг — так непосредственно вырывается здесь поток чистой воды из глубин земли.

Дорога в Girgenti ведет через пустынную местность. Осенью ни одна травка не покрывает желтые сернистые глиняные холмы, в которых потоки проложили во время грозы глубокие трещины. Там, где некогда колыхались колосья и давали тень леса, теперь подстерегает пугающая смертельная пустота. Наверху на неприглядных вершинах лепятся бедные человеческие жилища, желтые и серые, как глина гор. Не погибают ли там люди под безжалостно жгущим небом?

Girgenti также нагроможден на отвесной горной вершине, но древнее римское устройство все еще обеспечивает его водой, и кактусы с пальцами великанов защищают сады. Внизу, ближе к морю, где сохранились огромные руины храма, возвышаются создания словно из легкого белого снега — древнейшие оливы, миндальные, хлебные деревья. Всю почву украшает маленькое растение с белыми цветами. Из этого царства грез и канувшего величия возвращает нас к настоящему деловой Палермо. Там открывается широта прекрасной бухты с угловыми пилястрами кажущихся прозрачными гор. Их ясные контуры заимствуют у неба и моря многочисленные тона: в сияющий полдень сверкающую синеву, темную синеву и мрачный фиолетовый цвет, когда сирокко возвещает бурю, — они стоят темными над зеленеющим морем, а вечером принимают красный цвет мальвы. Иногда по вечерам солнце погружается в море красным, тогда его прощанье освещает все небо. И еще долго оно сохраняет счастье этого часа в нежной игре всех цветов. Здесь путешественники находят норманно-византийские художественные произведения. Они восхищаются крытыми галереями монастырских дворов с изящно изогнутыми мраморными колоннами, спирали и капители которых украшены непреходящим золотом и пестрой мозаикой! И затем восточная пышность золотых часовен, где простые образы легенды обвиты нежной паутиной орнамента. В этом мерцающем помещении священнослужители в белой парче занимаются древней магией. Елена отказы-

вается воспринимать эти поклоны и литании просто как зрелище, ее протестантская душа содрогается. Однако когда из золотого фона монреальской апсиды на нее взглянуло задумчивое око сверхчеловеческого образа Христа, ее поразила близость Бога. Этот возвышенный взгляд повелителя не желает жизни в миру и все-таки навсегда овладевает им.

Однако путники созерцают не только вечные картины, но и игру волн временного у их ног. Они не могут оторваться от наблюдения за жизнью людей, которая предстает им за всегда широко открытыми дверями жилищ без окон и переходит на улицу. Совершенно как в «античности» совершаются все повседневные дела в узком пространстве улицы, древней кажется и невообразимая грязь. Приятно видеть нежность, которая связывает родителей и детей этих пролетариев, а Елена даже заметила, что к сыновьям отцы уже относятся как к товарищам. Она повсюду видит то, что отсутствует в большом северном городе — по-детски счастливую семью при всей бедности. Правда, привыкнуть к жизни среди этого радующегося настоящему народа, который, не задумываясь, наслаждается коротким днем и хочет только быть счастливым, путники бы не могли. Эти люди принимают жизнь как она есть и не стремятся стать выше, они как будто не борются и не умирают. Нет, нордические люди, которые всегда подчинены *волею* и долженствованию, не могли бы найти здесь родину.

\* \* \*

Чего же *хотят* эти люди, если они не живут из скрытой основы бессознательного? Ведь их дела являются не плодом воления, а плодом вынужденности, использованием данных природой способностей. Размышляя об этом, они понимают, что важно прежде всего осуществление «нравственного закона» в собственной деятельности и в мире — ориентация жизни, правда, не на формулируемые веления, но на идею нравственного миропорядка, на «задачи». Абсолютным достоинством обладают прежде всего *этические* идеалы, и этический *идеал* есть также норма, которой надо следовать, даже ценой счастья своего существования. Достоинство человека требует формирования бытия долженствованием и готовностью приносить жертвы ради этого. И над известными областями жизни стоит нравственное требование не только как общая форма, которую каждый может наполнить любым содержанием; напротив, в бесконечной казуистике конкретных этических возможностей и действий можно мыслить известные типы поведения, которые при всех обстоятельствах, следовательно, независимо от их мотивов соответствуют норме — или прежде всего



противоположны ей. Пусть даже часть этических, как вообще всех идеалов культуры, меняется в ходе истории, пусть в живом процессе действий каждый шаг получает свой смысл лишь благодаря предшествующему или следующему, как в музыкальном построении аккорд получает свое право благодаря предшествующему или последующему. Над этим процессом сияют вечные звезды, которые указывают всем направление.

Подобные взгляды в качестве само собой разумеющегося элемента сознательного бытия путники ощущают только на своей сложившейся также под влиянием категорического императива родине. По сравнению с этим нордическим миром залитая солнцем радость существования южан представляется детским раем. *Зрелую* жизнь они не могут мыслить без напряжения при решении все время новых задач, без преодоления сопротивлений.

\* \* \*

Вебер завершает путешествие посещением своего молодого друга и коллеги Р. Михельса и пишет оттуда матери: «Какую пользу мне принесло путешествие, я вижу по тому, что мое тело и мой мозг выдерживают здесь в Турине общество, театр (!), дискуссии, беготню и т. д. Я бы не счел это возможным... Я всем сердцем надеюсь, что ты не испытала трудностей, чего мы боялись, и что тебя не слишком душевно утомило в этом довольно длинном путешествии общество столь подверженного изменению настроения человека, как я. В незнакомом месте, таком как Сицилия, прекрасное приходится искать, а это требует сил, времени и денег, и было для тебя большим напряжением. Но я надеюсь, что ты получила определенные впечатления, о которых охотно вспоминаешь. Для меня некоторые картины Сицилии неизгладимы в памяти и, — как обычно, — полностью наслаждаться нашей поездкой я буду только в воспоминании. В момент, когда испытываешь глубокие впечатления, становишься немым. И еще раз, милая мама, для нас большое внешнее и внутреннее испытание, которому ты себя подвергла, было бóльшим благодеянием, чем ты предполагаешь и чем мы могли выразить во время поездки».

\* \* \*

Но несмотря на длительный отдых зима и весна 1907 г. были вновь окутаны мрачными облаками. Для большей работы не хватает сил, Вебер чувствует себя опустошенным и полагает, что такого плохого времени у него не было уже несколько лет: О, эта длинная, длинная зима! Иногда ему в это время года не хочется больше

жить — «какая страшная мысль — переживать еще столько печальных зим в Германии; по крайней мере осень жизни следовало бы проводить под солнцем юга».

К этому присоединялись неутешительные и угрожавшие политические события, о которых еще пойдет речь. Они его страшно волнуют. Поскольку музы молчат, Вебер обратился к проверке подходящей наконец к завершению книги об их браке, которую писала его жена, мучаясь этим годы.

В марте они вновь уезжают в Италию, в этот раз на озеро Комо. На лесном холме над Bellagio (Белладжо), который протиснулся между тремя концами озера, находится старое дворянское поместье, переоборудованное в отель Villa Serbelloni. Там живет замечательно. Немецкий весенний лес соединяется с пышностью юга, обрамляющие озеро горы парят в бестелесной синеве, и все-таки они резко обрисованы в воздухе, каждая грань скалы выступает отчетливо. На ближних склонах цветущие персиковые деревья украшают серо-зеленый фон олив. В прекрасных райских садах на берегу роскошно цветут камелии, гранаты, азалии; в каждой бухте сияет белый город. Однако злой враг не отступает. Еще в мае Вебер чувствует себя настолько плохо, что его жена — вне себя от длительного мученья — вновь обращается к врачу. Лишь летом он может опять работать, причем над трудной темой: логическая полемика со Штаммлером, первая часть которой вышла еще в июльском выпуске «Архива». «Риккерт находит эту статью очень трудной и сожалеет, что ты переносишь всю свою философию в «Архив» и стилистически так затрудняешь читателя в ее усвоении. Видишь, все так говорят».

Лето приносит ряд значительных изменений. Брат и коллега Вебера, Альфред, до того профессор в Праге, получает приглашение в Гейдельберг. Он с трудом расстается с Австрией и принимает решение после длительного колебания. Вебер рад его приезду; братья были раньше очень близки и политически они в одном лагере.

Другое событие: патриарх Карл Вебер в Эрлингхаузене, основатель фирмы по производству льняной пряжи, умер в глубокой старости. Мудрость преклонных лет давно уже сделали привыкшего к власти человека таким мягким и добрым, что боязнь перед ним превратилась в любовь. Он великодушно предоставил детям участие в его благосостоянии. Целая процветающая династия — сын, зять и три внука осуществляли вместе с ним руководство предприятием. Молодые не без сопротивления патриарха, который сначала опасался применять новые формы предпринимательства, перевели кустарную ткацкую промышленность в фабричное предприятие, дело расширилось, но рабочее сотрудничество со-

хранилось. Елена и ее дети все время поражались этому чуду: три поколения сумели настолько гармонично совместно работать, что сыновья, превосходящие отца образованностью, находили возможность для внедрения новых методов и вместе с тем с большим уважением подчинялись власти отца. Несколько иначе это происходило некогда в их сложной семье. Здесь смерть снесла мягкой рукой перезревший плод, в печали расставания было благословение: когда старое дерево падает, молодые могут тянуться к свету.

Теперь отставной профессор свободен от денежных забот. После того как патриарх был похоронен, Вебер поехал на несколько недель в Голландию и вернулся затем на некоторое время в Эрлингхаузен. Там он продумал устно уже обсужденный братьями план коллективной работы для Союза социальной политики и написал об этом Альфреду: «... Я предполагаю предложить, чтобы Союз социальной политики начал издание серии исследований, которую для популярности можно было бы назвать, пожалуй, «Положение работников духовного труда в современной крупной промышленности». Я думал поставить вопрос о внутренней структуре отдельных ветвей промышленности в зависимости от уровня *квалификации* рабочих, постоянства состава, *профессиональных шансов*, *изменения профессии* и т. д.; затем, исходя из этой «морфологической» стороны, подойти к пониманию вопроса о психофизическом отборе, совершаемом промышленностью, его направлении в отдельных предприятиях и наоборот, его обусловленностью, будь то наследственными или воспитанными психофизическими качествами населения».

Как уже было сказано, в этом плане речь шла о другой стороне тех проблем, которые находятся в центре работы о «Духе капитализма». Там рассматривалось формирование нужных капитализму типов посредством духовных моментов, теперь предполагалось исследовать их зависимость от технической формы работы. Вебер пытался найти сотрудников для этой работы и составил для них методологическое указание. Оно и первые части его собственных штудий были опубликованы в 1908 г.

Этот год оказался очень продуктивен, даже зима не помешала. Побуждаемый издательством, Вебер начал осенью (1908) наряду со специальными исследованиями историко-социологическую работу для Словаря по общественно-политическим наукам: Аграрные отношения в древности. В три месяца была написана работа большого формата, рассмотрен огромный исторический материал с разных точек зрения: правовых, хозяйственных, социологических. И эта работа, которая уже по своему формату выходила за рамки данного сборника, также осталась недоступна широким кругам. Вебер действовал подобно средневековым художникам, которые

скрывали свои произведения на высоких стенах и сводах темных церквей, не заботясь о том, будут ли они доступны взорам людей — ибо это служение Богу.

### III

Вновь предстояло важное дело. Вебер мог быть доволен и сделать перерыв. Он и Марианна уже давно ощущали потребность в непосредственном общении с людьми. «Все нити личностной жизни натягиваются и у меня возникает чувство, будто все опять так удивительно ново, — прежде всего благодаря совместной жизни с другими». Внешне, правда, все идет установленным ходом. Макс еще подчищает свою большую статью, окружив себя горой книг. Вебера редко удается уговорить выйти из дому, но он всегда рад интересным гостям: «Почти ежедневно кто-нибудь приходит, из ученых прежде всего Трёльч, Еллинек, Готейн, Фосслер и Ласк. Из промежуточной между наукой и искусством сферы — супружеские пары Яффё и А.Ф. Шмид, затем Груле, М. Тоблер и другие. Друзья приходят обычно после обеда, иногда и вечером. Тогда Макс в 9 часов удаляется, но до того невообразимо много говорит». Со старыми учеными всегда завязывается значительный научный разговор. Обволакиваемые дымом сигар, они зажигают друг друга — привлекательное зрелище, когда длительно разрабатываемые знания прорываются как теплые, живые, лично окрашенные течения, и в своем сочетании создают новые мнения. Но мы очень ценим также часы приятной болтовни за чаем с приятельницами. Вебера личные переживания и детали жизни интересуют не меньше, чем предметное знание, и он часто говорит: «Как грустна была бы жизнь без вас, женщин, а с вами всегда что-нибудь случается». Большой потерей был уход из тесного круга друзей первого гейдельбергского периода Эдгара и Эльзы Яффё, переехавших в Мюнхен. Однако Вебера по-прежнему связывала с Яффё совместная работа в «Архиве», а его прежняя ученица, фрау Эльза, теперь в расцвете своего очарования и ума — центр своего круга, сохранила тесные отношения со своими гейдельбергскими друзьями.

К молодому поколению, постепенно образовавшему новый круг, уже некоторое время принадлежал философ Эмиль Ласк, ученик и близкий друг Риккерта; он стал верным другом супружеской пары Веберов. Его острый рассудок сочетался с остроумными шутками, которые часто прорывались сквозь его меланхолическую серьезность. Поскольку он был одним из тех, кто ушел из жизни до Вебера, его образ будет характеризован позже. Ласк ввел в дом Вебера музыкантку Мину Тоблер, которая своим художественным своеобразием восприятия мира и своим благородным

искусством внесла в их дом новое звучание и обогатила их в многолетней дружбе по-человечески и в области музыки. Оригинальные эстетические импульсы шли также от многосторонне одаренной супружеской пары А.Ф. Шмид-Ноэрт и Клэре Шмид-Ромберг. В качестве артистки в прошлом, разбирающейся во всех видах искусства, она привносила веяние внеакадемического театра. С поэтом-философом и тонким знатоком искусства А.Ф. Шмидом Веберы погружались в полную настроения религиозную пластику раннего средневековья, а психиатр Груле, также одновременно знаток искусства, вводил их в особенности самых современных направлений. Несколько позже установились связи с Фридрихом Гундольфом, Артуром Зальцем и в первую очередь с Карлом и Гертрудой Ясперс. Молодые люди проявляют к Веберу робкое, никогда не нарушающее дистанцию почтение; Вебер узнает об этом от жены, смеясь, отрицает и все-таки радуется. После конца семестра заходят часто и друзья из других городов: коллеги Вернер Зомбарт и Роберт Михельс, Пауль Хензель, который занимает теперь в Эрлангене философскую кафедру, и прежде всего Георг Зиммель, к которому всех влечет не только его изысканное, полное ума красноречие, но и доброта, тепло и подлинная гуманность. К значительным женщинам, обогащающим кратким или длительным пребыванием дом, относятся Мария Баум, Гертруда Боймер, Гертруда Зиммель. Из молодых начинающих ученых, которые ищут у Вебера стимула, часто бывает П. Хонигсгейм и К. Лёвенштейн. К тому же в жизнь дома входят часто длящиеся неделями посещения членов семьи, в первую очередь Елены. Правда, когда Вебер открывает свои запасы, полнота лиц иногда становится утомительной. Но обмен между различными группами по возрасту и интересам дарит новое богатство.

Около этого времени к цеховому ядру гейдельбергской духовной жизни добавились разные новые лучи: молодые люди без должности на всех стадиях развития, которые хотели когда-нибудь войти во внутренние академические круги или во всяком случае жить в атмосфере, которая придает ценность духовному труду. Современные течения приходили извне к радушному берегу маленького города. Наряду с прочно установленным образом жизни старшего поколения молодые люди вводят новый стиль жизни, не соответствующий условности. Началось развитие свободы в обществе, известной до сих пор только в кругах мюнхенских людей искусства. Новые типы, близкие по своим духовным импульсам романтикам, вновь поставили под вопрос «буржуазное» мышление и образ жизни. Они боролись во имя личностной свободы за старые и новые идеалы формирования жизни. Значимость общеобязательных норм действий ставилась под сомнение, искали либо

«индивидуальный закон», либо отрицали всякий «закон», чтобы предоставить действие над все время меняющимся течением жизни только *чувству*. Это нападение на традиционные ценности ставило своей целью прежде всего освободить окрыленный Эрос. Ибо от него «закон» и «долг» требуют самых осязаемых жертв. Какую ценность могут иметь нормы, которые так часто душат великолепие теплой жизни, вытесняют естественные влечения и прежде всего лишают столько женщин права быть цветущими и плодоносными? Закон, долг, аскеза — все эти представления происходят, ведь, из полового начала, объявленного христианством, из которого мы уже выросли, дьявольским. Лучше совершенно самостоятельно создавать свою судьбу, подвергнуть себя действию горячих потоков жизни, чем, держась за мораль, красться по сухим тропам осторожности!

Чета Веберов обладает прочными убеждениями и считает себя ответственной за общую нравственность. Но они еще достаточно молоды, чтобы с живым интересом следить за борьбой молодежи и позволить ей поставить под вопрос собственные идеалы и оценки. Именно пребывая в твердой гавани, они не хотят в ней замыкаться. К «безусловным» идеалам, которые приходится защищать, относится для них брак, поскольку он основан на любви и собственной вечной ценности. Высокое счастье существования, даруемое Эросом, должно быть возмещено готовностью к серьезным задачам: общность жизни, ответственность супругов друг за друга и за детей. Надлежит предоставлять друг другу то, что необходимо для внутреннего роста: духовную свободу и самостоятельность, ощущение полноты бытия. Взаимные притязания на проявления власти не оправданы, но сами собой разумеются верность и исключительность в половой эротической сфере. И подобный брак — не только «идеал», от осуществления которого каждый может отказаться, а *этическая норма* общности полов. Жертвы, которых она требует, должны быть принесены. Кто к этому не стремится или отказывается от нее, становится *виноват*, виноват перед конкретными людьми или перед идеей высшего порядка, которая стоит во главе всей социальной нравственности. Ибо природный инстинкт — сам по себе ценностно нейтральный — может быть одновременно как средством, так и препятствием достижения драгоценных душевных ценностей. Если он уклоняется от принципиальной этической формы, он становится препятствием! Поэтому чувственное наслаждение не должно быть самоцелью, даже в форме эстетически сублимированной эротики.

В этой области не существует «*adiaphora*<sup>90</sup>», ибо ни одно человеческое отношение не имеет таких серьезных последствий, как половое. «Прекрасное мгновение» обязывает. И ничто не харак-

теризует человека более определенно, чем его отношение в этой сфере. Тому, кто объявляет себя здесь свободным от долга, грозит опасность стать фривольным и брутальным. Правда, решающий отпечаток накладывает не само «грехопадение», а то, как к нему относятся. Человек может стать больше своей вины, если он воспринимает ее как таковую и относится к ней высоко и серьезно. Для культуры важно не то, выполняют ли все норму, а *признают* ли ее все и следуют ли ей. Ибо только тот, кто будучи побежден, теряет ощущение этического различия, приближается к глубинам человеческой ничтожности, где для него гаснет свет путеводных звезд.

Эти идеалы — для Вебера уже в страсбургское время сознательно избранное наследие — стали на рубеже веков публично подвергаться яростным спорам. На одной стороне они были углублены и утверждены, на другой — они отрицались. Социалистические теории брака, Ницше, Эллис Кей, психиатр З.Фрейд и другие давали выступающему против традиционного наследия направлению духовное оружие. С определенными проявлениями зла боролись обе группы: воспитатели народа, ученые, духовные лица, врачи, идеалисты и натуралисты стремились устранить черную тень брака — проституцию и ее тяжелое воздействие. Прежде всего борьбу против санкционированного государством порока и одностороннего обременения женщины всеми его унижительными последствиями — против двойной морали начали героические женщины, встречая самое враждебное отношение. Этические «идеалисты» требовали и от мужчины большей строгости к себе, нового освящения брака, целомудрия до брака, раннего брака и облегчения развода. Кроме того, требовали реформы брака вообще, равенства полов, защиты женщин, имеющих внебрачных детей. Большинство практических требований предъявляли «натуралисты», среди них преобладали врачи. Однако они отклоняли этический ригоризм в качестве невыполнимого и противоречащего природе требования. Жизнь коротка, к чему мученья отказа от требуемого природой счастья? Лучше «на время» сдерживать худшее зло (проституцию) меньшим — общественным признанием свободных отношений и придать этому необходимому дополнению брака *позитивный* ценностный акцент. Вообще: только «закон» принес в мир нарушение, если предоставить природным инстинктам беспрепятственно действовать, они не будут дьяволами. Только этическая невзыскательность: *приспособление* норм к мере выполняемого средним человеком может выровнять бездну между идеалом и действительностью. Если здоровая добропорядочная молодая девушка может отдаться без кольца на руке, будут устранены вредные следствия позднего брака. Тогда молодому челове-

ку не надо будет растрачивать свою силу в борделе, а женщина в юном цветении не будет засыхать бесплодно. Обремененный долгом брак — справедливое завершение свободного времени становления.

Проповедницы этой «новой этики» издеваются в докладах студенческой молодежи обоих полов над чистотой, называя ее монашеской моралью, над браком, как государственным насильственным институтом для защиты частной собственности. Они требуют права на «свободную любовь» и на внебрачного ребенка. Освобожденная от плена семьи женская молодежь сражалась за новую весть. Многие с благодарностью принимают ее. Вебер заметил по этому поводу: «Эта специфическая банда в защиту матерей совершенно бестолковый сброд. После болтовни N.N. я просто вышел. Грубый гедонизм и этика, которая полезна только мужчине, в качестве цели для женщины ... это просто ерунда».

Однако борьба за новую мораль счастья и против нее привела в волнение всех; супруги вынуждены были в бесчисленных доверительных беседах высказывать свою позицию по отношению к ней и если было не слишком трудно справиться с *теорией*, то казуистика конкретных судеб волновала. Публично эти проблемы также обсуждались письменно и устно; Марианна боится этого, но она участвует в женском движении и написала книгу, в которой среди прочего опровергались и социалистические теории брака. По настоянию Адольфа Гарнака она прочла в кругу друзей на евангельско-социальном конгрессе (Троица 1907 г. в Страсбурге) доклад о вопросах «сексуально-этических принципов». Вебер ее поддерживал. Она говорила об общих этических убеждениях, утонченных казуистикой и результатами многих дискуссий о новых и разных личностных впечатлениях. «Мы не будем больше идентифицировать как пуританизм и «буржуазную мораль» общую этическую ценность личности с ее поведением применительно к сексуально-этическим идеалам и считать того, кто их не достигает, «безнравственным».

Мы научились понимать, что множество свойств и типов действий составляет благородство человечества и что оно не обязательно уничтожается, если человек несмотря на серьезное желание оказывается ниже идеала».

Эти высказывания в докладе отражали новый опыт, плод судьбоносных событий и бесчисленных бесед с молодыми, ищущими решения людьми. Молодой психиатр, ученик З.Фрейда, обладающий очарованием гениальности духа и души, обрел значительное влияние. Он по-своему трактовал новые взгляды своего учителя, делал из них радикальные выводы и провозгласил сексуальный коммунизм, по сравнению с которым так называемая «новая эти-



ка» казалась очень безобидной. Смысл его учения был следующим: возвышающая жизнь ценность эротики столь высока, что она должна быть свободна от всех опасений и законов и прежде всего от соединения с повседневностью. Если вначале брак как институт по обеспечению женщин и детей сохраняется, то экстазы любви должны быть вне него. Супруги должны без зависти предоставлять каждому, что ему доступно в области эротики. Ревность вульгарна. Так же, как можно быть в дружбе с несколькими людьми, можно эротически одновременно состоять в половых отношениях с несколькими людьми и быть «верным» каждому из них. Вера же в постоянство чувства к одному существу — иллюзия, поэтому исключительность половой связи — ложь. Способность любить иссякает необходимым образом при отношении к одному и тому же Ты. Лежащая в ее основе сексуальность ищет многообразного удовлетворения. Ее моногамное удовлетворение «вытесняет» естественные влечения и опасна для психического здоровья. Поэтому прочь оковы, которые мешают человеку переживать все новый подъем; свободные союзы любви освободят мир.

Ученик Фрейда завоевал успех и его весть нашла верующих в нее. Под его влиянием не только мужчины, но и женщины решались поставить на карту свою душу и душу своего спутника жизни. То, что это происходило в борьбе за высшую половую нравственность среди людей высокого духовного уровня, потрясало и волновало чету Веберов значительно больше, чем надличностная публичная борьба. То, что постепенно из этого сложилось, страстно захватило их — они разрывались между ужасом и отвращением к этой теории и глубоким участием и пониманием трагичности судеб, готовящих почву для такого соблазна. Даже если считать «допускающим прощение грехом», что одинокие люди, которым не была дана благодать счастливого союза, создавали себе суррогаты, то, что теперь происходило, лишение моногамии святости, было связано с ужасом страшной, разрушающей вины: «с убийством чего-то божественного!» И все-таки: они пытались понять действия этих людей исходя из их положения. Они осознали, что в некоторых случаях эта опасная теория утверждалась, чтобы найти допустимый выход из тяжелейшего конфликта, что распадающиеся браки сохранялись не только ради детей, но и из дружбы и верности друг другу. Они видели расцвет красоты и душевной силы, которые хотя бы в течение некоторого времени сдерживали соперников в эротических отношениях. Они даже восхищались мужеством тех, кто посредством греха ставил себя на карту и превозмогал его.

Но означает ли это в конце концов: «все понять, все простить»? Опасно так глубоко проникать в эксцентричные происшествия —

при этом можно легко потерять собственные идеалы. Где же в сущности последний критерий их истины? Ведь не в выведении их из логически доказуемого «закона»? Чета Веберов ни минуты не верила в облагораживающее действие половой свободы. Но разве не возникает новое понимание из их влияния на значительных людей? Происходили бесчисленные дискуссии со сторонниками психиатрической «этики». За сдержанностью научных диспутов скрывалась борьба за идеалы и за души. Вебер углубляется в учение Фрейда. Он признает его значение, но толкование его апостола невозможно принять. Оно угрожает высшим жизненным ценностям. В этой сфере ведь нет логически непоколебимых аргументов, существует только очевидность правильного и затем личностный выбор. Эти противопоставления идей друг другу, идеала и судьбы, знания и фантастики, нашли свое выражение в письмах. Веберу предлагают для публикации в «Архиве» статью, основанную на теории Фрейда. Он отклоняет ее со следующим обоснованием: «Посылаю копию статьи доктора X. с указанием, что мы *не* поместим ее в «Архив» — при этом замечая, что я допускаю возможность остаться в меньшинстве. Я же не могу *ни в коем случае!* дать согласие на ее публикацию. Самым правильным было бы мне самому написать об этом доктору X. и изложить ему свои доводы. Однако *сui bono*<sup>91</sup>? Я совершенно уверен в том, что *как бы* я ни объяснял свои основания, я в этом, как и во *всех* других случаях столкновения различных мнений, *должен* буду уже вследствие моей — правда, намеренно — сохраненной терминологии показаться ему связанным условностью, а моя «этика» — идентичной конвенциональной этике или ее определенным положениям. Я не могу в этом ничего изменить, *даже* если речь идет о том, ценность кого я так высоко ставлю *как человека*, ибо это потребовало бы обширных устных или письменных дискуссий, которые я, к сожалению, не могу вести. К тому же надо было бы заранее быть готовым к тому, чтобы нанести обиду автору статьи — сегодня мы все предпочитаем услышать, что мы в своих теориях «этически отвратительны», чем «просто обыкновенные путаники». А это полностью относится к господину доктору X. — причем, насколько я вижу, — *повсюду*, где он высказывает соображения, выходящие за пределы его *специальности*, и вступает в область мировоззрения, следовательно, он предстает как моралист, а не как *естествоиспытатель*. И под угрозой прослыть не только этическим, но и интеллектуальным фарисеем, я считаю необходимым это честности ради сказать. Конечно, я свое мнение, хотя бы кратко, обосную.

Теории З. Фрейда, которые я теперь знаю и из его больших произведений, в течение времени сильно менялись и по моему непро-

фессиональному мнению еще до сих пор не получили своего окончательного определения — важные понятия, как, например, освобождение душевного напряжения посредством действия именно в последнее время, к сожалению, исковерканы до полной неопределенности и расплывчатости (прежде всего NB! в «Zeitschrift für Religionsphilosophie», в «Журнале по психологии религии») — в качестве рвотного средства из «Святого Бога» и различных неаппетитных эротических указаний, что я считаю нужным попутно заметить). Тем не менее нет сомнения в том, что идеи Фрейда *могут* стать источником интерпретации очень большого значения для целых серий явлений истории культуры, особенно явлений в области истории *религии* и истории нравственности, — хотя, с точки зрения историка культуры, они и не столь далеки от универсальной точки зрения, как считают в своем вполне понятном рвении и в радости первооткрывателей Фрейд и его ученики. Предварительным условием должно было бы быть создание казуистики такого объема и убедительности, какими она, несмотря на все уверения, сегодня не обладает — но, быть может, через 2—3 десятилетия будет обладать. Достаточно проследить, как много Фрейд в течение десятилетия изменил в своем учении и как пугающе мал еще все-таки его материал — что вполне понятно и отнюдь не представляет собой упрек. Но вместо этой необходимой *специальной* работы мы видим, как сторонники Фрейда, особенно господин доктор Х., обращаются отчасти к метафизическим спекуляциям, отчасти, что хуже, с точки зрения строгой науки, к детским вопросам: «Можно ли это есть? то есть нельзя ли сфабриковать из этого мировоззрение практического типа? Это, разумеется, не преступление: следствие каждого научного или технического открытия было то, что его создатель, идет ли речь о мясном экстракте или высших абстракциях естествознания, видит в себе открывателя новых ценностей, реформатора этики, как, например, создатели современной фотографии считают себя реформаторами живописи. Но в том, чтобы стирать эти, по-видимому, необходимые детские пеленки в нашем «Архиве», я необходимости не вижу.

А это несомненно «детские пеленки». Ибо что иное можно сказать об «этике», которая, по терминологии господина доктора Х. слишком труслива, чтобы сознаться, что ее идеалом должно быть совершенно банальное здоровое *нервное удовлетворение*? Которая сочтет возможным дискредитировать нормы тем, что следование им неудобно милым нервам? И невзирая на все страстные протесты, которые вызвала бы такая интерпретация, *этическое* содержание нового учения именно таково; ничего иного, совсем *ничего* ощутимого, кроме этого мешанства, в нем нет. Если *каждое* подавление требуемых аффектами желаний и влечений ведет к «вы-

теснению» — а из контекста это нелепое утверждение следует, — и если «вытеснение» как таковое есть абсолютное зло, по-видимому, потому, что оно ведет к внутренней неправде, к «заблуждению трусости» — в действительности потому, что оно со *специальной нервно-гигиенической* точки зрения ведет к опасности истерии или неврозов, фобии и т. д., *тогда* эта этика нервов должна была бы, например, внушать буру, сражающемуся за свою свободу: Беги, иначе ты вытеснишь свои аффекты страха и можешь еще получить «красный смех» Леонида Андреева. В техническом выражении: будь трусом в *конвенциональном* смысле, предоставь, убегая, «реагировать» твоим аффектам страха, чтобы не стать трусливым в высоко-современном нервно-врачебном смысле господина доктора Х., то есть вытеснить те аффекты и сделать их тем самым «неспособными к сознанию», — что для тебя плохо, и поэтому безнравственно. Это учение внушает мужу или любовнику, жене или любовнице, который или которая при слишком быстрой смене ощущает ревность, следующее: «Предоставь им отреагировать à la<sup>92</sup> Отелло или в поединке, или вообще в любой другой филистерской форме, которая тебя устраивает, — лучше тебе быть «жалким» (с точки зрения новой сексуальной этики), чем преодолевать их и таким образом создавать «иллюзорный» образ. Эта теория вообще должна иметь достаточно мужества советовать мне давать свободу *каждому* самому скотскому вожделению моих инстинктов для реагирования, а это значит каждой *так или иначе* адекватной форме их *удовлетворения*, ибо в противном случае мои милые нервы могут пострадать: такова подлинная и хорошо известная точка зрения ремесленников от медицины!

Разве я несправедлив к теории господина доктора Х.? Но ведь на с. 9 статьи я нахожу *expressis verbis*<sup>93</sup> фразу о *жертвах, ценой* которых достигается «*приспособление*» (то есть подавление желаний ради следования нормам) — и это именно жертвы *здоровьем*. Другими словами, предполагается, что мне присуща пошлость подсчитать прежде чем я совершу действия, которые считаю соответствующими моему человеческому достоинству, «сколько это стоит?» и обратиться к невропатологу в качестве авторитета для выяснения, соответствует ли действительно этическая ценность моих действий плате за них? При этом обнаруживается забавное утверждение: эта плата (возможное вытеснение с его гигиеническими последствиями) оказывается только следствием веры в *безусловные* ценности. Должен сказать, что я самым серьезным образом сомневаюсь, имеет ли доктор Х. представление о том, что собственно значит: «верить в *безусловные ценности*». Это, как известно, не может быть достаточно ясно объяснено в 1–2 письмах или в 1–2 беседах, — но это между прочим. Решающим является,

что релятивистская и при этом желающая быть «идеалистической» этика, как только она допускает, что конкретный человек *хочет* обрести для себя *in concreto*<sup>94</sup> пусть только для него, *только* теперь в *этой* ситуации значимую, следовательно, «относительную» субъективную ценность, ведет к совершенно *таким же* гигиеническим результатам. Разве что «релятивизм» *состоял бы* в том, что человек отказывался бы от своего относительного идеала всегда *там*, где стремление к нему чего-то стоит, то есть может «задеть его нервы». *Это* было бы тогда в самом деле своего рода грязным торгашеским идеализмом, который я так же не мог бы принять, как — *in praxi*<sup>95</sup>, без сомнения, и господин доктор Х.

Все этики, каково бы ни было их материальное содержание, можно разделить на две большие группы. В одном случае они ставят человеку принципиальные требования, выполнить которые он в общем *неспособен* — разве что в особые минуты вершин своего существования: они в качестве *направляющих* векторов его *стремления* лежат в бесконечном — это «героическая этика». Или они удовлетворяются тем, что принимают его повседневную природу как допускающую максимум возможных требований — это «этика среднего уровня». Мне представляется, что только первую категорию, героическую этику, можно называть идеализмом, и в эту категорию входит как этика *раннего* чистого христианства, так и кантовская этика; обе они, исходя из своих идеалов, настолько пессимистически оценивают «природу» среднего индивида, что фрейдистские разоблачения из области бессознательного этому, Бог мой, *ничего* «страшного» больше добавить не могут. Поскольку же «психиатрическая этика» только требует: «сознайся, каков ты», чего ты хотел, она поистине не ставит новых требований этического характера. Ведь исповедник и духовник старого типа не ставили перед собой иной задачи в этом направлении, а о восстановлении *исповеди* — с несколько иной техникой — речь и идет в фрейдистских методах лечения. Только цель здесь носит *еще* менее этический характер, чем в старом отпущении грехов Тецелем. Тому, кто обманывает и хочет обманывать сам себя, кто разучился вспоминать то, чего ему следует в своей жизни стыдиться и что он, если захочет, в значительной части прекрасно *может* вспомнить, тому *этически* помочь нельзя и тем, что он месяцами будет лежать на диване Фрейда и позволять ему вызывать в памяти инфантильные или другие постыдные воспоминания, которые он вытеснил. Быть может, лечение Фрейда может иметь для него *гигиеническую* ценность, — но что я, например, мог бы в этическом смысле нечто приобрести, если бы мне помогли восстановить воспоминание о каком-либо сексуальном бесчинстве со служанкой (примеры Фрейда!) или о грязном движении, которое я забыл и

вытеснил; — не знаю, ведь в целом я признаю — и совсем не ощущаю это как нечто «страшное», что ничто человеческое мне не чуждо и никогда не было чуждо — следовательно, в принципе я не узнаю ничего нового.

Однако это не относится к делу, и я говорю это только для того, чтобы заметить, что категорический императив: иди к Фрейду или к нам, его ученикам, чтобы обрести *историческую истину* о тебе и твоём поведении, иначе ты трус, — отражает не только несколько детский ведомственный патриотизм психиатра и профессионального *directeur de l'âme*<sup>96</sup> современного принципа, но и сам вследствие тотального слияния с чисто гигиеническими мотивами лишает себя всякого этического значения. Вычитать из этой от А до Z морализующей статьи что-либо кроме этого долга самопознания с помощью психиатрии я, как было сказано, в качестве практического постулата не могу. Где же в нем хотя бы легкий след указания на *содержание* тех новых релятивистских и все-таки *идеальных* (NB!) ценностей, которые должны быть положены в основу критики «старых», «сомнительных ценностей»? Мы ловим воздух, пытаюсь найти их. И по достаточным основаниям: каждая попытка обрисовать их сделала бы их объектом критики и показала бы, что проблема только сдвинута, но не решена. Идеалистическая этика, которая требует *жертв*, которая не исключает *ответственности*, никогда не может дать других результатов. Этику следует критиковать, только исходя из ее *собственных* идеалов, а не из *другой* основы, иначе можно прийти к самому грязному «подсчету стоимости», и «идеал» неизбежно станет, как я уже сказал, обычным чванством здоровьем и врачебно контролируемым филистерством макробиотики. Если данные строки попадут на глаза доктору Х. (на что я не надеюсь, но полностью предоставляю это решить вам, — вопрос в том, обладает ли он юмором — что мне кажется сомнительным! У моралистов юмор отсутствует), — то он несомненно сочтет, что его взгляды изложены очень тривиально. Конечно! Я намеренно перевел их на наш любимый вульгарный немецкий язык. Что они при этом действуют тривиально, — его вина, ибо является следствием сочетания его медицинских исследований с запутанным рвением к реформам. Вся статья переполнена ценностными суждениями, а я не отношусь с уважением к предполагаемым естественно-научным свершениям, не удовлетворяющим требованиям трезвости и объективности, не «*свободным от ценностей*».

Ведь *специальная наука* — техника, она учит техническим средствам. Там же, где спор идет о ценностях, проблема проецируется в совсем другую, отдаленную от всякой доказуемой «науки» область духа, точнее: предпринимается *постановка вопроса* совсем

иного рода. *Ни одна* специальная наука и ни одно, даже самое важное научное познание и открытия Фрейда, — если они окончательно будут доказаны, я безусловно отношу их к научно важным познаниям, — не дают мировоззрения. И наоборот: в специальный научный журнал не может быть помещена статья, которая хочет быть проповедью — и является *плохой* проповедью» (13.9.07).

\* \* \*

Но пусть даже раздувание известных психиатрических мнений до уровня спасающих мир пророчеств вскоре будет понято как ошибка — какая от этого польза, если погибающие в тени отречения люди неистово тянутся к солнцу и ставший жертвой несчастных браков Эрос ломает свои оковы! Все идет тогда своим путем. И чтобы не быть раздавленным собственной мукой, те, кто был в плену у своей судьбы, принимали определенные идеи ученика Фрейда, перевернувшие все прежние воззрения. Хотя это и казалось чете Веберов ослеплением, просто отвернуться с возмущением они не могли. Страдающие люди были слишком благородными и достойными людьми. Они хотели им помочь, насколько это возможно.

К тому же соблазняла и возможность научиться понимать этот странный небуржуазный приключенческий мир и духовно с ним размежеваться.

Кое-что из того, что проявилось у Вебера посредством соприкосновения с этим течением в его этической казуистике, отражается в следующих отрывках его писем: «Я опять принял снотворное, чтобы суметь написать это. Я нахожу, что с N. так дальше идти не может... Эти люди, которые строят свои отношения на неискренности, хотят выступить против лицемерия конвенциональности! Но ты не должна, как я полагаю, молча воспринимать все это. По моему мнению, ты должна рискнуть твоим отношением к N. и сказать им, какова твоя позиция, а ты ведь не можешь занимать другую позицию, чем я, хотя и мягче по форме...»

«Глубина, достигаемая посредством эротических приключений, очень проблематична. Женщина, скрывающая в душе сильную тайную склонность, всегда *кажется* «глубокой», но не всегда такова. Все эти люди пребывают в могущественной сети очень грубых самообманов, а эстетическая сублимация ведет лишь к тому, чтобы скрыть от них фактическое положение дел. Доктор X. якобы лишен чувственных потребностей и пребывает полигамным лишь из «любви к человечеству»? Это нелепость. Каждому психологически искушенному в этой области человеку достаточно лишь услышать высказывание о грязи неизжитой эротике,

чтобы понять, с чем он имеет дело. Противовес, предлагаемый фанатизмом, не может тут обмануть. Два яда держат здесь весы ... В этом ничего не меняют и мнимые жертвы, которые лишь свидетельствуют об утрате различия в ощущении и служат, как подтвердит каждый психиатр, важным симптомом психического заболевания. Еще никогда теория или воля эротически не преодолевала действительную физическую антипатию».

«...Существуют “смертные грехи”, после свершения которых человек редко приходит в себя. Но ведь не так обстоит дело с другой К. Оторванная от корней нравственно ясных действий, она использует всю свою силу, чтобы держаться над водой без корней, оставаться “тонкой”, утверждаться, несмотря на последствия ее вины. Это несомненно придает ей *благородство*, как вообще каждый человек, который старается быть сильнее своего греха, всегда чище, чем корректный “праведник”. Но в конечном итоге ее действия представляют собой акт утверждения ее самоуважения при свободе, которую взял себе ее *муж*, пусть даже она это и не признает. Она не могла иначе. Это ясно. И если, говоря о себе и своем муже, она утверждает, что *не* испытывает эротической потребности, то разве отдаваться *без* любви *не* “грязно”? — “Теория повсюду попадает впросак”.

До сих пор один ригористично ориентированный молодой друг чувствовал себя временно освобожденным от тяжести жизни благодаря свободной эротической связи и пришел вследствие этого к убеждению, что поведение в сексуальной сфере само по себе безразлично и нуждается в ограничении только если оно затрагивает другие ценности — монашеское понимание является преувеличенным. Вебер на это замечает: «Я охотно остановился бы подробнее на сказанном Б. Только одно: он сражается с воображаемыми противниками. Но *кто* же должен быть “монахом”? И был ли он таковым до сих пор? Ведь вопрос состоит в том, когда происходит это “вторжение” за счет других ценностей? Ведь *всегда* тогда, когда безусловно перестаешь быть господином своих действий. И без сомнения также тогда, когда “не изжитые отношения” ты можешь ощущать только как “грязные”. Но прежде всего каждое размышление о влечении “самом по себе” есть *абстракция*. Ведь оно никогда не появляется “само по себе”, а всегда связано с отношением к конкретному *человеку и*, исходя этого, становится достоянием или недостойным».

В то время молодые люди, занятые проблематикой брака, все время размышляли над вопросами такого рода: является ли этический «идеал» также «нормой» поведения? Считаются ли этические нормы «безусловными» и почему? Следует ли считать общеобязательными и применимыми к конкретным действиям



лишь определенные по своему содержанию нормы или только формальные? Надлежит ли следовать им, даже если они нарушают живую жизнь? Не разрешено ли «богам» то, что запрещено людям среднего уровня? Что можно противопоставить этому натиску не только на сексуально-этические нормы, но и на достоинство «нравственного закона» вообще? Сторонники «старой этики» пытаются подкрепить ее логическими аксиомами. Марианна рассказывает о такого рода спорах: «Э. настолько фанатически одержим «нравственным законом», что ни о чем другом говорить не может. Он вообще считает объективно обязательным лишь логически дедуцируемое и полагает возможным вывести значимость этических норм, как формальных, так и содержательных, так же, как и логических из закона тождества: единства разумного существа с самим собой. Чувство, например и чувство любви, должно в качестве нравственно конститутивного элемента вообще не приниматься во внимание в браке, ибо оно иррационально и поэтому в качестве этического мотива значения не имеет. Он пытался также дедуцировать из понятия нравственного закона моногамию и нерасторжимость брака, что ему, по моему мнению, совершенно не удалось. Мы, остальные, исходили из точки зрения, что этические нормы и ценности логически недоказуемы и выводят свое достоинство не из логических дедукций, а как бы «открываются» в живом свершении, как звезды, и тогда обретают значимость внутренней очевидности. На это Б. ответил очень удовлетворенно: тогда ведь он прав; если они недоказуемы, нет необходимости верить в их общезначимость и мучиться с ними! На это Вебер косвенно отвечает шутиливой аналогией. На нескольких карточках из Монте Карло он нацарапал следующее:

«Поистине, и я думаю, что «нравственный закон», о котором вы столько дискутируете, лишь относителен по своему содержанию. Иначе, как бы я мог так смело негодовать... когда кто-нибудь *выигрывал* в Монте Карло, — но вот я сам выиграл около 1000 франков (за 15 минут!). Я несколько смущен — однако если Б. вступает в область «алогического», почему бы мне не вступить в область абсолютно «иррационального»? Наконец, *заработал* бы я 1000 франков за труд этой зимы? А выманил я их только у этого подлого банка. И собственно непонятно, *почему* бы и нет? Безусловно: общество, в котором здесь находишься, *гнусно*. Казино открывается в 10 часов, профессиональные игроки стоят *queue*<sup>97</sup> и бросаются к своим столам, чтобы захватить сидячие места. Там очень разные люди: холодные, спокойные, взвешивающие шансы, составляющие свою «статистику», каждый раз по определенному плану, когда раздается «*faites le jeu*»<sup>98</sup>, затем с

поджатыми губами спокойно забирают выигрыш или следят за уходящей потерей — только краснота вокруг глаз и угловатая быстрота движений выдают напряжение. Наряду с ними тихие фанатики, бедолаги обоего пола, с желтыми как воск лицами, дурно одетые, держат записные книжки в дрожащих руках и со сдержанным отчаянием следят за судьбой своей 5-франковой монеты — и наконец толстые *goués*<sup>99</sup> с двойным подбородком, желваком на затылке, длинными усами; они следят из-под тяжелых мешков под глазами за тем, что произойдет с их ставкой. Таковы главные типы *сидящих*. За ними стоят непостоянные посетители, которые также хотят попытать счастья и почти всегда *проигрывают*. Так произошло и со мной. Я не мог остановиться, попробовал еще несколько раз — *1000 франков* вновь *ушли!* Огорчительно! Нет, хорошо! Быть может, я бы постеснялся. Впрочем, это бессмысленное волнение, — но все-таки лучше. Пожалуй, лучше было бы вообще не начинать? Но так поступают только филистеры и люди, лишенные порывов! Германцы всегда играли! Человек, которому ведомы порывы, не *может* оставаться пассивным. — На последней открытке было написано: «Но у меня *нет* порыва, и таким образом «нравственный» закон остался незатронутым, мой кошелек так же, как и мои деньги, которые лежали спокойно у хозяина в депо, когда я вернулся сюда на трамвае».

Марианна делает вид, будто она не читала последней открытки и дает ему отпущение грехов за «нарушение нравственного закона». Он не сразу понял, что это шутка, и был несколько испуган: «Что же ты вычитала из моих открыток? Что я проиграл *чужие* деньги? Черт возьми! Тогда уж лучше собственные! Да *ничего* я, конечно, не проиграл и не выиграл. Хорошего же ты мнения обо мне после едва ли не 15-летнего «близкого знакомства», душа моя; как славно, что я это все-таки узнал. Погоди-ка, я еще проверю тебя иным образом. Прорывам в «алогическое» ты, к сожалению, не поверишь, это, следовательно, мне нечего и пробовать...»

\* \* \*

Поводом к этим высказываниям в письмах послужило довольно длительная разлука с супругой весной 1908 г. После спешного окончания «Аграрной истории древнего мира» Веберу вновь понадобился длительный отдых на юге. Он нашел его на этот раз на теплом берегу Прованса. Затем он с Еленой провел время интенсивного созерцания произведений искусства во Флоренции. Его жена была также очень утомлена и искала новых сил в другом ме-

сте. Так далеко супруги еще никогда не были друг от друга, но письма почти ежедневно пересекали пространство, и в них звучат отклики дискуссий молодежи о волнующих их проблемах. Вебер беспокоился о жене и нежно охранял ее на расстоянии. На этот период падают также различные памятные дни. По такому поводу открываются драгоценные свойства души и освещаются скрытые сокровища. Чрез повседневность победно проникает вечное содержание совместной любви.

Lavandou, апрель 1908

«Весна здесь несколько иная, чем у нас, это ощущается, когда идешь через заросли маки и сосновые леса. Многочисленные темно-зеленые, серо-зеленые, оливково-зеленые и серые тона, служащие всему фоном, и, смягчая, придающие всему восковой оттенок, привносят позднюю осень с ее тихой печалью и в весну, которая покоится как венок невесты в день серебряной свадьбы на лбу зрелой красоты. Но молодая душа и радостное сердце в уже немолодом, негибком и скованном теле также чего-то стоит, может быть, даже больше, чем бессмысленный восторг юности, которая только молода и больше ничего... Мы никогда не будем несчастны, только иногда замучены. Ты также достаточно устала, дитя мое, я это знаю и особенно вижу теперь. У судьбы, одному Богу известно, почему, бывают странные настроения, но у ее власти есть границы, и она не сможет ничего сделать с молодостью наших сердец, не сможет покрыть их ржавчиной, если мы этого не захотим».

Марианна отвечает: «Спасибо за прекрасную картину южной местности весной! *Как* богата твоя душа и как ты способен радоваться своим духовным силам и в их связанности! Мы все движемся ведь в отраженном свете, ты же несешь его в себе. Здесь только появляются бутоны и под темными соснами не знаешь, весна ли это или медленно подступающая осень? Но какая разница, то ли это или другое, если мы с благодарностью и сильным чувством жизни можем радоваться каждому солнечному дню, который посылает нам судьба!»

Елене в день ее рождения: «Как мне радостно знать, что вы в этот праздничный день вместе, и как бы я хотел быть с вами. Однако так как это не может быть, я мысленно целую тебя, милая мама, и шлю тебе мою всегда новую любовь и благодарность, а также глубокое почтительное удивление тому, как много все время ты даришь нам и многим другим своей великой силой жизни, души и любви. Нам, Твоим детям, надлежит также учиться сохранять на протяжении столь длинной и часто трудной жизни, молодость, подобно Твоей».

Вебер из Пизы: «Помнишь, как мы прибыли сюда с Корсики, изнывая от тоски по «культуре», и наслаждались мраморным великолепием этого единственного местечка на мраморном углу зеленого дерна? Мы не жалели времени и больше двух часов сидели в соборе и ходили вокруг него, а затем восхищались настроением отрешенного от мира Кампосанто с его мирным, диким садом зелени между окнами и их прекрасным орнаментом по идущей вокруг галерее. Во всяком случае такого в Италии больше нигде нет, и то, что это было первым, созданным вообще в средневековом искусстве, и получилось таковым, остается вечным чудом и счастливой удачей мировой истории, за которые еще и сегодня надо благодарить. Как по-детски радостно все это, как нерerefлектированно и неаффектировано во всем своем художественном умиротворении».

Флоренция 19.4.08

«К сожалению идет проливной дождь. Тем не менее мы с удовольствием наблюдали за народом при трескотне «*schiorro del саго*» (помнишь еще?) перед собором: затем после обеда посетили гробницу Медичи, чья бездонно глубокая печаль и стремление уйти в вечный сон действует при сером небе еще сильнее...»

Флоренция 21.4.08

«Эти большие листы деловой бумаги, собственно говоря, не подходящая основа, чтобы сказать тебе, *как* меня обрадовало твое милое письмецо в день рождения. *Несмотря* на «вавилонскую башню», которую ты, моя милая девочка, воздвигаешь там из меня. Ведь я уже говорил, что вижу в этом только твою большую любовь и соединяю ее с моим смущением и твоим «отсутствием критики». Я не уверен в том, что моя собственная, всегда присутствующая критика обязана своим наличием более слабому сердцу. Но знаю, что *во* всякой критике я стремлюсь к согревающему солнцу, которое выше всякой критики. Жизнь с тобой подобна мягкому свету и теплу весеннего солнца, которое — как Толстой слишком утопично ждет, надеясь на силу абстрактной *человеческой любви* — спокойно и уверенно, «*patiens quia aeterna*»<sup>100</sup>, растопит все льдины жизни и разрушит все снежные покровы, тогда как дикая буря моей страстности способна только стряхнуть с деревьев снежинки и шишки. Сегодняшний день без тебя действительно жестокое странное событие, вчера я и маме говорил, что за все эти годы мы впервые не вместе. В будущем году нам надо будет обладать чем-то подобным вместе».

Дома они еще долгое время подвергаются волнениям современных течений. Вебер проявляет большой интерес к воздействию освобожденной от нормы эротики на личность в целом. Ибо она представляется ему теперь самым важным. И посредством основанном на вчувствованиях созерцании конкретных судеб борющихся людей происходит сдвиг в его внутренней позиции по отношению к действиям других. Приведенные выше отрывки из писем свидетельствуют об отношении человека, которому, правда, чужды моральная узость и застылость, но который считает себя вправе — дистанцированно — мерить поведение других по общим масштабам и соответственно о них судить. В разговорах о таком праве он обычно подчеркивал, что тот, кто не может ненавидеть зло, неспособен действительно любить добро и величие; к тому же обычные суждения о других соответственно своим вкусам значительно менее «братские», чем этические, «ибо они безапелляционны, себя из них исключают, тогда как в этическом суждении и себя также подчиняют ему и тем самым сохраняют внутреннюю общность с тем, о ком судят». Созерцание живущих в области эротики по ту сторону добра и зла не изменило его собственное отношение к норме — его вера в неустрашимое значение была непоколебима, но изменилось его отношение к отпавшим от нее людям. Он обращает теперь меньше внимания на их вызванное страстью поведение, чем на все их бытие, и там, где он может это бытие принять, его теперь интересует больше его защита и развитие, чем вопрос, насколько *действия* этих людей далеки от «нравственного требования». «... Этические ценности не *единственные* в мире. Они могут делать людей, отступивших от них, ничтожными, если требуют отречения. И могут привести к неразрешимым конфликтам, где *невиновное* действие невозможно. Тогда необходимо (с точки зрения этики) действовать таким образом, чтобы связанные о конфликтом люди испытали по возможности меньшую утрату человеческого достоинства, способности к доброте и любви, к выполнению долга и к личностной ценности, а это часто очень трудно».

Новое понимание находит свое выражение в ряде высказываний, например, таких: в области этики существует иерархия ценностей. Если высшая ступень этического в конкретном случае недостижима, надо попытаться достигнуть предшествующей второй или третьей ступени. Что это такое, можно решить не из теории, а только из конкретной ситуации. Может случиться, что извне — условностью — навязанные отказы калечат людей, на которых падает тяжелая рука судьбы, что они становятся душевно искажен-

ными, мелкими, фарисейскими и горькими. В таких случаях уж лучше им грешить.

Правда, если речь идет не о расцветших в новой свободе сильных, но и о глубоком страдании побежденных в эротической борьбе людей, точка зрения вновь сдвигается и тогда остается многое, что следует требовать и отрицать. В известных случаях Вебер представляется возможным соединить ради детей «прелестное легкомыслие» меняющихся приключений с сохранением брака. Но если за игрой следует смертельная серьезность большой страсти и требует своих прав наряду с браком, он с ужасом предвидит моральное уничтожение более слабых. Результатом внутренних размышлений над новыми взглядами и чужими судьбами оказалось в конце концов следующее: этический идеал брака, каким он должен быть, в качестве высшей формы эротического союза остается непоколебимым — но его невозможно требовать от всех людей различного характера и различных судеб. Установить же формулируемые принципы для этического формирования многочисленных конкретных ситуаций, в которые люди попадают вне брака и наряду с ним, невозможно. Общеобязательными остаются, однако, признание *ответственности* во всех человеческих отношениях и серьезность нравственных усилий. И затем, чтобы те, кто становится виновным, попав в плен могущественных сил жизни, не создавали бы из этого «теорию» и «право».

Это основное требование: даже если природа и судьба заставляют преступить норму поведения, надлежит смиренно склониться перед наиндивидуальной нормой и признавать собственное несоответствие ей *как вину* — что Вебер считает очень важным и выражает в следующих строках: «Мне не нравится, если тот, на кого падет судьба сильной страсти, рассматривает это как свое право действовать определенным образом вместо того, чтобы принять это просто *«по-человечески»* — именно как «судьбу», с которой надо справиться и часто, будучи только человеком, справиться *не удастся*. Отсюда потребность всегда иметь «право» — там, где «права» нет. — Это я не могу одобрить, все остальное надо «понять».

Его жену часто поражало, как решительно Вебер отклонял попытки борющихся и заблуждающихся возвысить его до уровня безгрешности. Своим резкостям и гневу, которые вызывали страх мало знающих его людей, он большого значения не придавал — но он никогда не забывал, что некогда, не желая того, заставил страдать нежную девушку. Враждебную вспышку против своего отца он теперь также ощущает как непоправимую вину. И прежде всего: он хочет быть близким другом — быть человеком среди людей. В этом настроении он пишет молодому другу, который обвиняет

себя и потрясен его мягкостью: «... Поверьте, есть причины, почему я не выдвигаю моральных обвинений тому, кто знает, что такое «вина»! Ведь не все, что является проступком, должно относиться к той области, о которой здесь идет речь. Я ощущал вину за *величайшие* проступки — конечно, не без глубоких и длительных последствий. Но *не* так, как Вы пишете, — как моральную трещину, которая никогда не заживет. Такое случается только с *совсем слабыми людьми*. Что случилось, то случилось, и речь идет о том, чтобы помочь *всем* участникам случившегося, по-человечески, *завершающе* понять, как жизнь с ними играет. Это придет и удастся. Вина может стать или не стать источником силы в зависимости от того, как ее принимают. Плохо было бы, если бы полноценными людьми нас делала только «Integer vitae»<sup>101</sup>, а не также правильно понятая противоположность. Тогда я во всяком случае должен был бы отказаться от притязания на полную человечность».

Марианна резюмировала опыт этого времени в следующих строках письма Елене: «Со всеми событиями последних лет были и для нас связаны душевная борьба и внутренние размышления, которые подчас стоили много сил. Ибо потрясающим является, что люди душевного благородства, воли к добру и сильного *материнского чувства* отрицают нашу веру в общезначимость идеалов в действии и теории. Но я верю — «из этого желания понять вследствие *необходимости* любить нам дано и внутреннее приобретение: рост свободы, человечности и *скромности*. Я бесконечно благодарна судьбе, что она сверхбогатым даром и удовлетворением глубочайших душевных потребностей в лице самого любимого и значительного человека, *возвышающегося* над всяким средним уровнем, избавила меня от возможной вины. Мы еще верим в наши идеалы; правда, мужество и радостная готовность действовать во имя их вовне у меня отняты».

## Деяния в миру и борьба

Летом и осенью 1908 г., когда Вебер чувствовал себя так хорошо, что мог написать ряд больших работ в очень разных областях, он вернулся и к полемике. Он опубликовал во «Франкфуртской газете» политическую статью для высшей школы о «случае X» и разгромный ответ на нее, принадлежащий известному издателю политической газеты.

Поводом послужило следующее: Прусское министерство перевело способного молодого специалиста по политической экономии через голову факультета в Берлин, потому что ждало от него политически желательной работы. Вебер выразил свое порицание в разных направлениях: *правительству*, которое, не считаясь с факультетами, воспитывает среди молодых ученых тип «деловых людей», то есть искушает молодых людей облегчением академической карьеры посредством выполнения требований государства. Поддавшемуся этому искушению, в остальном ценимому им доценту: «В то время, когда пишущий эти строки был в возрасте господина X., элементарным долгом академического приличия считалось, чтобы тот, кому министерство предложило профессию, прежде всего убедился, обладает ли он научным доверием факультета или по крайней мере тех выдающихся специалистов, которые будут с ним работать». К этому он добавил критику поведения берлинского факультета государственных наук в другом случае. Этот факультет издал статут, ограничивающий право доцентов на дополнительное чтение лекций по специальностям, не связанным прямо с защитой докторской диссертации, и использовал самим им созданное препятствие, чтобы не допустить к чтению лекций такого известного выдающегося ученого и преподавателя, как Вернер Зомбарт. Он усмотрел в этом также уступку несущественным для дела точкам зрения и «отклонение от принципа привлекать по возможности больше значительных сил — позиция, которая в конечном итоге скажется в ослаблении *морального авторитета* фа-



культетов...» Уверенная, но очень спокойная критика не осталась без последствий. Молодой ученый подчинился решению факультета, подал прошение об отставке и просил сообщить Веберу, что признает свою ошибку.

\* \* \*

В конце лета 1908 г. произошло интересное событие в области духовной жизни — Международный философский конгресс. Вебер видел иностранных ученых разного рода; глубокомысленный и тяжелый на подъем социолог Ф.Теннис жил во время заседаний Конгресса у него. В Гейдельберге было очень оживленно. Правда, самые значительные иностранные философы отсутствовали, но среди молодых было несколько ярких звезд: Трёльч, Ласк, Дриш, Фосслер и др. Представителями старшего поколения были Вильгельм Виндельбанд и Нестор гегельянцев — Лассон. Неспециалист чувствовал себя скорее на большом празднике, чем в «Академии». Как интересно было присутствовать при представлении различных выдающихся личностей! Однако приближение к истине в этой области казалось невозможным. Да, создавалось впечатление, что философия может дать важные сведения, но не единую, общую несомненную истину. Почти все философы спорили друг с другом. И у каждого был свой собственный язык. Насколько различен был смысл слов «природа», «дух», «истина», «идея», «свобода», «Бог» — ничто не однозначно, даже само понятие философии многозначно. Им следовало бы сначала дать друг другу терминологические словари. Они говорили в дискуссиях как бы не слыша друг друга, никто не хотел усвоить сказанное другим и каждый видел себя уже у трона абсолютной истины. Для специалиста не могло быть и речи о твердых выводах. Присутствовали ли мы при создании вавилонской башни? Не стремились ли здесь к открытию тайн мира с помощью совершенно неподходящих орудий? Однако эти напряженные поиски и усилия, это одухотворение явлений, это бесконечное движение — были сами по себе велики, велики, как волнение моря, которое никогда не приходит к цели, потому что оно всегда у цели.

\* \* \*

И вновь картины из других областей: проблемы *действующих* людей, поставленных в непосредственное практическое овладение миром.

Чета Веберов вновь провела осень 1908 г. в гармонически уютной семейной жизни в Эрлингхаузене. Вебер продолжал там свои

исследования в области психофизики индустриального труда. За это время он изучил специальную литературу, прежде всего работы Крёпелина и его учеников о применимости естественно-научных методов и результатов для такого рода исследований; теперь он вновь ищет исконный материал на ткацкой фабрике Веберов. С утомительными расчетами он легко справляется, он весел. Мягкий солнечный свет и аромат зреющего года обволакивает прекрасную немецкую землю. Поездки в степь, серьезность которой украшает еще кое-где красный покров, или прогулка по длинному хребту Тенсберга приносит отдых после утомительных дней. Вебер охотно посещает соседний Купферхаммер, патрицианское поместье в скудной степи, созданное крупным предпринимателем Карлом Мёллером; его жена Герта, эрлингхаузенское дитя, дочь Карла Вебера. Огромная труба основанного уже отцами большого предприятия смотрит в тишину прекрасного парка — будто она правящий князь. Но здесь правит не только неутомимая машина — жизнь крупных горожан упорядочена высокими правилами и значительная женщина наполняет прекрасные рамки духовным и художественным созерцанием и неутомимой деятельностью. Хозяин дома, в сущности по своей природе скорее ученый, чем предприниматель, посвящает часть своей трудовой жизни благополучию и образованию своих рабочих. Он — подлинный праведник, пуританская этика наложила на него свою печать. В его глазах сияет доброта, но его соблюдающая дистанцию, сдержанная, всегда владеющая собой, торжественно-достойная манера поведения, которая неизменно накладывает отпечаток и на его окружение, наглядно представляет Веберу, как и эрлингхаузенский патриарх, тип последователей тех серьезных людей, которых он открыл у колыбели современного капитализма.

Ученый с удовольствием ощущает себя временно принадлежащим к расширенному семейному кругу. Он принимает горячее участие во всем, что наполняет там жизнь, углубляется с женщинами, которые являются душевным центром трудящихся мужчин, в судьбы всех их детей. Он становится берущим и дающим и совершенно выходит из своей интеллектуальности, приближаясь к сущности других по своему типу людей. Его образное мышление способно сделать плодотворным ученое знание и для необразованных. «Самое прекрасное в этом времени то, что Макс ведет жизнь почти нормального человека. Он неисчерпаем в рассказах различных историй, как и в распределении более сильного питания духа; он сидит вечером до 10 часов, и вся семья окружает его как мудреца, святого или паяца (bajazzo) в одном лице. Что им больше всего нравится, трудно сказать. Вечерами, когда и Георг рассказывает, раздается прямо гомерический хохот, вспоминаются все

старые военные и студенческие шутки, которые ничего не утратили из своего блеска; иногда появляется даже что-то новое, мне неизвестное. Способность Макса рассказывать течет, как застоявшаяся вода. При этом он работает до обеда и диктует после обеда, короче говоря, «живет», как будто болезнь от него ушла. И мы радуемся светлым дням, хотя знаем, что облака, дожди и холод вернутся.

Здесь, как всегда, прелестно у этих добрых и счастливых людей, осеннее солнце освещает прекрасный сад и блестит утром в покрытой росой траве».

Когда через несколько лет из этого круга был вырван один из возглавлявших его мужчин, муж Вины, Бруно Мюллер, Вебер обрисовал его благородный образ в такой манере, которая освещает и его самого. Ибо он связывает с индивидуальной сущностью этого человека типичные черты чистого, благородного бюргерства, которое он, забывая о его политической незрелости, оценивает как высокое благо своей нации и к которому он и себя с гордостью причисляет.

«Моя дорогая Вина! Одновременно пришло написанное мне вчера Бруно деловое письмо и это потрясающее, совершенно неожиданное известие. Что входя в ваш дом, больше не ощутишь эту простую уверенность и благородную доброту в тонкой гордости его скромности столь бесконечно милого человека, невозможно себе представить. *Прекрасна* смерть без старости, болезни, ухода и одиночества для того, кому она дана, смерть на вершине успеха и в сознании, что путь ведет вверх, что молодое поколение стоит на плечах старого и создает новую жизнь. *Прекрасна* жизнь, которая так завершается — без несчастья, недопонимания, разочарования, печали, жестокости и разлада с самим собой, который пришлось перенести когда-либо с трудом, отчего избавила его собственная верная природа и безмерная любовь, которая стояла рядом с ним, росла рядом с ним, далеко отгоняя от него таких духов. И *прекрасно* думать, что здесь был человек, который мог себе сказать, что всю жизнь он в великом и в малом никогда не отрицал дух самой *подлинной, подлинно бюргерской рыцарственности*, дух, который, когда он впервые, 35 лет тому назад, молодым человеком переступил порог моего родительского дома, завоевал ему все сердца — и завоевал также тебя. Он был одним из тех людей, о которых знали, что никто, кем бы он ни был, никогда не посмел бы даже в случайном разговоре с ним или в его присутствии коснуться в любом смысле нечистых или двусмысленных вещей, или даже просто прийти к ним мысленно. Такая атмосфера чистоты сердца, тела и духа исходила от него. Хотя он и старался всегда совершенно намеренно отходить в тень, невозможно было импо-

нирывать ему неподлинными средствами, позой или фразой, ложным пафосом или тщеславной самоинсценировкой. Все это рассеивалось перед его сдержанным, спокойным, но очень уверенным взглядом. Невозможно, конечно, определить, сколько он дал людям, но дал он им, несомненно, безгранично много, — и прежде всего вашим детям. Ибо чем же завоевал он то безусловное уважение и тот — столь впечатлявший меня всегда своей свободой и непринужденностью пиетет у вас всех, которые вы так легко и непринужденно выражали по отношению к нему? Он завоевывал это не словами — в его простой манере слова и речи были ему вообще чужды — он, может быть, даже слишком пренебрегал этим и жил тихо, думая только о своем деле и своих обязанностях. Он действовал не словами, не в словах происходило понимание с ним друг друга, выражалась его сущность. Близость ему находила свое выражение в чувстве полной защищенности и уверенности, что так редко ощущаешь в общении с человеком и что является последним и высшим из всего доступного — ибо разве не к этому ведут слова, даже самые лучшие и тонкие? В общении с ним они были не нужны — ибо он был человеком, которому *доверяли*, доверяли безусловно, еще до того как он произнес первое слово и никакое слово не могло усилить это доверие. Невозможно оценить, чем он был во внешнем и во внутреннем смысле благодаря этому качеству, незаменимому, как благословенный дар неба, для вас и также для гордого предприятия (которое без него нельзя себе представить). Когда Георг мне как-то рассказал, что старый деловой друг отца в завершении любезных слов сказал: «В общем будьте как Ваш отец, это все, что я Вам желаю», — то нельзя не позавидовать этому отцу, а также сыну, которому это могло быть сказано с полным правом. К удивительному, все взвешивающему и охватывающему «величию» — ибо это слово здесь уместно, и к великолепной неотразимой активности его сына Карла непоколебимая уверенность Бруно была необходимым дополнением. В несломленной чистоте его сущности возвышался он из поколения немецкого бюргерства, которое таило в себе гораздо больше характера и ценности, чем предполагают находящиеся вне его, возвышался он, вступая в настоящее и в поколение, которое должно будет вести жизнь по-своему и во многом быть иным, — тут нет выбора, — чем были его отцы. Так происходит со всеми нами. Однако если все мы твердо верим в то, что они по-своему будут столь же ценными во внешних более трудных и внутренне разорванных условиях, проживут свою жизнь с честью и на закате своих дней способны будут оглянуться на совершенное ими так же ясно и радостно, как могут это сделать он и ты, то не забудем, что наряду с покоряющей силой твоей любви и нежного понимания,

которые исходят, милая Вина, от тебя, также и глубокая подлинность и правдивость, жившие в чистой душе этого человека, сыграли свою роль, и возрадуемся благословиению, которое всегда будет сопровождать память о нем. Я мысленно сердечно жму вам всем руки, — тебе, Вильгельму, детям и надеюсь вскоре сделать это непосредственно, то ли в ближайшие дни, то ли несколько позже, когда пройдет первое горе тяжелой утраты».

## II

Мой рассказ переходит к другим событиям этого года.

С 1905 г. политический небосклон покрыли угрожающие тучи: вопрос о Марокко. В стране ощущалась опасность. Действуя в интересах «открытой двери» для своей торговли Германия пересекалась там с политикой Франции. Поездка императора в Танжер, обращение императора к султану грозили войной. Опасность была устранена конференцией в Альхесирасе. Германия достигла успеха и утвердила свою точку зрения, но какой ценой! Франция не забыла об этом вмешательстве и в ответ заключила союз с Италией. Англия видела в постоянном усилении флота мероприятие, направленное против ее господства на море. С тех пор Германия стала считаться империалистической и агрессивной страной и усилила это впечатление отказом участвовать в Гаагской конференции по разоружению. Политика окружения, проводимая королем Эдуардом, достигла успеха. Англия, Франция и Россия договорились, Италия и Австрия были беспокойны. В конце 1906 г. в рейхстаге обсуждался вопрос «личностного правления» и угрожающего положения. После этого император опять отверг в публичной речи людей, предупреждавших его об опасности, раздражающими словами: «Пессимистов я не потерплю, кто не готов работать, может выйти и искать для себя лучшую страну». Канцлер определил заявление монарха как его конституционное право. В Германии нет парламентского правления, и немецкий народ не хочет теневого императора. Когда в 1907 г. произошли новые беспорядки в Марокко, Германия вновь пересекла французскую политику. Но Франция пришла к соглашению с Англией и Италией — дипломатическое поражение Германии стало очевидным. Тем не менее временно наступило некоторое успокоение, Эдуард и Вильгельм обменялись визитами, император и царь встретились. Однако одновременно Англия и Россия пришли к соглашению по поводу своих интересов в Азии. А когда началась балканская драма, Германия и Англия опять столкнулись. Государства Центральной Европы пытались поддержать Турцию от посягательств России и Англии.

Опять возникла угроза войны, на этот раз положение спасла революция в Турции. Однако вскоре притязания Австрии на Балканах послужили новым серьезным поводом для конфликта. Сербия искала поддержки России и апеллировала к славянской солидарности. Германия и Австрия оказались в изоляции. Так волны бросали в разные стороны корабль немецкой государственности. Люди жили, уповая на мгновенные успехи — однако ответственные государственные деятели были лишены уверенного понимания в мире, который позволил бы им выйти из опасной ситуации или найти могущественных союзников. С конца 1906 г. тяжелый кризис наступил и во внутренней политике. Центр отклонил требование подавить восстание коренных жителей в юго-западной Африке и был поддержан социал-демократами — подходящий повод для роспуска рейхстага. Точка зрения Вебера на эти события выражена в следующих, свидетельствующих о сильном волнении письмах Фридриху Науману:

«Дорогой друг! У меня нет ни права, и обычно ни малейшего желания вмешиваться в Ваши политические решения — да Вы и не позволили бы мне это. Но разрешите мне все-таки высказать мое *мнение*. Вы ведь услышите еще достаточное их количество и тогда сами примете решение. *Если допустить*, что я входил бы в вашу редакцию, имел бы в ней голос и мне надлежало бы вынести решение о формулировке «пароля», который должен был быть высказан со стороны помощи, и привел бы к глубоко фривольному только в интересах политики власти, в интересах короны, которая хотела бы изобразить величайший позор во внешней политике как «внутреннюю победу» под возгласы Ура — допустим такой случай, что я мог бы участвовать в обсуждении, тогда я бы сказал: ни за что не принимаю столь сомнительно напрашивающуюся формулировку: За *императора* против «жаждущего власти центра». Это было бы страшно отмычено. Уровень презрения, которое мы встречаем как нация в других странах (в Италии, Америке, повсюду) и с достаточным основанием! — это решающе — и вызвано оно тем, что мы допускаем это правление этого человека, стало для нас фактором власти важнейшего политического значения. Каждый, кто в течение нескольких месяцев читает прессу других стран, не мог этого не заметить. Мы оказываемся в изоляции потому, что нами управляет этот человек и таким образом, *а мы терпим это и защищаем*. Ни один человек и ни одна партия, которые в каком-либо смысле разделяют демократические и одновременно национально-политические идеалы, не должны брать на себя ответственность за этот режим, продолжение которого угрожает нашему положению в мире больше, чем все колониальные проблемы любого рода. Упреком центру может слу-

жить не то, что он ставит под вопрос «власть императора», как главнокомандующего, *еще меньше*, что он соответственно числу своих депутатов стремился к *власти, к контролю* за управлением колониями, к «параллельному» парламентскому правлению» и т. д.; не это оправдывает упрек ему, а то, что он в качестве парламентской господствующей партии поддерживал систему *видимости* конституционализма, что он — если говорить вполне конкретно — например, в данном случае, сделал условием признания колониального бюджета не контроль колониального управления *рейхстагом*, а сохранение за кулисами существующего «парламентского патронажа» — приманки, посредством которой в течение десятилетия господствующие партии: центр, консерваторы и национал-либералы связывались с видимостью конституционного личного правления. Пароль может быть следовательно, *только* таков: *против* центра как *партии видимости конституционализма*, как партии, которая стремилась и стремится не к реальной власти представительства народа *по отношению* к короне, а к личным милостям короны и за сильный открытый парламентский контроль над управлением, который выметет всю грязь параллельных управлений из этих тайных углов. Но, Бога ради, отказаться от всякого *вотума доверия императору* и его политике! И не молча, а *решительно* отклонить такой вотум доверия! Поддерживать оппозиционные («младолиберальные») элементы в национал-либерализме, профессиональные элементы в социал-демократии — идти с ними *против* мнимо конституционного центра, но и *против* династического внутриполитического заигрывания с властью и против внешнеполитической, династической политики престижа громких слов вместо трезвой политики интересов! Так бы я голосовал, если бы имел на это право. Я вполне понимаю, почему Вы хотите сохранить личный престиж императора. Но сегодня такая политика уже не соответствует реальностям, ни внутренним, ни внешним. Ибо этот престиж утрачен, он — для меня и для бесчисленно многих, искренне говоря, больше невозможен, бессмысленно и напрасно стараться и сохранить его еще несколько лет. Если Вы считаете возможным, оставьте это письмо открытым. Простите за беспокойство. С сердечной дружбой, как всегда. Ваш Макс Вебер» (14.12.1906).

Результатом избирательной борьбы, которая велась под колониальным лозунгом, было тяжелое поражение социал-демократов. Бюргерство торжествовало, но Вебер сказал по этому поводу Л. Брентано: «Жалкий результат выборов в рейхстаг! Усиление *правых* аграриев, возможность большинства реакции и центра против национал-либералов и всей левой. Единственный просвет: Наман и *возможность*, что в будущем социал-демократия откажет-

ся от своего пустозвонства и займется практической политикой. Но произойдет ли это? (6.2.07.)

Бюлов соединил бюргерскую левую с правыми партиями в национальный блок. Леволиберальные фракции объединились и впервые старое «свободомыслие» также поддерживало политику мировой власти. Казалось, начинается новая национально-социальная эра демократического либерализма. Но когда Науман и его тогдашний круг потребовали расширения политических свобод: права на союзы и собрания, энергичной социальной политики и прежде всего реформы прусского избирательного права противостественность соединения сразу проявилась: правые *всеми силами* препятствовали отказу от традиционных привилегий. Но и в рядах либералов буржуазные и капиталистические заинтересованные вожди старого свободомыслия препятствовали осуществлению демократических идеалов. Свободомыслящий партийный нобилитет затруднял Науману жизнь. Совершенно очевидно было, что он не подходит к их обществу и не смог бы провести вопреки им свою политику. Это было жестоким разочарованием для человека, перед которым наконец после ряда лет ожидания открылась возможность политической деятельности. А когда весной 1908 г. часть его круга, прежде всего вожди левого крыла вновь отделились от «Свободомыслящей народной партии», Науман пережил трудный конфликт: чтобы не уничтожить с трудом установленное единство левого либерализма, он не последовал за друзьями.

В этой ситуации Вебер ему пишет: «Последние дни не могли быть легкими для Вас, и цель моего письма только уверить Вас в моей глубокой симпатии к Вам. В деловом отношении Вы не *могли* проводить другую политику после того как Вы в прошлом году приняли (справедливо) Ваше решение. Это должен признать каждый непредвзятый человек, даже если он, как я, хотел бы, чтобы возможна была другая политика. Оставляя в стороне все чисто реально политические соображения, Вы были правы и в том, что лояльно сохранили верность столь незначительным союзникам, как свободомыслящая народная партия». *Такие* обстоятельства также существуют в политической жизни и ведут к своим последствиям, пусть даже легкомысленные люди, как Барт и Герлах их не видят. «Мандат» — и его Вам это может стоить — в конце концов не высшее в мире, и сознание того, что возможное по либеральным (закон объединения) и *национальным* (биржевой закон в интересах нашей власти в мире) успехам было достигнуто, пусть даже ценой мандата, только Ваша заслуга. Тем свободнее Вы теперь. Связать себя опять с фракцией, если Бюлов *не изменит свою политику*, и еще раз рискнуть всем вряд ли входит в Ваши намерения. Реформа *избирательной* системы в Пруссии за финансовую реформу в



Империи — это представляется мне данным паролем, и я удивляюсь, что он не был высказан во Франкфурте. И не хотите ли Вы использовать ходатайство центра о «толерантности», чтобы потребовать: 1. устранения *всякого* насилия в преподавании *религии*, 2. устранения любых *привилегий церкви* (союзно-правового отношения!). По крайней мере *первого* как «основного права»? Центр должен здесь уступить первенство в демократическом отношении. В польском вопросе я придерживаюсь несколько другого мнения, чем Вы, *насилие в области языка* представляется мне нравственно и политически невозможным и бессмысленным. Но экспроприация должна, по моему мнению, сразу войти в число требований: ежегодная экспроприация крупных поместий *повсюду* для поселения крестьян! «Землю массам» — по старому лозунгу Шульце, но лучше без этой формулировки. По отношению к *полям* нынешний закон бессмыслен, смысл имела бы только неограниченная экспроприация, причем такая: с этим оружием в руке полякам можно было бы предложить национальное соглашение на основе признания их «культурной самостоятельности» Простите за этот «ценный материал», предложенный outsider'ом; цель этих строк была направить Вам не поучения, а сердечные приветствия от верного Вам Макса Вебера» (26.4. 08).

После выборов в прусский ландтаг Вебер 5.11.1908 г. пишет:

«Милый друг! Выборы прошли и будущее политики блока достаточно ясно. Как ни необходимо держаться честной попытки достигнуть в Пруссии реформы избирательного права, очевидно, что ждать *нечего*. Тем самым политика блока несомненно *потеряла* свой *ratio*<sup>102</sup> и для Вас, так как все остальное мелочь, не имеющая ценности, если избирательное право по существу останется таким, как оно есть. Что же теперь? Вы не могли зимой придерживаться другой политики, кроме той, которой Вы следовали... Каково же будущее?... Сохраняйте возможность, если это возможно, *повернуть налево* из Союза, то есть имейте это в виду так, чтобы Вы могли совершить этот поворот благопристойно, это будет необходимо. Свободомыслящая народная партия неудержимо скользит направо. *Однако* через 4 года у нас повсюду, почти во всех отдельных государствах, также в Бадене и Империи, будет *клерикальный режим*. Это теперь несомненно. Тогда начнется трудная работа «проложить путь свободе». И Вы не должны быть тогда политически мертвы! Не отвечайте мне. Теперь у Вас на это нет времени. В другой раз больше. Сердечный привет — тяжелое для Вас время!»

Осенью 1908 г., именно тогда, когда грозил балканский кризис, император Вильгельм II совершил новую политическую бестактность, которая превзошла все предшествующее: публикацию ин-

тервью в английской газете. Его благим намерением было рассеять недоверие к нему Англии. Он заявил, что, хотя общественное мнение в Германии носит антианглийский характер, его личное отношение к Англии, напротив — дружественно; так в начале англо-бурской войны он отклонил предложенный ему Францией союз против Англии и даже передал своей бабушке, королеве Виктории, составленный им самим план похода против буров; с его основными линиями совпадал план, которому следовал английский главнокомандующий и т. п. Казалось, что сам дьявол приложил к этому руку! Ответственные инстанции контроля находились как раз в отпуске. Каждое высказывание оказывалось бедой. В стране и за ее пределами возникла буря негодования. Вне Германии вспоминали телеграмму Крюгеру и обвиняли немецкую политику во лжи. Англия расценила разоблачения как недостойные усилия завоевать ее расположение. В Германии взывали к средствам защиты от ошибок «личного правления». В рейхстаге последовало беспрецедентное по бурности обсуждение — говорили о трагедии немецкой политики, предлагали изменения в конституции в сторону парламентского правления: ответственность министров, участие рейхстага при назначении рейхсканцлера. Однако в рейхстаге не было единства и прежде всего препятствовало таким решениям прусское юнкерство. С их точки зрения уж лучше монарх Божьей милостью, который делает глупости и должен затем опираться на своих паладинов, чем ограничение собственных привилегий вследствие расширения народных прав. А когда император *privatim*<sup>103</sup> обещал Бюлову большую сдержанность, в бюргерстве также ослаб порыв к решительным изменениям. Вебер был возмущен не только событием, *подтверждающим* все прежние опасения, но и нерешительной позицией своего круга — «народ, который не может решиться устранить своего монарха или по крайней мере значительно ограничить его полномочия, сам выносит себе приговор политической незрелости». Вебер был больше, чем когда-либо убежден, что только расширение парламентских прав может предотвратить большие беды, но предвидел, что прусские консерваторы даже применительно к Империи предотвратят такие попытки. Об этом он пишет Науману 12.11.08: «...Теперь все дело в том, чтобы прибить у въезда в страну написанное *крупным шрифтом* объявление, что ответственность за «продолжение личного правления» несет *консервативная* партия. Слишком много говорят об импульсивности и вообще о личности императора. Виновата во всем политическая структура. Ничего, *совершенно ничего* не улучшено: Бюлов не мог ничего обещать, так как он не обладал полнотой власти, от которой все зависело, и каждый император в таком положении впадет в то же тщеславие. Вильгельм I

и Фридрих III действовали бы совершенно так же (в решающих пунктах), только, может быть, иначе по форме. Все дело было в том, что Вильгельм I боялся Бисмарка и главным образом в том, что он не *знал*, что происходило и оказывался перед «*faits accomplis*»<sup>104</sup>. Как в 1879 г., был заключен союз с Австрией, когда он уже не мог противодействовать этому. Мы же теперь достигли только того, что впредь не будем знать, что решит натворить этот человек. Определяющим является то, что нити политики находятся в руках *дилетанта*. Каждый легитимный правитель, если он не Фридрих II, *является* дилетантом и к *этому стремится консервативная партия*. Это относится к высшему командованию в войне и к проведению политики в мирное время. Следствие: пока это будет продолжаться, «мировая политика» невозможна.

«Романтики» от политики, особенно поклоняющееся консерваторам буржуазное отребье, восхищаются, конечно, подлым соуп<sup>105</sup> консервативного объяснения как «мужественным деянием» и «историческим поворотом»! Как будто *эта* компания хоть чем-нибудь при этом рисковала! *Эта* романтика по отношению к этому рекламированному действию — реклама *вверх* и реклама *вниз* — должна быть с самого начала уничтожена, ибо она достаточно опасна, как я мог теперь убедиться. Беда, что нельзя, как сделал «Форвертс» при бойкоте пива, ежедневно писавший известное «Не пейте Ringbier» помещать *вверху каждого номера каждой* независимой газеты: «Консерваторы не хотят устранения личного правления — *следовательно*: мы не *можем* проводить политику в мире и политику во флоте, вообще политику, которая превосходила бы возможности Швейцарии или Дании». Английский король обладает честолюбием и властью, император Германии обладает тщеславием и удовлетворяется *видимостью* власти: это следствие *системы*, а не личности (Kingdom of influence — kingdom of prerogative<sup>106</sup>, как формулировали эту противоположность в свое время в Англии). Император *Германии* — «теневого император», не таков английский король — с исторической точки зрения... Династия Гогенцоллернов знает только *капральскую* форму власти: команда, повиновение, стоять навывтяжку, хвастовство. Этого и *хочет* консервативная партия. Почему она этого хочет, знает каждый» (12.11.08).

\* \* \*

В конце 1908 г. новый тяжелый кризис потряс внутреннюю политику. Консерваторы и центр объединились в вопросе об имперской финансовой реформе и избирательного права Пруссии, консервативно-либеральный блок распался. Бюлова сменил Бет-

ман-Гольвег, «канцлер в философской мантии». Попытки либерально-демократических реформ не удались. Воинственный вождь консерваторов и аграрной знати решился даже на объявление войны всеобщему избирательному праву. Волнение по этому поводу было невероятным. Левые либералы завершили свое объединение в Прогрессивную народную партию. Науман сформулировал лозунг: от Басерманна к Бебелю. Но социал-демократия отступила. Прусская конституция осталась тем, чем она была: щитом аграрно-консервативной партии не только в Пруссии, но и в Империи. И император уже преодолел шок от действия своей риторики — он сослался в публичной речи на свои права милостью Божией. Вебер давно уже убежден в неисправимости монарха и ждет препятствия дальнейшим бедам только от современного ограничения его привилегий посредством расширения парламентских прав. То, что даже Науман полностью не понимает в данный момент значения политических институтов для будущего нации, побуждает Вебера к следующим замечаниям:

«После Ваших двух замечательных статей и многого другого, что было сказано об *императоре*, мне остается добавить немного. Все сводилось бы теперь только к одному: не преувеличивайте значение качеств *личности*, виноваты *институты* и ваша собственная инертность: то и другое — дело бисмарковщины и политической незрелости, которая этим усиливалась. Практически все пойдет, по-видимому, так, что усиливаться будет бундесрат, а не рейхстаг. Поэтому я могу только все время повторять: *парламентаризация бундесрата* — такова практическая проблема, решение которой относится, быть может, к далекому будущему.

Ваше письмо в значительной степени лишило меня мужества. Ждать того момента, когда господин барон ф. Г. унд д. Л. *реши-тельно* «выступит» как противник народного представительства в *этом* деле, Вы можете вечно. Господа сделали это и сказали: «Это не относится к вопросам народного представительства». И этого недостаточно? И Вы не решаетесь показать каждому и внушить ему достоверность того, что это означало и означает для мировой политики? Вы стали робким и смиренным в качестве «реального политика» и позволяете импонировать Вам немецким способом заниматься политикой — в этом все дело, и это в значительной степени лишает мужества нас, других. Ведь нет *ничего* более вредного для политического воспитания нации, чем импонирующая посредством самоуверенной улыбки систематическая и столь дешевая дискредитация всех надежд на значение организационных изменений, которые нам нужны как хлеб. До свидания до следующего «свершения» императора!» (18.11.08).

В это время высшего возбуждения Вебер вновь дал заманить себя в качестве участника политического собрания. Его жена пишет: «Восемь дней тому назад нас объединило с Альфредом большое политическое событие. Еллинек читал интересный доклад об императоре и империи: речь шла об усилении парламентского правления в связи с последними взволновавшими всех высказываниями императора. Макс пошел с нами из любезности, но уверил нас в своем решении не выступать. Но когда Готейн выступил в национально-либеральном, даже почти консервативном духе, он вывел из себя братьев Веберов. Макс выступал дважды со сдержанной страстью и силой; людей это захватило, что бросалось в глаза, хотя почти все из них были более правых взглядов, чем он. Затем произошла забавная история, которой теперь наслаждается весь Гейдельберг. Один гейдельбергский бюргер спросил, выходя из зала, другого: «Кто, собственно, этот Макс Вебер? Ответ: А это кажется один из Марианнинных». Разве это не смешно и вместе с тем гротескно и грустно? Достаточно ведь было бы ему чаще показываться; по состоянию здоровья он теперь мог бы, если бы ему это доставляло удовольствие. Однако очевидно, что он не видит в этом смысла по сравнению с научной работой».

Нет, представительство и личный успех были Веберу слишком безразличны, чтобы его привлекать и тратить свои неустойчивые силы на впечатляющие выступления, которые ничего не могли изменить в практической политике. А постоянных требований парламента и партийной суеты его нервная система не выдерживала. Таким образом в это беспокойное время он мог служить находящейся в трудном положении нации только в качестве постоянного советника Наумана и посредством влияния своими политическими суждениями на окружающих его людей. Но последнее все время оказывалось безрезультатным. Германия была могущественным государством с сильным вооружением и находилась в полном экономическом расцвете. Духовно ведущие слои не имели, правда, политического влияния, но их *культурное значение* достаточно подчеркивалось и им жилось хорошо. Они ценили свой покой и пока они не чувствовали угрозы своему преимущественному положению, страх перед социализмом уравнивал критику существующего режима. Они видели, что совершались большие ошибки, но полагали, что по этому поводу достаточно испытывать некоторое временное неудовольствие. Не была ли постоянная резкая критика политического курса со стороны Вебера результатом его болезни? И он с горечью ощущал, что даже самые опасные промахи монарха и тяжелые кризисы не могли за-

ставить духовных вождей нации выйти из роли наблюдателей. Он хотел бы объединения известных университетских преподавателей для выражения публичного протеста — но об этом нечего было и думать.

Характерным документом политического непонимания коллег послужила полученная им через Риккерта статья фрейбургского профессора государственного права, в которой тот выступает против парламентского правления. Вебер пишет Риккерт: «Очень Вам благодарен за пересылку политической музыки Ш. на трубе для детей. Дурное звучание! До Вас, вероятно, дошло, что мне надлежит ограничить мой аппетит по гигиеническим причинам и хотите мне дружественно помочь! *Таковы* немцы, и *это* они называют «политикой», дуются на «своего» императора, затем его ждет Каносса (в канун прусского дня покаяния и молитвы, чтобы все совпадали по настроению), а затем опять взирают с гордостью на него и, Боже сохрани, только не парламентское правление! Что касается бессмыслицы с анархией и отсутствием плана, достаточно посмотреть на *нашу* политику, с одной стороны, политику Франции, Англии, Голландии, Бельгии и т. д. — с другой. И тогда это называют «политическим мышлением». (21.11.1908)

Что он думал о политической позиции своих коллег и как он от этого страдал, было зафиксировано через несколько лет по другому поводу. На праздничном банкете в связи с открытием нового Фрейбургского университета (осень 1911) тамошний проректор высказал несколько сильных оценочных суждений в адрес «простофиль» и авторов «пацифистских бредней» и воодушевил этим уже несколько раз риторически выступавшего генерала к ряду поразительных заявлений такого рода: пацифисты — это мужчины, которые, правда, носят штаны, но ничего в них не имеют и поэтому хотят превратить народ в политических евнухов. Этот случай неуважительно комментировался во «Франкфуртской газете». И так как замечания были направлены и против проректора, ряд наиболее известных фрейбургских профессоров опубликовал возмущенное коллективное заявление, в котором газету упрекали в подрыве национальных и этических убеждений и высказывалось притязание академических наставников на их «право и высокий долг» в праздничном сообществе с нашими учениками признавать с гордой и безусловной откровенностью отечественные идеалы, следования которым молодежь должна требовать от нас». Соредактор газеты, доктор Г.С. обратился к Веберу с просьбой предоставить ему частным образом его мнение об этом тяжком обвинении. В ответе Вебера, который был представлен и фрейбургским коллегам, политический и человеческий интерес представляют следующие выдержки: «... Воззвание к «гордому свободомыслию»

академического преподавателя в том случае, когда он *ничем серьезно не рискует*, не оставляет хорошего впечатления. И поразительно «мелкобуржуазно» действует пророчество, что критические замечания в праздничных речах могут ослабить «моральные силы». Полагаю, что «Франкфуртская газета», в традициях которой всегда был юмор, не примет трагически такие заявления по подобному поводу.

Если многочисленные академические профессора смирились с *подобными* промахами редактора этого объяснения, чтобы внутренне не ощущать себя неколлегиальными, то это объясняется, вероятно, жарой, в которую отнюдь не блестящая ликвидация нашей театральной марокканской политики повергла именно духовно высокие слои общества. Я также хочу больше, чем это подчеркивается во «Франкфуртской газете», усиления нашей обороноспособности наряду с трезвой и решительной внешней политикой. Но я считаю, что даже при сильнейшей милитаризации мы *не можем с чистой совестью идти на риск*, пока по положению вещей принуждены допустить, что в командование нашей армией будет вменяться коронованный дилетант, который *все* испортит как в дипломатии, так и на кровавом поле чести. Правда, основанные на давно уже ставшей вредной традиции эмоциональные моменты препятствуют тому, чтобы сам по себе оправданный гнев адресовался *должным образом*. Вследствие этого он неожиданно при совершенно неуместных обстоятельствах вспыхивает в неправильном направлении, — в данном случае против «Франкфуртской газеты». Данное заявление является также одним из многочисленных симптомов того, как внешняя беспомощность нации связана с ее внутренней беспомощностью, и ввиду этого я взял на себя смелость подробнее остановиться на ней».

Когда после этого несколько фрейбургских коллег Вебера пытались убедить его в несправедливости нападок газеты на проректора и оправдывали мотивы своего «заявления», Вебер ответил им среди прочего следующим образом: «Серьезную опасность для нас, именно для нашего внешнего положения составляет политически угрожающее *перенапряжение монархизма*, а не несколько пацифистски настроенных утопистов. В конце концов придется, вероятно, не считаясь с возможной опасностью, открыто сказать это публично, — но где мы найдем большинство готовых это подписать? ... Я хочу также предложить подумать о том, что характеристика критики определенных, самых высоких *политических* идеалов как ослабления *моральных сил* должна вызывать оправданный протест. В «этике» пацифисты несомненно *«выше»* нас. Уже в моей фрейбургской инаугуральной речи, сколь во многом незрелой она ни была, я решительно защищал суверени-

тет национальных идеалов в области практической политики, в том числе так называемой социальной политики, в то время когда большинство моих коллег следовали обману так называемой королевской власти. Но я и тогда очень твердо подчеркивал, что политика не есть и не может быть занятием, основанном на моральном фундаменте.

...Я не считаю заявление господ коллег, в его представленном виде, удачей. В студенческих празднествах обычно господствует пресловутый элемент корпоративных и других объединений студенчества, даже там, где они в меньшинстве. Эта, напоминающая стиль журнала «Гартенлаубе», отечественная политика, которой сегодня занимаются в официальных органах всех таких объединений, этот пустой, чисто зоологический национализм, ведет, по моему мнению, с необходимостью к отсутствию убеждений по отношению ко всем крупным проблемам культуры: оно чрезвычайно далеко от того понимания смысла национальных идеалов, которые мы знаем и ценим у господина коллеги Ф. Полное отсутствие всяких культурных идеалов и жалкая узость духовного горизонта в этой области ведет к тому, что эти круги полагают возможным оплатить свой долг национальной культуре самым простым образом — встречая бурным восторгом высказывания, подобные преподнесенному генералом на студенческом празднестве. Посредством таких высказываний и ориентации коллективного мнения, которое, как известно, встречается среди профессоров чрезвычайно редко, только на его защиту, бездна между *пустотой* так называемого национального чувства большей части нашего студенчества и полнотой наших национальных культурных потребностей только расширится. Безусловно вопреки намерению как создателей этого мнения, так и подписавших его...» (15.11.1911).

Во втором письме доктору С. значительны следующие фразы: «...Чтобы не возникала двусмысленность по поводу моих личных взглядов: о тех, кто только пацифисты, я лично сужу не иначе, а скорее даже еще более резко, чем профессор Ф. — *разве что* они рассматривают выводы, которые сделал Лев Толстой, также не как литературный десерт, а проводят их по всем направлениям, во всяком случае и во внутренней политике. Тот, кто во внешней политике считает войну худшим из всех зол, не должен ни при каких обстоятельствах воодушевляться революционерами, и в своей личной жизни также должен быть готов подставлять обидчику другую щеку. Только это могло бы импортировать, все остальное и я считаю непоследовательным и сентиментальным обманом...»



Мы опять возвращаемся в нашем рассказе к 1909 году. Вновь открывающаяся жизнь Веберов становится все ярче и многообразнее как в области дела, так и в личной жизни. Новый, основанный Отто Клебсом и Альфредом Вебером естественнонаучно-философский кружок «Янус» объединяет молодых ученых и их жен в свободные часы для бесед духовного и развлекательного характера. За сообщениями из самых различных областей знания следует живая дискуссия. Интерес вызывает не столько результат или правота того или иного; происходил обмен сведений и импульсов и благодаря присутствию женщин все получало особенно личностную ноту. «Макс очень деятелен, два вечера подряд он выходил. В субботу он был в «Янусе» у Онкенов. Онкен, который долго жил в Соединенных Штатах, выразительно и живо рассказывал о Карле Шурце, а затем, конечно, наш путешественник по Америке говорил еще полчаса. В понедельник был его особый научный кружок: «Эранос» у Готейна, который рассматривал возможность исторической психологии, примыкая к Зиммелю. Там Макс мог очень многое сказать, домой он пришел только в 1/2 1».

Однако эта интенсивная активность вызвала демонов; весной после завершения историко-социологической работы непонятные нервные нарушения вновь неожиданно заключают Макса в оковы, которые теперь становится тем труднее выносить, чем дольше продолжалось благополучное время. Вулканическая почва колеблется, в течение нескольких месяцев все его духовное существование было поставлено под угрозу. Даже пребывание весной на юге на этот раз не помогло. При этом у него столько дел, которые остаются незаконченными. Еще летом ему приходится остановить духовную деятельность и искать успокоения в высоком Шварцвальде с его морозящим дождем: «Здесь непрерывный дождь и собачий холод и сомневаюсь, получу ли я в этом году несмотря на центральное отопление, необходимое мне количество тепла. Часовая прогулка в лесу под дождем была красива, но стоила 3/4 ночного сна. И лишь в лесу, где ели высоко подняли свои юбки, а внизу их темному достоинству отвечает светлая жизнь молодых бычков и голубики, этот лес красив. Вообще же ель — старая дева среди деревьев; ели идут друг за другом, тянут или несколько поднимают свои юбки, двигаясь вверх по горе на цыпочках. А молодые зеленые отпрыски похожи на маленькие пальчики, которые пробренчали весне что-то на рояле. Зимой, когда деревья покрываются снежной вуалью, все это выглядит по-другому. Но теперь, особенно при вечном дожде, когда нет аромата смолы, это не доставляет особого удовольствия. Если в моей комнате становит-

ся слишком холодно, я сижу в служебном помещении для возникших, через которое проходят разные люди; вчера, например, там был очень славный мельник, безработный, с которым можно было приятно поболтать. Или — у старой хозяйки и ее дочерей, которые шьют приданое. 16 детей!»

\* \* \*

В разгар лета пугающий нервный кризис был вновь преодолен. Возросшая плодотворность возместила перерыв. Особенно много принесла осень. Союз социальной политики заседал в Вене. Задачей было продемонстрировать культурное сотрудничество с австро-венгерской монархией и общие усилия с австрийскими учеными. В прекрасном гостеприимном городе заседания проходили особенно торжественно. Вебер принимал в них участие. Круг значительных ученых встречался ежедневно: Кнапп, Brentano, фон Шульце-Гевеверниц, Зомбарт, Альфред Вебер, Эйленбург, фон Готтль и другие. Науман также присутствовал. Ученые воодушевляли друг друга. Вебер сияет и горит. «Он был подобен освобожденному от запруды потоку духа, который не может перестать журчать и уносить с собой. Мы сидели между учеными большого ума, и они дискутировали с утра до вечера. Во время переговоров Макс постоянно разговаривал с кем-нибудь в углу — речь шла о подготовке новой большой коллективной работы. Затем он говорил час в дискуссии. Душевно вечно молодой Кнапп, рядом с которым я сидела, был очень взволнован и прошептал мне: «Как он прекрасен! Мы наслаждаемся его огнем, но он сжигает себя в нем!» К сожалению, я пропустила выступление Альфреда. Старшее поколение было от него в ужасе, но молодые в восторге. Они восхищались его темпераментом и пафосом, столь сходным у братьев. Мы видели вместе с Науманом «Фауста» в Бургтеатре, принимали участие в торжественной трапезе, на которой Зомбарт приветствовал Вену в приятном тосте, и просидели у Лудо Морица Гартмана до глубокой ночи».

Предметная борьба по поводу мыслимого и действующего преодоления современных общественных проблем также была чрезвычайно волнующей драмой. На этих заседаниях встречались три поколения ученых. Среди них были еще корифеи катедер-социализма: Вагнер, Шмоллер, Кнапп, Brentano. Затем их прежние ученики: Геркнер, Ратген, Филиппович, Зомбарт, Шульце-Гевеверниц, Эйленбург, Макс и Альфред Веберы; и на сцене уже появилось третье поколение. Естественно, что молодые видели многое иначе, чем старшее поколение, прежде всего они требовали перейти от государственно-метафизического историзма Густава Шмолле-

ра к более резкому социально-политическому и демократическому курсу. Напряжение иногда нарастало. Однако объединяло всех общее стремление найти правильное соотношение между частными хозяйственными требованиями и желанием установить приоритет идеальных интересов над материальными. В данное время социально-политически речь шла о вопросе, служат ли усиление *государственной власти*, расширение хозяйственной деятельности государства и общин правильным путем для социального примирения, для ограничения частнокапиталистического господства, или этим путем надо считать *демократизацию* всех институтов, как предприятий, так и парламентов. Пылкий старый боец, Адольф Вагнер, призывал к государственному социализму, тогда как другие, прежде всего братья Веберы, видели в этом новый тип порабощения отдельного человека «аппаратами». Для них последним критерием нового образования общества является вопрос: утверждению какого *типа личности* это способствует. Формированию свободного, ответственного за свои действия или политически и душевно независимого человека, который ради внешней безопасности подчиняется авторитетам и начальникам. Альфред Вебер развил мысль, что растущая хозяйственная деятельность государства приводит к увеличению бюрократического аппарата и превращает большое число людей в чиновников и слуг, которые, исходя из интересов своей должности, вынуждены отказываться от самостоятельного политического суждения. Бюрократический аппарат нужен для технического решения определенных задач, но его государственно-метафизическое возвеличение создает рабские души.

Макс Вебер, разделяя эту точку зрения, добавил ей политический оттенок, который свидетельствовал о глубоком волнении по поводу бедственных колебаний немецкого государства. Здесь будет приведен ряд импровизированных фраз, которые позволят ощутить дух его свободной речи: «Ни один механизм в мире не работает с такой точностью, как этот человеческий механизм (бюрократия). С точки зрения технических деловых решений он непревзойден. Но, кроме технических существуют и другие критерии. Каково их следствие в области управления и политики? Каждый, кто входит в этот механизм становится колесиком машины, совершенно так же, как в крупном промышленном предприятии; он внутренне настроен на то, чтобы чувствовать себя таким и задавать себе вопрос, не может ли он стать колесиком большего размера. И как ни страшна мысль, что мир может когда-нибудь оказаться состоящим только из профессоров — ведь случись подобное, пришлось бы бежать в пустыню — еще страшнее мысль, что мир будет заполнен этими колесиками, то есть

только людьми, которые держатся за свое маленькое местечко и стремятся к большему. Эта страсть к бюрократизации, о которой мы здесь слышим, вызывает отчаяние! Это равносильно тому, будто в политике судомойщик, горизонтом которого немцы уже прекрасно научились обходиться, может самостоятельно управлять государством, будто мы, сознавая и желая этого, *должны* стать людьми, которым нужен порядок и больше ничего, людьми, которые становятся нервными и трусливыми, если этот порядок колеблется, и беспомощными, если их вырывают из их исключительной приспособленности к этому порядку. Возникает вопрос, что мы можем *противопоставить* такому механизму, чтобы сохранить свободным остаток человеческого рода от этого парцеллирования души, от этого верховенства бюрократических жизненных идеалов... И если государство само все больше становится предпринимателем, например, участвует в горноугольной промышленности, перенимая шахты и входя в горноугольный синдикат, то в этом объятии крупной промышленности оно будет играть роль не Зигфрида, а короля Гюнтера по отношению к Брунгильде. Оно будет отражать точку зрения работодателей вместо того, чтобы, наоборот, предприятия отражали социально-политическую точку зрения... Я выступаю только против лишнего критики восхваления бюрократии; ее существенная движущая сила — чисто моралистическое ощущение: вера во всемогущество высокого морального стандарта именно немецкого чиновничества. Но я лично рассматриваю такие вопросы *также* и с точки зрения международного положения и культурного развития страны и в этом отношении «этическое» качество механизма играет сегодня определенно отрицательную роль. Конечно, в той мере, в какой она способствует точности функционирования механизма, этика ценна для механизма... Но это «коррумпированное» чиновничество Франции, коррумпированное чиновничество Америки, это столь порицаемое правительство «ночных сторожей» в Англии — как ведут себя при этом, собственно говоря, названные страны? Как ведут себя они в области внешней политики? Разве *мы* достигли преобладания в этой области или это сделал кто-то другой? Демократически управляемые страны с частично, без сомнения, коррумпированным чиновничеством достигли значительно больших успехов в мире, чем наша высокоморальная бюрократия; и если в конечном итоге все дело оказывается в значении *нации* в мире, а многие из нас считают, что это последний окончательный путь, — *то* я спрашиваю: какая организация, частно-капиталистическая экспансия с чисто деловым чиновничеством, легче подвергающимся коррупции, или государственное управление с высокоморальным, авторитарно просвещенным немецким чиновничеством —

какой вид имеет сегодня наибольшую efficiency<sup>107</sup>? И тогда я пока еще не могу признать при всем глубоком почтении к этически корректному механизму немецкой бюрократии, что она сегодня проявляет способность сделать для величия нашей нации хотя бы то, чего достигло морально, быть может, значительно более низкое, лишенное божественного нимба чиновничество других стран с его, столь достойным, по мнению многих из нас, презрения, стремлением к выгоде частного капитала».

Помимо социально-политической темы, которая создала столько поводов для оценки и обращения к последним практическим постулатам в этом кругу впервые рассматривалась также теоретическая проблема: вопрос о сущности народнохозяйственной продуктивности. Постановка этой темы Филипповичем побудила Зомбарта и Вебера требовать отчетливого деления между специальным научным познанием бытия и этико-политическими суждениями о познанных связях. Зомбарт стремился показать, что конституированное главным оратором понятие народнохозяйственной продуктивности пронизано субъективными оценочными суждениями и сказал *bon mot*<sup>108</sup>. «Мы не сможем продолжать дискуссию на эту тему, пока не будет научно доказано, кто красивее, блондинки или брюнетки».

Макс Вебер завершил свое выступление следующими словами, сдержанный этос которых придал им известную торжественность: «Причина, почему я так исключительно резко при каждом возможном случае ... выступаю против соединения долженствования бытия и сущего вызвана совсем не тем, что я недооцениваю вопрос долженствования; напротив, потому, что я не выношу, когда проблемы мирового значения, в известном смысле высшие проблемы, которые могут волновать человека, превращаются здесь в технико-экономическую проблему производства и становятся предметом дискуссии специальной науки. Нам не ведомы *научно* доказуемые идеалы. Конечно, труднее извлекать их из своей груди вообще в эпоху субъективистской культуры. Однако мы не можем обещать жизнь в сказочной стране и вымощенный путь туда, ни в посюсторонней, ни в потусторонней жизни, ни в мышлении, ни в действии. И знак нашего человеческого достоинства состоит в том, что мир *нашей* души не может быть таким незыблемым, как мир того, кто грезит о подобной сказочной стране». Начиная с этого заседания в этом кругу дискуссия о ценностном суждении не умолкала — пока она через несколько лет не была до некоторой степени уяснена в специально для этого назначенной комиссии. Вебер представил Союзу напечатанное на правах рукописи заключение, которое позже было в несколько измененной редакции опубликовано в «Логосе»<sup>23\*</sup>.

В этом же году (1909) издатель «Архива» Пауль Зибек пробудил интерес Вебера к большому социально-экономическому сборнику. Он должен был заменить «Руководство» Шёнберга, для переработки которого не удалось найти известного ученого. Вебер соглашается, набрасывает план, ищет сотрудников и занимается утомительной организационной работой. При этом он хочет уйти в тень — книга выйдет под коллективной редакцией всех участников. Он опять берется с невероятным рвением за дело, так как сборник, в котором он собирается писать важнейшие разделы, должен быть готов через два года. Это, впрочем, не удалось. И в этом коллективном труде выяснилось, *как* трудно подчинить работников умственного труда — ученых — требованиям совместной работы. Твердые обещания нарушались, необходимых авторов пришлось освободить из-за заболевания, иные опаздывали на годы, вследствие чего точные исполнители оказывались в неприятном положении, видя, что их работы задерживаются — несколько известных коллег, на которых Вебер особенно рассчитывал, представили, наконец, неожиданно скудные работы, вернуть которые издатель все-таки не мог — первоначальные сроки должны были быть изменены. Короче говоря, Вебер испытал сильное утомление и множество неприятностей и чтобы избежать обесцениения работы, он стал переносить свое участие на все более далекие цели. Наряду с другими работами он направлял поток своих знаний в это русло. Наконец перед ним возникла единая большая задача.

В 1914 г., тремя годами позже, чем было запланировано, вышли два первых раздела. Вебер сопроводил их предисловием, в котором он определяет дидактический и систематический характер работы и ее основную мысль: «Авторы исходили из воззрения, что развитие экономики должно быть исследовано как особое частичное явление *общей рационализации жизни*. Сотрудники сборника методически и политически относятся к различным направлениям — поэтому от единства методической и политической позиции редакторы отказались. Это возмещается всесторонним рассмотрением проблем... Всю ответственность за построение и распределение материала берет на себя профессор Макс Вебер, который вел эту работу».

Мировая война вновь остановила публикацию. Только в 1918 г. вышел следующий том. Вклад Вебера, «*Хозяйство и общество*», которое стало главным произведением его жизни, было опубликовано мелким шрифтом в томе в 800 страниц большого формата после его смерти. Лишь систематическую часть о понятиях он уви-

дел в печати, остальной части произведения он не успел дать завершенную форму. Оно осталось торсом. Впоследствии об этом еще пойдет речь.

#### IV

Повествование возвращается к событиям жизни. На рубеже года (1909—1910), следовательно на этот раз зимой, Вебер был особенно активен. Он участвовал на заседании комиссии Союза социальной политики в Берлине, беседовал там с множеством людей и советовался с Зиммелем, Зомбартом и другими по вопросу об основании *социологического общества*, которое могло бы дополнить старый Союз чисто научными исследованиями. Молодое поколение ученых, интересующихся социологией, уже давно ощущало потребность обмениваться мнениями о проблемах жизни современного общества не только со специалистами в области политической экономии, но и с философами, теологами, правоведами, специалистами по расовой теории и др. Молодые ученые хотели также иметь научное общество, которое ставило бы своей целью исследовать огромную область проблем чисто научно, следовательно, без этико-политической настроенности. Вебер и здесь берет на себя всю предварительную организационную работу, составляет и посылает письма с предложением участия, ведет огромную корреспонденцию, собирает деньги и набрасывает планы для первых коллективных работ. Больше, чем новые встречи для устного обмена мнениями, его интересует основа для таких исследований, которые по своему объему могут только посредством общей работы дать серьезные результаты. Так он готовит для образующейся комиссии рабочий план по социологии прессы и предлагает в качестве дальнейшей работы исследование сущности союза и связи техники и культуры. Вебер пытается также поручить отдельным ученым руководство особенно соответствующими их интересам частичными задачами. Но и здесь стратегия научной коллективной деятельности оказывается труднее любой другой: нельзя приказывать и заставлять, можно только вызывать интерес и просить, и многие ученые не хотят подчинять коллективным работам свои научные интересы. Вебер ездит несколько раз в Берлин и Лейпциг, чтобы заразить тамошних коллег своим рвением. Но это не удастся; к тому же все они связаны профессиональными обязанностями. Ни у кого нет инициативы для других дел. Он очень сердится: «Сегодня я, наконец, собрал несколько человек, необходимых для социологического общества. Но мы не продвигаемся, просто отчаяние. Никто не хочет жертвовать временем и работой, а также своими интересами, и они ничего не

делают!» И затем вопросы этикета. Вебер интересуется только работой, а не руководством, но оказалось, что ряд ученых, чувствующих себя творцами современной социологии, стремятся к признанию этого, тем более, что государство не предоставило им соответствующей их научному рангу академической должности. Вебер делит председательство между тремя учеными. В результате никто не берет на себя инициативу, и всю работу несет он.

Таким образом в 1909 г. Вебер возглавлял три больших взаимопересекающихся коллективных предприятия: психофизические работы, подготовку анкеты для прессы и «Руководство». Он действовал во всех направлениях и возникала опасность, что его силы иссякнут. Поэтому в день его рождения жена пожелала ему, чтобы он наконец занялся своей работой, создал бы нечто непреходящее. «Собственно говоря, мои желания концентрируются в одном безбожном: к черту «Социологическое общество», ради которого ты размениваешься, ибо кроме приятных заседаний оно останется движущимся вхолостую аппаратом». На это Вебер ответил: «Хорошо, насколько это возможно, я поступлю по твоей воле, хотя и не знаю, получится ли при этом нечто значительное. К тому же мне вообще нужно обратиться теперь к ряду работ, предназначенных для «Руководства», разработать ряд проблем, из которых будет следовать дальнейшее. Только все это будет идти *медленно*, ибо время подготовки должно было быть продолжительнее. Я еще далеко не обработал новые получения, и еще не имею их полностью».

\* \* \*

Осенью 1910 г. «Социологическое общество» провело свое первое заседание во Франкфурте. Там встретились такие люди, как Готейн, Зиммель, Зомбарт, Тённис, Трёльч, фон Шульце-Геверниц, Канторович, Михельс и другие — значительный круг ученых. Социология еще не была специальной наукой; она была направлена на познание в целом и поэтому связана почти со всеми науками. Темы заседания отражали этот ее характер: «Социология общения», «Техника и культура», «Наука и право», «Юриспруденция и социология», «Раса и общество» и т. д.

Макс Вебер выступал в дебатах по каждой теме и в скромной форме «делового сообщения» обозначил задачи общества, как он предполагал их ограничить; прежде всего чисто научное, «свободное от оценки» рассмотрение всех проблем: «Спрашивать следует, что *есть* и почему оно есть именно так, а не определять, желательно это или нежелательно». Затем он наглядно развивает те проблемы как прессы, так и союзов, исследование которых мож-



но считать плодотворным, формулирует возможные постановки вопросов, которые должны служить универсальной точке зрения — тому, как эти явления должны влиять на формирование современного человека. Применительно к прессе, например: в какой мере она производит сдвиг в отношении к надындивидуальным благам культуры, что она уничтожает и что создает в области веры и надежд масс, в чувстве жизни? И в социологии союзов, которая может простирается от клуба игры в кегли до политической партии и религиозной секты, самое важное — вопрос о влиянии на все поведение человека различных содержаний деятельности союзов. Вебер показывает, что он имеет в виду среди прочего на примере политических воздействий Союза пения немецких мужчин: «Человек, который привык ежедневно пропускать мощные ощущения в своей груди через гортань, без какого-либо отношения к своим действиям, без того, следовательно, чтобы адекватная реакция этого выраженного мощного чувства выразилась в соответствующих мощных действиях — а в этом сущность Союза общего пения; этот человек очень легко станет хорошим «государственным подданным» в пассивном смысле этого слова. Неудивительно, что монархи с таким удовольствием приветствуют подобные организации. «Там, где поют, усаживаются спокойно». Большие страсти и сильные действия там отсутствуют.

Для жаждущих обучения неспециалистов, для которых общее возбуждение и духовная взволнованность таких встреч важнее результатов, подобные дни становятся праздником. Ведь духовные личности вызывают по крайней мере такой же интерес, как предлагаемое ими знание. И ничто не выражает это более живо, чем свободная речь, при которой жесты и тон говорят о человеке больше, чем его слова; даже если этот круг не свободен от специальных профессиональных недостатков ученых, это уравновешивается достоинством длительной, обретенной утомительной мыслительной работой духовностью. Флюид обмена их мыслей увлекателен, он дает счастье по крайней мере все понимать. Но у Вебера иные критерии, и он слишком много сердился: «Дополнительно просьба о прощении за то, что я не был в нашем обсуждении более *up to date*<sup>109</sup>. Я был слишком разочарован этим «*salon des refusés*»<sup>110</sup>, в котором никто не признает другого, никто ничего не уступает другому, никто не хочет принести малейшую жертву своим научным индивидуальным интересам — но при этом все считают себя значительно выше «ординарных профессоров». «Если Вы не переносите открыто высказанного мнения, скажите мне это сразу. Я прошу в тех случаях, когда Вы недовольны моим поведением (а повод для этого я, несомненно, буду давать ежеминутно), сказать мне это. Такая откровенность только

укрепит мое дружеское отношение к Вам... Именно обиды наших «высоких господ» делают работу невыносимой, если хотеть как простой возчик выполнить свои проклятые долг и обязанность».

Вскоре выяснилось, что никто из «великих» не хочет продвигать коллективную работу. Поэтому организация газетной анкеты осталась за Вебером. Он месяцами тратил большие усилия, чтобы ускорить работу, но вынужден был довольствоваться новичками в науке. Несколько ценных исследований были в конце концов сданы, но вследствие трудности материала только по частичным областям. После полуторагодовых усилий Вебер видит, что он безрассудно расточает свои силы.

После второго заседания Вебер уходит с поста руководителя организации, на которую потратил столько сил, объясняя это следующим образом: «Я участвовал в организации только потому, что надеялся найти здесь сферу свободной от оценок научной работы и дискуссии. Следовательно, я не могу работать с правлением, один председатель которого, господин Г., счел возможным на франкфуртском собрании *публично* выступить с критикой соответствующего принципа статута и впоследствии *отказался*, получив мое письменное указание, признать это действие некорректным. На берлинском заседании 1912 г. *все* официальные референты, кроме одного, действовали в противовес этому принципу статута, на что *мне* указывают как на доказательство его невыполнимости. *Как* я буду себя вести, если правление *не* предоставит гарантии повторения таких неприятностей со статутом, я ясно сказал в Берлине. *Никто* из членов организации, которые избрали господина Г. председателем, не мог сомневаться в том, что я сделаю выводы и создам этим для меня «чистые» условия. Такой вопрос о личности не имел бы никакого значения, *если* бы речь шла только о честолюбивом желании господина Г. чисто внешне представлять «общество». Но, к сожалению, он располагает так называемым мировоззрением и выставляет в этой связи научные претензии, природа которых исключает для меня возможность работы с ним. Само собой разумеется, что я ни от кого не жду подобных действий. Пусть эти господа, *никто* из которых не может скрыть (в этом все дело!), что они надоели мне своими бесконечно мне безразличными «оценками», останутся в своей компании; с меня хватит все время выступать в качестве дон Кихота в защиту предположительно невыполнимого принципа и создавать неприятные сцены».

Осенью 1911 г. в Дрездене происходило заседание преподавателей университетов. При обсуждении положения в американских университетах Вебер выступил в дискуссии с большой речью, ряд пунктов которой возбудили внимание и вызвали публичную полемику, которая побудила его к пространным объяснениям. Противоречивость мнений была связана прежде всего с его замечаниями о торговых высших учебных заведениях. В некоторых из этих, наиболее современных в то время институтах распространялось подражание корпорациям. Вебер видел в этом опасность того, что молодой приказчик будет отвлечен от строгой науки и предпочтет стремление к «способности сатисфакции» и к общественным привилегиям; «все это заставляет меня спросить, сможем ли мы, если такие понятия будут внушены воспитанием нашему следующему поколению, конкурировать с великими трудящимися народами мира». Форма, в которой газеты распространили высказывания Вебера, вызвали такой живой протест соответствующих учебных заведений, что он решился изложить свои взгляды в подробной докладной записке, из которой здесь кое-что приводится.

Созданные связями формы, вершиной которых служит способность к сатисфакции, представлялись ему особенно лишенными стиля для молодого торговца, гротескными и вредными для начальной работы в торговле. Ибо следующая из этого «напыщенность» в общении с равными, подчиненными, представителями других кругов и т. д. служит — где бы она не проявлялась — предметом насмешек всех иностранных государств — по мнению Вебера, справедливо. «Я не боюсь совершенно открыто сказать... и охотно предоставляю каждому, кому это доставит удовольствие, шутить над этим, что я на собственном опыте испытал трудность избавиться от этой произвольно воспринятой в университете в незрелом возрасте манеры поведения. То же я могу сказать — также по собственному и достаточно серьезному опыту — о значении для трудоспособности алкогольных привычек студентов корпораций...» «Опасения вызывают не радостные выпивки нашего народа по случаю, а представляющее составную часть корпоративной дрессировки обязательство постоянно в предписанной мере пить». Вебер указывает и на другие опасности, возникающие из пропаганды учащегося торговца как нового типа. Хотя он уверен в пользе каждой духовной работы, в том числе и проводимой в коммерческой высшей школе, он все-таки предполагает, что там, как и в других подобных специальных учебных заведениях, среди учащихся ожидание социальных преимуществ, так называемое соци-

альное повышение, часто сильнее, чем желание увеличить свои знания. Новая сословная дифференциация коммерческих служащих может вследствие возникновения дипломированной аристократии нарушить радость труда и мира в конторах, особенно если корпорации создадут слой, претендующий на специфический престиж по причинам, не связанным с их успехами в деле. «Такая опасность существует, ибо корпорации стремятся сегодня повсюду к исключительности и дрессировке в неизвестном раньше смысле: принадлежность к такому объединению отделяет студента от принадлежности к другим объединениям ... и все больше вообще от общения с другими учащимися, тем самым замыкает студента корпорации в круг его товарищей и ведет к сужению его духовного горизонта».

\* \* \*

Еще бóльшие столкновения на том же заседании вызывала критика Вебера отношений между государственной бюрократией и немецкими университетами, которая была направлена прежде всего против известных, заимствованных у их недавно умершего великого организатора обычаев прусских учреждений. Вебер показывает недостатки и опасности «системы Альтгофа», ссылаясь на собственный опыт в качестве молодого доцента<sup>24</sup>; при этом он всесторонне оценивает значение умершего — порицая, однако, этически его систему цели-средства: «Говорить о нем очень трудно. Он был не только действительно хорошим человеком в специфическом смысле слова, но и обладал очень широкими взглядами. Немецкие университеты обязаны ему тем, что в известном смысле бессмертно. Но при оценке личностей он исходил из воззрения, что каждый, с кем он имеет дело, либо подлец, либо честолобец. В этом заключалась большая опасность для молодых, зависящих от него доцентов. Чтобы использовать их для своих целей, он приписывал им непристойности». К этому Вебер причисляет также те случаи, когда доцент вопреки желанию факультета принимает задание от власти в преподавании и т. п. «Как только высокопоставленный чиновник министерства предъявит молодому человеку подобное требование, я не брошу камень в того, кто затем попадет в ловушку». Веберу самому пришлось некогда отклонить такое искушение, другие ему поддавались. Думая об академическом пополнении, он не мог забыть свое переживание: «Признаюсь со всей откровенностью, что, когда я перешел из прусского управления преподаванием в баденское, у меня было чувство, что я стал дышать чистым воздухом». Эти заявления, частично сенсационно повторенные прессой, частично непонятые,

возбудили большой шум. В одном сообщении приведенный отрывок был даже превращен в свою противоположность, так что оказавшаяся — вместо прусской — в неблагоприятном свете *баденская власть* подверглась резким нападкам ведущего центрального органа. Поэтому власти обратились к Веберу с просьбой о публичном разъяснении. Ему и так приходилось делать самые различные поправки и дополнения, так что он вновь узнал, что обычной части прессы «время от времени приходится уступать своей потребности в сенсациях, а затем обманывать своих читателей, указывая, что повода к этому не было».

## V

Мы возвращаемся в нашем рассказе на год назад и сообщаем сначала о нескольких публичных столкновениях, характеризующих Вебера как борца. При этом необходимо остановиться на отдельных деталях этих событий — как из-за их предмета, так и исходя из их биографического значения. Осенью 1910 г. заседал Союз женских объединений Германии. Этот праздничный парад женского движения проходил красиво и воодушевляюще. Женщины поддерживали друг друга в рвении и вере. Отклик был сверх ожидания значительным. Университет и власти приветствовали это событие, город почтил его даже освещением дворца, влиятельные круги признали теперь идеализм и необходимость борьбы женщин и, что было наиболее приятно, увидели, наконец, теперь в тех, кто возглавлял это движение, не карикатуры и дегенераток своего пола, а новые типы, которые действительно стремились превратить нужду в добродетель и попытаться сделать миллионы, принужденные к самостоятельности и внедомашней жизни, способными к новым задачам, показать им смысл этих задач. Было так чудесно, наконец, почувствовать почву под ногами, но женщины очень хорошо знали, что с трудом достигнутое одобрение может быть каждую минуту вновь опровергнуто. Это вскоре и произошло. Настоящий немецкий мужчина, настроенный эгоистически и связанный традициями, почувствовал в этом успехе угрозу. Он не хотел отказываться от привычного патриархата в семье и государстве. И как это бывает во всякой борьбе интересов, элементарно мотивированные оборонительные ощущения обволакивались заботой о священных благах.

Молодой доцент, скрывавший свою научную никчемность, под ролью хранителя сокровища и публичного прецептора, опубликовал статью, высмеивающую этот круг женщин и нашел поддержку у значительной части мужчин: «Наконец нашелся смелый воин, готовый выступить даже против университетских дам». В памфле-

те также говорилось: Движение женщин состоит из незамужних, вдов, евреек, стерильных женщин и таких, которые не были матерями и не хотели выполнять обязанности матерей. Жена Вебера была бездетна и ответственна за гейдельбергское движение, следовательно, памфлет был направлен своим острием прежде всего против нее. Вебер пришел в бешенство, но ему не следовало сразу вмешиваться. Его жена сама сначала потребовала в письме этому безрассудному отказаться от его обвинений. Когда он на это не пошел, под ее именем вышло публичное порицание, по резкой остроте которого каждому было ясно, кто участвовал в его составлении. Когда Вебер узнал, что молодой человек жалуется, что муж прячется за своей женой, от которой нельзя потребовать удовлетворения, он хотел предоставить ему желаемый шанс объяснением, что он поддерживает все заявления своей жены. Однако вызов не последовал. Вызванный объявил себя противником дуэли и предъявил иск в связи с нанесенной обидой, который, однако — вследствие вмешательства третьих лиц — вскоре отозвал. Затем в ряде иностранных газет в связи с обсуждаемым в прессе «случаем Б.» появилась неприятная сенсационная статья об этих событиях под заглавием «Старый Гейдельберг, ты славный». Выдержки из нее, которые печатались повсюду, услаждали даже людей по ту сторону океана. Особую остроту придавал ему последний абзац: профессор Вебер отклонил вопрос доктора Р., согласен ли он защищать свою жену с оружием в руках, ссылаясь на свое плохое здоровье. В качестве источника назывался сам доктор Р., но он сразу же отверг это утверждение.

Вебер, который часто говорил о своем признании дуэли, считал эту сплетню «неслыханной подлостью». Наряду с собственным он считал задетым и общественный интерес и не пожалел поэтому усилий, чтобы утвердить справедливость в длившейся несколько месяцев борьбе. Ход этого дела характерен не только для него, но и для известных приемов журналистов, которые под защитой редакционной тайны развлекают своих читателей сенсационными сообщениями об известных лицах и очень затрудняют задетому этим лицу опровергнуть сказанное.

Сначала Вебер потребовал от данной иностранной газеты в самой вежливой форме публикации краткой заметки, в которой он устанавливает: «В статье из Гейдельберга, датированной 6.1.11 ... под заглавием «Старый Гейдельберг, ты славный», содержится наряду с другими неправильностями... утверждение в конце: Господин доктор Р. направил мне определенные запросы, которые я отклонил. Считаю возможным заметить, что все это от первого до последнего слова основано на выдумке, что ничего подобного не происходило и что я был бы благодарен за указание, где и кому

доктор Р. сделал подобные заявления. Что же касается меня, то я считаю это дело, публично освещать которое я не вижу основания, полностью законченным. С покорной просьбой о скорейшем напечатании этой заметки и с уважением Макс Вебер». С опубликованием этого опровержения вопрос был бы завершен. Однако редакция не пошла на это, ссылаясь на достоверность данных своего корреспондента. На это Вебер: «Если Вы считаете достоверным корреспондента, который ложно ссылается на собственные данные доктора Р., то это Ваше дело. Если Ваше чувство долга не заставляет Вас публично исправить признанные ложными утверждения, будто данный господин тщетно вызывал меня на дуэль, то для меня это означает следующее: в будущем для меня не представляет интереса, чтобы Ваша газета что-либо обо мне писала. Можете и дальше получать отсюда «сведения», какие Вам угодно».

Когда редакция объявила, что согласна дать Веберу удовлетворение, если он убедит ее в правильности своих утверждений, он не захотел дать ей так легко отделаться, как предлагал в первом опровержении. Он еще раз пункт за пунктом показал ложность сенсационной статьи и затем добавил: «Принимая во внимание вышесказанное, не взятое назад утверждение вашего корреспондента, что Вы при должной проверке должны были признать, я сообщаю Вам: Вы легкомысленно пользуетесь услугами клеветника (я офицер а.д.<sup>111</sup>) в качестве корреспондента и предлагаю ему и Вам сделать из этого соответствующие выводы... Я требую открытого заявления, что ваш корреспондент Вас обманул (я настаиваю на этом слове) и продолжал настаивать на обмане, когда его ложные данные были опротестованы и публично опровергнуты».

В этой форме редакция не хотела выдать своего корреспондента, ссылаясь на его надежность, и все время убеждала Вебера в том, что ее гейдельбергский поручитель — «известная личность» — настаивает на своих данных. Корреспондент очень достоверен, а информация была предоставлена ему господином из *университетских кругов* Гейдельберга. Вебера это сопротивление приводило во все больший гнев, тем более что он не верил в существование авторитета из университетских кругов. Или быть может это сам доктор Р.? Он же в свое время намекал на то, что вызовет Вебера на дуэль. Вебер требовал, чтобы был назван журналист, или его источник, или чтобы автор этих сведений сам назвал себя. Оказавшийся загнанным в угол журналист, который тем временем был назначен редактором данной газеты, предложил Веберу объяснение посредством объявления в печати и анонимных писем, но отказывался назваться сам или назвать своего корреспондента. Вебер презрительно отверг это предложение и когда вторичное настоятельное требование напечатать его объяснение было опять

отклонено, он добился обвинения газеты и ее соредакторов в оскорблении.

Теперь он хотел любой ценой выяснить, кто создал эту интригу. Он не мог поверить в то, что это кто-нибудь из коллег, который до сих пор скрывается. После переписки в течение нескольких месяцев в Дрездене прошел процесс в двух инстанциях. В первых были осуждены обе стороны, причем Вебер приговорен к большему штрафу, чем оба обвинителя вместе. Второе рассмотрение дела закончилось — удивительным образом — сравнением. Вследствие случайности обнаружился анонимный автор. Он был действительно гейдельбергским профессором. Журналист его не выдал, так как считал себя обязанным ему. Он был в прошлом его учеником, и тот вскоре после появления названной интересной статьи рекомендовал его на новую должность как «надежного человека и смелого журналиста». И патрон отказал ему, когда он вторично попросил разрешения назвать его имя.

Теперь Вебер видел поведение молодого человека в другом свете. Он вернул ему свое доверие в его честь и едва ли не по-отечески объяснил ему совершенные ошибки. Затем он написал: «Хочу еще раз сказать: я жду от вас простого неприукрашенного объективного сообщения обо всем и, конечно, только о тех фактах, которые Вы после размышления сочтете возможным клятвенно подтвердить. Ведь я не требую судебного рассмотрения для выявления роли проф. N.N. и не стремлюсь к тому, чтобы оказаться при всех обстоятельствах оправданным судом, я хочу только, чтобы была установлена *истина*, какой бы она ни была, и в этом Вы должны участвовать... По установленным объективным данным профессора N.N. оправдать невозможно. Однако никто из нас не должен брать на себя ответственность несправедливо обвинять его сверх того, в чем он действительно виноват». Это дело имело большое значение, ибо N.N. в качестве доцента газетного дела готовил будущих журналистов, хвастался своим влиянием на прессу и действительно имел власть, которой боялись. Он не был лично знаком с Вебером. Но, может быть, он побудил своего подопечного написать эту статью, чтобы как-то задеть академические круги, которые по ряду причин не принимали его как равного?

Однако все это не было твердо установлено: ни мотивы его поведения — они могли быть безобидными — ни вообще мера его ответственности за статью. Когда его имя было названо на процессе, Вебер обратился к нему за разъяснением. N.N. ответил, что эта молва об отказе от дуэли обсуждалась в доме, где журналист постоянно бывает, быть может, за семейной трапезой, и он сожалеет, что это пошло дальше. Так ли это было? Тогда ответственность несет другой. N.N. мог просто рассказать интересную сплетню.



Это, правда, было неосторожно в присутствии журналиста, но безобидно. Но мог он и намеренно превратить слух в *факт* и передать молодому человеку хорошо продуманную информацию для использования против коллеги. Был ли он заинтересован в том, чтобы это сообщение попало в виде сенсации в прессу, и каков был этот интерес? Почему он своевременно не признался в том, что этот слух идет от него? Кто лгал? Учитель или его ученик? Каждый нюанс в поведении обоих важен для суждения о них, так как молодой человек также вел себя безупречно. После стольких неприятностей и мучений Вебер хотел высветить полную правду любой ценой. Речь ведь шла уже не о *его* чести, а об общественных интересах: о достоинстве университета и очищении прессы от дурных приемов. Если N.N. действительно намеренно и из корыстных интересов воздействовал на своего подопечного, то воспитание будущих журналистов не должно оставаться в его ведении. Поэтому Вебер направил N.N. длинное письмо, в котором он писал следующее: «... Я считаю нужным сделать несколько замечаний по поводу Вашего поведения, которое послужило причиной этого процесса, заставившего суды бессмысленно тратить время и принесшего обеим сторонам значительные затраты, потерю времени и неприятности... Вы совершенно сознательно и очевидно по недружелюбной причине передали статью в прессу, и тем, поскольку это от Вас зависело, способствовали тому, чтобы мне не было дано удовлетворение, а затем, когда последовал процесс, пользовались редакционной тайной до тех пор, пока мой основанный на фактах запрос этот путь не закрыл... Вам несомненно было известно, *какое значение* может иметь утверждение человека, неоднократно публично выступавшего в качестве сторонника дуэли, и сохраняющего свои связи с корпорацией, к которой он принадлежал, и ежегодно призывающегося как офицер на учения, если он отказывается выступить в защиту чести своей жены под предлогом, что состояние здоровья препятствует ему пользоваться оружием... После того, как со значительными жертвами фактическое положение выяснено, я ни в коей мере не заинтересован в том, чтобы возник порочащий университет публичный скандал. Если же Вы полагаете возможным опровергнуть данные факты, то можете обратиться в суд или соответствующий дисциплинарный орган... Для меня несомненно, что ни Ваше поведение в вышеназванном случае, ни Ваше поведение по отношению ко мне не представляется мне совместимым с тем, чтобы Вы считали себя призванным готовить в данном университете журналистов».

Вебер надеялся, что профессор N., возможно, отказавшись от доцентуры, избежит позора и был готов ему помочь. Однако профессор N. не пожелал стать на этот путь и выступил с обвинени-

ем против Вебера. Он еще надеялся заставить нести ответственность журналиста.

Процесс с прессой происходил в Дрездене и там, конечно, никого не интересовал. Но в Гейдельберге это было иначе. Судебное разбирательство конфликта между профессорами было для жителей города зрелищем, которое столько же развлекало, сколько вызывало неодобрение. Для Вебера это значило многое. Ибо и в его кругу господствовала неприязнь к судебным заседаниям и к публичной борьбе. Даже большинство друзей были против этого скандала. Они сочли бы «благороднее» и для Вебера лучше отвечать на обвинения нижестоящих людей невниманием, чем превращать это в судебное дело: мир ведь лучше от этого не станет. И так ли уверен Вебер в своей правоте? Его считали человеком с повышенным чувством чести, а также с преувеличенными требованиями к себе и другим — и подобно старому Фалленштейну, его деду, склонным к чрезмерности. *Как* неприятно, если он не попал в цель и не сможет привести доказательства своих утверждений. Тогда он будет основательно опозорен, а посредством него и университет. Даже если он — из-за формальной обиды — будет наказан символически, это очень неприятно. Над ним будут смеяться, называя вторым дон Кихотом, который бросается на ветряные мельницы и зарабатывает шишки. Или же, по модному психиатрическому методу, — как Михаэля Кольхааса — называть любителем споров. Это выражение уже было произнесено недовольными друзьями. В общем решили судить о действиях Вебера в зависимости от успеха. Если он победит, то встретит одобрение, если проиграет, то доверие к нему будет сильно подорвано.

Истец выступил с двумя защитниками, приглашены были 15 свидетелей. После длительных выступлений, в которых адвокаты истца пытались затемнить фактическое положение дел, расследование стало волнующим, когда журналист под присягой рассказал: N.N. показал ему газетную вырезку из статьи Р. против женского движения и ответ на нее фрау Вебер, а затем сообщил также о требовании дуэли: об этом говорили два редактора видной гейдельбергской газеты и их источником является сам Р. На это молодой человек спросил: «Разве это не материал для газеты? Именно теперь после спора в Берлинском университете — это было бы замечательно! Но верно ли это? Я лучше поговорю сначала с доктором Р. или с профессором Вебером». Однако N.N. его отговорил: это Вам не поможет, так как Р. будет это оспаривать, ибо он становится виноватым, если призывает к дуэли, а Веберу это будет во всяком случае неприятно, хотя у него достаточно серьезное основание отклонить это требование из-за его плохого здоровья. Ведь сам Р. это сказал!» «Тогда я решил, если доцент так

утверждает, а профессор рассказывает это другим, называя при этом имена, это ведь *должно* быть правдой, и написал статью в пять газет, три из которых ее приняли. После этого последовала очень взволнованная сцена между журналистом и его патроном. Профессор N.N., у которого не хватило мужества смягчить свой проступок открытым признанием, видел теперь единственное спасение в том, что бы назвать своего подопечного бесчестным лжецом. Истина становилась все ясней. Все сооружение из коварства и зависти было очевидно. Истец превратился в обвиняемого. Вновь Веберу пришлось судиться во имя истины. Теперь и коллеги признали, что его личный интерес в этом деле един с общественной нравственностью. В конце концов стоило *все-таки* привести пример коварной клеветы!

Однако чем очевиднее становилось, насколько противник жалок, тем больше жалел его Вебер, чем больше веса доказательств опускались в его пользу, тем больше его роль обвинителя становилась для него тягостной. Когда при сильном напряжении присутствующих выяснилось, что высказывания истца и его жены противоречили друг другу и слышалось слово «лжесвидетельство», Вебер в ужасе вскочил и воскликнул: «Я глубоко сожалею, что было сказано это слово! Вполне возможно, что свидетельница в волнении сказала не соответствующее истине, но субъективно она, несомненно, была уверена в истине своих слов». Он был глубоко потрясен таким несчастьем, и адвокаты истца несомненно уговорили бы его заключить компромисс, если бы не решительное противодействие его жены. Она знала: для положения Вебера слишком многое стояло на карте. Никогда достаточно не осведомленные люди не поверили бы, что он из рыцарства пощадил неравного ему по силам человека. Каждый, кто подробно не был бы в курсе всего хода процесса, увидел бы в таком исходе только доказательство слабости Вебера. Поэтому надо было предоставить процессу развиваться своим ходом. Когда адвокат Вебера объявил, что все приведенные истцом данные не получили подтверждения, Вебер сказал: «Я глубоко сожалею о том, что весь этот процесс со вчерашними ужасными сценами и с мучением, которое они принесли профессору N.N., произошел. Я надеюсь, что академические инстанции и министерство поймут, что так продолжать нельзя. Необходимо по примеру врачей и юристов создать суд чести». И чтобы перевести внимание о личного к общему значению событий, он сразу же добавил указание прессе по поводу отказа от права редакции хранить тайну в личностных делах.

Потрясающая драма была закончена. Вебера удалось с трудом удержать от желания восстановить положение потерпевшего. В отличие от своего первоначального побуждения он написал еще

во время процесса декану факультета: «Я считаю невозможным не обратиться к факультету с просьбой о щадящем отношении к N.N. Будем надеяться, что он уйдет добровольно. Это было бы самым правильным. Но если он и не сделает этого, мне следует вести себя по-рыцарски по отношению к нему из-за высокоуважаемой семьи бедной женщины. Такая беспощадная борьба все-таки ужасна! Никогда больше! — поскольку это от меня зависит».

Муж и жена долго жили под впечатлением, что моральное уничтожение более бесчеловечно, чем физическое. Марианна высказала свои чувства в письме к Елене: «Процесс был ужасен, ужасно, когда дело идет своим путем, освободившись от первого импульса того, кто привел его в движение, и снежный ком превращается в лавину, которая уничтожает человека. Но великолепно было также, как Максудавалось по каждому пункту вести *истину* к победе. Впрочем: не смейся! Мы опять участвуем в процессе. Элла хочет развестись, и хотя у нее есть братья и зятья, она попросила Макса о помощи. Это вновь создает много работы и беспокойства. Но его готовность помогать не имеет предела, его безмерность в этом, по крайней мере, такая же, как во гневе».

\* \* \*

Вскоре после окончания процесса с N.N. Вебер был вновь втянут в сложную распрю, к которой он отнесся особенно серьезно, поскольку речь шла преимущественно о чести других. Это заняло около года большой работы. Импульс исходил не от него так же, как в других подобных случаях. Издатель Зибек, с которым Вебер был дружественно связан многолетней работой, в течение долгого времени тщетно стремился выпустить новое издание «Руководства по политической экономии» Шёнберга. Сотрудников с именем привлечь не удалось. Эта работа устарела. Молодой ученый, (X.), которого Ш[ёнберг] выбрал в качестве соредактора для нового издания, не справился с задачей и решительно объявил свою попытку неудачной. Приблизительно через год Зибек обратился к Веберу с предложением написать новый сборник вместо устаревшего. Вебер набросал летом 1909 г. план к совершенно иному по цели, содержанию и составу сотрудников сборнику и попросил молодого ученого X. взять раздел, на что тот, однако, не согласился.

Через три года X. указал издательству на необходимость уплатить обедневшим наследникам Ш. гонорар в случае издания названного «Руководства». Намерение было хорошее, но выраженное, особенно для издательства в задевающей его честь форме. У X. проскальзывало мнение, что в действительности новое изда-

ние задумано было в другом виде, чтобы не подлежать обязательствам по отношению к неимущим людям. В соответствии со своими этическими требованиями к себе и другим Вебер считал предъявленные издательству и затрагивавшие также его самого упреки неслыханными.

Резкость, с которой Вебер излагал свои касающиеся данного обстоятельства замечания, была оправдана, но затруднила молодому человеку понять свою ошибку. Он, правда, в некоторой степени пошел навстречу, но, употребляя такие обороты речи, которые свидетельствовали о его сохранявшемся подозрении. И невзирая хотя бы на требующую уважения разницу в возрасте между ним и Вебером, он высказал уверенность в том, что позиция Вебера объясняется его болезненным состоянием, вследствие которого он уже некоторое время считает его в личностных вопросах лишь ограниченно вменяемым: «так что я не реагирую на Ваши обидные замечания, которые могут вызвать у меня разве что искреннее сочувствие». Это в дальнейшем ходе переговоров все время варьировало. Но события приняли неприятный оборот вследствие того, что Н. сообщил их кругу старших коллег, не осведомленных о происходящем, и апеллировал к их суждению. Как Зибек узнал от одного из членов этого круга, «со всех сторон посыпались обвинения издательству в скаредности и оскорбительные упреки в нарушении своих моральных, даже правовых обязанностей. Выступавшего в рыцарской роли в защиту бедных сирот Х. «всячески поддерживали в его начинании» и предлагали, если окажется необходимым, «перенести осуждение фирмы на суд широкой общественности». На эту угрозу Вебер ответил пространными объяснениями, чтобы разъяснить обстоятельства дела тем, кто выступал против издательства. Он не жалел сил. В конце его объяснений сказано: «Выпады в *мой* адрес, свидетельствующие о невоспитанности и грубости, я, конечно, при ясном изложении положения дел совершенно оставляю в стороне и предоставляю господину Х. изощряться дальше в том же духе. Что у людей, не сумевших обрести моральное мужество *безоговорочно* устранить из мира тяжкие отступления от правильного пути, возникает «чувство искреннего сострадания» по отношению к очевидно лишь «ограниченно вменяемому» противнику, который поясняет им характер их поведения, — настолько повседневное явление, что на это не стоит тратить слов»...

В ответ на это Х., который раньше хотя бы отчасти отказывался от своих обвинений, теперь стал упрямо доказывать, что новый сборник — лишь замаскированное издание старого, в котором выражены идеи Ш., посредством чего издательство хочет отказаться от своих обязательств, и это толкование он будет и впредь по-

всюду защищать. Сверх того он с новыми намеками на болезнь Вебера привел определения, на которые можно было ответить жалобой или «вызовом» на поединок.

Вебер послал ему вызов на поединок на саблях «при самых трудных по академическим обычаям условиях». Это произошло на Рождество, и он настоял на немедленной передаче этого вызова противнику. Когда же тот, ссылаясь на свои профессиональные обязанности, потребовал отсрочки до конца семестра, Вебер отказался от этого ради жены и потому, что ему представлялось нелепым обращаться к оружию через несколько месяцев: «Я же не буду сражаться месяцы спустя хладнокровно, без гнева и страсти только потому, что этого требует обычай или кодекс чести. К черту!» К тому же смешно, если мужчина 48 лет будет участвовать в дуэли со значительно более молодым человеком по такому поводу. Однако этим столкновение еще не закончилось. Так как Х. утверждал, что Вебер не привел неопровержимых доводов в защиту Зибекса, Вебер передает находящемуся под влиянием Х. форуму коллег все доказательства и освещает их в послании на 16 страницах на машинке. Непредвзятому человеку это должно было полностью прояснить все дело и вызвать удивление и грусть — удивление тщательностью и трудам, затраченным на защиту чести другого человека, грусть по поводу того, что эта глубина мысли не была использована на другие предметы, и в результате *все-таки* не достигла своей цели убедить многих в их заблуждении. Послание Вебера кончается следующими словами:

«Х... Быть может, милостивые государи убедятся, исходя из этого особого случая, что если я как будто без достаточного повода становлюсь резким по отношению к кому-нибудь, у меня обычно есть для этого *достаточные основания*, и видимость неоправданности такой резкости часто, как я знаю, возникающей, я предлагаю в любом случае проверить. Такую реакцию вызывают у меня всегда дела одного рода — определять их характер я здесь не буду. Этим я, конечно, не хочу сказать, что не совершаю ошибок. Однако одно я могу утверждать: всегда, когда я, обвиняя человека, ошибался, был к нему несправедлив, — а это, безусловно неоднократно случалось, — мне хватало рыцарского чувства сделать соответствующие выводы...»

Это волнующее событие имело еще продолжение. Среди иностранных коллег, которые под влиянием Х. выступили против издательства, был старый друг Вебера, которого он очень ценил. То, что и он не сумел различить уровень и методы борьбы обеих партий, очень огорчило Вебера: «... Меня действительно очень поразило следующее: Если бы Вы были таким тяжело больным человеком, как я, то элементарное чувство рыцарственности за-

ставило бы меня возмутиться человеком, который вводит в спор это обстоятельство с намерением Вас обидеть, сообщая об этом третьим лицам. И это я не простил бы даже тому, кому я многим обязан. Это я Вам могу гарантировать. Но другим я такие требования не предъявляю, так как привык наталкиваться в этом отношении на непонимание.

Ваше замечание о человеке, с молодости привыкшем к успеху, пониманию, удаче (меня) показывает, что Вы физически были под моей крышей, но были слепы. Иначе именно *Вы* бы не могли написать подобное мне. Однако Вы прошли через такие трудности в жизни (я понял это без слов), что мне понятно — вещи, которые для меня *бисер*, достаточный для негров, Вас ослепили. Во всяком случае я остался для Вас совершенно чужим человеком; это не упрек, ибо это от Вас не зависит, но факт остается, и мы, без обвинений в раздражении, молча, просто сделаем из этого выводы... Мое расположение остается прежним, но наши отношения такими оставаться не могут. Желаю Вам с дружеским рукопожатием всех благ в будущем».

Но это не было последним словом. В ответ на проникновенные объяснения друга Вебер пишет: «На Ваше письмо, преисполненное рыцарственности и благородных мыслей, я не могу не ответить. Оставим все это дело в стороне. Может быть, когда-нибудь наступит подходящий час для его объяснения. После сказанного Вами я неспособен делать Вам упреки... и если я раньше в своем возбуждении был несправедлив к Вам, то очень об этом сожалею. Мое большое, известное Вам уважение к Вам ни на минуту не поколебалось — мне только казалось, что мы стали чужды друг другу; ничего больше я сказать не хотел и, быть может, даже это было излишним. Вы ведь знаете, я бываю часто очень резок. Я думаю, что резок лишь тогда, где у меня для этого есть основания, как, например, без сомнения, в случае с господином Х. Не ставьте мне в вину, если я, быть может, — из-за этого — как я тогда понимал, — защищался более резко, чем в этом была необходимость. У меня тогда было чувство, что я сражаюсь за свое доброе имя, выступая против совершенно неоправданного нападения. На Ваши сердечные пожелания я отвечаю также сердечно. Я нуждаюсь в них больше, чем кажется. Надеюсь, что к Вам это не относится».

\* \* \*

Еще один случай, когда Вебер, защищая честь другого человека, поставил на карту время, силы и репутацию. На большую работу молодого ученого веберовского дружеского круга вышла рецензия,

направленная против его научной и личной чести; среди прочих упреков было высказано обвинение в плагиате, правда, не дословном, но, что было хуже, как бы между строк, а это юридически не давало повода к преследованию. Вебер считал критику этого рода по существу дела неплодотворной, лично оскорбительной и неприемлемой. Поэтому он присоединил к ответу автора «добавление», в котором посредством тщательной проверки изложил мелочи и ошибки рецензии и попытался выявить ее «внутренние», по его впечатлению, мотивы. Тем самым он вызвал не только ответный удар рецензента, но и нападение его факультета: корпорация встала в защиту своего члена и опубликовала длинный ответ, в котором антикритика Вебера была определена, как преувеличенная, совершенно безосновательная и неправомерная и к тому же была обругана. Новый «профессорский случай» был, разумеется, подхвачен определенной ежедневной прессой и снабжен комментариями. Веберу теперь пришлось пункт за пунктом показывать несостоятельность ответа корпорации, разосланного во все факультеты Германии, Австрии и Швейцарии, защищаться самому и одновременно защищать обиженного автора. Это событие вновь показывает, какой ценой Вебер выступал в защиту других, но характерно и иное. Мы уже знаем: одно из основных этических требований Вебера было признавать заблуждения и ошибки, посредством которых человек мог обидеть других. К большому удивлению Вебера, люди почти никогда не выполняли это требование. Как они могли думать, что роняют этим свое достоинство! В своих столкновениях он по существу всегда был прав, но под влиянием аффекта он часто ожесточал и несправедливо обижал противника своей резкостью, а иногда также тем, что допускал такие мотивы его поведения, которыми тот не руководствовался. Однако он охотно убеждался в обратном и старался исправить свою ошибку, как только его противник был готов к примирению. Когда в последнем случае достойные доверия коллеги обвиненного Вебером рецензента поручились, что тот не хотел обвинить молодого ученого в недостойном поведении и не исходил из мелочных мотивов, Вебер сразу же открыто отказался от своих обвинений.

Хроника рыцарских подвигов Вебера этим отнюдь не исчерпывается и не может быть здесь полностью приведена. Когда стало известно, с каким рвением он занимается делами своих друзей, возникла опасность, что он будет все время втягиваться в столкновения других и его клиенты займут у него слишком много времени. Благодаря полному введению в дело юридически образованного ума и тщательности, обычно используемой лишь в собственных интересах, он привел, действуя советником адвокатов, ряд сложных дел к благополучному завершению.



Конечно, борьба как таковая возбуждала его и давала отдых от постоянной работы мысли. Опасность здесь заключалась в том, что возбужденное сочувствие часто заставляло его сразу же переходить на сторону подзащитного. Имея дело с друзьями, он сначала без всякой критики видит все их глазами и становится солидарен с ними. И несмотря на весь жизненный опыт и глубокое знание людей он тогда действует иной раз как наивная сила природы, которая приходит в движение под чуждым ей влиянием: Отелло — только с другим содержанием — который верит на слово сказанному и соответственно действует. *По существу* он в самом деле почти всегда прав, и побеждает в деле своих клиентов. Однако резкость, с которой он нападает на противника, часто бьет мимо цели: они ожесточаются и ему не удается заставить их признать свою несправедливость. Ни одно из своих многочисленных столкновений Вебер не начинал сам. Каждый раз его либо провоцировали, либо втягивали в дело нуждающиеся в помощи друзья. Однако несомненно, что в этой борьбе находили свое выражение унаследованные способности, соответствующему применению которых в больших целях трагически воспрепятствовали как его болезнь, так и политические условия, унаследованная героическая активность старого лютцовского Фалленштейна, врожденное рыцарство.

# Прекрасная жизнь

Весна 1910 г. опять принесла изменение рамок жизни. Адольф Гаусрат закрыл навек усталые глаза осенью 1909 г.; его наследники пришли к решению сдать в наем старый дом семьи; построенный Фридрихом Фалленштейном. Эрнст Трёльч и Макс Вебер заняли отдельные этажи. Въезд в этот дом ее детей был исполнением душевного желания Елены. Она все время тосковала по родительскому дому, в котором некогда заключалась вся поэзия ее юности и больше, чем это: который охватывал все образы ее жизни. Пока ее мать была жива, она наслаждалась здесь на ежегодных каникулах обществом близких и укрепляла корни своего существа. Ее состоящая в браке с Гаусратом сестра Генриетта и их дети были частью ее существа. А с въездом в дом сына она вновь обрела этот дом. Она отпраздновала это с бодрой силой.

Елене было 66 лет — долгая, полная все новых задач и борения жизнь лежала между ее юностью и теперешним временем. Каждый, кто видел милую старую женщину с каштановыми, разделенными пробором волосами под черным кружевным платком и прозрачно бледным, но строго очерченным лицом, быстро поднимающуюся и спускающуюся по лестницам, разбирающую ящики и сундуки и копающуюся в саду, наслаждался, восхищаясь ее стальной, духовно поддерживаемой силой. Ах, если бы источник этой активной жизни мог вечно струиться, как источник на воле — мысль, что ее не будет, невозможно себе представить. Она радуется жизни, но всегда готова к концу и отдает себя полностью в руку Божию.

Дом также постарел и видел много тяжелого — для Елены он преисполнен духом умерших. Широкие лестницы, обращенные на юг, торжественно высокие комнаты так же прекрасны, как некогда, и наглядно представляют ей широту замысла строителей дома. И окна отражают очаровательную картину местности: мягко поднимающиеся горы, покрытые лесом, торжественные руины, уют-

ные дома, окружающие материнское лоно готической церкви, блестящую реку и поднимающийся над ней мост. И каждый раз, когда утреннее солнце победоносно прогоняет туман по долине реки, Елена видит в этом глубокий символ: победу небесного света над мраком земли.

В палисаднике посаженные отцом «айланты», китайские ясени, поднимают еще свои совершенные по форме кроны, перистая листва со светло-зелеными пучками плодов украшают выразительные ветви. Теперь они доходят до крыши дома. Позади в горной части сада катальпы с толстыми стволами еще покрываются каждым летом бархатными зелеными зонтообразными листьями и ароматной белой пеной цветов. Вдали в вырытом на склоне горы гроте с плотной завесой плюща еще журчит веселый ручей — львиный колодезь. Елена пьет из него при каждом отъезде, чтобы быть уверенной в возвращении. Властно протягивают старые деревья, посаженные дедом, свои ветви через весь сад, их корни уже не могут напоить все ветви новой влагой. Самшитовое дерево того же времени превратилось в шишковатый кустарник, похожий на мирт, и, вечнозеленый, он придает саду южную окраску. Перед этим кустарником стоит античный жертвенный камень. На нем высечена ода Горация и имена прежних жителей дома: Гервинус, Э.В. Бенекке, Гольдшмидт, Гаусрат — все известные ученые. Над камнем склоняются ветви двух посаженных Гаусратом красных буков, которые еще в полной силе осеняют место.

Чета Веберов впервые владеет землей. Корни их жизни уходят глубже в земную жизнь. Прелесть весны ощущается интенсивнее, чем раньше. Сначала ее предвещает нежный зеленый покров почек у холма замка — особенно это красиво, пока сквозь них еще пробиваются стволы и ветви деревьев и почва леса. Затем в палисаднике открывают свои чаши цветы магнолий. Из верхних окон можно смотреть в их глубину — какое чудо! из таинственных творческих сил уродливого темного земного царства свет извлек такие небесные образы! Затем на склоне горы в сторону дороги философов вспыхивают в своем подвенечном уборе старые плодовые деревья. Каждая весна дарит такую радость; что Марианна удержала об этом в памяти, сказано в следующих словах: «Над садом лежит первый зеленый покров. На четыре недели раньше, чем обычно. Подснежники уже выскочили и удивляются. Становится страшно за эту дерзкую любовь к жизни и все-таки радостно, и сама чувствуешь себя молодой, благодарной и готовой цвести. На подоконниках в зале — благоухают выращенные нами самими в этом году гиацинты».

«Сегодня рано утром мы посадили внизу у кустов на склоне примулы и *Marienblümchen*, чтобы там не было так голо. Но, ой,

идет снег! Старый господин там наверху или тот, кто его замещает в управлении миром, опять ведет себя неразумно. Сначала он вызывает все цветение и почки на три недели раньше, чем полагается, а потом вспоминает, что мы в этом году получили не всю зиму. Все выглядит грустно, магнолии черны, тюльпаны опустили головки. Если будет еще одна такая морозная ночь, как прошлая, то почернеет и трава».

«В саду медленно растут новые саженцы. Мы уделяем самшитовому дереву много внимания и воды и ежедневно проверяем, живо ли оно. Первые листья красных буков развевают свою коричневатую листву на фоне блекло-голубого неба. Горный склон сияет в снегу цветов, а потом приходит сирень».

«Прекрасный пасхальный день! Теплое солнце и мягкий шелест цветущих деревьев. По дороге уже несется пыль. На нашей грядке открылись желтые и красные тюльпаны, совсем как пасхальные яйца для послушных детей. Если бы мы могли вместе радоваться этому! Можешь ли ты вспомнить за долгие годы такую сияющую весну? Я не могу. Здесь сплошное упоение и изобилие. Все расцвело сразу и уже склоняется к ярким летним цветам. Я все время ощущаю весеннее беспокойствие, меня все время куда-то несет вдаль. Подарком для меня было, что Макс — я его не ждала — за долгие годы совершил со мной в свое 50-летие хорошую прогулку в наш весенний лес. Мы поехали по горной железной дороге до Königsstuhl и прошли через Kahlhof к устью Неккара. Там наверху лежал еще нежный зеленый покров на буках и золотой свет в лесу. Почему только мы, люди, не можем, как деревья, обновляться каждую весну? Впрочем, Макс выглядел гибким и молодым».

«Здесь со вчерашнего дня лето, и балкон становится прекрасным местом отдыха. Соловьи завораживающе поют по ночам, сирень благоухает, ручеек журчит; все прекрасно в своей расточительности. Мы разбили грядку и посеяли также горошек и фасоль».

Сегодня у нас были Гундольф, Зальц, Груле, Радбрухс и Ясперс. Мы сидели на пледах в саду и позже в виноградной беседке. Гундольф читал нам стихи и был полон всяких выдумок. Он может занять целый круг людей своей одухотворенностью и весельем. Мы почти не говорили, только вместе наслаждались весной».

Вебер пишет в начале лета Елене: «Здесь при пасмурном небе все великолепие весны; в лесу поют соловьи. Вечером мы сидели при луне у Львиного колодца, за чайным столом сидел Трёльч со своим другом, который играл на скрипке и пел, — и мы были очень счастливы»

В старомодных комнатах тоже царит красота. Особенно прекрасен большой зал со старой мебелью и гармонично сочетаю-

щимися красками: темно-зеленые стены, голубой ковер создают единство старых и новых вещей, и живые фигуры выглядят как движущиеся образы на этом фоне. Приобретенная в Риме копия дельфийского Возницы тихо стоит на страже, он изображает, по-видимому, раба, но сначала он подавляет, такое величие исходит от него. Три почти доходящие до пола окна пропускают сквозь сплошные стекла всю местность, а если выйти из средней двери на широкий, поддерживаемый колоннами балкон, то тебя охватывают лучи солнца и смеющееся изобилие благословенного места земли, которое природа и человеческие руки превратили в картину. Кто здесь впервые видел, как уходящее за реку солнце окрашивает красноватый песчаник руин замка пурпурной жизнью или как благоухающий покров сентября облагораживает все краски и линии, чувствует глубокое волнение. Когда Георг Зиммель впервые испытал это впечатление, он сказал: «Это *слишком* прекрасно, с этим жить нельзя». В этом окружении чета Веберов могла ежедневно проводить свободные часы и ни в чем больше не нуждалась. «Здесь в солнечном доме с прекрасным видом и зарослями в тени так легко грезить и существовать, как растение, лежа на солнце. Правда, основательно творить головой было бы еще лучше... Тяжесть судьбы научила просто беззаботно отдаваться солнечному теплу и аромату цветов. Для этого не нужны сильные впечатления. Ах, как можно когда-либо оторваться от этого балкона с красными геранями и фиолетовыми петуниями».

«Ты удивляешься, что я еще больше, чем ты, привязан к дому? Это зависит от нашей сущности. Я ощущаю не столько пиетет, сколько очарование красоты, с которой мне дано жить и которая наполняет своей сладостью все мои сосуды. Я больше, чем ты, связан с земным, ты равнодушнее ко всем явлениям. Я люблю их и нуждаюсь в них. Ты же свободна от их искушения».

Вебер, поскольку он не любит в периоды работы много ходить, так как это его быстро утомляет, занимается днем немного садом и проводит вне дома длинные летние вечера, грезя: «Макс уже не утверждает так уверенно, что он, собственно говоря, так же охотно жил бы на главной улице и лишь ради меня остается в дорогой квартире, он постепенно привыкает к саду. В течение 14 дней он ежедневно занимается беседкой роз, удивляюсь, как он ее еще не изрезал; но к счастью молинии и дереза выпускают все новые усики, которые надо срезать или привязывать, и розы, которые великолепно цветут, также нужно направлять на верные пути. Надеюсь, что он постепенно расширит сферу своей деятельности, но до горы мне, к сожалению, пока не удастся его довести».

И в зимней тьме, когда больше, чем летом, смысл существования составляет собственная деятельность, сияют освященные красотой часы. «Большая елка в величии ее тихо сияющего украшения свечей в праздничном помещении, благоухающие цветы, подаренные милым, и душевная тонкость Берты, и счастье Линхен — было так тихо и прекрасно. Затем мы сидели на софе и наслаждались “Фаустом” и нашим теплом: “Неописуемо высокие творения прекрасны, как в первый день”».

\* \* \*

Друзья и клиенты разного рода приходят еще чаще, чем раньше. «Наша жизнь полна до краев, ежедневно гости, по крайней мере одна ищущая душа. Часто несколько: одиноко живущие женщины и девушки, молодые ученые, старые друзья, все приходят сюда. Великолепие рамок — радостный балкон, а сзади сад в тени, дарят усладу. Все это прекрасно, но отчасти становится работой. Приходят и люди, которые не нуждаются в помощи, а дарят ее: недавно был Стефан Георге, который все еще в своей человеческой простоте, которая так контрастирует с его сложными, торжественно патетическими творениями — остается для нас загадкой. Очевидно его привлекает Макс, как источник знания действительной жизни нашего времени — Макс стал другом и Гундольф, самый значительный ученик Георге» (дек. 1910).

Вебер сам юмористически описывает один, особенно богатый посещениями день: «Вчера меню было следующим: Хорошо спал до восьми. С 1/2 11-го: Готтль остался к завтраку и пробыл до прихода машинистки в 2 часа, которая оставалась до 3/4 4-го; когда она уходила, пришла Лина Радбрух, с ней tête à tête<sup>112</sup> за чаем с пирожными до 1/2 5-го, затем + Гундольф и Зальц (чай, варенье, много пирожных, следовательно, вчетвером до 1/4 6-го. Затем Лина Р. уходит, следовательно я, Гундольф и Зальц до шести; затем Готейн и Хонигсхейм до 3/4 7-го, затем + Готейн уходит, через некоторое время уходят Гундольф и Зальц, следовательно, Хонигсхейм и я до 1/2 8, затем Ласк (сначала tête à tête с ним, затем вместе) до 8-ми, затем Ласк уходит. Ужин с Хонигсхеймом, который остается до 10 часов. Тогда Берта отправила его домой, сказав: «Фрау профессор будет очень сердиться». Тогда я включил электричество, чтобы прочесть газету. Берта принесла лампу и выключила электричество: «Герр профессор ведь все равно забудет». Затем с большим количеством брома прилично спал. Говорили о целом мире и о трех деревнях»<sup>113</sup>.

К самым значительным событиям первого лета в старом доме относится знакомство со Стефаном Георге. Уже 13 лет тому назад во фрейбургское время Генрих Риккерт, один из первых ценителей стихов Георге, пытался познакомить с ними Вебера. В то время вышли «Гимны», «Паломничества», «Альгабал», «Песни пастухов». Риккерт мастерски читал стихи, но напрасно — Вебер оставался глух к этим произведениям. Он ощущал в них артистическое эстетство, которое его совершенно не трогало. Вообще он в то время не воспринимал лирические, преисполненные настроения стихи. Но все это уже давно изменилось. Выбросившие его из колеи годы болезни открыли замкнутые ранее стороны его души. Теперь преисполненные глубокого чувства художественные произведения нашли у него понимание. Он стал погружаться в современные произведения, прежде всего Рильке и Георге, и сам стал очень хорошо читать стихи. В это лето он послал сестре собрание стихов Рильке, сопроводив его следующими словами: «... Посылаю тебе одно из известных собраний стихов Рильке. Если не ошибаюсь, ты их не знаешь. Я некоторые из них подчеркнул, те, которые на нас произвели особое впечатление. Конечно, сделано это не из суггестивных намерений или в ожидании, что именно эти стихи тебе понравятся. Напротив, я в этом совсем не уверен, даже в том, что тебе вообще в этом томишке что-либо покажется достойным внимания. У этого автора подчас встречается прямая безвкусица — как вообще всегда где-нибудь у каждого мистика. И я *отнюдь* не хочу сказать, что мне мир этого чувства конгениален. Мне только кажется, его стоит знать и кое-что в какое-то время может оказаться значительным. Довольно, ты сама увидишь! Что тебе известно из круга Стефана Георге и знаешь ли ты «Сокровище смиренных» Метерлинка?»

«Хочу еще только сказать несколько слов о Рильке. То, что ты говоришь о построении стиха, в частности о замирании и прерывании строк на значительных неподчеркнутых словах, мне представляется вполне правильным. Однако вместе с тем я полагаю, что это ощущаемое как чуждое восприятию и сначала мешающее ему своеобразие очень тесно связано с внутренним чувством и ритмом данного поэта и тем самым в *такой* степени обосновано, в какой это чувство принимается как субъективно оправданное. При этом я не думаю, что эти стихи настолько «надуманы», как тебе представляется. Я полагаю, что в них заключен своего рода произвольный субъективно-необходимый протест против той формы стихотворной рифмы, которую создает в нас потребность в законченно-мелодическом, привносимая нами в эту форму искус-

ства. Это попытка освободить алогическую по своему содержанию поэзию от условностей сонета и той лирики, которая направляет свое внутреннее переживание вовне, в «природу», чтобы оттуда получить его в *законченной форме*. Рильке — мистик, причем по своему типу ближе мистике Таулера, а не экстатической или полуэротической (бернардинской) мистике. Он вообще не сложившаяся личность, из которой поэзия исходит как ее продукт, не «он» творит, в нем творится (*dichtet*). В этом состоит граница, но и его особенность. И мне кажется, что *он* поэтому ощущает ритмичную законченность строк полностью завершенной поэзии (например, Стефана Георге) как нечто, ведущее к слишком большой утрате настроения — ведь и вообще каждая *завершенность* в искусстве основана на утрате такого рода. Мастер формы проявляет себя в ограничении. А Рильке хочет посредством прорыва этого закона стихосложения и той неопределенности настроения, которая возникает при правильном модулированном чтении его стихов, заставить звучать столько невыразимого, неформируемого от лежащего в основе переживания, как бы спасти его введением в форму, насколько возможно. Можно, конечно, как представляется и мне, спросить, не используется ли тем самым уже не художественное (хотя и не противоречащее художественности) средство. Но я думаю, что это не «*намеренно*» примененная привлекательность, не поза или изысканность, а честное следствие свойственной ему необходимости» (20.9.1910).

И в поэзию Георге Вебер уже в течение продолжительного времени вчитывается и беседует о ней с Гундольфом. На него производит большое впечатление ее высокое искусство, но *религиозно-го* пророчества, приписываемого поэту его учениками, он в ней не обнаруживает, как и вообще отрицает всякий культ современника, вообще всякое возвышение человека в качестве авторитета над всем существованием как «обожествление твари». И отрицательное отношение поэта к формам современной культуры кажется Веберу — как ни отчетливо он видит ее недостатки — чуждым и неплодотворным. Прежде всего аристократизм стихов «Седьмого кольца» — обособление от массы и ее презрение — он воспринимает как небратское. Его материнское наследие, глубокое почтение к Евангелию противится этой языческой «религиозности», которая чтит высший смысл существования в *земном* воплощении божественного, для которой завершенная красота, калокагатия<sup>114</sup> греков есть высшая форма человеческого развития. И будучи проникнут верой в абсолютную ценность духовной и нравственной автономии, он отрицает для себя и себе подобных обязательность новых форм *личностного* господства и *личностного* служения. Да, служение и безусловная отдача себя делу, идеалу, но не земному,



конечному существу и ограниченными целям, как бы высоки и достойны почитания они ни были.

В 1910 г. — еще до знакомства с Георге — Вебер высказывается под влиянием работы одной талантливой женщины следующим образом: «Когда речь идет о явлении, обладающем, подобно Стефану Георге, чертами подлинного величия, завершить дискуссию нелегко. Так, например, я оценил бы «Год души» частично значительно выше в отношении к другим сборникам стихов, частично иначе, книгой, менее «бледной», чем Вы, как мне кажется, склонны считать. Я нахожу во многих стихах этого сборника найденное выражение возможности целых областей душевных ощущений — конечно, часто в намеренной сжатости и сублимации — но все-таки найденное их выражение. Чтобы обнаружить еще раз эту власть искусства: «Не отпущу тебя...»<sup>115</sup>, как это выражено здесь и в ряде других мест, надо вернуться к Гёльдерлину. Георге в этих творениях ощущал, что говорит никогда раньше не сказанное, как Данте в своей «Vita nuova», что его стиль вообще переходит в плоскость дантовского пафоса, можно понять: искра того мощного пламени живет и в нем, в этом нет сомнения. К этому относится и невероятная, мучительная работа, заключающаяся в сжатии сказанного до кратчайшего, часто даже непонятного выражения. И ряд сомнений, вызываемых его поэзией, следует, как мне кажется, в большей степени из значения, которое он придает своей «миссии», чем из художественных недостатков — хотя я вполне согласен с Вами, что в тех пунктах, на которые Вы указывали, выражение часто не соответствует желаемому.

Однако действительно сомнительное состоит, как мне кажется, в следующем: чем дальше, тем больше эти стихи чего-то *хотят*. Если круг Георге вообще обладает всеми признаками секты — при этом, впрочем, и ее специфической харизмой, — то свойства культа Максимиана просто «абсурдны», так как об этом воплощении спасителя при всем старании нельзя ничего сказать, что бы позволило уверовать в его божественность всем тем, кто не знал его. Стихи Георге, Вольфскеля, Гундольфа тому самое очевидное доказательство. Нет необходимости обосновывать это. Однако с этим связано, что все последние произведения Георге требуют, провозглашают, обещают, пропагандируют «спасение», что в «Ковре жизни» и в «Седьмом кольце» Георге сам выходит из эстетического монастыря, чтобы — в качестве аскета с эстетической окраской по образцу ряда других — обновить мир, от которого он вначале бежал, и господствовать над ним. Тем он дает нам право спросить: «Спасение» — от чего? И единственной позитивной целью, как мне кажется, остается стремление к *самообожествлению*, непосредственное наслаждение божественным в собственной

душе. К этому путь ведет либо через экстатическую отрешенность, либо через созерцательную мистику. Первый путь, как мне кажется, избрала школа Георге и он сам, ибо только он разрешает применение свойственных ему дантовских средств выражения. Но этот путь — такова его опасность — никогда не ведет к мистическому переживанию (оно известно Рильке, как бы ни судили о нем, несомненно и в полной чистоте), а всегда только к оргиастическому гудению голоса, который выступает как вечный голос, другими словами, никогда не ведет к *содержаниям*, а только к страстному звучанию арфы. Одно обещание огромного гарантирующего спасение переживания превосходится другим, еще большим; все время выставляются новые векселя на то, что должно прийти, хотя неуплата по ним очевидна. А так как возвышения над этим чисто формальным пророчеством не существует, то поэт пребывает в постоянных поисках постулированного содержания своего пророчества, хотя никогда не может найти его. Своим новым циклом Георге вступил, по моему мнению, на мертвую почву. Его ученики (см. *Jahrb. f. d. geistige Bewegung*<sup>116</sup>) также, если они не идут обычными путями критики рационализма, капитализма и т. п. (9.5.1910).

Осенью 1910 г. в одной газете появилась ругательная статья против круга Георге. Возмущенный этим композитор Пауль фон Клену обращается к Веберу с просьбой выразить свое мнение по этому поводу. Вебер пишет: «С величайшим изумлением нахожу в этой газете статью Р.Б. Его взгляды, безусловно, его дело — быть может, в ряде моментов я ближе ему, чем его противникам, — он имеет также право выражать свое мнение в резкой форме. Я не сторонник мягкой полемики; вероятно, Стефан Георге и его ученики служат в решающих пунктах «другим богам», чем я, как ни высоко я ценю их искусство и их воление. В этом ничего не меняет то обстоятельство, что я внутренне вынужден чисто по-человечески безусловно одобрять простую, подлинную серьезность, с которой Георге видит свою миссию, и ту чистую отдачу, с которой Гундольф верен своему делу и своему учителю. Я отнюдь не намерен подписываться под всем, что содержится в «*Blätter für die Kunst*» и в «*Jahrbuch für die geistige Bewegung*». Тот, на кого там нападают, может и должен защищаться — честным оружием — ибо как бы ни относиться к позиции круга Георге, нечестных и нерыцарских приемов я у учеников Георге, даже там, где я совершенно с ними не согласен, не нахожу.

Статью же господина Р.Б., не симпатизировать которому у меня до сих пор не было никаких оснований, следует рассматривать как такое серьезное нарушение правил, что помещение ее в «*Süddeutsche Monatshefte*» («Южнонемецкие ежемесячники») я

считаю просто непонятным. Самая пылкая страсть не должна использовать грязь в качестве оружия нападения. А здесь произошло именно то, что произошло в одной из наших лучших газет, является непоправимой потерей не только для нее. Страсть может по-человечески извинить многое, но, когда она выступает *публично*, она — *объективное* неприличие, просто непростительное событие для общества. (Я далек от того, чтобы приписывать господину Р.Б. субъективно непристойные намерения)» (26.11.1910).

\* \* \*

Когда Вебера летом 1910 г. известили о предстоящем посещении поэта, он был несколько смущен: сумеет ли он установить какое-нибудь взаимопонимание с этим чуждым ему по своей сущности человеком? Однако как только они встретились, все, созданные культом учеников трудности исчезли. Поэт был совершенно лишен позы, вел себя с простым достоинством и сердечностью. Поэтому Вебер был готов почитать его необычность, воспринимать воздействие властной силы, покоящейся на собственной творческой силе благородной человечности. Различие мыслимого и ощущаемого значит не так уж много по сравнению с субстанцией бытия. Конечно, они очень различны. В них «воплощены» полярные возможности человеческой сущности и они создают свой духовный мир совершенно различными средствами. Один — своим проникающим всю предметную культуру *ratio*<sup>17</sup>, которому в качестве естественного вспомогательного средства добавляются непосредственная действительность и способность пластического формирования. Другой — создает внутреннюю душевную жизнь способностью созерцать и творить образы, интенсивность которых умиряется в красоте строго и своеобразно сформированным языком. Оба они преисполнены глубоким чувством ответственности за свое время. Но один воспринимает силы *настоящего* такими, каковы они суть, как материал формирования и как задачу, другой видит в них лишь дьявольское и стремится преодолеть его своим *Нет*. Он приписывает себе пророчество и руководящую роль для возможности поворота назад и изменения. Это Вебер категорически отвергает. Вебер может воспринимать плоды поэтического переживания мира и услаждать этим свою душу. Георге не принимает творения научного познания мира, требования которого к интеллекту подавили бы его творческую фантазию и форму душевного переживания. Но то, что он отвергает в строгом понятийном выражении книги, он хочет попробовать почерпнуть в живом источнике. Вебер ведь умеет в живом обмене мнений представлять свое знание в наглядном образе и ему не чуждо ни одно внутрен-

нее переживание. В разговоре речь идет главным образом о просто человеческом, — в этой области взаимопонимание не требует усилий, — иногда и о последних оценках и различиях; при этом Веберу нужна осторожность, чтобы не подавить поэта диалектически. Поэтому свои соображения о круге Георге он предпочитает обсуждать с Гундольфом. Кое-что из этого Марианна запомнила: «Поводом к дискуссии с Гундольфом послужили программные высказывания в «Ежегоднике духовного движения». Один из учеников Георге предал там по указанию учителя анафеме всю современную культуру: рационализм, протестантизм, капитализм. Работа Макса о протестантской этике была использована как свидетельство механизмирующего воздействия протестантизма. Современной «просвещенной», не признающей авторитетов и безбожной женщине также досталось в качестве главного кощунства, препятствующего созданию героев. Мы много дней боролись с этим требуемым Георге проклятием всего существующего в настоящем. В дискуссии с Гундольфом мы сразу же установили глубокую причину различия позиций. Круг Георге отвергает этическую автономию в качестве идеала воспитания и признание ценности отдельной души. Подчинение авторитету героя и подчинение женщины мужчине — их вера. Георге требует принципиального подчинения меньшего человека большему и под ним понимает отличающегося большими достижениями в *культуре*. Он стремится, как Гундольф твердо утверждает в своей статье «Образцы», — *отказываясь* от полной возможности развития отдельного человека, к освобождению от субъективизма. Мы же утверждаем право каждого на возможное для него развитие и считаем, что рост души останавливается, если она позволяет ошибающемуся человеку устанавливать закон для самого себя и жертвует своим убеждением даже тогда, когда чувствует, что другой неправ. И именно *там*, где начинается неправомерное требование другого, возникает подлинный конфликт между различными верованиями. По нашему мнению, верующий человек, подчиняясь велениям *Бога*, может в этом подчинении божественной воле достигнуть величия; но он не достигнет величия, подчиняя свою совесть пусть даже великому, земному и поэтому ошибающемуся «герою», не говоря уже о подчинении обычному смертному человеку».

«В пятницу, 1.12. длинная непреднамеренная дискуссия Макса с Гундольфом, в ходе которой были затронуты основные вопросы и тем самым наконец достигнута та степень искренности, к которой мы давно стремились. Гундольф не мог считать, что мы на него нападаем, так как он сам призвал к борьбе. Его скромность при всей уверенности была так хороша, что наше удовольствие от общения с ним осталось неомраченным. Мы можем во многом

идти одним путем с учениками Георге: в их стремлении к вхождению отдельного человека в целое, в их освобождении от культа *Я*, в их усилиях по созданию новых форм внутренней жизни и нового «закона». Но фундамент учения — обожествление земных людей и создание религии, в центре которой стоит Георге, — а это, как указал Гундольф, — уже теперь является намерением данного круга — представляется нам самообманом людей, которые еще не достигли полного понимания настоящего».

«В понедельник пришел маэстро. Я предположила, что он хочет видеть нас обоих, и осмелилась остаться. Было прекрасно, а в конце преисполнено воодушевления. Мы говорили о Георге и Гертруде Зиммелях, об особой чувствительности женщин, о женщинах вообще — и тогда наступил момент, когда Георге уже, кажется, хотел изложить «программу». Но мы были не уверены в исходе и стали говорить о Париже, о христианстве и субъективизме. Мы были уже на пороге актуальных вопросов, к которым Макс смело перешел, когда Георге захотел привлечь его в качестве союзника против современной женщины. Георге склонил ко мне свою покрытую морщинами львиную голову, его глубоко лежащие глаза метали стрелы, и он спросил: «Вы полагаете, что все люди могут быть судьями самих себя?» — «Я не считаю, что все это *могут*, но последней целью является сделать их способными к этому». — «И *Вы* хотите быть своим собственным судьей?» — «Да, этого мы хотим». Затем мы спокойно спорили, и может быть он все-таки почувствовал за нашим «кошунством» веру. Но прекрасно было, что он хотел лишить остроты обиду сказанного в «Ежегоднике» и установить дружбу поверх всех противоречий. Он даже утверждал, что мы все неправильно поняли, не *мы* имелись в виду, что, впрочем, я могла принять только как любезность, не как «правду». Он был у нас два часа и когда Гундольф пришел за ним, мы были ближе друг другу, чем раньше. Может быть его все-таки можно спасти от закаменения. Мы еще взволнованы впечатлением, произведенным этим человеком, который понимает свое призвание поэта как обязанность пророка. С основанием ли? Но такое воление все-таки значительно» (Декабрь 1911).

Позавчера Стефан Георге пришел опять. Мы уже не надеялись его увидеть, так как он был здесь несколько недель, не давая о себе знать. Быть может, соприкосновение с чуждыми ему по своей сущности людьми слишком потрясает его? Но он все-таки пришел. И мы радостно ощутили, насколько чтим его как человека. Мы сидели в оббитом плюшем гроте у колодца, и в этот раз было без всяких усилий уютно и тепло. Он был больше, чем обычно, открыт, говорил много прекрасного и глубокого. Кое-что было заимствовано у Ницше, например, мысль о зле как принципе мира, кото-

рый нельзя побороть слабыми руками и духовным оружием. Также о благословении войны для героического человечества и пошлости борьбы в мирное время, о нашей расслабленности из-за растущего успокоения мира, вследствие которого мы неспособны даже резать курицу. Впрочем, он признался, что также неспособен к этому героическому акту. Говорили и об Отелло и Яго и об их «космическом» значении. То, что я воспринимаю Отелло столь мучительным и ужасным, почти как продукт крайней холодности сердца, он оценил как психологическое, неверное и изнеженное восприятие. «Детка, детка! Это надо понимать космически, а не как судьбу отдельного человека, которая, быть может, создает *душевный* героизм вместо физического; он сказал: «Кошунство, кошунство! Вы хотите всегда превращать все в дух и разрушаете при этом тело! Что именно *ему* нужны в высшей степени утонченные люди для отклика на его творчество, а не героические мертвецы прежних времен, он, по-видимому, не создает. Но что значат «взгляды»? От него шла теплота, человечность, сила, вызывающая нашу любовь, — он шире своих заратустровских убеждений» (Июнь 1912).

Однако симпатия поэта к другому по своей натуре человеку и его непринужденность по отношению к нему не была продолжительной. Быть может, известную роль сыграло в этом различное толкование мировой войны и поведения немецкого народа. Вебер видел несмотря на ужас безжалостного механизма смерти и наряды с ним героическое величие, готовность к жертвенности внутри страны и на поле битвы. Он непосредственно ощущал, как простые люди из народа рисковали жизнью ради целей, которые они не вполне понимали, как они повиновались и как потрясаясь терпеливы они были. В его сердце горела восхищенная любовь ко всему великому и благому, порожденному бедой. Иначе отражалось происходящее в душе поэта. Для него трагедия мира и немецкого народа была справедливой расплатой за «накопившееся кошунство». «Называемые всеми принуждение и счастье, скрытое отпадение человека к личинке требуют кары». «Необходимое выполнение долга остается тупым и тусклым, и жертва не совершается в низкое время...» — «Von allen Zwang und Glück gennant, Verhehlter Abfall von Mensch zur Larve heischen Buße», «Das nötige Werk der Pflicht bleibt stumpf und glanzlos, und Opfer steigt nicht in verruchter Zeit...» Больше он не приходил.

\* \* \*

С противоположного полюса год, как и раньше, дал другой любимый образ: Фридриха Наумана. По сравнению с поэтом он был

среди друзей Вебера самым значительным воплощением того, кто пребывал в борении в настоящем: «Они полярные личности, и я рада, что имела возможность созерцать обоих. Если бы нам пришлось выбирать между ними как формирующими жизнь силами, мы предпочли бы Наумана, так как в нем благодаря братской любви проникающая мир сила соединяется с мощным пластичным чувством действительности. Но к счастью выбирать не надо, евангелие искусства мирно сосуществует в нашей душе с социальным. Конечно, непоследовательно предоставлять место двум столь различным силам, но прекрасно чувствовать богатство жизни в напряжении между обоими» (Марианна). В 1912 г. Науман потерял свой с таким трудом обретенный мандат. Давление политики материальных интересов в его избирательном округе было слишком сильным. Вновь народ отказался следовать одному из лучших, быть может, единственному *по-человечески* крупному вождю той эпохи. Друзья Наумана были очень взволнованы и опасались тяжелых нервных и душевных потрясений человека, вновь лишённого столь поздно завоеванного политического влияния. Казалось, что под угрозой вся основа его существования. Тем сильнее были изумление и радость, когда Науман сразу после поражения пришел к друзьям несломленным, уверенным в себе. «Науман был у нас два дня. Мы редко так ощущали его скромность, величие и полноту его силы, как после этого поражения. Он пришел к нам после прощаний в Гейльбронне. Мы думали, что увидим его грустным и усталым, но он владел собой с замечательным благородством. У него героический характер и при этом замечательное великодушие, открытость всему человеческому и полнота благодаря художественному восприятию и способности художественного формирования. Конечно, его жизненная борьба создает известные душевные ограничения — единичная судьба ему безразлична. Он видит только хозяйственные и политические силы, массы, народ».

\* \* \*

С противоположного полюса мировоззрения пришли несколько молодых философов из Восточной Европы, с которыми мы познакомились в это время; прежде всего венгр Георг Лукач, с которым Вебер очень подружился. Лукач работал в это время над эстетикой, задуманной как часть будущей системы, которая должна была открыть ему доступ в академические круги. Вебер углубился в эту работу и заметил: «На меня она произвела очень сильное впечатление, и я уверен, что постановка проблемы, безусловно, правильна. После того как эстетикой занимались с точки зрения воспринимающего, а затем с точки зрения творящего, на первый план,

наконец, выходит самое «произведение» как таковое — и это является благодеянием. Мне интересно, что произойдет, когда в этой эстетике появится понятие *формы*. Ведь сформированная жизнь — не только ценностное, поднимающееся над переживаемым, — сформировано и уходящее в глубокие и предельные углы «темницы» *эротическое*. Оно делит судьбу обремененного виной со всей сформированной жизнью, пребывает в качестве своей противоположности по отношению ко всему, что относится к царству «чуждого форме» Бога, даже близкого эстетическому поведению. Его географическое местонахождение должно быть определено и мне интересно, где оно у Вас будет». Большое впечатление произвело также глубокомысленное эссе друга о бедных духом; в этом произведении приносящей спасение творческой силе любви дано право ломать этическую норму.

Эти молодые философы связывали эсхатологические надежды с новым посланцем надмирного Бога и видели предпосылку спасения в созданном братством строе социалистического общества. Лукач считал великолепие мирской культуры, прежде всего эстетической, противобожеской, соревнованием Люцифера с деятельностью Бога. Но полное развитие этого царства *должно* состояться, так как выбор человека между ними и трансцендентным не должен быть облегчен. Окончательная борьба между Богом и Люцифером еще предстоит и зависит она от решения человечества. Последняя цель — освобождение *от* мира. Не как для Георге и его круга: выполнение в *нем*.

Духовная атмосфера этих людей вновь возбудила и без того большой интерес Вебера к русским. Он давно уже собирался написать книгу о Толстом, в которую должны были войти все впечатления внутреннего опыта. Женщины, Елена и Марианна, очень ждали осуществления этого плана. Вебер хотел написать эту книгу для них. Однако начатые работы не оставляли для этого времени. Между тем он время от времени искал встреч с соотечественниками Толстого и Достоевского: «Позавчера мы очень не-солидно просидели до трех часов ночи в кафе, причем удерживал нас твой сын, не желая слушать доводы гувернантского разума. Случилось это таким образом: русские студенты праздновали 50-летний юбилей русской читальни и уговорили Макса, который в свое время много раз в ней бывал, произнести речь на их празднестве. Собственно говоря, он еще в последний день хотел отказаться, так как плохо спал, но я хотела переломить это наваждение и не разрешила ему.

Это было очень странное празднество. По бальному одетые люди, затем три серьезные речи, бесконечная музыкальная программа и около 1 часа танцы. Макс был вынужден сократить свою



речь, так как было уже поздно и к тому же ему было трудно говорить на серьезные темы в бальном зале. Здесь он впервые за долгое время говорил по заранее принятой договоренности публично. Он немного устал, но все-таки сумел найти нужное завершение. Только ужасно жаль, что он кончил перед самым важным пунктом. После речи он был весел и разговорчив, и мы сидели с нашими философами почти до 3 часов в кафе» (21.12.1912).

\* \* \*

Круг молодых людей, большей частью начинающих ученых, которые искали общения с Вебером, все время расширялся. Он размышлял, как удовлетворить их потребность, не теряя слишком много рабочего времени. Чета Веберов охотно широко открыла бы двери своего дома, однако ограниченные силы заставляли дорожить временем. Они решили во время семестра быть по воскресным вечерам дома для молодых людей, несколько сомневаясь, выдержит ли Вебер такое обязательство. Молодые люди обрадовались и сразу же в большом числе пришли. Но они были еще чужды друг другу и по хорошему немецкому обычаю неуклюже-молчаливы. Веберы также не владеют искусством легкого общения. Максу интересен только значительный духовный обмен мыслей или интимный разговор на личные темы. В легкой игре духа в промежуточной области между предметным и человеческим он чувствует себя почти так же беспомощно, как раньше в танце и флирте. Первое «воскресенье» было тяжким трудом, застывшие члены общества не соединялись, обмен мнений на существенные темы не устанавливался. Только когда половина гостей ушла, еще вспыхнул духовно-живой разговор Вебера с Гундольфом о пиетете к историческим культурным образованиям. Гундольф рассматривал их сохранение только как вспомогательное средство для времени, лишенного собственной творческой способности. Охотнее всего он бы их уничтожил. Когда гости наконец ушли, Вебер рассерженно захлопнул дверь своей комнаты, сказав: «Никогда больше — невыносимо и безнравственно говорить ради того, чтобы говорить!» Стоило ли еще раз попытаться? Но уже второе воскресенье прошло живо и по-семейному. «На этот раз мы успокоились. Такая попытка может осуществиться, если люди привыкают друг к другу и с самого начала не стремятся завязать разговор на значительные темы в больших группах. Близкие друзья приходят и в будние дни».

С этого времени такие встречи стали радовать Вебера. Ведь это была для него единственная постоянная возможность высказывать всю полноту своих мыслей в большом кругу. Он не уделял свое

внимание преимущественно тем или другим отдельным гостям и с одинаковым дружелюбием и интересом отвечал на вопросы и молодых студентов, и знаменитых коллег. В качестве покоящейся опоры он сидел в каком-либо углу большой комнаты, осаждаемый присутствующими. Обычно все хотели знать, что происходит в этом углу, так что общий разговор возникал только при случайном отсутствии Вебера. «Я оказываю давление на людей», говорил он. Только некоторые из присутствующих, например, Гундольф или Лукач, обладали таким мастерством в изложении своих мыслей, что становились самостоятельными точками кристаллизации. Когда предназначенный для молодежи стиль собраний установился, стали приглашать друзей своего возраста, сохранивших душевную молодость, которая позволяла им не оказывать давление на молодежь; и тогда начинали звучать все струны духовности того времени. Часто в воскресный круг вносили разнообразие и гости из других городов. Несколько раз характер собеседования определяли Георг и Гертруда Зиммель. Из Гейльбронна время от времени приезжала действующая в сфере политики и сфере социальной чета Хейс — Кнапп, часто принимали участие оба специалиста по политической экономии из Мангейма — проф. Альтман и его жена фрау Элизабет Готтхейнер, затем почитаемый Вебера физиолог Э. Лессер с супругой, работающей в области искусства, дочерью маэстро Фр. Кнаппа.

Иногда возникали различные образования! Люди из различных миров — общей связью служил только немецкий язык — должны были приспособиться друг к другу: «В воскресенье пришел Науман, и я с разбитым сердцем принимала одна других наших гостей. В конце концов те обе группы решились озарить нас своим светом и нам удалось уговорить Наумана рассказывать. Как раз среди гостей был новый еврейский философ — молодой человек с огромной черной шевелюрой и с таким же огромным самомнением; он, несомненно, считал себя предшественником нового Мессии и хотел, чтобы его считали таковым. С высоты своих апокалиптических спекуляций он задавал Науману разные вопросы; тот был очень любезен, но очевидно полагал, что имеет дело с сумасбродом». Среди молодых друзей было несколько представителей семитской расы и проблематика еврейства часто обсуждалась. Отзвук значительного разговора с Э. Лессером о сионизме сохранился в одном письме ему Вебера; Вебер допускает в этом письме колонизацию Палестины, но не видит в этом решение внутренней проблематики иудаизма. В чем эта проблема состоит, он формулирует следующим образом: «Внутренней предпосылкой иудаизма, и в частности сионизма, служит *очень* конкретное «обетование». Будут ли приносящая достаточные доходы колония, ав-

тономное маленькое государство, больницы, хорошие школы восприниматься как «выполнение», а не как критика тех грандиозных обетований? И даже университет? Ибо *смысл* обетований полностью гетерогенный экономической цели поселения, заключался бы в том, что чувство *достоинства* иудейства могло бы восстановиться благодаря существованию древнего святого места и духовному владению им. Так, как некогда иудейская диаспора в царстве Маккавеев после войны за независимость против мировой империи Селевкидов, как немцы в Германской империи, как ислам в существовании Халифата. Однако Германия (по видимости, по крайней мере) *могущественное* государство, государство халифов все еще территориально обширно — но иудейское государство даже в наилучших условиях сегодня? И университет, предоставляющий такие же знания, как другие? Конечно он был бы не безразличен, но значение его несопоставимо с древним храмом.

*Чего же главным образом не хватает? Храма и священного жреца.* Если бы *они* были в Иерусалиме — то все остальное имело бы второстепенное значение. Конечно, благочестивому католику также нужно церковное *государство*, пусть даже совсем небольшое. Но и без него — даже еще в большей степени — его чувство достоинства основывается на том, что политически не имеющий власти папа в Риме в качестве чисто духовного владыки народа в 200 миллионов, имеет бесконечно *большее* значение, чем «король» Италии и что это чувствует каждый. Иерарх 12 миллионов в мире (которые означают *то*, что евреи не суть и не означают!) — *было бы* несомненно нечто, имеющее для еврейства — верующего или неверующего, это безразлично — нечто действительно великое. Но где род Цадока? Где ортодоксия, которая связывалась бы с подобным иерархом, *могла бы* предоставить ему хотя бы 1/10 того значения — по закону! которую папа осуществляет в силу *disciplina motum*<sup>118</sup> и сана всеобщего *епископа* в значительно большей степени, чем посредством относительно весьма безразличной непогрешимости в каждом приходе и каждой общине? Где *сегодня* возможность вообще такого достигнуть? Что именно здесь действительно находились бы ценности, касающиеся еврейского национального, но тесно связанного с религиозными условиями чувства достоинства, представляется мне близким подлинной проблематике сионизма» (18.8.13).

\* \* \*

Как мало обременен этот круг повседневными заботами! Люди живут, преисполненные уверенностью в безопасности, высоким чувством принадлежности к числу граждан цветущего, уважае-

мого общества. Однако это же не давало удовлетворения, происходила постоянная борьба за внутреннее глубокое понимание, постоянное сознание, как глубока вина перед теми слоями народа, которые создавали своими руками основу для этой напряженной жизни. Каждый стремится к внутреннему самораскрытию или к завершению произведения. Едва ли не каждый второй пишет. Очевидно слишком мало других форм выражения и творчества для немецкой интеллигенции; даже часть женщин занята в писательской и художественной сфере. И наряду с собственным созиданием находится время к проникновению в писания друзей. Прелестный орнамент обвивает серьезность. Осенью 1912 г. Вебер пишет Елене: «Вчера здесь был «Янус». Марианна говорила о греческом браке, хорошо и красиво, вызвав оживленную дискуссию. Сегодня, «Jour»<sup>119</sup>. Старые комнаты удивляются после такого долгого одиночества. Но мне кажется, они довольны, это идет им. В остальном в среднем через каждые пять дней гость. На это уходят, конечно, силы, но как отказаться от этого?

\* \* \*

Следовательно, в одном отношении воскресенья не достигли своей цели. Ежедневные гости продолжали приходить, близкие друзья не позволили ограничить свои посещения этим решением. Подчас кто-нибудь из знакомых получал благодаря частым посещениям воскресений право на частные аудиенции, да и сами Веберы не мыслили больше рабочие дни без нескольких часов дружеской беседы. Только вечерами сохраняется, как правило, полный покой. Но иногда посещений все же становилось слишком много. В частности, когда общение с членами семьи должно было неделями захватывать дневные часы: «Наша жизнь очень беспокойна, и иногда нам кажется, что люди, которые так нуждаются в нас, в сущности несколько безжалостны. Такой толчеи, как этим летом, еще никогда не было. Я уже не запоминаю отдельные сюжеты этих встреч. Только расплывчато возникают в памяти теплые летние вечера под катальпами и все время меняющиеся лица. Иногда это освещается фонариками и сопровождается прекрасным пением в сопровождении лютни молодого друга Трёльча Маага». «Пульс жизни становится все учащеннее, едва дает перевести дух, гонит в разные стороны, все быстрее и неумолимее. Нет, мы не допустим этого. Для чего, собственно говоря, это напряженное многообразие, для чего это утомление? Разве не плодотворнее жить в глубоком общении с немногими, быть многим для немногих, чем немногим для многих?»

Вебер теперь встает, если ночь дала ему отдых, около половины восьмого, но часто он просыпается поздно, чтобы проспать необходимые ему 7—8 часов. Жена охраняет его сон, ведь она никогда не знает, что дала ему ночь. Иногда он в кровати читает письма и газету. Часто за завтраком — «по диагонали», то есть пытается ухватить сразу ведущие слова всей страницы. Это совершается довольно беззаботно. Если же он углубился, особенно в собственную работу, то внешних событий он не замечает; он защищен от помех. Основное его рабочее время от половины десятого до половины первого, до обеда он ненадолго выходит на прогулку. После законченного за четверть часа обеда — он очень нетерпеливо относился раньше к длинным семейным трапезам — он недолго спит, затем освежается чаем и работает обычно до половины третьего, пока не приходит кто-нибудь в гости, или до вечера. Следовательно, на научную работу отводится 5—6 часов. Деловая переписка осуществляется большей частью в особые дни. После ужина он должен полностью предаваться покою и искусственно выключать мыслительный аппарат. То, что Вебер мог до заболевания работать полночи, а затем спокойно засыпать, кажется теперь сказкой. Теперь он дремлет вне дома или на софе в комнате жены. Они мало разговаривают, только время от времени обмениваются душевными словами. В 10 часов он ложится. Уже многие годы, чтобы сохранить свежесть для труда на следующий день, он соблюдает вечерами строгий режим, — нарушая его разве что в поездках, где он дает себе большую свободу. Тогда он может иногда вечером пойти в концерт или в гости к друзьям. После духовного напряжения он еще долго сидит в зале с сигарой, чтобы успокоиться.

\* \* \*

Лето 1911 г. особо празднично, чудесно жарко, несравненно упоение солнцем. Трава сохнет, плоды сморщенными опадают с деревьев. Но людям легкий южный зной дарит нереальное счастливое существование. Несмотря на полное бодрствование общее стремление как будто внутренне успокоилось, борьба окончена. Постоянная жажда Вебером тепла удовлетворена. Днем он работает, длинными вечерами наслаждается в прохладном темнеющем саду. Светляки, которые днем спят в плюще, ведут хоровод под звездами, а сквозь ветки сияет свет небесных светил. Сладкое благозвучие старых народных песен струится из уст юноши: «Есть такой жнец, имя ему смерть...» Вебер напевает эту песнь и пытается воспроизвести мелодию на новом рояле, который недавно приобретен и ждет пробуждения своей души.

Уже десять дней тихо — каникулы. Ни людей, ни обязательных дел. Только чтение, грезы, писания и сияющее лето. В тени на траве под лесными буками теперь действительно сверкает венец бегоний, под катальпами цветут фуксии. Когда ночью в гроте на земле стоит фонарь и слегка освещает ветви катальп и травяную крышу снизу, а из окон падает желтый свет, чувствуешь себя как в глубоком, темном лесу у сказочного дома. А в глубине души возрождается сила к новой деятельности.

«Вчера было удивительно прекрасное тихое воскресенье. Утром на привычных вещах лежало нежное перламутровое веяние и уносило их в странную тишину. Время затаило дух. Голубоватые флоксы мечтательно покачивались на своих высоких стеблях, мягкое удовлетворенное блаженство. После обеда мы сидели в саду. Солнце утверждало свое могущество и возвращало все действительности. Но умиротворенная благодарность оставалась. Были ли мы счастливы? Думаю, что были: да, счастливы и не испытывали никаких желаний, без того, чтобы что-нибудь случилось. Красота солнечной грезы давала полное удовлетворение».

Лунные ночи посвящались грезам на балконе. Цветущие катальпы благоухали в доме. Серебряный серп медленно поднимался за елями горного склона, бросая блестящую полосу на темную, тихо журчащую реку. Ручеек плещет. Руина таинственно приветствует из тумана ночи. Тяжесть земли растворена. Тайна мира шепчет в душах, которые опасаются за вечность всего великого и прекрасного, стремятся к собственной вечности. Но проникнуть в это невозможно. «Ах, боги, почему бесконечно все, все, только наше счастье конечно!»

## II

В это время (1911) очень значительный член дружественного круга, Георг Еллинек, завершил свой жизненный путь. Когда вскоре после этого его дочь праздновала свадьбу, Вебер нарисовал детям замечательный образ друга в такой манере, которая, как и другие, возникшие в торжественные минуты документы, непреднамеренно выявляют некоторые его собственные черты.

Оба они были очень различны по своей природе, но слова Вебера о чрезвычайном юморе друга могли бы быть сказаны и о нем самом. В качестве памятника обоим здесь может быть приведена речь Вебера: «Там, где в начале Ветхого Завета идет речь о браке, утверждается: чтобы принадлежать навсегда друг другу, навек оставляют родителей. Так происходит внешне, и сначала также внутренне — в частности для такой молодой женщины, которой счастье приходит в ясном свете утренней зари, мечтательно пре-

красно, как будто все преобразуя и оставляя все прошлое как бы погружающимся вглубь. И вот оба формируются друг для друга и друг подле друга навстречу совершенно новым неизвестным судьбам, которые затем, образуя и накладывая свою печать, овладевают молодой жизнью и образуют из нее человеческую судьбу, самостоятельную, давно оторванную от почвы своего прошлого — так кажется. И все-таки: «По закону, по которому ты вступила» (в мир), нелегко теряется то, что когда-либо было вложено в нас. Эта часть складывается различно у разных людей в зависимости от их своеобразия. Не знаю, так ли в поколении наших родителей, как в нашем. И у нас в каждом человеке по-иному. И если я правильно понимаю нашу молодую женщину, то и ей, как многим из нас, положен в колыбель наряду со многими другими также прекрасный дар вдумчивого самопогружения, а тем самым и внутренняя необходимость к этому. И я часто замечал у людей такого типа: в жизни и развитии брака у молодой женщины среди яркого сияния счастья — раньше, позже, когда-либо — наступали часы странного одиночества, которое не могла устранить ни сильная любовь мужа, ни любовь к нему. Это происходит в той или иной форме. Всегда это нечто охватывающее ее невидимыми руками: собственная природа, родина, все то, что ей обещало прошлое. Кажется, что она медленно опять соскальзывает на колею своей природы и предистории: «Такой ты должна быть, убежать от себя ты не можешь». «Стала ли я той, какой могла стать? И что же это было? Что дали мне наследие и традиция родительского дома? Посторонний может, пожалуй, напомнить ребенку дома, что этот вопрос придет, но тогда ему следует остановиться, ибо он не может осмелиться на него ответить. Вместо этого ему разрешено засвидетельствовать, насколько он может, что для него самого означали и означают эти родители.

Так мне должно быть дозволено прежде всего напомнить в этом кругу о глубоком почтении, испытываемом мной в течение стольких лет к той, которую мы сегодня видим под вуалью вдовы. Ее страстная потребность ясности и истины, ее решительное отклонение всех половинчатых решений и компромиссов, ее стремление к однозначным решениям, гордая уверенность, свойственная ее натуре, — все это коренится в сильном, суровом чувстве достоинства, — совершенно свободном от конвенциональности в точном смысле этого слова, — и в полной свободе от всякого страха перед людьми, что меня всегда ободряет среди всего, что нас в такой мере окружает. Это дало ей внутреннюю суверенность по отношению к жизни и также по отношению к страданию и смерти.

Быть может, совсем иным представлялся первому поверхностному взору тот, кто сегодня всегда и повсюду среди нас. Когда я

14 лет тому назад прибыл сюда в Гейдельберг, я пришел из несколько сложных условий и полагал, имея в виду то, что здесь происходило, что окажусь в гораздо более сложных отношениях, особенно в отношениях к человеку, о котором я говорю. Вместо этого я ощущаю сегодня благодарность за дружбу и дружескую верность старшего, в то время бесконечно более зрелого человека, какую я редко ощущал; эта верность оставалась неизменной в тяжелые времена, когда я сам не мог предложить другим ничего духовно — благодарность за эту дружбу затрудняет меня говорить о нем: она слишком, быть может приближает его образ к моему взору. Вскоре я увидел, что этот человек устанавливает прочные дружественные отношения с самыми различными, иногда трудными по своему характеру людьми, для которых эти отношения важны. Достаточно назвать двух, столь различных по своим натурам людей, как Эрвин Роде и Георг Фридрих Кнапп. Еллинек был человеком примирения в самом широком и лучшем смысле слова, человеком, всегда готовым принимать другого и идти ему навстречу, видеть вещи и людей с их разных сторон, оценивать реальности, осторожно взвешивать средства и успех и все сомнения, не склонным к односторонним предвосхищающим решениям и взглядам. И все-таки: темперамент, пути, границы были у него с его натурой ученого, несомненно иными, чем у очень занятой интересами своего пола представительницы феминизма, — однако в решающем пункте они были полностью согласны. Как Бисмарк говорил о «portepée»<sup>120</sup>, которой надо было коснуться, чтобы его старый император сразу реагировал, — так было и у этого как будто столь безгранично уступчивого и осторожно-го человека. Незабываемо, как он, не имея состояния, во время, когда все профессора жаловались и жалуются на злоупотребления министерств, не делал из этого серьезных выводов, принадлежал к тем немногим, отклонившим предоставляемую правительством профессуру, после нанесенного ему недостойного оскорбления. Так оно и было: решающий пункт, когда и у него склонность к примирению переходила в полную несговорчивость, находился там, где речь шла о вопросах, связанных с личным достоинством. Он шадил его у других. Я слышал, как он говорил о выдающихся ученых насмешливо, но никогда не позволял себе по дурной профессорской привычке высказываться о них дурно. Этого он требовал и по отношению к себе и настаивал на этом. Так он относился и к своим свершениям. Он не скрывал, что притязает на знание своего ремесла; и он действительно мог притязать на это. Сегодня в этом кругу речь ведь не пойдет о нем как об ученом. Но, быть может, именно мне позволено сказать, в какой степени в том, что мне было дано судьбой совершить, существенные



импульсы шли от его великих работ. Коснусь нескольких моментов: отделение натуралистического и догматического мышления в «системе субъективных публичных прав» для методических проблем, создание понятия «социального учения о государстве» для уяснения расплывчатых задач социологии, доказательство религиозного влияния в генезисе «человеческих прав» для исследования значения религиозного начала вообще в областях, где его обычно не ищут. И да будет мне позволено сказать еще и то, в какой степени я, как и многие другие, всегда ощущал как выражение совершенно специфической «глупости» людей и обстоятельств у нас, что этот человек, один из немногих в своей специальности имевший признание в мире, представлявший эту специальность в особой, только ему свойственной манере, человек, к которому каждый год стремился широкий и избранный круг учеников из разных стран, все-таки не был допущен к первым местам, которые он был достоин занимать, и таким образом его большой педагогический дар не был использован в широкой деятельности, а ограничивался нашим маленьким университетом — конечно, на благо университета и к удовольствию своих здешних друзей.

Он преодолевал это, ибо натуре этого человека, который с юных лет столько терпел от физических и психических сложностей, был свойствен юмор, его особый юмор, в качестве элемента сдерживающего значения. Конечно, не следует думать, что он был «остряком». Хотя таковым он также, безусловно, был в высокой степени. Когда случалось услышать его рассказы, пущенные в обращение и отшлифованные, нельзя было не оценить его высокое, даже чисто формальное художество в этой области. Мне известен у живых только подобный юмор Альфреда Дове — мне говорили, что и Йозеф Унгер обладал таким свойством — посредством которого он, как и наш друг, также был способен в полной концентрации, при строгом удалении всего не относящегося «к делу» выявить содержание подлинно комического, заключенного в ситуации или комбинации мыслей, и свести его в единство.

Но речь здесь пойдет о совершенно ином. Юмор не просто острова. Сервантес не насмешник — и его чувству всего гротескного как неизбежной судьбы чистого убеждения при попытке его осуществления в данных условиях существующего мира родственно духовное своеобразие нашего друга, о котором я говорю. Но этот юмор ведет в своих наилучших и высших выражениях к одной из последних позиций человека к жизни вообще. Ведь наши дела и страдания сплетены из осмысленного и бессмысленного и соединены в судьбу. И схватывая это последнее зерно жизни и представляя его нам, подлинный юмор в своем самом тонком смысле дарит нам далекий от всякой насмешки сильный, здоро-

вый и добрый, освобождающий смех. Такой смех мог дарить нам и наш друг в его счастливые часы. И за этим не скрывалась модная сегодня «романтическая ирония», ибо ни в нем, ни в его жене не было никаких признаков романтичности. В этом отношении он вообще коренился не в нашем туманном, фантастическом севере, но был внутренне «классической» натурой. Его родина вполне могла бы находиться близ афинского рынка, при его стремлении к ясности, которое также характеризовало, правда, совсем в других формах, его жену.

И еще последнее: Его происхождение и традиции семьи дали ему нечто от того тонкого аромата, который исходит от мягкого и зрелого восточного мира чувств. Мы думаем при этом не о большой чистоте и доброте в глубине его человеческой сущности — не только о том, следовательно, что блестящий драгоценный камень его духа был обрамлен таким чистым золотом убеждений, которое давало глубокую человеческую радость, невыразимую в словах. Мы думаем о том, наступающем после всех преходящих и исчезающих настроений, всегда возвращающемся в равновесие и парящем в нем своеобразно суверенном отношении души к миру, которое мы можем назвать в понимании античного Востока «жизненной мудростью». Когда он внутренне бывал в полном согласии с собой, в его лучшие часы, в нем светился мягкий луч этого отношения и из этого источника черпалось лучшее из того, что я имел в виду, говоря о его «юморе». И в таком понимании этот юмор является не только одним из властителей и победителей той повседневности, о парализующей силе которой здесь уже шла речь, но также одной из форм, из которой мы узнаем, что человеческое достоинство не должно покоряться даже мощи богов. Юмор этого типа сыграл свою роль и в удивительно сплоченном, счастливом браке, остававшемся с первого дня на своей вершине, пока быстрая, прекрасная и достойная смерть не разделила его в должное время, до того как болезнь или старость могли омрачить жене образ любимого с юных лет. Эту смерть он видел и принимал, вызывая зависть у нас, сегодняшних людей, разучившихся сохранять достоинство в собственной смерти и в прощании со смертью других. Не в его духе было бы, если бы мы сегодня пребывали в тяжелой грусти, вспоминая, что потеряли с его уходом из жизни».

# Картины путешествий

И в эти годы путешествия остались господствующей потребностью для Вебера. И если он иногда при нервном расстройстве грозил возвращением в трехкомнатную квартиру на главной улице, то только из опасения, хватит ли денег для его странствий. Постоянная необходимость в общении требовала разрядки в новых местах, так же как все еще неустойчивая трудоспособность. «Многочисленные вечера, посвященные болтовне, мстят. Макс плохо спит, очень расстроен и подавлен. Работать и расточать себя для нас несоединимо. Он должен уехать, чтобы выйти из этого состояния». Когда солнце надолго скрывалось, особенно весной, Вебер все еще говорил о своем будущем переселении в Италию. Помимо временного истощения силы мышления, причиной такого беспокойства была потребность проломить новыми впечатлениями повседневность, которая не предоставляла ему достаточно ответственных дел. Конец зимы он постоянно проводил по ту сторону Альп, теперь обычно один, и это время больше служило концентрации свежей силы, чем новых впечатлений. Иногда он занимался при этом физиологическими экспериментами: постился и голодал в течение долгого времени, чтобы проследить за действием этого, а может быть также чтобы удостовериться в своей независимости от материальных потребностей и повседневных привычек. В следующих отрывках выражено впечатление от его переживаний на юге.

\* \* \*

2.4.10: «Поездка в *diligenza*<sup>121</sup> в Сарцану шла через бесконечные сады олив, которые здесь повсюду, в большую бухту Магри. В самом этом старом гнезде, кроме готической мраморной церкви, красивой внутри, нет ничего достойного внимания. Но вид на покрытые снегом Апуанские Альпы, которые я в свое время видел с матерью, из Фьезоле вправо на Севере как завершение Альп над

тузовыми деревьями, виноградниками, зелеными полями овощей и зерновых, великолепен. Затем в коляске к впадению Магри, и в лодке, мимо предгорья назад. Море, может быть, показалось бы тебе слишком бурным, но зеленовато-белые гребни волн в их вечном натиске и движении при пасмурном небе были хороши; а затем проплыла пестрая флотилия рыбаков с их красными, желтыми, белыми парусами, что тоже было красиво. За ними лежали бесформенные, черные колоссы линкоров».

«Вчера после обеда я поехал на парусной лодке в Порто Венере — приятная поездка по белой кружевной вуали маленьких острых морских волн; но обратно плыть лодочник при усилившемся ветре побоялся и привязал нас к пустому грузовому пароходу, и маленькую, бросаемую в разные стороны лодку заливало огромными волнами, мы плавали в соленой воде и прибыли домой мокрыми до костей. Сегодня здесь опять дикий сирокко, рев ветра, проливной дождь, иногда солнце, попеременно тепло и холодно. Волны бьют до внутренней части гавани через улицу, пароходы сильно качаются, а военные корабли лежат глубоко в арсенальной гавани Специи. Красивое, полное зеленых кружев море. Все горы ощутимо близки, все краски переходят в зеленоватое. Птицы молчат. Зеленое, желтое, фиолетовое и резкое синее вперемешку определяют настроенность; море бешенствует в гавани».

\* \* \*

Вебе, 14.4.11: «Большое спасибо за две твои открытки — когда я утром приношу их в кровать, в комнату с ними всегда приходит маленький светлый луч. Здесь ничего нового. Сон умеренный. Справа от меня немец, который ночью в половине первого после шумной чистки зубов ложится спать. Недоверие Толстого к чистоте подкупает в подобной ситуации. Слева английский преподобный с женой, которой он ночью от половины 11 до половины 12 читает псалмы. Когда я в первый раз от этого проснулся, во мне пробудился со страшным шумом сатана. Наступила глубокая тишина. Затем чтение псалмов возобновилось приглушенно, но все-таки мешая спать. Погода прекрасная, хотя очень холодная. Преддверие весны, первая зелень. Но лежать спокойно здесь трудно. Полного счастливого внутреннего спокойствия, ощущаемого на юге, все-таки не хватает».

Вебер поехал дальше на юг, по дороге посетил в Турине своего молодого друга и коллегу Роберта Михельса, свои впечатления от этой встречи он выразил в нескольких строках.

22.4.11: «Ты будешь недовольна моим молчанием в течение полутора дней и моей скупостью на сообщения. Но в Турине я был почти все время у Михельсов. Их квартира мала: три маленькие комнаты и совсем маленькая каморка, нет комнаты для гостей. В остальном вполне удобно. Дети спят со служанкой, а старший мальчик на софе в упомянутой каморке. В первый вечер у них были трое итальянцев, во второй мы были одни и диспутировали до половины второго ночи. Фрау М. такая же красивая и грациозная. Он: господин главный лесничий в более *приятной* формулировке...<sup>122</sup>

Когда она высказала робкие сомнения по поводу игры с Манон в нарушение супружеской верности, — это было мне изображено, и маленькая озорница помешана на этом, — он был очень недоволен. Старший Марио очень нервный мальчик, часто мигает, он не силен, но очень мил и доверчив, по-видимому, очень добр. Манон — прелестная, нервная озорница, наивно кокетлива, ведет себя как актриса, нарушение брака она изображала блестяще по жестам, манерам и разговору. Но когда я сказал, что она станет актрисой, родители были *возмущены* морально! Самая маленькая, ей около четырех лет — прелестный, здоровый, открытый, здоровый, ясный, сильный, живой ребенок, которого трудно угомонить.

Дети все время играли вокруг меня. Михельс спросил их: кто — я, господин Лагардель или господин Гольдшейд — 1) красивее, 2) добрее, 3) приятнее и т. д. Я занял первое место только по таланту *играть*, больше ни в чем. Дети поразительно непосредственны в своем суждении. Конечно, с Михельсом мы вели длинные разговоры об эротике, об этом при встрече: сознание способности покорять якобы сохраняет молодость...»

Алассио, 21.4.11: «Я устроился здесь в совсем маленьком итальянском ресторанчике, у самого моря с прекрасным шtrandом. Это гнездо чудесно. Наес est Italia, Diis sacra!<sup>123</sup> Надо всегда сразу приезжать сюда. Женевское озеро все-таки еще совершенно северно. Уже 8 дней я живу весело в сердцевине жары. Ночью спал хорошо. Море шумело, я слышал его в мою широко открытую балконную дверь и теплый ветер овеивал меня. Здесь все радостно, как всегда в Италии. Твой 47-летний старец горячо тебя целует».

«Сегодня чудесно. Становится опять жарко, но не так душно, как вчера, когда я поехал в зеленые горы. Большей частью я лежу

в горячем песке на штранде у albergo<sup>124</sup>. Сплю при широко открытой балконной двери. Восход сегодня, когда солнце поднималось из моря, был сияюще прекрасен. Великолепная порода людей: все парни так красивы, красивее девушек. У osteria<sup>125</sup> в теплом море в 18° купаются маленькие карапузы, несколько очень грациозных молодых французов и женщины, среди них очень красивая хозяйка. Потом все валяются в песке и долго бродят по штранду. Серьезным, делом, кажется, никто не занят».

\* \* \*

Эгбелль (Прованс), 9.3.12. «Я лежу целый день либо в лесу пиний над морем, либо в плетеном шезлонге на балконе, ничего не читаю, поэтому сплю сносно, хотя очень беспокойно, ем мало. О Германии ничего не известно. Из здешних газет нельзя даже сделать вывод, что она существует. Все погружено в серый туман и исчезло. Кажется, ушел из мира и временно это благотворно. Придет ли сегодня тоже милая открытка от тебя?»

«Здесь все также чудесно. Солнце и свежий воздух. Цветов, правда, мало. Преобладают горы с простыми, низкими пиниями, кустарником, мимозами и т. д., все очень просто и серьезно и совсем не пышно. Впрочем, в отеле есть ребенок, который способен в течение 18 часов реветь как орган на низких регистрах в фонографическом воспроизведении — я констатировал это, когда мало спал и провел весь день в доме. *Это* ведь превосходит все достигнутые твоими упражнениями в разговорах свершения, или ты теперь и это можешь? Ведь в конце марта ты опять читаешь доклад?»

«Если бы здесь были фиалки или другие мелкие цветы — но между мимозами и пиниями рассеяны только крупные цветы юга с толстыми стеблями, которые невозможно положить в письмо — я бы вложил несколько в это письмо, которое попадет в твои руки в день нашей помолвки и выразит тебе благодарность за всю безмерность любви и счастья, которые в течение 19 лет(!) — неужели прошло уже столько времени? — ты давала мне и которые делали меня в хорошие времена радостным и свободным, в дурные держали над водой и прежде всего: сохраняли внутренне молодым, это я чувствую все время и также теперь здесь, хотя весна в сущности, не лучшая часть года жизни... Теперь я тебя обнимаю и много, много раз целую. Как прекрасно вспоминать, как сложно жизнь действовала, сводя нас друг с другом! Она должна была иметь в виду нечто особенное — впрочем, она этого и достигла» (21.3.12.).

«Все ли еще у вас весна или она опять пришла? Здесь разгар лета, надо сказать: ночью лежишь при лунном свете на песке у

моря и теплый ветер обнимает за шею, как рука любимой... Вчера на Кап Негре я был до наступления ночи; было несказанно прекрасно на этих густо покрытых растительностью скалах с их головокружительными тропами над морем. Совсем как Вилла Сербеллони, только там вдали Альпы, а здесь море и Иберийские острова. Конечно, Сербеллони еще красивее, но там еще очень холодно. Так солнечно и тепло, как здесь не может быть нигде в это время, разве что на юге Испании. Время от времени возникает желание посмотреть на какой-нибудь город вблизи, но затем это желание проходит».

«Я поеду сначала в Марсель, а оттуда в зависимости от погоды опять в Прованс: в Арль, Ним, Тараскон и, может быть, в один из старых пришедших в упадок «дворов любви» трубадуров, затем в Авиньон. Вчера я еще раз совершил вечернюю прогулку по красивой прибрежной улице при дуновении сирокко, как в летнюю ночь. Краски здесь так сдержанны в их строгой простоте, и теплый ветер юга, который действительно «нежно шумит вокруг нас», доставляет удовольствие. И тогда очень радуешься уединенности этого места. Нет ни машин — ничего. Только — слишком дорого. Я предполагаю в будущем году Рим или Афины, и тогда с тобой».

\* \* \*

«Большое, большое тебе спасибо за твое милое субботнее письмо, душа моя, которое пришло вчера. Но что за большого зверя ты всегда из меня делаешь! Благословляю мою судьбу, подарившую мне все это без всякой моей заслуги и хочу только чтобы она дала мне способность выразить такую же *очевидную* любовь» (26.3.12)

Эг-Морт (Прованс) 31.3.12.: «Город мертвых вод лежит в неза тронутom средневековье — он был основан крестоносцем Людовиком Святым — у загнивающих сегодня болот, совершенно одиноко в дельте Роны. Прямые улицы, прекрасно сохранившиеся нетронутыми стены и башни, до отказа полная церквушка, украшенная в вербное воскресенье, в которой хорошо поет хор девушек. Все дети с ветками лавра и мимозы — царит странная, далекая от мира тишина в некогда таком значительном месте. Вчера после обеда я совершил большую поездку из Арля через то радостный, то серьезный Прованс в Старый «двор любви» сеньоров Маурики в Ле Бо близ Арля, расположенный на диком каменном конусе, возвышающемся над замкнутой толстыми серыми каменными стенами — совершенно такими же, как их видят, проезжая из Бургоса — долиной. Здесь некогда в средние века было 3600 жителей, теперь — 100. Город лежит в руинах; его сеньоры были величай-

шими в Провансе, составляли центр трубадуров, один из них стал императором Константинополя. Прекрасный вид на Прованс с белоснежными и пыльными от извести улицами, белоснежными известковыми стенами, вечерняя поездка через тихую местность при сильном, теплом ветре — все это было красиво. Затем Арль, амфитеатр и Рона в лунном свете, улица римских могил: там в течение четверти часа видишь саркофаг у саркофага прямо вблизи дороги — как гробы в Помпеях, помнишь? Мертвых оставили внутри в проходящей жизни. И вообще эта римская улица в радостной, но настолько меньшей, современности. Все это было красиво и я *очень* им наслаждаюсь. В будущую весну поедем вместе в Грецию, правда? Сегодня вечером Ним, завтра Монпелье, затем Авиньон».

«Магелон у Монпелье, 2.4.12. Итак, теперь достигнут самый отдаленный пункт этого кругового маршрута. Видны вдали приветствующие Пиренеи, но только слегка. Эта церквушка, основанная прекрасной Магелоной из народных книжек Г. Шваба, расположена совершенно одиноко на дюне у моря среди пиний, она окружена морем с одной стороны, а с другой большими соляными болотами. Это последний след старого греческого города с гаванью, захваченного Каролингами у сарацинов, — совершенно покореженное строение, обвеваемое бушующими ветрами этой, после Голландии наиболее ветреной местности Европы. Но в дюнах растут виноградники, удобряемые содержанием ночных горшков рыбаков. Вид вечером и вечерняя настроенность поразительны: коричневые, фиолетовые и светло-зеленые тона, однако при невероятно сильном ветре с моря очень холодно».

Монпелье. «Сегодня утром я видел картины Курбе в музее, лучшем после музеев Парижа и Лилля во Франции. И здесь пейзажи очень напоминают Бёклина. Помимо этого в Монпелье очень красивый дворец, окруженный рвом с водой, у входа акведука в город, вчера при лунном свете это было замечательно».

(Елене) «В Южной Франции я несколько отдохнул, по крайней мере настолько, что могу сносно работать, зимой мне это плохо удавалось. Видел много красивого в этой замечательной стране, особенно в подлинном Провансе, по которому я еще 8 дней ездил и ходил. В этой наносной изменчивости Роны, кажется, больше всего ветров на земле, даже в Голландии их меньше, и она, подобно Голландии, плоская, как тарелка. Однако какая разница! Вместо голландских лугов и скота на протяжении миль соляные болота, сменяющиеся степью с виноградниками на огромном пространстве. А в них теперь мертвые города средневековья в полной красе их огромных крепостных стен; далеко вдали горы самых



фантастических форм, на которых расположены развалины старых «дворов любви» трубадуров на недоступных каменных конусах высокого плоскогорья. Очаровательно приветливое население, прекрасное освещение во второй половине дня и вечером и великолепные памятники искусства, начиная с римского времени до поздней готики. Только непрерывный, безумный северный ветер, от которого поля защищены густыми сплетенными из тростника заграждениями или кипарисами, может иногда довести до отчаяния...»

## II

Весны 1913 и 1914 гг. Вебер провел в местечке у одного из северо-итальянских озер, предоставлявшем убежище ряду странных людей, отделившихся от буржуазного общества: анархистам, людям, порвавшим с цивилизацией, вегетарианцам и другим современным сектантам, которые хотели осуществить здесь свои идеалы и создать таким образом ячейку нового устройства мира. Туда же удалились сторонники ученика Фрейда, анархисты и коммунисты. Они здесь полностью исходили в своем существовании из своих идеалов: прежде всего свобода от всех унаследованных норм — они жили в бедности и лишениях, но обретали зато неповседневное: душевные приключения, борьбу за самоутверждение в существовании полном трудностей разного рода. Происходили тяжелые конфликты, вызванные не условностями, а естественными причинами, особенно болезненными для женщин. Сложный процесс произошел из-за ребенка; этот процесс длился годами и без участия Вебера вероятно окончился бы не в пользу матери. Вебер месяцами занимается этим делом, инструктирует адвокатов в длинных руководствах, лично беседует с ними, находит свидетелей, в общем вновь использует все свое рвение и остроту мысли. Одновременно он поддерживает другую угнетаемую женщину в таком же трудном и длинном процессе развода. Были созданы горы актов и писем, и в этом случае желаемая цель также была достигнута только благодаря энергии Вебера. Импульсом служат ему братская готовность помочь и радость борьбы, наградой благодарная дружба и ознакомление со своеобразным миром совершенно по-иному ориентированных людей и с последствиями их действий. Кое-что из переживаний в Л. сообщается здесь: «Когда я вчера возвращался с почты, у двери дома ко мне подошла белокурая женщина с белокурыми и темноволосыми детьми — конечно, это Дора. Мы поздоровались, она рассказала мне о графине, а затем о своих детях. Она живет, кажется, в моем доме. Дети со служанкой наискось у гавани. Ее теперешний муж, «анархист»,

еще сидит в цюрихской тюрьме. Она одинока и чувствует потребность поговорить».

«Сегодня холодно, но немного солнца после бесконечного вчерашнего дождя. Я встал поздно, после средне терпимой ночи сижу в моей большой комнате на третьем, собственно, четвертом, этаже и гляжу на круто поднимающийся садик у дома и на озеро. В комнате две кровати, стенной шкафчик, комод, старый продавленный Prahlhans, большая софа, большой стол, жестяной умывальник, ночной столик и несколько древних мягких стульев, электрическая лампа, древние олеографии, зеркало, стоячая вешалка, желтые стены. К комнате принадлежит маленькая кухня, W.C. и ванная — все в целом в конце этажа. Следовательно, все, что нужно «счастливой любящей паре» здешних детей природы, которые в лучшем случае иногда варят овсяную кашу. Перед домом шоссе, по нему можно спуститься в маленький, пышно цветущий, одуряюще благоухающий фиалками садик у озера. Птичий двор, маленькая лодочная пристань. Владелец — *avvocato e notaio*<sup>126</sup> — каждый день в своем бюро. Его жена, некогда несомненно красивая, еще теперь очень статная, по типу зажиточная крестьянка, убирает комнаты вместе с *serve*<sup>127</sup>, бегаёт на почту, короче говоря, по своему статусу то же, что сеньора Q. в трактире местечка. Это подлинное грязное итальянское гнездышко, только трактир культивирован живущими здесь итальянцами. Кухня в сущности слишком хороша для меня. Утром я ем печенье и сушеные фиги. Все это можно легко достать в лавке для детей природы. Вообще я живу, питаюсь овсяным кексом, финиками, фигами, апельсинами, раз в два дня хожу обедать к Q., но несмотря на это я не похудел».

«Пришли мне книгу Лукача («Формы души»). Я могу ее здесь прочесть. “Мари Донадь” я прочел и передал ее Доре, которая мне за это дала новую книгу графини: швабский *Schlüsselroman*<sup>128</sup>, где действуют Георге, Вольфскель, граф Адриан и она сама. Написано хорошо, но все-таки только для интересующихся Швабией. “Мари Д.” написана превосходно, в ней есть глубина и тонкость, очень высокий уровень критики эротики, лишь конец несколько поверхностен: путешествие по Персидскому заливу ведь не представляет собой достаточное выражение богатства и величия *внеэротической* жизни. Но я прочту эту книгу еще раз. Много деталей я не усваиваю, так как мой запас французских слов слаб, очень слаб. При здешнем собачьем холоде — я пишу посиневшими пальцами — я вчера просидел несколько часов у Доры перед камином. Ей очень хочется выговориться. На прошлой неделе она посетила своего друга в тюрьме. Он также полон религиозной веры в свободное от ревности общество буду-

шего, — действительно «свободное», «внутренне освобожденную любовь». Она несколько теоретизировала на эту тему. Но когда я сказал: 1. Благородно *действовать* при ревности прекрасно, *но* как можно считать рыцарственным позволить человеку, перед которым так «виновата», предоставить *все*; 2. Не *каприз* ли это ради безумной душевной растраты сил? У нее вырвалось: Да, это ужасно и совершенно безнадежно... Помочь ей нельзя, так как отношение к этому человеку решает все. Пока это длится, она не входит ни в какое гражданское окружение, не из-за самого факта, а вследствие связанных с ним обстоятельствами и потому, что ее держат на высоте только внеповседневность и меняющиеся переживания».

«Погода сегодня сумрачная и мягкая. Красиво, когда линии гор просвечивают в серо-серебряном освещении, и еще красивее, когда в длинных вечерних сумерках медленно сдвигаются оттенки на серо-стальном фоне. Может быть, я сегодня еще раз пойду в Л. или перенесу это на завтра в качестве празднования дня рождения. Ведь, Бог мой, я же вступаю в мой 50 год! Не могу даже поверить, ведь я еще так странно молод! Или это только твоя молодость, сердце мое, которая меня обманывает? В качестве подарка ко дню рождения поставим на оба цементных столба у моста к саду деревянные ящики, в которые можно поместить красивые горшки с цветами — это мне внезапно пришло в голову, не знаю почему».

«Дора еще хочет мне сказать, что я не должен думать о ней — это конец. Вчера у нее вырвалось (сыну): Да, да, ты уж это заметишь, когда женщины не захотят, чтобы их дети играли с тобой. Вчера она мне опять очень понравилась своей честностью. Многому учишься все-таки! — Хотя все это понятно само собой...»

«Только что получил твое милое прекрасное письмо (ко дню помолвки). Милая моя, все, что ты в нем говоришь обо мне, ведь только прекрасное «сочинение» твоей большой любви. Я сам не могу видеть себя такими большими красивыми глазами, как это делаешь ты, и поэтому все сказанное здесь более «заданное», чем «данное». Но все равно — теперь не время исследовать, что из этого правда и что — нет, а просто радоваться красоте, которая делает возможным возникновение таких «сочинений». Надеюсь, что мне всегда будет удаваться, по крайней мере, не превращать их в ложь и сохранить твоей душе способность продолжать «сочинять». Тогда сочиненное будет «истинным» в такой степени, в какой нам, людям, дана в этой области истина...»

Вчера вечером и сегодня утром я съел пару апельсинов, больше с вечера пятницы ничего. Кроме этих потрясающих мир фактов мне сообщить нечего. Мы напряженно ждем сообщений адвоката и взвешиваем возможность услышать от судьи: «Если она порвет отношения с Карлом, ребенок останется с ней». Это она хотя бы формально сделает. При этом ей странным образом совершенно ясно, что он не останется здесь надолго, и совершенно не знает, что с ним впоследствии будет. Он все время ждет момента большого внутреннего озарения, когда он совершит нечто великое, пророческое. Все вращается вокруг его осуждения, это почти пугает. Дора также сочла — если быть уверенным в абсолютной злобе как основе общества — непонятным, *как* «переоценены» им эти идеи. В остальном он хочет, чтобы добро и любовь к ближнему достигли совершенства посредством акосмизма *эротики*. Я уже сказал Доре, почему это невозможно, и она согласна, что подлинное следствие — толстовская аскеза, к которой он все время склоняется».

«Здесь дела еще на полном ходу. Вчера я диктовал комментарий к процессуальным письмам. Сегодня я набрасываю мой отзыв об анархисте Карле, который графиня получит завтра перепечатанным на машинке. За это я ей с нечистой совестью составил просьбу об освобождении ее сына от немецкого гражданства (военная обязанность). Надеюсь, что это ни к чему не приведет и ему придется служить... Друг Доры обладает *глубиной*. Но неспособен выражать даже простейшие мысли. Тюрьма так на него подействовала, что он не может прийти к заключению в своих размышлениях о значении добра. Что *результат* хороших действий так часто оказывается совершенно иррациональным и добрые поступки ведут к дурным последствиям, заставило его сомневаться в том, что вообще *надо* исходить в своих действиях из «добра»: оценка нравственных действий должна исходить из *результата*, а не из их собственной ценности. Прежде всего он не видит, что в этом его ошибка; я постараюсь достать ему «Братьев Карамазовых» и потом когда-нибудь диалог Лукача о бедных духом, где эта проблема рассматривается».

Цюрих, 9.4.14. «Теперь возвращаюсь «домой». Если называть так этот мир волшебниц, грации, козней и жажды счастья, пока там не совершенно все, что еще должно быть совершенно, то мучения были не напрасны. Я должен сказать: после этих значительных, в определенном смысле «человеческих», но *лишенных основы* впечатлений мира, построенного только на сенсации, своего рода оазисом чистоты — иначе назвать это невозможно — была вчераш-

няя поездка в Уфену с этим совершенно другим в своей сдержанной и нежно мечтательной манере, производящим такое «благородное» впечатление ребенком (М. Тоблер)».

«Погода прекрасна, весна в разгаре, все цветет и зеленеет. Вчера вечером здесь была пасхальная процессия с лампонами, изображениями Христа и т. д. Все иллюминировано свечками и лампочками, живые картины Благовещения на улице перед кафе — при этом полнолуние! Это было волшебное! Все настолько иное, чем у цюрихского озера. Там «культура». Маленькие домишки на зеленой лужайке высоко, вплоть до гор, пробираются во все мельчайшие складки, повсюду человеческое сердце, с его страданием и радостью, а на заднем плане высокие великаны-горы. Здесь наверху деревни приклеены как часть природы. Люди открыты, как она — и так же замкнуты, как она, не указывая за свои пределы — они красивы, но *также* менее человечны, лишены интимности, как обнаженный акт — также подобно жизни здешних людей: без заднего плана, но не без гордости и формы. Да, я несомненно симпатизирую Доре, потому что она осталась самой собой, но этим воздухом я не мог бы долго дышать. Графиня меня совершенно не интересует. Передай привет матери — интересно, что бы она сказала!! Тысячу раз, любимое дитя, тебя обнимает твой заброшенный в странные сказочные миры Макс».

«...Маленький Вальтер, впрочем, пластически одаренный ребенок. Его определения людей очень хороши: «Кто это был, Вальтер?» — «Это была Гина». — «А кто такая Гина?» — «Та, у которой нос течет, когда она приносит молоко в горшке», — надо ли знать больше о девушке?

«...Сегодня отправлен ответ на иск. Опять длинный документ. Надо надеяться, последний такого рода... Вчера Дора вела со мной длинный разговор о «лжи». Она никак не могла понять, почему Н. не может, будучи свидетелем, просто солгать. Государство ведь не друг, а проф. Х. враг, поэтому оба не могут требовать истины от нее и от ее друга. Притязать на истину ведь может только *друг*, больше никто. Я объяснил ей, что по отношению к человеку, который стоит на этой точке зрения, я никогда не мог бы быть уверен, «друг» ли он, за которого себя выдает. Потом она захотела знать, по этой ли причине я держусь от нее на такой дистанции? Я сказал, что причина заключается в моем опыте. Я способен вполне хорошо относиться в определенных обстоятельствах, как она и сама могла заметить, к специфически «эротическим» женщинам, но сам внутренне никогда не связал бы себя с ними и не рассчитывал бы на их дружбу. Ибо я, как оказалось, не гоюсь в друзья таким женщинам, для которых ценность имеет в сущности только эротический мужчина. Длительности и прочности их

даже очень субъективно ощущаемого товарищества я бы никогда не доверял, ибо опыт показывает, что и при доброй воле слова и чувства теряют свое значение при первой же проверке. Это ее не очень устраивало, но так и осталось».

«Сегодня рано утром я пошел к Дельте — при облачном небе и покрытых облаками темных горах она была в ее красе невероятно впечатляюще. Деревья теперь уже больше не линейны, как на картинах Эрнста Гундольфа, луга полны цветов; кругом красные цветы персиковых деревьев, расцветает сирень. Но за мной из сводчатого грота своего дворца кралась нимфа Калипсо в золотой одежде, — чтобы избежать встречи с ней, ибо она не подходит к этому месту, я пошел быстрее, повернул направо, затем налево, — наконец она увидела, что Одиссея нельзя догнать и вернулась назад, но, рассерженная, послала мне грозу, которая промочила меня до костей, превратила мою шляпу в грустную маску и погнала меня галопом домой. Но все-таки было очень хорошо».

\* \* \*

Примером того, как Вебер поддерживал свою приятельницу, могут служить следующие выдержки из его писем к ней.

«Что бы Вы ни делали, будьте совершенно уверены, что против попытки отнять у Вас детей есть средства, и я предоставляю Вам любую мыслимую помощь, в том числе *решительное насилие*. Вы всегда можете обратиться ко мне в Базель, также и Ваш друг, и я изложу Вам положение дела, если он сочтет это полезным».

«Будьте уверены, что я помогаю Вам *так*, как *Вы* этого хотите, поэтому Вам не следует сердиться, если я советую неправильно, а достаточно просто сказать: «Вы осел». Тогда я либо соглашусь с этим, либо нет! но не обижусь... Думаю, что проф. Х. применительно к Карлу потребует, чтобы он и Вы с детьми жили в отдельных домах. Полтора года тому назад я предлагал Вам подобное, ибо тогда Ваш противник ничего не мог бы сделать. Вам и ему придется *выбирать*. Сделав выбор, Вы никогда не услышите от меня: «Ваш выбор был неправилен». Я только советую: выбирайте трезво и спокойно».

«...Я еще раз вынужден сказать то, что в принципе надо было давно объяснить: это избавило бы меня от многих внутренних трудностей, а Вас от некоторых моих порицаний. Видите ли: в Ваших письмах я все время нахожу замечания, которые свидетельствуют о том, что Вы полагаете, будто я допускал или старался затруднить Ваши отношения с Карлом, или становился на сторону тех, кто хотел разорвать эти отношения. Милая фрау Дора, — это единственный пункт, который мог бы стать опасным для нашей дружбы, если

Вы серьезно так считаете после того как я в течение ряда недель дружественно общался с вами обоими. Чтобы положить этому конец, я хочу со всей ясностью сказать: Вы хорошо знаете, что именно это отношение создает самые большие трудности. Не отношение такого рода само по себе. И не «анархизм», а прежде всего *беззаботность* Карла. Мне нет необходимости говорить вам обоим, какой видят холодные чужие люди эту ситуацию. Надо знать людей, чтобы правильно судить о них. Ни Вы, ни Карл — разрешите мне открыто сказать это — просто не можете требовать от чужого, чтобы он видел ситуацию, как я ее вижу и видел еще до того как я в этом году был в Л. А из этого следует для отношения третьих лиц *все*. Поэтому я в свое время советовал прибегнуть к уступке: полное разделение хозяйств, если это возможно.

Ибо тогда сетования Вашего свекра потеряли бы всякую силу. *Дважды* я Вам это советовать не мог, так как под вопросом здесь ваши общие сокровенные обстоятельства. Почему все это? Потому что в Л. я все время был в фатальном положении вынужденный *умалчивать* о своем подозрении и хотя все то, что мы делали, — и как охотно делали! — было связано с тем, чтобы избавить Вас от выбора между отношением к Карлу и к вашему ребенку. «Не думает ли она в конце концов, что он предпочел бы нас в разлуке друг с другом»? А это невыносимо... И теперь Вы, милая фрау Дора, не будете больше получать не устраивающие Вас письма и мучительные для Вас сообщения. Ибо все, что меня удручало и что было трудно высказать, я выше сказал. Оставайтесь благостно и дружественно настроенной к Вашему — *не всегда удобному* — несколько неловкому Макс Веберу».

«Моя дорогая фрау Дора! Теперь ведь все в полном порядке, а Вы видите призраки! Вы сказали в суде *правду* и имеете возможность ее дополнить, следовательно, путь свободен. Следовательно, Вы объективно действовали правильно, и никто ничего не может Вам сделать, это совершенно исключено, и я чувствую большое облегчение. В настоящий момент Вы не можете справиться с этим, но постепенно это придет. Как бы мне хотелось быть теперь у Вас или прийти к Вам. Однако я не могу. Мы навестим Вас в сентябре, Марианна и я. Вскоре напишу больше. Сейчас пишу только, чтобы просить Вас быть совершенно спокойной. Я рад, что Вы покончили с этим делом таким образом. Тем самым все в полном порядке».

### III

Вебер удовлетворял свою потребность видеть произведения *культуры* преимущественно в совместных путешествиях в конце лета.

Возможность показать другому красивые творения повышала его радость. Летом 1910 г. целью была Англия. Путники были одухотворены величием норманско-готических соборов. В отличие от немецких соборов, окруженных теснящими их домами, здесь собор свободно возвышается на ровном ковре газона в торжественной дистанции от повседневности. Кентерберийский собор относится к самому возвышенному, когда-либо виденному ими. Человеческий ли дух создал это творение, человеческие ли руки сотворили его? Человеческий ли дух так предметно представил непостижимое или Бог сам создал с помощью своих слуг это место своего пребывания? Ах, какая бедность, какая глубокая печаль отдаленности от Бога в только художественном возвышении современных людей.

Иным образом потрясло путешественников место рождения Шекспира: старинный городок, где реликвии гения использовались в делах. Грохот автомобилей и торопящиеся люди в них прогоняли погруженность, личностная жизнь поэта оставалась анонимной. Но темная река, извивающаяся под серебряными плакучими ивами, еще шептала о сладостном страдании Офелии. И там в боковом нефе старой церкви, где покоятся останки высокого духа вместе с останками его жены и дочери, завеса немного поднимается. Там висит последнее изображение лица человека, который сознательно отрекся от своего творчества, который завершил свое творение раньше, чем ушел из жизни.

В остальном путешественников больше всего занимало, как и несколько лет тому назад, распределение земли. Она повсюду принадлежала знатным землевладельцам, и если хотелось бросить взгляд на грандиозное зрелище Атлантического океана с высокого скалистого берега, то путь преграждала решетка парка и вход оплачивался в определенные дни и часы. Целые территории, как, например очаровательное Кловли на западном берегу, были «собственностью», а в отдельных участках обнаруживались дворцы, дикие парки которых, изъятые из всякого хозяйственного пользования, расширялись до княжеств. Владельцы их приезжали лишь на несколько недель в год на охоту — площадь, которая могла бы давать хлеб ста тысячам, давала занятие нескольким сотням слуг. В этой пустоте не слышны были жалобы; те, кто могли бы жаловаться, давно были оттеснены в кварталы для бедных огромного города и не годились больше для обработки земли. Свободный крестьянин был уничтожен. Каким осмысленным по сравнению с этим представлялось так сильно занимающее Вебера аграрное устройство собственной страны.

После утомительного разнообразия впечатлений путники с радостью вернулись домой и были счастливы, найдя там такую кра-



соту: «Солнце светит, его мягкий, голубой осенний свет покрывает гору и реку перламутровым сиянием; оно стирает все мелочное и придает формам величие и тишину. В саду уже осыпаются отдельные листья, в беседке роз дикий виноградник уже краснеет, но несколько астр еще распустились».

\* \* \*

Зимой Вебер обычно проводит некоторое время в Берлине, чтобы продвигать коллективные работы, содействовать деятельности «Социологического общества» и быть в курсе политических событий. При этом он каждый раз глубоко погружался в искусство. В начале 1911 г. он больше всего внимания уделял музыке. В некоторых письмах сохранилось кое-что из этого. Художественные впечатления более поздних лет также приводятся здесь: «Бетховен, I симфония, затем “Дон Кихот” Штрауса (он дирижировал сам, причем замечательно); это сумасшедшая вещь, полная остроумия и красочного звучания, но не имеющая вечной ценности. Затем в качестве отдыха симфония Гайдна В dur, все это днем и вечером еще раз, что очень рекомендуется. Королевская капелла, которая дает в год только 7—8 таких концертов — превосходный оркестр. Вчера в Бетховенском зале филармонии был также Зиммель, и музыка, что было очевидно, проникала все его существо. Он несомненно очень музыкален, и его чувство красок тоже очень развито. Его собрание одноцветных китайских ваз достойно внимания».

«Как жаль, что мы здесь не вместе. Вчера великолепно были исполнены 5 бетховенских сонат для фортепиано и виолончели, opus 5 и затем opus 102. Весь Бетховен заключен между ними, от непосредственного, радующегося колоратурам музыканта гайдновской школы до одиноко прислонившегося к скале, глубокого, страстного и сдержанного человека, который противопоставляет всему великолепию мира глубокий, звучный, серьезный голос: «Да, это прекрасно, я знаю, что в этом есть — но также, чего в нем нет».

«Вчера была «Саломея» (Уайльд — Штраус). Что подобное вообще может быть сделано в музыке, — великое дело, хотя красочность тонов доходит до мелочей. Но это гениально и отнюдь не непонятно, кое-что просто очень хорошо, использование духовых просто замечательно. Публика молча вышла из зала, разбитая и как бы пойманная в дурном деле. Сюжету придана посредством Уайльда отвратительность. Теперь я с интересом жду последнего, что мне остается услышать: «Смерть и просветление» Штрауса».

«Ланселот в камерных спектаклях Немецкого театра был чистым провалом. II акт. Начало: кровать à la средневековые в беспорядке, рыцарь у окна, освещенный утренним солнцем, зовет свою возлюбленную, жену короля Артура, посмотреть на утреннее солнце. Из кровати, барахтаясь, вылезает в длинной рубашке белокурая девица и заявляет: она не та, которую он желал целовать — она ему подsunута верными руками вместо королевы, она любит его как «истинная» «небесной любовью» и т. д. Это Рейнхардт и составитель Штуккен называют мистерией! А сморкающаяся публика сидит в удобных креслах клуба и думает о Кемпински. Вчера был филармонический оркестр: Мендельсон, Лист, два очень современных русских композитора, затем «Смерть и просветление», очень хорошо. Не всегда глубоко, но с поразительными музыкальными средствами во внутреннем понимании».

«Вчера музыка была прекрасна — прежде всего обе песни Анзорге, особенно одна, композиция на стихотворение Демеля; она возвышалась как монументальная величина между красивыми и интересными, но сжатыми и несколько разорванными произведениями Гуго Вольфа. Маленькая Тоблер аккомпанировала блестяще, между сопровождением певцов она играла Моцарта и Шопена, последнего особенно замечательно. И физически она так грациозна и одновременно решительна и сильна, что видеть ее доставляло удовольствие».

«Вчера с матерью слушали «Фигаро». И она опять проявила такую чистую радость! Действительно: эта музыка настолько облагораживает щекотливую и частично бурлескную тему, что *все* очищается и остается только «хоровод» по ту сторону всякого содержания. В противном случае мать — и бабушка, которая раньше пела своим тонким голосом песни Керубино — не могли бы так наслаждаться этим, отвергая всякую эротическую музыку».

Май 1916. «Вчера — Стриндберг: безрадостно. Индрас, дочь небесного Бога земли, прилетает на землю и проживает все бедствия людей и всю их глупость. Много красивых отдельных картин, но все — «проповедь» и к тому же слабая техника и сентиментальные грубые средства: старческое произведение. Но это не самое странное, а то, что теперь, в такое время, билеты распроданы на 40 представлений подобной пьесы. Собственно говоря, это почти непонятно и огорчительно».

«Вчера — «Товарищи» Стриндберга: незарегистрированный брак — резкая критика женского движения, ослепительная игра, блестящий диалог, искажение сюжета забывалось из-за радости, даруемой художественной точностью. Забавна публика — много фронтовиков и мещан — *какое* облегчение и *какая* радость муж-

ской части публики, когда дурная эмансипированная женщина терпит полную неудачу!» (Май 1916)

\* \* \*

Летом 1911 г. Веберы впервые решили основательно познакомиться с сокровищами Мюнхена. Они доверились руководству их друга, разбирающегося в современном искусстве, доктора Груле; он знал все и умел небольшими указаниями сделать понятным и чуждость самых новых в то время направлений, как, например, картины группы (die Scholle). Именно здесь в введенной Гильдебрандом пластике делалась попытка сохранить спокойное и композированное в архитектурном пространстве движение линий классических образцов, тогда как в живописи господствовало направление, для которого все предметное, включая человека, имело значение только как отражение света и краски и исключало всякое иное смысловое содержание. В театре восхищали остроумная, самоирония шницлеровской фривольности и вакхическое чувственное удовольствие от переданных режиссурой Рейнхардта пылающих красок оперетт Оффенбаха. Возвышенное восприятие вызвало высокое искусство «Мейстерзингеров». Здесь чувствовали себя в храме немецкого духа. Ни одна страна не одарила ведь мир такой одухотворенной чувством музыкой и не сумела в такой степени открыть своеобразие глубочайших сокровищ души отдельной нации и одновременно сделать их понятными всему культурному миру.

Стояло чудесное лето, солнце благословляло все. Красивые здания чисто очерчивали свои линии в кристальном воздухе и южном блеске, как это дано иногда только *этому* немецкому городу. Заимствованные из Италии архитектурные контуры поэтому так подходят ему и вызывают радость сочетанием немецких и итальянских стремлений в искусстве и гордость величием созданного немецкими зодчими. Вебер в дороге писал матери: «Мы были 8 дней в Мюнхене. Галереи, художественные салоны, архитектура, «Мейстерзингеры», Оффенбах в цикле Рейнхардта. Из местностей: болота, долина Изара, озера – посетили вместе с душевно тонким и любящим этот прекрасный уголок, как свою родину доктором Груле. Затем провели 8 дней, очень тихо и спокойно, здесь в прелестном местечке, расположенном у Штарнбергского озера в стороне от всех машин, с видом на Альпы над водой, красивыми серьезными берегами и замечательными местностями, пересеченными болотами и лесом. Теперь мы возвращаемся в Мюнхен, а затем поедem в Париж».

После отдыха у Штарнбергского озера в Париже пошла настоящая «работа». «Макс полон безграничной восприимчивости и

энтузиазма. Я обычно не могла ему следовать, иногда только незаметно устраивалась на его крыльях и предоставляла ему брать меня с собой, не из-за того, что можно было увидеть, а из-за *него*, то есть чтобы быть душевно с ним. Он так чудесен в своей свежести и духовной жадности. Только иногда он несколько раздражается из-за неподатливости вещей, трамвая, который не приходит, когда он ему нужен, медлительности обслуживания при трапезах и т. п. Да, Вебер часто нетерпелив, он хочет все видеть, все усвоить — французскую музыку, ибо он обдумывает свою работу по социологии музыки, современную живопись и пластику, так как хочет когда-нибудь написать социологию, охватывающую все искусства. Но он способен и вне стремления к творчеству полностью погрузиться в этот мир, одушевленный только желанием по возможности больше понять в нем. Знакомство с картинами в Мюнхене было правильной подготовкой для более чуждого и большего мира. Спутники быстро оценили мастерские работы Моне и Мане, Дега, Ренуара и как они еще там именуются; постигли потом также Сезанна, Гогена, Ван Гога. Лишь восхищение художника, который провозглашал «научный способ живописи» и пытался поймать свет в радужных точках, они предоставили жадным до «самого нового» американцам. Ван Гог был понят с трудом, но затем потряс сильнее всех. Следует ли принимать как выражение мира эти резкие краски, эти насильственно введенные в плоскость пространства, эти в отчаянии грозящие небу ветви деревьев; эти мертвенные автопортреты, из которых пристально взирают темная судьба, несказанное страдание? Этого они не знают, но чувствуют в нем величие и страсть одиноко борющейся, до предела напряженной души, которая стремится выразить в линии и краске земного явления видение трансцендентного.

Напрашивались разного рода сравнения между действующей в прекраснейшем немецком городе культурой и французской столицей в качестве центра мировой культуры. Живописи Мюнхена образцом служило — это спутники сразу заметили — несравненное мастерство французов. Но парижский театр, несмотря на его художественное совершенство, уступал, по их мнению, театру их родины. Морализирующий пафос классической трагедии уже не производит впечатления, современный артист ведет себя в ней, как в маскараде, даже красоту языка торжественной героической риторики портила слишком быстрая речь. Затем непосредственно наряду с этим как выражение современной чувственности каждый вечер в ряде театров сладострастно-сентиментальная смесь драм о прелюбодеянии; только символические сказочные пьесы Метерлинка чисты и серьезны. *Высокое* современное искусство они и в Париже нашли только в произведениях Вагнера и других

немецких мастеров. Вообще в ряде отношений этот город не давал ничего нового, например на выставке ремесел не было ремесленного искусства для формирования бюргерской повседневности, как в Мюнхене, а только типичные воспроизведения линий рококо и будуарных красок *ancien régime*. Перенесенные из их рамок в бюргерские жилища, они производили неестественное и холодное впечатление. И повсюду вплоть до пригородов на улицах господствовали дома, похожие на изысканные здания бульваров, которые только кое-где пресекались уродливыми подражаниями современным иностранным стилям.

Следовательно, пусть немецкий город низводится в сравнении с этим великолепным старым сосудом королевской и императорской власти до провинциальной красоты, — зато он являет себя молодым, воплощает в себе немецкое становление и борьбу за новую форму, тогда как метрополия мировой культуры, полностью расцветшая и перезревшая, правда, сохраняется, но уже ничего еще скрытого не выражает. Правда, богатство и напоенная прошлым красота этого города, пожалуй, непревзойденны! Как весело играют солнечные лучи, просвечивая через ветви деревьев на мостовой бульваров, как радостно шеголяет Люксембургский сад веселой толпой гуляющих людей, как неслыханно праздничен в мягком синеватом осеннем сиянии Bois de Boulogne (Булонский лес) с его дорогами упряжками лошадей и грациозной элегантностью, равную которой нигде больше не увидишь, и что только не предстает перед тобой у элегантных кафе! Прежде всего несравненная культура вкуса парижанок, которая свела всю толкотню на улице в скромные темные тона — неуместной казалась здесь стремящаяся на улицу радость красок тогдашнего немецкого платья. Как они восхищались естественной грацией танцующих швей в *Moulin de la galette*! Путники не причастны к этому основанному на формальном совершенстве миру — но они охотно восхищаются им и черпают из него. Вебер пишет об этом Елене: «Париж был праздником. Две первые ночи еще принимал снотворное, как у Штарнбергского озера почти каждую третью ночь. Потом ни разу. При этом: чего мы только не видели и не слышали! Да, бездельничать и видеть красивые вещи — это хорошо. Но хорошо, что есть и иное».

\* \* \*

Путешествуя по другим странам, Вебер не хотел пренебрегать сокровищами родины. Когда ему об этом напоминали, он обычно говорил, что это можно будет возместить в старости — тогда на это будет время. Однако летом 1912 г. он решил остаться в Гер-

мании. Он с женой и с музыкантшей М. Тоблер, с которой они были дружны, посетили вагнеровский фестиваль в Байрейте, осмотрели Бамберг и Вюрцбург. Вебер говорит: «Я хочу еще раз послушать великого чародея в хорошем исполнении, в сопровождении дружественной нам пианистки, так как у меня к нему очень двойственное отношение. Наряду с большим восхищением его мастерством отвращение ко многому неподлинному и деланному. Хочу удостовериться, что возьмет верх. Байрейт и Парсифаль были разочарованием. Театр оставался театром. Кое-что в музыке воспринималось как пустая сладость или нечистое смешение чувственности и христианской символики. Ни минуты не ощущалось благоговение богослужения, как в выдающихся произведениях Баха, Бетховена, Листа. Убедительны были в отличие от этого истина и величие Тристана, которого мы слушали в Мюнхене». Не впервые. Они слушали Тристана еще молодыми супругами в Берлине, но как бы не воспринимая, — в сопровождении немзыкального кузена, который явно страдал. Они также скучали. За прошедшее время их художественное восприятие всесторонне расширилось, а дружественная им музыкантша мастерски подготовила понимание произведения. Это помогло им полностью войти в его экстаз и воспринять как высшее просветление земного.

И в остальном город доставлял много вдохновенной радости: выставка ремесел в красивом оформлении преисполняла их гордостью за немецкое уменье: «Мы наслаждаемся музыкой и картинами, Тристан и Маре на этот раз завоеваны. Другой мир исчезает, власть имеет только красота. Когда светит солнце, праздничный город полон радостного веселья. В воскресенье тысячи теснятся в прекрасном выставочном парке. На каждом углу музыка и зрелища на любой вкус и степень культурного развития. Приятно было видеть там и мелкий люд. Способность восприятия Максом опять удивительна. Он носится, как гончая, смотрит и не может остановиться, вечером его всегда приходится насильно уводить из кафе, и он все время в хорошем настроении». Вебер сам писал Елене следующее: «Вюрцбург был хорош, Бамберг бесподобен, Байрейт оставил сильное, но не однозначное впечатление. Парсифаль — произведение, в котором уже не выражено во всей полноте мастерство Вагнера, а предположение, что это следует воспринимать как религиозное переживание, необходимо, конечно, отвергнуть. Это просто смешно. *Così fan tutte*<sup>129</sup> Моцарта через 2 дня здесь в столичном театре было погружением в чистую красоту, несмотря на флигельный сюжет. Тристан же вчера был просто велик, как редко бывает, — исполненный большой человеческой правды и невероятной красоты музыки. В нем нет внечеловеческого и надчеловеческого дополнения. Он и «Мейстерзингеры», кото-

рых мы слышали здесь в прошлом году, единственно действительно «вечное», созданное Вагнером. А потом другое, картины Фейербаха у Шака, маленькие картины Швинда там — и многое другое в этом благословенном городе с его несравненным очарованием».

\* \* \*

Осенью 1913 г. состоялась еще одна — последняя — совместная поездка в Италию. Они были в Ассизи, Сиене, Перудже и затем после многих лет опять в Риме. По пути они встретили Адольфа Гарнака, смотрели кое-что вместе с ним и радовались его мудрости, гармоничности и духовной грации. В Перудже их захватила глубокое благоговение перед картинами с золотым фоном. После этого большинство из того, что предлагало позднее итальянское искусство с его большими возможностями выражения воспринималось внешне. В Сиене они шли по следам святой Екатерины. Какое чудо человечности: душа, в которой экстатическая сила любви была так же сильна, как героическая энергия, политический инстинкт так же верен, как наивная непосредственность подлинной женщины! Восхищались они и церковью, которая сохраняет с той же наивной разумностью реальность своих святых образов — разве не подтверждает мумифицированная голова этой женщины — как она ни уродлива — более очевидно, чем любое сообщение, что она была, есть и будет?

Ассизи был как раз переполнен процессией немецких паломников, мужчин и женщин из различных слоев общества. Не все участники этого шествия знали, почему их сюда привели — это что, курорт? спрашивали некоторые простые женщины; других привлекла дешевизна поездки, услышали, как толстый паломник, который, потяя, поднимался по крутой улице, сказал с чисто берлинским произношением: «Отпущение своих грехов я с таким же успехом могу получить в Лихтерфельде, как в Риме». Но многие воспринимали то, что они здесь видели, как действительность и так волновались, глядя на большое красиво вырезанное распятие, будто это мертвый Христос. Да, церковь извлекает большую выгоду из святого Франциска, который, считаясь едва ли не еретиком, видел свою миссию в том, чтобы противопоставить растущему земному блеску полную бедность, смирение и любовь первых учеников Христа. Будто осужденная Мефистофелем, над его крошечной часовенкой пышно возвышается огромная церковь паломников, холодное белое строение, памятник контрреформации. Однако замечательные картины ранних мастеров, украшающие старый, названный именем Франциска собор, дышат подлинным благочестием. Среди всего этого преизбытка потрясали больше

всего сверхземное величие Мадонны Чимабуэ с ангелами и трогательным образом Франциска, прелестна и возвышенность святой Клары Симоне Мартини и далекая от мира Богородица Лоренцетти, которой поклоняются Иоанн и Франциск. Эта преисполненная тишины картина, которая дышит полным погружением в мистику, захватила спутников, потому что они снова со всей силой осознали то, что было безвозвратно утеряно в их эпоху. Вне церкви также веял дух святого Франциска: белый город, подобный кружевному воротнику вокруг голой горы, все высоты каменные и неплодородны, лишь далеко внизу серо-зеленый ковер олив — на узких улицах непобедимая бедность.

Рим уродливо изменился. Новые постройки навязчиво выступали, прежде всего холодный, белый с золотом мраморный памятник: выражение и символ объединенной Италии. Победная аллея в Берлине действовала не хуже. Будто сделанный кондитером, он разрушал не только древнюю *Piazzе Venezia*<sup>130</sup>, но, что еще хуже, придавливал и заслонял, сдвигая все размеры, лежащий за ним Капитолий. Новый Рим осмелился встать в качестве парвеню рядом с древним, и его строители не обладали вкусом, хотя ежедневно видели образцы, которым они стремились следовать. Возвышенная пустынность Кампаньи также была оттеснена. Взору представляется вспаханная земля, посаженные деревья, новые белые домики, — вызывая удовлетворение экономиста и гигиениста и представляя собой незаменимую утрату для того, кто хочет безответственно наслаждаться красотой и ароматом прошлого. Но в конце концов из современной повседневности все-таки вынырнули древние реликвии, и они действовали теперь едва ли не сильнее, чем раньше. Прежде всего и на этот раз опять древняя аллея гробниц, которая прямо и бесконечно ведет из шума современного Рима в молчанье Кампаньи. Некоторое время ее провожают как почетная гвардия ряды молодых кипарисов, затем в разных местах стоят только старые пинии, как тихие сторожа у провалившихся могильных холмов, бросая синие тени на тихую улицу, которая больше не служит живым. Куда ведет она? Какова ее цель? Для взора — это синие горы, которые служат границей этой картине и одновременно указывают на то, что лежит за ними. Здесь природа образовала удивительное единство с введенными в нее монументальными руинами. Все картины казались подобием, все близкое и дальнее имело таинственное значение: величие прошлого, сохранившееся лишь в остатках, все-таки продолжало действовать через тысячелетия — и в равной степени потрясало как символ преходящести и символ вечности.



## Глава XV

# Мать

Бросим еще раз взгляд на Елену. Вечер ее жизни богат своей полнотой и приносит все новые задачи, радости, заботы. В ее не похожем на здания большого города домике с крошечным садом она живет теперь одна и свободное время дня составляет ее растущую потребность. Но у нее мало одиноких часов — разве что рано утром и поздно вечером, когда все спят. Дети из других городов, племянницы и племянники часто пользуются ее гостеприимством, а напротив находится дом Моммзенов, в котором живет многодетная семья Клары. Материнство Елены не прекращается. Она принимает деятельное участие в семейных делах обеих своих дочерей. Почти всем внукам и внучкам она помогает найти свое место в жизни. В уходе за родильницей она настолько ловка и опытна, что даже зять, врач по специальности, склоняется перед старой школой. В этом непосредственном служении и участии она всецело в своей стихии — и что обычно редко происходит — уверена в своем умении и радуется ему. И такие тихие недели, в которых она в большом напряжении и занятости хочет только одного — охранять пламя жизни, благословенны близостью и любовью дочерей и зятя.

Молодое поколение теперь полностью признает значение и своеобразие матери. Дочери, на которых в период их становления она иногда оказывала давление, видят теперь в ней недостижимый образец. Для подрастающих внуков также приходится многое делать и продумывать — одни только многочисленные дни рождения и Рождество! Елена хочет лично одаривать больших и маленьких детей и мучается в каждой поездке вопросом о «подарках» всем ее подопечным. Она пытается также посредством совместного чтения ввести внуков в свой духовный мир. Вновь достают отца Гомера, «Историю Фридриха Великого» Карлейля, Фрица Рейтера. Превосходные рассказы дяди Брезига всегда вызывали взрывы веселого смеха. Прежде всего она помогает, когда дочерям необ-

ходимо отдохнуть, тогда она в течение ряда недель занимает их место и полностью входит в их хозяйство.

И *какие* ловкие и прилежные эти старые руки, все вместилища для починок становятся пусты. Так молодая жизнь держит ее в вечном движении. Но и взрослые сыновья хотят ее помощи. Кажется даже хорошо, что все они бездетны — и так уже во многом приходится разделять их судьбу. Это беспрестанное жизненное служение могло бы заполнить ее дни; когда после 60 лет появились различные физические недомогания, в первую очередь в членах, на которые падала главная нагрузка, дети пытались удерживать ее от множества дел вне дома. Но тщетно, так как со времени своего вдовства она рассматривает уже раньше начатую социально-благотворительную работу как «профессию».

Чем только ни занималась она в течение многих лет! И всегда она чувствует потребность облегчить жизнь более бедных братьев, никогда она не теряет надежду помочь им и морально. Так, чтобы воспрепятствовать потреблению алкоголя, на дверь дома в зимнюю стужу вывешивается объявление: «горячий чай». Почтальон, молочник, булочник и любой, кто мерзнет при выполнении своих дел, приглашаются таким образом зайти и погреться. Или: задолго до образования комитетов помощи она готовит на своей плите еду для родильниц-пролетарок и помогает им по дому. Вследствие долголетнего служения она обрела глубокое понимание нужды неимущих и когда началась организация общественной помощи, могла давать всесторонние указания. Она входит в число матерей Шарлоттенбургского приюта для юношества, пытающегося посредством надзора во внешкольное время и любовного внимания охранять пролетарских детей всех возрастов от испорченности нравов большого города; и посредством частной инициативы молодых сил эта организация стала постепенно выдающимся учреждением. Какую радость доставляет ей, когда семена готовности помочь произрастают и дают хорошие плоды. Ведь так важно все время привлекать к службе новых добровольцев и внушать молодым женщинам имущих классов чувство социального долга. Основанный с ее участием Шарлоттенбургский союз домашней помощи также очень близок ей. Он предоставляет пролетарским женщинам поддержку после родов, прежде всего оказывая им помощь по дому. К основным принципам Елены относится требование, чтобы муж сопереживал трудные часы в жизни своей жены, чтобы первый крик ребенка и все полное забот счастье его первых дней воспринималось бы и отцом. Если же роды происходят вне дома, то вся тяжесть ответственности отца не осознается им. Елену возмущает, что пролетарий часто требует половых сношений с нуждающейся в покое женой или во вре-

мя ее пребывания в клинике заводит «подругу». Она уверена, что он лучше бы владел собой, если бы в его душу проникло понимание тяжести женской судьбы и общее потрясение в борьбе между жизнью и смертью объединяло бы родителей в неповседневных переживаниях.

В доме Елены есть место, где хранится все необходимое будущим матерям и грудным детям (от овсяной крупы до детских колясок), и уже это объясняет, что в ее доме постоянно циркулируют люди. Со временем к этому добавляется многое другое, прежде всего Шарлоттенбургский благотворительный центр. Это *ее* идея — объединить разнообразную и рассеянную благотворительную деятельность и руководить ей из одного центра. Какой многосторонней и лавинообразно растущей становится эта задача! Стремящиеся к самостоятельности и настороженно относящиеся ко всем новшествам объединения следует ввести в русло общей работы, найти социально подготовленные силы; создать, где необходимо, новые организации. Подобная организация труда с должностными и добровольными помощниками необходима также потому, что многие подопечные общества пользуются, как оказалось, благотворительностью ряда организаций, тогда как другие стыдятся обращаться за помощью в своей нужде. Все разбросанные источники помощи должны быть соединены в сеть каналов и действовать так, чтобы каждый нуждающийся получал свою долю и никто не поощрялся бы в желании попрошайничать. Предпринятая Еленой попытка, вскоре поддержанная городским управлением, послужила образцом для других подобных центров в больших городах.

Поскольку она придает большое значение поддержке нравственной энергии и чувства чести, она очень старается помочь немощным и слабым возможной для них работой. Это особенно трудно, так как для этого нужен не только предпринимательский дух — им Елена в значительной степени обладает — но и деловой опыт, которого у нее нет. Но кто смеет, выигрывает! Женщины ободряют друг друга, объединяют свои способности и охотно воодушевляются стремлением Елены. У нее столько опыта, она всегда так радостна, причем сама старается оставаться в тени, занимаясь самыми неприятными сторонами дела. Так благодаря общему порыву создается много нового: нуждающимся женщинам достают швейную работу и помогают им с ней справиться. Для безработных мужчин устраивается «комната переписки». Любимое занятие Елены — собирание обломков. Восстановить и вернуть для пользования все предназначенные к уничтожению сломанные вещи — лишний балласт — имеет для нее особое очарование. Скольким пролетарским семьям это помогло усовершенствовать

их хозяйство. Когда вначале для этого хлама не было помещения, она забирала все к себе и занималась неприятной работой по извлечению того, что можно использовать, из груды грязного хлама. Никакие усилия для нее не чрезмерны, никакая работа не ничтожна — пусть другие работают головами, она все еще хочет служить руками и ногами. Она много ходит для других и охотно берет на себя пробелы в общей работе. То, что представляется скучным более молодым, она совершает, по ее утверждениям, особенно охотно. Задачи, с которыми те еще не способны справиться, например, воздействие на пьяниц, не желающих работать, или грубых мужей, она решает с наивной непосредственностью. Энергичная филиппика «фрау городской советник» часто достигает успеха и вызывает уважение — многие решительно призываемые к порядку грешники видят, вероятно, в ней должностное лицо. Чем-то подобным она в конце концов действительно становится: Городское управление Шарлоттенбурга вводит ее в 1904 г. — первую женщину Пруссии — в Учреждение по попечительству о бедных. Там она находит среди городских советников понимающих ее друзей и представляет им многое под новым — женским углом зрения.

Она *энергично* спорит с начальством, когда речь идет о нарушении бюрократических требований в интересах отдельного человека. Она входит в попечительский совет «Бюргерского дома», который служит неимущим старикам последним пристанищем в их существовании. Там действует запрет брать с собой собственную мебель. Елена находит это распоряжение бесчеловечным — женщины действовали бы иначе, если бы обладали властью. Она тщетно борется против этого. Но один раз ей все-таки удается добиться нарушения этого предписания, и престарелая пара принимается со всеми своими реликвиями. Ей никогда не представляется неважной судьба человека, и она не шадит усилий, чтобы защитить его и думать о его благополучии. С некоторыми из ее подзащитных она неразрывно сближается. Как радует ее ощущение искры Божией в душах обездоленных! Но и ясное понимание, что существует бесчисленное множество недостойных, помочь которым нельзя, не разочаровывает ее. Когда 16-летний воспитанник приюта вновь убегает от своего попечителя, она берет его к себе, заставляет каждый день вставать в 6 часов и регулирует расписание его дня. Лишь через год она убеждается, что не может направить его на правильный путь. Ежегодно происходит спор с детьми, так как в разгар лета, когда все стремятся выехать из жаркого города, Елену нельзя уговорить — кто же будет именно в это время заботиться о нуждающихся? Ее часто огорчает, что чувство долга и служебной чести недостаточно устойчиво в это время года — и она

во всяком случае не хочет подавать дурной пример. Впечатление от ее деятельности оказывает большое влияние на ее сотрудниц и вызывает все время сочувствие ее детей. Марианна пишет об этом следующее: «... Что было бы невозможно, с чем нельзя было бы смириться? Только жизнь мамы казалась мне за пределами всякой возможности. Маленький дом беспрестанно дрожит от телефонных звонков. Она ведь разрешает каждому обращаться к ней в любое время дня, с ней в сущности вообще *всегда* можно говорить, она считает невозможным быть недоступной людям хотя бы один час в день. Таким образом ее дом — голубятня для «бедных душ» и «благодарных любимцев». И то количество дел, какие эта старая женщина совершает с утра до 12 часов ночи вызывает такой *стыд* у нас, что я ей всегда шутливо говорю — жить с ней вместе невозможно, так как при этом можно потерять всякое самоуважение. И она ничего не делает механически, во всех ее действиях пульсирует жизнь, все полно ее душой. И самое удивительное: несмотря на эту препятствующую душевной концентрации мелочную деятельность, которая заставляет ее соприкасаться с такой нуждой, она открыта для красоты и радости и очень свежа в своей восприимчивости. Это я снова пережила, когда мы вместе видели «Много шума из ничего» — этот молодой восторг от непосредственной чистой радости! Она действительно освобождалась этим от всех тягот. Она — *святая*, которая обеими ногами стоит в мире земного и теперь, когда ее жизнь соответствует ее натуре, она радостно смотрит на мир и здорова».

И самой Елене Марианна говорила: «Я вновь почувствовала себя полностью погруженной в неисчерпаемое море твоей любви — есть только *одна* такая мать! Что самой *никогда* не стать такой, правда, вызывает стыд. И если тебя иногда несколько попрекают за строй твоей жизни, то этим хотят только освободиться от того, чтобы быть раздавленным чувством своей неполноценности. Да, так оно и есть. Что телефон управляет твоей жизнью, я, правда, не могу одобрить, это варварство. И что старая женщина, развлекая своих служанок, не ложится до 1 часа ночи — тем более. Но *все остальное!*»

Ей все время приходилось повторять, что она представляет собой для людей, ибо сама Елена была очень далека от удовлетворения своими действиями — как некогда, она и теперь ставила себе постоянно чрезмерные требования. В молодые годы, когда она с трудом справлялась с теснящими ее личными притязаниями и страстями, она часто мечтала о старости, времени свободы и внешней тишины. Теперь же ее собственная активность создает все новую борьбу и напряжение. Ее душа молода, но орудия уже не всегда повинуются требованиям ее воли. Восприимчивость памя-

ти ко все время наступающему новому слабеет. Она страдает от этого, как от личной вины: она все делает неправильно, старая голова больше ни к чему не годна и т. д. На физические страдания она, улыбаясь, не обращает внимания — даже не хочет, чтоб ее спрашивали о них — но падение силы духа заставляет ее решиться на последнее и самое тяжелое отречение.

Когда родные — взволнованные страданием Елены от ее состояния — умоляют ее отказаться от части ее работы, она не соглашается. Это кажется ей, пока длится день, невозможным. Именно *ее* работу, непритязательную деятельность там, где другие оказываются неспособными, ведь никто не возьмет на себя. И она не хочет согласиться с тем, что одно ее существование — эта никогда не направленная на себя сила любви — значит больше, чем ее деятельность. Поэтому единственным выходом для облегчения ее нагрузки сочли новую задачу, временный переезд в Ганновер к ее неженатому сыну Карлу, здоровье которого уже некоторое время было неустойчиво. Покинуть свой дом, свою работу, свой круг и привыкнуть к новым условиям жизни было для Елены тяжелой жертвой, но она была к этому готова и уехала весной 1914 г. на неопределенное время. Но до этого она отпраздновала свой день рождения.

В апреле 1914 г. Елена завершила свой 70-й год. Она стала действительно старой женщиной, несколько согнулась. Ходить по твердо мощеной улице становится ей все труднее из-за тяжелой болезни ног. Но в остальном ее быстрые энергичные движения еще полны грации и силы. Гладко причесанные волосы остались каштановыми и иногда маленький локон падает на морщинистый лоб — озорство, которое и вообще озаряет ее серьезность. Большой нос благородной формы господствует теперь на узком овале и придает ему значительность. Глаза сияют сердечной добротой, а рот, придающий лицу грусть, когда он закрыт, способен еще весело смеяться. Она легко возбуждается, темпераментна, подтверждает и отрицает с силой. Она старается понять и чуждое ей по характеру, новое, даже прометеевский протест Богу находит в ней место. Только скепсис, неприятие нравственного закона она, молча покачивая головой, отвергает. Когда ее что-либо захватывает, пламя молодости загорается на нежной белой коже, и каждая черта этого взволнованного лица свидетельствует о богатстве глубоко прочувствованного существования, а также страдания от собственной и общей недостаточности; страдальческое отречение и благочестивая покорность.

Подготовленный для нее праздник смущает ее скромность. Должна же она хоть раз почувствовать, что она значит для людей. Из посеянной ей любви для нее расцветает яркий чудесный букет —

это было паломничество. То, что не могли высказать слова, выразили музыка и стихи. Круг друзей подарил ей золотое сердце в качестве подобия ее собственного. Оно наполнено золотом — теперь она может жертвовать! Утром в кругу семьи поцелуй и объятия детей, позже еще в темноте духовное пение сотрудниц Дома попечения, затем заказанный младшим сыном Елены, офицером, военный оркестр — депутация союзов и города, подопечные и друзья. Казалось едва ли не немилосердным так волновать юбиляршу, но как она могла устать, она думала только о том, как полными любви словами выразить каждому свою благодарность. Марианна писала ей позже об этом дне: «... Приятно было почувствовать, что в *одном* люди все-таки бывают справедливы и устройство мира осмысленно — в том, что на любовь отвечают любовью. Правда, возвращенная тебе любовь из худшего металла, чем твоя, это я твердо знаю. Твоя любовь истинно священна, так как она никогда не ищет своих интересов. То, что ты получаешь от всех нас, детей земли, с нашими эгоистичными нечистыми душами — это земное. Но и оно имеет прекрасный теплый блеск, и то, что мы тебя так любим и почитаем, оставляет свои следы и в нас».

Среди детей Елены, окружавших ее в тот день, не было только ее старшего сына Макса. Он был в отъезде на юге и не мог приехать по важным причинам. Однако тем отчетливее он видел образ матери. Он протянул ей сильную руку и то, что он мог выразить письменно лучше, чем устно, — толкование ее сущности и судьбы — одарило ее так же щедро, как могло бы его присутствие:

Аскона, 12.4.1914. Милая мама! Мне, конечно, странно, что я теперь так далек от тебя, хотя мне трудно было бы устроить все иначе. И совсем нелегко сказать в такой чуждой обстановке то, что думаешь. Мне трудно поверить, что со времени моих самых ранних эрфуртских воспоминаний, связанных с тобой, прошла почти половина века — с тех пор, как я всегда видел в гравюре Сикстинской мадонны (тогда «главное украшение» маленькой квартиры) тебя и в характерной нескромности в качестве младенца Иисуса на твоих руках — себя, а братьев и сестер — ангелами; когда для меня кроме родителей вообще существовали лишь тетя Монте, директор правления железной дороги а.Д.<sup>131</sup>, «Софихен», Тидес. И когда ребенку все действия родителей казались так же понятны, как он сам был понятен им. Как бы все произошло, если бы мы навсегда остались в старом гнезде? Ибо очень многое из всех тех проблем, из того тяжелого, что случилось потом, было следствием перехода в берлинскую атмосферу, особенно после того как старые друзья первого времени, Фриц Эггерс, Юлиан Шмидт, Фридрих Кнапп, один за другим ушли из жизни, а Хобрехты постарели. Это исчезнувшее и забытое поколение бюргерства, исто-

рия которого никогда не будет написана, стоило того, чтоб его знали, и оно приносило в дом убеждения, образовавшие противовес чуждости атмосферы большого города, которая действовала и на отношение детей, во всяком случае сыновей, к родителям, если дети были, подобно почти всем нам, нервными, легко поддающимися влиянию и склонными к замкнутости мальчиками. Первые тяжелые испытания в твоей жизни, также смерть Эленхен, я еще совсем не ощущал вместе с тобой, ибо интеллектуально я достиг зрелости рано, во всем же остальном очень поздно, как ты знаешь. Напротив, это было начало тех лет, когда дети, особенно сыновья, приносят родителям, в первую очередь матери, горе и заботы и становятся ей совершенно недоступны — и у меня это проявлялось значительно сильнее, чем бывает обычно, и значительно сильнее, чем ты, как я часто замечаю, сегодня помнишь; впрочем, вероятно, хорошо, что все это забыто! Потом пришло время студенчества и новые тяжкие заботы, как я хорошо знаю, обо мне, на которые я отвечал только отчуждением.

В эти годы часто случается, что подрастающие сыновья особенно не склонны открываться матери, так как они ощущают потребность быть «самостоятельными», и несмотря на это чувствуют свою недостаточность, знают, что забота и предупреждение матери вполне *оправданны*, и именно то, что она права, они не могут перенести. Я хорошо знаю, что в первые начинающиеся тогда трудные годы для тебя было большим разочарованием, что вернувшийся после отнюдь не во всех отношениях радостного времени студенчества сын был в очень незначительной степени, а вначале вообще не был тебе опорой. И меняться это стало лишь очень постепенно — и тогда не без того, что я нес вину за ряд легких и тяжелых ненужных обострений ситуаций и скорее затруднял, чем облегчал для тебя ситуацию вплоть до последних лет.

Но все же в конце концов все улучшилось, и если не ты, то я познал на себе в определенной мере все счастье и тепло, возникшее вследствие этого внутренне и не только *запомнил* это на всю жизнь, но и еще одно: То, что более 20-ти лет цветет между мной и Марианной, никогда не сложилось и не выросло бы, если бы я не познал твою жизнь, тяжкую вовне, прекрасную внутри, как это мне удалось тогда. Ибо я легко мог стать *совсем* другим человеком. Позволь передать тебе благодарность за это прежде всего от Марианны. И у других твоих детей, поскольку они были моложе и не сразу пережили многое с таким же сознанием, это происходило, не одинаково, но у каждого пришло раньше или позже, у каждого по-другому, для каждого в его жизни и его столь различных проблемах вело в том же направлении. Вероятно, редко какой-либо



матери приходилось воспитывать столь различных и трудных детей, детей, для которых гармоничность в общении *друг с другом* была так затруднена. Однако если ты оставишь в стороне некоторые проявления напряжения, которые и теперь еще не вполне устранены, но в сущности не имеют *никакого* значения, если сбросить со счетов то, что принесли каждому неизбежные или самим созданные судьбы — то, обозревая их существование, ты должна, глядя назад, сказать: все они жили и живут, и будут дальше жить так, как стоит прожить жизнь.

Поэтому этот день со всеми воспоминаниями прошлого трудного времени и всеми мыслями о внешних и внутренних трудностях, которые всегда возникают вследствие данных условий и несколько сложного своеобразия всех участников, все-таки день *очень* большой *радости*. Для меня, во всяком случае, надеюсь, что и для тебя. «Она делала, что могла» — применимо к часто трудным, в последнее время вдвойне трудным отношениям к нашему отцу. Сегодня все мы несомненно оцениваем его справедливо, после того как все тяжелые столкновения забыты, радуемся тому, каким он был в своем, необычном прочном и чистом бюргерском понимании; мы знаем, что надломы в его жизни были трагедией всего его поколения, которое никогда не могло осуществить свои политические и иные идеалы, никогда не видело свои надежды свершившимися и воспринятыми молодым поколением; оно утратило прежнюю веру в авторитеты и все-таки продолжало авторитарно мыслить по ряду вопросов, по которым *мы* уже так мыслить не могли. Его жизнь была бы тяжела без твоей, несмотря на все противоречия постоянно бодрствующей любви. И я думаю, если — случайно — ряд тяжелых испытаний выпал ему именно на последние годы жизни (собственно, скорее полное их осознание), то сегодня он думал бы так же, он знал это и тогда.

Но с тех пор пришло многое в безграничном богатстве, в совместной жизни с дочерьми и внуками и в необозримой работе вовне. Если ты теперь на время ее прервешь ради человеческого долга, и часть ее окончательно передашь в другие руки, — знаю, что это очень трудно и боюсь, что ты в этот день будешь не столько с радостью вспоминать прошлое, сколько с известным опасением глядеть *вперед* в будущее. Но подумай о том, как важно, *что* ты внутренне способна вообще принять такое решение, что мы внутренне решились ждать этого от тебя!

Какая женщина в таком возрасте нашла бы силу это совершить? По сравнению с этим отдельные моменты и все остальное ведь мелочи: то, что у тебя была такая *воля* и ты использовала ее, решает. Но несомненно одно: Ты станешь этому сыну тем, чем ты

была обоим старшим, а также младшим детям, и он будет Тебе всегда так же благодарен, как мы все.

Здесь все пышно зеленеет и цветет. Я однажды писал Марианне, почему я так люблю весну на юге. Она не бешеный мальчик, который шумит, проносясь через поле и лес, вызывает повсюду восторг и песни, расковывает бурные ручьи и пробуждает все влечения. Она приходит в строгих формах в стилизованную местность, и свежая зелень и цветы, которые она приносит, подобна легкому венку, возлагаемому на голову зрелой женщины. Это весна, которую и люди могут таить в своем сердце, люди, несущие полстолетия на своей спине, как я или как Ты, еще несколько больше — (немногим, ведь ты была еще совсем молодой, когда родила меня). О том, что эту весну всегда можно иметь, я думаю и *благословляю* Тебя, дорогая мама, с сильной старой любовью из глубины моего сердца.

Твой Макс.

## Глава XVI

# Служба

Продуктивная сила и активность Вебера невзирая на периодическую усталость теперь так постоянны, что иногда кажется, что только мрачные воспоминания о тяжелой болезни препятствуют его полному выздоровлению. Близкие ему люди часто думали: «Хоть бы его подхватила какая-либо большая волна и поставила в центр жизни!» Лето 1914 г. господствовало во всем своем великолепии. Академическая молодежь устроила в теплую Иванову ночь праздник в горном лесу. Увенчанная сводом огромных деревьев лужайка освещена факелами. Они играют здесь художественно совершенно комедию Шекспира и затем прыгают через костер. Зрители прижимаются к теплой земле леса. В июле проректор университета Эберхард Готейн дает праздник в Шветцингене: вновь открытое веселье и отточенные остроты всемирного поэта звучат в устах и жестах сияющей юности. При праздничном послеобеденном солнце перед греческим храмом в качестве фона — впечатление было едва ли не сильнее, чем при освещении факелами, и празднество беспрепятственно завершилось на аллеях княжеского парка. Люди двигались легко и свободно в сиянии лета, довольные своим мусическим духом — земля была прекрасна.

Некоторое время спустя — в последнее воскресенье июля «зал» Вебера был полон частично теми же людьми: молодыми и старыми друзьями, но теперь под иным созвездием. Они теснились, никто не обращал внимания на другого. Зло — убийство в Сараево — породило новое зло — каково будет его значение? Все последнее десятилетие грозит беда. Однако дух еще изменяет различные возможности развития мира; ведь облака войны уже не раз нависали так же грозно и устранились; быть может, удастся и на этот раз. Люди еще играют ужасом, лишь отчасти отстраняя его; разве освобождение от напряжения, неистовство элементов, приключения, крах упорядоченного мира — разве это не будет одухотворяющим и не освободит скованные силы?

Да, что бы в предчувствии не потрясало души, *возможность и действительность разделяет бездна*, и никакое предчувствие не преодолевает ее. Все эти напряженные люди окружают в эти часы Вебера — ему задают бесчисленные вопросы на все темы и час за часом ждут его ответов. Свое самое значительное детское переживание, начало войны 1870 г., он перенес в то же время года в том же помещении. Вспоминая, ему кажется, что тогда настроение было другим: торжественнее и праздничнее. Решения еще ведь нет и еще можно играть с судьбой. Однако одно уже сегодня очевидно: эта молодежь, которая до сих пор искала форму и содержание своего бытия в стороне от целого, готова, служа, принести себя в жертву этому целому. Никто не оскверняет свое намерение словами. Но чувствуется: никто из этого созданного духом и красотой круга не сочтет, что его слишком жалко для жертвы. Никто не прошался, но через неделю они были рассеяны по всем странам.

\* \* \*

Час настал, час непредполагаемого величия. Правда, внешние события не кажутся в маленьком городе особенно значительными. На рыночной площади между церковью и ратушей собираются, чтоб узнать новости, почти только одни жители старого города. Слова о жертве и силе не раздаются. Люди стоят тихо и тихо расходятся. И все-таки это час высшей торжественности — час *отказа от себя*, общей готовности служить целому. Горячая любовь к общности ломает границы Я. Все становятся одной крови, одной плоти, объединенными в братство, готовыми уничтожить в служении свое Я. На обратном пути Веберы проводят несколько минут на старом мосту; сияющий летний день придает всему вокруг совершенство. Вечернее солнце пламенеет как пожар в окнах, расположенных на склоне гор домов, высокое небо дарит реке свою нежную синеву. Земля блаженно покоится в своей красоте. Но скоро она будет напоена кровью тысяч. Глаза молодежи, которые восхищаются ей и еще не знают всего ее богатства, она погрузит во мрак, как и летнюю роскошь зрелой мужественности. Человек стоит в ужасе на краю действительного. И еще глубже, чем судьба молодых, потрясает судьба мужчин, которые, зная и безмолвно, движутся с высоты жизни во тьму.

\* \* \*

Но теперь к делу. Каким оно окажется. Вся предшествующая жизнь бледнеет. То, что еще вчера было осмысленно и важно, сегодня уже не таково. Каждый ищет новых форм деятельности и

службы. Найдет ли он их? Вебер уже давно выведен из числа военнообязанных, ему 50 лет, он высок и силен, но неспособен к длинным переходам. То, что он не может выступить во главе роты в поход, глубоко его огорчает: «Быть может, я наиболее воинствен из твоих сыновей — то, что судьба и переживание этой — несмотря на все — великой и замечательной войны оставляют меня здесь в бюро и так «проходит мимо меня» я отношу ко многому другому. Жизнь и так приносит всегда разное, ради чего стоит ее прожить». Он сразу же обращается к гарнизонному командованию, ему поручают должность дисциплинарного офицера при резервной лазаретной комиссии и так как в данное время не было достаточных резервов, также устройство резервного лазарета в Гейдельберге. Вебер, не задумываясь, берется за дело и сидит в первый день мобилизации с 8-ми часов утра в бюро. «Мой служебный день составляет 13 часов, может быть я все-таки попаду еще в крепость или что-либо подобное; совершать походы я, к сожалению, не могу и поэтому не могу быть использован на фронте, с чем очень трудно мириться».

В течение десяти дней должны быть готовы несколько больших лазаретов. Предъявленные планы и указания в полном беспорядке, ничего не подготовлено. Заключенные 20 лет тому назад договоры о поставках непригодны. Вебер целыми днями ведет переговоры с возмущенными ремесленниками, которые по прежним ценам не могут предоставить требуемое. Веберу приходится самому заниматься всем, и он бросается в лихорадочную деятельность, чтобы решить задачи, которыми он никогда не занимался. Тысячи предметов для ухода за ранеными должны быть получены по возможности быстро и недорого, принимая также во внимание продукцию местного ремесла. Его окружает все то неизвестное, которое должно быть без шума на месте, когда оно нужно, — вплоть до поварешки и поварихи, которой она нужна. Вебер достает моментально даже кухонную утварь — все то, к чему он обычно не имеет никакого отношения, в котором он ничего не понимает. Стремительность первых недель очень его утомила — выдержит ли он? Он очень раздражителен и когда начальство или ведомства препятствуют его неудержимой активности, становится неудобным. Например, при установке телефона в одном из лазаретов интендантство в Карлсруэ потребовало обоснования этого, запрос возвращается с замечанием: «Подлинно: Нормальные люди знают, для чего нужен телефон, другим я это объяснить не могу». Когда то же ведомство потребовало несмотря на спешность сначала перечень всех необходимых предметов для непредусмотренного лазарета, Вебер покарал бюрократизм телеграммой длиной в метр. Так же он раздражается при ненуж-

ных помехах, особенно от беспрерывно звонящего телефона, когда личность партнера слишком далека, чтобы принудить к вежливости; например, междугородняя станция вызывает ведомство гофмаршала Карлсруэ: «Как чувствуют себя раненые?» Вебер: «Какой?» «Ну — все» Вебер (иронически): «О, очень хорошо». «Ее Королевское Высочество, великая герцогиня просит узнать, будет ли посещение Ее Высочества желанным?» «Не имею ничего против, но у меня нет времени водить кого бы то ни было по лазарету». Конец. Старший полковой врач, военный коллега Вебера, пришел в ужас, услышав об этом происшествии, он тут же бросился к телефону и стал подобострастно уверять, что посещение ее Королевского высочества расценивалось бы как выражение величайшей милости.

Однако если Вебер мало пригоден к «подчинению», то тем больше он способен быть начальником. В этом положении он полностью владеет собой. Его бюро старается удовлетворить его, любит и почитает его. Наступили университетские каникулы; дружественный Веберу анатом Герман Браус предлагает свои услуги, ежедневно приходит в бюро, становится благодетельным буфером между напирющим внешним миром и Вебером. Другие дружественно настроенные коллеги также предлагают свою помощь. Заниматься научной работой стало невозможно, каждый старается ухватиться за что-нибудь и приносить пользу. Вебер поручает им надзор за устройством лазаретов. В их задачу входит вместе с собственными помощниками заботиться не только о том, чтобы разорванные члены были вылечены для продолжения борьбы, но и чтобы застывшие от ужаса души оттаяли в любви к родине. Помощники присутствуют, когда приходят первые партии пострадавших, их обнимают и целуют, взволнованные до слез, помогают освободить тело от окровавленных мундиров — они видят страшное. «Это случилось ради тебя» — такое обязывающее знание пробуждает силу любви в душах оставшихся дома. Лазарет — мир, подчиненный особому закону. Каждый, которого, искалечив, сюда приносят волны судьбы, становится новым даром, драгоценным сокровищем, достойным того, чтобы быть спасенным от уничтожения посредством затраты всех здоровых сил. Каждый, только что полностью отданный целому человеку, получает здесь опять свое право на жизнь. Здесь милосердная любовь совершает службу покаяния за страшную вину перед отдельным человеком. Бесчисленные простые сыны народа никогда еще не ощущали такую любовь, как здесь. Для многих эта юдоль страдания становится новой родиной. Извне одушевленная благодарность тоже проникает через все расщелины военной системы. Жители маленького города видят почти ежедневно длинные вереницы лежащих на

носилках тяжело раненых, которых проносят по улицам. Каждый из них представляется героем и осыпается дарами. Как богата Германия: булочники, мясники, лавочники, все дарят. Бессмысленно? Неразумно? Конечно — баловству должны быть поставлены границы. Но все-таки прекрасно, что такая чрезмерность возможна, что ее дает обычно упорядоченный эгоизм бюргера. Как удивительны эти первые месяцы! Вся внутренняя жизнь сведена к простым большим и общим линиям. Все неважное распадается. Каждый полон доброй воли. Каждый день приносит действия и напряжение. Личностное поднято до надличностного: это высшая точка существования.

С того момента, когда Англия примкнула к врагу, Вебер очень серьезно оценивает положение Германии, — но когда знамена стали развеиваться над Намюром и Льежем, благополучный исход кажется ему все-таки возможным. Но будь что будет — так кажется — это отношение всего народа, эта сила бороться, страдать, жертвовать, любить сама по себе возвышенна. Вебер благодарен судьбе, что он, если уж война должна была произойти — пережил ее: *«Ибо каким бы ни было ее завершение, эта война велика и замечательна»*. 28.8.14. Эта война при всем ее ужасе все-таки велика и замечательна, стоит ее пережить — еще более непосредственно участвовать в ней, но, к сожалению, на поле битвы меня использовать нельзя, как это было бы, если бы она разразилась своевременно, 25 лет тому назад. Все мои братья на фронте или на гарнизонной службе, мой зять пал под Танненбергом».

Вебер, обычно одиноко работающий за письменным столом, действует теперь в общем потоке интенсивнейшей совместной работы. Нити все расширяющейся сети идут через его бюро. Под его управлением в этом округе возникают девять новых лазаретов. Когда они готовы и начинают действовать, на первый план выходит новая неприятная задача — дисциплинирование заслуживающих наказания. Его дисциплинарная власть распространяется на сорок лазаретов административного округа, радиус человеческих впечатлений и переживаний уходит далеко. Они демонстрируют обратную сторону подъема, возвращение в повседневность. «Макс очень часто страдает от однообразия работы, которая состоит в бесчисленных наказаниях мелких нарушений дисциплины. Тюрьма переполнена, и бедные грешники ждут часто неделю, чтобы отсидеть свою кару. Макса это часто удручает, но его верность своему долгу удивительна. Его «товарищ» охотно передает ему все неприятные дела, говоря, что у него на это не хватает терпения. Хотя Вебер остро реагирует на определенные недостатки равных ему, строптивость и человеческие грехи простых людей, которые ему надлежит наказывать, не уменьшают его удовольствия от этих

людей: «К тому, что делает жизнь достойной того, чтобы ее прожить, относятся и впечатления от общения с нашими людьми, несмотря на то, что именно я сталкиваюсь со *всеми* безрадостными сторонами в качестве организатора и дисциплинарного офицера резервных лазаретов в административном округе Гейдельберг. Проверку на то, что мы — великий культурный народ, мы выдержали: люди, которые привыкли жить в условиях рафинированной культуры и способны перенести все тяготы войны (что для негра из Сенегала не было бы большим достижением!), которые затем, несмотря на это, возвращаются такими же *в корне порядочными*, как подавляющее большинство наших людей — это подлинная человечность, и это нельзя игнорировать при всей назойливой безрадостной деятельности. Это переживание останется, каким бы ни был исход» (13. 1.1915)

Помимо дел, связанных с ранеными и санитарями лазаретов, Веберу приходилось иметь дело с самыми разными людьми: врачами, представителями Красного креста, сестрами, санитарями и поварами. И как только что-нибудь случается — а случается, разумеется, всегда что-нибудь в этих *ad hoc*<sup>132</sup> собранных коллективах — за соломоновым решением неизменно обращаются к нему. Что только не приходилось улаживать, например, если влиятельные врачи вмешиваются в дела друг друга или проявляют самоуправство в назначении лечения, если инспектор непристойно ведет себя по отношению к сестрам, если фаворитка главного врача позволяет себе превышение власти, если сестра не удержалась от не вполне пристойного выражения по отношению к грубому парню, если яйца и бутылки вина крадут или если истеричная повариха вымыла голову в кастрюле! Или из административного округа собственной персоной появляется в бюро глава общины с требованием, чтобы наконец заполнили давно уже подготовленный прекрасный лазарет, деревня настойчиво требует своих раненых; тогда ему объясняют, что, к сожалению, невозможно отстрелять специально для М. необходимое число солдат. Или выясняется, что другой представитель местности обратился к самовольному праву и отцепил ночью несколько вагонов от поезда лазарета и с триумфом доставил свою добычу домой. Так очень многое добавляется к собранию анекдотов. Вебер много времени проводит в разъездах, его машина ежедневно мчит по местности, ее называют «желтая опасность», а его «летучим голландцем».

Возникают и сложные проблемы, например, отношение к раненым врагам, особенно к французам. Вебер видит в неспособных к сражению врагах только нуждающихся в уходе людей. Он считает политически правильным относиться к врагам так же гу-



мано и тщательно, как к своим соотечественникам; ведь известие об этом должно облегчить и их положение в вражеском государстве. Поэтому он разрешает женатому на француженке эльзасскому коллеге Ш. и швейцарскому профессору Ф. посещать больных французов и доставлять им радость маленькими дарами. Из-за этого в определенных кругах возникло большое волнение. Особенное подозрение вызывает эльзасец, и на это обращено внимание окружного воинского начальства. Но Вебер продолжает разрешать допуск коллег к больным, а начальнику он напоминает о воинской чести и внушает ему, что недостойно мужчины следовать мнению публики. Другого мнения придерживается дружественный Веберу профессор, в лазарете которого лежит отряд французов. Он посылает без ведома Вебера военного, сопровождающего эльзасского коллегу при его посещении французского раненого. Эльзасец, который и так чувствует вокруг себя сгущающуюся атмосферу враждебности, видит в этом знак недоверия и, глубоко обиженный, отказывается от данного ему разрешения. Вебер приходит, узнав об этом, в такое волнение, что в резкой форме порывает отношения со своим другом. Как часто случается с ним, повод и результаты не вполне адекватны. Позже он приносит извинение за резкость, но ждет, что другой также признает свою ошибку. Однако это не происходит, разрыв остается. И только через три года жены помирили упрямых мужчин.

Пребывание в Гейдельберге становится для профессора Ш. невозможным. Он добровольно отказывается от своей должности и хочет переехать в Швейцарию. Но управление округом отказывает ему в паспортах. Вебер обращается к начальству с длинным заявлением, в котором он определяет подозрения, предъявленные к Ш., как выражение военного психоза и указывает на политическую неразумность подобного мероприятия. Какое гневное эхо вызовет не только в неприятельских, но и в нейтральных странах и какой реакции следует ожидать в Эльзасе, если будет создан «случай Ш.». Паспорта были предоставлены. Насколько Вебер стремился помогать людям обеих наций, попавших в трудное положение, настолько же он отворачивался от двойственных натур, если они не молчали, а выступали в борьбе национальных партий. Ему было также противно, когда полу-англичанин Чемберлен высказывался пронемецки, как и слышать критику своей теснимой родины полунемцами, живущими в других странах. Когда так вел себя один его давний друг, он серьезно потребовал у него объяснения и, не получив его, расстался с ним, сказав следующее:

«У Вас двойная родина. Такова Ваша судьба. От Вас это не зависит и Вы бы не захотели это изменить. Это положение дает Вам

известные права. Вы можете многое ощущать иначе, чем надлежит нам, другим, в момент, когда наша страна — из всех великих держав *только* наша, борется за свое существование. Но тем не менее это возлагает на Вас известные обязательства по отношению к Вашей родине, прежде всего обязательство при известных обстоятельствах *молчать*. Ни один немец не может предоставить Вам право участвовать в переговорах о мире, тем более в такой манере, которая несомненно вызовет одобрение наших врагов... Достойный мир *мы* всегда можем иметь? Мне это неизвестно. Ах, да! Быть может, за счет Италии, если бы мы были достаточными прохвостами, чтобы разорвать наш союз, то есть если не были бы немцами... Довольно. По-видимому мы не поймем друг друга. Сожалею, ибо, как Вы знаете, я всегда был расположен к Вам. У каждого свои недостатки, у меня тоже. Но в данный момент Ваши хуже. Они не соответствуют ситуации, а в таких серьезных вопросах каждый должен ясно сознавать, что ему *не дано*.

\* \* \*

Деятельность первых месяцев доходила часто до границ силы, тем более, что Вебер — обычно поздно спавший по утрам — придавал большое значение тому, чтобы быть первым и последним на службе. К Рождеству машина должна была, как он полагал, остановиться. Но это не произошло — напротив, лабильный организм все более привыкал к службе и как будто держался в равновесии. Это было похоже на чудо. Неужели частое чувство болезни в последние годы было «воображением»? Нет, ведь самая напряженная активность чиновника в далекой степени не напрягает так центральные органы, как *творческая* работа мысли. Болезненные психические перерывы в работе были лишь страхом Вебера перед каждой обусловленной твердым сроком работой. Все время создающие его, глубоко укоренившиеся картины воспоминаний перекрывает теперь новый опыт. Он поправился.

Жизнь очень упростилась, каждый живет лишь данным днем, и дни протекают как бурный поток. Каждый испытывает иногда моменты большой внутренней радости, когда может помочь или дать совет. Вебер работает и по воскресеньям, только после обеда он бывает дома и тогда приходят многие друзья. Даже на каникулах воскресенье сохраняют свое значение. От Вебера ждут истолкования военных событий дня и суждения об общем положении. Других тем разговора нет, но эти неисчерпаемы. Часто приходят и друзья с фронта, проводящие некоторое время на родине вследствие ранения. Они становятся центром. Они не могут остановиться в своих рассказах. В каждом событии отражаются по-ино-

му, каждого озаряет счастье вновь подаренной жизни и отдача себя высокой цели. Вид их подтянутых фигур замечателен. Некоторые — еще недавно юноши — выглядят в мундире, как мужчины. Черты отпускников обычно своеобразно напряжены, они говорят о постоянном внутреннем бодрствовании, тяжелой ответственности и переживаниях вблизи смерти. Они надеются, но знают, что обозревают лишь маленький отрезок огромных линий борьбы и переживают только собственные действия. Они хотят услышать, как на родине оценивают общее положение. Воины согласны со взглядами Вебера, ибо они, несмотря на все успехи, все время ощущают растущее превосходство врага.

Напротив, многим из столь охотно политизирующих, оставшихся дома, Вебер представляется «пессимистом», ибо он хочет с самого начала воспринимать войну только как оборонительную войну и по возможности скорей завершить ее. *Все* надежды на длительное приобретения — будь то на востоке или на западе — представляются ему опасными. Постоянные звучания колоколов, развевающиеся знамена, воодушевляющие победы никогда не затуманивают ему видение грозящей проблематики и то, что время работает не за, а против Германии. Уже в сентябре 1914 г. требовали, чтобы правительство определило Бельгию как «ручной залог» и подтвердило перспективу ее будущей свободы, а в октябре возник вопрос: «Как надлежит мыслить мир? И когда? Сотни тысяч истекают кровью вследствие ужасающей неспособности нашей дипломатии — это, к сожалению, отрицать нельзя, и поэтому я даже в случае окончательного хорошего исхода не надеюсь на длительное достижение мира. Если бы все было так хорошо, как неожиданным образом руководство армией — да, тогда наши перспективы были иными». Как хотелось бы верить в лучшее!

\* \* \*

Работа в тылу ставила все новые задачи: организацию заботы об инвалидах, занятие медленно выздоравливающих, для которых скука лазаретов была так опасна. Вебер организовал курсы для повышения образования и для обучения ремеслам раненых — новая привлекательная работа для добровольных помощников. Поднимающийся друг над другом амфитеатр сидячих рядов клинической аудитории наполняется людьми в светлых больничных одеждах, среди мужчин много юных лиц. Вебер поднимается на кафедру в простом костюме защитного цвета, соответствующем его благородной фигуре. Он объясняет слушателям сущность денег, а на следующем занятии разницу между русским и немецким

аграрным устройством. «Происходят удивительные вещи. Макс дважды читал раненым «лекции» *после* службы! В лазаретах введены курсы повышения квалификации, чтобы занять и повысить знания выздоравливающих. И Макс прочел две пробные лекции, так живо и ярко, как будто он не молчал 16 лет! И это ему ничуть не повредило. Следовательно, нужна была война, чтобы перехитрить его трудности».

Первое военное Рождество было глубоко проникнуто любовью, поэзией и торжественностью. Блаженным было давать и брать. У простых людей были слезы на глазах, они радовались, как дети, многие из них никогда еще не получали подарки в такой привлекательной форме. Среди обращавшихся к ним был и Вебер. Когда он стоял перед высокой рождественской елкой и смотрел в глядевшие на него глаза, сквозь его сдержанность пробивалась внутренняя взволнованность. Он знает: им опять надо идти на фронт. Его голос звучит, как орган. Он говорит о величии смерти в бою. В повседневности смерть приходит ко всем нам, как непонятная, противоречащая разуму судьба, смысл которой нельзя понять. Ее приходится просто принимать. Однако каждый из вас знает, почему и за что он умирает, если жребий падет на него. Тот, кто остается в стороне, является посевным зерном для будущего. Героическая смерть за свободу и честь нашего народа — высшая доля, о которой помнят дети и дети детей. Нет более высокой чести, более достойного завершения, чем так умереть. И многим такая смерть дает то завершение, в котором ему отказала бы жизнь. Что происходило в душах слушателей при этих словах? Каждый имеет право надеяться, что смерть минует его. Но были и такие, которые, прощаясь, просто сказали: «Если я и не вернусь, — только бы Германия осталась».

## II

Семью постигла в первые же недели войны тяжелая утрата. Герман Шефер, муж младшей сестры Вебера Лили, пал в одном из сражений под Танненбергом. Он был благородным человеком, отличался добротой и благородством убеждений, художник, предъявлявший себе большие требования. Поэтому ему было не легко нести духовное наследие своего гениального отца, специалиста по готике, Карла Шефера, и бремя повседневности также часто утруждало его. Как только началась война, он решительно покинул свой кабинет и вступил офицером в армию. Он восторженно пошел на жертву и его нежная жена также не сомневалась, что не должна его удерживать, хотя чувствовала, что больше не увидит его. Смерть быстро настигла его на вершине жизни. Мо-

лодая вдова осталась с четырьмя маленькими детьми. И все-таки Вебер видел смысл этого не только для целого, но и для погибшего. Он пишет сестре: «Он несомненно охотно жил бы еще с тобой, ибо ты дала ему все то счастье, которое было ему доступно, и тем не менее, так как мы все должны когда-нибудь умереть, эта смерть в этой войне не есть то, чего он хотел бы избежать. Ибо эта война действительно — независимо от того, каким будет исход, — велика и удивительна, сверх всех ожиданий. Не успехи, а дух солдат, который можно видеть здесь и который мы ежедневно видим в лазаретах, превосходит все чаяния и здесь во всяком случае дух населения воплощен во всем. Я никогда на это не рассчитывал и — что бы ни произошло — это останется незабываемым. Пасть на этих полях также может быть ценой прекрасной и богатой жизни. Так бы думал он. Затем, правда, он подумал бы о тебе и о детях, как это делаем мы».

\* \* \*

1915 год принес две другие глубоко ощущаемые утраты: многолетний друг Эмиль Ласк и брат Карл Вебер пали в сражении с врагом. Оба — процветающие академические преподаватели — пошли добровольно, оба ушли с вершины жизни, полной задач и планов. Благодарность требует нарисовать здесь их облик.

Еврей Эмиль Ласк был философом, чуждым активной жизни. Его родина находилась на прохладных снежных вершинах созерцания. Там он знал все пути и шел уверенным шагом, там он мог руководить другими. Он вводил властной рукой смутную полноту единичного в формы всеобщего. В этом он поклонялся святыням, ибо в своей непоколебимости они служили ему гарантией абсолютной истины, которой он жаждал. Однако его горячая душа любила не только сверхдействительное, но и ощущаемое земное явление, он был восприимчив ко всему прекрасному. Его острый ум блистал над всем человеческим и искры его шуток освещали его слабости. Но он склонялся, преисполненный почтения перед всем великим и добрым, и если он ощущал это в ком-нибудь, он видел в нем существенное. Если его охватывала любовь к прекрасному в жизни, все его бытие воспламенялось, и его отдача становилась самоотчуждением. Но и более мягкое чувство дружбы окрыляло его к жертвенности, закаляло его в верности. И все-таки он остался одиноким. Ибо господство над вещами и людьми не было ему дано. Необходимое мгновение, требующее быстрого решения, всегда находило его погруженным в грустные размышления, в мудрствования и сомнения. Представало ли перед ним счастье, он сразу же видел его проходящее.

Предвидение всегда пугающе удерживало его от освобождающего прыжка.

Однако решение пожертвовать собой родине он принял сразу. Он не хотел шадить себя на службе в храме, когда страна была пропитана братской кровью. Он был не молод и не силен и хорошо знал, что радостный подъем жизненных сил там его не ждет. Его не ждало ни счастье, ни венец, ни роль вождя. Он пошел как один из общей массы, существующей, чтобы повиноваться и терпеть. После длительного и нудного использования в тылу он наконец попал как унтер-офицер на фронт. Из-за слабости зрения он не мог стрелять. Судьба дала ему пройти путь до конца. Смертельная пуля попала в него сразу. Если глядеть из мира духа, *бессмысленная жертва*. Но можно ли было вопреки его природе воспрепятствовать ему совершить возвышенный поступок? Можно ли было препятствовать его непредвиденному завершению?

Вебер пишет его родственникам: «Найти правильное отношение к смерти такого особенного и необычайного человека, причем «массовой смерти» в галицийской степи в сражении с варварами, нелегко. Вначале чувствуешь, узнав о случившемся, только горечь. Одно, правда, можно только сказать — если человек подтверждает своей смертью то, чему он учил своих учеников, это *не* вполне бессмысленно. В своем вступлении в армию он, будучи внутренне лишен иллюзий, не видел *ничего* кроме «проклятого» долга и обязанности. Строить фразы на эту тему было бы ему совершенно чуждо. Но сделать именно это и именно *так*, соответствовало тем взглядам, которые он внушал с кафедры, хорошо зная, как часто все мы, люди, неспособны им следовать. Как ни охотно он бы еще жил — ибо это мы знаем — он был, если бы мог увидеть свой конец, согласен с собой. А это немало. Если бы он поступил иначе, он бы все время сомневался в себе и никогда бы не согласился, что такому по своей природе мужественному, но *невоинственному* человеку правильнее было заниматься своей профессией. Таково, разумеется, и наше мнение. Но мы знаем, что впоследствии было бы невозможно освободить его от шипа: «Тебе следовало бы поступить, как другие». Это он в своей глубокой искренности по отношению к себе хорошо знал и поэтому после недолгого колебания пошел в армию».

Смерть Карла Вебера выступала в другом свете. Он был богатырь, воинствен от природы, жизнь солдата было для него требованием крови. Он ворвался в смерть из высшего упоения жизнью. В молодости братья Карл и Макс были чужды друг другу и сблизились только за год до начала войны. Младший тогда в тяжелую минуту обратился к старшему брату. Вебер потерял много с его

смертью. Однако он принял и этот конец и писал Елене: «Он пришел к своему завершению. Как трудно было именно человеку такой натуры развить в себе такую замкнутую простоту, внутренне благородную объективность, способность молча рассматривать вещи сами по себе, отказ от притязания на «значимость» — короче говоря, все те свойства, которые нас теперь так улаждали в нем. Ведь в молодые годы у него были совсем другие наклонности — полную силы серьезность его характера дали ему судьба и собственная внутренняя работа над собой. Сколько забот доставлял он тебе до зрелости — и каким безусловным стало в течение многих лет доверие, которое мы все стали испытывать к нему. И наконец: он пришел к полному пониманию твоей сущности, которая была некогда ему такой недоступной. И одна из наших последних бесед — в глубокой и потрясающей растроганности начатой им — показала, что для него означало то, *что он полностью понял и постиг тебя*. И в результате — он нашел прекрасную смерть там, где в данный момент только достойно для человека находиться» (4.9.1915).

*Карл Вебер* (1870—1915) стал после проблематичных лет молодости значительным человеком большой доброты, способности жертвовать собой и надежности; освободившись от ненавистной школы, он начал серьезно работать в Карлсруэ под руководством гениального мастера Карла Шефера, которого он преданно почитал. В нем проявилась значительная художественная и дидактическая одаренность при воодушевленности своей профессией. В качестве правительственного архитектора он рано стал получать большие заказы, в том числе восстановление церкви в Добрилюке и Оливе. Занимая должность профессора в Данциге, а затем в Ганновере, он собрал большой круг учеников, которые были к нему также привязаны, как он и его круг к главе школы Шеферу. И любовь Елены дала богатые плоды. Никто из ее детей не почитал и не любил ее более глубоко, чем этот сын. В молодости он мало слушался ее и пошел по кривому пути. Когда же он пришел к чистоте и ясности, он благодарил за это ее и видел в этом ее влияние. Он был уверен, что ее образец и семена ее учений преобразовали его. Как только была объявлена война, он сразу пошел на фронт, но вскоре тяжело заболел. После тяжелого длительного нездоровья он, вопреки требованию врачей, последовал со своим полком на восток. Казалось, что он выздоровел только для этого. Он вырвался из объятий любви. Родные не решались его удерживать. Ибо он никогда он так не сиял. Он ушел в жертвенном уповании великим делом, победа еще казалась близкой, еще божественная сила Германии как будто вела войска. Лето кончалось, когда он в последний раз видел старую мать. В первых же сраже-

ниях похода на восток его сразила пуля. Он ждал ее. Елена приняла жертву этой жизни как великое дело. Через долгое время после его смерти Вебер обрисовал образ брата для его невесты в следующих словах:

«Моя милая Марта! Сидя долгое время один в купе, я уже тогда прочел письма Карла и теперь перечитываю их спокойно. С большой сердечной благодарностью за доказательство трогательного меня доверия с Вашей стороны, которое в этом выражено, — и с глубоким потрясением. Громадная подлинность и глубина в сочетании с тонкой нежностью чувства, которая так волнующе говорит в них, заставляет меня еще больше сожалеть о том, что понимание, которое установилось между нами в последние годы, не нашло времени и случая развиться; мы слишком редко виделись, чуждость юных лет, многие переживания каждого из нас с тех пор, о которых не знал другой, должны были сначала отойти перед новой общностью на задний план. Громадная несправедливость, которую мы, старшие братья, — я, во всяком случае, — проявляли по отношению к Карлу, когда были еще молоды, заключалась в том, что мы не сумели различить в его тогдашней внешней манере, в его форме и жесте, *не театральность* или что-то в этом роде, как казалось мне при моей большей трезвости, а совершенно подлинную и оправданную манеру художника — да и что я понимал тогда в этом? Его воодушевление работой у прекрасного учителя Шефера произвело на меня большое впечатление, но так как мы не виделись, не сблизила нас. Тяжелая судьба Карла, которую я лишь отчасти предполагал, исчезновение его молодого непосредственного отношения к жизни, глубокая серьезность, возникшая в нем, изменили отчасти его внешнюю манеру, и я видел только это, когда мы стали вновь чаще встречаться. И это так сильно задело меня и внушило такую симпатию, что я забыл спросить, какой ценой оно было достигнуто. Однако к тому времени я уже достаточно научился понимать жизнь и людей, чтобы прийти к заключению, насколько глубоко ошибочно было отношение к Карлу в молодости и насколько мы были несправедливы к нему. Но не нашлось счастливого часа, чтобы высказать все это. А теперь его больше нет.

Однако с большой радостью и волнением я вижу, как глубоко захватившая его любовь к Вам вернула ему то — особенно в последнее время после дурного, ранившего его сердце переживания — что лежало под спудом покорности и совершенно невероятными упреками, которые его бескомпромиссная честность предъявляла себе за то, что он был доверчив как ребенок по отношению к себе и к людям, которым он доверял. Благодарение судьбе, которая с корнем вырвала дурное и дала ему это прекрасное, зрелое и од-



новременно чарующе молодое второе время цветения в качестве *выполнения* страстно стремящейся к высшему жизни. Смена торжествующей уверенности и робости в письмах, решающая для вашего отношения друг к другу, так же человечна, как честное признание его отношения к религии, которое соответствует судьбе нашего времени. Это мне особенно ценно, ибо из этого я вижу, что и в данном вопросе он ничего не выдумывает, как сегодня многие, особенно художники, обычно делают, слабые души, которые внутренне не могут вынести вид сегодняшней жизни. То, что он это мог и не терял себя во всей тяжести его судьбы и всей резкой самокритики, служит доказательством такой внутренней силы, что уже из-за этого одного его следует любить. И поэтому мы благодарны Вам — или скорее, после этого доказательства доверия я могу только сказать — благодарны мы *Тебе*, милая Марта, за это удивительное цветение, подаренное Тобой в такой красоте тому, кто уже был посвящен смерти, об этом в каждой строке говорят трогательно прекрасные последние письма. *Если ты останешься открытой великолению этой несмотря на все великой жизни, ты будешь жить так, как это соответствует его пониманию*» (20.6.1917).

\* \* \*

Эта смерть образовала новую близкую общность. После смерти мужа сестра Лили переехала с детьми к Карлу, ее самому близкому другу юности. Когда же ее только что обретенный дом распался, она поселилась с мальчиками в Гейдельберге и перед Вебером встала задача служить ей опорой. Он с радостью берется за нее и сообщает сестре, что *ему* дарит близость, основанная на родственных связях. И при этом как бы случайно открывается и его сущность: «... По-видимому — чтобы уж высказать это — я останусь замкнутым и, быть может, одиноким человеком, каким я выгляжу; я не легко доступен, это мне природа не дала, и от моего свойства ряд людей, которые меня любили и любят, часто страдали и может быть продолжают страдать. А так как я, с другой стороны, по *объективным* вопросам — ибо говорить о личном мне удастся только в редкие хорошие часы — очень настойчиво высказываю свое мнение, то люди, которые это неверно понимают, легко чувствуют с моей стороны насилие. Ты лишена страха людей и это не должно тебя озадачивать. Тогда все будет хорошо».

Насколько ему позволяло время, он занимался оставшейся без отца семьей и вскоре полностью вошел в ее интересы: «...Сегодня утром дети устроили мне представление — очень мило под руководством и с режиссурой Клерхен. Ситуация, в которой я стал

объектом «празднества», была для меня, как все подобные, несколько смущающей — даже Лили взлетела на Пегаса! Между тем все было очень мило, и я начинаю чувствовать, что вхожу в круг старых дядей, о которых идет речь в книгах «Макс и Мориц» и «Благочестивая Елена». Поблагодари Лили. Ее детей надо любить».

Весной 1916 г. он сопровождал сестру к далекой могиле ее мужа именно в той Восточной марке, спасение от полонизации которой волновало его с давних пор. Как глубоко его волновала в этой поездке судьба отдельного человека и страны, позволяют понять следующие строки из письма Елене: «Поездка из Восточной Пруссии и туда была хороша также и для моей ставшей тупой и усталой не из-за работы, а из-за неудовлетворенности частичной работой, головы. Только я был — как всегда в последнее время — молчалив. Это впечатление там наверху: могила на вспаханном поле, маленькая, странная, благородная деревня, совершенно изменившаяся из-за упадка, «отдаленность от мира», в которой эта своеобразно обремененная жизнь здесь в последнем освобождении от бремени слишком многих задач завершилась прекрасно и осмысленно — все это и многочисленные воспоминания взволновали меня больше, чем я мог выразить в словах и чувствовать к этому склонность. Для детей это впечатление теперь еще не имело бы смысла. Марианну я нашел в очень хорошем состоянии. Ее неисчерпаемый запас глубокой душевной радости все время ей помогает и поможет в будущем, что бы ни случилось».

\* \* \*

На исходе 1914 г. — война уже казалась бесконечной, настолько далеко ушла вся прежняя жизнь — Вебер подал прошение об увольнении, не потому, что он устал, а вследствие того, что его военный коллега был призван из запаса и стал его начальником. Для Вебера, который нес основную работу, подобная ситуация была бы неподобающей. Однако вышестоящая инстанция не хотела лишиться его и нашла выход. И Вебер работает без перерыва следующие 9 месяцев. Когда Э. Яффé предлагает ему приехать в Брюссель для совещания по поводу возможного социально-политического задания, он отвечает: «Как Вы знаете, я здесь служу вследствие добровольного решения — ибо я уже не был военнo-обязанным — в должности капитана и военного члена комиссии резервного лазарета Гейдельберга с 42 лазаретами округа, 9 из которых я основал и дисциплинарно и экономически ими управляю. Служба здесь не допускает длительного отпуска, до сих пор я в

течение всей войны имел два свободных воскресенья и ежедневно провожу с 8 до 7-ми или 8-ми часов в бюро или в лазаретах. Если я командирован или востребован с согласия военного начальства, я, конечно, ко *всему и каждому*, где я могу быть полезен, готов, но «домогаться» я ничего не буду. Мне слишком тяжело, что я не могу быть использован на фронте, так как не способен совершать длинные переходы и ездить верхом. Поэтому я хочу только показать самому себе, *что мне не жалко себя для любой работы*».

Однако осенью 1915 г. давно ставшая незаконной комиссия резервных лазаретов была распущена. Ее функции должны были перейти к неспособным к полевой службе. Когда Вебер узнал, что штаб корпуса ломает себе голову, где и как его «устроить», он подал заявление об увольнении.

Хотя в сущности с него было достаточно непрерывной службы в бюро, сначала в его настроении все-таки преобладало огорчение, что он больше не может оказывать непосредственную помощь. Он занялся, с захватывающей верностью долгу, тупыми задачами и вновь остался ни с чем. Его подчиненные долго грустили об его уходе. Они почитали его и одновременно чувствовали себя охраняемыми его гуманностью. То, что он всегда защищал их от начальства, сделало для них работу под его руководством радостной. На прощание его одарили продуманным по своему значению подношением: книгой воспоминания с портретами всех подчиненных ему врачей, служащих лазаретов. Вебер был искренне рад этому.

Где же ему теперь приносить пользу? Какое-то время он подумывал о социально-политической задаче в Бельгии. Он поехал туда, чтобы переговорить, однако оказалось, что речь идет только о временной работе, которая вскоре отпала.

«В Брюсселе жизнь поразительно таинственна. Существует подпольное «параллельное правительство», American relief fund<sup>133</sup>, которое снабжает бельгийцев продуктами питания и поэтому имеет преимущественную по сравнению с бургомистрами власть. Бельгийские министерства (кроме военного, колониального и т. д.) работают в подчинении немецкому начальству с бельгийскими чиновниками. Наряду с этим немецкое управление, каждая часть которого идет своим путем. Жизнь Брюсселя совершенно изменилась — отсутствует прежняя изысканность, нет ни экипажей, ни пышных туалетов, ставни «знатных» домов опущены. В остальном все как у нас, и только тяжелые орудия наверху у дворца юстиции и пулеметы у министерства напоминают о близости фронта. Также часовые у парка и перед всеми министерствами и т. д. Большие прекрасные рестораны почти пусты и закрываются очень

рано. Настроение и намерения немецких служащих, с одной стороны, и других работающих людей — с другой, очень различны. Академически образованная часть общества *против* аннексии. Однако эти взгляды не оказывают теперь влияния. *Каждая победа отдаляет нас от мира, в этом своеобразие ситуации»* (1.10.15)

Прежде чем погрузиться в свои брошенные бумаги, Вебер еще быстро написал отчет для начальства о своей военной деятельности и приобретенный в ней опыт, во многих отношениях характерный. Из него очевидно, с каким вниманием к деталям он наблюдал за маленькими колесиками огромной военной машины и как он хочет внушить понимание необходимости, чтобы предотвратить будущие неудачи, способствовать целесообразному. Много, естественно, входит в его социологические типы, вводя в них новый материал, так, например, своеобразие вынужденного обстоятельствами дилетантского управления в отличие от более позднего бюрократического и переход одного в другое. Он описывает вхождение добровольных вспомогательных сил в военную структуру, их действия и необходимость; отдает должное деятельности «свободных» сестер, подчеркивает их преимущества и недостатки по сравнению с профессиональными медицинскими сестрами. Он исследует причины растущей наказуемости работающих в лазарете и делает из всего практические выводы. Однако трудно читаемый, в спешке составленный набросок остался в письменном столе. Быть может, передача его начальству показалась бы самонадеянной. Поэтому пусть хотя бы несколько страниц из него будут здесь приведены как документ скромной службы родине.

\* \* \*

Вследствие того, что вначале не хватало служащих, Веберу приходилось устанавливать в далеко отстоявших друг от друга резервных лазаретах своеобразные «управления дилетантов», то есть устанавливать должности «гражданских инспекторов» с большими правами под его руководством из числа предлагающих свою помощь в качестве добровольных помощников университетских коллег. Это сотрудничество оказалось очень плодотворным для лазаретов. Раненым непосредственно шли через Красный крест щедро жертвуемые дары бюргерства и выражалась готовность оказать помощь.

Вебер писал об этом: «Управления дарами любви дали лазаретам то незаменимое, что официальное управление по самой природе других своих задач предоставить не могло. Прежде всего чисто по-человечески здесь оказывали влияние личностное утешение, предоставление книг, возможности занятий, частное

профессиональное посредничество по просьбе раненых. Практическое значение проявляется в том, что *число наказаний* находилось в прямой зависимости от отсутствия такого управления дарами любви и было всего многочисленнее там, где его не было, и люди должны были довольствоваться тоской и бездельем, господствовавшим в лазаретах. Затем значение имело собирание средств для потребностей, которые управление лазаретом либо вообще не могло предоставить, либо предоставляло все не в необходимом качестве и количестве. Средства, которые добывали эти добровольные «управления лазаретами» («управления по распределению даров любви»), скромны по сравнению с затратами военного фиска и Красного креста. Однако предоставляемые в целом свыше 20000 марок в течение года «управлениям даров любви» различных лазаретов преимущественно преподавательским составом университета, а также здешними частными лицами, стоят больше, чем средства Красного креста, так как всякий мыслимый шанс удовлетворения личного тщеславия, с чем Красный крест часто связан для получения своих средств, здесь полностью отсутствует. О людях, приносящих эти дары, которые нигде не появляются, известно только руководителям «управления дарами любви». Из этих средств, дополняемых очень ценными продуктами питания, приобретались сигары, простые удовольствия, игры, средства развлечения, материалы для плетения, средства, чтобы сделать комнаты более уютными, книги, укрепляющие средства разного рода, лучшее вино для ослабленных и оплачивались преподавание и доклады; но кроме того открывались также веранды для лежащих больных и приобретались шезлонги, дополнительные врачебные инструменты, терапевтические средства, особое белье и различные предметы потребления, предоставить которые королевское интенданство не могло или могло лишь с большими усилиями. Стало также возможным, не обращаясь к Красному кресту, хорошо праздновать Рождество и распределить в лазаретах рождественские подарки. «Управления дарами любви» в значительной степени участвовали в организации обучения раненых; привлечение их к плетению корзин, вырезыванию и приклеиванию картонных листов, вязанию, по возможности распространяемые занятия в течение нескольких часов у цеховых мастеров, качество и условия которых сначала проверялись; очень достойные попытки Красного креста найти для раненых работу в мастерских, собеседования различных видов — все это достигло лишь небольшого значения. В частности возможность работать, даже при хорошей оплате, привлекала лишь немногих.

Если большая часть пребывающих в лазаретах была чужда всяким духовным интересам, и проявляла склонность лишь к лубоч-

ным романам, было все-таки достаточно значительное меньшинство, которое не переносило насильственного безделья в лазарете и было либо доступно восприятию и духовным занятиям, либо, при отсутствии такой возможности, склонялось к нарушению дисциплины. Ради них было организовано обучение. В некоторых лазаретах им ведали исключительно руководители «управлений дарами любви». Преподавание было отчасти специальным (стенография, французский, бухгалтерия), отчасти общеобразовательным (история, военная география, экономические условия.) Это преподавание было исходя из требований дисциплины в качестве *военной инструкции* обязательным и проводилось в установленные часы под контролем унтер-офицеров в учебных помещениях. В нем принимали участие многие преподаватели академических организаций и учителей народных школ, иногда помогали и члены комиссии резервного лазарета, а в некоторых случаях и подходящие для этого и склонные к тому больные лазарета. Внимание людей в длинные вечера зимних месяцев было в целом достаточно, в летние же месяцы управление лазаретов внесло предложение прервать преподавание, так как хорошая погода летних вечеров была слишком могущественным конкурентом, и учителя неприятно ощущали явное нежелание участников занятий... Дисциплинарно преподавание — как показало уменьшение зимой возросших к осени наказаний — оказывало очень хорошее влияние.

С ростом монотонности предприятия одна «неофициальная» фигура исчезала за другой, пока наконец ниже подписавшийся, сам мало склонный к хозяйственности и порядку и проводящий в своей гражданской жизни время в своем кабинете, не остался и качестве последнего остатка вначале почти чисто дилетантского хозяйства».

Вебер считал необходимым написать и о своем опыте, связанном с работой различных медицинских сестер, профессиональных и тех, кого он называл дилетантскими. Его особенно интересовали вторые. Это были девушки и женщины, почти без исключения из образованных слоев общества. Под впечатлением войны и любви к родине они посвятили себя уходу за ранеными.

Вебер написал о них следующие строки: «Среди претенденток и сестер-непрофессионалок довольно отчетливо различались два типа. Одни были «типичными немецкими девушками» с их обычно вполне искренним воодушевлением, сентиментальностью и неосознанной потребностью сенсации. Представительницы этого типа непригодны для лазарета; они всегда склонны к изнеженности по отношению к раненым и нередко совершают серьезные промахи. Другой тип — это интеллектуально или профессиональ-

но обученные девушки и женщины. Они как правило, в высшей степени полезны, часто не уступают, а иногда и превосходят средний уровень работающих в период войны медицинских сестер внутри страны. При этом очень мало зависит от того, в каких профессиях или какими средствами они приобрели ту привычку к *деловитости* в понимании своих задач, от которой все зависит. Наиболее благоприятный опыт, как в чисто профессиональном смысле, так и в неуверенности в общении с больными, безусловно, связан с деятельностью более старших, лет 25—35, образованных девушек самых различных профессий (например, скрипачки или писательницы) или получивших строго специальную выучку какого-либо рода (гигиеническая гимнастика, массаж), желательно, занятых этим профессионально, или переживших серьезные переломы в своих жизненных судьбах и решительную борьбу в трудных условиях. На что такие личности были способны, непрерывно работая в течение года с четвертью войны, было неожиданным, и после преодоления начальных трудностей, несомненно, достигало *по крайней мере* уровня особенно хорошо обученных профессиональных медицинских сестер; при этом они обычно превосходили средний уровень профессиональной сестры значительно менее схематичным, индивидуальным отношением к больным, стараясь удовлетворить не только их гигиенические и физические, но и чисто человеческие и духовные интересы, не нарушая при этом требуемой дистанции. Это предполагает достаточно высокий уровень образованности, разумности и чувства ответственности...»

# Политик дореволюционного периода

После увольнения Вебер погрузился в свои религиозно-социологические работы. Уже в последние месяцы службы он ежедневно освобождал для этого один час. В сентябрьском номере 1915 г. «Архива» началась публикация «Хозяйственной этики мировых религий» с историко-философским введением и первыми главами о конфуцианстве. Эти работы были написаны уже два года тому назад и должны были выйти одновременно с предназначенной для «Хозяйства и общества» религиозно-социологической систематикой, чтобы пояснять и дополнять друг друга. Теперь Вебер отказался от этого намерения. В ноябрьском номере журнала были опубликованы завершение конфуцианства и «Промежуточное размышление», учение о типах различных учений религий спасения и их отношения к «миру», о котором уже шла речь. Эти разделы также были написаны до войны. Теперь Вебер хотел изучить хозяйственно-этическое значение других азиатских религий, прежде всего индуизма и буддизма, для этого ему нужны были английские отчеты о переписи, хранящиеся в Берлинской библиотеке. Поэтому он поехал в ноябре в Шарлоттенбург и погрузился в горы исследовательского материала. Но не только научная работа влекла его в столицу — он хотел прежде всего почувствовать политическую атмосферу, пульс мировых событий и посмотреть, не может ли он оказать какую-либо помощь.

Как обстояли в то время дела в Германии? Конец второго военного года принес в конце лета воодушевляющие успехи: одна за другой победы над русскими. Они изгнаны из Литвы и Курляндии, из Польши, Западной Галиции и Венгрии. Турция противостоит французско-английской атаке на Дарданеллы, а побеждающая Сербия Болгария перешла на сторону центральных держав. Но и чаша весов у врагов обременена важными событиями: прежняя участница Тройственного союза, Италия, находится в борьбе с Австрией; на ряде больших отрезков западного фронта про-



движение остановилось и перешло в изматывающую позиционную войну, более того, во Фландрии и ряде других областей, за которые шло горячее сражение, немцы отступили. К тому же становятся ощутимы следствия блокады. Важнейшие продукты питания нормируются. И наконец, напряженные отношения с Соединенными Штатами вследствие потопления «Лузитании»!

Вебер вне себя от разрыва Австрии с Италией — по его мнению, этого необходимо было избежать посредством своевременных уступок.

«Да, дело плохо, вся государственная политика последних лет рушится, и очень слабое удовлетворение от того, что «я всегда это говорил». Война может теперь идти бесконечно». Торпедирование «Лузитании» он также считает бедой, ибо большая нейтральная нация, для которой важна честь, может допустить уничтожение предметных благ, но не уничтожение ее граждан. Вебер считает, что как только представится возможность мира на основе status quo без потерь, но и без расширения владений, ею надлежит немедленно воспользоваться. Ибо при превосходстве врагов время работает не на Германию, а против нее. И затем: война, великолепная в качестве внеобычного напряжения всех героических сил любви и готовности к жертве, станет, превратившись в годами идущую повседневность, во всех отношениях сатанинской, и вместе с физической уничтожит и моральную силу сопротивления угнетенного народа.

Около этого времени Вебер изложил свои мысли о заключении мира в статье, очевидно, задуманной как докладная записка правительству и парламентариям, однако оставил ее в письменном столе. Публичное обсуждение военных целей было тогда запрещено, но тем более горячо большие группы тайно агитировали, исходя из своих интересов, в пользу аннексий на западе и востоке. Вебер противопоставляет этому «холодное понимание» и безошибочную ясность видения. Он показывает, что перед Германией только один выбор: либо проводить мировую политику на основе заключения союза, либо европейскую политику экспансии, которая объединит против нее все мировые державы. Колониальная мировая политика предполагает прежде всего договоренность с Англией; она же исключается аннексиями или «присоединениями» занятых на западе областей. А они не только не расширили бы базис наших морских операций против Англии, но и противопоставили бы нам новых врагов и прежде всего усилили бы угрозу со стороны России, которая при любом конфликте обрела бы в качестве союзников не только Францию, но и Англию. «Интересам Германии противоречит вынудить мир, главным результатом которого стало бы положение, чтобы каб-

лук немецкого сапога в Европе стоял бы на пальцах ноги каждого участника войны». Дальнейшую опасность политики аннексии Вебер видел в том, что под ее действием война будет длиться бесконечно. Каким бы ни был исход войны, продолжение ее само по себе дает внеевропейским нациям, прежде всего Америке, *индустриальное* превосходство: «Мы опустимся до уровня бумажной промышленности, используем внутренний капитал, остановим развитие нашей промышленности посредством уменьшения доступных ей средств, утратим способность нашей экспансии».

Другая проблема высокой политики, которая живо интересует Вебера, — общий с Австрией захват входящей в Россию части Польши. Постоянная защита восточной границы Германии от давления русского колосса представлялась ему с давних пор важнейшей национальной задачей. Еще со времен военной службы он знал входившие в Германию польские территории, и он постоянно следил за прусской политикой в Польше, часто подвергал ее резкой критике. В качестве молодого профессора он поручил некоторым своим ученикам народно-хозяйственные исследования в этой области; один, наиболее близкий ему, Лео Вегенер, будучи директором Немецкого кооперативного товарищества, сделал германизацию Познани задачей своей жизни. Теперь возникает вопрос, удастся ли создать освобожденное от связи с Россией польское государство, которое в качестве «опекаемого» станет союзником центральных государств? Целый узел трудностей следовало бы сначала развязать: может ли вообще польская промышленность существовать вне связи с русской, состоится ли договоренность Германии и Австрии по поводу суверенных прав и таможенных вопросов и прежде всего: как отнесется вновь созданное государство к тому, что ему не отдают давно уже входящие в Германию и Австрию области — Познань и Западную Галицию? Завоеватели отложили окончательное урегулирование, подчинили сначала занятые области общему высшему надзору, помогали в восстановлении опустошенной земли и открыли университет в Варшаве с преподаванием на польском языке. Этими и другими действиями в области культуры они надеялись завоевать дружбу поляков.

Вебер считал это преждевременным, так как он обозревал всю совокупность трудностей и предвидел, что военное начальство совершит дальнейшие политические ошибки. В это время он предпочел бы посредством личного контакта с поляками иметь возможность помогать и советовать в этом пункте. В декабре 1915 г. он публикует две политические статьи, в которых он, исходя из анализа внешней политики *Бисмарка*, делает собственные выводы по бельгийской и польской проблемам. Суть

второй в следующем: восстановление государственной независимости Польши потребует полной переориентации польской политики. Сила фактов сблизит обе нации. Защита от России — вопрос жизненной важности для обеих. Следовательно, к полякам нельзя больше относиться как к врагам, в них следует видеть союзников. Поэтому и прусская политика по отношению к присоединенным областям должна стать совершенно иной. Только посредством установления понимания с прусской Польшей может быть найдено приемлемое решение всех сложных столкновений интересов, которые теперь возникают. Однако в Пруссии еще далеки от такого понимания.

«Я попытаюсь изучить польский язык и вступить в контакт с поляками». Однако обсуждение этого вопроса с Науманом и другими друзьями-политиками, очень скоро заставило его усомниться в том, что правительственные учреждения обратятся к нему для понимания этого вопроса. Многие другие политики этого направления, готовые сотрудничать, остаются неиспользованными.

«Что здесь найдется что-либо для меня, очень маловероятно, что подтверждает и Науман. Во всяком случае я в ближайшее время начну посещать некоторых людей. Но все находится в «прочном владении», и у них множество добровольных советчиков, выбирать из числа которых они неспособны; каждый что-то рассказывает, и тот, кто в данный момент присутствует, тот и прав. Они не знают, как сдвинуться с места и очень связаны австрийцами, договориться с которыми будет, вероятно, достаточно трудно, что, впрочем, понятно.

Дернбург и все, ранее подписавшие выступление против аннексии Бельгии, совершенно не связаны с правительством и *ничего* не знают. Правительству не *разрешено* входить в контакт с ними из-за групп, яростно защищающих свои интересы. Зеринг колонизирует мысленно Литву — откуда возьмутся люди и деньги, он не спрашивает. Равно и о том, зачем немцам этот заброшенный угол? Так каждый демонстрирует свой план. А связь — государственный деятель! — отсутствует. Его нет, и заменить его никто не может» (25.11.15).

Науман, который также не использовался государственными инстанциями, планировал частную политическую деятельность и пытался привлечь к этому Вебера: подготовку экономического, а в будущем и политического объединения с союзниками: «Среднюю Европу». Вебер считал этот план даже в промышленной области очень проблематичным, но старался, несмотря на это, вдуматься в намерения друга и был готов сотрудничать с ним.

«Милый друг! Вы переоцениваете значение моего сотрудничества. Я буду, правда, все дни, будни и воскресенья, с раннего утра

и допоздна, к Вашим услугам в бюро и делать все, что требуется. Но я совершенно *не* в курсе дел, а работа в области торговой политики требует знаний. 14 дней я буду только слушать; уже 20 лет я не работал в области торговой политики и никогда не занимался Австрией. К тому же до последней минуты мне надлежит совершить еще ряд других совершенно иных по своему характеру дел. Грустно, что я не могу заняться *политическими* вопросами (Польша, Литва)! Но занимаешься, и охотно, тем, что возможно. Только: ни слова о том, что я принимаю участие в деле, к которому могут иметь отношение представители правительства. Расскажу Вам как-нибудь историю, связанную с Бельгией. Я говорю каждому: это совершенно частная работа с «партийными политиками».

Вебер еще надеется подойти таким образом и к проблеме Польши как части средневропейской проблемы и пытается, исходя из этого, привлечь к участию в комитете Наумана очень им ценимого коллегу Франца Эйленбурга.

Центральная проблема в данное время — *Польша*. Кажется, министерство иностранных дел *уже предложило* Польшу по решению венского конгресса — Австрии, к австрийцам уже обратились с вопросом: при каких условиях Австрия готова принять Польшу. Эта политически (Верхняя Силезия) очень опасная ситуация ведет к постановке вопроса: каким будет *тогда* отношение к Австро-Венгрии? Ясно, что нам тогда нельзя будет обойтись без *очень прочных* связей, в том числе в области экономики и таможенной политики. Каких? (Следуют подробные соображения на эту тему).

Иногда Веберу удавалось использовать обстоятельства, на которые он надеялся: «Сегодня обсуждал с поляком немецкого происхождения польский вопрос (только почти неразрешимую проблему *экономических* последствий отделения от России, что означало бы разрушение лодзинской и варшавской промышленности). По существу было довольно интересно, так как этот человек умен, а свои деньги вложил в большую лодзинскую фабрику. Я кое-чему учусь в знании предмета, хотя и не приобретаю ничего для «вечных ценностей»; это, к сожалению, известно небу».

Однако задача, на которую он надеялся для себя и товарища по работе, — пребывание в Польше в качестве частного лица, но с согласия правительства и с правом пользования служебным материалом не была ему предоставлена. «Вчера я добился разговора с помощником государственного секретаря по вопросу, может ли кто-нибудь поехать в *Польшу* или вообще вступить в контакт с польскими предпринимателями. Ведь неудачный исход в этом особом случае очевиден, если административные интересы будут

этому препятствовать. *К сожалению, они так поступают*, как мне было объяснено в чрезвычайно неприятном разговоре, и это несмотря на то, что я предварительно обратился к депутату центра, определенного ранга и влияния: 1. *Всякие* переговоры с поляками *нежелательны*. 2. Они ведутся на *официальном* уровне. 3. Служебный материал для нас *недоступен*. Приведены были тысячи причин, и все они — просто предлог. В действительности эти господа *не желают* заниматься этим политическим вопросом и боятся «конкуренции». Эта берлинская атмосфера, в которой все *способные* люди парализуются завистливой глупостью, господствующей в имперских учреждениях, отвратительна и *только* ради Наумана я еще остаюсь, чтобы помочь сделать то, что еще возможно» (28.3.16).

Следовательно, опять ничего нельзя было сделать, и Веберу приходилось наблюдать, как военные проводят совершенно неправильную политику. Правительство провозгласило — по его мнению, слишком рано — осенью 1916 г. новое Польское королевство, не решив важнейших проблем. В ответ оно рассчитывало получить усиление своих сил в войне с Россией посредством привлечения польских добровольцев. Однако вербовка сразу после прокламации прошла безуспешно. Они просчитались и зря использовали свои козыри.

В начале декабря 1915 г. левые поставили в рейхстаге вопрос, на каких условиях Германия готова вести переговоры о мире? На это рейхсканцлер ответил, что Германия готова к обсуждению условий мира, но сама с таким предложением не выступит: «Немецкий народ в уверенности в своей силе непобедим. В наших расчетах нет слабого пункта, нет негарантированного фактора, который мог бы нарушить нашу непоколебимую уверенность». «Для правительства Германии война осталась тем, чем она с самого начала была: войной в защиту немецкого народа». Под давлением правых партий канцлер оставляет военные цели неясными: «Я не могу сказать, каких гарантий имперское правительство потребует, например, в бельгийском вопросе, какие основы власти оно считает необходимыми для этих гарантий». Вебер отвергает эту двойственную и многозначную позицию: положение требует ясных формулировок и твердого курса. То, что сам он считает важным, выражено в следующих строках его послания в редакцию «Франкфуртской газеты»: «Я *против* всякой аннексии, также и на востоке. Если бы это было осуществимо в военном отношении, я был бы, скорее, *за* создание польского, малороссийского, литовского, латвийского автономных национальных государств с правом для нас строить к северу от Варшавы крепости и *занимать* их, для Австрии — то же к югу от Варшавы. Далее только: таможенный союз

с Польшей, Литвой, Латвийским государством, в остальном *полная* автономия. *Никакой государственной политики заселения немцами вне* наших границ. На западе — военная оккупация: длительная Люксембурга; Намюра и Льежа на 20 лет, с обязанностью освобождения; и в качестве залога того, что Бельгия укрепит и будет защищать Остенде и южную границу. Больше *ничего* (в Европе). Следовательно, только *военно* необходимое, никаких «аннексий».

Я прихожу к этому на основании впечатления, полученного мною в Берлине, и очень простых политических соображений. При этом я полностью отказываюсь полемизировать со сторонниками иных взглядов. Предполагаю, что достижимое будет уступать этим оптимальным требованиям» (Дек. 1915).

Прежде всего надо уменьшить наши ожидания и аппетит. Мир не должен — во всяком случае слишком — отставать от взволнованных ожиданий. И это результат предшествовавших действий правительства. Уже в сентябре 1914 г. я требовал пользоваться применительно к Бельгии выражением «ручной залог» (25.12.15).

Вебер пытался, где он только мог *privatim*<sup>134</sup>, посредством воздействия на доступные ему круги противостоять жажде аннексий. Такая возможность представилась в «Обществе 1914», политическом клубе в Берлине, в котором практические политики всех направлений встречались для обмена мнениями с проявляющими интерес к политике учеными и чиновниками: «Сегодня вечером я слушал речь Зеринга о заселении Курляндии (!). Сплошные фантазии, будто мы одни в мире». «Вчера вечером в “Немецком обществе”. Все, как обычно, спор с пангерманцами, впрочем, вполне дружелюбный. Но чудовищно большую пасть этого народца кажется ничем нельзя уменьшить. Я предложил доклад о демократии в Америке, но так как я считаю «пораженцем», эти господа со всей вежливостью не проявили особой склонности очень спешить с этим» (13.3.16). «В понедельник я все-таки буду говорить в “Немецком обществе” о демократии в американской жизни, вдруг неожиданно меня попросили выступить вместо Гёре, отказавшегося в силу обстоятельств, после того как до сих пор господа все время “опасались” того, что я скажу». «Понравилось ли людям мое выступление позавчера вечером, я не знаю. Оно было *очень* «реалистично», ибо многочисленные фразы “Идей 1914” мне порядочно надоели. Во всяком случае они были в течение двух часов внимательны и слышали то, что большей частью несомненно *не* охотно слушают. (Положение женщины — Сексуальная мораль в Германии — Международное право и т. д.). В общем я сказал то, что хотел сказать, и “баста”».

В феврале 1916 г. возникла новая опасность, оттеснившая все остальные проблемы на задний план и вызвавшая величайшее опасение Вебера: разрыв отношений с Америкой из-за усилившегося применения подводных лодок. Еще не закончились переговоры по поводу торпедирования без предупреждения «Лузитании». Соединенные Штаты требовали, чтобы Германия прямо признала незаконность своих действий. Правительство Германии отказывалось, и как государственный секретарь, так и канцлер объявили представителям американской прессы, что скорее готовы пойти на разрыв отношений, чем на подобное унижение. Вебер был *вне себя* от этих событий; он пишет Науману: «Если на Вильгельмштрассе *не* сумеют урегулировать отношения с Америкой *любой ценой — любой!* то в нашей работе так же мало смысла, как во всякой другой. Тогда через 3/4 года или через год у нас будут *совсем* иные «проблемы». Надо надеяться, что Ваша партия или ее отдельные серьезные политики сумеют отклонить *любую свою* ответственность в самой резкой мыслимой форме. То, что в Германии *никто* не знал несмотря на все исторические примеры, что представляет собой борьба в американской избирательной кампании и каковы ее последствия — беспримерное безобразие».

И в тот же день: «Интервью Циммермана превзошло мои самые худшие опасения. Как можно так поступать, так *публично* связывать себя? Вместо того, чтобы ответить(!): Конечно, нападение было нарушением международного права. Но оно было *возмездием* за такие же противоправные действия *другой* стороны. Исходя из высокого значения для нас дружбы с Америкой, мы, как известно, сделали вывод о необходимости дать нашим подводным лодкам совершенно новые инструкции и готовы идти в этом направлении до возможной границы. Следовательно, в будущем подобное нападение без предупреждения *было бы* противоправным, а что касается прошлого, то мы выразили согласие на возмещение убытков. Тем самым мы считаем случившееся законченным к обоюдному удовлетворению. Все! Quem deus perdere vult, dementat prius<sup>135</sup>. Какой смысл может быть еще в *нашей* работе, если этот разрыв произойдет? Он означает еще два года войны. Упадок нашей экономики — какое значение имеет тогда Средняя Европа? Что делает *партия?*» (7.2.16).

Когда Вебер после того как он, начиная с Рождества несколько недель занимался дома научной работой, в феврале 1916 г. по просьбе Наумана вернулся в Берлин, он нашел там вследствие продолжающихся столкновений с Америкой очень тревожное настроение. По поводу «Лузитании» обе стороны договорились. Но

продолжающееся «обострение» подводной войны, вооруженное нападение на торговые суда-рефрижераторы, т. е. их торпедирование без предупреждения, сразу же создало новые конфликты. И когда Америка потребовала, чтобы в соответствии с предписанием международного права вооруженные для защиты вражеские торговые суда не рассматривались как военные корабли, в Германии возникла возглавляемая гросс-адмиралом фон Тирпицем страстная агитация, требующая не только обострения, но *неограниченной* подводной войны, то есть торпедирования всех обнаруживаемых в зоне военных действий враждебных и нейтральных кораблей. Тирпиц и его сторонники полагали, что Англия будет блокирована, истощена и таким образом можно будет заключить мир. Что война с Америкой тем самым становилась неизбежной и грозила большой бедой Германии, они не хотели признавать. Гросс-адмирал завоевал поддержку своих планов военачальниками, не согласными с канцлером. Вебер пишет 20.2.16: «В области политики здесь все не вызывает *особого* доверия, никто не знает, что будет с Польшей. Все еще лелеют весьма сомнительную надежду на сепаратный мир с Россией. Прежде всего *очень* серьезны отношения с Америкой. Здесь надеются, что в «предполагаемых новых случаях» можно будет выйти из положения посредством промедления, лжи и «мелких средств». Но они ошибаются. Однако Морское ведомство одержимо идеей испробовать свои новые подводные лодки и для него все — «чепуха». Никому неизвестно, как долго еще выдержат турки. Особенно в вопросе снабжения *продуктами питания*, которое очень неудовлетворительно. Велик и *надо надеяться* не совсем необоснован оптимизм по поводу Румынии. «Qui vivra verra»<sup>136</sup>. И 23.2.16: «Если только сумасшедшие пангерманцы и деятели имперского флота не заварят нам кашу из-за Америки! Следствием окажется: 1. Что *половина* нашего торгового флота — 1/4 его находится в американских, 1/4 в итальянских гаванях — будет конфискована и использована *против* нас, и тем самым *увеличится* число английских кораблей, — что эти ослы не в состоянии высчитать; 2. Что нашим усталым войскам будут противостоять дополнительно 500 000 блестяще обмундированных американских спортсменов в качестве добровольцев, — во что эти ослы не верят; 3. 40 миллиардов — противникам; 4. еще 3 года войны, следовательно, верное разрушение; 5. Румыния, Греция и т. д. выступят против нас. И все это для того, чтобы господин фон Тирпиц «мог показать, на что он способен». Ничего более глупого никогда не придумывали».

27.2.16. «Теперь действительно отношения с Америкой близки к разрыву! Совсем как я предсказывал. И все потому, что объективные вопросы связываются в публичных извещениях с «point



d'honneur»<sup>137</sup>, говорится об «унижении» и тому подобном и тогда больше нет пути назад. Все это ужасно, это — преступление. Причем именно теперь, когда можно было бы радоваться событиям под Верденом и почти все обстоит хорошо. Создается впечатление, что нами правят помешанные. Ты спрашиваешь, что нам делать? *Во всяком случае* не выступать с большими публичными речами, а если уж выступать, то без «пафоса», сохранять холодное понимание и считаться с обстоятельствами. Вооружение торговых кораблей «для защиты» *разрешено*, здесь ничего изменить нельзя и действовать все время вопреки этому «священному» для американцев международному праву было бы простительно только при *уверенности* в успехе. А этой уверенности как раз и *нет*. Напротив! В случае разрыва *наши* корабли (находящиеся в американских гаванях) будут торпедированы нашими подводными лодками, ибо они будут использованы против нас. И затем на стороне врага 1/2 миллиона спортивных участников, блестяще обмундированных, против наших изнуренных несчастных парней; к тому же больше 40 миллиардов золота и т. д. И все это из-за нескольких дюжин подводных лодок! «Заставить голодать» Англию еще менее вероятно, чем нас. Ведь нам не удастся даже всерьез помешать транспортировке *войск*! Но довольно. Отвратительно об этом думать. Война может идти еще *годы*. И турки, например, это выдержать не смогут. Они будут вынуждены отказаться от союза с нами».

5.3.16. «Тем временем опасность вступления в войну Америки достигла своей кульминации, и мне кажется, что нами управляет банда безумцев. Люди, которые 14 дней тому назад были одного мнения со мной, теперь изменили свои взгляды. Те, кто 14 дней тому назад говорил: «Ах, американцы *никогда* не будут воевать», теперь говорят: «Ах, американцы обязательно *хотят* войны» — совершенно как тогда в случае с Италией. Несколько спокойных людей здесь *знают*: Если произойдет разрыв с Америкой, война проиграна. В финансовом отношении потому, что тогда наш заем не будет подписан. В экономическом потому, что мы все еще вынуждены получать из заграницы большое количество сырья, без которого мы обойтись не можем и которое поступать перестанет. Кроме того: потому, что тогда Румыния начнет воевать, а турки через 1/2 года заключат сепаратный мир, как только у нас не будет больше денег. С ума можно сойти. А безумная ярость, которую возбуждаешь, пытаясь убедить объективными доводами подстрекателя такого рода, представляется чем-то жутким...»

«Агрии знают: *хлеб* придется покупать и в том случае, если нас победят, промышленность и судоходство будут разорены, от *этих* конкурентов в борьбе за власть мы тогда освободимся. Рабочие, отчасти вследствие утраты мужества, отчасти вследствие ре-

волюционного отчаяния, заботятся о том, чтобы крупные землевладельцы сохранили власть, тогда монарх в их руках. И поэтому («*va banque*»<sup>138</sup>) будем надеяться на слабую возможность того, что правительство Германии примет во внимание вопрос *подписи займов*. Это теперь единственный шанс, и я надеюсь, что он будет использован».

7.3.16. «Невероятен оптимизм военных и политиков по поводу войны с Америкой. Совершенно другое можно услышать в разговоре с глазу на глаз с теми, кто ответствен за хозяйство — за обеспечение сырья. Так же и от представителей промышленности, кроме изготовителей гранат и аграриев, которым продолжение войны приносит рост цен».

Вебер прилагает все усилия, чтобы воспрепятствовать грозящей опасности. Вместе с Сомари он составляет докладную записку, цель которой распространить понимание положения среди руководителей партий и поддержать канцлера против гросс-адмирала<sup>25</sup>. Доказательства даны в ней не в аподиктической форме, а находят свое выражение в неопровержимых указаниях на бесчисленные и невыполнимые условия, от которых зависит несомненный успех подводной войны. И каждая из резко выраженных фраз завершается вопросом: «Подумали ли Вы обо всем этом и расценили ли трезво и правильно? Горе Вам, если Вы ошиблись хоть в одном пункте, тогда и величайшая храбрость не спасет Германию от поражения и хозяйственной агонии».

Докладная записка была представлена Министерству иностранных дел в начале марта, и примерно 10 числа этого месяца передана руководителям партий. Под воздействием Бетмана и Гельфериха решение было принято 4 марта. Неограниченная подводная война была отсрочена, Тирпиц уволен, однако усиленные действия по отношению к торговым кораблям-рефрижераторам были вновь введены. Заключение Вебера, которое было направлено и против усилившейся торговой войны, вряд ли оказало свое действие, но оно могло укрепить положение канцлера против начинающих нападок правых партий и распространить ясное понимание. Впрочем, фанатики не внимали никаким убеждениям.

«Завтра я посылаю докладную записку руководителям партий. Министерство иностранных дел, которому я ее до того послал, написало (через курьера), чтобы я направил ее срочно по назначению, это крайне необходимо, и она сразу же будет доведена до сведения рейхсканцлера. Впрочем, в ней содержится лишь общеизвестное. Следовательно, опасность уже достигла для них высшей точки. Положение все еще достаточно серьезно, и эти проклятые «случаи», которые в общем каждый может предвидеть, являются

тем, что создает ощущение пребывания на вулкане. При этом стремление Турции к сепаратному миру — да и кто может ее в этом упрекнуть? *Мы* хотим аннексий, а что мы можем предложить туркам? И дурное отношение Румынии. Быть может все-таки дела пойдут лучше, чем мы ожидаем, если только они не принесут на Западе слишком много людей в жертву! Наша специальная работа наталкивается на сильное противодействие начальства, как я и предчувствовал, а о том, чтобы послать меня в Польшу речь вообще не идет...»

«Я с интересом жду выступления канцлера в рейхстаге и на основе прошлого опыта обеспокоен. Все эти люди такие «честные», но никто из них не является государственным деятелем. Поэтому мы можем выиграть войну и ничего от этого не получить. Но может быть потом станет опять лучше. Моей «докладной запиской» я вызову всю ярость поджигателей войны и буду объявлен слабым трусом. Тем лучше» (не датировано, от 6 или 13.3.16).

«Отправление докладной записки всем консервативным горячим головам послужит тому, что на меня падет невероятная ярость многих. Пользы это не принесет — несмотря на то, что министерство иностранных дел предложило послать ее баварскому премьер-министру и всем высоким чинам — но я выполнил свой долг. Участвовать, конечно, и на этот раз не захотел *никто*!» (не датировано).

«Докладную записку ты ведь получил? Теперь после падения Тирпица наступит, по-видимому, реакция. У нас, кажется, 10 новых подводных лодок. И ими хотят блокировать Англию! И коллега Л. в качестве Пифии главного морского штаба! Он уже в вопросе об обеспечении зерном так *основательно* просчитался, что теперь полностью потерял всякое уважение в товариществе по закупке зерна. Это нагоняет на меня страх, умеют ли эти люди действительно правильно *считать*» (14.3.16).

«Опасность войны, которая была в пятницу и субботу высокой, теперь прошла. Рейхсканцлер победил Тирпица, мы пойдем на уступки. Но как? Не теряя достоинства и не портя *эффект* уступки *хвастовством*? В этом вопрос. Тирпиц вел безответственную игру. Он должен был *знать*, что не *может* в течение года торпедировать столько кораблей, чтобы заставить «голодать» англичан, *если* они будут исходить из нашего уровня удовлетворения потребностей и введут *наши* мероприятия. Это просто нелепость. Однако он понтировал, как отчаянный игрок все выше и объявил: «гарантировать» успех он может только в том случае, если будет торпедировать все корабли, приближающиеся к английскому берегу, — следовательно, также голландские, скандинавские, испанские и т. д. *Это* он имеет в виду. Следовательно война с Голлан-

дией, Данией и т. д. *Это* привело к повороту. Истерический коллапс этого «героического императора»: «найдите средство положить этому конец», создал кризис, такой коллапс страха перед перспективой войны с Америкой, что гораздо серьезнее, чем изображают наши газеты, создал опять поворот. Не слишком ли поздно он наступил, покажет будущее. Нами правят пагубно и это в момент, когда речь идет о всем нашем существовании» (15.3.16).

«*Правительству* я безусловно не сказал ничего нового, а только оказал ему услугу. Вопрос перешел к депутатам. *Может быть*, высказанное мнение оказало влияние на депутата Ш. и еще нескольких, *может быть*, и на нескольких центристов, которые, правда, и сами по себе умны и числятся № 1 у правительства. Но подлинный эффект докладная записка оказала; несомненно в очень незначительной мере, если вообще оказала, в правительстве этот вопрос *был* уже решен» (19.3.16).

В это время суггестивное воздействие гросс-адмирала представляется Веберу вредным, и он страстно борется с ним. Но падение этого патриотически настроенного человека возмущает его: «...Грубое изгнание Тирпица — публичное извещение, что он «внезапно заболел» одновременно с приказом подать в отставку, — в тот же день этот Геркулес стоял на Вильгельмштрассе перед министерством иностранных дел и в ответ на вопрос тайного советника Килиани кричал так, чтобы каждый слышал: «Обратился ли я с просьбой об освобождении от должности? Мне было приказано! — приказано! — *приказано!!!* (громовым голосом) — уйти». Это вызовет сильное раздражение, окажет угнетающее воздействие на друзей, воодушевляющее — на врагов. Это очень неразумно, не говоря уже об отвратительности в чисто человеческом отношении, которая всегда проявляется одинаково у *этого* монарха. Тем, что Тирпиц уступил по существу, следовало удовлетвориться. Это своего рода признание проигрыша. Мир с Америкой теперь не будет нарушен, но ради этого не следовало выталкивать его пинками (16.3.16).

«...*Вынужденная* отставка Тирпица производит в стране и за ее пределами впечатление проигранной битвы, он был готов остаться. Вместо того, чтобы по существу *вопроса* вести себя так, чтобы исключить опасность осложнений и сохранить человека, торпедируют голландский корабль и дают пинок перед всем миром единственному популярному министру. Результат: по крайней мере на 2 миллиарда меньше заключения займов, чем можно было ожидать. Что бы Е.В. ни совершал, это всегда бессмысленно. Такая ненадежность и быстрые повороты подавляют здесь каждого, и настроение имперских должностных лиц, очевидно, в данное время *достаточно* угнетенное» (17.3.16).

17 марта правые партии вместе с центром попытались выступить против канцлера с новым предложением неограниченного использования подводных лодок — однако в бюджетной комиссии рейхстага вопрос был решен в соответствии с мнением канцлера.

«Мы узнаем теперь о заседании комиссии рейхстага следующее:

1. Адмиралтейство решительно объявило: блокада Англии невозможна. (Число в любое время готовых для использования подводных лодок *еще* меньше, чем я предполагал). В *будущем январе* у нас — может быть — число их будет достаточно, чтобы это осуществить. (Полагаю, что и тогда это будет невозможно). 2. Гельферих *отверг* ответственность за финансовые последствия интервенции Америки. Впечатление от всего этого было таково, что дерзкая консервативная фронда потерпела поражение. Надеюсь, навсегда. Безобразие, что имперское морское министерство могло так играть с огнем, и если рейхсканцлер выступил против «бюро прессы», то в действительности имелись ввиду совсем другие люди. Все было *блефом*. Теперь дело обстоит следующим образом: должно казаться, будто подводная война ведется более решительно — ведь мы не могли «ошибиться». И поэтому мы продолжаем торпедировать, а затем медленно прерываем эти действия. Однако это может — «случайно» принести нам войну с Америкой! Это — неквалифицируемое! Будем надеяться, что до этого не дойдет, хотя мобилизация в Голландии — кажется, направленная не против нас — действует в Вашингтоне возбуждающе.

Мир управляется *не слишком* разумно, это следует признать!» (1.4.16).

5 апреля канцлер пояснил в рейхстаге внешнеполитическое положение, причем опять с точки зрения непобежденного и непобедимого народа, военные цели которого в будущем определяются ожидаемым успехом: «Мы подвижны не жадностью завоеваний и стремлением обрести земли»... «Мы начали войну для нашей защиты, но то, что *было*, того уж нет... Status quo ante<sup>139</sup> после таких потрясающих событий история не знает». По этому поводу Вебер замечает: «Политический воздух стал несколько прозрачнее. *Эта* речь канцлера возможна, и он способен нести за нее ответственность, только если он уверен в том, что в обозримое время нет *никаких* перспектив на серьезные мирные переговоры. Итак дело, по-видимому, обстоит. Особенно ловким и политически умным я это выступление не нашел, хотя в ораторском отношении оно было лучше предыдущих. Ошибку, которая заключается в том, что с *самого начала* не было сказано, что Бельгию *не* будут удерживать, теперь исправить нельзя, а на востоке возбуждены надежды курляндцев и т. д. Глазомер для возможного и полезного отсутствует у всех. И к тому же все это рассматривается только

с точки зрения *внутренней* политики. Канцлеру необходимо было показать, что он «сильный человек» — такой же «сильный», как Тирпиц; в противном случае он бы потерпел поражение из-за фронды консерваторов. А политика консерваторов и крупных предпринимателей совсем проста: «чем *дольше* будет продолжаться война, тем *больше* социал-демократов повернут «налево», — что лучше для нас, опоры трона и алтаря. Только не компромиссный мир, ибо тогда придется идти на уступки в избирательном праве. Это лежало в основе и всей агитации за подводную войну. Опасность войны с Америкой теперь меньше — так как мы пошли на уступки — но она может в любую минуту вновь вспыхнуть, пока идет война. Очень многое зависит от урожая — если он будет хорошим, то англичане может быть откажутся от своих замыслов, в противном случае — вряд ли. Кофе хватит только на короткое время, с сахаром положение поправится, карточки на мясо будут *очень, очень* скудны» (7.4.16).

Между тем возник уже новый конфликт с Америкой: торпедирование по недоразумению «Сассекса», французского пассажирского корабля, на борту которого было много представителей нейтральных стран, преимущественно женщин и детей. В середине апреля Соединенные Штаты категорически потребовали «немедленного» прекращения каких-либо действий без предупреждения против торговых кораблей. «Да, торпедирование «Сассекса» было несомненным свинством, самым глупым, что можно было совершить. На корабле находились выдающиеся люди с их семьями из всех нейтральных стран — Испании и других, и погибли главным образом женщины и дети. Если дальше так пойдет — надеюсь, что нет! — то нам гарантирована война со всем миром. И в партиях нет *никого*, кто бы на соответствующем уровне отклонил ответственность и высказал бы протест. С уходом Тирпица и принятием резолюции — которая была тяжелым поражением крикунов в защиту подводных лодок — все считают вопрос прекрасным образом улаженным» (5.4.16).

«Америке мы, следовательно, уступили — но и на этот раз не мужественно и открыто, без оговорок, а с «сохранением лица», это жаль. У этих людей нет ни глазомера, ни чувства собственного достоинства. И так достаточно плохо. А то, что они поставили нас еще в это трудное положение, непонятно и очень грустно. Каждый человек мог предвидеть, когда происходили эти проклятые интервью, что случится. Почему же только не они? В сущности из низкого страха перед консерваторами. Теперь, когда дело приняло серьезный оборот, все эти хвастуны залезли в свои мышинные норы. Трудно будет ослабить угнетающее впечатление, которое это неизбежно произведет после того как не-

сли чепуху о «единственном пути», который приведет к почетному миру» (2.5.16).

Неизбежная уступка Германии была связана с условием, что Америка потребует от Англии «свободы морей», то есть прекращения блокады, и *проведет* свое требование. Вебер расценивает это как новую политическую ошибку: «Нота Америке поступила. Заметно, что это с трудом принятый ответ. Наряду с очень хорошими отдельными частями в целом это опять потребность «сохранить лицо». Каждому *известно*, что раз принятая уступка *не может* быть взята назад без угрозы возобновления военных действий. Каждый знает, что чем позже, тем более *невозможным* становится идти на риск войны (с А[мерикой]). Каждому известно, что тем временем Англия обеспечивается продовольствием. Что должно означать это обусловливание, когда достойно было бы *только* честное: «хорошо, мы уступаем — теперь дело Вашей чести применить «международное право» и по отношению к Англии». И затем — «крайняя уступка». Все время так связываться! Очень сомнительно, поможет ли нам это продвинуться. Рейхсканцлер очень нервен и не справляется с трудностями. Особенно с *внутренними* противниками, которые совершенно бессовестны. Что ж, посмотрим!» (7.5.16).

Эта критика оказалось справедливой. Результатом было новое дипломатическое поражение: правительство Соединенных Штатов «ни на минуту не собирается принимать во внимание, а тем более рассматривать возможность того, что соблюдение прав американских граждан на море будет каким-либо образом зависеть от немецких морских ведомств или в малейшей степени от какого-либо другого правительства. Ответственность в этих вопросах раздельная, а не общая; абсолютная, не относительная».

По этому поводу Вебер говорит следующее: «Да, американская нота покончила с этим вопросом. Но наше поражение остается. Мы с большим шумом инсценировали в свое время это положение дел, говорили об «унижении» и т. д. — а теперь нота Вильсона может установить, что мы стоим на том же самом месте, на котором стояли, и ничего не достигли, разве что теперь каждое «происшествие» может означать войну, и Англия воспользуется обстоятельствами, чтобы усилить свою блокаду. А наша глупая оговорка эвентуально все-таки торпедировать без предостережения предоставляет Вильсону возможность сказать: «я *ничего* не предпринимаю и выжидаю, будете ли вы хорошо себя вести, а затем — увидим»... Все это очень огорчительно, и те, кто приготовил нам это поражение, достойны позорного столба. Надо было знать, можно ли идти на риск войны с Америкой или нет, и если нельзя, то во время остановиться. Вильсон остался абсолют-

но верен себе в своем — столь фатальном для нас — педантизме — и именно этого люди здесь не понимают; они не понимают, что можно *чисто* формально, как юрист на лекции или экзамене на степень доктора заниматься политикой и завершать свою ноту фразой, которая несомненно взята из его лекции об ответственности в международном праве. Тогда как мы так горды нашей «реальной политикой»! — из которой мы сделали теорию. Этот президент проводит свою политику, как юридическую дискуссию в научном споре» (10.5.16).

### III

После этих крайне волнующих событий Вебер не нашел — несмотря на все усилия — в Берлине ничего существенного для своей деятельности. Министерства и ведомства не предоставляли ему, как и раньше, какой-либо возможности, а торгово-политическая мелкая работа для Средней Европы в борьбе против должностной обструкции не имела особого смысла.

К счастью, он параллельно все время занимался научной работой: «Я чувствую себя так хорошо и таким трудоспособным, как только обращаюсь к Китаю и Индии, и очень хочу заниматься этим. Половинчатое занятие невыносимо. Именно теперь тема расширяется и становится интересной. Я ждал 3 месяца, этого достаточно. Я очень стремлюсь в Гейдельберг и думаю, что поступаю правильно, уезжая и предоставляя вести дела другим. Во всяком случае моя совесть *совершенно* спокойна».

Гейдельбергские друзья уже давно считали, что пора направить все силы на свой труд.

«К. Ясперс был у меня позавчера вечером, и мы, как обычно, много говорили о тебе. Он смотрит на тебя «с большой надеждой», видит в тебе новый тип, который обладает силой несмотря на полное отсутствие иллюзий соединять невероятное внутреннее напряжение своего Я с противоречиями жизни вне себя и подниматься над ними, который может себе позволить даже быть больным или иногда даже компрометированным. У меня создается впечатление, что Ясперс, который, правда, считает величайшей ценностью жизни познание и стремление к истине, говорит: «Жалко каждый день, который этот Макс Вебер расточает на политику, вместо того, чтобы объективировать самого себя». Я пишу тебе это, так как ты должен именно теперь подумать о том, как тебе использовать наиболее плодотворно дарованные тебе таланты; ты ведь знаешь, как охотно я дарю тебя родине, но если аппарат управления столь неповоротлив, а люди, управляющие им, столь ничтожны, что не могут найти *подходящее* дело, для такого человека, как ты,



то тебе не следует тратить свои силы по пустякам. Может быть судьба еще хранит тебя для важных задач».

Тщетное ожидание возможности использовать свои политические способности сделало для Вебера пребывание в Берлине довольно «безотрадным». Елена часто находила своего сына тихим и расстроенным и когда ей показалось, что причина в ней, он открылся ей в следующих, написанных в период напряженных отношений с Америкой, словах: «Ты опять говоришь о том, чего ты не могла мне «дать». Как странно, — ведь все как раз наоборот. Я со своей стороны не мог много дать духовно и душевно, и виной тому обстоятельства. Мне кажется, что из трех твоих сыновей у меня были самые сильные врожденные военные инстинкты, и я ощущаю как фальшивое и неудовлетворяющее положение то, что не могу быть использован для того, что в первую очередь нужно. И не сумею даже найти какое-либо безусловно полезное применение! Я согласен с Метерлинком по поводу значения совместного молчания. Но и это несколько трудное положение — как это ни претит — невозможность выразить в словах впечатление об ужасных жертвах, которые приносят другие, — заставляет молчать, особенно думая о предстоящих страшных опасностях для страны. Когда же эта опасность стала фактом, ибо мирного соглашения с Америкой трудно ожидать и даже если бы оно состоялось, это было бы только отсрочкой, — все изменилось. Нет больше смысла ломать себе голову над этими проблемами и их неизбежностью. И так как я решил сделать необходимый вывод, и если я не нужен, не нужен для действительно *необходимого*, покончить с этим и спокойно ждать того момента, когда я действительно все-таки смогу быть полезен, то впредь я приеду значительно менее удрученным, чем был на этот раз. Конечно, работая в лазарете, я чувствовал себя лучше, даже значительно лучше, хотя в сущности ее мог выполнить любой инспектор — но это мне было все равно. Это берлинское пребывание было просто тратой времени и болтовней с разными людьми, лишенное возможности какого-либо свершения... Для того, чтобы достигнуть чего-либо, надо состоять на «службе». Я не могу заставить себя вваливаться к замученным людям в бюро, пытаюсь «что-либо сделать». О моей готовности действовать в любое время здесь знают все» (17.4.16).

Впрочем, он не драматизирует свою политическую неприменимость. Многие «умные люди» находятся в таком же положении. За некоторых из них ему так же обидно, как за себя: «... Хотя бы Вы нашли, наконец, достойное Вас и объективно необходимое применение! Неужели обязательно быть ослом или карьеристом, чтобы оказаться подходящим для ведомств? Что сказать о следующем разговоре: Генерал X здесь в Генеральном штабе: «Господин лей-

тенант У. Вы пишете об издержках производства в промышленности и сельском хозяйстве? Издержки производства бывают только в промышленности, в сельском хозяйстве они не существуют. Измените это! Лейтенант ландвера, профессор политической экономии (используемый в Генеральном штабе). «Слушаюсь, Ваше превосходительство»! — ? — Да поможет им Бог!»

\* \* \*

До того как Вебер в середине мая на длительное время вернулся домой, ему представилась еще одна заманчивая задача: в интересах «Средней Европы» поездка в Вену и Будапешт для устных переговоров с предпринимателями по социально-политическим вопросам. Уже в течение двух лет, лишенных перемены мест, эти путешествия принесли желанное возбуждение и временно успокоили так тяжело удрученную судьбой Германии душу. Письма Вебера оттуда не только веселы, но и полны политической веры в отличие от прежних высказываний о тяжелой озабоченности. Они намеренно написаны в таком радужном свете, пусть это успокоит цензоров. Но и действительно, Австрия проникла через Южный Тироль на итальянскую почву, а в июне 1916 г. морская победа немцев у Скагерра преисполнила всех радостной гордостью. К тому же, при каждом проблеске надежды Вебер был готов, несмотря на все, перейти к упованию на лучшее. В Вене он пользовался гостеприимством дружественного ему историка Л.М. Гартмана и был очень возбужден: «Вот уже 2 1/2 дня я здесь, весь день в разъездах, встречаюсь с разными людьми и едва нахожу время, чтобы написать хотя бы привет. Интересно, и это цель моего пребывания, получить впечатления от здешнего *настроения*. Оно совсем другое, чем мы представляем, просто *блестящее*. Они беспокоятся о нас, боятся, что *мы* голодаем, так же, как мы беспокоимся о них. И в самом деле здесь многое организовано лучше, чем у нас. Прекрасные успехи в Южном Тироле также играют определенную роль. Во всяком случае эти впечатления меня очень радуют. Австрийцы выдержат. Поскольку я только частное лицо, собирающее для себя сведения, я встречаюсь, конечно, только с частными лицами. Но подкупающая любезность и открытость австрийцев необыкновенно привлекательна (26.5.16)»... Вена полностью сохранила свое прежнее очарование и так радостно воспринимать эти впечатления в настоящем, столь почетном для австрийской армии времени, когда и многочисленные пессимисты выглядят по-иному, чем раньше. Мир, очевидно, все еще очень далек, несмотря на бесчисленные разговоры о нем, однако теперь все-таки сохраняется уверенность, что все окончится

хорошо. Хорошо и важно также то, что австрийцы *без сомнения* сами всего достигли и блестяще подготовили.

«Что я здесь делаю? Встречаюсь со старыми и новыми знакомыми разного рода в любое время дня от послеобеденного кофе в кафе до полуночи. Вчера я виделся с целым рядом довольно интеллигентных предпринимателей. Признаю, что их умственный уровень высок; у нас такие беседы нелегко было бы вести даже с деловыми людьми» (29.5.16).

«Красивые длинные знамена, которые веют с ратуши, радуют меня, так как то, что они относятся к морской победе немцев — самое удивительное из всех чудес этой войны. *Как* достойны этого наши моряки! Если теперь, как можно ожидать, на востоке все пойдет хорошо, то война внутренне закончена благодаря успехам Австрии в Италии, которая проучила эту банду, как они того заслужили. Кто мог считать это возможным! Завтра утром я возвращаюсь в Германию и скоро буду в Гейдельберге. В Берлине мне нечего делать, я еду сразу домой, чему бесконечно рад. Здесь я виделся и разговаривал со многими приятными людьми: у всех та непринужденно свободная манера, которая так благотворна, и «светскость», столь нам несвойственная. Погода была превосходна и моя любовь к Вене возродилась. После Мюнхена это самый красивый немецкий город! Но все-таки приятно вернуться на родину» (5.6.16).

Вебер проводит несколько тихих летних недель дома и сразу же погружается в научную работу — чувствуя себя счастливым от единообразия и тихой гармонии созерцательного существования. Но в конце августа он опять проводит короткое время в Берлине, чтобы возобновить по желанию Наумана переговоры о средневропейских делах. Между тем положение на фронте опять ухудшилось. Австрийцы давно уже потеряли их завоеванное в мае положение в Южном Тироле, теперь итальянцы вступили на австрийскую землю. На восточном фронте немцы также отступили под штурмом русских, а на западе англичане медленно оттесняют немцев. В конце августа Румыния переходит на сторону Антанты. Мирные переговоры с Россией не состоялись. Дело обстоит плохо. В качестве талисмана, противодействующего общему унынию главнокомандующим союзных армий и главой генерального штаба назначается всеми высокоуважаемый Гинденбург. Он — национальный герой. Всех объединяет вера в его военное и человеческое величие. Вебер пишет:

«Очень распространено мнение, что Бетман «не удержится», так как он потерпел поражение в переговорах с Россией — о мире, с Австрией о польском вопросе и оказался неспособным принять *решение*. Это кажется соответствует действительности. Он не «го-

сударственный деятель», бедняга, так же как младший Мольтке не был стратегом. Однако *если* он уйдет со своего поста, то объединить нацию мог бы только *Гинденбург*. Никого другого, кто мог бы заключить мир, я не вижу. Впрочем, и он не «государственный деятель». Здесь все производит нехорошее впечатление, все так дезориентированы, странного — впрочем, нет. Ибо — это необозримая война, конца которой не видно!» (22.8.16)

«Здесь думают больше об *экономическом* положении, чем о военном; оно постепенно примет, кажется, стабильный характер. Но если после войны налоги на доходы и имущество поднимут до 40, 45, 50% — а это будет необходимо, при условии, что война продлится еще до лета, *всем* нам придется изменить свой образ жизни. Что ж, мы сделаем это непоколебимо. Надо надеяться только на то, что приличный мир возместит эти безумные жертвы крови, а также благосостояния! Однако все это еще во тьме и в дали» (23.8.16)

«... Что означает этот переход Румынии на сторону Антанты, еще сказать трудно. Качество ее армии неизвестно и не испытано. Положение несомненно серьезно, и преступная болтовня на манер Дитриха Шефера должна наконец прекратиться. Но я и сегодня, как всегда, думаю, что мы с *честью* выйдем из этого положения. Правда, влияние этого на будущее, как случилось в Италии, не вызывает сомнения. В дипломатическом отношении мы становимся все изолированнее, и в выборе наших союзников и друзей все ограниченнее. Это представляется мне наряду с неведомой нам военной, важной политической стороной, которая очень сузит рамки нашей мировой политики. Что Гинденбург призван только теперь, когда династия оказалась в отчаянном положении, огорчительно. Однако мир, который он заключит, нация примет, каким бы он ни был. В этом смысл всего этого дела» (8.9.16)

\* \* \*

Из Берлина Вебер едет на Боденское озеро, чтобы наконец после двух лет непрерывного напряжения провести вместе с женой несколько дней, наслаждаясь природой. Как прекрасно на большом озере! Меняющийся свет придает линиям берега все новое очарование. В озере отражается мягкая голубизна сентябрьского неба; овеванная осенним ароматом местность свободна от ничтожных созданий человека — неземная прелесть. Однако в гармонические картины пробиваются мрачные воспоминания. У этого озера Вебер 18 лет тому назад тщетно ждал выздоровления и предчувствовал свой длинный страдальческий путь. Они впервые вновь ви-

дят прежние места: Констанц, констанцкий двор, и прошедшее выступает как мрачно угрожающий облик из тени. Однако Веберу оно больше ничего не может сделать. Он выдержал, и его волнует не его личная судьба. Если он опять *тяжко* страдает, то за Германию. И теперь, когда он несмотря на все находится в повторном расцвете сил, он может почувствовать, что объем и содержание его духовности не слишком высоко оплачены лишениями тех лет: «Мне кажется, что на тебя старые воспоминания подействовали значительно сильнее, чем на меня, меня они совсем не настолько угнетали, как тебе представлялось, а угнетала «общая судьба», которая движется в необозримое. После заключения мира — только когда он будет заключен? — мы сразу подумаем о пребывании там внизу. Несмотря на все, там в лесу с тобой было *восхитительно* и благотворно, и это должно в будущем повторяться гораздо чаще. Спасибо тебе!»

#### IV

В конце августа агитация за неограниченную подводную войну возобновилась. Расслоение все глубже проникало в народ. Внепартийные союзы и комиссии пытались влиять на политическую волю: одни добивались быстрого мира, другие, движимые уверенностью в победе, призывали к отставке канцлера и безоговорочного применения всех средств борьбы и силы, прежде всего подводных лодок. Генералы и морской генеральный штаб образовали теневое правительство. Вебер вновь выступил против этого, считая публичное обсуждение этого вопроса политической глупостью. Он пишет Науману: «Возобновление агитации подводной войны заставляет задать вопрос, неужели высшие инстанции настолько потеряли головы или мужество, что терпят *эту* низость, аналогии которой нет ни в одной вражеской стране — агитацию *военных* мероприятий. Предположим, — во что я не верю, — что применение подводных лодок оказалось бы в военном, экономическом и политическом отношении не вызывающим сомнения или вызывающим его в меньшей степени — и тогда ведь было бы вершиной безумия позволить противнику обнаружить это *заранее* и предупредить его о необходимости позаботиться о запасах *продовольствия*. Именно в этом случае правительство должно было бы публично провозгласить: «Ни при каких допустимых обстоятельствах это не имеется в виду!» И должно было бы довести до сведения главарей правых доверительно, но отчетливо, что эффективное использование подводных лодок становится *невозможным* из-за их собственной болтовни и решительно *запретить, пресечь* все дискуссии в прессе и в выступлениях. Все это настолько очевидно, что

даже стыдно писать и говорить об этом. Однако сегодня, по-видимому, забыто самое простое. Я больше не понимаю рейхсканцлера — разве что он не *может* провести то, что считает правильным. Но тогда — ему следует уйти» (18.9.16).

Когда заявление Ллойд Джорджа представителю прессы, что борьба будет продолжена до (knock-out<sup>140</sup>) Германии, стало оказывать воздействие, Вебер опять обратился к дружественному ему политику. Он писал Шульце-Геверницу: «Уважаемый друг! Надеюсь, что по крайней мере в Вашей партии никто не пришел в замешательство из-за болтовни Ллойд Джорджа. Он — фанатик — но *это* сказано им с расчетом: в надежде, что *истерия, связанная с подводными лодками*, (ибо такова она и есть), присущая людям, не владеющим собой, настолько усилится угрозами, что мы совершим именно эту глупость и тем самым навлечем на себя вмешательство Америки и нейтральных стран. Только так можно объяснить эти высказывания. Между тем подлинные условия мира, предлагаемые Англией ведь достаточно известны и английской консервативной прессе. Следовательно, без глупостей. Конечно, это глупое выступление следует использовать как путало против наших ревнителей мира в стране. Но его следует политически правильно оценивать *pro foro interno*<sup>141</sup>. *Надеюсь*, что на этот раз правильно вычислено: 1. *какой* тоннаж нужен Англии, чтобы при блокаде подводными лодками «выдержать», если она а) правильно использует свои корабли для перевозки хлопка и шерсти; б) вместо зерна будет ввозить муку, вместо скота — консервы и мороженое мясо и т. д.

Когда я весной видел докладные записки, которые все были плохи, вычисление *не* было сделано. Между тем от этого все зависит. Торпедированием четырех миллионов тонн, по замыслу Тирпица, мы ничего не достигнем. Это господа должны ясно понять! Да и кто вообще совершает эти вычисления? Простите за набросанные в спешке строки! Но эта бессмысленная и постыдная суматоха с подводными лодками несказанно нам вредит. Преступно внушать войскам на полях сражений и населению дома, будто существует средство *быстрее закончить* войну. Вступление в войну Америки удлинит ее на 2—3 года. Преступно было бы, решившись вести подводную войну, позволить заметить это врагу, чтобы он *запасся продовольствием*! Бетман должен либо строго запретить любое прямое или косвенное обсуждение военных мероприятий или *уйти*.

Ceterum censeo<sup>142</sup>: Против демагогии подводной войны *следует* выступить, нанося *удары дубиной* сверху — иначе я не понимаю, почему мы называемся «монархией». Главное!» (2.10.16).

К концу года немецкие вооруженные силы вновь сделали невозможное возможным: западный фронт держался, на востоке Гинденбург опять продвинулся и самое главное: Румыния побеждена и тем самым открыт новый источник пропитания для армии и народа. Статистические данные за год свидетельствуют о миллионах пленных и сотнях тысяч квадратных километров занятых областей. Казалось, что, наконец, наступил благоприятный момент для предложения мира. В середине декабря оно было передано врагам. Перед Рождеством возникли надежды. Но правительство сочло уместным вести себя как победитель. В ноте говорится о «неодолимой силе» и крупных успехах центральных держав. При этом о конкретных целях мира умалчивается. Еще надеются получить области на востоке и западе, а также репарации — а те из ответственных политиков, кто в это не верит, делают вид, что верят, боясь прослыть плохими патриотами. Антанта отвечает в насмешливо-враждебном тоне. Ллойд Джордж определяет условия Англии следующим образом: полное «восстановление» и «удовлетворение» за занятые области. Теперь правительство уступило натиску высшего командования армии и морского генерального штаба. 1 февраля 1917 г. решено начать неограниченную подводную войну. Казалось, что другого выхода кроме этого опасного решения нет. Еще теплилась надежда, что Америка останется нейтральной. Посланную туда ноту Вебер считает, как и большинство дипломатических актов правительства, очень неудачной.

Между тем, когда решение было принято, Вебер также поддержал правительство, как из политической дисциплины, так и в смутной надежде, что быть может, *другие* правы, а он ошибается. Исходя из этого, он написал ободряюще о грозящей опасности отчаявшемуся молодому другу. К изложению всех причин, вследствие которых опасное действие казалось теперь менее безысходным, чем весной, он добавил: «Тем не менее это, если угодно, *«va banque»*<sup>143</sup>. Есть несколько очень важных обстоятельств в нашу пользу и ряд мне совершенно незнакомых против нас. Оценка очень трудна. Конечно, в начале августа 1914 г. ситуация была схожа. Также — когда Италия, когда Румыния нанесли нам удары. Возможно, что на этот раз все пойдет плохо. Ну, тогда скажем вместе с Прометеем: «Не думаешь ли ты, что мне надо пойти в пустыню из-за того, что не все радужные грезы сбылись?» *Ненависть* мира к нам лучше, чем установившееся холодное презрение, которое полностью не повторится. Надеюсь, что мы тогда найдем «дистанцию», которая у нас действительно отсутствует. Страдают от «неучастия», в этом все дело, ибо в остальном — почему поли-

тическое небо должно быть всегда ясным для нас? Я страдаю теперь меньше, чем все 25 лет, когда я видел, как истерическое тщеславие этого монарха портило все, что было мне свято и дорого. Теперь то, что раньше было виной человеческой глупости, стало «судьбой». А с судьбой можно справиться. И позже окажется, что стоит быть немцем, а не кем-то другим, даже *если* все пойдет плохо — что еще под вопросом. Самое худшее — это *продление* войны, что является вероятным следствием положения дел. Но это надо перенести на фронте, а следовательно и внутри страны.

\* \* \*

Вебер стал часто выступать в небольшом кругу. В конце октября 1916 г. руководителю Прогрессивной народной партии в Мюнхене, доктору Гаусману, удалось заманить его на трибуну — впервые за 19 лет. Что должен был он чувствовать, когда заметил, что вновь владеет свободным словом, и души слушателей в его власти? Вероятно, он был слишком занят сутью дела, чтобы размышлять об этом. Тема была «Германия среди мировых европейских держав». Вебер не хотел говорить как член партии, ибо *«политику я всегда рассматривал только с национальной точки зрения, не только внешнюю, но всякую политику вообще»* — следовательно, совершенно так же, как уже в молодости. Тем самым последний масштаб ориентации не внутренняя политика, а только внешние *интересы*: особое положение Германии как могущественного государства, которое, как ни одно другое, окружено большими могущественными государствами. Это географическое положение требует *объективной*, а не эмоциональной политики, политики молчаливых действий, не хвастливого тщеславия, дальновидного заключения союзов, не завоевательной политики. В содержании своего выступления Вебер ратовал прежде всего за соглашение с Англией. Ибо самым опасным врагом является, по его мнению, Россия: угроза оттуда связана с давлением растущего населения и жаждой земли русскими крестьянами — единственная, направленная против *существования* Германии как национального могущественного государства. Англия может лишить нас морской торговли, Франция — земли, победоносная Россия угрожает нашей самостоятельности и нашей национальной культуре. Развитие на востоке ведет к мировым решениям, по сравнению с которыми столкновения на западе покажутся в будущем безделицей. В завершение своей речи Вебер определил в немногих фразах исторический смысл войны. Подлинной причиной войны является якобы развитие Германии в *могущественное* государство. А почему мы стали организованным в могущественное государство народом? Не из тщеславия, а



вследствие нашей ответственности перед историей. «Не датчане, швейцарцы, норвежцы, голландцы сделают ответственными будущие роды, в том числе наших собственных потомков, если мировая власть — а это означает в конечном итоге право *распоряжаться своеобразием культуры будущего* — будет без борьбы разделена между инструкциями русских чиновников, с одной стороны, и условиями англо-саксонской «society»<sup>144</sup> — с другой, может быть, с некоторым влиянием латинской «raison»<sup>145</sup>. Не их, а нас сочтут ответственными. И с полным правом. Потому что мы народ в 70, а не в 7 миллионов, потому что мы в отличие от тех маленьких народов *можем* бросить наш вес на чашу весов истории — именно поэтому мы, а не они, несем проклятую обязанность и долг перед историей, а это значит перед потомками, противодействовать захвату всего мира этими двумя державами. *Честь* нашего народа требует, чтобы мы не уклонялись трусливо и беззаботно от этого долга — эта война идет за *честь*, а не за изменение карты земли и за экономические выгоды.

\* \* \*

Весной 1917 г., когда было использовано последнее — неограниченная подводная война, — все силы нации были до крайности напряжены. Трещина закрылась, соотечественники стали едины. В «Пасхальном указе» император обещает вскоре устранение классового избирательного права в Пруссии, и вступление на путь демократизации государственной системы. Сначала кажется, что успехи подводных лодок подтверждают принятое смелое решение. Вновь возникает воодушевление, вызванное огромным числом потопленного тоннажа врага. И затем на помощь центральным державам приходит даже *чудо*: падение царизма, русская революция. Революционное правительство объявляет военной целью России мир без аннексий и контрибуций на основе права народов на самоопределение. Однако новый кабинет двойствен: империалист Милюков против Чхеидзе и Керенского. Поэтому Вебер советует действовать с величайшей осторожностью и обращаться к Науману с совершенно конкретными предложениями.

Только после падения Милюкова он проявляет склонность к далеко идущему, хотя и осторожному соглашению...

Даже *если* быть уверенным, что в данный момент переговоры о мире *не* дадут результата, именно тогда, при всех обстоятельствах разумно принять за основу предложение русских и объявить: 1. Что мы готовы немедленно заключить мир с Россией на следующей основе: никаких аннексий, никаких репараций, обоюдные гарантии посредством исключения всех взаимно угрожающих во-

енных мероприятий и договор посредством третейского суда. 2. Что мы так же не желаем «поработать» Польшу, как объявило это русское правительство. 3. Что применительно к западным державам мы не можем дать никаких дальнейших объяснений, *пока* там придерживаются не подвергаемых дискуссии, несовместимых с указаниями русского правительства военных целей.

Я считал бы разумным, если бы больше *ничего* не добавлялось, и прежде всего были бы *устранены* всякая морализация, все недружелюбные упоминания об Англии как «подстрекательницы войны» и все сожаления по поводу того, что Россия «истекает кровью» из-за Англии. Ни одна нация не любит, когда ее похлопывают по плечу и жалеют, и все эти обороты в наших прежних объяснениях в отличие от Австрии, которая их избегала, *только* вредили нам... Если же война будет продолжаться, тогда нам, правда, пришлось бы вследствие явно проявленного намерения захвата и обогащения за наш счет, сделать из этого в будущем все выводы.

Я убежден, что война будет теперь *продолжена*, но что эффект такого объяснения внутри страны и вне ее оказался бы тем значительнее, чем более трезво и объективно оно было бы высказано. Лорд Солсбери сказал во время войны с бурами: «Нам не нужны ни алмазные прииски, ни добыча золота». Это заявление подействовало очень благоприятно. Когда же затем военно-дипломатическое положение сложилось таким образом, что он их получил и *мог* безопасно удерживать, он их *удержал*. Мы поступаем наоборот, считая это «*честным*». Но ведь можно было бы *privatim* объяснить военным и разумным вождям центра и правых, что действия лорда Солсбери *более умны*. И в нашем случае они также в высшем смысле честны. Ибо исход войны *нам неизвестен*. Если мы в будущем году дипломатически будем в том же положении, а в области пропитания и снабжения углем окажемся в худшем, чем теперь, то можно с уверенностью предположить, что война будет полностью проиграна, ибо тогда 1. внутреннее состояние выйдет из-под контроля и 2. вследствие совершенно неизбежного *финансового банкротства* мы даже при самых благоприятных условиях мира в течение ряда поколений будем совершенно не в состоянии и в финансовом отношении неспособны вести посредством *заключения договоров* какую бы то ни было мировую и колониальную политику; противникам же нашим американские субсидии помогут преодолеть катастрофу и сохранить способность к политическим действиям.

Эти чисто объективные основания безусловно требуют не делать ничего, что может продлить войну, и каждое *еще* менее компромиссное объяснение, чем приведенное выше или подобное ему таит в себе опасность. Хуже всего было бы вообще ничего не

утверждать или утверждать что-либо расплывчатое по отношению к России. Если бы можно было решительно отказаться от «аннексии» и «порабощения» применительно к Франции и Бельгии, это было бы хорошо. Устранить финансовые и экономические последствия при продлении войны на будущий год не помогут и самые блестящие успехи подводных лодок, не говоря уже о том, что возможность парализовать действие одного технического оружия другим никогда не может быть исключена. Меня все время беспокоит, что рейхсканцлер позволит пангерманистам запугать себя. Эта компания потеряет всякое влияние, *если мир вообще будет в обозримое время заключен и одновременно с заключением мира, или даже раньше, правительство объявит для Пруссии: право голоса того, кто был на войне, не должно уступать тому, кто остался дома* (8.5.17. Письмо Науману).

## V

Пребывая в постоянном политическом возбуждении, Вебер был не способен концентрироваться на научной работе. Поскольку он не мог состоять на военной службе, а также заниматься практической работой, он вновь попытался действовать за письменным столом в качестве политического воспитателя. С начала 1917 г. он часто высказывает во «Франкфуртской газете» свое мнение по вопросам внешней политики. А в начале лета он начинает издавать ряд значительных статей по вопросам государственного устройства. Новый порядок внутреннего строя — сама по себе для Вебера проблема второго ранга — становится тем важнее, чем бесконечнее тянется война. Ибо готовность народных масс все еще истекать кровью на полях сражений за неясные и далекие им цели представляется только тогда оправданной, если всем, по крайней мере формально, будет предоставлено равное влияние на волю государственного образования, и авторитарно-монархическое государство преобразуется в народное государство. А это требует: устранения господства чиновничества из политики, отмены прусского классового избирательного права, парламентаризации правительств и демократизации государственных институтов.

Эти статьи, где речь идет о являющихся предметом горячих споров и все еще откладываемых изменениях в государственном строе<sup>26</sup>, очень отличаются по своему характеру от статей по внешней политике, которые посвящены только непосредственно одному предмету, очень спокойны по тону и действуют лишь продуманной аргументацией и владением вопросом. Статьи же, посвященные государственному строю, — хотя в них также отражено полное знание государственных проблем, — полемичны. В

них дана резкая критика накопившихся политических грехов в правление Вильгельма, но обвиняют в них не столько отдельных несущих за них ответственность лиц, сколько *систему*: структуру государства и правления. Попутно достается и «литераторам» — тем несведущим в практической политике неквалифицированным и безответственным писателям, отчасти профессорам, «которые всегда готовы встретить залпом одобрения решения господствующего слоя» и никогда не участвуют в порицании ошибок правительства; вместо этого они ругают партии рейхстага, что гораздо безопаснее; в своей неосознанной заинтересованности в собственном привилегированном положении они противодействуют демократическому развитию, не замечая, что «их воля к *слабости*» внутри страны находится в странном контрасте к их прославленной «воле к власти» вовне; они занимаются тем, что фабрикуют разного рода «идеи 1914», за которые ведется война и т. п. — «хорошие люди, но плохие музыканты». «Сказано: теперь не время затрагивать внутриполитические проблемы, мы заняты теперь другим». «Мы?» — кто? Вероятно, оставшиеся дома. И что им надлежит делать? Ругать врагов? Этим в войне не победишь... или: Выступления и резолюции о необходимости для «нас» сначала все аннексировать, прежде чем «мы» сможем заключить мир?»

Сам Вебер считает *монархическую* государственную форму самой целесообразной, так как она выводит вершину правления из конкурентной политической борьбы, предоставляет известную устойчивость курса и независимость правительства от партий. Он считает также, исходя из культурно-политических оснований, желательным сохранение отдельных немецких династий. Правда, над всеми вопросами государственной формы бесконечно возвышается для него *нация* и ее будущее в мире. А она в течение десятилетий ставится на карту политическими деятелями. «Ни одного выстрела я бы не сделал, и ни одного пфеннига не уплатил бы в качестве военного займа, если бы эта война не была национальной, если бы речь шла о *форме* государства, например, о войне за то, чтобы мы сохранили эту беспомощную династию и это аполитичное чиновничество. Форма государства для меня безразлична, *если* страной управляют политики, а не дилетантствующие шуты, как Вильгельм II и ему подобные. Теперь я не вижу другого пути, кроме полной парламентаризации, *quand même*<sup>146</sup>, чтобы заставить этих людей уйти в отставку. Полностью и безоговорочно. Чиновники должны быть подчинены парламенту. Они *технические* работники. И их власть остается в чисто парламентском государстве без изменений, но там, где ее применение *уместно*. У нас чиновники берутся заниматься «политикой» — с каким результатом, мы видели! И с какой бесхарактерностью перед коронованным

дилетантом! Формы государства для меня — техника, как любой другой механизм. Я совершенно так же выступал бы против парламента и за монарха, если бы он был *политиком* или подавал бы надежду стать им».

Это место в письме резюмирует в нескольких фразах государственно-политическую проблему, о которой идет речь в статьях. Бисмарк, мастер внешней политики, оставил в качестве внутриполитического наследия нацию, лишенную какого бы то ни было политического воспитания, без какой бы то ни было политической воли, нацию, привыкшую к тому, что выдающийся государственный деятель сам позаботится о политике. Сильные партии он сломал, самостоятельных политически мыслящих людей он не выносил. Отрицательным результатом его могучего престижа был беспомощный парламент с глубоко подавленным духовным уровнем. И как следствие этого — исключительное господство чиновничества.

Какое же значение имеет это для политики? Такое, что «дух чиновничества» господствует там, где должен господствовать другой дух, а именно направляющий дух политика. Они очень различны и должны быть таковыми. Ибо им предъявляются совершенно различные требования. Например: чиновник должен подавлять в себе своеволие и повиноваться приказу руководящего ведомства, даже если он считает его неверным. Действующий же таким образом *политический* деятель заслуживает презрения. Чиновник должен стоять *над* партиями, то есть *вне* борьбы за собственную власть. А именно это: борьба за свою власть и следующая из власти *собственная ответственность* за свое дело есть жизненный элемент политика. Повсюду, где речь шла о верном своим обязанностям выполнении твердо обозначенных задач, немецкое чиновничество блестяще себя показало, но оказалось совершенно неспособным там, где занималось политическими вопросами. Вебер приводит в качестве доказательства этих мыслей все опасные ошибки, сделанные во внешней политике после падения Бисмарка. Озабоченность Вебера в течение десятилетий оправдалась, его раздражение из-за «личностного управления» оказалось справедливым. «Безответственным и беспримерным в политике всех великих держав было поведение ведущих государственных деятелей во всех этих случаях». Они допускали публичное выступление монарха и опубликование его высказываний, тогда как политическая мудрость требовала, чтобы сначала обращались за советом к ведущему государственному деятелю и если его совету не следуют, такой деятель должен быть смещен. То, что это не происходило, связано с неправильной структурой государства, назначающего людей чиновничьего духа на места, которые должны быть

заняты людьми, обладающими чувством собственной политической ответственности.

Единственным противовесом господству чиновничества в рамках монархии был бы *сильный парламент*, способный проводить позитивную политику. Только парламентская система, при которой руководители правления либо избираются из круга народных представителей, либо во всяком случае пользуются доверием большинства, сумеет воспитать нацию, научив ее политически мыслить. И прежде всего: лишь тогда политическая деятельность будет иметь смысл для людей, обладающих натурой *вождя*.

*Правильный выбор политических вождей* Вебер считает важнейшей проблемой парламентаризма и демократизации. Ибо то и другое не ведет к «господству масс». Политическую деятельность всегда контролирует маневренная способность малых групп или «цезаристская» личность как доверенное лицо народа. Масса депутатов должна быть только группой, сопровождающей участвующих в правлении вождей. Лишь в том случае, если существование партий зависит от того, что бы их представители входили в этот круг, растет и значение партий. Тогда люди, обладающие политическими способностями, легче смогут преодолевать требования партийных властей и местного начальства.

Вебер формулирует точные предложения, позволяющие более эффективно избирать вождей для реформы государственного строя, и показывает их действия во всех ответвлениях политической жизни. Он прежде всего требует устранения законодательных препятствий тому, чтобы политические вожди могли быть одновременно членами парламента и правительства, следовательно, препятствий, которые исключают участие народных представителей в управлении государством. Правда, одно это не обеспечило бы еще правильный выбор вождей — необходимо заботиться о том, чтобы политик обладал достаточным знанием дела: «Рейхстаг не должен быть и впредь осужден на дилетантскую глупость». Поэтому необходимо, чтобы он получил право деятельно и постоянно контролировать управление. Средством для этого является *право анкетирования*, позволяющее обрести знание фактов и механизма управления. Только посредством такого усвоения реальностей возникает могущественный, работающий парламент в качестве совокупности избранных лиц, которые являются не демагогами, а знающими дело профессиональными политиками. Образцом для этого предложения может служить организация комиссий в английском парламенте.

Совершенно новым и имеющим большое значение является требование Вебера на право анкетирования *меньшинств*, о котором вскоре пойдет речь. Совершенно ново в рассмотрении госу-

дарственно-правовых проблем также то, что Вебер основывает свои предложения не на идеологических теориях государства, а категорически и намеренно представляет их как практически-утилитарные, как требование дня. Государство для него — лишь рамки для жизни *нации* — надо обладать свободой их менять, если следствием их структуры становится то, что большие части нации теряют свое чувство принадлежности ей. Для Вебера предшествующая метафизика государства подозрительна как своего рода мимикрия, с помощью которой привилегированные слои защищаются от окружения сферами господства.

Требованием дня — но не абсолютной нормой — является парламентаризация как гарантия лучшей внешней политики посредством устранения неконтролируемых и безответственных влияний, *демократизация* — для сохранения внутреннего мира как неизбежного следствия войны. Кроме того она и веление справедливости. Ибо если современное государство предоставляет каждому гражданину известное равенство судьбы и прежде всего смерть на поле битвы, то оно обязано дать ему и минимум политического влияния посредством всеобщего избирательного права.

Вебер рассматривает все возможные возражения против демократии, прежде всего то, что она разрушит благородные традиции и политическую мудрость господствовавших до сих пор в государстве «аристократических» слоев. Он спрашивает: «Где же немецкая аристократия с ее благородной традицией?» «Если бы она была, можно было бы вести дискуссию. Между тем, если не считать нескольких княжеских дворов, ее просто нет. Ибо аристократия в *политическом* смысле требует экономически спокойного существования. Аристократ должен иметь возможность жить *для* государства, вместо того, чтобы жить благодаря ему. Он должен иметь экономически определенное происхождение, чтобы внешне и внутренне находиться в распоряжении государства для политических целей. Только крупный рантье и очень крупный владетельный князь могут держаться на достаточной дистанции от борьбы экономических интересов. Такие люди в Германии есть, но они не составляют *политический слой*, как в Англии. Прусский юнкер давно уже стал сельскохозяйственным предпринимателем, и тем самым вступил в борьбу интересов. Если этот, по своей сущности *бюргерский*, слой предпринимателей принимает посредством феодальной манеры поведения вид аристократии, то возникает парвеню. Носители старопрусской государственности и немецкой культуры — все равно аристократической или неаристократической — имеют социально-экономически ярко выраженный *бюргерский* характер.

Следовательно, по мнению Вебера, в Германии нет достаточно широкого, имеющего политическую традицию слоя аристократии, который мог бы быть уничтожен. И нет также аристократической формы общества. Ибо типичное социальное воспитание потомков слоя вождей и бюрократии — немецкие корпорации — неспособны формировать нацию в уверенный и прочный народ господ. Специфически немецкое понятие способности к сатисфакции, открывающее доступ в общество, не может быть демократизировано, оно формально создает кастовую условность, которая по существу носит не аристократический, а *плебейский* характер. «Немцы — *плебейский народ* — или, если это предпочтительнее, *бюргерский* трудовой народ, и только на этой почве может возникнуть специфически немецкая форма, которая соответствует нашей бюргерской социальной и экономической структуре и поэтому подлинна и благородна».

\* \* \*

Политические статьи Вебера возникли в период новых тяжелых потрясений. Они привлекли к себе внимание. Вебер получал одобрительные и отвергающие письма. Его предложения по изменению конституции стали программными пунктами левых партий. Одна из статей, в которой призывались к ответственности вожди политических партий за их терпеливое отношение к политическим ошибкам монарха, побудила военное ведомство подвергнуть цензуре «Франкфуртскую газету». В этот период Германия была вновь разделена на несколько лагерей. Уверенность в том, что подводные лодки принудят, как было обещано, к миру не позднее конца лета, исчезла. Высадились первые американские отряды. Перспектива заключения сепаратного мира с Россией рухнула. Социалистическая левая пропагандировала «компромиссный мир» без аннексий и репараций, правая — «мир с позиций силы», средняя группа — «немецкий мир» без аннексий в Европе, но с возвращением колоний. Правая и левая партии настаивали, чтобы канцлер ясно сформулировал цели войны, принял решения во внутренней политике. Он же не хотел принимать ни программу завоевания, ни программу отказа от него и перенес выполнение «пасхального указа» на более поздний срок. Проведены были только незначительные реформы, установление парламентской системы не было принято большинством голосов. В Пруссии консерваторы сорвали устранение трехклассной избирательной системы. Ни император, ни канцлер не решились действовать.

Напряжение развилось в беспрецедентный внутренний кризис, когда депутат Эрцбергер выявил ошибки в вычислении действий



подводных лодок и потребовал объявления мира на основе политики от 4.8.1914. В партиях царило невероятное возбуждение. Правые решительно выступали против требования Эрцбергера. Однако центр и левые заставили принять к середине июля резолюцию о мире с отказом от аннексий. Левые одновременно настаивали на немедленном введении парламентской системы. В Пруссии король потребовал представления проекта закона о введении избирательного права для выборов в рейхстаг. Канцлер, которому не удалось ни объединить народ в понимании целей войны, ни вести эффективную внешнюю политику, ни удовлетворить нацию посредством серьезного изменения конституции, был свергнут. Вебер узнает от Конрада Гаусмана, что на кризис в очень большой степени повлияли его статьи. Однако он считает соединение внутриполитических реформ с резолюцией о мире очень неудачным: «Бросается в глаза волнение, которое вызывает у людей перспектива бесконечной войны и финансовый крах в стране, а также удивительно беспомощный способ, которым как Эрцбергер, так и правительство пытаются справиться с этим кризисом. Сначала сенсация в рейхстаге, затем лозунг: парламентаризм принесет мир! — просто неслыханно, ибо кому это известно? То, что демократизация связывается с *надеждой на мир* — очень большая ошибка. В других странах возникает впечатление, что наши силы иссякли, и появится надежда на большее: на революцию, — а это значит продолжение войны. Внутри страны будут утверждать: эти уступки сделаны под давлением других государств. Отвратительная история. Новый канцлер (Михаэлис) — несомненно блестящий чиновник. Но блестящий ли также государственный деятель? Первое его выступление это не доказывает, скорее обратное: это Бетман с большей силой воли, что, конечно, является преимуществом, но недостаточным» (21.7.17)

Новый канцлер, и на этот раз также назначенный без участия партий, вскоре проявил свою политическую непригодность. Вебер анализирует эти события при переработке своих статей в качестве поучительного примера того, как отсутствие парламентского руководства отражается при внутренних кризисах... «Перед партиями появилась задача, которая до этого времени была им совершенно незнакома и которой они не соответствовали ни по своей организации, ни по своему составу — создать своими силами правительство. Само собой разумеется, что они оказались совершенно неспособны к этому, что они даже не пытались и не могли попытаться решить эту задачу. Ибо ни одна партия от крайней правой до крайней левой не обладала политиком, который мог бы быть признан вождем — так же, как и чиновничество». Когда Вебер решил опубликовать собрание своих политических статей,

ведомство военной цензуры обратилось к баденскому министерству образования с требованием воздействовать на автора, чтобы он не публиковал ряд частей этой работы. Министерское указание было очень тактичным, поэтому Вебер любезно ответил, что он уже переработал статьи в более академическом тоне, но добровольно отказаться теперь от их публикации не может. Он мотивирует свое решение необходимостью изменить, наконец, известные методы политических деятелей таким образом, чтобы исключить в дальнейшем публичные неконтролируемые высказывания импульсивного монарха, опасные для государства. В конце его ответа сказано: «Занятый чисто научным трудом, я безусловно не считал бы своим делом, и соответствующим данному времени указание посредством такого «обращения к общественности» на самый большой недостаток нашего состояния, если бы *полная несправимость* окружения монарха *еще во время войны* не показала бы... (следуют известные примеры).

Даже допуская, что Великогерцогское министерство не сочтет верным все здесь приведенное, я считал необходимым это высказать, чтобы устранить впечатление, будто речь идет о случайной журналистской полемике. Великогерцогскому министерству известно, что я по существу предполагаю заниматься чисто научной работой и в будущем, быть может, опять вернуться к преподавательской деятельности, что я не собираюсь заниматься активной политикой, а использования в моей *преподавательской* деятельности ценностных суждений избегаю по принципиальным причинам значительно более строго, чем ряд академических профессоров» (8.8.17).

## V

При всем беспокойстве берлинской жизни и собственной политической взволнованности Вебер с конца 1915 г., как уже было сказано, занимался своими работами, посвященными индуизму и буддизму, а осенью 1916 г. обратился к древнему иудаизму. Его знание древне-еврейского языка было достаточным, чтобы вновь обратиться к источникам. «Макс теперь почти тош — но при этом очень прилежен и в общем свеж. Он изучает Ветхий Завет, анализирует пророков, псалмы и книгу Иова, по вечерам читает мне иногда новые разделы». Но так как он одновременно писал политические статьи и перерабатывал части «Хозяйства и общества», то работы по социологии религии растянулись на более длительное время и остались по своему плану незаконченными. Вебер намеревался дать общий анализ псалмов и книги Иова, а затем талмудистского иудаизма. Подготовкой к этому он занимался уже до

войны, когда писал раздел социологии религии в работе «Хозяйство и общество».

В написанной завершенной части, посвященной античному иудаизму, прежде всего своеобразно поняты и ярко изображены как особый тип древнеизраильские пророки, а именно как первые исторически достоверные «политические демагоги», а их собранные пророчества как «самая ранняя непосредственно актуальная политическая памфлетная литература». Вебер показывает, что пророки всегда выступали тогда, когда их родине угрожали великие державы и речь шла о бытии или небытии иудейского национального государства. Тогда они оказывались в самой середине водоворота партий и борьбы интересов. И прежде всего в вопросах внешней политики. Хотели они того или нет, они должны были становиться сторонниками выразителей определенной внешней политики. Когда Вебер несколько лет тому назад в рамках своей систематической социологии религии занимался древнеизраильским типом пророка, он еще не пользовался этими понятиями. Лишь переживание войны и политических событий открыли, по-видимому, ему эти стороны. Особенно потряс его образ пророка бедствий Иеремии, анализ пророчеств которого, как и анализ проповедей пуритан, позволяет увидеть большую личную заинтересованность. Когда он по вечерам читал эти страницы жене, ее во многом поражала их близость его собственной судьбе.

Иеремия молит Бога освободить его от необходимости пророчествовать. Он не хочет, он *должен* говорить, и эту необходимость говорить он ощущает как страшную участь. По велению Яхве он открыто говорит на улицах, причем всегда против власть имущих своего народа, против царя и его сторонников. Яхве говорит его устами, заставляет его пророчествовать о бедствиях и проклинать царя за то, что он нарушает союз с Яхве и поклоняется чужим богам. Несдерживаемой разражается пламенная страсть пророка — но повелевает этому «титану священного проклятья» не его личность, а дело Яхве. И оказавшись правым, он не проявляет ни признаков триумфа, ни признаков тяжкого отчаяния, как до того. Наряду с глубокой печалью проявляется надежда на милость Божию и на лучшие времена. И при всем диком гневе по поводу упрямства слушателей он повинуетсЯ Яхве несмотря на неблагодарные слова и не нарушает свое право быть его голосом. Пророка бедствий бояться, его ненавидят и часто преследуют. У царя он не находит защиты, ибо политически царь не может использовать его советы и предостережения. Выступают лжепророки и пытаются насилием, хитростью и насмешками лишить его речь значения. Он одиноко борется со своими видениями и возвращается после их

возвещения, в свой дом, с ужасом и страхом созерцаемый другими. Харизма — его привилегия, его целью никогда не бывает, чтобы «дух» нисшел и на его слушателей. Поэтому он не опирается, как христианский пророк, на пневматическое единство. Напротив, непонятный и ненавидимый массой, он никогда не ощущает ее поддержки как своего единомышленника, наподобие отношению к христианским апостолам. Над ним царит пафос внутреннего одиночества. Не толпы экстатически настроенных приверженцев, а один или несколько учеников разделяют его одинокий восторг и столь же одинокое страдание. Он никогда не притязает на то, чтобы быть спасителем, служащим примером, религиозным виртуозом или безгрешным, не предлагает никакого особого блага спасения. Он призывает народ к нравственности и послушанию Богу, но не провозглашает ни нового учения о Боге, ни новых путей спасения или даже новых заповедей, а только религиозную внутреннюю глубину. Он — уста известного каждому Бога.

## Глава XVIII

# Интермеццо

И это лето (1917 г.) подарило периоды успокоения от растущего бремени забот. Вебер провел довольно длительное время в условиях тихой и гармоничной эрлингхаузенской жизни. Там за ним ухаживали, его баловали, и он принимал полное участие во всех событиях повседневной жизни. Маленькая внучка Вины доставляла ему много радости. Девочка любила пробегать под высоким сводом, образуемым его ногами. После обеда, когда женщины занимались рукоделием, он читал им вслух стихи Ст. Георге или разделы из книги Гундольфа о Гёте; то, что они не вполне понимали, услаждало их душу музыкой его голоса. Время от времени им удавалось также уговорить его прочесть доклад для более широкого круга, например, об индийских кастах, иудейских пророках или о социологических основах музыки. Здесь еще ничто не уничтожено, кажется, что время остановилось и создает в этой местности грезу, будто все обстоит так же, как некогда. Привлекательные картины радуют душу: «Я сплю, как обычно, в удивительно красивой комнате и пишу за старым письменным столом. И все *так же* вызывает ко мне: «Родина, родина!», а облачная солнечная погода удивительно соответствует этой столь немецкой местности. Очень жаль, что тебя здесь нет, повсюду примысливаешь тебя. Am Scheerenkrug — Троицын день 24 года тому назад — помнишь? В маленькой шапочке на густых коротких волосах, румяная, как розочка. А потом и свадьба в зале и прилегающей комнате. Здесь тихо и очень таинственно, я думаю, что это окажется благотворным и было правильным решением, Пророки — Вильгельм II — «Франкфуртская газета» — все это очень далеко».

«Эта местность немыслимо прекрасна. Степь теряет теперь постепенно свое прежнее, напоминающее море, бесконечное одиночество: вместо красноватой степи теперь больше темных лесных заповедников на одной стороне и полей — на другой. Однако вид остается волшебным, и в сторону Porta Westfalica<sup>147</sup> он не изменил-

ся и вызывает впечатление неисчерпаемой плодородности и родного своеобразного уюта. По обеим сторонам все выглядит бесконечно мирно — кажется непостижимым и непредставляемым, что эта земля пребывает в борьбе за свое существование».

«Сегодня опять божественно прекрасно, особенно в это раннее утро, солнце мягко и тепло греет; вид из окна главной комнаты на плодородную равнину особенно замечателен... Они «откармливают» меня фантастически, боюсь что красота моей души убавляется, а полнота тела увеличивается; но ведь вы, женщины, к этому стремитесь и в данном случае это неплохо, так как зима и будущее начало лета будут тяжелыми».

\* \* \*

Затем ранним летом и осенью наступили дни, до предела заполненные духовным обменом и борьбой в замке Лауэнштейн. Он царствует одиноко над серьезными хвойными лесами Тюрингии на голой вершине и его серые стены отчетливо обрисовываются на фоне неба. Там долго жили пролетарские семьи, затем его приобрел любитель старины. После того как он посвятил все свое существование его восстановлению в прежнем стиле, он открыл его для гостей. Йенский издатель и владелец книжного магазина Ойген Дидерихс пригласил туда пестрый круг ученых, художников, политических писателей, практических деятелей, свободомыслящую молодежь для обмена мнениями о смысле и задаче нашего времени.

Из известных ученых принимали участие Крузиус, Мейнеке, Яффé, Зомбарт, Тённис, Вебер; из художников: Р. Демель П. Эрнст, Й. Винклер, Ферсгофен, В. фон Моло; из политических писателей и «жизненных практиков»: Г. Боймер, Т. Хейс, Грабовски, Кампфмейер, Шеффлер, Мауренбрехер и др. Из молодежи были Брёгер, Кронер, Упгоф, Толлер, молодые художники, которые хотели не только создавать свои произведения, но и привести к новой социальной эпохе.

Основной темой дискуссии должна была стать связь культуры с политическими вопросами; главный организатор надеялся и на дальнейшее: на то, что эти собрания послужат становлению нового немецкого духа, погруженного в религиозность.

Место собрания создавало особое настроение. По-старинному меблированные комнаты выходят окнами на покрытые лесами склоны гор, на различные ложбины в долине — собрания происходят в рыцарском зале или во дворе замка. Яркие лозы дикого винограда закрывают стены. С фронтона свисает немецкий флаг — символ надличностного сообщества. Старинная обстановка, выдержавшая натиск времени, также говорит об общих корнях не-

мецкой культуры, о прошлом, где всем и каждому было предназначено свое место, все было помещено в осмысленном толковании. Насколько по-разному чувствуют и мыслят участники этого круга *современных* немцев. Они говорят на одном языке, но понимают друг друга с трудом. Люди зрелого возраста разделяются прежде всего по различным политическим убеждениям, а молодые отделяются от них отказом от всех унаследованных оценок, прежде всего от устройства государства и общества, которое все время ведет к войне. Они стремятся к упрощению существования, к новому сообществу, к новым верованиям. Это чуждое Богу мироздание представляется им созревшим для уничтожения. Они ждут рождения нового мироустройства, мира наднационального единения, в котором наконец будут господствовать братство, солидарность и социализм.

Люди старшего возраста также глубоко потрясены европейской катастрофой, затрагивающей их личностные жизненные задачи и их оценки. Большинство из них знает: преобразование внешнего порядка не может изменить природу человека — и *она* препятствует осуществлению надежд молодых. Из более старых писатель Макс Мауренбрехер, много раз менявший свои взгляды, теперь ориентированный «пангермански», пытался привлечь сторонников к своей консервативной идее государства. Он противопоставлял ее как типично немецкую «демократическому индивидуализму» Западной Европы — государство как «идея», как объективация «абсолютного» должно как купол перекрывать субъективизм. Веберу в такой момент, когда все зависит от проведения необходимых внутренних реформ, подобная государственная романтика ненавистна. Он резко выступает против нее, политическая дуэль этих двух мыслителей грозит тем, что не оставит места другим дискуссиям. Вебер отчетливо помнит все бесчисленные политические ошибки эпохи Вильгельма. Его глубоко волнует, что и в этом кругу интеллектуалов столь многие противостоят необходимому внутреннему преобразованию дурно управляемого государства — неужели они *все еще* не могут или не хотят видеть истинное положение дел? Неужели *никогда* не удастся заставить их основываться на свободной от иллюзий истине? Он страстно говорит, обращаясь к близкому ему по взглядам Т. Хейсу: «Как только война кончится, я буду оскорблять императора до тех пор, пока он не начнет против меня судебный процесс, и тогда ответственные государственные деятели, Бюлов, Тирпиц, Бетман-Гольвег должны будут высказать свое мнение под присягой».

В более тихие вечерние часы и молодежи удавалось участвовать в обмене мнениями. Вне дома при светлом свете месяца под высокими стенами старого замка — как призрачно нереально входи-

ла эта поэзия в наполненный борьбой момент! Или в одном из помещений с темными панелями, со старинной утварью, где один из «Свободомыслящей немецкой молодежи» открывает стремление молодых к новому пророчеству. Их речи многим представляются хаотической ерундой и преувеличением собственной значимости. Замкнутой натуре Вебера эти признания о собственных переживаниях также чужды. Мечтательность, которая спасается от тяжелой борьбы повседневности в потустороннюю настроенность вызывает его нетерпение. Однако он все-таки достигает вчувствования в их переживания и пытается внушить им ясность и объективность. Он стремится довести до их сознания, почему именно теперь национальное самоутверждение, *спасение Германии* является требованием дня, по сравнению с которым все остальное уходит на задний план. Чем поможет нам проникновение в собственную душу, если пропадет нация? То, что в первом заседании хотели посредством средневековой мистерии пробудить общие религиозные чувства, он отвергает как дурное заблуждение. Вообще все эти разговоры о тайне мира и эта необходимость признания в большем кругу — как того хочет молодежь — невозможны! Что он об этом думает, выражено в следующем письме к одному из молодых участников этих собраний:

«Конечно, о Ваших желаниях вполне можно говорить, если исходить из понимания того, *что* в сущности должно быть «признано». Так называемые «последние позиции»? Это даст болтовню и сенсацию, больше *ничего*. И прежде всего: после очень длительного опыта и исходя из принципиального убеждения я пришел к выводу, что *только* посредством проверки собственной так называемой «последней» позиции по отношению к резким и острым *вполне конкретным* проблемам человека становится ясным его собственное действительное воление. Внесите, следовательно, например такое предложение: откровенно высказать в виде «признания», что понимается под «пацифизмом» (это только предложение — думаю, что ощущаю, *насколько* это близко всем вам) или под любым другим понятием. Если я и впредь буду принимать участие в данном мероприятии, я буду последним, кто откажется в этом участвовать. Но я должен добавить: не только этот вопрос, но и *все* вопросы культуры — хотя *все* вы, как я знаю, в это не верите и этого не видите — подвержены влиянию как будто чисто внешнего предварительного вопроса: *как окончится эта война*. Ибо в соответствии с этим определяются особые будущие задачи немецкой сущности внутри земного мира. *Все* последние вопросы без исключения затрагиваются чисто политическими событиями, сколь ни внешними они представляются. Поэтому все теперь сказанное нами, не принимающими участия в войне, — настоль-



ко ни к чему не обязывает. Тем не менее такая тема возможна. Граница «признания» находится для меня там, где речь идет о «священных» вещах. Они относятся к человечески в высшем смысле высоким часам и к кругу самых тесных личностных связей, а не к собранию публики, каким бы оно ни было. «Публикой» для меня является каждый, кого я близко как человека не знаю. По-иному действует и может действовать только пророк или святой и (на своем языке) художник».

Во время пребывания в Лауенштейне Вебер был духовно очень восприимчив. Достаточно было легчайшего прикосновения, чтобы его накопившиеся знания и переживания проявлялись. Он говорил целые дни и половину ночей. Несколько маленьких фотографий изображают его в живой беседе, окруженным внимательно слушающими. В осеннее заседание, посвященное высказываниям о «проблеме вождя в государстве и культуре», он сделал вводный доклад о «личности и путях жизни».

Полнота находящегося у него материала была громадна, его знания подавляющи, особенно для молодых художников, которые стремились к экспрессионистской примитивности, и мыслительные способности которых были слишком слабы, чтобы воспринять этот поток. Они внутренне восставали против него. Это ведь и есть ненавистная ученость; она не указывает на простой путь к решению практических проблем, а обзорекает целое сплетение связанных друг с другом событий, и к каждому «идеалу» формирования общества ставит вопрос, какими средствами он может быть достигнут, чем для этого нужно пожертвовать? и этим затрудняет выбор и действия. Такая трезвая неподкупность лишает их смелости мечтать. Они ощущают себя отталкиваемыми и одновременно магнетически привлекаемыми. Ибо человек, стоящий за этой интеллектуальностью и говорящий сквозь нее, столь таинственно живой, столь не просто ученый. Разве и он в своих речах и жестах не художник? Одним он представляется «сатаной», другим — их «совестью». Вебер, идя ночью по дворцовому двору, слышал, как молодые люди в каком-то углу характеризуют его. Он возбудил не только их мышление, но и их фантазию. Большинство чувствует его сдержанный этос. Если бы им удалось привлечь его на будущее в качестве вождя и пророка! Но он отказывается. Он не ведает нового блаженства, которое мог бы им возвестить, как они того хотят, и пока речь идет о судьбе Германии и на полях сражения ежедневно умирают тысячи, он не интересуется и новым мировым порядком. Он охотно станет их *учителем* в науке и политике, *если они готовы к тяжелому труду*. «Ибо в этой области я, как мне кажется, знаю свое ремесло». Однако тот, кто хочет у него учиться, должен сначала понять что интеллектуальная добропоря-

дочность является скромной добродетелью науки, что наука — специальная профессия на службе самосознательности и познания фактических связей, а не дарующая блага и откровения милость провидцев и пророков. Пророка, которого так страстно ищут многие представители молодого поколения, не существует. Наша судьба жить в чуждом Богу, не ведающем пророков времени: «И раздался зов из Сеира в Едоме: Стражник, как долго еще будет ночь? Стражник говорит: «Утро придет, но еще ночь. Если хотите спросить, приходите еще раз».

После Лауенштейна Вебер опять удалился еще на несколько дней в тишину тюрингенского леса, в Шварцбург. Детские воспоминания вставали перед его внутренним взором. Там он, 40 лет тому назад, странствовал с отцом и младшими братьями и оттуда писал матери свои первые письма. Он охотно думает о том времени и вспоминает много подробностей. Он вообще сохраняет живое ощущение детства и юности и охотно рассказывает об этом. Путники смотрят с мягкого горного хребта на пестро окрашенные склоны и на зеленые луга. Они устраиваются на мягком ложе золото-коричневой листвы, занесенной ветром в канаву. Всюду разлито совершенство и мир осени. На мгновение они забывают о грозящей опасности. Благодарение Богу, будущее скрыто.

\* \* \*

Под влиянием лауенштейнских дней несколько социалистически и пацифистски настроенных студентов принимали зимой 1917—18 г. участие в веберовских воскресеньях. Они были глубоко потрясены переживанием войны. Среди них был Эрнст Толлер. Почувствовав доверие, он принес несколько своих стихотворений и прочел их. Слушателей взволновало воздействие чистой души, которая верит в исконную доброту и солидарность людей, верит в то, что можно убедить народы, убивающие друг друга по приказу своих правительств, бросить оружие. Вебер говорит, что для немцев еще не пришло время пацифистской пропаганды, воля к национальному самоутверждению еще не может быть сломлена, тяжелое занятие войной не должно стать для них отвратительным. Однако движение за мир утвердится, если эта война, не приведя к позитивному результату для какой-либо нации, этим сама себя уничтожит. Между тем Толлер ищет среди студенческой молодежи сторонников его веры. Организуется группа, которая надеется на то, что Вебер возглавит ее и одобрит воззвание, помимо всего прочего требующее также господства Эроса в мире устранения бедности. Вебер приходит в ужас от путанности этой программы и недостатка понимания действительности, но согла-

сен вести диспут с молодыми людьми, от чего они отказываются. Когда Толлер и его сторонники начинают в своей агитации призывать к всеобщей забастовке, его арестовывают. Вебер включается в расследование и достигает освобождения Толлера. Но воспрепятствовать исключению этой группы из университета он не может. Поздней осенью 1918 г., незадолго до революции, Вебер участвует во Франкфурте, в небольшом кругу, в диспуте о пацифизме. И теперь он отказывается возглавить движение молодых людей и провозглашает себя их противником, если они не отнесутся со всей серьезностью к своим идеалам и не подчинятся *всем* заповедям этики христианского братства. Его строгое или — или: или следование требованию Нагорной проповеди о готовности подставить другую щеку для удара в личностной и в публичной жизни, следовательно, отказ от *любой* формы насилия, — или ясное понимание того, что в мире, который этим законом не может быть управляем, война — лишь *одна* из форм борьбы и, быть может, не самая низкая, что огорчило молодых людей, ибо они жаждали революции. В этой связи старый пацифист, профессор Г., изложил Веберу письменно свои убеждения и выразил ему свое порицание за то, что он в свое время оставил без помощи гейдельбергских студентов в их трудном положении и отстранил их софизмами, задав им вопрос «искусителя», готовы ли они подчинить всю свою жизнь учениям Нагорной проповеди. Г. требовал в качестве предварительного условия морального возрождения покаяния каждого в том, что он виновен в войне, прежде всего покаяния интеллектуалов. На это Вебер ответил:

«Многоуважаемый коллега! Благодарю Вас за Ваше дружелюбное, подробное и серьезное письмо, на которое я хотел бы ответить подробнее, чем мне позволяют в данный момент обстоятельства. Я должен решительно отклонить Ваше замечание, что «бросил» здесь в 1917 г. студентов. Я предложил этим достаточно незрелым, но в некоторой своей части серьезным молодым людям при представлении их «воззвания» подробно обсудить в собеседовании с ними этот вопрос. Это было ими отклонено — почему? не мое дело. В ответ на это я отказался в разговоре с их предводителем, господином Толлером, от ответственности за их идеи. Когда он из-за своего выступления по поводу всеобщей забастовки был арестован, я сразу же потребовал моего допроса в качестве свидетеля перед военным судом. Что я там говорил, дело особое. Его освободили. Следовательно, Вы неправильно информированы. На утверждение, что мое воспоминание о революции, забастовке и т. д. «искусительно» я, разумеется, отвечать не буду. Я просто не понимаю Вас. Или — или! Или *нигде* не противодействовать злу насилием, но тогда — жить как святой Франциск и святая Клара,

или индийский монах, или русский народник (?)<sup>148</sup>. Все остальное обман или самообман. Для этого *абсолютного* требования существует лишь *абсолютный* путь: путь *святого*. Или противодействовать злу насилием, так как в противном случае сам *становишься* также ответственным за зло. Что именно гражданская война или другие виды насилия, как каждая революция, применяющая по меньшей, по наименьшей, мере это насилие в качестве «средства» для достижения цели, должна быть «святой», а необходимая оборона в войне *нет*, остается для меня загадкой. Если бы поляки вошли теперь в Данциг и Торунь, а чехи в Либерец, то прежде всего следовало бы воспитать немецких ирредентистов. Это сделаю не я, ибо я по состоянию здоровья неспособен нести военную службу. Но каждый националист должен это совершить и прежде всего студенты. Ирредентизм — это национализм, применяющий средства революционного насилия. Может быть, так это звучит для вас более приемлемо, чем «война». Но именно это, я это имел ввиду и скажу также публично.

Я молчал с «*вине*» *других* в войне, не участвовал также в отвратительном морализировании, одинаково отвратительном на обеих сторонах. Поэтому я теперь могу сказать: это копанье в чувствах вины, которое я часто встречаю, — *болезнь*. Совершенно такая же, как в области религии самобичевание, в сексуальной — мазохизм. Политика последних двух лет была преступной, не потому, что она была военной политикой, а потому, что была *безрассудной* и *лживой*. Наша довоенная политика была *глупой*, а не этически неприемлемой, об этом не может быть и речи. На этом я стою. Независимо от того, пойдем ли мы друг друга или нет, благодарю Вас за Ваше письмо и за серьезность Ваших убеждений» (13.11.18).

\* \* \*

Мы возвращаемся в нашем рассказе к более ранним событиям. Поздней осенью 1917 г. Вебер опять поехал в Вену, на этот раз по личному делу. Венский университет хотел пригласить его в качестве преподавателя. Когда незадолго до войны мюнхенские коллеги спрашивали его, не хочет ли он занять должность доцента, он категорически отказывался и был очень взволнован, почувствовав, что его жена считала такую попытку желанной: «Ужасно, что вы все еще не можете отказаться от мысли о моем возвращении на кафедру!» Теперь дело обстояло иначе. Дурные воспоминания подавлены, он сознает, что его работоспособность теперь более устойчива, чем была в то время. Попытка работать в прекрасном городе привлекает его, к тому же после войны ему все равно придется искать постоянного заработка. Переговоры свидетельству-

ют о всесторонней, неограниченной готовности идти навстречу, ибо Венскому университету недостает значительных учителей. Все будет соответствовать его желаниям, объем и характер своей деятельности он определит сам — пусть только придет. Он тронут, решает попытаться и соглашается на должность ординарного профессора в летнем семестре 1918 г.

Однако он с самого начала чувствует, что надолго уехать из Германии не сможет и полностью выполнять все обязанности своей должности ему не удастся. В апреле за несколько недель до начала семестра Вебер переезжает в Вену. В прекрасном городе медленно начинается весна. Несмотря на обременяющую город тяжесть, радость и красота все еще кажутся смыслом жизни. Все улыбается ему: мягкая, почти по-южному прелестная местность, предупредительность коллег и общая любезность. Он встречает знакомых ему политиков и государственных деятелей и вновь ощущает, насколько они, в отличие от берлинцев, лишены должностной надменности, открыты и общительны. Днем он спокойно работает в библиотеке, вечером время от времени ходит в театр. Долгое время отсутствовавшее питание, содержащее белковый продукт, способствует хорошему самочувствию и силе. Жизнь опять обновилась. Однако вскоре в это с благодарностью воспринимаемое каникулярное существование вторгаются обременительные обязанности. Посещения коллег по факультету. Вебер не отказывается от этого, ибо он с давних пор считал необходимым соблюдать общественные и коллегиальные отношения. Но вскоре проявилась обратная сторона большого города: каждое посещение является всегда путешествием с недостаточно удобными средствами сообщения, затем множество лестниц и беспредметные разговоры; за много лет он отвык от такого рода скучных и излишних формальностей: «Я безумно замучен ходьбой и стоянием в трамваях. Если так пойдет дальше, то с вопросом преподавания скоро будет покончено. Эти визиты ужасно обременительны. Я этого не выдержу».

И вообще сама техника быта, от которой здесь его никто не освобождал, требовала затраты многих сил, — а затем и бюрократическая рутина. Уже до начала семестра он почувствовал, что это не пойдет. Первые лекции после почти 19-летнего перерыва также потребовали большого напряжения. Под заглавием «Позитивная критика материалистического понимания истории» он сообщал свои исследования по социологии религии и свою социологию государства. Кроме того, приходилось вновь входить в русло лекций, и он определяет качество своего преподавания как «среднее». Однако рост числа слушателей с каждой лекцией вскоре показал, что он не утратил харизмы учителя. Через некоторое время он стал чи-

тать в большой переполненной аудитории, причем около трети слушателей были зрелыми людьми: политиками, чиновниками, доцентами. Его лекции стали «событием».

После Троицы среди слушателей сидела и его взволнованная и напряженно слушающая жена. Он обычно говорил на религиозно-социологическую тему 2 1/2 часа без перерыва, пока в красивом зале с панельными стенами не начинало темнеть. Он еще не вполне восстановил стиль лекций. То, что он предлагал, было скорее увлекательным художественным произведением, конструктивно полностью подчиненным чрезвычайно богатому материалу, пластичному при сопоставлении самого далекого: Востока и Запада. Ход мыслей почти всегда достигает пункта, из которого далекое внезапно бросает новый свет на знакомые всем проблемы современности. Так, например, он показывает, посредством каких представлений индийская кастовая система создавала антиреволюционные убеждения, а затем параллельно рассматривает противоположные основы веры в современном европейском социализме. Вебер сохраняет чисто научный тон и сообщает свободное от оценочных суждений эмпирическое знание. И все-таки чувствуется его внутреннее волнение. Когда его спрашивают о причине этого, он только говорит: «Сами факты ведь так поразительно интересны». Как он выразил это в «Предварительном замечании» к первому тому своих «Статей по социологии религии: *Развитие судеб человеческих... потрясает, зажигая пламень в его груди*. Каждая из этих гипертрофированных свободных лекций, требующих столь же концентрированного знания, сколько фантазии, изнуряет силы. У жены опасения смешиваются с воодушевлением. *Это* он, конечно, долго выдержать не сможет. Действительно, после каждой такой пространной лекции Вебер чувствовал полное изнеможение. После того как еще в коридоре, терпеливо удовлетворены все, задающие ему вопросы, он молча идет к «Серебряному ручью». Хорошая еда и сигара постепенно восстанавливают его силы и уверенность в том, что он выдержит и на следующий день. Но затем он неимоверно пересиливая себя, говорит: «Так я должен был бы читать лекции ежедневно, если хотел бы быть профессором». Жена возражает ему, что и пение Триста не невозможно ежедневно и что его чтение лекций совершенно неакадемично по своему характеру, и он ими слишком балует студентов.

Коллеги и начальство стремятся всеми способами повлиять на его решение остаться в Вене. Труднее всего было противостоять просьбам молодежи, в том числе и молодых ученых, стремящихся видеть в нем духовный центр. Он колебался и предложил просящим обратиться в другую инстанцию: «Моя жена управляет мной». Она же с самого начала считала, что пребывание в Вене

должно остаться «приключением», ибо этот человек должен быть при всех обстоятельствах в Германии. Тем временем к нему с настойчивой просьбой обратились как философский, так и юридический факультеты Гейдельберга преподавать там хотя бы часть учебного года. Только бы выдержать этот семестр! Новое крушение было бы гибелью. Что оно возможно, показывает хотя бы следующее событие: в свободный день Веберы предприняли приятную прогулку на Каленберг. Вебер наслаждается прекрасным видом на большой город, широкую реку и мягкие линии лесных вершин, за которыми вдаль встают высокие горы. Он весел и восхваляет «мягкую красоту» и немецкий характер этой картины. Вечером они идут через покрытые созревающими зерновыми холмы к трамваю в одном из предместий. Но Вебер чувствует себя уже в изнеможении, прежде чем доходит до остановки, и внезапно становится мрачным. Он вспоминает, что забыл послать в аптеку рецепт на снотворное. К счастью, рецепт оказался у него с собой. Однако сегодня воскресный вечер и знакомая аптека закрыта. Они идут дальше, наконец находят другую аптеку, работающую ночью, однако фармацевт отказывается принять рецепт без врачебного подтверждения. Вебер не знает ни одного врача, к тому же уже очень поздно. Усталый и взволнованный, он приходит в отчаяние. Завтра большая лекция, — ночь, конечно, будет бессонной, завтра он будет совершенно неспособен прочесть лекцию — перенести ее он, однако, не может — «лучше бы мы не отправлялись на эту проклятую прогулку, и эта глупость идти пешком — теперь я, несомненно, опять заболею!» Все попытки успокоить его не помогают. После полуночи жена оставляет его, чувствуя себя в полной беспомощности и в отчаянии. Вдруг она неожиданно находит несколько таблеток своего снотворного — какое счастье! Ее муж сразу же освободился от своего страха, он уже улыбается. Теперь он заснет. И он действительно засыпает, и на следующий день на своем посту.

Но решение твердо. В середине семестра Вебер подал прошение об отставке, обещав в будущем приезжать в течение семестров в Вену в качестве свободного преподавателя. Он душевно успокоился; привычка к лекциям также ощущалась, но его многие приглашали, и ожидая значительных политических разговоров, он не отказывался. Это и другие трудности, связанные с условиями большого города, еще несколько раз приводили его к грани опасных проявлений раздражения. В конце концов, он сделал все, что требовалось, даже прочел сверх того для офицеров доклад о социализме и в течение последней недели ежедневно преподавал и участвовал в диспутах. В фельетоне одной венской газеты отражено впечатление от его деятельности в качестве преподавателя. Он сер-

дито отмахнулся от этой «театральной рецензии», но некоторые фразы из нее представляют интерес как впечатление человека со стороны: «Этот ученый, высокий, бородатый человек, похож на немецкого каменотеса ренессансного времени. Только в глазах нет непосредственности и чувственной радости художника. Его взор идет из глубины, из скрытых ходов и уходит в даль. Внешности ученого соответствует и его манера выражения. Ей присуще нечто бесконечно пластичное. Здесь перед нами почти эллинский характер видения. Слова по своей форме просты, в их спокойной простоте они напоминают циклопические квадры. Если же в центре изложения появляется личность, она сразу же становится монументальной, каждая черта как бы высечена в мраморе и дана в ярчайшем освещении. Время от времени изложение подчеркивается легким движением руки. Тонкая и узкая, с сужающимися пальцами и несколько упрямым большим пальцем, она скорее предполагала бы натуру Петрония, чем ученого. Со времени Унгера, Лоренца фон Штейна и Иеринга на лекциях ни одного академического преподавателя юридического факультета Вены не собиралось столько слушателей, как на лекциях Макса Вебера. Но эта чрезвычайная привлекательность вызывается не только риторическим мастерством ученого, и не самобытностью и строгой объективностью хода его мыслей, а в первую очередь способностью пробуждать чувства, дремлющие в душах других. Каждое слово свидетельствует о том, что он ощущает себя наследником прошлого немецкого народа и полон сознания своей ответственности перед потомками».

\* \* \*

Летом бремя войны стало чувствоваться в Вене сильнее. На австрийском фронте дело обстояло плохо. Наступление против Италии не достигло успеха. В армии и в стране голодают. К голодающим относятся и некоторые профессорские семьи. Их кормят в общественных столовых, а свою поношенную одежду они считают за честь. Не получающие достаточного пропитания чиновники засыпают у своих столов. По улицам крадутся нищие. Чувствуется приближение катастрофы. О своем пребывании в Вене Вебер пишет следующее:

«Я уже 8 дней в городе, находящемся в волшебной красоте весны; был только что в придворной опере, затем на заседании факультета, в Пратере. Ежедневно провожу много часов в библиотеке, думаю о своем предстоящем существовании. Оно будет во всяком случае очень *одиноким*. «Общественные связи» замерли и здесь. По вечерам все рано ложатся, только к вечеру кафе, как все-



гда, привлекают посетителей. Желудок доволен, что избавился от немецкого картофеля. О нем нет и речи, я даже не видел его здесь. Тот, кто может *платить*, ест яйца, мясо и теперь весенние овощи. Я все время сыт — тело радуется большому количеству белка. Правда, цены фантастичны! Квартира прилична, прежде всего *чиста*. Перед окнами зеленеют деревья, они почти полностью закрывают скучные задние фасады домов. Очень тихо. Погода теплая — при ходьбе в пальто жарко, живем все время с открытыми окнами. Сегодня во второй половине дня или завтра начну делать визиты, что меня из-за здешних расстояний несколько пугает. Чувствую себя хорошо, это отрицать невозможно. Мозг пока выполняет свою функцию, мне все нравится, надолго ли, вопрос, но пока нравится. (Пансион Балтик, улица Шкода 15, 14.4.18)».

«...Город по-прежнему волшебен красив, — как молодая весна, так и старое благородство улиц и дворов в их тяжелом барокко. Условия обременительны лишь в тех случаях, когда приходится иметь дело с «государством». Так, например, до сегодняшнего дня у меня нет *денег*, несмотря на все хитрости и уловки. Мне пришлось занять у фрау Гартман. Это почти невероятно. Также, конечно, неправильно была указана длительность моей лекции — часовая вместо 2-х часовых. Подобные неточности приняты. В библиотеках нет хороших каталогов, что значительно затрудняет пользование ими, в остальном очень удобное. И еще многое. И все-таки здесь хорошо, только надо читать лекции 5 часов и больше, а это для нервного человека *невозможно* без ощущения чрезмерной нагрузки. Но в этом семестре все должно обстоять вполне благополучно. Здесь Кленау, и мы провели вечер вместе. Во вторник исполняют его симфонию, в понедельник я буду слушать «Электру». Ибо здесь великий Рихард и дирижирует он сам. Затем в среду или четверг, может быть, Моисси. Видишь, я ничего не пропускаю. Теперь это еще возможно, позже, когда начнутся лекции, будет труднее. В общем я живу *очень* хорошо. Суббота в пансионе «день без хлеба», тогда едят яйца и радуются такому поводу, ибо кукурузный хлеб — жалкая еда. Следовательно, программа дня такова: утром после чая в библиотеке, до 1/2 1, затем еда, затем получасовой отдых, затем библиотека, с 3 часов до 6, затем кафе или прогулка, затем опять библиотека до 8 часов, Затем к Кломзеру или в столовую поесть, затем дома сигара (появившаяся благодаря «любезному содействию» редкая драгоценность!), затем спать» (19.4.18).

Елене Вебер ко дню рождения. «Здесь под моим окном у меня полный старыми деревьями внутренний двор, в нем птицы, в остальном мертвая тишина. Подобное бывает внутри города только в Вене. Я живу в 10 минутах от университета, который располо-

жен у «Ринга» напротив Придворного бургтеатра, на трамвае в сторону Пратера и т. д., у двери. Городской шум слышен только издали, и если бы не молодая супружеская парочка рядом, было бы совершенно «идеально». Я живу в мыслимо наиболее благоприятных для здоровья условиях; только что пришел из Венского леса, где царит предвесенняя атмосфера — тепло и скоро пойдет весенний дождь. Через 14 дней мы начинаем читать (лекции). Чего мы ждем от тебя и для тебя — ты знаешь. Оставайся такой прекрасной, сильной и живой в твоей любви, как было всегда и теперь также, и сохраняй радость жизни. Как ни страшно это время, оно и велико. Конечно: при этом наступлении каждый день думаешь о тех людях там, особенно о сыне Клары, который в самой гуще событий. Вообще каждое утро вновь «все еще» — это невозможно вынести и становишься скованным и неспособным высказаться. Ты же почувствовала это во мне в Гейдельберге. И все-таки, если так должно было быть, то я благодарен за то, что пережил это с другими» (14.4.18).

Ей же: «Благодарю тебя за твое полное любви письмо. Здесь дела устраиваются приятно, то есть читать лекции мы начнем только со следующей недели, а пока мученье с визитами, которые меня очень утомляют при здешних бесконечных расстояниях. В остальном все *очень* привлекательно, старый город в украшении весны: по утрам меня будят дрозды из большого, похожего на парк двора со старыми деревьями под моим окном. Такое можно найти внутри большого города только в Вене. Наслаждаешься яйцами, мясом, песочным пирожным, замечательным кофе и вообще восхитительной кухней, если только можешь ее оплатить. Что утром всегда можно в кафе напротив университета съесть два яйца, у нас ведь невообразимо! Театр и опера расположены близко от моего дома, недавно слушал «Похищение»<sup>149</sup> и скоро пойду смотреть «Лира». Прекрасны прогулки в Венском лесу, только до сих пор мне это редко удавалось осуществить; совершим это вместе с Марианной. Правда, «родиной» все это стать не может, да я и не мог бы осилить все требуемое от меня в условиях большого города, это я уже теперь ясно предвижу.

Да, политика в Эстонии и Лифляндии также *не* радостна и очень опасна и легкомысленна для будущего, а что будет во *внутренней* политике, в высшей степени неопределенно. Людям с поля боя предстоит построить свое государство, как *они* хотят. Но если подумать о том, от чего мы сохранены, это кажется почти чудом, и тогда отбрасываешь всякий «пессимизм»» (2.4.18).

Из письма сестре: «... Здесь ликуют дрозды в прекрасном, старом, очень большом венском внутреннем дворе с парком старых деревьев, на которые выходит мое окно; а старый город украша-

ет их волшебное благородство в самую прекрасную весну на всех ее стадиях в зависимости от того, едешь ли ты по зубчатой железной дороге в раннюю весну Каленберга, остаешься в только что свершившемся цветении плодовых деревьев или в пышности Пратера с его лугами, аллеями и весенним корсо. *Состоятельные* люди здесь едва ли не слишком мало ощущают войну. Театр и опера, расположенные совсем близко от меня, очень искушают, они полны, и билеты бывают проданы уже за восемь дней до спектакля; общая эlegantность сказочна, за фантастические цены можно фантастически хорошо питаться, как в мирное время. Наслаждаешься лицезнением действительно поразительно красивых девушек, видишь очень красивые упряжки, хотя подобный джентельмену кучер фиакра с появлением автомобилей вывелся, и вдыхаешь насыщенное культурой человеческое существование, в бюргерских слоях массивное, привлекательное своей жизнерадостностью, в высших слоях — усталое в своей утонченности, несколько утомленное в своей уютности. «Родин» это стать не может. Но проводить здесь 1/2 года каждые 2 года — меня бы устроило. В организационном отношении все слегка «расхлябанно» и уютно. И все неизлечимо. Отвечать за это — невозможно. Но один раз участвовать — очень соблазнительно, *если* я это перенесу. Выполнять полностью все обязанности ординарного профессора я бы здесь, в условиях большого города, никогда не мог, это я вижу уже теперь, отчасти с разочарованием, отчасти с облегчением, имея таким образом возможность с полным основанием вернуться домой...» «Итак, первая лекция также состоялась. Я читаю в понедельник вечером 2 часа (6—8), во вторник 1 час (7—8), в среду 1 (7—8). По вторникам и средам с будущей недели. В аудитории примерно 60—70 слушателей, число которых, вероятно, снизится до 30—40 (по числу записывающих). Меня это отчаянно «изматывает!» Лучше 10 «докладов», *свободно* прочитанных, чем 2 часа лекций! Посмотрим, выдержу ли я. Во всяком случае полная преподавательская деятельность для меня невозможна, об этом я могу судить по моему состоянию сегодня. Студенты довольно внимательны, не могу пожаловаться. Не справляюсь я с беготней, — визитами и т. п. Голова приходит в жалкое состояние и требует снотворного. И затем необходимость связно и *громко* говорить. И мысль, что они меня, ведь, не понимают. Короче говоря, это напряжение, которое ни к чему не приведет. Говорил я «средне хорошо». 8 дней тому назад я говорил бы *очень* хорошо...

В остальном все прекрасно, весна — в понедельник вечером я был в Венском лесу наверху — красота старого города, и люди, даже аудитории и т. д. Но я ведь *ученый*, а по состоянию здоро-

вя, — к сожалению, больше *не* преподаватель. С этим надо смириться...»

«Так, вторая лекция (то есть 2 часа, 6—8) также прочитана, теперь на очереди третья, завтра семинар. Посещение увеличилось, в частности ряд *коллег* внимательно слушают и записывают. Господи, *какое* это утомление. 10 свободных докладов ничто по сравнению с 2 часами лекций. Одна связанность с изложением, с возможностью для слушателей *записывать* — это невероятно. Читать больше 2—3 часов в неделю мне никогда не удастся. При этом говорю я — в лучшем случае — средне хорошо, это я точно знаю. И это *несмотря* на подготовку, быть может, *из-за* нее, хотя она и необходима. Нет — я рожден для пера и для трибуны, а не для кафедры. Такое понимание для меня несколько болезненно, но совершенно однозначно».

«Вот, опять позади 2 дня лекций, было несколько утомительно, ибо число слушателей опять увеличилось, теперь оно значительно больше 300; часть стоит у стен, так как большей аудитории нет. Но, как обычно, после такого длинного перерыва в виде ряда плохих ночей я не чувствую себя значительно лучше. Послезавтра был бы свободный день, но молодые люди требуют свой коллоквиум, так что придется вечером провести его. Завтра в полдень я вместе с бароном фон Пленером у его превосх. Зигхарта, в субботу вечером с начальником отдела Ридлем и служащими министерства в Rohrerhütte. Когда я кончу, пока сказать трудно. Серьезные слушатели просят, чтобы я читал лекции до августа, но этого я не сделаю, хотя бы потому, что не хватит денег. Между тем в рейхстаге опять была глупая болтовня, бедные здешние парни опять потерпели на Пяве неудачу. То и другое не радостно».

«В последние дни я вынужденно вел домашний образ жизни. Сильное возбуждение отразилось на пищеварении, желудок у меня переворачивался, так что в пятницу мне пришлось отменить занятия, и несколько дней я спал почти 24 часа. Теперь это почти прошло и восстановилось прежнее состояние в несколько более мягкой форме. Завтра опять лекция, во вторник тоже, затем еще 5 раз и 5 коллоквиумов. Разумеется, я считаю, сколько это будет еще продолжаться, но думаю, что выдержу».

«Чувствую себя более сносно. Лекции переполнены и утомительны, как всегда, тем более, что приходится спешить, чтобы изложить материал. Вчера я был у саксонского посла (фон Ностица) с Г. фон Гофмансталем, — умный, тонкий венец, но отнюдь не столь рафинированно культивированный, как можно было бы предположить по его «Смерти Тициана». Приятно было слышать, как он отзывался о Георге и Гундольфе, о презрении которых к себе он знает. Сегодня вечером слушал доклад очень симпатичного

господина фон Ростгорна (посла в Пекине) о Китае. Знать бы только, когда занятия завершатся. Некоторые говорят — 22.7! Но все в конце концов когда-нибудь кончается. Я бы действительно хотел, чтобы этот конец уже настал, ибо существовать все время с этим *qui vive*?<sup>150</sup> здоровья — небольшое удовольствие. Между тем думаю выдержать еще эти 4 недели».

«Вчера, в субботу, очень приятный обед у его превосход. Зигхарта с немецким послом и несколькими политиками, затем до 11 часов со свободомыслящей немецкой молодежью. Сегодня у саксонского посла к чаю. Завтра опять лекция! Как она пройдет, не знаю, — «простуда» делает меня совершенно тупым и разбитым — *всегда* какое-нибудь проявление возбуждения, то одно, то другое. Если это необходимо из-за *денег*, то я готов вести полуживотное существование чтения лекций, ибо тогда это нужно. Но ради «идеальных» целей и точек зрения — нет! Для этого жертва всеми радостями жизни слишком ощутительна. Ибо ничего, совершенно ничего не изменилось по сравнению со временем 20-летней давности».

«Опять закончились два дня лекций, теперь еще 2+2 и 2—3 вечерних семинара, и тогда все кончено. Надеюсь, что выдержу. Посещаемость вчера тоже была такой, что слушатели стояли у стен в этой большой аудитории».

Марианна Елене: «Представь себе, вчера вечером вернулся Макс, еще живой, хотя невероятно худой, несмотря на то, что он два раза в день ел мясо и ежедневно съедал 4 яйца. Но я надеюсь, что покой и летняя красота заменят ему здесь радости желудка, которые, как он утверждает, были в Вене единственной компенсацией ужасного духовного утомления. В последнюю неделю он ежедневно читал лекции, вел в коллоквиуме часто трехчасовую дискуссию. Его слушатели никак не могли удовлетвориться. Благодарение Богу, он не сломался. Теперь ему придется вновь учиться существовать без снотворных и к тому же без возбуждающей пищи. О войне и политике он говорит неохотно — это не улучшает настроение. Он был вчера так счастлив возвращению «домой», что все неприятное потеряло свое значение».

\* \* \*

Вебер чувствовал себя, правда, некоторое время очень усталым, но ожидаемое изнурение не наступило. Вскоре он мог опять работать и жил хорошей тихой жизнью. В сентябре супруги поехали в Эрлингхаузен и встретились там с Еленой и другими членами семьи. Там, где они некогда праздновали зеленую свадьбу, их ждет и серебряная. Вина уже давно готовилась к приему гостей. За не-

сколько месяцев большой жареный гусь был помещен в оловянный саркофаг, слух об этом занимал всю деревню. Подготовленная таким образом, она могла устроить прекрасное празднество невзирая на трудности времени. Лучи осеннего солнца освещают сады, листва уже окрашивается, но красная герань на грядках еще сияет. По утрам каждый собирает в саду порцию буковых желудей, из которых будет получено растительное масло. Круг людей меньше, чем на свадьбе, многие любимые люди давно уже ушли навсегда. Из статных сыновей Вины также одного уже нет, его цветущая жизнь пала у общего жертвенного холма. Но еще сильны обе ветви веберовской семьи, воспитанники Вины и Елены, еще действуют эти матери, на заре звучит, как некогда: «Восхваляй Господа, о, душа моя». И вновь в руках сестры дары и серебряный венок, сопровождаемые стихами, сочиненными Еленой. За трапезой одна речь сменяет другую в устах, соединенных для празднования. Дуновение всей прелести и всей тяжести прошлой жизни проникает в слова, как нежные пузырьки из глубины вина. Им за столь многое надо благодарить друг друга: жене своего мужа за то, что он вел ее, предоставив полную свободу, и позволил сложиться, как того требовал ее внутренний закон, мужу — жену за то, что она привнесла благословение в дни его жизни, — матерей за их неисчерпаемую любовь, судьбу за то, что вместе со своими испытаниями она дала силу их перенести. Однако супруги не чувствуют себя на стадии умиротворенного завершения, скорее в начале нового, более тяжелого периода, который потребует новой проверки. Корабль жизни Вебера вновь движется по взволнованному морю. К новым ли берегам — кто знает? И даже гармоничное счастье супружеской общности представляется не как удобно обеспеченное благо, ибо они знают: его все время приходится завоевывать у повседневности. Через неделю после этого празднества пала Болгария — дурной знак. Надежда на сносный конец войны исчезла. Теперь они уж не могли бы праздновать. Вебер стал очень тихим и погруженным в себя — «теперь несешь железное кольцо, сжимающее сердце». Он тяжело страдает и время от времени грешит, обвиняя правителя мира.

# Послереволюционный политик

Мы возвращаемся и продолжаем изложение политических событий. В конце 1917 г. надежда на подводные лодки давно исчезла; армии, правда, все еще находятся на территории врага, но все больше оттесняются на оборонительные позиции. Внутренние противоречия вновь обостряются. Речь все время идет об одном и том же: о заключении мира и реформе государственного строя. От социал-демократов, национальные убеждения которых все эти годы оставались без изменения, «независимые» откололись в качестве радикально-пацифистского и революционного крыла; к противоположному стремится организованная осенью 1917 г. «Немецкая отечественная партия», в которой Тирпиц и Капп собирают пангерманские и консервативные элементы. Эта партия выступает против резолюции о мире и против внутренних реформ, требует, чтобы Бельгия и другие занятые территории остались оккупированными и ведет пропаганду за политическое влияние на войска против компромиссного мира и против правительства. Такая тактика отравляет внутривнутриполитическую борьбу прежде всего тем, что настаивает на своем особом, отличном от других партий патриотизме. Этой партии противостоит в качестве внепартийного образования «Народный союз за свободу и отечество», который требует немедленного заключения «компромиссного мира» и свободного развития всех государственных институтов. Опубликованное в конце декабря воззвание подписал вместе с Брентано, Г. Боймер, Г. Дельбрюком, Науманом, Онкеном, Трёлчем и другими также Макс Вебер. Объединяющее и возвышающее всех в начале войны чувство общности было теперь полностью уничтожено. Испытывающие общую угрозу представители народа ненавидели друг друга и боролись друг с другом.

Когда, например, Вебер в декабре 1917 г. критикует в собрании «Народного союза» формы агитации отечественной партии, прежде всего вызывающее у него большие сомнения политизи-

рование армии, и пользуется при этом высказанной Блюхером на Венском конгрессе сентенцией, его слова превращаются в уме одного слушателя в свою прямую противоположность — и служат удобным материалом для право-радикальных противников, которые поэтому не пытаются проверить правильность этого утверждения. Вебер препятствует такому толкованию следующим образом: «что в Гейдельберге найдутся «граждане», которые подумают, будто слышали от *меня* фразу: *«Перо исправляет то, что испортил меч»* превосходит даже мои ожидания, соответствующие моей весьма низкой оценке интеллигенции так называемой Отчественной партии. Что подобное мнимое высказывание было воспроизведено в публичном собрании в актовом зале университета и вошло в телеграмму рейхстагу, вызывает сожаление, ибо подобная нелепость может сделать граждан Гейдельберга предметом насмешек. Я охотно пользуюсь необходимостью публично установить то, что я здесь, и действительно не впервые, сказал: «Политизирование армии в целом и втягивание высшего военного начальства в политическую борьбу партий посредством телеграмм и приветственных адресов отдельных партий в особенности, заставляют нас обратиться с просьбой к нашим выдающимся военачальникам: «Позаботьтесь о том, чтобы когда-нибудь нельзя было сказать: то, что вы хорошо сделали мечом, вы испортили тем, что позволили втянуть вас в суету и на лед внутривполитической борьбы партий». Ибо офицер, действующий в области, которой он не владеет, рискует поставить под вопрос свой авторитет у своих подначальных и у нации даже там, где он по праву им располагает.»<sup>27\*</sup>.

Около этого времени Германии действительно помогло извне великое чудо: намечавшееся уже весной крушение революционной России было теперь полным. Большевистское государство потребовало в середине декабря перемирия и предложило заключить компромиссный мир на основе права наций на «самоопределение», которое должно было в первую очередь коснуться пограничных государств. Германия была в принципе согласна на эту формулу, но не соглашалась передать большевикам балтийские провинции до заключения общего мирного договора. И в других пунктах ведущий переговоры генерал держал себя как победитель. Из-за этого переговоры прервались. Русские надеялись на то, что искра революции перейдет в Германию. Результатом стал сепаратный мир с Украиной при неопределенном состоянии в отношениях с Россией, которая остановила военные действия, но не заключила мир. Немецкие войска вновь двинулись на восток. Вебер по этому поводу замечает: «Положение в Брест-Литовске не производит на меня хорошего впечатления. Результат должен показать, что получится при этом бессмысленно резком тоне, но думаю,



что Троцкий умнее наших людей». И через несколько недель после того как переговоры были прерваны: «Ни один русский не отдаст без абсолютного принуждения Ригу Германии. Каждый мир на этой основе был бы не более, чем видимостью мира, который действует только до тех пор, пока Россия бессильна. Надо было понимать, что поскольку у нас нет возможности занять существенные части территории, у Троцкого нет серьезного интереса к миру. Следовательно *если* хотеть продвинуться, нельзя принимать *ту* формулировку, которую требовали военные» (7.2.18).

«Наступление на Западе решено (Подсчитанные потери фантастичны и ужасны!) Все надежды связывают с вылазкой. С достаточным ли основанием? Держу пари 2 : 1, что мир будет заключен *осенью*. Но на *большее* я пари *не* держу. Ибо наши военные совершенно безумны. Если проект избирательного права не пройдет, и это приведет к всеобщей забастовке, возможно худшее. Ратенау держит пари, что война продлится еще 3 года. Это не может быть, и немыслимо без революции. Но все неопределенно» (17.1.18).

Выступление Отечественной партии побуждает немецких левых радикалов к угрожающим действиям. Они организуют в Берлине и других крупных городах первую *политическую* забастовку в Германии, забастовку рабочих оборонной промышленности сроком на несколько дней. Результатом ее должно быть заключение общего мира и все еще задерживаемая демократизация. Имперское правительство занимает и здесь господствующую позицию и отказывается от переговоров с руководством забастовки. Избежать большой беды все-таки удалось благодаря противодействию профсоюзов и тому, что вождям правых социал-демократов удалось подчинить себе рабочих. Вебер пишет об этом Онкену: «Политические события в Берлине ввергают в отчаяние. Но у каждого, кто видел этот политический сумасшедший дом 14 дней тому назад, это не могло вызвать особенного удивления. Отношение военного пресс-бюро: передача в прессу сообщений о трудностях ведомства в переговорах с военными по поводу Бреста *и* речь генерала Гофмана все испортили в Вене, а как следствие этого и в Берлине. *Ни один человек* из левых не верит в предоставление равного избирательного права (не верит и Науман) и было совершенно ясно, что тогда социал-демократия не *могла бы* больше сдерживать рабочих (это она всегда говорила и указывала на последствия). Ее положение не просто, ибо под влиянием последних впечатлений все отходит влево к независимым» (1.2.18).

Тем не менее есть повод для новой надежды. Россия, самый опасный враг, неспособна воевать и должна к концу марта принять диктат мира, по которому значительные ее части переходят

под власть Германии. Без постоянного поступления хорошо питаемых и наилучшим образом обмундированных американских отрядов на Западе приемлемый мир был бы обеспечен. Но теперь? Все победы как будто уводят нас дальше от него. Весеннее наступление, в ходе которого уже заранее «исчислены» страшные потери, должно принудить к окончанию войны. И это наступление действительно приносит в течение месяцев удивительные успехи. Немецкие войска вступили глубоко на французскую территорию, Париж обстреливается из дальнобойных орудий, молодые офицеры уже предаются надеждам вступить в Париж. Когда в конце июня государственный секретарь Министерства иностранных дел фон Кюльман объявил в рейхстаге, что закончить войну одними вооруженными действиями невозможно и намекает на готовность правительства к переговорам, ему приходится уступить натиску пангерманцев. Однако в середине июля на западе начинается большое контрнаступление и, начиная с августа, превосходящие силы врага добиваются отступления немецких войск на всех фронтах. Теперь, наконец, нельзя больше скрывать, что запас человеческих сил, продуктов питания и прежде всего военных запасов исчерпан и сила Австрии сломлена. В штаб-квартире было установлено, что страны Центральной Европы не в состоянии военными силами сломить волю противников к войне. Теперь с германской стороны начинаются переговоры о «мирном наступлении». Однако успешно продвигающиеся враги не готовы к переговорам. Государственные деятели ведут свои диалоги через океан, и Германия слышит все время одни и те же требования: восстановление Бельгии, возвращение всех занятых территорий, компенсация всего нанесенного ущерба, предоставление Эльзас-Лотарингии и Польше свободного доступа к морю. Эти требования содержатся и в программе мирного договора Вильсона, в так называемых 14 пунктах. В его руках весы европейской судьбы. На него еще надеются. В Германии идет более острая, чем когда-либо борьба между сторонниками «мира меча» и «компромиссного мира». Но в вопросе о невозможности его искажения на западе и востоке едины все.

Правительство признает неудачу наступления: «Положение серьезно, но у нас нет основания к малодушию». Партии большинства требуют теперь парламентского правления. Находящийся, как и его предшественник, под политическим влиянием военных рейхсканцлер (фон Гертлинг) выступает против этого требования и уходит со своего поста. Путь к реформе конституции открыт. Но Германия в громадной опасности. Кто придет и власти? Многие, читавшие политические статьи Макса Вебера и слушавшие его выступления, полагают, что этим деятелем

может быть он. Один из его берлинских друзей молодости пишет Елене Вебер 2.10.18:

«В эти дни, когда я так много думал о Вас, я чувствую необходимость написать Вам несколько строк. Я не могу освободиться от уверенности, что разрешить внутренний политический кризис, в котором мы находимся, может только *один* человек, Ваш сын Макс. И чем больше я об этом думаю, тем более во мне растет уверенность, что он призван быть в это трудное время нашим вождем. Сегодня у меня был ряд социал-демократических деятелей из Саксонии, с которыми мне надо было поговорить о делах, но естественно мы говорили и о политике, так как они только что ушли с заседания фракции: они рассказали мне, что кандидатура канцлера до сих пор не найдена. Макс Баденский им совершенно не нравился. Тогда я им сказал, «Почему вы не обратитесь к другому Максу из Бадена, к Максусу Веберу, это самый подходящий человек, быть может, единственный, нужный нам». Эта мысль им очень понравилась и они решили назвать его имя в вечерних дебатах на собрании фракции. Я жду очень многого, если только вопрос станет о его кандидатуре и не сомневаюсь, что все члены партий большинства сойдутся на ней. Сознаюсь открыто, что я не всегда был согласен с прежними политическими взглядами Макса, что, например, не понимал его теплую поддержку Бетмана в свое время. Но его политическая гениальность, его глубокое знание, его блестящее красноречие, невероятная острота его интеллекта предназначают его как никого другого к ведущей роли именно в такое время, когда только наилучшие достаточно хороши для нас...» (2.10.1918).

Так думали в то время многие из тех, кто не был связан с партиями и не знал об их имманентных движущих силах.

Но для профессиональных политиков активный человек, далекий от партийных дел и партийной суеты, не принимался в расчет. К тому же мягкая, умная манера благородного князя, принца Макса Баденского представлялась приемлемой и консерваторам. Он стал канцлером и принял программу большинства партий, следовательно, во внешней политике — компромиссный мир, во внутренней — парламентскую систему и демократизацию Пруссии. Наконец стало казаться, что испытывающее угрозу государство введено на путь разума благодаря единодушию народа с правительством. В кабинет вошли представители левых. Можно было еще надеяться, что демократия способна спасти Германию. Фронт ведь не был прорван и немецкие войска еще стояли на вражеской территории. Сразу же к началу нового курса высшее военное начальство — Людендорф — потребовал предложить Вильсону заключить мир и прежде всего начать переговоры о перемирии. Рейхс-

канцлер тшетно сопротивлялся этому, военачальники настаивали. Общее ошеломление в Германии было невероятным, в других странах оно было расценено как признак неминуемого крушения. 11 октября Вебер пишет по этому поводу Науману:

«Если я до сих пор ничего не говорю публично, во всяком случае не говорил до сих пор, то причина этого в том, что я, как и все мы вне Берлина, абсолютно не в курсе дела и я опасаясь дезавуирования событиями и предпринимаемыми шагами. Признаюсь, что все, узнаваемое нами из Берлина, создает впечатление *полного нервного расстройства*. Это может страшно дорого обойтись нации. Надеюсь, что дело обстоит иначе. Теперь, когда несчастье пришло, я совершенно спокоен. Надеюсь, Вы также».

Вебер и теперь предвидит все последующее. Уже на следующий день он указывает своим друзьям-политикам, Г. фон Шульце-Геверницу, Гансу Дельбрюку, Науману, что только немедленное добровольное отречение императора, может быть, способно еще спасти монархию и династию. 11 октября 1918 г. он пишет профессору фон Шульце-Геверницу: «В качестве искреннего сторонника монархических — хотя и парламентски ограниченных — институтов и особенно немецкой династии я придерживаюсь твердого убеждения, что теперешний император должен уйти в интересах Империи и династии. Он может совершить это с полным достоинством, если при этом скажет: «Он настаивает на том, что действовал по праву и совести, как был вынужден; судьба была против него, и он не хочет служить препятствием своему народу на его пути в будущее». *Недостойно* его и императорской власти жить в искалеченной «Германии из милости», — а так бы случилось. Если он отречется *без* давления извне, *теперь*, то уйдет почетно, и рыцарское сочувствие нации будет с ним. И прежде всего: сохранится положение династии. Если же он останется, то неизбежный карательный суд над тяжкими ошибками в политике распространится и на него; изменить это невозможно. Надо было бы найти соответствующую личность, которая охарактеризует монарху положение дел, если он его не понимает. Признаюсь, что его правление вызывало у меня неприязнь. Но в интересах императорской *власти* я не могу желать, чтобы император завершил свое правление с *бесчестием*, независимо от того, заставят ли его уйти под внешним давлением или и впредь влачить жалкое существование на троне. То, что нам, если он отречется, будут предложены лучшие условия, лишь вторичное, хотя и немаловажное обстоятельство! Но представьте себе ужасное унижение, которому будет подвергнут монарх, если он останется на троне! Страшно подумать! И это сохранится в памяти поколений! То же я писал Науману и Гансу Дельбрюку».

Когда ничего подобного не произошло, Вебер продолжал писать убедительные письма: «Отречение императора остается центральным вопросом. Если бы он *сразу* принял такое решение! Теперь все труднее, я это признаю, но оно *должно* быть совершено. В этом не заключается признание *моральной* вины ни с его, ни с нашей стороны. Но что он совершил тяжелейшие *политические* ошибки, он *должен* признать, чтобы как он, так и нация могли сохранить достоинство».

Этот шаг сделан не был и оказался впоследствии еще затруднен тем, что *Вильсон*, от которого ждали посредничества, *потребовал* отречения. «Соединенные Штаты не хотят вести переговоры с военными властями и монархическими автократами Германии. От них потребовали бы не мирных переговоров, а *капитуляции*». Военачальники настаивали на продолжении войны. Многие были к этому готовы. Однако их требование не было принято большинством рейхстага. В основе лежало не только изнурение масс, но и другие проблемы: угроза распада Империи. Так, например, Вебер ощутил в Мюнхене эти впечатления: «При воззвании к «*национальной защите*» отпадение Баварии от Империи произойдет автоматически. *Ни одна* здешняя инстанция и *ни одна* здешняя партия не придерживается другого мнения, и у короля не будет выбора для сохранения своей короны» (6.10.18).

«После публичного собрания, в котором я подверг насмешкам идею отделения Баварии и напомнил о расторжении таможенного союза и о последствиях этих действий в прошлом, мне позволил некий инженер, который счел эти доводы в данное время совершенно неубедительными и в ответ на мое замечание: «Что ж, попробуйте», ответил: «И попробуем». Что баварский двор относится к такому проекту не без одобрения, известно каждому. «Верность Империи» сохраняют *только* левые, причем социал-демократы с оговоркой, что Вильгельм II должен *уйти*, в противном случае они ничему не верят. В остальном настроение было сплошь и у лучших людей *настолько* резко в пользу мира на *любых* условиях — так как каждая попытка организовать сопротивление ведет немедленно к анархии, — что можно было впасть в отчаяние» (6.11.18).

\* \* \*

После того как военные власти были подчинены рейхстагу, Людендорф ушел с поста главнокомандующего; Гинденбург, напротив, остался на своем посту, и все, что он совершил в это время, повышало общее уважение к нему. Император удалился в главную штаб-квартиру. Левые требовали его отречения. Судьба мира была

в руках Вильсона. В эти дни Вебер предостерег его в краткой заметке, посланной во «Франкфуртскую газету», от ожесточения его условий: «Если его желание, чтобы немецкое правительство приняло такие условия перемирия, которые сделают его дальнейшее военное сопротивление невозможным, будет удовлетворено, то из решающих для условий мира факторов будет исключена не только Германия, но в значительной степени и он сам. Его собственная позиция как третейского судьи мира означает *только* то, что военная сила Германии без участия американских войск не может быть покорена. В противном случае, несомненно, наличные совершенно непримиримые элементы остальных враждебных государств получат перевес и способны, вежливо поблагодарив президента за оказанную им ранее помощь, полностью отстранить его. *Его роль была бы сыграна*<sup>28</sup>».

Но беда уже приближалась. 3 ноября подняли мятеж матросы флота, находящегося в Кильской гавани. 4 ноября Вебер по поручению «Прогрессивной народной партии» прочел политическую речь в Мюнхене. Там в эти дни беспрерывно шли леворадикальные собрания и демонстрации. Тема Вебера гласила: «Новое политическое устройство Германии». По ощущению некоторых слушателей это была одна из самых страстных его речей: «при этом пламя его речи, осознавая свою чрезмерность, стремилось в ходе анализа ситуации смягчиться до предельного спокойствия, но все время вновь прорывалось. Он апеллировал к инстинктам мужественного самоутверждения перед врагом, к воле сохранить Империю: «Призыв отделиться от Пруссии является преступной глупостью». Странная судьба мира состоит в том, что Вильсон — первый действительный властитель мира — профессор. В какой степени он профессор, мы видим по величайшей глупости, которую он совершил: по условиям перемирия. Если он не предотвратит положения, при котором Германия вступила бы в переговоры о мире безоружной, то и с его собственным господством было бы покончено. Тогда французские генералы скажут: «Большое спасибо, теперь мы и без тебя справимся с Германией». К миру есть два пути, путь политика и путь Нагорной проповеди. Политик должен заключить мир так, чтобы все участники могли искренне принять его. Другой путь гласит: Мир любым путем! К представителям этого требования можно испытывать величайшее уважение, если они готовы следовать этике Нагорной проповеди и в других случаях. Вопрос, следует ли возобновлять национальную борьбу за защиту родины при невыносимых условиях должны решить находящиеся на фронте солдаты. Революция не ведет к миру. Большеизм — военная диктатура, как любая другая и будет сломлен, как любая другая. Исключено, что буржуазное общество перейдет по-

средством революции в социалистическое государство будущего. Ее следствием будет вторжение врагов и последующая реакция.

Часть слушателей составляли буржуазные интеллектуалы и свободомыслящая немецкая молодежь, часть — леворадикалы: возбужденные хилиастическими надеждами коммунисты и анархисты, среди них русский большевик М.Левин и Эрих Мюзам, известный до сих пор как характерная фигура швабской богемы. Когда Вебер высказывается против мира любой ценой и против революции, М.Левин прерывает его возгласами, на которые Вебер отвечал все более саркастически. Возбуждение растет уже во время речи, враждебная атмосфера достигает трибуны. Эти люди не могут и больше не хотят его понять. В дискуссии они провозглашают коммунистические лозунги, аргументы Вебера не воспринимаются. Бюргерство молчит. Впервые враждебные инстинкты масс противостоят Веберу, и он неспособен справиться с ними. Демагогическое поведение кажется ему «уродливым» и представляется опасным предзнаменованием. После доклада Вебер встречает часть своих слушателей у Э.Катценштейна, который через несколько дней возглавляет смещение мюнхенского управления полиции. Кажется, что еще никто из присутствующих не решился на революцию. Вебер сидит среди них «как старый рыцарь» и горячо говорит об отказе императора сделать единственный достойный и правильный шаг к спасению монархии. Вебера осыпают вопросами: что же теперь будет? Он вновь на это отвечает: «Решить должны фронтовики». Это молодые люди не хотят признать, они сами какое-то время были на фронте и уверены, что лишь свобода от военной службы дает правильное обозрение ситуации.

Что думала о веберовских соображениях свободомыслящая немецкая молодежь, которая стояла еще на перепутье между революционными и национал-патриотическими взглядами, чего она ждала и что желала услышать от него, характерно выражено в следующем письме одного очень разумного молодого человека:

Мюнхен, 6. и 7.11.18 «...С Вами, господин профессор, связаны политические надежды лучших, насколько я могу судить, — и я ничего большего бы не желал, просто говоря, чем видеть Вас в должности канцлера, так как я действительно не обнаруживаю никого в кругу современных политиков, кому бы я мог доверять, что он, подобно Вам, совершенно точно знает, чего он хочет и хочет безусловно мужественного и лучшего. Ибо мне к тому же представляется чрезвычайно важным и сегодня настоятельно необходимым не только *что*, но и *как* будет сделано. Нам нужен теперь просто воспитатель, который научит весь народ перерабатывать эти вещи так, чтобы сделать из них что-нибудь. Я глубоко сожалею, что мне не удалось в Гейдельберге настолько сблизить-

ся с Вами, чтобы поговорить об этих столь важных вещах, и поэтому я не знаю, признаете ли Вы за мной право обратить Ваше внимание на ряд возражений, которые делались в кругу знакомых мне молодых людей и также мной... Прежде всего говорят, что Вы не идете в ногу со временем. Смею Вам сказать, что я с этим несогласен, особенно там, где его высказывают, в кругах идеологов. Это я слышал уже в Гейдельберге, и вновь в Вашей речи. Что касается этой речи, должен сознаться, что в ней Вы по существу сказали мне мало нового. Воодушевило меня Ваше поведение и огромная жизненная сила, с которой Вы говорили. Я думаю, что преобразование, которое и для нас, далеко идущих либералов, стало безусловно необходимым, Вы не могли бы совершить с такой быстротой, как мы, молодые, еще не сложившиеся и значительно легче привыкающие к обстоятельствам. Поэтому у меня создалось впечатление, что Вы, не говоря об этом, предоставляете меняться тому, что менялось, и что для Вас в сущности может быть самым важным в этой переоценке всех ценностей, которая грозит стать их утратой, было желание ясно и четко фиксировать поведение серьезного, рыцарственного и безусловно порядочного человека. Я изложил эти объяснения, противопоставив их возражениям других. Вы нам нужны в качестве вождя не для того, чтобы решить вопрос, следует ли подставлять обидчику и левую щеку или не терпеть несправедливости, а для того, чтобы Вы ясно выразили зияющее противоречие между количественным и качественным социализмом. Время не терпит, каждая минута дорога. Речь теперь идет о том, предадимся ли мы массам и числу или совершим быструю попытку поставить освободившееся движение на путь, на котором оно создаст ценностную работу, наполнит жизнь красотой и движением.

Психологически понятно, что после времени таких неслыханных бедствий, такой исключительной всеобщей печали, как та, которую принесла эта война, и после жалкого существования, которое должен был вести рабочий, ни о чем другом кроме счастья, счастья! не думают. Если еще разразится гражданская война, то бедствия достигнут такой высоты, что останется только одно желание: Положить конец этому и обрести немного счастья в этом жалком существовании. Это звучало в Вашей речи. Во всем Вашем поведении Вы были представителем этого *уровня* и говорили Вы слушателям, которые хотели только немного радости и для которых мысль о какой-либо дополнительной жертве для любого гипотетического уровня вселяла ужас! Слушатели Вас просто не понимали и в своей большей частью воспринимали, вероятно, как пришельца с другой планеты. Кто вообще сегодня еще понимает, если кто-либо, как Вы, восклицает: «Германия, которую мы



любим больше, чем когда-либо!» Для слушателей это было фразой, которую они не ощущали, каждый думает о себе и о своей выгоде...»

Едва Вебер вернулся из Мюнхена, как там разразилась революция. Бавария была провозглашена свободным государством, «народное правительство» рабочих и солдатских советов конституировалось по русскому образцу. Берлинское правительство еще надеялось, что может овладеть движением. Император еще верил, что стоя во главе армии, сумеет восстановить порядок на родине. Рейхсканцлер еще надеялся, что отречение монарха предотвратит общее падение. Однако все было слишком поздно. В день отречения императора и в Берлине была провозглашена «немецкая республика». Одновременно коммунисты объявили «свободную социалистическую республику» по большевистскому образцу. На следующий день были приняты самые ужасные условия перемирия. Многие топили свое отчаяние в дурмане революционных действий. Они грезили, что находятся на пороге более совершенного общественного порядка — наконец открылся путь к царству мира, примирения народов, общности и человеческой солидарности. Другие же, опора старого режима, считали революцию ответственной за все национальные бедствия. Они создают легенду об ударе ножом в спину и поносят «неверный народ», который неспособен подняться на последнюю отчаянную борьбу. Вебер возмущался, слыша это утверждение, особенно когда его провозглашали защищенные своей кафедрой коллеги. Но столь же решительно он отвергал революцию и связанные с ней надежды. Под впечатлением мюнхенских событий и грустного зрелища, когда молодые парни срывали с вернувшихся офицеров погоны, он называл это «кровавым карнавалом, не заслуживающим почетного наименования революции». И если он понимал неизбежность случившегося, он предвидел одновременно, что преобразование в *этот* момент ухудшит шансы Германии на мир и приведет ее к финансовому краху, не придав длительности социалистическим институтам. Его участие в борьбе пролетариата за достойное человеческое существование было с давних пор так велико, что он часто размышлял, не вступить ли ему в их ряды в качестве члена социалистической партии, — однако результат этих размышлений был всегда негативен. «Социалистом» в действительном понимании этого, так же, как «христианином», можно стать только при честной готовности принять форму жизни неимущих, во всяком случае отказаться от культурного существования, основанного на *их* труде. Это было для Вебера после его заболевания невозможно, его научная деятельность зависела от ренты с капитала. Кроме того он по своему существу оставался *индивидуалистом*. И все-таки в дру-

гое время он проявил бы большой интерес к попытке полного преобразования хозяйства, к его «социализированию», но в данный момент? Нет, так как все подобные эксперименты еще больше ослабили бы государственную структуру и приблизили бы национальную катастрофу. «Новообразование, продукт этого страшного поражения и оскорбления, вряд ли укоренится. Конечно, «вере» (в социалистическое будущее) можно радоваться, даже не разделяя ее. *Но ее-то и не разделяешь*, как ни уверен я в нашем будущем в качестве такового. И я боюсь, не окажется ли, что вера, правда, может двигать горами, но не может улучшить разрушенную финансовую систему и восстановить отсутствие капитала, — вследствие чего новое разочарованием, невыносимым после всего уже пережитого — многих, именно наиболее верующих, может привести к внутреннему банкротству. Не меня, если я буду здоров и смогу работать, так как Я могу жить без веры — в *этом* смысле» (ноябрь 1918). Вебер был в те недели готов к любой жертве нации и к руководству молодежью. Но не было никого, готового следовать ему. Что у молодых пацифистов и коммунистов, которые надеялись на преобразование мира в их понимании, его национальный этос не находил сочувствия, не вызывает удивления; но что так же реагировала ориентированная на традиции молодежь, могло потрясти как симптом полного морального изнурения в результате войны. На собрании студентов в Гейдельберге произошло следующее. Один из друзей описал это таким образом: «Вебер обрисовал, ничего не скрывая и не смягчая, политическую безнадежность положения данного поколения, чтобы именно из этой безнадежности сделать, исходя из своей веры в нацию, не понятые тогда выводы. Вы ведь знаете, — сказал он, — что значит противостоять наступающему врагу, противодействовать которому силой армии уже невозможно. Вам известны эти методы из русской революции 1905 года. Это значит: верить всему в будущем и ни на что не надеяться для себя. Живущему предстоит только тюрьма и военно-полевой суд. Если дошло до того, если Вы согласны не вести длинные речи, а молча позаботиться о том, чтобы первого польского чиновника, который посмеет войти в Данциг, встретила пуля, — если вы готовы стать на тот путь, который в этом случае неизбежен, тогда я с Вами, тогда: *ко мне!*»

Эти слова, сопровождаемые широким движением руки, будто он хочет притянуть к себе своих товарищей, встретили ледяное непонимающее молчание. Молчание могло бы иметь и другое значение, но последующее показало, что это было не так. Вебер продолжал говорить о существующих возможностях, о студенческой чести и о надежде, что Германии, имевшей, как сказал некогда Трейчке, единственной из европейских народов вторую весну,

теперь предназначена и третья. Затем он завершил свое выступление следующими словами: Подлец, кто носит знак корпорации, когда Германия низвергнута! Молчание продолжалось, но последние слова превратили вскоре непонимание в возмущение. Перед домом Вебера студенты демонстративно проходили со знаками корпораций. Через некоторое время он в вежливой форме вернул ленту своей корпорации. Никогда больше он не говорил о воле этого момента противостоять врагу с уверенностью в верной гибели.

## II

Вебер не предался раздражению и отчаянию, а снова попытался помочь. И всюду, где он находил добрую, честную волю, он радовался этому, — так прежде всего продуманному чувству ответственности и скромной добропорядочности правых социалистов, старавшихся предотвратить не желаемую ими революцию, к которой стремились большевики. По их просьбе он на время вступил в гейдельбергский совет рабочих и солдатских депутатов, надеясь, что, быть может, сумеет помочь им своими знаниями. У него были хорошие отношения с вождями рабочих. Казалось, что подлинное неразумие не может укорениться в этой благословенной баденской земле. Так, его вера в немецкого человека, в Германию все время находила новое подкрепление. Он не переживал разрушения иллюзии, ибо у него их не было. Поэтому он стал теперь для окружающих его людей, которые раньше так часто воспринимали его как политического пессимиста и «отвергали» его понимание, прочной опорой.

«О том тяжелом, что мы переживаем, в другой раз! Едва ли не тяжелее была годами длившаяся озабоченность им! Выше голову! После заключения мира будет много дел. Благо тому, кто сможет действовать в полную силу. Я же смогу в лучшем случае только в полсилы». И через несколько недель: «Провал Людендорфа, деморализация армии как следствие вечного подъема «настроения» обещаниями, которые невозможно выполнить, эта близорукость и отсутствие глазомера в осуществлении возможного, затем это отсутствие достоинства у императора и растерянность дилетантского правительства — все это было мучительно. Долго нам придется страдать от последствий того, что нанесено нашей чести, и лишь опьянение «революцией» служит людям своего рода наркотиком, пока не пришла тяжелая беда. Отвратительны также многочисленные фразы, отчаяние вызывают смутные надежды и совершенно дилетантские разговоры о «счастливом будущем», которое очень далеко, дальше, чем когда-либо. *Радость* вызывает

непритязательная деловитость простых людей в профсоюзах и многих солдат, например, в здешнем совете «рабочих и солдатских профсоюзов», в который я вхожу. Они выполнили свое дело превосходно, без всякой болтовни, это я должен сказать. Нацию как таковую составляет все-таки дисциплинированный народ — правда, когда *он* колеблется, то колеблется — это мы ведь видим — всё и в глубине души этих людей. Решающим является теперь, удастся ли удержать безумную банду Либкнехта. Они ведь совершат свой путч, с этим ничего не поделаешь. Все дело в том, чтобы его быстро остановить и не перейти к дикой реакции, проводить объективную политику. На это надо надеяться — знать это заранее невозможно. Если дела будут плохи, придется предоставить американцам навести порядок, хотим мы этого или нет. Будем, надеяться, что мы окажемся свободными от позора предоставить действовать врагам. При всем этом уже почти не думаешь о потере Меца и Страсбурга — можно ли было это себе представить?...» (18.11.18).

\* \* \*

В конце ноября Вебер отправился на несколько недель во Франкфурт, чтобы по просьбе редакции «Франкфуртской газеты» проконсультировать ее политически. Он написал там свои статьи о «новом государственном устройстве» для подготовки новой конституции. 2. 12. он присутствовал при вступлении непобежденного войска, которое его глубоко потрясло. Все дома были в венках, у всех окон и на крышах толпились люди. Шумным ликованием были встречены люди, совершившие и перенесшие сверхчеловеческое. Как нарядны они еще были! На каждом шлеме был веночек, на каждом ружье букет. Перед оперой, где остановился главнокомандующий со своим штабом, развевался красный флаг, — напротив стояла бронзовая статуя старого императора верхом — символ единой Империи. Простой солдат, член совета рабочих первым приветствовал генерала. В этот момент соединилось происходящее вне здания и внутри его. Высшие офицеры застывшим взором и с тесно сжатым ртом смотрели в пустоту, седые мужчины плакали.

Внутреннее положение ухудшалось с каждым днем. Коммунистические фанатики — Либкнехт и Роза Люксембург пытались вырвать у социалистов руководство бескровной революцией вместо демократической, установить социалистическую республику, то есть пролетарскую диктатуру с системой советов. Мюнхенский вождь К. Эйсер, баварский премьер-министр, опубликовал документы, которые дали врагу материал для «лжи о вине» Такие «признания» должны были, как надеялись пацифисты, смягчить

условия мира. В начале декабря в Берлине и Мюнхене произошли первые кровавые путчи. Угрожалo вступление врагов.

В эти дни Вебер писал из Франкфурта: — — «Здесь все думают, что гражданская война в Берлине неизбежна и что Германия распадeтся тогда на отдельные части; можно прийти в отчаяние. Во всяком случае Вильсон еще раз решительно заявил: социалистам он не даст хлеба и не предоставит мир. Это сообщили сегодня. Однако бандам Либкнехта это безразлично. Они будут грабить, а что произойдет потом, не имеет значения, так как тогда они быстро исчезнут. Еще неизвестно, не будет ли Франкфурт оккупированной территорией, — некоторые трусливые подонки из бюргерства даже хотят этого! Из страха перед социалистами! Черт их возьми» (22.11.18).

«Гаусман пишет, что он предложил меня в качестве посла в Вену. Из этого ничего не выйдет, это ясно. Ведь эти люди хотят только быть *обманутыми* в пацифистском смысле. При этом высокомерие противников безгранично и следует ожидать самого худшего; им даже Эрцбергер *недостаточно* слаб! Вообще эта бездарная комиссия по заключению мира!» (25.11.18).

«Сначала беспорядок, и все быстро приближается к катастрофе. Мюнхенцы ведь совершенно безумны и лишены достоинства. Но с этим ничего не поделаешь, и я считаю вступление Антанты вполне вероятным. Но всему бывает конец, и мы еще поднимемся. Хотелось бы только, чтобы с подонками *было бы* наконец покончено! Этому правительству я никогда не понадобится, и я никогда не буду ему служить. Господину Гаазе и товарищам — в отличие от профсоюзов и Эберта — нужны только лъстецы, лакеи и бесхарактерные люди, так же, как князьям. Преуспевают болтуны и крикуны, и ненависть» (29.11.18).

«Все в действительности так ужасно и постыдно, что приходится благодарить Бога за то, что есть дела — иначе можно было бы просто рехнуться. Сколько времени продлится еще этот карнавал? Положение в нашем хозяйстве быстро ухудшается. Все безумно дезорганизуется, все резервы истребляются, и думаю, что концом будут путч и оккупация. Но недостаток *сдержанности*, отсутствие достоинства — самое страшное из всего переживаемого. И эти разговоры лейтенантов, которые слышишь за соседними столами! Невероятны эта пошлость и позиция *matter-of-fact*<sup>151</sup>. Вебер видит все без прикрас, но он все-таки чувствует в народе, часть которого он сам, нерушимые силы и качества. Он *верит* в нацию как в самого себя, в том смысле, что ни внешняя судьба, ни самое тяжелое бремя не могут уничтожить ее духовную сущность. Так он может писать в эти страшные дни Фридриху Крузиусу<sup>29</sup>, попросившему его высказать свое суждение о том, что есть и что будет,

следующее: «Если я долго молчал, то потому, что почти уверен — мы еще не выпили до дна эту страшную чашу нашего унижения. Безрассудное увлечение Людендорфа, затем в качестве обратного удара эта «революция» уничтожила весь порядок властей, в частности в Берлине: у правительства *нет действительно* верных организованных войск, которые оно могло бы противопоставить бандам Либкнехта — отсюда его неизбежная слабость. Если эта охлократия продлится, как следует ожидать, или победит (временно) в путче — который обязательно произойдет — то придет вражеское «спасение», оккупация, позовут ли ее или нет. Пока все это еще возможно, трудно сказать что-либо публично.

Я пытаюсь рассматривать более *формальные* вопросы во «Франкфуртской газете». До тех пор пока голова занята такими массивными техническими и экономическими проблемами, как теперь, и как будет впредь — речь идет о простом существовании масс — трудно внутренне обратиться к проблемам культуры. И в них первое место занимает работа по восстановлению той совершенно трезвой моральной «порядочности», которой мы — в целом — обладали и которую *потеряли* в войне — самая тяжелая утрата. Следовательно, капитальные вопросы воспитания. Средства: только американские клубы, *все равно* для какой цели: Подход к этому можно найти у членов «Свободомыслящей немецкой молодежи». Других средств я не знаю, так как авторитарность — которую я принимаю без всяких предрассудков, — теперь полностью не воспринимается, разве только в форме церкви. Отказ от всех духовных наркотиков любого рода, начиная с мистики до «экспрессионизма»: «деловитость» как единственное средство подлинности и развитие *чувства стыда* — в отличие от отвратительного эксгибиционизма внутренне сломленных, — которое единственно может дать «выдержку». В данное время наш «облик» так разрушен, как ни у одного народа в подобном положении когда-либо, ни народа Афин после Эгоспотамов и Херонеи, ни тем более Франции в 1871 г. Но обидны, несправедливы и холодны теперешние дешевые суждения, которые — конечно — связывают с этим сторонники разрушившейся азартной партии. Больше четырех лет голода, больше четырех лет инъекций камфоры и морфия, прежде всего как способов воздействия на общественное мнение — не испытал *в такой мере* еще ни один народ. Мы опять, как после 1648 и 1807 гг. начинаем *сначала*. Таково простое положение дел. Разница только в том, что сегодня люди быстрее живут, быстрее и с большей инициативой работают. Не *мы*, но уже следующее поколение увидит начало восстановления. Конечно, самодисциплина истинности заставляет нас сказать: с *мировой* политической ролью Германии покончено; англосаксонское господство в

мире — ah c'est nous qui l'avons faite<sup>152</sup>, как сказал Тьер Бисмарку о нашем единстве — *является* фактом. Этот факт очень огорчителен, — но значительно худшее, *русский* кнут! — мы предотвратили. Эта слава остается с нами. Мировое господство Америки было также неизбежно, как господство Рима в античности после Пунической войны. Будем надеяться, что так и *останется*, что это господство не будет разделено с Россией». *Это* является для меня целью нашей будущей мировой политики, ибо угроза России устранена лишь на данный момент не навсегда. Теперь, разумеется, главную опасность представляет отвратительная истерическая ненависть французов. Я — подобно Уленшпигелю, на пути в гору — *абсолютный* оптимист, только с дальним прицелом, по отношению к нашей собственной нации. Все ее слабые стороны уже известны, но можно, если хотеть, увидеть и ее баснословную добропорядочность, скромность, деловитость, *способность* достигнуть, нет: уже достигнуто! — «красоты повседневности», в противоположность красоте дурмана или жесту других. Следующие десять лет будут еще ужасны. О том, что политико-социальный мазохизм тех недостойных пацифистов, которые теперь с наслаждением копаются в чувствах «вины» — будто *успех* в войне внутренне что-либо доказывает, подобно суду Божьему, и будто Бог битв «не на стороне больших батальонов!» (мы показали, что не всегда!) о том, чтобы это было забыто, позаботятся уже враги. Неистовую классовую борьбу придется вытерпеть, заботясь только о том, чтобы при страшном внутреннем утомлении, которое наступит, она не строила бы теории, а честно признала бы существо дела: *Честность* теперь вообще самое главное. 110 лет тому назад мы показали миру, что мы — *только* мы — можем быть под чужим господством, оставаясь одним из самых великих культурных народов. *Это* мы сделаем теперь еще раз! Тогда история, которая дала нам — *только* нам — вторую молодость, даст и третью. Я не сомневаюсь в этом, и Вы также — *quand même*<sup>153</sup>! То, что теперь публично говорят, конечно, всегда «*rebus sic stantibus*»<sup>154</sup>, а не «*pour jamais! Toujours y penser*»<sup>155</sup>. Сердечный привет и жму Вашу руку. Ваш старый Макс Вебер» (24.11.18).

В конце декабря, когда восстания Спартака стали принимать все более угрожающие формы, он опять писал Крузиусу: « — Боюсь, нам не миновать гражданской войны и вторжения. Тогда и это надо будет перенести, как ни тяжело это и ни страшно. Ибо я верю в несокрушимость этой Германии, и *никогда я не ощущал с такой силой как дар неба, что я немец, как в эти мрачные дни ее позора*. Терпите, как это ни трудно» (26.12.18).

Вследствие опубликованных в ноябре во «Франкфуртской газете» статей о *новом государственном строе* Вебер вошел в число тех, кто разрабатывает новое политическое устройство Германии. Приведем несколько основных мыслей: дело Бисмарка погибло. Что же теперь? Парламентская монархия и республика? И теперь следовало бы предпочесть первую, так как она «технически наиболее способна приспособиться к данной ситуации и в этом смысле наиболее устойчивая форма государства». Радикальной социальной демократизации она необязательно должна препятствовать. Однако последние события не позволяют сделать такой выбор. «Следовательно, нам предписывается признание республики». Правда, этого требует не только политическое положение в данное время, но и ряд серьезных причин: воспитание у бюргерства нового, готового к ответственности и самосознанию политического духа. В течение десятилетий господствовал дух безопасности, укрытости под защитой верховной власти, страх перед каждым новшеством, короче говоря, трусливая склонность к внутриполитической беспомощности. Республика покончит с этим. Бюргерство будет теперь, подобно рабочим, полностью зависеть от собственных сил; оно впервые узнает, что «зонти божественной милости, раскрытый над его кошельками, закрыт»: Вебер рассматривает различные формы государственного устройства, в возможных рамках республики. Несвязанный какой-либо заранее принятой государственно-правовой теорией, он исходит исключительно из исторически данного требования дня. Германская империя — федерация, состоящая из многих частей. Поэтому прежде всего возникает вопрос, следует ли предпочесть унитарную или федеральную структуру? Социалистическая организация хозяйства как будто требует единого государства. Однако в обедневшей стране, нуждающейся для восстановления в иностранном кредите, она невозможна. И на республиканской почве должно быть место для федерализма. Вебер желал бы *унитарного* решения, но считает его пока недостижимым. Каким же должно быть Федеративное государство, которого требует настоящее? Существовавшая до сих пор структура гегемонии Великой Пруссии отпадает, прежде всего, — связь вершины империи с вершиной прусского государства. Затем требует решения вопрос, должен ли орган, который надлежит создать наряду с народным представительством, состоять, подобно существовавшему до сих пор бундесрату, из делегатов отдельных государств или превратиться в «государственную палату», то есть в избранный парламентами отдельных государств представительный орган. Вебер в принципе предпочитает государственную



палату, а не более демократический институт, но советует, несмотря на это, орган делегатов, так как лишь этим отдельным государствам будет предоставлено участие в центральном управлении, что смягчит их партикуляристское стремление к власти.

Очень важен — особенно для способа выбора главы государства — наконец, вопрос, следует ли стремиться к чисто парламентской или плебисцитарной структуре республики. До тех пор пока немецкое государство завершалось монархической вершиной, Вебер поддерживал выбор правителя парламентом. Теперь же, когда монарха нет, он требует, чтобы высшая власть, рейхспрезидент, *избирался* непосредственно *народом*, получая тем самым самостоятельный авторитет по отношению к парламенту. Он должен быть главой исполнительной власти и в случае конфликта между парламентом и правительством иметь возможность обращаться непосредственно к народу. Следовательно, всенародное избрание президента означает ограничение влияния партий и при избрании министров, а также ограничение патроната должностных лиц вообще. Противники парламентаризма также получают удовлетворение, так как демократия и парламентаризм неидентичны.

В то время, когда появились статьи Вебера о государственном строе новый государственный секретарь внутренних дел, доктор Г. Прейс предпринял разработку плана конституции Империи. Он пригласил для консультации небольшой круг специалистов по этому вопросу, в том числе и Вебера. Это была та задача, которой хотел заниматься Вебер. «...Следовательно, вчера было заседание. Прейс справляется со своим делом очень хорошо, он действительно *очень* умен. Завтра уже все должно быть готово — кажется, еще никогда «конституция» не составлялась так быстро. Призрачность положения состоит в том, что все легко может превратиться в макулатуру, *вероятно* даже так и будет, ибо колесо событий проходит мимо вещей и всех нас. Разве что теперь, а это возможно, наступит диктатура Эберта».

Вебер был во многом согласен с руководителем конференции. Правда, его основную идею — разделение Пруссии на отдельные свободные государства для облегчения (создания) единого государства — он принять не мог. Ибо он заранее был уверен в невозможности осуществить этот план, не только из-за противодействия связанных традицией противников, но и исходя из государственно- и экономико-технических причин. Он также предпочел бы единое государство, но предвидел, что исторически данное требует сохранения *федеральной* системы. Следовательно, надо было ввести больше унитаризма в федеральную по своему принципу конституцию, а не наоборот, как того хотел Прейс. В составлении плана победила тенденция Преиса, но уже в подготовительных

комиссиях она была существенно ослаблена и не была одобрена большинством в Национальном собрании. Федеративный характер Империи был сохранен, правда, «земли» были в важный пунктах подчинены ей. В одном месте конституции сохранились следы работы Вебера. Полностью принадлежащим ему пунктом в плане Прейса было введение конституционного *права* анкетирования, распространяющегося и на меньшинства. Он требовал этого, как мы знаем, уже в своих дореволюционных политических работах и формулировал конкретные предложения соответствующего закона. Учредительное собрание приняло этот пункт. Этот новый внутрипарламентский контрольный орган мог не только препятствовать парламентской коррупции, но давал меньшинству возможность не ограничиваться оппозицией, а переходить к позитивным действиям; благодаря этому данный орган становился средством соглашения между спорящими парламентскими силами, следовательно, регулятивным средством парламентаризма вообще, «одухотворением парламентской формы», «ее освобождением от абсолютизма большинства»<sup>30</sup>. Это нововведение было заимствовано и «землями» и перешло затем в конституции Дандига и Латвии.

Другой требуемый Вебером корректив парламентского господства: *народное избрание* рейхспрезидента и его авторитарное положение также был формулирован в плане и вошел в конституцию. Когда, несмотря на это, национальное собрание провело первые выборы, Вебер вновь настойчиво требовал в берлинской газете, чтобы вторые выборы были совершены народом: «Подобно тому как не только наиболее благородно, но и наиболее умно действовали те монархи, которые своевременно ограничивали свою власть в пользу парламентских институтов, и парламент должен добровольно признать Magna Charta<sup>156</sup> демократии: право непосредственного избрания правителя».

\* \* \*

Найдет ли Вебер себе применение и как *практический* политик? Очень многие ждали этого и одно время казалось, что так и будет. В середине ноября была основана, главным образом, по инициативе Альфреда Вебера, Немецкая демократическая партия. Мощный поток событий соединил большую часть прежнего «национал-либерального» бюргерства с «прогрессистами» в это требуемое временем новообразование. Эта организация стремилась состоять из представителей всех сословий как промежуточная инстанция между социал-демократическими и буржуазными партиями, как некогда национально-социалистическая партия Наумана. В нее

вступали многие представители духовно ведущих слоев, которые так же решительно, как социалистические рабочие, основывались на подлинной демократии, но в отличие от них отвергали экспериментирование с экономической системой и считали *национальную* идею выше интернациональной.

Вебер не подписал это воззвание. Он ведь еще недавно выступал за сохранение парламентской монархии и не мог внезапно превратиться в республиканца. Время, правда, требует теперь решения в пользу республиканского принципа. Энтузиазма это у него также не вызывает, как и революция. Но он не видит другого пути для спасения Германии и поэтому решает вступить в новую партию. В конце ноября, начале декабря и января он выступает по ее поручению с большими политическими речами в ряде южнотемских городов. Теперь он более решительно, чем раньше выступает против левых. Ибо нерешительность правых социалистов по отношению к коммунистам, возникающая из этого угроза диктатуры Спартака, кровавые путчи в Берлине и Мюнхене и прежде всего совершенно неправильные действия рабочих и солдатских советов Берлина представляются ему ужасным национальным бедствием. И затем: «эта нелепая ненависть к внутреннему предпринимательству, следствием которой в заново создаваемой экономике Германии будет господствовать только иностранный капитал».

Речи Вебера, полнота материала которых подчинена общей конструкции и одновременно пронизана пламенем страсти, производят всегда сильное впечатление, хотя он воздерживается от демагогической риторики и сохраняет справедливость по отношению к политическому противнику. Так он отдает должное как военной гениальности Людендорфа, так и идеализму Либкнехта и Розы Люксембург: «Диктатуре улицы пришел такой конец, какого я не желал. Либкнехт был без сомнения честным человеком. Он призвал улицу к борьбе — улица его убила. Честными были также рабочие и солдатские советы. Бюргеры не должны забывать, чем они обязаны их честной, добросовестной работе. Но их центральный орган в Берлине был политически ниже всякой критики и занимался самой неприемлемой дилетантской деятельностью. Он уничтожил военную дисциплину. Полная социализация в данное время невозможна. Наше положение не допускает исключения частного предпринимателя. Кредит предоставляется только умелому. Правительство, не предоставляющее равные права самостоятельному бюргерству и самостоятельному предпринимателю, никогда не получит кредита. Если хозяйственная разруха будет продолжаться, мы дождемся фактического чужого господства, и наши предприниматели будут тогда на своих собственных фабриках только служащими американцев. Если мир окажется таким,

как можно опасаться, — вина за это отчасти падает и на несвоевременную революцию, — тогда в Германии в течение нескольких лет возникнет такой шовинизм, какого мы никогда не знали. И если возникнет господство чужих, мы переживем невероятное пробуждение национального чувства». Вебер обладает прежней харизмой, кажется, что сила его молодости вернулась. Из Фюрта, где в конце его речи коммунисты двинулись на него с ножками стульев в руках, но остановились, обезоруженные его спокойствием, он получил от организаторов собрания письмо, в котором было сказано: «Никогда еще здесь человек науки, который понял, что теперь и наука должна служить политике и тем самым Германии, не характеризовал наше положение так открыто, так ясно и так бесстрашно, как Вы, осветив народу путь светом факела подобно Вам...»

Вечером после собрания в Фюрте Вебер вновь поднялся на трибуну в Гейдельберге. Он был очень бледен, но в полном обладании своих духовных сил. Когда он закончил свою речь, из рядов слушателей поднялся согбенный позором и разорванностью Германии старец и поблагодарил оратора за то, что он вернул ему веру в родину.

\* \* \*

Первого декабря Вебер выступил с речью для демократической партии во Франкфурте-на-Майне. Когда он кончил, присутствующие члены партии сразу же потребовали поставить его первым в списке гессен-нассауского выборного округа. Происходившее 19.12. закрытое собрание франкфуртского партийного союза также поставило его имя всеми, кроме двух, голосами вопреки требованию правления на первое место. Лозунгом партии было: «Все сильные и ведущие личности должны быть в Национальном собрании».

При сложившихся обстоятельствах Вебер был готов выставить свою кандидатуру. Сам он бы не стремился заниматься практической политикой, так как не был уверен, что его нервная система выдержит и он сможет проявить достаточное хладнокровие в своей деятельности, если будет взволнован. Он знает также, что включение его в группы, понимающие меньше его, будет ему трудно. Он ни в коем случае не «собирается добиваться» мандата посредством обычных усилий внутри партийных объединений. Это было бы неприемлемо. Но если его теперь без колебаний *выбирают* политическим вождем, то он сочтет это «призванием», которого в глубине души ждет.

Члены франкфуртской партии были горды своим необычным решением, газета хвалила их и объявила это образцом выбора

вождя. Таким образом франкфуртская кандидатура Вебера была установлена, и никакой другой выборный округ больше его не выдвигал. Все казалось совершенно ясно. Вебер не интересовался больше этим делом. Усердное занятие собой было слишком несвойственно его натуре. Вдруг — после Рождества, за несколько дней до срока сдачи листов выборов, в Гейдельберге совершенно случайно узнают, что вещларская конференция избирательного округа, проходившая за закрытыми дверями, изменила волю избирателей. Теперь на первом, месте стояла местная величина, а фамилия Вебера была отодвинута далеко назад. Возмущение было велико, особенно гейдельбергских товарищей, так как если бы Вебер не числился все время во франкфуртском списке, его можно было бы, вероятно, поместить в баденский список. Вебер 2.1.19 говорил в Гейдельберге о восстановлении Германии. Когда он поднялся на трибуну, его встретили бурными аплодисментами, которые он отклонил энергическим жестом. Он еще раз указал на все ошибки вильгельмовской эпохи вплоть до последнего времени: поток мыслей складывается в увлекательные, всем понятные картины. Он способен также поднять национальную гордость: «Война была неизбежна, ее надо было выдержать, так как этого требовала честь. И история будет когда-нибудь прославлять Германию за то, что она избавила мир от царизма». В конце собрания бурно требовало, чтобы баденское партийное руководство внесло его еще в последнюю минуту на первое место в баденский список. Делегация отправилась в Карлсруэ, но было уже поздно. Список был составлен и никто из кандидатов не был готов отказаться от своего назначения в пользу Вебера. Тогда гейдельбергерцы обратились к Веберу с просьбой согласиться на действия через голову партийного комитета. Это предложение он отверг, считая подобное нарушение дисциплины недопустимым. Вебер принял это гротескное событие очень спокойно, ведь ему был известен механизм партии, а также стремление получить мандат, он даже допускает, что профессиональные политики имеют на это право. Только когда однажды кандидат, занявший твердое место в списке, благожелательно сообщил ему, что попытается еще в последний момент внести его в имперский список, он раздражается. Его чувство чести задето. Он гневно запрещает заставлять его играть роль охотника за мандатами, рассчитывающего на чей-то патронат. Член партии полагал, что поступил правильно и пришел в полное смущение, получив морально пощечину. Во «Франкфуртской газете» Вебер публикует 5.1.19 следующее заявление: «Продолжающиеся высказывания по поводу невнесения меня в список кандидатов провинции Гессен-Нассау мне неприятны как нарушения дисциплины. Поскольку я не являюсь про-

фессиональным политиком, этот факт не имеет для меня значения, а в Национальном собрании найдется, надо надеяться, достаточно людей, способных не хуже любого другого разработать приемлемую конституцию. Что же касается Вашего замечания, что меня мог внести в список другой избирательный округ, то замечу, я принял выдвижение меня во Франкфурте *только* ввиду его строго *демократического* процесса и, конечно, пренебрег возможностью *делать какие-либо уступки* партийному начальству, власть которого — замечу попутно — в результате столь мнимо демократичной пропорциональной системы выборов, которая ведет к возможности торговаться, лишь растет». Тем самым отречение Вебера от деятельности политического вождя, от практической политической деятельности высокого уровня было окончательным. Вторично его государственная одаренность не получила применения в активной сфере, на этот раз не из-за внутренних причин, а вследствие подчиненности политических институтов, вследствие честолюбия рядовых деятелей. Нация не нашла ему применения в момент, когда все звали к вождям.

#### IV

Теперь Веберу надлежало выбрать из ряда других предложений. Несколько университетов готовы были предложить ему кафедру. Несмотря на все тяжелые душевные потрясения, он чувствовал себя по состоянию своей нервной системы стабильнее, чем полгода тому назад в Вене и не хотел теперь, когда из разрушенного мира должен был быть построен новый, ограничиться научной работой. Ему нужен был какой-либо способ непосредственного воздействия на людей, нужна была и новая почва, из которой он мог бы черпать силы. Предложение прусского ответственного референта и прежнего гейдельбергского коллеги Беккера было особенно великодушным. Он предложил Веберу в Бонне специально для него созданную профессиру по государственным и общественно-политическим наукам с двухчасовой занятостью в неделю и с очень высоким окладом. Эта работа была бы вполне соответствующей его силам и позволила бы продолжать исследовательскую работу. Но уже некоторое время шли переговоры Вебера с его мюнхенскими коллегами и друзьями, Л.Брентано и В.Лотцем: знаменитую кафедру Брентано надлежало занять вновь. С давних пор знакомый прекрасный город и тамошние близкие друзья привлекали его. Однако Вебер не хотел опять заниматься политической экономией и финансовой наукой, он уже перерос эти специальные дисциплины. Принять решение было трудно. Когда факультет и правительство дали согласие на то, что он возьмет преимуще-

шественно социологические лекции, чаша весов склонилась в сторону Мюнхена. Вебер хочет в летний семестр читать только одночасовую лекцию и вести семинар, полная преподавательская деятельность должна начаться зимой. Ибо пока не заключен мир, он не может быть полностью свободен от политики.

В январе Вебер опубликовал статью по вопросу о виновности в войне<sup>31\*</sup> и включил в свое исследование предложения о будущем военно-правовом статусе Лиге Наций. Он отклоняет в этой статье «признание» немецких пацифистов как недостойное поведение людей, которые не выносят облика действительности и поэтому строят ситуацию в мире, при которой поражение должно быть следствием вины. Между тем исход войны не суд Божий, успех ничего не доказывает ни за, ни против права, о чем свидетельствуют бесчисленные поля трупов в истории. Правда, ошибки делались, самой большой была проводимая Тирпицем политика во флоте — Англия *должна* была почувствовать угрозу вследствие усиления немецкого флота. Но решающую ответственность несет русский империализм, царизм как система, который хотел войны при всех обстоятельствах ради своих собственных интересов и по своим целям должен был ее хотеть.

Около этого времени вернувшийся к частной жизни принц Макс Баденский завязал отношения с Вебером. Они хорошо понимали друг друга и чувствовали большую взаимную симпатию. Какое значение могла бы иметь их совместная работа на ответственном месте в другое время! То, что они теперь способны сделать в качестве частных лиц, уносит ураган. Все должно быть направлено на то, чтобы отвоевать у Антанты приемлемый мир. Принц Макс и его штаб имеют определенные связи с английскими и американскими политиками: с полковником Хаузом, Тревиляном, Морелем и другими. С их помощью будет сделана попытка устранить догмат вины и убедить Англию вести деловые переговоры. Однако они знают и получают оттуда подтверждение: ничего нельзя сделать, пока немецкий народ не соберется с силами, и единое правительство не натянет узду. Прежде всего необходимо восстановление армии.

«Сегодня у меня опять был англичанин. Я сказал ему по существу следующее: Мы можем, вести беседу как джентльмены или как «old maids»<sup>157</sup>. В последнем случае речь пойдет о «вине» и тому подобном, предмет ее будет для обеих сторон недостойным. В другом случае надо сказать: «We last the match, your sake is, what is to be done to face the responsibility in history?»<sup>158</sup> И исходя из этой, единственно достойной Англии и Германии постановки вопроса, я должен признаться, что не понимаю государственных деятелей Англии. Без полного изменения *Ваших* убеждений все безнадеж-

но, можно забыть о нарушении наших интересов, но не об оскорблении нашей *чести*. С «попами» я бы не сел за стол переговоров. В остальном я ему сказал: пока немецкое правительство не владеет *единолично* всеми *вооружениями*, я не считаю его способным вести переговоры. *Это* условие союзников я бы *в его сущности* понял; что же касается всех других, которые нам предъявляются (ограничение вермахта и т. д.), то это является затрагивающим нашу честь вмешательством в наши внутренние дела — и поскольку эти условия совершенно бесполезны и не вызваны никаким деловым интересом — в высшей степени неразумным.

По инициативе принца Макса в начале февраля в веберовском доме было основано «Гейдельбергское объединение правовой политики». В первой конференции принимали участие профессора Л. Брентано, А. Вебер, А. Мендельсон-Бартольди, Р. Тома, затем генерал *a. D.*, граф Макс Монтгелас<sup>159</sup>, капитан Колин Росс, генерал фон Хольцинг — все известные патриоты, которые в течение всей войны выступали против политики аннексий и ратовали за компромиссный мир. Граф Монтгелас, выступивший в свое время против вступления в Бельгию, был уволен в отставку. Эти люди приняли решение продолжать систематическую борьбу с провозглашаемой за границей догмой вины, защиту от обвинений врагов в «ужасах кампаний» и обсуждали различные возможности восстания вермахта. Колин Росс считал вначале возможным только создание наемного войска, фон Хольцинг надеялся на введение в скором времени системы милиции по швейцарскому образцу. Объединение требовало прежде всего создания международной нейтральной комиссии для исследования причин войны и одновременно обращалось к народу с просьбой помочь правительству в создании основы для нового вермахта. Английский ответ на предложение немецкого правительства был отказом и гласил: «because it is long since established that the German government is responsible for the outbreak of the war»<sup>160</sup>. Тогда Вебер по указанию принца Макса в свою очередь потребовал от министерства иностранных дел, чтобы оно открыло немецкие архивы и провело допрос участников перед инстанцией, состав которой предоставил бы каждому непредвзятому суждению, особенно будущим поколениям, гарантию на выявление истины.

Министерство иностранных дел, которое хотело провести такого рода оригинальную проверку, поручило выдать архивные документы сначала К. Каутскому, затем графу Монтгеласу и профессору В. Шюккинг. Когда был образован парламентский исследовательский комитет для личного допроса обвиняемых Антантой государственных деятелей и военачальников, Вебер осудил как грубую ошибку, что треть комиссии, перед которой



должны были отчитываться в своих действиях такие люди, как Гинденбург, Людендорф, Бетман-Гольвег и другие, состояла из политиков еврейской национальности.

Вебер презирал антисемитизм. Но у него вызывал сожаление тот факт, что в то время среди революционных вождей было так много евреев. Когда же его спрашивали, не становится ли и он антисемитом, он отрицал это: из исторической ситуации евреев понятно, говорил он, что именно из их среды вышли эти революционные натуры. Однако при существующих взглядах политически неразумно предоставлять им роль вождей и допускать их в качестве таковых. Вебер мыслил как реальный политик и видел опасность данного факта в том, что тем самым значительные политические дарования дискредитировались бы в общественном мнении. И в этих вопросах еврейской проблематики он находился во взаимопонимании со своими еврейскими друзьями, с которыми он всегда общался по-человечески откровенно и без каких-либо задних мыслей.

\* \* \*

По инициативе принца Макса Вебер был привлечен к конференции «Комитета мирных переговоров» под председательством графа Бернсторфа и получил предложение участвовать в составе делегации в Версаль. Мысль быть одним из многих, которые всячески добивались от правительства участия в этом волнующем событии, была Веберу очень мучительна. Поездка в Версаль должна была бы относиться к числу самых тяжелых переживаний для каждого патриота Германии — как же могло быть возможным, что деятели новой республиканской эры стремились принять участие в *этой* государственной акции, видя в ней сенсацию, с такой же страстью, как раньше монархисты стремились к придворным церемониям! Правда, отказаться от возможности помочь Вебер не хотел. Пребывая в этих двойственных ощущениях, он обратился к графу Бернсторфу со следующими словами: «При общей тщеславной и постоянно проявляющейся склонности участвовать во всем, чем нас одарила наша так называемая революция, представляется правильным в каждом случае задать вопрос: существует ли для этого действительно какая-либо необходимая причина. Об этом можно было бы судить, если бы от меня требовались — все равно какие — конкретные *действия* политического или делового характера, по поводу которых можно было бы предположить, что другие совершат их так же хорошо или лучше, чем я...» Наконец его нерешительность была преодолена — быть может, все же представится всегда желанная возможность помочь. В Берлине снача-

ла подтвердилось то, чего он боялся: бесполезность совещаний с людьми, которые не несут никакой ответственности.

«...Здесь было вчера первое заседание. Отвратительно бессмысленное, ничтожное занятие: длинные «рефераты» о состоянии проблем, в которых большей частью было мало нового, почти *никаких* дебатов. По двум пунктам я выступил, но все осталось «академичным», никакой гарантии, что не сотрясаешь воздух. В *таком* виде это совершенно бесполезно, и я считаю мое присутствие *совершенно* излишним, что я достаточно резко и сказал. В среду состоится второе — последнее! — заседание с оставшимися рефератами. Никто не мог мне объяснить, *для чего* мы, собственно здесь. Поэтому я иду завтра к графу Бернstorфу, он председатель конференции, задаю ему этот вопрос, остаюсь здесь до среды, а затем выхожу из комитета и *не* еду в Париж, если мне не будут даны совершенно определенные ответы. Это чистая роль статиста» (30.3.19).

«Сегодня я говорил с графом Бернstorфом, председателем нашего комитета. *Цель* этих заседаний — представить заключение об условиях мира: «принять или отклонить»? — как только они станут известны. Для этого предусмотрены 2–3 недели в Версале. В *этом* я могу участвовать, но этого мне достаточно и затем я возвращаюсь; принимать участие в «окончательных переговорах» я также не буду. Там мне не место...»

Под натиском политических друзей Вебер все же решил сопровождать мирной делегации, направлявшейся в Версаль. Путь вел опять через Берлин. Тем временем стало известно, что Антанта *действительно* ставит условием мира выдачу полководцев, государственных деятелей и императора. Вебер был вне себя. Он видит в этом дьявольское намерение уничтожить честь великой нации. В эти дни он как-то сказал о своей тоске по синему южному морю, в которое можно входить все дальше и дальше — навсегда. «Но это я не могу сделать из-за Марианны».

Неужели же нет способа избежать этого величайшего позора? Он знает, что бы *он* сделал в положении ответственного вождя: добровольно перешел бы Рейн, отдался бы в руки американских властей и потребовал бы права выступить перед международным судом. Подобный акт суверенного этического самоутверждения освободил бы, может быть, нацию от неслыханного требования, произвел бы моральное впечатление на иностранные государства и к тому же восстановил бы внутри страны уважение к тем, кто не несет ответственность за исход войны.

Когда сразу после поражения стали раздаваться обвинения Людендорфа, Вебер собирался написать статью в его оправдание. Как уже было сказано, он отдал ему должное и в своей политиче-

ской речи начала января в Гейдельберге. Этос великого полководца следует оценивать по соответствующим ему масштабам: генерал должен верить в свою звезду, он должен *осмеливаться*. Если он проигрывает, нельзя выносить вердикт только исходя из успеха. Достоинство героического величия не следует порицать необдуманно. Правда, когда затем стали известны факты, которые показали всю ответственность полководца за политику по отношению к полякам и туркам, Вебер был возмущен: подобные злоупотребления уничтожают этическую ценность военачальника. Его закон — ограничение. Генерал должен подчиняться несущему ответственность государственному деятелю. Ему не следует заниматься политикой, в которой он ничего не понимает, не говоря уже о том, чтобы в опасное время использовать свою военную необходимость для вымогательства в области политики. Вебер отказывается теперь от предполагаемого оправдания Людендорфа. Однако тем не менее он верит в его личностные достоинство и величие. Он просто *хочет* верить. Теперь сложилась ситуация, в которой генерал может подтвердить эту веру. Позорное требование Антанты, которое ставит перед Германией новые неразрешимые трудности, он может опередить, выдав себя, тем самым предъявить свой чистый сияющий щит, спасти честь нации и создать для врага большие трудности. И прежде всего такой героический рыцарский акт поднимет веру нации в себя и вместе с тем ее моральный облик за границей.

В этом смысле Вебер написал незадолго до своего отъезда в Версаль Людендорфу. Он сообщил об этом в нескольких кратких словах своей сестре: «Я уезжаю в Версаль — по настойчивому требованию. Для чего? не знаю, не жду от этого ничего ни для себя, ни для дела. Но следую требованию. До отъезда я дал Людендорфу в письме совет. Он, Тирпиц, Капелле, Бетман и др. должны — ввиду требования врагов их выдачи — *знать*, что им надлежит *немедленно* делать. Только в том случае, если они добровольно «подставят голову» врагам, офицерский корпус сможет с честью возродиться. Посмотрим, как они поступят».

Краткий отвергающий ответ генерала еще не был получен Вебером, когда он возвращался из Версаля через Берлин. Поэтому ему хотелось встретиться с Людендорфом с глазу на глаз и устно изложить ему свою точку зрения. При посредничестве нескольких депутатов немецко-национального союза состоялся многочасовой разговор. Сердца обоих бились одинаково в героическом патриотизме, но взаимопонимание было трудным. Вебер указывал Людендорфу на совершенные военным командованием сшибки, Людендорф считал его ответственным за грехи революции и нового режима. В конце концов они пришли к согласию в страстном

желании восстановить величие Германии, — правда, о средствах к этому они мыслили по-разному. Вебер долго помнил об этом разговоре, он часто рассказывал о нем, воспроизводя все жесты и ударения. И когда он был один в своем кабинете, глубокое политическое возбуждение этих недель иногда находило себе выражение в громких диалогах. Он приводил аргументы своим противникам и выслушивал их ответы. Кое-что из рассказанного Вебером о разговоре с военачальником было впоследствии записано друзьями. Людендорф, которому были известны предложения Вебера из его писем:

Почему Вы приходите ко мне с этим? Как Вы можете предлагать мне подобное?

Вебер: Честь нации может быть спасена, только если Вы добровольно сдадитесь.

Л.: Наплевать мне на нацию! *Эта* неблагодарность!

В.: И все-таки эту последнюю услугу Вы еще должны нам оказать.

Л.: Я надеюсь, что мне еще удастся оказать нации более важные услуги.

В.: Тогда Ваши замечания не следует принимать слишком серьезно. Впрочем, речь идет не только о немецком народе, но и о чести *офицерского корпуса* и армии.

Л.: Почему Вы не обращаетесь к Гинденбургу? Ведь *он* был генерал-фельдмаршалом?

В.: Гинденбургу 70 лет — к тому же каждому ребенку известно, что *Вы* были тогда в Германии первым номером.

Л.: Благодарение Богу!

Разговор принял вскоре политический характер, речь шла о причинах поражения и о вмешательстве верховного командования в политику. Загнанный в угол Людендорф изменил тему: Вот Вам Ваша прославленная демократия! В этом виноваты Вы и «Франкфуртская газета»! *Что* же стало теперь лучше?

В.: Неужели Вы думаете, что я считаю это свинство, которое мы теперь получили, *демократией*?

Л.: Если Вы так полагаете, мы можем, пожалуй, прийти к взаимопониманию.

В.: Но и прежнее свинство также не было монархией.

Л.: Что же Вы тогда понимаете под демократией?

В.: В демократическом государстве народ избирает вождя, которому он доверяет. Затем избранный говорит: «Теперь молчите и повинуйтесь». Народ и партии больше не должны вмешиваться.

Л.: Такая «демократия» может мне понравиться!

В.: Затем народ вершит суд — если вождь совершил ошибки — на виселицу его!..

Беседа велась сначала очень взволнованно, затем спокойно и дружелюбно, хотя они по существу не понимали друг друга. Но Вебер был глубоко разочарован. Не столько потому, что генерал отклонил его желание — он, конечно, не боялся смерти — а по другим чисто человеческим соображениям. Резюме Вебера было: «Пожалуй, для Германии лучше, чтобы он не сдавался. Впечатление от его личности может быть неблагоприятным. Враги *вновь* придут к заключению: «Жертвы войны, которая лишит влияния этого типа, были не напрасны»! Теперь я понимаю, что мир протестует, когда такие люди, как он, ставят ему сапог на затылок. Если он опять будет вмешиваться в политику, с ним надо беспощадно бороться».

\* \* \*

Делегация, направленная для мирных переговоров, во главе с Брокдорф-Ранцау, имперским министром иностранных дел, состояла из 80 человек, среди которых были значительные политики, заинтересованные в политике ученые, организаторы хозяйства, такие как Ратенау, Варбург, Г. Дельбрюк, граф М. Монтгелас, проф. А. Мендельсон-Бартольди — цвет немецкой интеллигенции сфер деятельности и мышления. Эти люди были *quasi*<sup>161</sup> взяты под арест, предоставленные им отели на окраине версальского парка были отгорожены от внешнего мира палисадниками. Надежда на переговоры с «высшим советом» не оправдалась. При передаче документов на заключение мира им было сказано, что допускаются только краткие письменные переговоры. Ужас мирного договора превзошел самые худшие ожидания. Из обвинения в войне было выведено право принудить разоруженную нацию к невыполнимым условиям как к средству дальнейшего ее уничтожения. К тому же представители Германии должны были подписать внесенное в договор признание своей вины. Взрыв возмущения объединил немецкий народ. Правительство и все партии, включая крайнюю левую, объявили условия неприемлемыми. Зарождалась идея общей народной войны. Оставалась еще надежда заставить врага смягчить условия этим общим давлением.

Немецкая делегация передавала ноту за нотой и предоставила противоположное предложение. «Высший совет» опирался в своих требованиях на доклад комиссии об «ответственности виновника войны». В ознакомлении с этим докладом было отказано, но существенные его части проникли во французскую прессу. Ответ был поручен проф. Г. Дельбрюку, графу Максу Монтгеласу, проф. А. Мендельсону-Бартольди и Максу Веберу. Вебер пишет «Через две ночи и день я в пятницу рано утром прибыл сюда. В машине я

ехал через Париж, вдоль бульваров, через Триумфальную арку, Булонский лес, Сен-Клу в это обнесенное решеткой обиталище. В парке предоставлено место для прогулок, но комнаты неудобны, нет пригодных помещений, особенно, чтобы писать. Завтра приезжает Г. Дельбрюк, послезавтра граф Монтгелас, тогда будет отредактирована нота о «вине», ради которой меня прислали. До того я сделал ряд замечаний к *восточной* ноте, надеюсь с успехом. Во всяком случае в ноте о *вине* я не буду участвовать, если в ней предлагаются и будут допущены недостойные замечания. Позавчера я обедал у Брокдорфа вместе с Симонсом. Брокдорф производит хорошее впечатление, я с волнением жду подтверждения, достаточно ли он *тверд*. *Разделение* работы здесь очень велико, а умение редактировать очень слабо. Настроение *довольно* мрачное. *Экономические* условия ужасны и рафинированы, что чем больше их рассматриваешь, тем больше, даже если принять половину их, перед глазами — только мрачная дыра без всякого, даже далекого просвета. *Чего* можно достигнуть, очень неопределенно. Правительство и делегация готовы к *отказу*, если в территориальных и решающих хозяйственных вопросах ничего не будет достигнуто». (Середина мая из Версаля).

Меморандум «проверки вопроса о вине» передан 28.5. Документ, содержащий 150 страниц, официально опубликован как немецкая Белая книга (об ответственности виновников войны). В очень объективно изложенных данных делается попытка пункт за пунктом отклонить утверждения противной стороны — ничего не скрыто. Поведение Австрии предстает в неблагоприятном свете: ее краткосрочный ультиматум Сербии, ее отклонение попытки посредничества Англии, ее отказ от всякого обмена мнениями с Петербургом определены как серьезные ошибки. Но главная ответственность падает на империалистическую политику России, целью которой являются панславизм, развал Австро-Венгрии, распространение своего влияния на Балканах, завоевание турецких проливов. «Только как в оборонительную войну против царизма вступил немецкий народ единодушно и решительно в борьбу 1914 года». Пояснения и доказательства ничего не изменили во вражеской позиции. В ответе Высшего совета война вновь определяется с театральным пафосом как «величайшее преступление перед человечностью», «которое когда-либо сознательно совершала считающая себя цивилизованной нация». Немецкие предложения отклоняются. Противники требуют возмещения ущерба до самой крайней границы работоспособности, расформирование армии, выдачу виновных, исключение Германии из Лиги Наций и т. д. Тем не менее некоторые уступки достигнуты. Прежде всего сохраняется надежда на будущую ревизию договора. До под-

писания остается мало времени. Что произойдет? На западной границе стоит вражеское войско, жаждущее победного шествия по Германии. Как Вебер пишет: «О, в Версале было отвратительно. Меня *ни о чем* не спрашивали, то есть *компетентно* не спрашивали, а под конец от меня все-таки потребовали: «Теперь напишите введение к этому наброску». Я это сделал так, чтобы они его не приняли. Да и как это возможно, если неизвестно, как эти частично немыслимые требования возникли (100 миллиардов! Расформирование армии!) и на это отводится срок в 3 часа?? И как мне ответить графу Брокдорфу на его вопрос: «как поступить?» если он *не может* мне сказать, что подготовил *кабинет* в случае *отказа*? Будет ли он тверд?»

Минуту казалось, что все едины в героизме. Но когда враг продолжал настаивать на полном принятии всех требований, среди немцев образовался водораздел. Правые партии *и* демократы голосовали за безусловный отказ — не только из героизма, но в предвидении того, что невыполнимость договора даст Франции повод к дальнейшим репрессалиям. Но кроме «независимых» принять условия готовы были также Эрцбергер и часть его партии. Они потянули за собой правых социалистов, которые опасались, что в противном случае возникнет большевистский хаос. «Чтобы спасти то, что еще можно спасти» центр и социал-демократы решили подписать условия мира. Правильно ли они поступили, покажет история. Вебер относился к тем, кто отказывался принять условия договора.

Его мнение было: народу и правительству не следует препятствовать вхождению врагов на территорию Германии, они должны передать им управление Империей. Вероятно, тогда бы они быстро убедились, что это не много дает и стали бы доступны для новых переговоров. Однако он отдавал должное и другой точке зрения. «...Признаюсь, что политически я совершенно растерян. Лично я был бы при любой опасности за *отказ*. Но допускаю, что тогда совершится народное голосование, оно *примет* мир, а это я считаю наихудшим, потому что оно сильно *свяжет* нас внутренне. Все это может в самом деле сделать человека больным от ярости и отчаяния».

«И вот, следовательно, это свершилось. О, это ужасно! Ибо теперь-то и начнется мученье, так как условия *не* могут быть выполнены, длинный ряд унижений и мучений — в этом французы мастера. В тысячу раз предпочтительнее эффективное брутальное чужое господство, совершенно открытое и для нас ясная *цель*! Но, правда, при *этой* подлости НСДП<sup>162</sup> все было поставлено на карту, и я понимаю инакомыслящих. Подождем, увидим, что произойдет на востоке. Теперь только заметно физически и мо-

рально, что значили эти последние месяцы и *как* мы втайне все-таки надеялись на «чудо» — или на спасение чести, как этого достигли смелые моряки в Scapa Flow<sup>163</sup>. Если бы Людендорф в свое время принял правильное решение, которому последовали бы другие! Он мог *избавить* нас от этого последнего позора, «обязанности выдачи», или опередить ее. Теперь для этого слишком поздно. Какое значение имело бы заявление о готовности предстать перед «беспристрастным» трибуналом. Это было бы бесполезно» (Мюнхен, 26.6.19). «...Боюсь, что с этим миром мы находимся только в *начале* наших бедствий. Ведь его условия совершенно невыполнимы, и французы теперь только *начнут* нас мучить, интриговать, откалывать Рейнскую область и т. д. Боюсь, нас ждет «бесконечный ужас», и мы все-таки получим частичную оккупацию и раздробление Империи. Но ведь это необязательно *должно* случиться, будем надеяться на лучшее. У меня создается впечатление, что неподписание мирного договора вскоре привело бы к отпадению Баварии, революции «независимых» и клерикалов. Эту причину не принимать договор я понимаю. В остальном я еще и теперь ясно не обзираю положение. Делегация по мирным переговорам и все понимающие суть дела были единогласно *против* подписания договора, несомненно исходя из впечатлений, полученных из парижских и других источников. Но теперь это свершилось и необходимо вести позитивную политику. При этом, конечно, совершенно неверно исключать себя из действий (как это сделала демократическая фракция), впрочем, это несомненно продлится недолго. Единственная светлая точка — Scapa Flow и надо надеяться, что Людендорф и другие еще теперь, — правда, слишком поздно! — найдут способ выдачи в достойной форме. Император — он-то в безопасности: благодаря своей династии» (28.6.19).

«...Ты говоришь, что я ничего не пишу об этом мире? Ах, я был настолько усталым и «равнодушным», что *понимал* изнеможение народа. «Отказ» должен был быть, конечно, не отказом, а распадом правительств и передачей суверенитета Лиге Наций — такие или подобные действия сделали бы военные меры невозможными. *Это*, по крайней мере, было возможно. Впрочем, когда я пытаюсь осмыслить настроение здесь, в Баварии, то я, конечно, задаю себе вопрос, был ли шанс для чего-то хорошего — для пробуждения внутреннего национального противостояния... Кажется, я становлюсь совершенно аполитичным, пока во всяком случае».

«Ужасно, что император *никогда* не находит правильного решения. И письмо Гинденбурга также *опоздало* на два месяца. Все эти люди должны были *немедленно*, как только потребовалась вы-



дача, выступить и предстать перед победителями. Однако это не соответствует их пониманию!» (9.7.19).

Высказывания Вебера о мирном договоре написаны уже в долине Изара. После возвращения из Версаля ему нужен был некоторое время полный покой, чтобы справиться с душевным и нервным изнеможением. Его лекции начинаются только в июне, ибо для участников войны добавлен весенний семестр. Переезд хозяйства также предстоит только осенью. Вебер возвращается в Вольфратсгаузен и живет некоторое время почти как в путешествиях: «У меня позади 3 полных дня безделья — то есть после того как я в пятницу спал почти весь день и затем 2 ночи, просто спал, и в субботу был еще совсем тупым, я вчера и сегодня часами ходил, может быть несколько чрезмерно. Так как наступает совершенно бессмысленная усталость, она останавливает всякое мышление и всякую деятельность, и только чудесная погода и небесно легкий воздух этого плоскогорья заставляет все-таки выйти, и тогда ходишь по лесу вдоль Изара или по плоскогорью и привыкаешь к длительным переходам. Интересно, каким будет состояние головы, когда дело дойдет до «работы». Только что отправил извещение о лекциях, во вторник начинаю: «Общие категории социологии»; каждые 14 дней, полагаю, у меня будут семинарские занятия со зрелыми людьми старшего возраста — это меньше утомляет, чем занятия с неподготовленными молодыми людьми. Должен сказать, мне интересно, каково будет мое физическое состояние!»

В Мюнхене атмосфера все еще была полна напряжения последних кровавых беспорядков. Там ведь умеренным социалистам не удалось, как в Берлине, ввести революцию в колею права и порядка. Деятельность иногородних коммунистов была здесь интенсивнее, чем в других местах, уже Эйсер хотел заменить «парламентское болото» Советами. Его убийство радикализировало и умеренных. Три социалистические партии объединились и провозгласили в конце февраля Советскую республику. Пролетариат был вооружен. Избранный народом парламент покорно перешел к социалистическим экспериментам. Молодому австрийскому специалисту по политической экономии О.Нейрату было поручено разработать проблему «полной социализации» Баварии, чтобы остановить все нарастающее коммунистическое движение. Однако это не удалось. В апреле большевики захватили власть. Вторично была провозглашена Советская республика, на этот раз с помощью Красной армии. Возглавлял республику сначала душевно больной политический авантюрист, затем студент Эрнст Толлер и богемец Эрих Мюзам и наконец радикальные большевики Левин, Левинé-Ниссен, Аксельрод — последние — в большинстве чужие по роду и земле. Имперским войскам пришлось

двинуться на Мюнхен. Толлер был командующим подразделения Красной армии. Почти все указы Советской Республики подписывались им. Теперь действительно восторжествовал кровавый карнавал. Мюнхен был в течение нескольких дней запуган диктатурой Красной армии. Совершалось убийство заложников. Наконец в первые дни мая после тяжелых уличных боев правительственные войска одержали победу. Озлобление населения к революционерам и их чужеземным еврейским предводителям было велико и породило рост ненависти к иностранцам, антисемитизм и пангерманский национализм. Маятник качнулся в другую сторону. Бавария хотела быть «цитаделью порядка» Германской империи и стремилась к восстановлению монархии. Если бы это удалось здесь, то пришел бы час контрреволюции для всей Империи. Или представилась бы возможность отделить Баварию от Империи и наконец сбросить северо-германскую гегемонию. Бело-синие и черно-бело-красные союзы и стремления вербовали последователей. Они то действовали друг против друга, то объединялись с целью повернуть колесо истории.

В университетских кругах ярость, вызванная попытками социализации в период советов и временно возникшая угроза свободе преподавания также оставили глубокие следы. Господствовала воля к реставрации, студенты были политизированы, учителя и ученики разделены на враждебные лагеря. Процессы по обвинению в государственной измене следовали друг за другом. Веберу опять представлялась возможность помогать преследуемым. Он выступает в качестве свидетеля политического благонаравия комиссара социализации О. Нейрата и прежде всего Э. Толлера, идеалистические убеждения которого были для него столь же бесспорны, как и его политическая незрелость. К гротескным чертам баварской революции относилось то, что молодые люди, подобные ему, действительно некоторое время правили и вели за собой массы. Вебер характеризует его на допросе как «сторонника этики убеждения», совершенно чуждого политической реальности, который бессознательно поддался истерическим инстинктам масс: «Господь в гневе своем сделал его политиком». Вебер пишет в эти недели: «Город выглядит еще по-военному, углубляют траншеи, укрепляют проволочные заграждения и т. д., вероятно, потому, что правительство хочет опять переселиться сюда. Все время идут аресты, в Ансбахе у Штарнбергского озера вчера нашли целое большевистское гнездо с корреспонденцией и русскими деньгами. Я еще слишком устал и равнодушен, чтобы полностью быть «выше» этих вещей. Но все войдет в норму и будет лучше, чем мы ожидаем. Только *теперь* все выглядит ужасно... Это письмо немного усталое из-за ужасного полити-

ческого положения и наступившего изнеможения. Но в общем я чувствую себя вполне прилично».

\* \* \*

В конце июня Вебер переселяется в Мюнхен. Его жизнь приятна и в университете Л. Брентано у него очень хороший кабинет. Когда он прочел свое имя на двери кабинета, он ощутил радость — кто бы мог подумать, что он все-таки получит в этом городе знаменитую кафедру! Свою первую лекцию он посвящает анализу политического положения. Здесь в аудитории это будет первым и последним словом о политике, ибо ей место не на кафедре и в науке, а там, где веет свободный ветер критики. Его слова проникнуты трагедией Германии: мы находимся полностью под чужим господством. Мы превращены, подобно евреям в народ-парию, правительство Германии вынуждено служить чужим интересам и мстить собственным соотечественникам. У нас может быть только одна общая цель: превратить мирный договор в клочок бумаги. В данный момент это невозможно, однако право на восстание против чужого господства не может быть устранено из мира. Теперь необходимы способность молчать и прежняя привычка к простой повседневной работе... Вскоре ученики стали толпами приходить на его консультации, он дает им советы и распределяет работы. Они взирают на него с робким почтением, находят его «величественным», «похожим на льва», вызывающим страх, когда начинающиеся у носа линии лба превращаются в глубокие морщины и глаза блестят. Но взор становится очень добрым и спокойным, когда они обращаются к нему за советом. Некоторые молодые люди, которые в качестве участников семинара ближе соприкасаются с ним, видят в нем больше, чем своего учителя — хотя он не хочет быть ничем иным. Они втайне почитают его, как индийцы своих «гуру», тех учителей мудрости, от которых ждут одновременно помощи в беде, совета, руководства в спасении души. Но они чувствуют, что только посредством полной отдачи делу можно найти доступ к нему, только там, где он ощущает усердие в деле, они могут возбудить его интерес. Один из самых зрелых и благородных учеников Вебера, Йорг фон Кафер, который обладает проникательным критическим умом и хочет лишь, любя, понимать Вебера, выразил впечатление молодых людей в следующих словах: «Он был полностью деловит. Весь героизм деловитости, который ведь и есть героизм нашей эпохи, становился в нем живым. И поэтому его деловитость была таким неисчерпаемым переживанием. Поэтому его пояснения существа дела, его лекции были подобны художественному произведению, не по форме, а по своему суще-

ству... Существенным становилось не то, что он говорил о предмете, сам предмет как будто предстал перед нами в своей неисчерпаемости, и он был его интерпретатором. Деловитость была и основой его личностных отношений к нам. Именно поэтому они и были для нас столь бесконечно ценными. Подобно тому как ни одна область исследования не была для него лишена интереса, он встречал с интересом каждую нашу мысль. А интерес никогда не был у него чем-то половинчатым. Всю серьезность, господствовавшую в его работах, он привносил и в наши. Он проверял и отвергал — не с легкостью, ибо он относился к нам с пониманием. Он отвергал беспощадно; но там, где он находил что-то, казавшееся ему ценным, он не жалел усилий, чтобы привести ученика к развитию, и ему ничто не казалось слишком незначительным для этого. Такое зерно он мог выращивать с бесконечной добротой и любовью. Все тепло его личности согревало того, в ком он, как ему казалось, нашел мысль или ценный порыв. Это оживляло, давало силу и внушало надежду. Таким образом работа под его руководством была не только обогащением, но и ростом сил и радости». Внутреннее благородство не позволяло молодому человеку стремиться к тому, чтобы любимый учитель обратил на него внимание. Результат подобного самоотречения звучит из следующих слов: «Быть может, в таких внеличных отношениях состоит единственная возможность получить свою долю в способности отдачи человека и наслаждаться его дарами, когда мы выходим из круга кровной общности». Быть может, закон этой силы в том, что она не может быть непосредственно направлена на тех, кого она в конечном счете оживляет. Тот, кто может нам предоставить только свою добрую волю и готовность нас любить, никогда не служит нам помощью и часто становится бременем. Те же, кто больше всего дарили людям, и любовь которых представляется нам неизмеримой, служили чуждому, Богу, вещи. Во имя его они могли требовать от людей самого трудного для них: «Возьми свой крест и следуй за мной». Они не утешают, они дают силу».

\* \* \*

Кажется, что в среде своих учеников Вебер обрел вторую молодость; профессиональная жизнь замыкается в круг. Но он еще очень изможден, преподавание утомляет его. К тому же он должен продвигать свои исследовательские работы. И наконец давно уже распроданная «Протестантская этика» должна быть вновь опубликована вместе с другими религиозно-социологическими работами. Все это еще требует доработки. В печати также два выступления — «Наука как профессия» и «Политика как профессия»,

последняя работа разрослась в большую статью. Духовная дистанция между ним и большинством его учеников очень велика. Кажется едва ли целесообразным, что он тратит свое время и силы на них, а не на свои труды; с другой стороны он считает, что необходимость постоянно устно формулировать свое учение о социологических категориях придает ему большую четкость. Так его настроение колеблется в зависимости от его работоспособности и хорошо, что близкие друзья поддерживают и отвлекают его. К новым знакомым, оказывающим на него благотворное влияние, относится и молодой коллега Карл Ротенбюхер, преподаватель общественно-политических наук, с которым его близко связывает общность политических убеждений.

«Я основательно устал, это я заметил и на вчерашней первой лекции. *Слишком* много народу, многие стояли — но на *этом раз* они вскоре устанут; я говорю совершенно абстрактно, чисто понятийно — намеренно. Множество заявок на семинарские занятия, к которым я приступаю очень медленно. На зиму я объявил два часа экономической истории, два часа — «Государства, классы, сословия» и «Введение к научной работе». Последнюю — в виде свободных консультаций или один час каждые 14 дней. Надеюсь, что все получится: Поразительно, что *физическая* нагрузка *этого* рода так меня утомляет».

«Следовательно, прошла и вторая лекция. Опять так невероятно переполнено, что приходится *кричать*. Это самое трудное и в самом деле отчаянно утомляет меня, по ощущению *больше*, чем сначала в Вене (вероятно, потому, что вся демагогия и Версаль «вымотали» меня, ибо я чувствую это). И к тому же здешний *климат* в самом деле не благоприятен для меня: не хватает освобождения от напряжения под действием бодрящего свежего воздуха, а при такой деятельности именно это и нужно. Помимо лекций я почти *ничего* не успеваю, ежедневно 1—2 часа — и больше я ни на что не способен».

«Работа» продвигается очень умеренно: 1—2 часа в день. Я поразительно разбит, голова в плохом состоянии. Однако все установится, и медленная привычка, вероятно, единственный путь к восстановлению сил. Теперь я взялся за подготовку «Протестантской этики» к печати. Затем займусь «Хозяйственной этикой». Потом «Социологией», введение к которой повторяет лекцию. Надо подождать, как пойдет дело! Я теперь, собственно говоря, человек *пера*, а не кафедры. Но что должно быть, быть должно. *Радость* я при этом не испытываю — как было впервые в Вене. Ничего не поделаешь, как-нибудь справимся. Обеспечен я всем блестяще. Думаю даже, что *можно было бы* привыкнуть к здешней жизни. Все так весело: город и люди — только климат *отвертите-*

лен. Это приходится признать. Уже 3 1/2 недели дождь и конца ему не видно! «Медленно работаю над подготовкой к изданию «Протестантской этики» и других статей, с этим я справлюсь; думаю, что и зимой смогу работать после хорошего отдыха и преодоления депрессии, которая на меня давит. Если сможешь, привези мне черную папку, в которой находится социология *музыки*. Я прочту это в семинаре, когда *ты* будешь здесь, и ты сможешь, если захочешь, послушать, да? В общем мы будем весело проводить время вместе, слушать музыку (Моцарт, вагнеровские фестивали), правда? Будем надеяться, что *отвратительная* погода изменится — климат здесь действительно мерзкий и все время так *холодно*. В остальном чувствую себя прилично. — Следствие абсолютной *лени*, ответственность за которую несут перед небом советы твои и Эльзы. Здесь все спокойно, остается спокойным, но что будет зимой? При *такой* безработице и *таком* недостатке угля? Мне несколько страшно. Твои милые письма звучат всегда, несмотря на всю «суету» в целом весело, надеюсь, что ты чувствуешь себя действительно прилично».

«Вчера я собрался пойти в “Английский сад” после того как в четверг был довольно прилежен, но позвонила Эльза Яффé из Иршенхаузена, сообщила, что Брентано известил о своем приезде и спросила, не хочу ли я помочь развлечь его. Это я сделал с удовольствием, и так как, наконец, — наконец! — наступила прекрасная погода, то я остался, опоздал на поезд и был устроен здесь среди членов семьи. Сегодня рано утром — ты же знаешь этот домик — на балконе уже в 6 утра было палящее солнце, и я гулял в море света и солнца, пока все жители домика еще крепко спали. Сегодня днем — опять в город после этой “эскапады”. *Лес* рано утром так прекрасен, тих и как бы в ожидании. Из всего сказанного ты видишь, что я опять чувствую себя вполне прилично, впрочем, и то, что это достигнуто ценой совершенно неслыханной лени: “Дух капитализма” едва продвинулся параллельно с лекциями! Ведь ты дала мне *permesso*<sup>164</sup>. Следовательно, мать приезжает во вторник. К сожалению, в эти дни у меня кроме семинара также процесс Нейрата, где я выступаю свидетелем, после того как я уже выступал по делу Толлера — который был приговорен к 5 годам тюремного заключения. Судьи пришли в хорошее расположение духа, когда я рассказал о всей странности лауенштейнеровских событий, а это всегда полезно. Большое спасибо за твое милое письмецо, при всей печали оно звучало достаточно весело, да, это целый период жизни, и многое здесь никоим образом нельзя сделать *таким* прекрасным, как было у нас в Гейдельберге. Посмотрим, что получится здесь, если я смогу — будем надеяться — справиться с этим...»

К концу короткого зимнего семестра Вебер уже в достаточной степени приспособился, он чувствует себя связанным с окружающим университет обществом и участвует в его делах со свойственным ему рвением. Когда жена Вебера провела в августе некоторое время в Мюнхене, он освободил время, чтобы вместе воспринять много прекрасного: алтарь Маттиаса Грюневальда до его отъезда на чужбину, остров роз, прогулку, которую они летом совершили. Они привыкают к величественной дали гористой местности, которая должна стать им родиной — предаются приятным мечтам — как прекрасно будет подобно многим жителям Мюнхена иметь летнюю резиденцию у озера с видом на горный хребет.

В театре они видят «Бранда» Ибсена, глубокое символическое содержание которого очень их взволновало, хотя они это и не обсуждали. Герой этой пьесы, преисполненный строгим Богом, требует с радикальной серьезностью повиновения Безусловному. Однако он требует жертв не только от себя, но хочет привести всех остальных детей земли на стезю, на которой он сам способен стоять. Но они не созданы для этого, они хотят сначала счастливо жить, а потом служить Богу. Поэтому они оставляют вождя, который превышает своими требованиями их возможности, в ледяном одиночестве. И только в смертный час он познает Бога, милосердие которого выше, чем его законы. Быть может, когда-либо и для Вебера существовала возможность стать человеком «всего или ничего». Однако он все время открывается земной жизни других своим богатством и своей двойственностью, все время, любя и исследуя, он занимается всем *человеческим*. Себя он оценивает, исходя из абсолютного требования, но никому не навязывает его и сам предпочитает относиться к грешникам, а не к «праведникам»

После окончания первого семестра Вебер возвращается на несколько мягких осенних недель в старый дом в Гейдельберге с ощущением, что он уже не связан с ним; однако своей сестре Лили, которая поехала со своими детьми в школу Обервальда, он пишет: «Когда-нибудь, позже, мы опять все встретимся здесь». Гейдельбергские друзья устроили отъезжающим прощальный праздник, он пришелся как раз на дни серебряной свадьбы предстоящего года.

Вебер жил в стороне от университета — молодежь называла его мифом Гейдельберга — для многих коллег он был лишь неудоб-

ным, возбудимым человеком, духовное превосходство которого было обременительным, этические масштабы преувеличены, а постоянная критика политического поведения своего круга вызывала беспокойство. Однако теперь попрощаться пришли многие, чтобы еще раз ощутить его близость. Женщины превозносили отъезжающих в музыке и стихах, мужчины в речах и диалогах. Когда нимфа Львиного колодца напомнила юность Вебера, он и его жена тайно переглянулись: «как на вечеринке перед свадьбой». Эберхард Готейн и Герман Браус нашли проникновенные слова, Браус их позже записал. Будучи медиком, он причудливо сравнил воздействие Вебера на организм университета с воздействием недавно открытого «гормона» на тело. Его удаление создает опасные для жизни явления атрофии, однако пересаженный умным врачом на другое место, он продолжает оказывать благоприятное воздействие на весь организм; так и отъезжающий будет и из Мюнхена оказывать воздействие на Гейдельберг. Затем он нашел и другие образы: «Я вспоминаю время, когда я в качестве боевого товарища работал под Вашим начальством и пережил вместе с Вами много серьезного, кое-что веселое и странное. Это были незначительные события, но мы видели их в зеркале великого времени. Многие пережили совсем иное и более значительное. Но как бы то ни было, каждый, кто был вблизи Вас, видел Вашу рыцарственность и честное мужество... ощущал Вашу неподкупную верность своим убеждениям, видя в них современное выражение дюреровского рыцаря между смертью и дьяволом. Вспоминаю и Вашу стойкую работоспособность, для которой и мельчайшее не было слишком ничтожным, когда надо было служить великому делу. Великое же переживание, которое никто из тех, кто знал Вас, не теряет, таково: был пережит высший масштаб полноты человеческих качеств, объем богатейшей, проистекающей из глубин способности, вера в то, что Дионис не умер». В своей благодарности Вебер охватил всех в их связи с общей, надличностной судьбой. Он подчеркивал свою несокрушимую веру в Германию и свою любовь к красоте этой страны, душа которой дышит в ее лесах. Он несколько приоткрыл и переживания в годы своей болезни и указал на то, что означала для него мягкость Гейдельберга, когда он стал медленно возвращаться к жизни. Ему кажется, что он покидает родину ради прекрасной, но холодной чужбины. Однако в настоящее время нельзя вести роскошное существование. А так как плодотворно заниматься политикой теперь невозможно, ближайшей обязанностью остается скромная профессиональная деятельность.



В Мюнхене зима наступила рано. Внезапно утром еще пышная свежая листва гордых рядов тополей, которые придают улице по ту сторону Ворот победы величественный характер, замерзла. Грустно шуршали мертвые листья, когда их поднимал ветер. Но вскоре деревья покрылись покровом инея — удивительное зрелище создавали начиная от Ворот, белые сторожа на фоне голубого неба. А благородные желтоватые дома вокруг университета источали в ясном холоде мужество и силу. Вебер вполне готов еще раз начать строить жизнь заново. Они живут сначала временно в знакомом уже им доме друзей, а затем переезжают в домик Елены Бёлау, расположенный совсем рядом с Английским парком. Это помещение тесно по сравнению с большими комнатами гейдельбергского дома, но уютно и отвечает стремлению Вебера жить скромно, соответственно скудному времени. Маленькая улица у озера — уютный уголок. Здесь большой город еще соединяется с некогда далеко от его ворот расположенной деревушкой Швабинг. Маленькие крестьянские дома, до крыши которых можно дотронуться вытянутой рукой и за стеклами которых грезят старомодные растения, стоят рядом с их гордыми городскими сестрами. Кабинет Вебера, меньший, чем гейдельбергский, но похожий по форме, выходит в крошечный садик, два белых березовых ствола и молодой бук загораживают уродливую стену напротив. И в сторону улицы виден лесок сосен и берез, детей высокогорья. Там, где улица входит в Английский парк, шумит рукав Изара и несколько шагов приводят к большому озеру, где живут утки и чайки. Открытие бобрового домика, который совсем как из гётевского времени стоит там и грезит, доставило большую радость. Какое благо не быть заключенным в холодных каменных темницах улиц большого города!

Перед самым началом зимних лекций Вебера завершился жизненный путь Елены. Эта преисполненная жизненной силы женщина всегда желала медленного затухания — *переживания* своего конца. Но ее смерть наступила внезапно, не дав ей даже возможности попрощаться с близкими. Летом она еще месяцами жила у Марианны в Гейдельберге и посещала своего Макса в Мюнхене. Она стала маленькой и согбенной, при ходьбе ей не хватало дыхания. Она часто говорила, что теперь скоро наступит конец и поэтому надо возвращаться домой, чтобы оградить детей от этого бремени. Правда, она бы охотно еще пожила, ей бы хотелось увидеть,

как *Германия* вновь поднимается. И вообще у нее были еще разные планы: ее последняя, оставшаяся в живых сестра, вдова геолога Э.В. Бенекке, была в числе изгнанных из Страсбурга. Она вернулась в гейдельбергский отчий дом физически беспомощной, уже несколько лет парализованной, духовно заторможенной, но в глубине таинственного зерна своей сущности неизменной. Она заняла квартиру Вебера. Елена хотела провести зиму у нее и окружить ее любовью и общими воспоминаниями. Затем она предполагала переехать в моммзеновский дом, чтобы жить со своими детьми.

Силы своего последнего дня она соответственно своей сущности посвятила делу любви. Уже довольно давно ее сердце было в плохом состоянии, ходить и подниматься по лестнице было для нее тяжелым напряжением. Она жила на 4-м этаже и раз в день подниматься и спускаться по лестнице было для нее пределом. Но в этот день она тайно поднималась дважды. Одинокая, близкая ей сотрудница, которая также жила высоко, возвращалась из отпуска, ее ведь следовало принять в «тепле» ее другом, очагом, затопить который требовало много времени и тщательности. Елена рано уходит, неся тяжелый сверток. В нем несколько брикетов и ее обед — кто-то видел, как она, низко склонившись, медленно шла. С трудом поднимается она по многочисленным ступеням, добивается нужного ей и чувствует себя очень удовлетворенной: погасшая зола пылает. Когда вечером биение сердца стало замедляться, из ее всегда прилежных рук упала кофточка первенца. Борьба была тяжела. Ее дочь Клара пыталась помочь ей. Все ее дети объединились у ее смертного ложа. Они не предчувствуют, что это последнее свидание. На любимом лице матери остались следы тяжелых страданий. То, что она лежит так недоступно, замкнутой в себе, совсем не похоже на нее, она ведь всегда была подобием волнующейся, творящей, борющейся жизни. Но ее воздействие на любящих и далее посредством них не может завершиться. Теперь дети прощаются, но они вернутся к ней. Старший сын говорил у открытого гроба и обрисовал ее облик. Он превозносит прежде всего ее жизнелюбие, ее пламенную силу и всегда сохраняемый неистощимый юмор. Сын Иды Отто, ее близкий друг, освящает похороны. Он говорит о ее деятельной этической религиозности — «ее жажде справедливости», ее строгой требовательности к себе, о постоянном напряжении, в котором она жила, так как всегда болезненно ощущала расстояние между высшим человеческим стремлением и его последней целью. Для женщин этим было не все еще сказано. Как для мужчины только мужчина является критерием и образцом, так для женщины только женщина, поэтому ее особенно волнуют особые ценности женской сущности. На то,

что почитающие Елену женщины ощущали как ее харизму, им указала Марианна: это — творческая безусловная любовь, полнота которой не зависит от того, чем ей отвечают, которая никогда не довольствуется несущим счастье взрывом чувства, но непосредственно ведет к помощи и оплодотворяет все вокруг.

\* \* \*

После смерти матери у Вебера начинается зимняя работа. Вопреки своему первоначальному намерению он дал уговорить себя студентам, для которых его учение о категориях было слишком трудным, прочесть им очерк всеобщей социальной и экономической истории, следовательно, новый курс лекций, громадный по своему объему. Знанием этого курса он обладает, но предстоит построить изложение и принять во внимание ряд новых исследований. Лекции проходят в *auditorium maximum*<sup>165</sup>, вмещающей 600 человек. Ему приходится тратить много времени на подготовку к каждой лекции. Помимо того он ведет социологический семинар и коллоквиум доцентов в кругу коллег, которые его об этом просили. Этот научный обмен мнениями доставляет ему большое удовольствие. Его силы истощены, ему приходится соблюдать большую осторожность, в первые недели на него опять нападает страх, что он неспособен длительное время справляться со всеми должностными обязанностями. К тому же его чувство чести задает, что до занятия еще одной кафедры народного хозяйства он не может облегчить положение перегруженного работой коллеги В. Лотца. Он обдумывает замену своей должности ординарного профессора должностью «внештатной» профессуры, которая должна быть создана, и подает соответствующее заявление. Он чувствует внутреннее облегчение, но ответа не получает. Однако уже перед Рождеством он привыкает, без чрезмерных усилий справляется со своими обязанностями и чувствует себя значительно увереннее — совсем иначе, чем было в Вене.

Удивительное чудо — эта вторая молодость. Он сам это так ощущает. Сохранится ли это в будущем? В день обычного юбилейного празднования университета на Вебере ярко-красная мантия факультета общественно-политических наук — величаво выступает высокая фигура, слегка улыбающийся взор быстро брошен на жену. Он знает, как взволнованно она смотрит на него. Но будет ли преподавание окончательной формой его деятельности? Раньше это казалось недостижимой вершиной. Теперь же, когда восстановление Германии на необозримое время нуждается в каждом одаренном в сфере государственной деятельности человеке, дело обстоит по-другому. И когда жена ему как-то сказала: через не-

сколько лет, когда он будет старше и станет здоровее, нация его все же позовет, «и тогда ты пойдешь при любой опасности» — он кивнул и сказал с торжественной серьезностью: *«Да — у меня такое чувство, что жизнь еще что-то должна мне дать».*

\* \* \*

В середине января 1920 г. снова были возбуждены политические страсти из-за следующего события: помилования графа Арко-Валлей, молодого убийцы Курта Эйснера. Вебер не одобрял приговора, несмотря на свою симпатию к осужденному, так как считал это не только несправедливым, но и опасным. «Политические убийства найдут последователей». Националистически настроенные студенты, считавшие Арко своим, праздновали этот исход дела демонстративным собранием в аудиториях университета, причем в присутствии пангермански настроенного ректора. При этом они проболтались, что в случае осуждения Арко с помощью отряда рейхсвера будет устроен путч. А когда студент-социалист высказал другую точку зрения, он был изруган членом студенческого комитета. Ректор на это не реагирует. Обиженное меньшинство взволнованно жалуется Веберу. Он обращается, защищая их, к ректору с ходатайством исправить положение и с просьбой «не недооценивать в данном случае решительность его вмешательства». Когда в течение двух дней ничего не произошло, он начал лекцию следующими словами: «В отличие от моего правила не вмешиваться на занятиях в политические события, я считаю необходимым сделать замечание по поводу того, что произошло здесь в последнюю субботу. И Вы имеете право требовать решительного признания оценки этого *дела*. Вы чествовали графа Арко, так как он соответственно и *моему* убеждению выступил перед судом рыцарски и мужественно. Его акция была следствием убеждения, что Курт Эйснер приносил Германии позор за позором. Этого мнения придерживаюсь и я. Несмотря на это, помилование его было дурной слабостью, пока действует закон, и будь я министром, мой приговор был бы — расстрел. Ваша демонстрация мне бы не помешала. Напротив! Но министерство отступило перед вами. Плита на могиле Арко остановила бы все еще появляющийся призрак Курта Эйснера, и теперь он будет жить в народе как мученик, так как Арко жив. Это во вред стране. И во что вы превратите Арко вашими манифестациями? Не заблуждайтесь: в достопримечательность кофейен! Я желал бы ему лучшего. Затем здесь были в субботу высказаны обвинения, обвинения, которые и сегодня еще не взяты назад. *Подлец*, кто этого не сделает!

И еще одно: Здесь шла речь о готовом к путчу рейхсвере в соединении со студентами. Господа, мне не могут импонировать такие заговорщики, тщеславие которых настолько велико, что они не могут публично не *проболтаться* о подобных вещах; что касается самого события, то о нем не следует больше говорить. Но я вам только скажу: ради восстановления Германии в ее былом величии я заключил бы без всякого колебания союз с любой властью Земли и даже с самим дьяволом, только не с властью глупости. До тех пор же пока в политике действуют справа и слева безумцы, я держусь в стороне от нее» (19.1.20).

Через два дня оскорбление студентов-социалистов было снято. После этого Вебер снял на следующей лекции обвинение гипотетического «подлеца». Несмотря на это, когда он хотел начать лекцию, раздались неистовые свистки и крики. Вызванные пан-германцами учащиеся ветеринарной школы и другие праворадикальные студенты, которые Вебера не знали и при его прежнем разъяснении не присутствовали, вели себя так, как они привыкли на предвыборных собраниях. Поскольку Вебер спокойно стоял на кафедре и высмеивал их, они стали вести себя еще более дико. Когда же ученики Вебера проявили готовность наброситься на них, был выключен свет и освобождена аудитория. Сразу после этого Вебер пошел в большое общество, был очень оживлен, а ночью прекрасно спал. Очевидно политические столкновения всегда действуют освежающе.

\* \* \*

Примерно в это время в веберовском семинаре происходила дискуссия о занимавшей всех книге Освальда Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes» (Закат Европы). Вебер оценивал ее как концепцию философии истории очень умного и образованного «дилетанта», который вставляет результаты исторического исследования в свои спекулятивные конструкции. Несколько участников семинара, которые были лично знакомы с автором, предложили устроить диспут между ним, Вебером и несколькими другими мыслителями. Все они согласились скрестить свои шпаги. В холодный ясный зимний день они встретились в помещении ратуши. Вокруг маленького круга ученых толпилась в несколько рядов молодежь, преимущественно свободомыслящие; там были также молодые коммунисты и сектанты разного рода. Духовный турнир длился полтора дня и шел очень напряженно. Вебер нападал очень осторожно, действуя самым рыцарским оружием. Уважение к иному по своему характеру уму делал его критику переносимой. Другие участники дискуссии действовали более ре-

шительно. Шпенглер сохранял благородную выдержку, когда из его построения удаляли одно положение за другим. Взаимопонимание основного тезиса было невозможно. Молодых слушателей вновь одолевало огромное знание, которое все-таки не давало им ответа на вопрос: «Так что же нам делать?»

Несколько юношей увели вслед за тем Вебера, поэта Пауля Эрнста и социалиста Отто Нейрата с собой, чтобы наконец высказаться. В одном из крошечных деревенских домов Озерной улицы у них было убежище, в котором кроме стульев и стола была только большая коричневая кафельная печь. Зимний день был очень холоден. Печь нагревалась медленно, так как топлива было положено не много. Но молодые мужчины и женщины были приучены к этому бедностью и окопами, и гордились своей неприязнительностью. Вебер сидит в меховом пальто на скамье у печи, его голова выразительно выделяется на кафеле — его гладко причесанные волосы густы и не тронуты сединой, только в бороде много серебряных нитей. Стремящиеся в разные стороны кончики волос часто приглаживаются тонкой рукой. Взор его очень добр и выражает полную готовность вчувствоваться в переживания молодежи.

Их помимо других идей особенно занимала вера, что посредством коммунистических оазисов — сельских поселений и т. п. можно образовать естественные клетки нового более высокого миропорядка — мирным путем преодолеть капитализм или во всяком случае освободить от него тех, кто серьезно к этому стремится. И получая продовольствие посредством совместной обработки земли, они надеялись быть свободны и от специальной профессиональной работы. Ибо в ней они видели убивающее душу принуждение. Однако они тем не менее хотели оставаться культурными людьми. «Сельское хозяйство с художественным ремеслом» — иронически заметил Шпенглер. Поэт Пауль Эрнст, который сам в течение нескольких лет хозяйствует с помощью своей очень дельной и умной жены на крестьянском участке, чтобы создать основу своего духовного существования, знает сколько прилежания и энергии для этого требуется и предупреждает об этом. Несколько юношей уже предпринимали практические попытки, но потерпели неудачу. Особенно смелый молодой человек хочет перевезти большую группу интеллектуалов и пролетариев в Сибирь, известную ему благодаря войне, и создать там с ними образцовую коммунистическую общину. При этом перед его умственным взором встает не только солидарное хозяйствование, но и анархический идеал: освобождение от государственных форм господства. Вебер пытается пояснить им, что организовать без закона и власти можно только малень-

кие сообщества семейного типа, но не большие коллективы. Однако их хилиастический энтузиазм трогает его — он не хочет разрушить их веру, парализовать их энергию и обещает давать им советы в практических народно-хозяйственных вопросах. Однако молодые поселенцы чувствуют, что он не сможет стать одним из них. Они разочарованы и как бы сдают его в архив. Дома беседа с Паулем Эрнстом и его женой продолжалась до полуночи — это были часы высокого духовного волнения. Вскоре после этого к ним пришел О. Шпенглер и вновь искры духа переходили от одного к другому. Когда речь зашла о конструкциях Шпенглера в области философии истории, он признался, что считает себя «поэтом».

## II

В целом зима прошла в непрерывной, концентрированной работе. Лекции требовали большой подготовки, кроме того Вебер правил первый том работ по социологии религии и прежде всего работал над своим учением о социологических категориях в «Хозяйстве и обществе»; первые листы этого труда были уже напечатаны. Весной эта часть должна была выйти. Здесь предполагалось дать некоторые объяснения о форме и *методе* этой работы, плода научной деятельности всей жизни Вебера, которые, быть может облегчат неспециалистам понимание этого труда.

«*Понимающая социология*» состоит из двух методически различных по своему характеру частей, обе они остались незавершенными: из систематического учения о типах и отчасти соответствующих ему статей, в которых конкретные исторические явления связываются и упорядочиваются посредством понятий типов. Другими словами: понятийные конструкции, использованные в описательных частях для проникновения в исторические события, в первой части систематически упорядочены и разработаны до возможной однозначности. Следовательно, учение о понятиях предполагает полное владение историей, так как оно не дедуцируется, подобно спекулятивным мыслительным образованиям, из общих больших посылок или принципов, а образуется непосредственно из конкретного фактического материала, *компонруется* посредством индукции. Поэтому Вебер уже до войны «по памяти» написал исторически расчленяемые и описательные статьи — без примечаний; материал и научный аппарат ему для этого был не нужен — он свободно владел универсальным знанием. Учение о категориях он фиксировал только позже: это было необходимо в связи с чтением лекций летом 1918 г. в Вене и через год — в Мюнхене. Теперь — за несколько месяцев до кончины — он получил

последний вариант. Он все время разрабатывал трудные понятия и вносил еще много изменений в корректуры.

Наконец ему удалось достигнуть удовлетворяющей его точности выражения — правда, «люди будут покачивать головами». Ему ясно, что его метод, наполняющий известные исторические, политико-экономические, юридические и теологические мысленные образования совершенно новым содержанием, будет не только трудным для понимания, но и покажется странным. К причинам этого мы скоро обратимся, но сначала скажем еще кое-что о форме.

Стиль всего произведения, особенно учения о понятиях, очень отличается от стиля остальных его произведений: фразы почти всегда коротки, субъект и предикат в непосредственной близости друг от друга без сложных периодов. Фразы следуют друг за другом в определенном порядке под цифрами и буквами. Определения даны в кратчайшем выражении и в своеобразной форме: «Социологией должно называться», «социальным действием должно... называться». «Предприятием должно... называться». «Господством должно... называться» и т. д. Однако, этот императив не выражает притязание на значимость новых конструкций вне рамок этой специальной социологии, их смысл обратный: «В моем учении о понятиях они должны называться так, для определенных методических целей я называю эти образования так — и только научный результат должен оправдать мой метод. Вставленные между определениями наглядные объяснения и интерпретации, которые вновь расчлняют только что концентрированное содержание, также выражены большей частью в прозрачно построенных фразах. Мыслительный процесс совершается в строгом, почти ритмическом движении, и тот, кто привнесет в него предпосылки к пониманию, будет увлечен логическим потоком на пути через преодоленный материал. Впрочем, вначале это удастся немногим, ибо каждое краткое предложение является знаком целых рядов представлений, охватывающих время и пространство, и полных сжатым содержанием — для того, кто владеет лишь немногим из этого, они остаются пусты».

Последующие замечания о методе и стоящие за ним научные убеждения предполагают высказывания в главе 10. Вебер занимается «понимающей социологией» как эмпирической наукой, «границы которой никому не должны и не могут быть навязаны». Ее объект — единственно *доступный пониманию* момент истории, а именно — осмысленно ориентированное действие отдельных и нескольких людей, именно их соотнесенное друг с другом, поэтому названное «социальным», действие. Интерпретируя его понимание, социология объясняет его одновременно и каузально. Вебер хочет установить, что смысл действия — как мы уже знаем из



более ранних замечаний, — есть *субъективный*, «имеющийся в виду» самим действующим лицом смысл его действия как последней, конкретной, эмпирически постигаемой реальности, а не какое-либо спекулятивно надстроенное над действительностью мыслительное образование. Тем самым понимающая социология проводит границу по отношению ко всем догматическим наукам, таким, как юриспруденция, логика, этика, эстетика, которые стремятся исследовать в своих объектах «значимый», «правильный» или «истинный смысл». Понимающая социология ближе всего истории. Она разделяет с ней понимание *вненаучного* момента, а именно выбора значимых для культуры событий из необозримого многообразия безразличного; затем *научного* момента: казуального сведения и интерпретирующего понимания средств познания. Однако если историю интересует прежде всего исследование важных отдельных связей, то социология, напротив, занимается *типическим*, образует типические понятия и выявляет *общие правила* всегда и повсюду повторяющихся «процессов» социального действия. Следовательно, этим своим интересом к общему она родственна естественным наукам, но отличается от них не только своим объектом, но и другим логическим значением ее общих понятий, которые нам уже известны.

Однако так как Вебер в этой работе совершает новое образование и систематическое упорядочение подобных «идеальных типов», следует напомнить: их организация в систему ради создания замкнутого образа мира не могла иметь для Вебера смысла. Ибо он мыслит их не как окончательные фиксации, а как временные опорные пункты в потоке все время меняющегося процесса исторического познания. Кроме того: само *эмпирическое* исследование не дает единого принципа, посредством которого значимые для культуры составные части действительности могли бы быть определенным образом убедительно научно упорядочены. Оно ведет всегда только к множеству последних ценностных идей и жизненных сил — «богов», — которые соревнуются друг с другом за господство над существованием. Само собой разумеется, конечно, что эта намеренно замыкающаяся в своих границах эмпирическая наука всегда знает о своих собственных внеэмпирических *предпосылках*, более того, признает их как свое условие: прежде всего к ним относятся общие идеи культурной ценности, посредством которой производится отделение важного от неважного, и затем специальная личностная «идея» исследователя: по возможности ясное, по возможности объективное, *по возможности* универсальное познание того, что было и есть, в первую очередь наиболее возможное проникновение в современные жизненные силы. Когда Вебера как-то спросили о смысле его науки для него самого, он

ответил: «Я хочу видеть, сколько я могу вынести». Что он имел в виду? Быть может, что он считает своей задачей выносить *анти-номии* существования, затем: напрямь до крайней степени свою способность к *отсутствию иллюзий* и несмотря на это сохранить несомненность своих идеалов и свою способность следовать им.

Эти идеи стоят за эмпирическим исследованием и его понятиями. Из познания самого предмета исключаются спекулятивные мыслительные образования; так же решительно и намеренно не допускается представление о наддействительном или царстве обязательных объективных значимостей как не относящееся к эмпирической науке. Из особого намерения понимающей социологии — освободить *зерно реальности* типичного социального действия от всех ценностно-спекулятивных оболочек, следует ее специфическое своеобразие, во-первых, — что может показаться логическим парадоксом, — рациональная конструкция *далеких* от действительности типов понятий. Вебер ищет закономерность социального действия по всему земному шару, замыкает ее в понятия, посредством которых процессы действий мыслятся так, будто они совершаются без помех со стороны иррациональных, то есть непредвиденных, влияний, что в действительности никогда не происходит. На фоне этих абстракций иррациональные составные части конкретного действия тем отчетливее воспринимаются как «отклонения». Следовательно, и на эмпирическую социологию распространяется своеобразное положение дел, что самобытность *сущего* познается посредством его отношения к не-сущему — к рациональной абстракции. Но здесь речь идет о привнесении логических мысленных образований в действительность. Абстракция служит *научной* истине, тогда как привнесение в факты этических, политических, метафизических образований служит венаучным — «практическим» — избранным субъективностью исследователя целям.

Познание эмпирической действительности, к которой стремился Вебер, требует, во-вторых, удаления из процесса мышления не только всех видов «догматических» представлений, но и *логического* покрова определенного типа, которым пользуются с полным правом другие науки, как, например, юриспруденция, история, политическая экономия. В основании образования их понятий лежит представление, будто существуют действующие *общие личности*. Поэтому они мыслят сложные образования — государство, нацию, сообщество, акционерное общество и т. д. как *отдельных индивидов*. По-иному представляет себе это понимающая социология. Она проникает через эти логические фикции, чтобы достигнуть последней доступной пониманию реальности, осмысленно ориентированного действия одного или нескольких

отдельных людей. Вскоре будут даны примеры этого. Метод понимающей социологии может быть определен как «рационалистический» и «индивидуалистический», при этом, однако, мысль об индивидуалистических *оценках* привела бы к такому же заблуждению, как «мнение, будто рационалистический характер образования понятий означает веру в *преобладание* рациональных мотивов или даже *позитивную* оценку рационализма». Речь идет только о том, чтобы довести зерно действительности до сознания свободным от иллюзий.

Сколь ни простым, само собой разумеющимся, даже банальным это кажется, подобное новообразование всем известных понятий носит характер *логической революции*. Прежде всего дефиниции социологии Вебера в области государства и права настолько необычны для юриспруденции, а его понятия в области социологии религии — для теологии, что специалисты не знают, как обращаться к ним. Понятия — легитимный порядок, право, союз, господство, власть, государство, нация, церковь и т. д. — получают вследствие сознательного удаления всех связанных обычно с ними ценностных значений совершенно новый, чисто логический и поэтому, конечно, странно холодный и непатетический смысл. И если Вебер отклоняет всякое притязание на их исключительное господство, они неудобны для привычного мышления и чувствования: ибо одно их существование привносит в сознание вненаучные составные части других одинаково звучащих мыслительных образований и косвенно показывает этим, что в них логически *не* обязательно и никому не может быть навязано. Кроме того, возможно, что неизбежным дополнительным результатом этого *логического* «расколдования» исторических образований для многих будет и другая *оценка*. Например: общее всем вышеназванным социальным образованиям зерно реальности состоит «непременно и исключительно в *шансе*, что действие будет носить осмысленно определяемый характер, независимо от того, на чем основан этот шанс, на *психически* обязательных представлениях, на реальном внешнем принуждении или на том и другом одновременно». Ни на чем другом, кроме названного *шанса* прохождения этого, ориентированного таким образом, действия эти образования — с социологической точки зрения — не основаны.

Если таким образом нечто, в повседневности как будто столь схематичное как «шанс», получает здесь ранг категории, чтобы логически постигнуть столь субстанциальное как общее всем социальным действиям, то действительно — повторяя вслед за Вебером — кажется, будто холодные руки скелета охватывают теплую жизнь. Столь же своеобразно трезвыми предстают и другие определения понятий, посредством которых постигается специфиче-

ское содержание «шансов» различных типов. Например: установленный порядок должен называться «правом», если он внешне гарантирован *шансом* физического или психического принуждения... поставленного именно для этого штаба людей. «Действующий политический институт должен называться *государством*, если и в той мере, в какой его штаб управления успешно осуществляет монополию легитимного физического принуждения для проведения его установлений» и т. д. Право, государство, церковь — как будто неразрывно связанные с метафизическими представлениями, проникнутые притязаниями на объективную значимость образования освобождены в этих дефинициях от всех представлений такого рода. Благодаря этим дефинициям идея науки, свободной от оценок, получает еще другой, более широкий смысл, чем возможность исключить субъективные суждения, согласно которым нечто правильно или неприемлемо, желательно или нежелательно, хорошо или дурно. Здесь помимо этого сознательно исключается недоказуемая предпосылка не только всех «догматических» наук, но и предпосылка почти всей истории, будто *эмпирическим* значимостям, то есть всем тем ценностным представлениям, которые в качестве психических содержаний действительно определяют действия, присуще «объективное» значение, *трансцендирующее* сознание отдельного человека; будто они составляют не вызывающее сомнения царство, возвышающееся над действительностью, царство правильного или «истинного» смысла, который с полным правом *подчиняет себе* действительное существование.

Если Вебер в своей социологии устраняет из познания действительности *эти* представления об эмпирически постигаемом, о том, что объективно возвышается над действительностью, то оценки норм и идеологии разного рода сохраняют в понимающей социологии все свое значение. А именно, как фактичность, как важные «ценностно-рациональные» ряды мотиваций, которые присутствуют почти в каждом осмысленно ориентированном действии и даже часто решающе определяют его. Так во всех частях социологии выявляется каузальное значение специфических, содержательно определенных оценок и толкований смысла. Однако взор ученого направлен только на их эмпирическую реализацию, а не на данное им сверх того метафизическое значение. Вебер сам постоянно указывает в процессе развития понятий, каким образом он отделяет *фактические* значения от их ценностности в качестве *объективных* значимостей. Если, например, в учении о типах господства он называет харизму *считающимся* внеповседневным... значимым качеством, то из этой формулировки уже следует, что вопрос, *правомерно* ли оценивается это качество в конкретном слу-

чае как харизма, с социологической точки зрения его совершенно не интересует. «Следовательно, признание какой-либо личности харизматическим вождем основано на *субъективной* оценке его качеств как внеповседневных и сверхчеловеческих готовыми к повиновению учениками или последователями». «Как данное внеповседневное качество следовало бы оценивать «объективно» правильно с какой-либо этической, эстетической или любой другой точки зрения, при этом, конечно, совершенно безразлично». Методически таким образом к харизматическим вождям относятся как «одаренный харизмой бешенства неистовый воин», так и военный вождь, как политический демагог, так и основатель секты, пророк и спаситель. Это должно восприниматься как повседневным мышлением, так и мышлением в других науках, которое привыкло соединять фактическое с объективными значимостями, не только как странное, но и как раздражающее и бессмысленное обеднение мысли. И только для того, кто вместе с Вебером вступит в его мыслительный процесс, радикальное «расколдование» связанных с ценностью образований будет возмещено новым содержанием истины. В своем стремлении к истине Вебер повсюду удалял магию со своего пути.

Но человек, стоящий вне науки, ждет от новой *логической* разработки действительности также новых точек ориентации для всего своего существования. И знакомясь с веберовскими мыслительными образованиями, он также произвольно спросит «*сui bono*»<sup>166</sup>, что могу я заимствовать из этого указания для моего образа жизни? И он будет разочарован, если это ему не удастся. Понимающая социология, которая решительно отказывается от провозглашения норм, требований, практических оценок, конечно не удовлетворяет в своей области этой потребности, во всяком случае не в «прямом уведомлении». Но, быть может, статья «Политика как профессия» позволит нам сделать известные выводы по поводу возможности использовать это мышление действующим человеком. В этой работе, возникшей из доклада, прочитанного зимой революционного года (1919) мюнхенским студентам, Вебер сопоставляет свое знание социологии государства с важной сферой практических действий — с *политикой*, причем с политикой как профессией, следовательно, как формой деятельности конкретных людей. Фоном этих мыслей служит крушение Германии, русский большевизм, хилиастическое возбуждение молодежи. Ей кажется, что она призвана построить новый мир и надеется твердой волей установить еще никогда не существовавший общественный порядок, структура которого в отличие от предшествующих, проникнута этическими и религиозными идеалами — справедливостью и братством. Однако уже события в России показывают,

что путь к этому далек и, не гарантируя достижения цели, идет через невероятную бесчеловечность.

Вебер заставляет своих слушателей прежде всего познать свободно от иллюзий все социологические процессы и явления в государстве, типически определяющие политическую жизнь. Он характеризует различные государственные формы и их историческое развитие, различные типы политического господства, типы политических деятелей всех времен и стран и ведет с вершины исторической универсальности к пониманию, что не единственным, но *специфическим* средством государства является во все времена опирающееся на легитимное физическое насилие господство, и что политика повсюду означает стремление к участию в государственной власти. Следовательно, тот, кто занимается политикой, стремится к *власти* — будь то ради нее самой, будь то для служения идеальным или эгоистическим целям, и чтобы достигнуть их, он, если окажется необходимым, воспользуется против других доступным ему физическим или психическим насилием. Все это — полученные посредством логической разработки исторических знаний научные констатации. Но в той связи, о которой теперь идет речь, Вебер использует их как отправной пункт его отношения к одной из самых значительных «экзистенциальных» проблем, а именно, для освещения отношения между политикой и этикой, очень волновавшего молодежь.

Ибо христианские церкви не только не противодействовали войне, как неизбежному злу, но восхваляли ее во всех странах, ссылаясь на Евангелие, и разжигали национальную ненависть. Это должно было казаться религиозным людям мучительно бессмысленным и ложным путем. И вот революция создала аналогичный парадокс. Коммунистические сторонники пацифизма считали себя вправе осуществить свои идеалы посредством худшей формы насилия, посредством гражданской войны. В этой связи многократно обсуждаемый вопрос, связаны ли между собой политика и этика, существует ли специфический политический этос, вновь обрел большую остроту. Одни оспаривают специфику политического этоса, другие же утверждают, что в политической деятельности, как в любой другой, должна присутствовать та же, единая, абсолютная этика, как и во всем другом.

Вебер отрицает это, как и раньше, но одновременно указывает, что политическая деятельность отнюдь не относится к сфере *adiaphora*<sup>167</sup>. Именно потому, что специфическое средство политики есть применение насилия, она требует этической ориентации, а именно сопоставления цели и средства, осознанного ответственного размышления о том, достаточно ли ценна цель, к которой стремятся, чтобы «освятить» средства и возместить дур-

ные побочные действия. С другой стороны, безусловная связь политики с насилием и принуждением, то, что в области политики не действует этика, принятая в иных сферах, совершенно так же, как в весьма различных отношениях между людьми, здесь не могут быть сформулированы равные по своему содержанию этические веления. Каждый политический властитель вынужден при известных обстоятельствах совершать ради своих целей зло по отношению к другим. Поэтому он не может следовать абсолютной этике, прежде всего этике Евангелия. Безусловное требование: отдай *все*, что имеешь, для него бессмысленное требование, пока оно не может быть предъявлено всем. И другое — подставь и левую щеку — без всяких оснований, не спрашивая, что побудило другого нанести удар — для него «этика, лишенная достоинства, — разве что ею руководствуется святой». Или если этика любви повелевает: не противодействуй злу, то требование к политике обратно и гласит: Ты *должен* ему противодействовать, причем силой, иначе ты будешь нести ответственность, если оно возьмет верх. Это — решающий пункт, в котором христианская и политическая этика расходятся, в котором вообще разделяются *два* направления этически ориентированного поведения, хотя в конкретном существовании они часто переплетаются.

В принципе этическое действие определяется либо *убеждением*, либо *ответственностью*. Подлинный христианин в качестве специфического носителя этики убеждения «поступает справедливо и предоставляет решение Богу», т. е. его добрая воля, его жизнь в Абсолютном облагораживает его действия. Бог повелевает ему, поэтому он не спрашивает о результатах и не относит их к своей деятельности. Если они дурны, то ответственными за них он считает мир или даже Бога. Как ни величественно это понимание в качестве выражения происходящего в глубине души и направленного на блаженство собственного существования и существования других душ — *политик* подчинен другому закону. Он хочет действовать в миру и поэтому вынужден считаться с ним, таким, как он есть, и со слабостями людей, более того, подчинять их своим целям. Его специфический этос — *страсть*, ответственность, глазомер. Страсть в смысле безудержной самоотдачи *делу*, «Богу или демону, который является его властелином»; ответственность как воля холодно и умно продумать последствия своих действий и отнести их к себе, глазомер как та дистанция по отношению к вещам и людям, которая позволяет вынести правильное суждение. И прежде всего: каким бы целям он ни служил, ему необходима *вера* в них, чтобы на него не пало проклятие тварной ничтожности. Однако успех его деятельности определяют не только его собственные мотивы, но и мотивы его сторонников, которые часто

отличаются подлостью. Поэтому достойные цели часто достигаются нравственно сомнительными средствами. Во всяком насилии участвуют дьявольские силы. В этом пункте отчетливо проявляется полярность обоих рядов закона. Сторонник этики убеждения должен был бы — логически — отвергнуть все действия, использующие нравственно опасные средства. Напротив, политик должен быть готов взять на себя ответственность и при этом поставить на карту собственную душу. Сторонник этики убеждения отвергает этическую иррациональность мира, при которой добро часто ведет ко злу, а из зла иногда возникает добро. Политик же должен уметь переносить такую иррациональность. «Только тот, кто уверен, что не будет сломлен, если мир окажется, с его точки зрения, слишком глупым, или слишком низким для того, что он готов ему предложить, призван быть политиком».

Если Вебер таким образом на основе своего социологического знания доводит до сознания в важной области — антиномии идеальных сил, определяющих действие людей, то делает он это как ради истины, так и для того, чтобы придать молодым людям большую ясность при выборе своего пути. Такое свободное от иллюзий освещение различных коренных черт экзистенции может многим показаться новым обеднением — тем, способность которых отдаться определенному делу возникает из возбуждающего энтузиазм внушения. Другие же, не нуждающиеся в такой помощи, сочтут, что «обученность видению мира», каков он действительно есть, дает им большую силу выносить его и принимать его повседневность.



## Глава XX

# Последняя

Вебер поглощен своей работой почти в такой же степени, как в первые годы своей преподавательской деятельности. Времени для «жизни» остается мало, но его работоспособность становится все более устойчивой, и сон уже почти не приходится вызывать особыми средствами. Только политические события выводят его часто из состояния равновесия. Когда в середине марта путч Каппа показал, что в стране все еще действуют разрушительные силы, Вебер был сильно взволнован. Неужели эти идиоты хотят разрушить еще то, что оставила нам проигранная война? В это время он как-то стал тихо напевать старую песнь Гервега о всаднике: «Страшная ночь вокруг нас, мы едем тихо, едем молча, мы едем в гибель».

Наступили каникулы и в первые апрельские дни — Пасха. Женщины хотят отпраздновать Пасху и уговаривают Вебера поехать в Иршенхаузен в домик на краю леса, где он прожил такие прекрасные летние часы. Однако на этот раз уговоры стоили больших усилий, собственно говоря, он не хотел ехать, а когда поезд оказался переполнен, у него совсем испортилось настроение: «Оставили бы вы меня у моего письменного стола». Но ощутив чистый горный воздух, он приходит в другое настроение и начинает радоваться. Весна еще задерживается, но вспаханная земля издает волшебный запах, сообщающий о ее вновь пробуждающемся плодородии. Лес стоит в коричневом зимнем одеянии, луга еще серы, но на кустах уже появились бутоны, а в солнечных котловинах сияет синий энциан. Взор блуждает по волнистой, покрытой лесами и лугами земле. Изар еще погружен в свое глубокое русло. Линии земли напоминают вестфальскую родину, только здесь предгорье героически обрамлено великолепными очертаниями Карвендельских гор.

Погруженные в мягкий свет дни полны совершенной гармонии. Детям разрешено несмотря на скудное время искать яйца, а ночью они занимаются своими играми у пасхального огня. Часа-

ми все сидят на солнце. Пасхальным утром Вебер читает текст Валькирии, в ряде мест которой содержится большая глубина; общее наслаждение этим произведением завершает праздник. В послеобеденное время, когда пошел небольшой дождь, все сидят в маленькой комнатке с деревянной обивкой и рассказывают друг другу о своей юности. Мир вне дома исчезает за стеной белого тумана. Вебер испытал — как он рассказал позднее — странное ощущение. Может быть это настроение, почерпнутое из какого-либо произведения русской литературы? К столпившимся на вершине людям подступает нечто черное — бездна, которая их поглотит. Валькирия создает большое впечатление, хотя ее смысл не вполне свободен от оков рефлексии и не вполне доведен до художественного образа. Вебер особенно любит душевную борьбу Зигфрида с предвещательницей смерти, которая обещает ему пребывание в Валгалле, но небо героев без возлюбленной. И тогда он отвечает: «О холодном блаженстве Валгаллы ты мне не говори».

\* \* \*

На утро после этих праздничных дней пришла краткая весть о смерти сестры Вебера Лили. Ей еще не было сорока лет, она отличалась тонким душевным очарованием, суверенностью и тем абсолютным благородством взглядов, которому было чуждо все мелкое. Чертами лица она больше всех других была похожа на Елену: благородный, резко очерченный нос в узком овале нежного лица и тонкие линии рта. Но во многом она была иной, у нее не было несокрушимой витальности Елены и ее судьбой была жизнь без иллюзий. Повседневность с ее обязанностями часто ощущалась ею как тяжелое бремя — подобно ряду других женщин из рода Эмилии Суше-Фалленштейн. Но с некоторого времени она нашла пристанище в красивой, полной любви сельской школе-интернате на склонах Бергштрассе. Ее потерявшие отца дети были там счастливы, и Лили окружала нежная дружба. Она вошла в новую богатую жизнь, в которой все кружится вокруг молодежи.

И внезапно несчастье увлекло ее в таинственную бездну! После ее смерти осталось четверо маленьких детей. Удар был страшен, почва под ногами колебалась. Веберы сразу же поехали в Гейдельберг, где произошло несчастье. Там уже благоухало море цветов. О эта первая встреча после прощания полгода тому назад! Что же будет с сиротами? Совершенно неожиданно, как бы случайно они понимают: «это — ваши дети». Друзья считают решение слишком быстрым, они предостерегают, приводя много доводов: «Вы уже слишком стары, слишком укоренены в форме своего существова-

ния». Но никакие сомнения, никакие пересуды о трудностях не могут поколебать уверенность. Они в экстазе. И если смерть Лили ослабила корни их собственной жизни, то это чреватое многими последствиями решение вновь прочно утверждает их в жизни. Вебер, сильный человек, глубоко и радостно потрясен; ему кажется, что это материнство — завершение женской судьбы Марианны, ее подлинное завершение, в котором ей до сих пор было отказано. Правда, она не хочет это слышать. Она отвергает это, ибо он сам — милость, дарованная ее существованию. Вебер заставляет себя найти смысл смерти сестры. На пути в Оденвальдскую школу он таинственно говорит: «Замечательно, если человеку дано еще раз подняться и затем уйти». Как мгновенный взмах черных крыльев пронизывает Марианну мысль о *нем*. Вебер встречается в Гейдельберге со всеми близкими друзьями; они находят его таким открытым и живым, таким расточительно добрым. Он рассказывает: «Я работаю, как 30 лет тому назад, все течет мне навстречу» и уверяет, что Гейдельберг остается его родиной, он скоро вернется. Главная тема бесед — Лили и вопрос о детях. У друзей складывается впечатление: «Перед этим человеком судьба бессильна».

Затем он вернулся в Мюнхен — один, так как Марианна должна была ехать для прочтения давно обещанного доклада в «окупированную область», чтобы поднять силы упавших духом женщин. Это было очень трудной задачей, ибо недавно случившееся не покидало ее ни на минуту. К тому же она тревожилась, не наступит ли нервная реакция у мужа. Он был слишком взволнован. С другой стороны, она знала, что ему теперь нужно одиночество, чтобы работать. В Мюнхене его сразу же ждало сильное политическое волнение. Прошел слух, что баварский премьер-министр господин фон К. высказал на конференции предположение о возможном отделении Баварии от Империи. Этот слух проник и в иностранную прессу. Последовало опровержение, но Вебер и его политические друзья не доверяют политике этого бело-синего человека. Вебер помещает в газете следующую заметку: «В соответствии с опубликованными сообщениями баварский премьер-министр якобы сделал заявления, которые можно было бы расценить как призыв к государственной измене. Эти высказывания столь решительно опровергнуты, что по их поводу у людей чести сомнения быть не может. Господин премьер-министр несомненно охотно воспользовался бы возможностью подтвердить опровержение. Поэтому смею заметить, что того, кто ложно приписал ему эти слова, каждый порядочный человек должен считать *подлецом*. Я ожидаю, что этот господин предстанет по крайней мере перед общественным судом. Эти замечания я публикую потому, что ложное впечатление, которое должно было возникнуть у французов,

способно подтвердить их планы и укрепить их намерения» (13.4.20). Эта заметка должна была заставить предполагаемого клеветника, исказившего слова господина фон К., выступить против Вебера с обвинением в нанесении обиды и тем самым привести к полному прояснению ситуации. Между тем газета отказалась печатать этот вызов: допрос участника той конференции свидетельствовал якобы об отсутствии доказательств, поэтому процесс закончится неудачей. На это Вебер ответил: «Если препятствием действительно является указанная причина, — в чем я не сомневаюсь — то Вам не следовало бы опасаться, что *моя* душа уйдет от этого в пятки (простите). Я выиграл бы процесс, в котором был бы назван подлецом тот, кто *ложно* приписал господину фон К. данные слова — *если бы* тот «подлец» подал жалобу. На минуту я допустил в Ваших действиях высшие политические причины. О них можно было бы поговорить». Однако Вебер решил не вмешиваться больше в это дело. В это время, когда для Вебера важнее всего была целостность Германской империи, он как будто склонялся к тому, чтобы освободиться от всякой связи с какой-либо партией. В письме к сестре Кларе Моммзен, написанном в середине апреля, есть такие слова: «Поскольку от меня ждут участия в *«социализации»*, что я в данное время считаю бессмысленным, я выхожу из партии: политик *должен* идти на компромиссы, *ученый не смеет* их оправдывать. Выходите и вы из *этой* Немецкой отечественной партии — мне тяжело видеть тебя в *таком* обществе — и посмотрите на нее. Здешний премьер-министр как будто говорил об «отделении от Империи», аргументируя это тем, что бюргеры боятся спартаковцев. Если Империя распадется, то под действием этих людей (Каппа, Лютвица. Боюсь, что придется сказать — и Людендорфа). Их *не* расстреляют и *не* посадят в тюрьму, как поступили бы с каждым рабочим в аналогичном случае — хотя он и *не* обладает их «образованностью».

\* \* \*

За чрезвычайную интенсивность гейдельбергских дней Веберу приходится расплачиваться серьезным нервным истощением. Трудности совершенно новой жизни также играют определенную роль. Иногда его охватывает страх. Сможет ли он быть детям отцом? Посещающих его друзей пугает его плохой вид. Он рассказывает о нервном сердечном приступе: «Машина отказалась работать». Он чувствовал себя неспособным к деятельности и лежал на софе, размышляя о смерти. «Что такое смерть, никто сказать не может — темное ли царство ночи, из которой принесла меня мать?» Но затем, отстраняя мрачные мысли энергичным

жестом, вполне жизнерадостно: «Но довольно об этом, мы *еще* живем!» Депрессия постепенно исчезает. Отсутствующая жена ничего об этом не узнает, пока ему нехорошо. Когда его приятельница фрау Эльза Яффé-Рихтхофен, пытаясь отвлечь его приятной остроумной беседой, через некоторое время ему сказала: «Казалось, будто Вас коснулась холодная рука», он с торжественной серьезностью ответил: «Да, Эльза, так и было». Как-то в лунный вечер он сидит с ней на скамейке у запруды Изара, долго смотрит на быстрые волны, на то, как одна вытесняет другую, и тихо говорит про себя: «Да, так оно и есть, одна следует быстро за другой, но река все та же». Не то, что он говорит, а тон, которым он говорит, создает впечатление, будто ему на мгновение открылись последние тайны.

К концу апреля потрясение проходит. Часы опять идут равномерно. Вебер полностью погружается в свою работу и как-то говорит, что научных планов, которые перед ним стоят, хватило бы еще на сто лет. Получив первую, написанную под его руководством, диссертацию, он с явным удовлетворением кладет на нее руку со словами: «Это первая, и она хорошая». Время от времени он даже позволяет соблазнить себя общением с друзьями. Больше всего его занимают наряду с работой дети. Наконец зазеленела весна и в Мюнхене. У его окна шелестит коричневая листва молодого бука. Время от времени он вечером отдыхает в садике. Через деревянный забор соседнего сада проникает иногда запах хлева. Это наводит его на мысль, что можно завести для детей кроликов. Оба младших скоро приедут в Мюнхен, он хочет увидеть, как его жена *действительно* становится матерью. Как-то он сказал: «И она не будет тогда такой одинокой, если со мной что-нибудь случится». Затем его вновь одолевают страхи: что детям будет трудно привыкнуть, что не хватит материальных средств и т. п. Тени случившегося горя смешиваются с тенями грядущего, но не могут его остановить. Напротив, все душевные силы, формирующие его жизнь, поднимаются в это внеповседневное время еще раз в полный аккорд: творческая продуктивность, политическая страстность, нежная дружба и верная любовь, готовность к решению человеческих задач, радость от конкретных проявлений существования, яркий юмор. В эти недели Вебер пишет жене почти ежедневно, чтобы облегчить ей разлуку. Его написанные в минуты, отнятые у работы, письма дышат глубокой взволнованностью и полной отдачей жизни, но также колебанием между новым счастьем и заботой о границах собственных сил, с чем он, однако, все время справляется, чтобы жена могла удовлетворить свое сердечное желание. Некоторые выдержки из этих писем следуют:

«Видишь, *Все* устраивается. Дорогая, я не нахожу адрес К., к тому же я потерял *твой* адрес! Стать отцом нетрудно — но не добавишь ли — “но быть отцом очень трудно”. Я быстро, быстро надеюсь, чтобы опять стать толстым до приезда других твоих детей. Ты не одобришь это, — но я и *курю* ведь, чтобы “отвыкнуть”, а это ты одобряла. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Как ты будешь сердиться, не найдя ничего от меня в Крейцнахе. Впрочем, дети тебе теперь в сто раз *важнее*, чем этот вечно “работающий”, ворчливый “муж”. В остальном все хорошо. “В остальном?” *Все* хорошо. Только работать — нехорошо. Все обойдется. Должно! Мое милое дитя, многое станет трудным — достаточно “зарабатывать”, *также* — но тем не менее все “легко”. И Бавария, кажется, *останется* в империи».

«...Как ты себя чувствуешь в твоём цветущем материнском достоинстве? Опять радость выпадает на долю мне, тяжесть тебе. Ты все еще *так* же открыта? Ибо “экстаз”, о котором они говорили, уже на следующий день сменился солнечной ясностью, которая меня *также* восхитила. Здесь *чудесная* весна — вечерами прохладно, листья только появляются. Но маленьким детям это в будущем не будет «импонировать» при воспоминании об оденвальдской школе. Будут еще *серьезные* внутренние трудности. Сначала они будут здесь очень несчастны. Трудное испытание для тебя. Главная проблема — как ты с этим справишься. Теперь начинается работа. Следовательно! Передавай привет всем там и оставайся расположенной к твоему “старому папе” Максусу».

«Следовательно, ты действительно прибыла в Кёльн? И помнишь о 21 апреля при всех твоих заботах и перегрузке? Это очень мило, и я надеюсь, ты веришь, что и я “кое о чем” думаю. Несколько дней я чувствовал себя *довольно* усталым, но теперь все в порядке: я много работаю, и это хорошо действует, когда работа идет. От этого *бессмысленного* политического положения я каждый раз *заболеваю*, как только думаю о нем или мне о нем напоминают. До лекций осталось только две недели, пора заняться ими, хотя желания нет. Идет много корректур, первый том «Социологии религий» готов в рукописи, две трети — в корректуре. Следовательно, работа идет».

«...Как меня обрадовало твое письмо ко дню рождения! И книга от М.Л. Энкендорф (правда, сейчас я читать ее не могу). И “Господин Даме”. И шоколад — сразу был съеден. Эльза послала мне через свою дочь замечательный пирог, Лизбет испекла такой же. Совсем, как для «папы». Итак, милая, *подумай*, когда ты привезешь детей сюда. Получим ли мы другую квартиру, неопределенно. Кто знает, быть может нам придется остаться в этой? Сомнения Г. по поводу *большого* города серьезные. Во всяком случае не

надо *спешить*. Если со мной что-нибудь случится, а это *возможно*, то положение детей здесь будет очень плохим. Я за то, чтобы еще *немного* подождать, например, до весны 21 г., *тогда* они могут приехать, ты ведь тоже так считала. Я работаю довольно много, только до подготовки к лекциям еще не дошел. Но и это будет сделано. Сплю опять прилично, некоторое время тому назад приходилось принимать нирванол. После некоторого утомления я опять «поднялся», изо дня в день читал корректуры, почти все готово, только лекции меня все-таки страшат. Ну, Эльза ведь сумела прошлым летом воздействовать на меня всякими фокусами — *эта* волшебница действительно умеет это. Пусть она опять применит *свой* способ, а если поможет *на этот раз*, то и впредь.

Ах, душа моя, *если бы я мог* увидеть тебя в качестве матери с детьми вокруг тебя. Для этого — а не для ухода за Schlagetot, великаном в образе больного ребенка, каким я некогда был, ты ведь создана небом. Но: осторожно! *Зарабатывать?* Да — но как? В этом для меня вопрос. Мне тогда следовало бы — и я ничего не имел бы против — вступить *здесь* в редакцию газеты или в издательство вместо того, чтобы играть в профессора. Такую управленческую работу я могу выполнить лучше, чем эту болтовню на лекциях, которая меня душевно никогда не удовлетворяет?».

«...Итак, семестр, благодарение Богу, начинается только 11 мая. Это было очень желательно, так как до сих пор шли *корректуры* (килограммами!), а подготовка к лекциям: niente<sup>168</sup>. Теперь она начинается и должна быть на Троицу продолжена. Действительно наступило *основательное* нервное переутомление и только теперь все приходит в порядок, так что я совершенно спокойно жду предстоящих событий. *Всех*. Особенно если ты привезешь детей уже осенью из-за школы (что, впрочем, необязательно). Правда, тебе не удастся мне внушить, что я «создан» быть «папой». Нет, это не так. Я радуюсь детям, видит Бог, но я отнюдь не «педагог» — и подлинную радость доставляешь мне *Ты* в прелести твоего проснувшегося материнства. Главное, чтобы я *физически* выдержал. И если это лето пройдет хорошо, я буду в этом уверен...».

«...Пришла Эльза — она сидит с книжкой и хочет потом здесь есть, у меня теперь ведь мало времени для нее. Мы еще раз обсудили вопрос о детях, как ты ей поручила. В целом она согласна с нами, но очень серьезно относится к сомнениям. В одном пункте она, может быть и права, и его она очень «настойчиво» подчеркивала: безусловно верно, что я не могу «ручаться» за себя, ни за свое здоровье, ни за свой темперамент и что я, как она говорит, не очень подхожу для роли «папы». Обдумай и это: лучше всего будет, если ты не примешь окончательного решения для *ближайшего* времени, а, как ты и хотела, отложишь его на год... Если ты со-

гласна, все сомнения кончаются. Я все сделаю и почувствую себя тогда счастливым...».

«Лизбет в своем «костюме» с красным передничком кругла, как шар, чрезвычайно довольна и, как я вынужден сказать, очень послушна. И эти приглашения к господину директору П. и его супруге к *столу* один раз вместе с художником, в другой раз одна, — только слушали музыку. Все *a conto*<sup>169</sup> нижнего саксонства! Это в самом деле удивительно и может быть уже названо «демократией». Кроме того каждые несколько дней какое-либо празднество или прогулка при лунном свете — да *ее* жизнь полна и что *мне* при этом так хорошо — она *очень* заботится обо мне — почти чудо».

«...Я устоял, несмотря на прекрасную погоду и теперь чувствую себя опять вполне хорошо, выпуски сделаны и лекция подготовлена, ибо во вторник все начинается... В саду и кругом все зелено, поздно по нашим привычкам, рано для здешних. Нежный бук в садике особенно очарователен. Вчера я был приглашен к Зальцам и пошел. Кроме меня там были доктор К. из Гейдельберга и Эльза. Зальцы *высланы*. Я использовал все средства, чтобы предотвратить эту нелепость, но «верхнебаварское правительство» находит Зальца «подозрительным». Фрау Саше надоело это отношение — она гордая, замечательная женщина — и хотя дело еще в министерстве, они добровольно уедут и устроятся в другом месте. Их квартира (в одном из придворных домов, принадлежащих к Нимфенбургскому дворцу) *божественна*! Эти круглые комнаты! Сирень цвела, у меня еще стоят данные мне с собой букеты белой сирени, а нимфенбургский *парк* рядом. Я на минутку заглянул туда. Тропинки запущены, заросли травой, но все каштаны в пышном цветении, и многие деревья на первой стадии предвестия весны, еще коричневые, а не зеленые! *Наш* садик теперь совсем зеленый и коричневатый. Береза и маленький бук заслоняют нас от соседей. Эдуард Баумгартен — счастливый вследствие предоставления стипендии, основанной неизвестным американцем — был здесь короткое время, вел ожесточенные религиозные споры со своим дядей Отто, он будет в моем семинаре. Лекции начинаются во вторник, конечно, опять *auditorium maximum* для обеих лекций; уже позавчера записались почти 600 человек на курс лекций по социализму, почти 400 на курс по учению о государстве. Физически будет утомительно. Однако до твоего приезда я устроен. Все довольно *хорошо*».

«Лизбет, да! это “полное жизни” существо! Все время с Анной и прежде всего с господином Бетман-Гольвегом или, вернее, с господином Гольвегом, который так же пассивен и мечтателен, как тот государственный муж, но по-видимому, любит круглое... Бал у жителей Нижней Саксонии был волшебнo-прекрасен.



Итак, Фрида танцевала только два раза (не научилась), сколько танцевала Лизбет — об этом певица вежливо умалчивает. Но она была очень удовлетворена: каждый месяц бал! Сегодня она была больна. В качестве “папы” я отправил ее в кровать, сварил ей три яйца, сам ел бутерброды...».

«Вчера переполненная auditorium maximum для чтения учения о государстве (две трети слушателей “гости”). Сегодня начинается “социализм”. В остальном все хорошо, только — теперь за лекции. Отдохни в Гейдельберге как следует! Никакой спешки! Поговори спокойно с Груле и Ясперсом. Ехать на Троицу невозможно. Следовательно, я жду тебя к концу Троицыной недели, тогда и лекции будут подготовлены и у нас будет день “покоя” и “бесед” друг с другом, ты, “мамочка”. Волнение перед лекцией? Мне было «не по себе», и речь шла о многих тысячах марок, если бы я не мог начать. Это что-то ведь значит...». «Сегодня учение о государстве, второй час лекция, все еще много слушателей — «сошло». Теперь два дня покоя, затем неделя с *шестью* часами лекций и семинаром. Интересно. Но все идет хорошо — только я трачу так много на еду! Что останется бедным детям? Наши доходы будут примерно соответствовать доходам слесаря (6 марок за лекционный час)... Итак, ты выступаешь еще в Карлсруэ. Но это *конец!* И *покой*, покой на Троице с родственниками и друзьями. Я чувствую себя лучше, чем *смел* надеяться, до сих пор. Несколько развлекался общением с Эльзой — такая вполне чуждая миру беседа была *благодетельна*. Но теперь с этим покончено. На Троицу надо будет “отчаянно” много работать. Хаотическая партийная деятельность правых здесь и среди студентов... Йорг фон Кафер хочет организовать студенческую левую. Я остаюсь вне этого».

«...Вчера была лекция и очень оживленный семинар, следовательно, три часа, поэтому я не писал. Теперь покой и плохая погода. Конечно, предстоит прочесть бесчисленные корректуры! Да, наши доходы *никогда не* будут больше *такими*, как в этом году. Если третий ординарный профессор будет здесь, то я во всяком случае рассчитываю на... тысячу марок за лекции во всяком случае. Иначе пришлось бы читать лекции для заработка — отвратительно — я бы не мог... Приедет ли Тобельхен. Ей очень хочется. Много времени у меня ни для кого нет. На Троицу я буду все время работать. Но в перерыве можно будет встретиться. В этом смысле я ей и написал».

\* \* \*

В последний день мая, в субботу после Троицы, жена наконец возвращается. Прекрасный солнечный день раннего лета залива-

ет улицы, город впервые кажется родным. Она бесконечно счастлива вернуться домой. Вебер встречает ее с букетом роз, он хорошо выглядит и радостно открыт. Первые часы лекций, которых он так боялся, уже прошли и, что самое важное, первая часть учения о социологических категориях закончена и удовлетворяет его: «Такого проникновения понятийного мышления у меня, когда я стану старше, больше не будет. Правда, люди будут качать головами и сначала не будут знать, что с этим делать».

Супруги проводят послеобеденные часы и вечер в задушевных разговорах. Марианна решила, что лучше несколько отсрочить переселение детей, до той поры, когда они найдут будущую квартиру, и она освободится от своей должности в женском движении. К тому же она поняла из писем Вебера, что ему нужно некоторое время для сочетания своих профессиональных обязанностей с обязанностями отца. Вебер сначала как будто несколько разочарован этим, ему хотелось пережить новую ситуацию, но затем почувствовал облегчение. Ближе к вечеру они гуляют по зеленым тропинкам Английского сада. Все так радостно. Поверхность озера переносит голубизну неба, как мягко мерцающий опал на темную землю. Там, где пролив переходит в рукав Изара, они останавливаются. Еще не засеянный склон у берега, на котором белая гусыня охраняет своих птенцов, мог бы служить прекрасным местом для игр детей.

Ночью погода меняется, на следующий день стало отвратительно холодно, идет дождь. После обеда супруги идут к чаю по соседству. Вечером Вебер читает жене вслух — в качестве особо редкого дара — из «Романа о зайце» Жамма, который он приготовил ей в подарок к Троице. Он радуется проникновенному образу святого Франциска, за которым звери последовали в смерть; Но особенно занимает его, что заяц, единственный, кто, не пережив сначала смерть, проскользнул в рай животных, там не счастлив. Он мечтает вернуться на свою любимую землю с ее беспокойством, опасностью и страхом. Голос Вебера звучал при чтении немного глухо. На другое утро появилась легкая хрипота. Всегда не спокойная за него жена умоляет его снять лекцию — но он энергично отказывается и, читая лекцию, побеждает хрипоту. Марианну пронизывает мысль: «А вдруг это последняя!» Так проходят три дня. В четверг праздник Тела Христова — университет закрыт. Он рад этому. Опять потеплело и вечером они сидят с приятельницей в саду и живо болтают.

На другое утро Вебер чувствует себя больным. Ночью его знобило — что это, грипп? Лекция отменяется. Температура поднимается высоко. Однако врач считает это просто бронхитом: вследствие напряжения голоса во время лекции раздражение гор-

ла перешло в бронхи. «Нет никакого основания для волнения». В воскресенье 6 июня предстоят перевыборы рейхстага. Это важно, ибо демократия в опасности. Врач не видит препятствий к тому, чтобы Вебер поехал и участвовал в выборах. Но Вебер сам не хочет. Он удручен и дремлет в кровати. О политике он ничего слышать не хочет. Она слишком безрадостна. Температура остается высокой. Врач считает, что это лучше, чем колебание температуры.

К началу второй недели болезни Вебер пребывает в состоянии эйфории — преисполненный любви и восторженной благодарности. Каждый стакан молока, каждая земляника чудесны. Но это будет стоить семестра, оплата лекций должна быть возвращена — и прежде всего докторант, срок защиты которого установлен, не должен ждать. Вебер решает провести экзамен «лежа в кровати». Когда декан просит сообщить ему, что коллеги освобождают его от этого, он чувствует большое облегчение. В понедельник 7 июня он советуется с приятельницей по поводу посвящений его произведений, находящихся в печати — одно Елене, другое Марианне. Для жены это должно быть сюрпризом. В среду начинается легкий бред, фантазии, которые сначала не воспринимаются как таковые. Он рассказывает о разных никогда не пережитых приключениях и поражает удивительной любезностью. В четверг утром он радостно встречает врача громким ясным пением арии Фигаро — «Will der Herr Graf ein Tänzchen wagen»<sup>170</sup> — в знак того, что он совсем здоров. Но после этого кто-то услышал, как он пел другую песню: «Выройте мне могилку в зеленой степи». «На будущей неделе я опять буду читать лекцию. Только сердце бьется так медленно и мозг *так мал*». Во время нервной болезни он также как-то лежал и смотрел на узор обоев, «но тогда я мог думать и спорить с Господом Богом. *Этой* болезнью Он мне импонировать не может. Да, если бы это было настоящим воспалением легких, то следовало бы подвести итог своей жизни». Разве он чувствует раскаяние и вину? Он, подумав, решительно отвечает: Нет.

Больной начинает сильно кашлять, и врач наконец находит глубокое воспаление легких. Бред становится сильнее. В ночь перед смертью ему кажется, что у его кровати сидит ученик. Он проверяет и хвалит его трогательным голосом. Все, что связано с наукой и с людьми, занимает его одинаково. Он ведет иногда диспут на разных языках, очевидно на политические темы, с врагами. Однако несмотря на замутненное сознание он узнает всех, находящихся с ним, и дарит им прекрасные слова любви. Он уже не властелин своего замученного тела, не властелин своего замутненного духа, но все-таки — он сам. Его величие с ним, и не только оно, но и его грация и его юмор.

Он не сопротивляется мрачной силе. Несколько раз он скрыто прощается. Один раз он сказал с невыразимой суверенностью, очевидно, имея в виду свой незаконченный труд: «Собственно говоря, мне это теперь совершенно безразлично». Другой раз как бы в спокойном ожидании: «Увидим, что произойдет теперь». В последнюю ночь он называет имя Катона и говорит с непостижимой таинственностью в голосе: «*Истинное есть истина*». Все, что может сделать человеческая сила, чтобы вырвать его у смерти, сделано. Он терпеливо все переносит — но затем говорит: «Ах, дети, бросьте вы это, ведь ничего не поможет». Сердце не выдерживает больше жар. В понедельник 14 июня мир за пределом дома совершенно затих, только дрозд непрерывно поет свою тоскливую песнь. Время остановилось. К вечеру он испускает дух. Во время его кончины начинается гроза, молнии сверкают над бледнеющим лицом. Он становится образом усопшего рыцаря, а затем величественно покоится в недоступной тайне. На его лице мягкость и высокая покорность. Он ушел в недоступную даль. Мир стал иным.

## Примечания

<sup>1\*</sup> Американский родственник немецкого происхождения, который соответственно пристрастие американцев занимается составлением родословных, полагает, что может в результате своих исследований доказать, что некая знатная семья изначально носила имя Валленштейн и была протестантским ответвлением семьи Альбрехта Валленштейна. Этот исследователь обнаружил, что служивший в шведской армии подполковник Вильгельм фон Валленштейн получил от Густава Адольфа земли в лен, которые он через несколько лет продал. Этот воин перешел, по его предположению, в 1631 г. вместе с Густавом Адольфом в Германию, оставил там потомство, а затем пал в бою. Так как в шведском языке нет буквы *W*, в Германии его фамилия писалась *Vi* и в Германии эта буква соответственно измененному звучанию перешла в *F*. «*Se non e vero e ben trovato*». (Если это и неверно, то хорошо придумано. — *итал.*) Аутентичные данные об этой семье собирал Гервинус и сохранил их в своих «Воспоминаниях о Г.Ф. Фалленштейне». Из них взято и данное указание.

<sup>2\*</sup> Ида, старшая дочь от второго брака, была замужем за страсбургским историком Германом Баумгартеном, один из их сыновей — известный профессор теологии Отто Баумгартен. Генриетта состояла в браке с гейдельбергским историком церкви и поэтом Адольфом Гаусратом, Эмилия — со страсбургским профессором геологии Э.В. Бенекке. Единственный их брат Эдуард Фалленштейн умер, будучи еще студентом, в 1870 г. во Франции, не перенеся напряжений похода.

<sup>3\*</sup> Эти данные я беру из прекрасной биографии ученика Г. Баумгартена Эриха Маркса.

<sup>4\*</sup> Использованы: *Herrmann Oncken. Rudolf von Bennigsen; Schultheß Geschichtskalender.*

<sup>5\*</sup> *H. Oncken. R. von Bennigsen. Bd. 2. S. 576.*

<sup>6\*</sup> *Ср. Gesammelte Aufsätze zur Wirtschaftsgeschichte. S. 444 f.*

<sup>7\*</sup> *Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. S. 256 f.*

- <sup>8\*</sup> Gesammelte politische Schriften. S. 7 f. Drei-Masken-Verlag. München. 1921.
- <sup>9\*</sup> От 9 января 1895.
- <sup>10\*</sup> Ср. *Martin Wenck*. Die Geschichte der Nationalsozialen. Hilfe-Verlag. 1905. S. 32 f.
- <sup>11\*</sup> *M. Wenck*. Ibid. S. 63.
- <sup>12\*</sup> А propos (по поводу. — *франц.*) «храпа». В комнате Маскоджи-отеля на преys-куранте рядом с электрическим звонком сказано: «frog in your throat?» «Вы храпите? — 10 центов». Я еще не встречал ни такого хорошего определения храпа, ни такого правильного отношения к нему.
- <sup>13\*</sup> Ср. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1922. S. 71 f.
- <sup>14\*</sup> Ibid. S. 6 f.
- <sup>15\*</sup> Ibid. S. 524 f.
- <sup>16\*</sup> Ср. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1922. S. 451 f.
- <sup>17\*</sup> Ibid. S. 524 f.
- <sup>18\*</sup> Теория Вебера относится только к этико-политическим, а не к эстетическим ценностным суждениям.
- <sup>19\*</sup> Но не в таком смысле к теологу, эстетике, этике, юристу.
- <sup>20\*</sup> В главе 20.
- <sup>21\*</sup> Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. S. 536 f.
- <sup>22\*</sup> Античные каменоломни.
- <sup>23\*</sup> Ср. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. «Der Sinn der Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften».
- <sup>24\*</sup> Ср. S. 229 (С. 177—178 наст. изд.)
- <sup>25\*</sup> Опубликовано в собрании политических работ.
- <sup>26\*</sup> Gesammelte politische Schriften. S. 277 ff.
- <sup>27\*</sup> «Письмо» в «Гейдельбергскую ежедневную газету» от 10.12.17.
- <sup>28\*</sup> Ср. Gesammelte politische Aufsätze. S. 340.
- <sup>29\*</sup> Профессор классической филологии в Мюнхене. (Видимо, имеется ввиду Отто (а не Фридрих) Крузиус, см. Именной комментарий. — *Ред.*)
- <sup>30\*</sup> *W. Lewald*. Enqueterrecht und Aufsichtsrecht im Archiv des öffentl. Rechts. Hf. 3, S. 315 f.
- <sup>31\*</sup> Gesammelte politische Schriften. S. 381 f.

## Примечания переводчика

Перевод с немецкого выполнен М.И. Левиной по изданию: *Weber Marianne*. Max Weber: Ein Lebensbild. Heidelberg, 1950. — 779 S. На русский язык переводится впервые.

- <sup>1</sup> Верую, ибо это непонятно (*лат.*)
- <sup>2</sup> Старший (*лат.*)
- <sup>3</sup> Junior — младший (*лат.*)
- <sup>4</sup> Государя (*ит.*)
- <sup>5</sup> Антимаккиавелли.
- <sup>6</sup> Per procurationem — по доверенности (*лат.*)
- <sup>7</sup> Цезарей и августа (*лат.*)
- <sup>8</sup> См. высказывание Елены о себе: «Если ты мох на стволе...»
- <sup>9</sup> Помни о смерти (*лат.*)
- <sup>10</sup> За тобой стоит смутно смерть  
Как темная половина луны  
За ее растущим светом
- <sup>11</sup> Наша юность похожа на грезу

Охотника у холма в степи;  
Он спал в мягком солнечном свете,  
Его разбудил бушующий ураган.  
Вокруг вспыхивает огненно молния  
Кроны деревьев шумят на ветру:  
Он с радостью вспоминает  
Дни солнечных лучей  
Милые грезы покоя.

<sup>12</sup> Никого нельзя обязать сверх его возможностей (*лат.*)

<sup>13</sup> Свод церковного права (*лат.*)

<sup>14</sup> Колония и муниципий (*лат.*)

<sup>15</sup> Русский перевод: Вебер М. Аграрная история древнего мира / Под ред. и с предисл. Д.М. Петрушевского. М., 1925.

<sup>16</sup> Без разговоров (*франц.*)

<sup>17</sup> Удовлетворенность (*франц.*)

<sup>18</sup> Предоставить делать что угодно, не препятствовать ходу событий (*франц.*)

<sup>19</sup> Пешком (*лат.*)

<sup>20</sup> Для пользования пасторов (*лат.*)

<sup>21</sup> Адекватно дать в переводе невозможно (*пер.*)

<sup>22</sup> Основное (*франц.*)

<sup>23</sup> С удовольствием (*итал.*)

<sup>24</sup> Нежелание принять меня на должность (*лат.*)

<sup>25</sup> Некогда я надеялся, что мне предназначена  
Ранняя смерть в расцвете юных сил.  
Я больше не желаю ее, так как нашел на этом свете  
То, что дает вечную молодость человеческим сердцам.  
Когда приблизится, дитя мое, конец наших дней,  
Мы отложим работу  
И радостно пойдем по темным тропам смерти  
Вместе в незнакомую страну.

<sup>26</sup> Экипажах (*англ.*)

<sup>27</sup> «Летучего шотландца».

<sup>28</sup> В карете (*англ.*)

<sup>29</sup> Веселая Германия (*англ.*)

<sup>30</sup> Завтрак (*англ.*)

<sup>31</sup> Официанты (*англ.*)

<sup>32</sup> Олений заповедник (*англ.*)

<sup>33</sup> Очень сильнодействующими ваннами (*англ.*)

<sup>34</sup> Куккуллинским холмам (*англ.*)

<sup>35</sup> Очень спокойна (*англ.*)

<sup>36</sup> Оставь надежды (всяк сюда входящий) (*итал.*)

<sup>37</sup> Мелочи (*лат.*)

<sup>38</sup> Швабская Юра.

<sup>39</sup> Желая или не желая (*лат.*)

<sup>40</sup> Дождь на меня подействовал очень хорошо — я спал, не крепко и не много, но достаточно, и могу работать не долго, но немного. Значит, все хорошо... (*итал.*)

<sup>41</sup> Со свершившимся фактом (*франц.*)

<sup>42</sup> Колбаса, сыр, бутерброды и медовый пирог (*нидерл.*)

- <sup>43</sup> Северно-голландский канал (*голл.*)
- <sup>44</sup> Общение (*англ.*)
- <sup>45</sup> Окончившие университет (*англ.*)
- <sup>46</sup> Столовая (*англ.*)
- <sup>47</sup> Жилища (*англ.*)
- <sup>48</sup> Скотный двор (*англ.*)
- <sup>49</sup> Не член профсоюза (*англ.*)
- <sup>50</sup> Центов (*англ.*)
- <sup>51</sup> Мальчика (*англ.*)
- <sup>52</sup> Управляющий (*англ.*)
- <sup>53</sup> Учреждение (*англ.*)
- <sup>54</sup> Крикетная команда (*англ.*)
- <sup>55</sup> Старейшины (*англ.*)
- <sup>56</sup> Лицемерие (*англ.*)
- <sup>57</sup> Документация посещения богослужений (*англ.*)
- <sup>58</sup> Посещений (*англ.*)
- <sup>59</sup> Игра в футбол, бейсбол, крикет (*англ.*)
- <sup>60</sup> Человек, обязанный всем самому себе (*англ.*)
- <sup>61</sup> Добропорядочные люди (*греч.*)
- <sup>62</sup> Приток р. Арканзас, протекает по территории США.
- <sup>63</sup> Новоприбывший (*англ.*)
- <sup>64</sup> Средняя школа (бесплатная) (*англ.*)
- <sup>65</sup> Удобства (*англ.*)
- <sup>66</sup> [Два] человека, имеющие положение в обществе... (*англ.*)
- <sup>67</sup> Тетя Бесси и дядя Том (*англ.*)
- <sup>68</sup> Деревенские трапезы (*англ.*)
- <sup>69</sup> Приемы (*англ.*)
- <sup>70</sup> Скотосбрасыватель (*англ.*)
- <sup>71</sup> Победа над землей (*англ.*)
- <sup>72</sup> Социальное равенство и социальное общение (*англ.*)
- <sup>73</sup> Сельское хозяйство (*англ.*)
- <sup>74</sup> Тебе не было довольно холодно, Бем? (*англ.*)
- <sup>75</sup> Я думал об одном довольно жарком месте, сэр, и не обращал внимания на холодную воду (*англ.*)
- <sup>76</sup> Почти столь же фанатична, как была ее мать (*англ.*)
- <sup>77</sup> Возрождение и групповые собрания (*англ.*)
- <sup>78</sup> Значок (*англ.*)
- <sup>79</sup> Рекомендательное письмо (*англ.*)
- <sup>80</sup> Очень веселый парень (*англ.*)
- <sup>81</sup> Игры (*англ.*)
- <sup>82</sup> Еврейском (*идиш*)
- <sup>83</sup> Что есть жизнь (*идиш*)
- <sup>84</sup> Учитесь честью достигать успеха и привлекать благодаря уму (Пер. Б.Л. Пастернака)
- <sup>85</sup> Экономический человек (*лат.*)
- <sup>86</sup> Верую не в *то*, а *потому* что не понимаю (*лат.*)
- <sup>87</sup> Экспозе, меморандум (*франц.*)
- <sup>88</sup> Без гнева и пристрастия (*лат.*)
- <sup>89</sup> Неведомый Бог (*лат.*)

- <sup>90</sup> Безразличного (*греч.*)
- <sup>91</sup> Кому на благо? Какая польза от этого? (*лат.*)
- <sup>92</sup> На манер (*франц.*)
- <sup>93</sup> Всеми словами сказанную (*лат.*)
- <sup>94</sup> Конкретно (*лат.*)
- <sup>95</sup> На практике (*лат.*)
- <sup>96</sup> Руководителя по спасению души (*франц.*)
- <sup>97</sup> В очереди (*франц.*)
- <sup>98</sup> Делайте ставки (*франц.*)
- <sup>99</sup> Плуты (*франц.*)
- <sup>100</sup> Терпеливо, ибо вечное (*лат.*)
- <sup>101</sup> Беспорочная жизнь (*лат.*)
- <sup>102</sup> Здесь: смысл (*лат.*)
- <sup>103</sup> Частным образом (*лат.*)
- <sup>104</sup> Совершившимися фактами (*франц.*)
- <sup>105</sup> Ударом (*франц.*)
- <sup>106</sup> Королевство, обладающее влиянием — королевство, обладающее прерогативой (*англ.*)
- <sup>107</sup> Действенность, эффективность (*англ.*)
- <sup>108</sup> Остроту (*франц.*)
- <sup>109</sup> В соответствии с требованиями времени (*англ.*)
- <sup>110</sup> Собранием отказывающихся (*франц.*)
- <sup>111</sup> В отставке (*нем.*)
- <sup>112</sup> С глазу на глаз; здесь — вдвоем (*франц.*)
- <sup>113</sup> Т. е., говорили и об очень важных вещах, и о мелочах.
- <sup>114</sup> Физическое и духовное совершенство (*греч.*)
- <sup>115</sup> «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бытие 28.
- <sup>116</sup> Ежегодник духовного движения (*нем.*)
- <sup>117</sup> Разумом (*лат.*)
- <sup>118</sup> Дисциплина нравов (*лат.*)
- <sup>119</sup> Приемный день (*франц.*)
- <sup>120</sup> Портупея (*франц.*)
- <sup>121</sup> Дилижанс (*итал.*)
- <sup>122</sup> Фраза оборвана в книге.
- <sup>123</sup> Это Италия, благословенная богами (*итал.*)
- <sup>124</sup> Гостиницы (*итал.*)
- <sup>125</sup> Гостиница (*итал.*)
- <sup>126</sup> Адвокаты и нотариус (*итал.*)
- <sup>127</sup> Служанкой (*итал.*)
- <sup>128</sup> Роман, основанный на фактических событиях, у героев изменены имена.
- <sup>129</sup> Так поступают все (Опера Моцарта) (*итал.*)
- <sup>130</sup> Площадь Венеции (*итал.*)
- <sup>131</sup> Außer Dienst — в отставке (*нем.*)
- <sup>132</sup> Для определенного случая (*лат.*)
- <sup>133</sup> Фонд американской помощи (*англ.*)
- <sup>134</sup> Частным образом (*лат.*)
- <sup>135</sup> Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума (*лат.*)
- <sup>136</sup> Поживем, увидим (*франц.*)
- <sup>137</sup> С вопросом чести (*франц.*)



- <sup>138</sup> Действовать рискованно (*франц.*)  
<sup>139</sup> Положение до (войны) (*лат.*)  
<sup>140</sup> Поражения (*англ.*)  
<sup>141</sup> Для внутреннего пользования (*лат.*)  
<sup>142</sup> Кроме того, я утверждаю (*лат.*)  
<sup>143</sup> Рискованное действие (*франц.*)  
<sup>144</sup> Общества (*англ.*)  
<sup>145</sup> Рассудительности (*франц.*)  
<sup>146</sup> Несмотря ни на что (*франц.*)  
<sup>147</sup> Вестфальские врата (*геогр. название*)  
<sup>148</sup> В немецком оригинале испорченное Havordnik (?)  
<sup>149</sup> «Похищение из серала» Моцарта.  
<sup>150</sup> Настороже (*франц.*)  
<sup>151</sup> Фактических обстоятельств (*англ.*)  
<sup>152</sup> Это сделали мы (*франц.*)  
<sup>153</sup> Несмотря ни на что.  
<sup>154</sup> В сложившихся обстоятельствах (*лат.*)  
<sup>155</sup> Не всегда! Об этом всегда следует помнить (*франц.*)  
<sup>156</sup> Великую хартию [вольностей, принятую в XIII в. в Англии] (*лат.*)  
<sup>157</sup> Старые девы (*англ.*)  
<sup>158</sup> Мы проиграли. Вам решать, что предпринять во имя исторической ответственности (*англ.*)  
<sup>159</sup> Außer Dienst — в отставке.  
<sup>160</sup> Поскольку уже давно установлено, что в развязывании войны виновно правительство Германии (*англ.*)  
<sup>161</sup> Как бы (*лат.*)  
<sup>162</sup> НСДПГ — Независимая социал-демократическая партия Германии (USDP).  
<sup>163</sup> Скапа Флоу (*англ.*)  
<sup>164</sup> Разрешение (*итал.*)  
<sup>165</sup> В самой большой аудитории (*лат.*)  
<sup>166</sup> Кому на пользу? (*лат.*)  
<sup>167</sup> Безразличия (*греч.*)  
<sup>168</sup> Ничего (*итал.*)  
<sup>169</sup> За счет (*итал.*)  
<sup>170</sup> «Если захочет граф поплясать...» (*нем.*)

# Библиография трудов Макса Вебера<sup>1</sup>

Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter: Nach südeuropäischen Quellen. (*Dissertation*). Stuttgart, 1889.

Idem. Amsterdam, 1964.

Публиковалось также в «Сочинениях по социальной и экономической истории».

Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht: Promotionsschrift. Stuttgart, 1891.

Idem. Amsterdam, 1962; New York, 1979.

Опубликовано во 2-м томе Полного собрания сочинений.

Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland // Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Leipzig, 1892. Bd. 55.

Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland. Vaduz, 1989.

Опубликовано в 3-м томе Полного собрания сочинений.

Privatenqueten über die Lage der Landarbeiter: 3 Artikel // Mitteilungen des Evangelisch-sozialen Kongresses. 1892. № 4-6.

Опубликовано в 4-м томе Полного собрания сочинений.

Die ländliche Arbeitsverfassung // Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Leipzig, 1893. Bd. 58.

Entwicklungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter // Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. 1894. Bd. 7. Hft. 1

Idem // Preußische Jahrbücher. 1894. Bd. 77. Hft. 3.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по социальной и экономической истории». Опубликовано в 4-м томе Полного собрания сочинений.

---

<sup>1</sup> Список сочинений М. Вебера в хронологическом порядке (включая политические газетные статьи, насколько их можно было установить), доведенный до 1921 г. (указано одно издание 1924 г.), приведенный в немецком издании, был сверен с уточнением выходных данных и их соответствующим оформлением, дополнен, прежде всего более поздними изданиями и собраниями сочинений. Указаны также переводы на русский язык.

Звездочкой (\*) отмечены работы, переведенные (некоторые частично или в сокращении) на русский язык.

Die Ergebnisse der deutschen Börsenenquete // Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht. 1894–1896. Bd. 43. Hft. 1, 3; Bd. 44. Hft. 1; Bd. 45. Hft. 1.

Опубликовано в 5-м томе Полного собрания сочинений.

\*Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik: Akademische Antrittsvorlesung. Freiburg i. Br.; Leipzig, 1895.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений».

Опубликовано в 4-м томе Полного собрания сочинений.

Die Kampfesweise des Freiherrn von Stumm (*zum Streit zwischen Ad. Wagner – Stumm*) // Neue Preußische Zeitung (Kreuzzeitung). 1895. 26. Febr.

«Eingesandt» // Neue Preußische Zeitung (Kreuzzeitung). 1895. 12. März. (*По тому же вопросу*).

Опубликовано в 4-м томе Полного собрания сочинений.

Die technische Funktion des Terminhandels // Deutsche Juristenzeitung. 1896. 1. Juni; 1. Juli.

Опубликовано в 5-м томе Полного собрания сочинений.

Börsengesetz; Börsenwesen; Wertpapiere: Aufsätze // Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 1. Aufl. Jena, 1895; 1897. Supplementbd. 1, 2.

Опубликовано в 5-м томе Полного собрания сочинений.

\*Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur // Die Wahrheit. (Stuttgart). 1896. Bd. 6. 1. Maiheft.

Gutachten über das Heimstättenrecht // Verhandlungen des 24. deutschen Juristentags. 1897. Bd. 2.

Опубликовано в 4-м томе Полного собрания сочинений.

Besprechung von Ph. Lotmars Buch: Der Arbeitsvertrag // Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. / Hrsg. H. Braun. 1902. Bd. 17. Hft. 3.

Опубликовано в 8-м томе Полного собрания сочинений.

Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen National-ökonomie // Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich (*Schmollers Jahrbuch*). 1903; 1905; 1906. Jahrgang 27. Hft. 4; 29. Hft. 4; 30. Hft. 1.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по наукоучению».

Geleitwort // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1904. Bd. 19.

\*Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // Archiv für Sozialwissenschaft... 1904. Bd. 19. Hft. 1.

Idem. Schutterwald/Baden, 1995. Публиковалось также в «Сочинениях по наукоучению» и в кн. «Soziologie. – Weltgeschichtliche Analysen. – Politik».

Agrarstatistische und sozialpolitische Betrachtungen zur Fideikommißfrage in Preußen // Archiv für Sozialwissenschaft... 1904. Bd. 19. Hft. 3.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по социальной и экономической истории». Опубликовано в 8-м томе Полного собрания сочинений.

The Relations of the rural community to other Branches (*Deutsche Agrarverhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart: Vortrag für den internationalen Kongreß in St. Louis, 1904*) // Congress of art and science. Boston; New York. 1906. Vol. 7.

Обратный перевод на нем.яз.: Kapitalismus und Agrarverfassung // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1952. Bd. 108. Hft. 3.

Опубликовано в 8-м томе Полного собрания сочинений.

\*Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus: I. Das Problem // Archiv für Sozialwissenschaft... 1904. Bd. 20. Hft. 1.

\*Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus: II. Die Berufsidee des asketischen Protestantismus // Archiv für Sozialwissenschaft... 1905. Bd. 21. Hft. 1.

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Tübingen, 1934; München; Hamburg, 1965; Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus. Bodenheim, 1993; 2. Aufl. Weinheim, 1996;

Die protestantische Ethik: eine Aufsatzsammlung. I. München; Hamburg, 1965; 2. Aufl. München, 1969; 5. Aufl. Gütersloh, 1979; 8. Aufl. Gütersloh, 1991; Die protestantische Ethik: II. Kritiken und Antikritiken. München; Hamburg, 1968; Gütersloh, 1978; Die protestantische Ethik: I-II. München; Hamburg, 1972-1973; Gütersloh, 1981; Gütersloh, 1982.

Публиковалось также в «Сочинениях по социологии религии».

Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung in der deutschen Literatur des letzten Jahrzehnts // Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik. / Hrsg. J. Conrad. 1905. Bd. 28. Hft. 4.

\*Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik // Archiv für Sozialwissenschaft... 1906. Bd. 22. Hft. 1.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по наукоучению».

\*Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus // Frankfurter Zeitung. 1906. 13., 15. Apr. (*Osternummer*); Christliche Welt. 1906. 14., 21. Juni. (*несколько расширенный вариант*).

Во «Франкфуртской газете» опубликовано под названием «“Kirchen” und “Sekten”», в «Христианском мире» – «“Kirchen” und “Sekten”» in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze.

Переработанный вариант газетных статей впоследствии публиковался в «Сочинениях по социологии религии».

\*Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland // Archiv für Sozialwissenschaft... 1906. Bd. 22. Beilage zum Heft 1. (*Giwago S.J., Weber M. Zur Beurteilung der gegenwärtigen politischen Entwicklung Rußlands.*)

Rußlandbericht: 1. Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland. Koblenz, 1997.

Опубликовано в 10-м томе Полного собрания сочинений.

Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus // Archiv für Sozialwissenschaft... 1906. Bd. 23. Beilage zum Heft 1.

Rußlandbericht: 2. Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus. Koblenz, 1998.

Опубликовано в 10-м томе Полного собрания сочинений.

Zuschrift über die badische Fabrikinspektion // Frankfurter Zeitung. 1907. 24. Jan.

Опубликовано в 8-м томе Полного собрания сочинений.

Stammlers «Überwindung» der materialistischen Geschichtsauffassung // Archiv für Sozialwissenschaft... 1907. Bd. 24. Hft. 1.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по наукоучению»; там же опубликовано (впервые в 1922 г.): Nachtrag zu dem Aufsatz über R. Stammlers «Überwindung» der materialistischen Geschichtsauffassung.

Kritische Bemerkungen zu den «Kritischen Beiträgen» [von H.K.Fischer zur protestantischen Ethik] // Archiv für Sozialwissenschaft... 1908. Bd. 25. Hft. 1.

Впоследствии публиковалось в кн.: Die protestantische Ethik: II. Kritiken und Antikritiken.

Bemerkungen zu der «Replik» [von H.K.Fischer zur protestantischen Ethik] // Archiv für Sozialwissenschaft... 1908. Bd. 26.

Впоследствии публиковалось в кн.: Die protestantische Ethik: II. Kritiken und Antikritiken.

Der Fall Bernhard // Frankfurter Zeitung. 1908. 18., 22., 24. Juni; 10. Juli.

Die sogenannte «Lehrfreiheit» an der deutschen Universitäten // Frankfurter Zeitung. 1908. 20. Sept.

Kredit- und Agrarpolitik der preußischen Landschaften // Bankarchiv. 1908. № 6.

Die Grenznutzlehre und das «psychophysische Grundgesetz» // Archiv für Sozialwissenschaft... 1908. Bd. 27. Hft. 2.

Erhebungen über Auslese und Anpassung (Berufswahl und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie. 1908. (*Напечатано Комиссией Союза социальной политики на правах рукописи*).

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по социологии и социальной политике» под заглавием «Methodologische Einleitung für die Erhebungen über Auslese und Anpassung (Berufswahl und Berufsschicksal) der Arbeiterschaft der geschlossenen Großindustrie (1908)». Опубликовано в 11-м томе Полного собрания сочинений.

Zur Psychophysik der industriellen Arbeit: 4 Aufsätze // Archiv für Sozialwissenschaft... 1908-1909. Bd. 27. Hft. 3; Bd. 28. Hft. 1, 3; Bd. 29. Hft. 2.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по социологии и социальной политике». Опубликовано в 11-м томе Полного собрания сочинений.

\*Agrarverhältnisse im Altertum // Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 3. Aufl. Jena, 1908. Bd. 1.

Краткий вариант статьи был опубликован во втором издании словаря (Jena, 1898).

Energetische Kulturtheorien // Archiv für Sozialwissenschaft... 1909. Bd. 29. Hft. 2.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по наукоучению».

Zur Methodik sozialpsychologischer Enqueten und ihrer Bearbeitung // Archiv für Sozialwissenschaft... 1909. Bd. 29. Hft. 3.

Опубликовано в 11-м томе Полного собрания сочинений.

Von Adolf Webers Buch «Die Aufgaben der Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft» // Archiv für Sozialwissenschaft... 1909. Bd. 29. Hft. 2.

Antikritisches zum «Geist» des Kapitalismus // Archiv für Sozialwissenschaft... 1910. Bd. 30. Hft. 1.

Впоследствии публиковалось в кн.: Die protestantische Ethik: II. Kritiken und Antikritiken.

Antikritisches Schlußwort zum «Geist des Kapitalismus» // Archiv für Sozialwissenschaft... 1910. Bd. 31. Hft. 2.

Впоследствии публиковалось в кн.: Die protestantische Ethik: II. Kritiken und Antikritiken.

Geschäftsbericht // Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.-22. Oktober 1910 in Frankfurt / M. Tübingen, 1911.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по социологии и социальной политике» под заглавием «Geschäftsbericht und Diskussionenreden auf den deutschen soziologischen Tagungen (1910, 1912)».

\*Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik. München: Drei Masken Verlag, 1921. *(написано предположительно в 1911 г.)*

2. Aufl. München, 1924; Tübingen, 1972; публиковалось также в приложении к кн.: Wirtschaft und Gesellschaft. 4. Aufl. Tübingen, 1956; опубликовано в 14-м томе Полного собрания сочинений.

Über das «System Althoff» // Frankfurter Zeitung. 1911. 27. Okt.; 2., 10. Nov.

Die Handelshochschulen: Eine Entgegnung // Berliner Tageblatt. 1911. 29. Okt.

Denkschrift an die Handelshochschulen. (ноябрь 1911 г., неопубликовано).

Опубликовано Акира Хаяшима в его работе о М. Вебере в кн.: Kwansei Gakuin University Annual Studies. 1986. Vol. XXXV.

Äußerungen zur Werturteilsdiskussion. 1913. (Напечатано Комиссией Союза социальной политики на правах рукописи).

\*Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie // Logos, 1913. Bd. 4. Hft. 3.

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по наукоучению» и в кн.: «Soziologie. — Weltgeschichtliche Analysen. — Politik».

Redaktionelles Nachwort // Archiv für Sozialwissenschaft... 1914. Bd. 38. Hft. 2.

Zu dem redaktionellen Geleitwort // Archiv für Sozialwissenschaft... 1914. Bd. 39. Hft. 1.

Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen // Archiv für Sozialwissenschaft... 1915. Bd. 41. Hft. 1, 2. («Введение» (\*Einleitung) и первые разделы о конфуцианстве и даосизме написаны еще в 1913 г., опубликованы в сентябрьском выпуске, продолжение и «Промежуточное рассмотрение» (\*Zwischenbetrachtung) — в ноябрьском).

Впоследствии публиковалось в 1-м томе «Сочинений по социологии религии», «Введение» также в кн.: «Soziologie. — Weltgeschichtliche Analysen. — Politik»; опубликовано в 19-м томе Полного собрания сочинений.

Bismarcks Außenpolitik und die Gegenwart: I. Dreibund und Westmächte; II. Dreibund und Rußland // Frankfurter Zeitung. 1915. 25. Dez.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Zur Frage des Friedensschließens. (Написано в конце 1915 г., опубликовано посмертно).

Публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Zwischen zwei Gesetzen // Die Frau. 1916. Hft. 5.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Der verschärfte U-Boot-Krieg. (Памятная записка, март 1916 г.).

Публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Hinduismus und Buddhismus // Archiv für Sozialwissenschaft... 1916. Bd. 41. Hft. 5.

Впоследствии (вместе с продолжением) публиковалось во 2-м томе «Сочинений по социологии религии»; опубликовано в 20-м томе Полного собрания сочинений.

Deutschland unter den europäischen Weltmächten // Die Hilfe. 1916. 9. Nov.

Переработанный вариант опубликован в кн: Deutscher Kriegs- und Friedenswille (Die Hilfe. Sonderheft). Berlin, 1917

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Hinduismus und Buddhismus: // Archiv für Sozialwissenschaft... 1916. Bd. 41. Hft. 3; Bd. 42. Hft. 2. (Продолжение).

Deutschlands äußere und Preußens innere Politik: I. Die Polenpolitik; II. Die Nobilitierung der Kriegsgewinne // Frankfurter Zeitung. 1917. 25. Febr., 1. März.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Rußlands Übergang zur Scheindemokratie // Die Hilfe. 1917. 26. Apr.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Hinduismus und Buddhismus // Archiv für Sozialwissenschaft... 1917. Bd. 42. Hft. 3. (Продолжение).

Впоследствии полностью публиковалось во 2-м томе «Сочинений по социологии религии»; опубликовано в 20-м томе Полного собрания сочинений.

Eine katholische Universität in Salzburg // Frankfurter Zeitung. 1917. 10. Mai.

Deutscher Parlamentarismus in Vergangenheit und Zukunft: I. Die Erbschaft Bismarcks // Frankfurter Zeitung. 1917. 27. Mai.

Vergangenheit und Zukunft des deutschen Parlamentarismus: II. Beamtenherrschaft und politisches Führertum // Frankfurter Zeitung. 1917. 10. Juni.

Deutscher Parlamentarismus in Vergangenheit und Zukunft: III. Verwaltungs-öffentlichkeit und politische Verantwortung // Frankfurter Zeitung. 1917. 24. Juni.

Первоначально опубликовано как серия статей, годом позже переработанный и расширенный вариант в виде книги: \*Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens. Мюнхен; Leipzig, 1918.

Idem. Schutterwald/Baden, 1995; публиковалось также в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Zur Erklärung der Prager Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät // Archiv für Sozialwissenschaft... 1916. Bd. 41. Hft. 3.

Zwei Gesetzentwürfe zur Abänderung der Reichsverfassung: a) Aufhebung des letzten Satzes von Art. 9; b) die Einführung des Rechts des Reichstags auf Einsetzung von Enquetekommissionen betreffend. (Рукопись передана К. Гаусману, датируется 1 и 7 мая 1917 г.)



Позднее вышла статья: Die Abänderung des Artikles 9 der Reichsverfassung // Frankfurter Zeitung. 1917. 8. Sept.; опубликована в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Die Lehren der deutschen Kanzlerkrise // Frankfurter Zeitung. 1917. 7. Sept.  
Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений».

Vaterland und Vaterlandspartei // Münchener Neueste Nachrichten. 1917. 30. Sept.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Bayern und die Parlamentarisierung im Reich: I/II // Münchener Neueste Nachrichten. 1917. 15., 17. Okt.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Das antike Judentum // Archiv für Sozialwissenschaft... 1917. Bd. 44. Hft. 1.

Впоследствии публиковалось в 3-м томе «Сочинений по социологии религии».

\*Der Sinn der «Wertfreiheit» der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften // Logos. 1917. Bd. 7. Hft. 1. (*переработка прежней памятной записки [1913 г.]*).

Впоследствии публиковалось в «Сочинениях по наукоучению».

\*Wahlrecht und Demokratie in Deutschland. Berlin, 1917. (Der Deutsche Volksstaat: Schriften zur inneren Politik. Hft. 2.)

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

2. Denkschrift zur Frage des Friedensschließens aus Anlaß des Rüstungsarbeiterstreikes. (*датируется 4 февраля 1918 г., неопубликовано*).

Innere Lage und Außenpolitik // Frankfurter Zeitung. 1918. 3., 5., 7. Febr.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Das antike Judentum // Archiv für Sozialwissenschaft... 1918. Bd. 44. Hft. 2,3; Bd. 46. Hft. 1. (*Продолжение*).

\*Der Sozialismus. (*Доклад в Вене в июле 1918 г.*)

Впоследствии публиковался в «Сочинениях по социологии и социальной политике», а также выходил отдельными изданиями: Wien, [1918]; Wienheim, 1995; опубликовано в 15-м томе полного собрания сочинений.

Die nächste innerpolitische Aufgabe // Frankfurter Zeitung. 1918. 17. Okt.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Waffenstillstand und Frieden // Frankfurter Zeitung. 1918. 27. Okt.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 15-м томе Полного собрания сочинений.

Die Staatsform Deutschlands: I/II // Frankfurter Zeitung. 1918. 22., 24. Nov.  
Die deutsche Staatsform [Fortsetzung von: Die Staatsform Deutschlands]: III // Frankfurter Zeitung. 1918. 28., 30. Nov; 5. Dez.

*Серия статей, опубликованная затем как приложение к газете:*

\*Deutschlands künftige Staatsform. Frankfurt/M., 1919. (Zur deutschen Revolution: Flugschriften der Frankfurter Zeitung. 2. Hft. Sonderabdruck aus der Frankfurter Zeitung).

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 16-м томе Полного собрания сочинений.

Zum Thema der «Kriegsschuld» // Frankfurter Zeitung. 1919. 17. Jan.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 16-м томе Полного собрания сочинений.

\*Der Reichspräsident // Berliner Börsenzeitung. 1919. 25. Febr.

Впоследствии отредактированный и дополненный вариант публиковался в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 16-м томе Полного собрания сочинений.

Die Untersuchung der Schuldfrage // Frankfurter Zeitung. 1919. 22. März.

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 16-м томе Полного собрания сочинений.

Das antike Judentum // Archiv für Sozialwissenschaft... 1919. Bd. 46. Hft 2 (продолжение); Hft. 3 (окончание).

Впоследствии полностью публиковалось в 3-м томе «Сочинений по социологии религии».

\*Wissenschaft als Beruf. München; Leipzig: Duncker & Humblot, 1919. (Geistige Arbeit als Beruf: Vorträge vor dem Freistudentischen Bund. Erster Vortrag). (Первоначально доклад, 1918 г.)

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений», в «Сочинениях по наукоучению»; неоднократно выходило отдельными изданиями: 5. Aufl. Berlin, 1967; 6. Aufl. Berlin, 1975; 7. Aufl. Berlin, 1984; 8. Aufl. Berlin, 1991; 9. Aufl. Berlin, 1992; 10. Aufl. Berlin, 1996; Radebeul, 1990; Schutterwald/Baden, 1994; Stuttgart, 1995. Опубликовано в 17-м томе Полного собрания сочинений; там же опубликовано первое сообщение о докладе на эту тему 7 ноября 1917 г. в Мюнхене (Wissenschaft als Beruf // Münchner Neueste Nachrichten. 1917. 9. Nov.)

\*Politik als Beruf. München; Leipzig: Duncker & Humblot, 1919. (Geistige Arbeit als Beruf. Vier Vorträge vor dem Freistudentischen Bund. Zweiter Vortrag). (Первоначально доклад, 1918 г.)

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений», неоднократно выходило отдельными изданиями: 2. Aufl. München;

Leipzig, 1926; 4. Aufl. Berlin, 1964; 6. Aufl. Berlin, 1977; 8. Aufl. Berlin, 1987; 9. Aufl. Berlin, 1991; 10. Aufl. Berlin, 1993; Stuttgart, 1993; Schutterwald/Baden, 1995. Опубликовано в 17-м томе Полного собрания сочинений.

**\*Die Stadt: Eine soziologische Untersuchung // Archiv für Sozialwissenschaft...** 1921. Bd. 47. Hft. 3. *(Опубликовано посмертно, позднее включено в кн.: «Wirtschaft und Gesellschaft»).*

Опубликовано в 22-м томе Полного собрания сочинений (Teilbd. 5.)

**Wirtschaft und Gesellschaft // Tübingen: J.C.B.Mohr (P. Siebeck), 1921 (Grundriß für Sozialökonomik. Abt. 3.)** *(Опубликовано посмертно. Работа над этим трудом началась еще в 1909, ее описательные разделы возникли преимущественно до войны, первая понятийная часть в последние годы жизни, первые ее листы напечатаны осенью 1919 г., все остальные опубликованы посмертно.)*

2. erw. Aufl. Tübingen, 1924. Bd. 1-2. (Grundriß für Sozialökonomik. Abt. 3.); 3. Aufl. Tübingen, 1947. Bd. 1-2. (Grundriß für Sozialökonomik. Abt. 3.);

**Wirtschaft und Gesellschaft.** Tübingen, 1922; Tübingen, 1925; Berlin-Köln, 1956; Köln; Berlin, 1964. Hlbd. 1, 2; Studienausgabe. 5. Aufl. Tübingen, 1985.

**Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie.** 5. Aufl. Berlin, 1967; 5. Aufl. Tübingen, 1976; Tübingen, 1985; Tübingen, 1990; Tübingen, 2002.

**Wirtschaft und Gesellschaft; Grundriss der verstehenden Soziologie. Mit einem Anhang: Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik.** 4. Aufl. Tübingen, 1956.

Публикуется в 22-м томе Полного собрания сочинений.

На русский язык переведены разделы: **Soziologische Grundbegriffe.** (Kap. I. § 1-6) (публиковались также отдельными изданиями: **Soziologische Grundbegriffe.** Tübingen, 1960; 3. Aufl. Tübingen, 1976; 6. Aufl. Tübingen, 1984, и в «Сочинениях по наукоучению»); **Typen der Herrschaft.** (Kap. III.); **Religionssoziologie: Typen religiöser Veremeinschaftung.** (Kap. IV.); **Die Stadt.** (Kap. VII.).

**\*Wirtschaftsgeschichte. Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.** Aus den nachgelassenen Vorlesungen. Hrsg. S.Hellmann, M. Palyi. 2. Aufl. München; Leipzig: Duncker & Humblot, 1924.

1. Aufl. München; Leipzig, 1923; 3. Aufl. München; Leipzig, 1991.

\* \* \*

**\*Die Börse: I. Zweck und äußere Organisation der Börsen.** Göttingen, 1894. (Göttinger Arbeiterbibliothek. /Hrsg. F. Naumann. Bd. 1. Hft. 2, 3.)

**Die Börse: II. Der Börsenverkehr.** Göttingen, 1896. (Göttinger Arbeiterbibliothek. Bd. 2. Hft. 4, 5.)

Їубликовалось также в «Сочинениях по социологии и социальной политике» под заглавием: **Die Börse (1894);** опубликовано в 5-м томе Полного собрания сочинений.

Die Landarbeiter in den evangelischen Gebieten Norddeutschlands. Tübingen, 1902. Опубликовано в 4-м томе Полного собрания сочинений.

О Германии и свободной России // Русские ведомости. 1909. 17 (30) марта. Немецкий перевод: Über die Erneuerung Rußlands // Neue Badische Landeszeitung. 1909. 4. Apr.

Опубликовано в 10-м томе Полного собрания сочинений.

\*Das neue Deutschland // Frankfurter Zeitung. 1918. 1., 2. Dez. (газетное изложение доклада)

Впоследствии публиковалось в «Собрании политических сочинений»; опубликовано в 16-м томе Полного собрания сочинений.

Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. Eine soziologische Studie // Preußische Jahrbücher. 1922. Bd. 187. Hft. 1.

Опубликовано в 22-м томе Полного собрания сочинений (Teilbd. 4.)

\* \* \*

Aus den Schriften zur Religionssoziologie. Frankfurt/M., 1948.

Methodologische Schriften: Studienausgabe. Frankfurt/M., 1968.

Rationalisierung und entzauberte Welt: Schriften zu Geschichte und Soziologie. 1. Aufl. Leipzig, 1989.

Rechtssoziologie. Aus dem Manuskript hrsg. von J. Winckelmann. Neuwied, 1960; 2. Aufl. Neuwied a. Rh.; Berlin, 1967.

Schriften zur Sozialgeschichte und Politik. Stuttgart, 1997.

Schriften zur Soziologie. Stuttgart, 1995.

Schriften zur theoretischen Soziologie, zur Soziologie der Politik und Verfassung. Frankfurt/M., 1947; New York, 1968.

Schriften: 1894-1922. Stuttgart, 2002.

Soziologie und Sozialpolitik. 2. Aufl. Tübingen, 1988.

Soziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart, 1956. 5., überarb. Aufl. Stuttgart, 1973.

Soziologie, weltgeschichtliche Analysen, Politik. 4., erneut. Aufl. Stuttgart, 1968.

Soziologie. – Weltgeschichtliche Analysen. – Politik. 2. Aufl. Stuttgart, 1956; 5. Aufl., Stuttgart, 1967.

Staat. Gesellschaft. Wirtschaft: Quellentexte zur politischen Bildung aus Max Webers gesammelten Schriften. 4. Aufl. Tübingen, 1956; Heidelberg, 1967.

Staatssoziologie. Soziologie der rationalen Staatsanstaalt und der modernen politischen Parteien und Parlamente. 2. Aufl. Berlin, 1966.

\* \* \*

Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. / Hrsg. Mar.Weber. Tübingen, 1920-1921. Bd. 1-3; 2. Aufl. Tübingen, 1922-1923; 8. Aufl. Tübingen, 1986-1988; Bd. 1. 9. Aufl. Tübingen, 1988.

Bd. 1: \*Vorbemerkung. – \*Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. – \*Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus. – Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Vergleichende religionssoziologische Versuche. \*Einleitung. – Konfuzianismus und Taoismus. – \*Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung.

Bd. 2: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Hinduismus und Buddhismus.

Bd. 3: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Das antike Judentum. – Nachtrag. Die Pharisäer.

Предварительные замечания были написаны в 1920 г. специально для этого издания и относятся ко всему трехтомнику. Первый том был подготовлен к печати при жизни М.Вебера, вышел в свет, как и два других, после смерти автора.

Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. / Hrsg. Mar.Weber. Tübingen, 1924; 2. Aufl. Tübingen, 1988.

Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. / Hrsg. Mar.Weber. Tübingen, 1924; 2. Aufl. Tübingen, 1988.

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1922; 2. Aufl. Tübingen, 1951; 3. Aufl. Tübingen, 1968; 4. Aufl. Tübingen, 1973; 5. Aufl. Tübingen, 1982; 6. Aufl. Tübingen, 1985; 7. Aufl. Tübingen, 1988.

Gesammelte politische Schriften. / Hrsg. Mar.Weber. München, 1921; / Hrsg. J.Winckelmann. Tübingen, 1951; 2. Aufl. Tübingen, 1958; 3. Aufl. Tübingen, 1971; 4. Aufl. Tübingen, 1980. 5. Aufl. Tübingen, 1988.

**Gesamtausgabe.** Tübingen, 1984–.

Abt. 1. Schriften und Reden. Bd. 1-23.

Bd. 2. Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht: 1891. Tübingen, 1986.

Bd. 3. Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland: 1892. Halbbd. 1, 2. Tübingen, 1984.

Bd. 4. Landarbeiterfrage. Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik: Schriften und Reden 1892-1895. Halbbd. 1, 2. Tübingen, 1993.

Bd. 5. Börsenwesen: Schriften und Reden 1894-1897. Halbbd. 1, 2. Tübingen, 1999-2000.

Bd. 8. Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik: Schriften und Reden 1900-1912. Tübingen, 1998.

- Bd. 10. Zur Russischen Revolution von 1905: Schriften und Reden 1905-1912. Tübingen, 1989.
- Bd. 11. Zur Psychophysik der industriellen Arbeit: Schriften und Reden 1908-1912. Tübingen, 1995.
- Bd. 14. Die rationalen und sozialen Grundlagen der Musik. 1910-1920. Tübingen, 2004.
- Bd. 15. Zur Politik im Weltkrieg: Schriften und Reden 1914-1918. Tübingen, 1984.
- Bd. 16. Zur Neuordnung Deutschlands: Schriften und Reden 1918-1920. Tübingen, 1988.
- Bd. 17. Wissenschaft als Beruf: 1917/1919. – Politik als Beruf. 1919. Tübingen, 1992.
- Bd. 19. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus: Schriften 1915-1920. Tübingen, 1989.
- Bd. 20. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Hinduismus und Buddhismus: 1916-1920. Tübingen, 1996.
- Bd. 22. Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß: Schriften 1909-1920. Teilbd. 1: Gemeinschaften. Tübingen, 2001; Teilbd. 2: Religiöse Gemeinschaften. Tübingen, 2001; Teilbd. 5: Die Stadt. Tübingen, 1999.

Очередные тома собрания сочинений предполагается издать в 2004 и в последующие годы:

- Bd. 1. Zur Geschichte der Handelsgesellschaft im Mittelalter: Schriften 1889-1894.
- Bd. 6. Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Altertums: Schriften 1893-1909.
- Bd. 7. Zur Logik und Methodologie der Kultur- und Sozialwissenschaften: Schriften 1900-1907.
- Bd. 9. Asketischer Protestantismus und Kapitalismus: Schriften und Reden 1904-1911.
- Bd. 12. Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit: Schriften und Reden 1908-1920.
- Bd. 13. Hochschulwesen und Wissenschaftspolitik: Schriften und Reden 1908-1920.
- Bd. 18. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. – Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus: Schriften 1904-1920.
- Bd. 21. Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Das antike Judentum: Schriften und Reden 1917-1920.
- Bd. 22. Wirtschaft und Gesellschaft. Teilbd. 3: Recht; Teilbd. 4: Herrschaft; Teilbd. 6: Materialien und Register.
- Bd. 23. Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie: Unvollendet 1919-1920.

Отдельные тома Собрания сочинений выходили также как учебные издания (в сокращенном виде): Bd. 2: Studienausgabe. Tübingen, 1988; Bd. 8. Tübingen, 1999; Bd. 10. Tübingen, 1996; Bd. 11. Tübingen, 1998; Bd. 15. Tübingen, 1988; Bd. 16. Tübingen, 1991; Bd. 17. Tübingen, 1994; Bd. 19. Tübingen, 1991; Bd. 20. Tübingen, 1998. Bd. 22: Teilbd. 5. Tübingen, 2000.

Abt. 2. Briefe. Bd. 1-10.  
Bd. 5: Briefe 1906-1908. Tübingen, 1990.  
Bd. 6: Briefe 1909-1910. Tübingen, 1994.  
Bd. 7: Briefe 1911-1912. Halbbd. 1, 2. Tübingen, 1998.  
Bd. 8: Briefe 1913-1914. Tübingen, 2003.

Abt. 3. Vorlesungen. Bd. 1-7.

Предполагается публикация лекций из архивных фондов Берлина, Мюнхена, Гейдельбергского и Фрейбургского университетов; ранее кроме издания З. Хельмана и М. Пали 1923 г. опубликовано: Grundriß zu den Vorlesungen über allgemeine («theoretische») Nationalökonomie. Tübingen, 1990.

\* \* \*

Jugendbriefe. / Hrsg. Mar. Weber. Tübingen, 1925; Tübingen, 1936.

\* \* \*

Биржа и биржевые сделки. Одесса. 1897.

Биржа и ее значение. СПб., 1897.

Социальные причины падения античной культуры // Научное слово. Кн.7. М., 1904. *Опубликовано также в кн.: Избранное. Образ общества.* М., 1994.

Исторический очерк освободительного движения в России и положение буржуазной демократии. Киев, 1906.

Город. Пг., 1923. (*Переиздано в 2001 г.; в кн.: Избранное. Образ общества. опубликован другой перевод.*)

История хозяйства: Очерк всеобщей социальной и экономической истории. Издали по оставшимся лекциям С.Гелльман и М.Палий. Пг., 1923. (*Переиздано в 2001 г.*)

Аграрная история древнего мира. М., 1925.  
*То же.* М., Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

Хозяйственная этика мировых религий // Атеист. 1928. № 25.  
Протестантские секты и дух капитализма // Атеист. 1928. № 26.  
Протестантская этика и дух капитализма // Атеист. 1928. № 30.  
(Фрагментарные переводы без научного аппарата).

Протестантская этика. Ч. I; Ч. II–III. М.: ИНИОН АН СССР, 1972.

Наука как призвание и профессия // Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН АН СССР, 1979.

Исследования по методологии науки. Ч. I-II. М.: ИНИОН АН СССР, 1980.

Ч. I: Критические исследования в области логики наук о культуре. — Свобода от «оценочных суждений» в социологической и экономической науке.

Ч. II: «Объективность» познания в области социальных наук и социальной политики. — Основные социологические понятия. — О некоторых категориях понимающей социологии.

Макс Вебер и методология истории (Протестантская этика). Вып. 1-2. М.: ИНИОН АН СССР, 1985.

Вып.1: Предварительные замечания. — Протестантская этика и дух капитализма.

Вып.2: Профессиональная этика аскетического протестантизма. — Протестантские секты и дух капитализма.

Работы М.Вебера по социологии религии и идеологии. М.: ИНИОН АН СССР, 1985.

*Из содержания:* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. — Хозяйственная этика мировых религий. Введение. — Социология религии. (Типы религиозных сообществ).

Типы господства // Социологические исследования. 1988. № 5.

Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

*Из содержания:* Предварительные замечания. — Протестантская этика и дух капитализма: I. Постановка проблемы. II. Профессиональная этика аскетического протестантизма. — Протестантские секты и дух капитализма. — Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. — «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. — Критические исследования в области логики наук о культуре. — О некоторых категориях понимающей социологии. — Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке. — Основные социологические понятия. — Политика как призвание и профессия. — Наука как призвание и профессия.

Работы М.Вебера по социологии религии и культуре. Вып. 1-2. М.: ИНИОН АН СССР, 1991.

Вып. 1: Хозяйственная этика мировых религий. Введение. — Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира.

Вып. 2: Социология религии. (Типы религиозных сообществ).

Социализм // Вестник МГУ. Сер. 12. 1991. № 2.

О буржуазной демократии в России // Социологические исследования. 1992. № 3.

Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.



*Из содержания:* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. — Хозяйственная этика мировых религий: Попытка сравнительного исследования в области социологии религии. — Социология религии. (Типы религиозных сообществ). — Город. — Социальные причины падения античной культуры. — Рациональные и социологические основания музыки.

«Объективность» познания в области социальных наук и социальной политики // Культурология XX век: Антология. Философия и социология культуры. М.: ИНИОН РАН, 1994.

О некоторых категориях понимающей социологии // Западно-европейская социология XIX — начала XX веков. М., 1996.

Критические исследования в области логики наук о культуре. — «Объективность» познания в области социальных наук и социальной политики // Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995.

История хозяйства. — Город. М., Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

Политические работы (1895-1919). М.: Праксис, 2003.

*Из содержания:* Национальное государство и народнохозяйственная политика. — Избирательное право и демократия в Германии. — Парламент и правительство в новой Германии. — К политической критике чиновничества и партийной жизни. — Социализм. — Будущая государственная форма Германии. — Новая Германия. — Рейхспрезидент.

# Именной комментарий

**Аддамс** (Addams) Лаура Джейн (1860—1935), американская общественная деятельница, феминистка, одна из организаторов движения за социальные права, основатель (1889, Чикаго) и директор первой благотворительной организации по улучшению условий жизни неимущих иммигрантов (Халл-хаус), вице-президент Американской ассоциации за избирательное право женщин (1911—1914), президент Международной женской лиги за мир и свободу (1919—1929); лауреат Нобелевской премии мира (1931).

**Аксельрод** Павел Борисович (1850—1928), деятель революционного движения, один из основателей марксистской группы «Освобождение труда» (1883, Женева), член редакции «Искры» с 1900 г., один из лидеров меньшевистского крыла российской социал-демократии, в 1917 г. эмигрировал. Опубликованы мемуары, часть переписки.

**Алексис** (Alexis) Виллибальд (настоящее имя Георг Вильгельм Генрих Херинг) (1798—1871), немецкий писатель, критик, публицист. Автор исторических романов (два первых романа выдал за переводы В. Скотта), повестей, рассказов, серии биографий. Сотрудничал в периодической прессе, редактировал и издавал литературные журналы и альманахи.

**Альтгоф** (Althoff) Фридрих (1839—1908), прусский государственный служащий, профессор с 1872, сотрудник министерства культуры в 1897—1907 гг., с 1882 г. возглавлял отдел высшей школы, способствовал развитию науки, университетов, академических учреждений.

**Альтман** (Altmann) Самуэль Пауль (1878—1933), немецкий экономист, профессор с 1909 г., с 1910 — в Гейдельберге, автор исследования по теории стоимости денег, участвовал в подготовке «Словаря общественно-политических наук»; его жена **Альтман-Готтхейнер** (Gottheiner) Элизабет (1874—1930), немецкий экономист, деятель женского движения, издатель «Ежегодника женского движения» (1912—1921) и журнала «Neue Bahnen», основатель социальной женской школы, член союза немецких женских объединений.

**Андреев** Леонид Николаевич (1871—1916), русский писатель, прозаик, драматург, публицист. В повести «Красный смех» (1904), написанной во время русско-японской войны, символически показаны «безумие и ужас» войны. Немецкий перевод вышел в 1905 г.

**Андриан** (Andrian), Андриан-Варбург Леопольд Фердинанд, граф фон (1875—1951), австрийский писатель, дипломат, на дипломатиче-

ской службе с 1899 по 1918 г., был консулом в Варшаве, референтом по Польше в министерстве иностранных дел; друг С. Георге и Г. Гофманстала, в 1894—1901 гг. публиковался в «Листках об искусстве». В 1938 г. эмигрировал в Швейцарию.

**Анзорге** (Ansorge) Конрад (1862—1930), немецкий пианист, композитор, ученик Ф. Листа, автор симфоний, струнных квартетов, фортепьянных произведений, песен, выдающийся интерпретатор Бетховена, Шуберта, Шумана, Листа.

**Ансееле** (Anseele) Эдуард (1856—1938), бельгийский политический деятель, публицист, один из основателей Социалистической партии Бельгии (1885), деятель рабочего движения, организатор и лидер бельгийских рабочих товариществ, основатель первой бельгийской социалистической газеты «Vooruit», депутат парламента с 1894 г.

**Аристофан** (ок. 445 — ок. 385 до н. э.), древнегреческий драматург-комедиограф, поэт, «отец комедии», из 44 произведений сохранились 11, опубликованы на русском языке.

**Арко-Валлей** (Arco-Valley) Антон, граф фон (1897—1945), застрелил 21 февраля 1919 г. в Мюнхене баварского министр-президента К. Эйслера, следствием чего стало провозглашение Баварской Советской республики; в 1924 г. помилован; автор воспоминаний «5 лет в заключении» (1925).

**Арнсбергер** (Arnsberger) Карл Филипп Фридрих (1791—1853), немецкий государственный служащий, специалист лесного хозяйства, инспектор, советник, директор баденского лесного ведомства, с 1849 г. глава лесной инспекции Гейдельберга, участвовал в разработке нового баденского лесного законодательства, автор специальных работ, один из создателей «Баденского лесного журнала».

**Байст** (Baist) Готфрид (1853—1920), немецкий филолог, профессор романской филологии Фрейбургского университета, автор работ по испанской литературе и языку.

**Бакстер** (Baxter) Ричард (1615—1692), английский теолог, пуританский проповедник, участник Английской революции XVII в., развивал учение кальвинизма. Собрание сочинений в 4 томах издано в Лондоне в 1847 г., избранные произведения публиковались на немецком языке, неоднократно переводились на русский язык (в XIX в.).

**Бамбергер** (Bamberger) Людвиг (1823—1899), немецкий политический деятель, экономист, банкир, публицист. Участник революции 1848 г., был приговорен к смерти, бежал за границу; с 1853 г. возглавлял крупный банк в Париже; вернулся в 1866 г. Депутат рейхстага в 1871—1893 гг., лидер внутренней оппозиции против Бисмарка. В 1880 г. вышел из Национально-либеральной партии и образовал Сецессион, в 1884 г. вместе с партией прогрессистов основал Свободномыслящую партию. Доверенный советник Фридриха III во время 99-дневного царствования. Опубликованы сочинения в 5 томах, воспоминания.

**Бар** (Bar) Карл Людвиг фон (1836—1913), немецкий юрист, судья, преподаватель права, профессор уголовного права и гражданского

судопроизводства с 1866 г., с 1879 г. — в Геттингене, депутат рейхстага с 1890 г., автор словаря немецкого уголовного права (1882), учебника (1892), работ по частному, уголовному, международному праву, вопросам истории и реформирования гражданской юстиции, свободы слова; его жена Акселена (1847—1912), урожденная Блом.

**Барт** (Barth) Теодор (1849—1909), немецкий политический деятель, публицист, один из основателей демократического объединения (1908, с Г. Герлахом), основатель и издатель (в 1883—1907 гг.) политического журнала «Nation», депутат рейхстага в 1891—1903 гг.; автор книги о современных ему политических деятелях «Политические портреты» (1904). На русском языке издана книга «Обновление либерализма» (в соавторстве с Ф. Науманом).

**Басерманн** (Bassermann) Эрнст (1854—1917), немецкий политический деятель, юрист, депутат рейхстага в 1893—1903 гг., с 1898 г. лидер национал-либералов, с 1905 г. председатель Национал-либеральной партии.

**Баум** (Baum) Мария (1874—1964), немецкий политический деятель, педагог, деятель женского движения, член Германской демократической партии, в 1917—1919 гг. возглавляла социальную женскую школу в Гамбурге, депутат рейхстага в 1920—1921 гг., доцент Гейдельбергского университета, в 1933 г. отстранена от преподавания; автор воспоминаний.

**Баумгартены** (Baumgarten), семья: Карл Август Людвиг *Герман* (1825—1893), немецкий историк, публицист, профессор истории литературы с 1861 г., с 1878 — в Страсбурге, автор трудов, посвященных истории Испании (1865) и Карлу V (1885—1892), друг М. Вебера-старшего; его жена *Ида*, урожденная Фалленштейн (дочь Г.Ф. Фалленштейна и Эмилии Суше, сестра Елены Вебер); их дети, кузены и друзья М. Вебера: *Фриц*, преподаватель гимназии в Фрейбурге, филолог, его сын *Эдуард* (1899—1982), немецкий социолог профессор с 1940 г., в 1924—1929 гг. преподавал в США, автор работ об американском обществе, исследователь и издатель научного наследия М. Вебера; *Отто* (1854—1934), немецкий протестантский теолог, политический деятель, ведущий представитель протестантской теологии, профессор с 1890 г., автор научных трудов, в 1912—1921 гг. председатель Евангелическо-социального конгресса, член немецкой делегации в Версале, его жена (1878) *Эмилия* (1867—1879), урожденная Фалленштейн (внучка Г. Ф. и Бетти Фалленштейн), умершая через год после свадьбы; *Эмми* (1865—?).

**Бебель** (Bebel) Август (1840—1913), немецкий политический деятель, деятель германского и международного рабочего движения, выдающийся оратор, публицист, один из основателей (1869) и руководитель Германской социал-демократической партии и Социалистического интернационала, депутат рейхстага. Сочинения выдержали более 30 изданий, переводились на русский язык.

**Безелер** (Beseler) Карл Георг Кристоф (1809—1888), немецкий юрист, правовед, политический деятель, профессор в Берлине с 1859 г.

(главный ученик — О. Гирке), ректор Берлинского университета, депутат рейхстага в 1874—1881 гг., член верхней палаты парламента Пруссии (с 1875) и ее вице-президент в 1882—1887 гг. Автор научных трудов, воспоминаний (1884).

**Беккер** (Bekker) Эрнст Иммануил фон (1827—1916), немецкий юрист, правовед, профессор Гейдельбергского университета с 1874 г., специалист по римскому праву, автор ряда научных трудов, в 1857—1863 гг. печатался в «Ежегоднике общего немецкого права (Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts)».

**Бёклин** (Böcklin) Арнольд (1827—1901), швейцарский живописец, работал в Базеле, Париже, Мюнхене, Италии, профессор художественной школы в 1860—1862 гг.; автор пейзажей, аллегорических картин, картин на исторические и мифологические сюжеты; его творчество оказало влияние на формирование символизма и стиля модерн в Германии. Многие работы представлены в Галерее Шака (Мюнхен).

**Бёлау** (Böhlau) Елена (1859—1940), немецкая писательница, общественный деятель, автор романов и новелл из истории старого Веймара, участница борьбы за эмансипацию женщин. Сочинения в 9 томах опубликованы в 1929 г.

**Бём** (Böhm) Франц (1861—1915), баденский государственный деятель, юрист, в 1891 г. судья первой инстанции, с 1892 — прокурор, с 1897 г. сотрудник министерства, с 1911 — министр культов и преподавания; умеренный либерал.

**Бенекке** (Benecke) Эрнст Вильгельм (1838—1917), немецкий геолог, палеонтолог, профессор с 1869 г. в Гейдельберге, с 1872 — в Страсбурге, в 70-е годы член комиссии по геологическому исследованию имперских земель, автор работ по геологии Южных Альп и Южной Германии, издал геологическую карту окрестностей Гейдельберга, соредатор «Нового ежегодника минералогии, геологии, палеонтологии» с 1879 г.; его жена — *Эмилия* Фалленштейн, сестра Елены Вебер.

**Беннингсен** (Bennigsen) Рудольф Карл Вильгельм фон (1824—1902), немецкий политический деятель, юрист, инициатор основания Германского национального союза (1859) и его председатель (до 1867), один из основателей (в 1866 г., с Э. Ласкером) Национал-либеральной партии, президент прусской палаты депутатов в 1875—1879 гг., депутат рейхстага в 1867—1883, 1888—1898 гг.

**Беньян** (Bunyan) Джон (1628—1688), английский писатель, церковный деятель, проповедник; был арестован и провел 12 лет в заключении, где написал аллегорический роман «Путь паломника» (в русском переводе «Путешествие пилигрима»).

**Бернсторф** (Bernstorff) Иоганн Генрих, граф фон (1862—1939), германский государственный и политический деятель, дипломат, офицер, на дипломатической службе с 1890 г., в 1908—1917 гг. посол в США, в 1917—1918 — в Турции, с 1918 г. сотрудник Министерства иностранных дел, депутат рейхстага в 1921—1928 гг. (от демократической партии), в 1933 г. эмигрировал в Швейцарию; автор воспоминаний.

- Бетман-Гольвег** (Bethmann-Hollweg) Теобальд (1856–1921), германский государственный деятель, прусский министр внутренних дел в 1905–1907 гг., имперский статс-секретарь внутренних дел и заместитель рейхсканцлера в 1907–1909 гг., рейхсканцлер в 1909–1917 гг. (подал в отставку по требованию военного командования) и одновременно прусский министр-президент; книга «Размышления о мировой войне» издана на русском языке (под названием «Мысли о войне»).
- Бибул** Луций Кальпурний (? — 32 до н. э.), римский историк, внук Катона Утического, сражался вместе со своим отчимом Марком Юнием Брутом против Антония; по его воспоминаниям Плутарх написал биографию Брута.
- Бидерман** (Biedermann) Густав (1815–1890), немецкий теолог, автор работ по философии религии, основные труды — «Философия духа. Система философии» (1886), «Философия морали, права и религии» (1890).
- Блюхер** (Blücher) Гебхард Леберехт фон, князь Вальштатт (1814) (1742–1819), прусский военачальник, на военной службе с 1758 г., генерал-фельдмаршал и верховный главнокомандующий прусской армии с 1813 г., участник франко-прусской войны 1806–1807 гг., в 1813–1814 гг. главнокомандующий русско-прусской Силезской армией, нанесшей поражение французскому корпусу, в 1815 г. — прусско-саксонской армией, участие которой стало решающим в сражении при Ватерлоо; прозван русскими солдатами «маршал Вперед»; «Записки» (1813–1814) опубликованы на русском языке.
- Бодельшвинг** (Bodelschwingh) Фридрих фон (1831–1910), протестантский церковный деятель, евангелический теолог, пастор, основатель (1867–1877) и в ряде случаев руководитель благотворительных организаций (в том числе в Билефельде, на родине Веберов), которые стали образцом милосердия церковных учреждений, основатель первой колонии рабочих (1882), миссии в Восточной Африке, Теологической школы (1905).
- Боймер** (Bäumer) Гертруда (1873–1954), немецкий политический деятель, писательница, деятель женского движения, учитель, сотрудничала с Ф. Науманом и Т. Хейсом, работала в журналах «Die Hilfe», «Die Frau»; в 1916–1920 гг. руководитель социально-педагогического института в Гамбурге, автор многочисленных социальных и культурно-политических работ, а также романов из средневековой истории.
- Бокль** (Buckle) Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист, представитель географической школы в социологии. Основной труд — «История цивилизации в Англии» (1857–1861) — опубликован на русском языке (1861), переиздавался в двух переводах; переводились и другие сочинения.
- Бонус** (Bonus) Артур (1864–1941), немецкий евангелический теолог, писатель, автор произведений из старогерманской истории, издатель немецких баллад; священник в 1883–1904 гг., редактор журнала «Kunstwart» в 1917–1921 гг.

- Браун** (Braun) Генрих (1854–1927), немецкий политический деятель, один из лидеров социал-демократов, один из основателей органа Германской социал-демократической партии — журнала «Новое время» (1883, с К. Каутским и К. Либкнехтом), в 1888–1903 гг. издатель «Архива социального законодательства и статистики», «Анналов социальной политики и законодательства» (1891–1893), еженедельника «Новое общество» (1905–1907), депутат рейхстага в 1903/04 г.
- Браус** (Braus) Герман (1868–1924), немецкий анатом, профессор Гейдельбергского университета, автор работ по сравнительной гистологии, а также учебника по анатомии человека для студентов и врачей, вышедшего в 20-е годы двумя изданиями и переизданного в 1954 г.
- Брёгер** (Bröger) Карл (1886–1944), немецкий поэт, лирик, социал-демократический журналист, «рабочий писатель», из рабочих, затем редактор, автор стихотворных циклов, рассказов, автобиографических произведений.
- Брентано** (Brentano) Луйо (Людвиг Йозеф) (1844–1931), немецкий экономист, один из главных представителей катедер-социализма, профессор с 1871, в 1891–1917 гг. — в Мюнхене, иностранный член Петербургской академии наук (1895), один из основателей «Союза социальной политики» (1872, с Г. Шмоллером и А. Вагнером), автор многочисленных трудов по вопросам рабочего движения, экономической и социальной политике и экономической истории, автобиографии; на русском языке изданы трехтомная «История развития народного хозяйства Англии» (1930), «Аграрная политика» (1929).
- Брокдорф-Ранцау** (Brockdorff-Rantzau) Ульрих, граф фон (1869–1928), германский дипломат, юрист по образованию, на дипломатической службе с 1894 г., посланник в Дании в 1912–1918 гг., статс-секретарь иностранных дел в 1918–1919 гг., глава германской делегации на Парижской мирной конференции 1919 г., отказался подписать Версальский договор и в знак протеста подал в отставку; посол в СССР в 1922–1928 гг.
- Бруннер** (Brunner) Генрих (1840–1915), немецкий историк-медиевист, «классик немецкой истории права», профессор с 1868, в Берлине — в 1873–1915 гг., член Прусской академии наук (1884), иностранный член Петербургской академии наук (1908), сторонник общинной теории, автор работ по истории государства и права в Западной Европе эпохи раннего средневековья, блестящий знаток источников; основная работа — двухтомная «История германского права» выдержала два издания, сокращенное обобщенное изложение истории немецкого права (1901) переиздавалось в 1908–1930 гг. 7 раз.
- Бюлов** (Bülow) Бернхард Генрих Мартин фон (1849–1929), граф с 1899, князь с 1905, германский государственный деятель, дипломат, юрист по образованию, посланник в Румынии (1888–1893), посол в Италии (1893–1897), имперский статс-секретарь иностранных дел в 1897–1900 гг., рейхсканцлер и прусский министр-пре-

зидент в 1900–1908 гг., в 1914–1915 гг. чрезвычайный посол в Риме. «Германская политика» и воспоминания изданы на русском языке.

**Вагнер** (Wagner) Адольф Генрих Готхильф (1835–1917), немецкий экономист, политический деятель, профессор политической экономии и финансов с 1865, с 1870 – в Берлине, один из основателей «Союза социальной политики» (1872, с Г. Шмоллером и Л. Брентано), автор работ по теории денег, кредитному и банковскому делу, вопросам собственности, учебника политической экономии (в 6 томах), а также книги «Русские бумажные деньги» (1868), переведенной на русский язык

**Вагнер** (Wagner) Вильгельм Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижер, театральный деятель, музыкальный писатель, поэт, драматург (сам писал тексты своих опер), реформатор оперного искусства, участник революционного восстания в Дрездене (1849), после его подавления эмигрировал в Швейцарию, с 1864 г. в Мюнхене. На русском языке опубликованы мемуары, письма, дневники, книга о Бетховене, избранные статьи.

**Валленштейн** (Wallenstein) Альбрехт Евсевий Венцель фон (1583–1634), герцог, князь Фридландский с 1624 г., полководец, во время 30-летней войны 1618–1648 гг. имперский главнокомандующий (в 1625–1630 и 1632 г.), в 1632 г. потерпел поражение при Лютцене от шведского короля Густава II Адольфа; обвинен в измене и убит группой офицеров. Ему посвящены исследование Л. Ранке, трилогия Ф. Шиллера, а также его историческое сочинение «Тридцатилетняя война».

**Варбург** (Warburg) Макс Мориц (1867–1946), немецкий финансист еврейского происхождения, банкир, коллекционер, меценат; совладелец банка «Варбург» в Гамбурге, в 1919–1925 гг. член центральной комиссии, в 1924–1933 – генеральный советник рейхсбанка, участник Парижской конференции 1919 г. как специалист по финансовым вопросам, в 1938 г. эмигрировал в США, увез часть коллекции, насчитывавшей более 500 рукописей и автографов, в том числе Новалиса, Гофмана, Рильке, Пушкина.

**Вашингтон** (Washington) Талиафферо Букер (1856/58–1915), американский политический деятель, преподаватель, сын рабыни-мулатки и белого, провозгласил программу обучения негров сельско-хозяйственным наукам и ремеслам, с тем, чтобы подготовить негров для работы в торговле и промышленности с целью достижения экономической власти, что приводит к власти политической; основатель (1881) и директор индустриального института для негров в Алабаме; автор многочисленных публикаций, автобиографии.

**Веберы** (Weber), семья: *Давид Христиан*, прадед М. Вебера, основатель фирмы в Билефельде; его сын *Карл Август* и его жена *Люси Вильманс*, дед и бабушка М. Вебера; их дети: старший сын *Карл Давид* (?–1907), основатель фирмы в Эрлингхаузене; его дочери: *Анна* (1851–1870), замужем за *Эдуардом Шнитгером* (?–1903); их дочь *Марианна* (1870–1954), писательница, политический деятель, участница женского движения с 1898 г., в 1919–1923 гг. первый пред-



седатель Союза немецких женских объединений, член Демократической партии, двоюродная племянница и жена (1893) М. Вебера; *Герта*, жена предпринимателя *Карла Мёллера*; *Вина*, жена совладельца фирмы *Бруно Мюллера*, их сыновья *Георг* и *Карл*; младший сын Карла Августа – отец М. Вебера – *Макс* (1836–1897), юрист, политический деятель, депутат рейхстага, его жена (1863) *Елена* (1844–1919), урожденная Фалленштейн, их дети: *Макс* (Карл Эмиль Максимилиан) (1864–1920), его младшие братья и сестры: *Анна* (1866), умершая в младенчестве, *Альфред* (1868–1958), экономист, социолог, политолог, член Демократической партии, профессор Пражского (1904–1907) и Гейдельбергского (с 1907) университетов, разработал концепцию социологии истории и культуры, ряд работ издан на русском языке; *Карл* (1870–1915), архитектор, реставратор, ученик К. Шефера, профессор архитектуры в Данциге, Ганновере, погиб на фронте; *Елена* (1872–1876), умершая в 4 года, *Артур* (1874–?), офицер, *Клара* (1876–?), в детстве звавшаяся Меди, жена Эрнста Моммзена, *Лили* (1880–1920), жена Германа Шефера.

**Венк** (Wenck) Мартин (1862–?), немецкий политический деятель, автор работ «История национал-социалистов» (1905), «История и цели немецкой социалистической политики» (1908), книги о Ф. Наумане (1920).

**Виктория** (Александрина Виктория) (1819–1901), королева Великобритании с 1837 г., последняя представительница Ганноверской династии, мать Эдуарда VII и принцессы Виктории, жены императора Фридриха III, соответственно, Вильгельм II – ее внук.

**Виланд** (Wieland) Кристоф Мартин (1733–1813), немецкий писатель Просвещения, профессор Эрфуртского университета, переводчик Лукиана, Горация, Цицерона, Шекспира (полный перевод, первый в Германии), издатель журнала «Немецкий Меркурий» (1773–1810). Собрание сочинений составляет 53 тома; просветительский роман «Агатон», сатирический роман «Абдеритяне», поэма «Музарион», фантастическая поэма «Оберон» и другие произведения изданы на русском языке.

**Вильгельм I** (1797–1888), германский император с 1871 г., прусский король с 1861 г. (с 1858 г. регент при бездетном и душевнобольном брате Фридрихе-Вильгельме IV), второй сын Фридриха-Вильгельма III, из династии Гогенцоллернов; управление страной фактически находилось в руках О. Бисмарка.

**Вильгельм II** (1859–1941), германский император и прусский король в 1888–1918 гг., внук Вильгельма I, старший сын Фридриха III и английской принцессы Виктории, дочери королевы Виктории, из династии Гогенцоллернов; свергнут Ноябрьской революцией 1918 г., бежал в Нидерланды, 28 ноября 1918 г. отрекся от престола. На русском языке опубликованы переписка с Николаем II и мемуары.

**Вильсон** (Wilson) Томас Вудро (1856–1924), 28-й президент США (1913–1921), профессор истории и государственного управления, провел ряд либеральных законов, еще до вступления США в Первую мировую

войну (апрель 1917 г.) выдвинул идею послевоенного союза государств, т. н. «четырнадцать пунктов» (январь 1918 г.); лауреат Нобелевской премии мира (1927).

**Виндельбанд** (Windelband) Вильгельм (1848–1915), немецкий философ, профессор с 1876 г., в Гейдельберге — с 1903 г., глава баденской школы неокантианства; главные труды: «История новой философии» (в 2 томах, 1878–80, русский перевод 1902–05), «История древней философии» (1880, русский перевод 1893); переведены многие другие работы.

**Виндшейд** (Windscheid) Бернхард (1817–1892), немецкий юрист, правовед, профессор римского права (с 1947) в Базеле, Мюнхене, Гейдельберге, автор пользовавшегося огромной популярностью «Учебника пандектного права» (в 3 томах, 1862–1870), других работ; член комиссии по разработке проекта первого немецкого свода законов.

**Винклер** (Winckler) Йозеф (1881–1966), немецкий писатель, лирик, автор рассказов, один из основателей литературного общества (Бонн, 1912, с В. Ферсхофеном), издатель журнала «Nyland».

**Вихерн** (Wichern) Иоганн Хинрих (Генрих) (1809–1881), немецкий теолог, писатель и общественный деятель, основатель (в 1849 г.) «Центрального союза внутренней миссии», целью которого было утверждение христианских начал в обществе и оказание духовной и материальной помощи нуждающимся.

**Вольф** (Wolf) Гуго (1860–1903), австрийский композитор и музыкальный критик, представитель позднего романтизма, работал главным образом в жанре песни и романса (около 300), автор комической оперы, музыкальной драмы, симфонических и инструментальных произведений, ряда литературных сочинений.

**Вольфскель** (Wolfskehl) Карл (1869–1948), немецкий писатель, поэт, входил в кружок литераторов, возглавляемый его другом С. Георге, издал с ним сборник «Немецкая поэзия» (в 3 томах, 1901–1903), с 1894 г. сотрудничал в «Листках об искусстве»; автор лирических стихотворений, критических эссе, драм, переводов с английского и французского. В 1933 г. эмигрировал в Италию, с 1938 г. жил в Новой Зеландии.

**Вундт** (Wundt) Вильгельм Макс (1832–1920), немецкий философ, психолог, физиолог, языковед, профессор физиологии в Гейдельберге в 1864–1974, профессор философии в Лейпциге с 1875 г., основал первую в мире психологическую лабораторию (преобразованную позднее в институт экспериментальной психологии) в Лейпциге (1878). Автор работ «Психология народов» (в 10 томах), «Логика», «Этика», «Система философии», лингвистических исследований. Имеются многочисленные русские переводы.

**Гаазе** (Хаазе) (Haase) Гуго (1863–1919), немецкий политический деятель, один из лидеров германских социал-демократов, центрист, один из основателей и председатель Независимой социал-демократической партии Германии (1917), депутат рейхстага в 1897–1907, 1912–1918 гг.; во время Ноябрьской революции 1918 г. вместе с Ф. Эбертом председатель временного правительства,

содействовал подавлению рабочего движения. 8 октября 1919 г. был смертельно ранен психически больным, спустя 4 недели скончался.

**Гаммерштейн**, Гаммерштейн-Гесмольд (Hammerstein) Вильгельм, барон фон (1838–1904), немецкий политический деятель, землевладелец, депутат рейхстага в 1881–1890, 1892–1895 гг., главный редактор газет «Kreuzzeitung», «Neue Preußische Zeitung», в 1906 г. приговорен к 7 годам за подлог и мошенничество.

**Гарнак** (Harnack) Адольф фон (1851–1930), немецкий протестантский теолог, историк церкви, профессор с 1876 г., в 1888–1928 — в Берлине, член Прусской академии наук и автор ее истории (в 3 томах, 1900), возглавлял Прусскую государственную библиотеку (1905–1921), президент Евангелическо-социального конгресса в 1903–1911 гг., с 1911 г. президент основанного по его инициативе общества содействия науке императора Вильгельма (с 1948 г. — Общество Макса Планка); автор фундаментальных трудов по истории раннего христианства, христианской литературе и истории догматов; основная работа — «Сущность христианства» и ряд других переведены на русский язык.

**Гартман** (Hartmann) Лудо (Людвиг) Мориц (1865–1924), австрийский историк, политический деятель, посол в Берлине. Автор работ по средневековой истории Италии, истории XIX в., о прусско-австрийских отношениях, о Т. Моммзене. Книги «Об историческом развитии. Введение в историческую социологию», «Падение античного мира» изданы на русском языке.

**Гаусман** (Haußmann) Конрад (1857–1922), немецкий политический деятель, юрист, депутат рейхстага (1890–1922), лидер прогрессистов, в правительстве Макса Баденского статс-секретарь без портфеля, один из основателей Демократической партии (1918), председатель конституционной комиссии Веймарской республики, вице-президент национального собрания в 1919 г.

**Гаусрат** (Hausrath) Адольф (1837–1909), немецкий протестантский теолог, историк, профессор истории церкви в Гейдельбергском университете, писатель-беллетрист (под псевдонимом Джордж Тэйлор); автор трудов «Апостол Павел», «История времен Нового Завета», «Д. Штраус и теология его времени», книг о Арнольде Брешианском, Пьере Абеляре, М. Лютере, работа «Средневековые реформаторы» издана на русском языке. Его жена *Генриетта* Фалленштейн (1840–1895) — сестра Елены Вебер; их сыновья: *Август* (1865–1944), классический филолог, директор гимназии, *Ганс* (1866–1945), профессор, специалист лесного хозяйства.

**Гейдебранд унд дер Лаза** (Heydebrand und der Lasa) Эрнст фон (1851–1924), немецкий политический деятель, депутат рейхстага с 1903 г., в 1906–1918 гг. лидер консервативной фракции в прусской палате депутатов, «некоронованный король Пруссии» в годы Первой мировой войны, в 1918 г. отошел от политики.

**Гейссер** (Häußer) Людвиг (1818–1867), немецкий историк, политический деятель, профессор Гейдельбергского университета с 1850 г., автор работ по немецкой истории, истории революции, Реформа-

ции; один из основателей газеты «Deutsche Zeitung». Книги по истории Реформации и Французской революции переведены на русский язык.

**Гёльдерлин** (Hölderlin) Иоганн Кристиан Фридрих (1770—1843), немецкий поэт-романтик, поздний представитель «Бури и натиска»; переводчик с греческого, автор работ по эстетике. Изучал богословие одновременно с Г. Гегелем и Ф. Шеллингом, слушал лекции И. Фихте, был знаком с Ф. Шиллером и И.В. Гёте. Оказал влияние на немецкую поэзию XX в. Переписка представляет документ эпохи. Роман «Гиперион», философская трагедия «Смерть Эмпедокла» и другие произведения, ряд писем изданы на русском языке.

**Гельферих** (Helfferich) Карл (1872—1924), немецкий политический деятель, экономист, финансист, банкир; статс-секретарь финансов в 1915—1916 гг., статс-секретарь внутренних дел (1916), заместитель рейхсканцлера в 1917 г., лидер национальной народной партии с 1918 г., депутат рейхстага с 1920 г., дипломатический представитель в Москве в 1918 г.; директор Немецкого банка в Берлине (1908), президент рейхсбанка с 1923 г.; профессор, мировой авторитет по вопросам финансов и валютных ценностей, автор работ по денежному обращению и кредиту; главный труд «Деньги» (1903) за 20 лет выдержал 6 изданий; на русском языке опубликована книга «Развитие народного хозяйства Германии 1888—1913. Погиб в результате несчастного случая на железной дороге в Швейцарии.

**Ген** (Hehn) Виктор Амадей (1813—1890), историк искусства, преподаватель, в 1851 г. по политическим основаниям сослан в Тулу, в 1855—1873 гг. работал в публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, с 1874 г. в Берлине. Путешествовал по Швеции, Германии, Италии, Франции, Бельгии. Автор культурно-исторических работ и путевых очерков. Книги «Культурные растения и домашние животные в их переходе из Азии и Греции и Италию, а также в остальную Европу», «Италия: Взгляды и беглые заметки» изданы на русском языке.

**Георге** (George) Стефан (1868—1933), немецкий поэт, лирик, один из выдающихся представителей немецкого символизма, в 1890-е годы возглавлял кружок литераторов, сотрудничавших в основанном им журнале «Листки об искусстве» (1892—1919, 12 томов, переиздан в 1968 г.). Наряду с любовной лирикой писал стихи философского и религиозного плана. Произведения отмечены совершенством формы. В 1933 г. эмигрировал в Швейцарию, запретил хоронить себя в Германии. Имеются русские переводы.

**Гервег** (Herwegh) Георг (1817—1875), немецкий поэт, публицист, политический деятель, автор революционных песен, первый том стихов «Живой человек» за два года выдержал 5 изданий; один из ведущих авторов «Рейнской газеты», в 1839 г. эмигрировал в Швейцарию, с 1848 г. в Париже; был знаком с К. Марксом. М.А. Бакунин, А.И. Герценом (переводил его сочинения на немецкий). Избранные произведения опубликованы на русском языке.

- Гервинус** (Gervinus) Георг Готфрид (1805—1871), немецкий историк, литературовед, политический деятель, основатель культурно-исторической школы в немецком литературоведении, профессор с 1835 г., один из основателей (с Л. Гейссером) и редактор (до 1848) газеты «*Deutsche Zeitung*»; автор первого обобщающего труда по истории немецкой литературы (1835—1842), «Истории XIX в.» в 8 томах, книги о Шекспире (изданы, как и ряд других работ, а также автобиография на русском языке). Его жена (1836) **Виктория Шельфер** (1817—1893), музыкант, преподаватель музыки, автор работы «Естественное обучение пению и игре на рояле» (1892), издатель сочинений Гервинуса.
- Гёре** (Göhre) Пауль (1864—1928), немецкий политический деятель, протестантский теолог, пастор, вместе с Ф. Науманом основал в 1896 г. национал-социальную партию, в 1889 г. присоединился к социал-демократам, (его речь «Как пастор стал социал-демократом» разошлась тиражом пол-миллиона экземпляров), депутат рейхстага в 1903, 1910—1918 гг.; книга о жизни рабочих (три месяца работал на фабриках) переведена на русский язык.
- Геркнер** (Herchner) Генрих (1863—1932), немецкий экономист, представитель катедер-социализма, в 1917—1929 гг. председатель Союза социальной политики, профессор политической экономики (с 1898 в Цюрихе), издатель «*Züricher volkswirtschaftlichen Studien*», автор работ по истории промышленности, социальным реформам; книга «Рабочий вопрос» (1897) к 1902 г. выдержала 3 издания, переведена, как и ряд других работ, на русский язык.
- Герлах** (Gerlach) Гельмут фон (1866—1935), немецкий государственный и политический деятель, один из основателей национал-социальной партии (1896, с Ф. Науманом), демократического объединения (1908, с Т. Бартом), депутат рейхстага в 1903—1906 гг. В 1933 г. эмигрировал во Францию.
- Гертлинг** (Hertling) Георг, барон фон, граф с 1914 г. (1843—1919), немецкий политический и государственный деятель, депутат рейхстага в 1875—1890 и 1896—1912 гг., министр-президент Баварии в 1912—1917 гг., рейхсканцлер и прусский министр-президент в ноябре 1917 — сентябре 1918 г., ведущий представитель консервативного крыла центристов, один из лидеров партии католического центра; философ, историк философии, профессор в Мюнхене, автор работы «Право, государство и общество» (1906, переиздано в 1917), политических сочинений, книг об Аристотеле, Дж. Локке, Августине, воспоминаний.
- Гиббон** (Gibbon) Эдуард (1737—1794), английский ученый, первый профессиональный историк, его основной труд «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788) — основанное на детальном изучении источников подробное изложение политической истории Рима с конца II в. до падения Западной Римской империи и истории Византийской империи до 1453 г. с экскурсами в историю западноевропейского средневековья и России — стал классикой мировой историографии, переведен на большинство европейских языков; первый русский перевод вышел в 1883—1886 гг.

- Гильдебранд** (Hildebrand) Адольф фон (с 1904) (1847–1921), немецкий скульптор, классицист, теоретик искусства. Творчество складывалось под влиянием Г. Маре. Жил в Германии и Италии (с 1872 — во Флоренции). В 1880-е годы возглавил движение формалистов. Стремился добиться единства архитектуры и скульптуры. Автор статуй и рельефов. Книга «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893) переведена на русский язык (1914).
- Гинденбург** (Hindenburg) Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенкендорф и фон (1847–1934), германский военный и государственный деятель, участник австро-прусской войны 1866 г. и франко-прусской войны 1870–1871 гг., генерал-фельдмаршал (1914); во время Первой мировой войны командовал 8-й армией (с августа 1914 г.), с ноября 1914 г. войсками всего Восточного фронта, начальник Генерального штаба германской армии в 1916–1918 гг., фактически главнокомандующий вооруженными силами Германии, президент Германии с 1925 г., в 1932 г. вновь избран президентом, 30 января 1933 г. передал власть фашистам, поручив формирование правительства Гитлеру. Воспоминания опубликованы на русском языке.
- Гирке** (Gierke) Отто Юлиус фон (с 1891) (1841–1921), немецкий юрист, историк права, ученик Г. Везелера, ведущий немецкий правовед своего времени, открывший новую эпоху немецкого правоведения, последователь исторической школы права, профессор с 1872 г., с 1884 — в Гейдельберге, профессор истории германского права и гражданского права в Берлине с 1887 г., член Российской Академии наук с 1912 г. Главный труд — «Исследование по истории германского общинного права» в 14 томах (1866–1913) — остался незавершенным.
- Гис**, Хис (His) Вильгельм (1863–1934), немецкий медик, профессор с 1902 г. в Базеле, Геттингене, Берлине, директор первой медицинской клиники в Берлине. В 1893 г. описал специализированные мышечные волокна, участвующие в распространении импульсов, вызывающих ритмичные сокращения сердца (пучок Гиса). Автор научных трудов по проблемам кардиологии и обмена веществ и книги «Доктор на войне», переведенной на английский язык.
- Гнаук-Кюне** (Gnauck-Kühne) Элизабет (1850–1917), немецкий политический деятель, основала евангелическую социальную женскую группу (1894). В 1900 г. перешла в католичество, одна из основателей католического женского союза (1903); автор работ по правам женщин, воспоминаний (1910).
- Гнейст** (Gneist) Рудольф Генрих фон (1816–1895), немецкий юрист, политический деятель, профессор права (с 1845 г. в Берлине), депутат рейхстага в 1867–1884 гг., национал-либерал, один из основателей и первый президент «Союза социальной политики», в течение 25 лет председатель «Центрального союза для блага рабочего класса». Автор трудов по истории и современному устройству государственной и административной жизни Англии. На русском языке издана «История государственных учреждений» (1885). С его именем связано распространение термина «местное самоуправление». Преподавал основы конституционного права

кронпринцу (Вильгельму II). У него и Л. Гольдшмидта М. Вебер в 1889 г. писал диссертацию.

**Гогенцоллерны**, германский владетельный дом, известен с XI в., с 1227 — две линии: швабская и франконская, к которой принадлежит династия бранденбургских курфюрстов в 1415—1701, прусских королей в 1701—1918, германских императоров в 1871—1918 гг.; представители: Вильгельм I, Вильгельм II, Фридрих II Великий, Фридрих III, Фридрих Вильгельм III, Фридрих Вильгельм IV.

**Гольдшейд** (Goldscheid) Рудольф (1870—1931), немецко-австрийский социолог, философ, член Венского кружка научного миропонимания, один из основателей и президент Социологического общества в Вене (1907) и Немецкого общества социологии (1906); автор книг «Государственный социализм или государственный капитализм» (1917), «Социализация экономики» (1919).

**Гольдшмидт** (Goldschmidt) Левин (1829—1897), немецкий юрист, политический деятель, профессор в Гейдельберге и Берлине, депутат рейхстага с 1875 г., член Национал-либеральной партии. Автор работ по торговому праву. Основал «Журнал общего торгового права» (1858); член комиссии по составлению проекта гражданского уложения, участвовал в подготовке устава международно-третейского суда. У него и Р. Гнейста М. Вебер в 1889 г. писал диссертацию.

**Готейн** (Gothein) Эберхард (1853—1923), немецкий историк, профессор с 1885 г., с 1904 — в Гейдельберге, автор работ, посвященных главным образом вопросам социально-политической, экономической, религиозной и культурной истории Германии XV—XVII вв., а также истории Италии.

**Готтль** (Gottl, Gottl-Ottlilienfeld) Фридрих фон (1868—1958), немецкий экономист австрийского происхождения, профессор с 1904 г. в Мюнхене, Гамбурге, Киле, Берлине, автор исследований в теоретическом, историческом, социологическом аспектах, книг «Экономика и наука», «Экономическая политика и теория».

**Гофман** (Hoffmann) Макс (1869—1927), немецкий военный деятель, генерал-майор (1917), военный атташе в России, с 1899 г. начальник русского отдела Генерального штаба, представитель германского командования при штабе 1-й японской армии во время русско-японской войны, эксперт Генерального штаба Восточного фронта с 1916 г., начальник штаба Восточного фронта в 1917 г., участник Парижской мирной конференции 1919 г., представлял высшее военное руководство на переговорах в Брест-Литовске; автор военно-исторических работ. На русском языке издана книга «Война упущенных возможностей».

**Гофмансталь** (Hoffmannstal) Гуго фон (1874—1929), австрийский писатель, поэт, драматург, эссеист, переводчик, литературный критик, либреттист (писал прежде всего для Р. Штрауса; переписка с ним опубликована в 1926 г.), крупнейший представитель неоромантизма и символизма в австрийской литературе, сотрудничал с М. Рейнхардтом, вместе с ним основал ежегодный Зальцбургский фестиваль.

Эстетические взгляды нашли отражение в книге «Поэт и наше время». Драммы опубликованы на русском языке.

**Грабовски** (Grabowsky) Адольф (1880—1969), немецкий геополитик, публицист, юрист, один из основателей немецкой геополитической школы, профессор Берлинского института политики, основал журнал «Геополитика» (1924), глава Геополитического общества с 1924 г., в 1937 г. основал в Базеле «Архив мировой политики» и возглавлял его; автор около 20 книг и статей по геополитике.

**Гребер** (Greber) Юлиус (1868—1914, немецкий юрист, писатель: судебный советник и государственный защитник в Страсбурге, основатель и первый директор Эльзасского театра, автор пьес, в основном юмористических, а также лирических и эпических произведений.

**Груле** (Gruhle) Ганс Вальтер (1880—1958), немецкий психолог и психиатр, ученик Э. Крепелина, профессор Гейдельбергского университета с 1919 г., в 1946—1952 гг. руководитель психиатрической клиники Боннского университета. Автор работ по истории психологии, понимающей психологии, психиатрии, психопатологии, по вопросам криминальной психологии, учебников, словаря судебной психиатрии.

**Грюневальд** (Grünewald) (настоящая фамилия Нитхардт) Маттиас (1470/1475—1528), немецкий живописец эпохи Возрождения, в 1508—1525 гг. придворный живописец, художественный советник, архитектор и специалист-гидротехник майнцских архиепископов и курфюрстов; главное произведение — Изенхеймский алтарь (1512—1515).

**Гундольф** (Gundolf) Фридрих (настоящее имя Фридрих Леопольд Гундельфингер) (1880—1931), немецкий историк литературы, писатель, эссеист, поэт, профессор в Гейдельберге с 1916 г., входил в кружок С. Георге, с 1899 г. сотрудничал в «Листках об искусстве», автор книг о Гёте, Георге, Шекспире (и переводчик Шекспира), Цезаре, некоторые из них переиздавались более 10 раз. Германская академия немецкого языка и литературы учредила премию Ф. Гундольфа за распространение немецкой культуры за рубежом.

**Густав II Адольф** (1594—1632), шведский король с 1611 г., полководец, военный реформатор, внес огромный вклад в развитие военного дела, вел войны с Данией, Россией, Польшей, с 1630 г. участвовал в Тридцатилетней войне 1618—1648 гг., погиб 16 ноября в сражении при Лютцене, где шведские войска одержали победу над Валленштейном.

**Дальман** (Dahlmann) Фридрих Кристоф (1785—1860), немецкий историк, политический деятель, профессор с 1812 г., автор фундаментального библиографического справочника по немецкой истории (1830, в 1869 г. переработан и дополнен, в 1972 г. вышло десятое издание), ставшего важнейшим библиографическим пособием по истории Германии. Автор работ по истории английской и французской революций, выдержавших за 20 лет по 6 и 3 издания соответственно, 3-томной истории Дании, не потерявшей своего значения до сего времени.

**Дейсманн** (Deissmann) Густав Адольф (1866—1937), немецкий протестантский теолог, профессор с 1897 г. в Гейдельберге, в 1908—1934 гг. —



в Берлине, специалист по Новому Завету, один из основателей и ведущий представитель экуменического движения, автор работ по библеистике, книги «Свет из древнего Востока» (1908, выдержала 4 издания).

**Дельбрюк (Delbrück)** Ганс Готлиб Леопольд (1848–1929), немецкий военный историк и политический деятель, депутат рейхстага в 1884–1890 гг., ученик Г. Зибеля, профессор Берлинского университета в 1885–1921 гг., редактор «Прусского ежегодника» в 1883–1919 гг. (до 1889 г. совместно с Г. Трейчке), автор исторических и политических сочинений, «Всемирной истории» (в 5 томах, 1923–28); его 7-томная «История военного искусства в рамках политической истории», охватывающая события с древности до франко-прусской войны 1870–1871 гг., содержащая огромный фактический материал и основанная на изучении многочисленных источников, переведена на русский язык.

**Демель (Dehmel)** Рихард (1863–1920), немецкий писатель, поэт-лирик, в 1914 г. добровольцем ушел на фронт, автор сборников стихов, поэм, драм, стихотворного романа, военных дневников; на русском языке вышло двухтомное собрание сочинений.

**Дернбург (Dernburg)** Бернхард (1865–1937), немецкий государственный и политический деятель, с 1801 г. директор банка в Берлине, в 1906 г. руководитель колониального отдела в МИДе, с 1907 г. статс-секретарь нового министерства колоний, вице-канцлер и министр финансов в 1919 г., депутат рейхстага в 1919–1930 гг., один из лидеров Германской демократической партии.

**Джефферсон (Jefferson)** Томас (1743–1826), американский государственный и общественный деятель, просветитель, 3-й президент США в 1800–1809 гг., губернатор Вирджинии в 1779–1781 гг., посланник США в Париже в 1785–1789 гг., государственный секретарь в 1790–1793 гг. при Дж. Вашингтоне (первый государственный секретарь США), вице-президент в 1796–1800 гг., автор проекта Декларации независимости США; председатель Американского философского общества в 1797–1815 гг., инициатор создания и ректор (1819–1826) Вирджинского университета; его книжное собрание положило начало Библиотеке Конгресса.

**Джорджоне (Giorgione)** (настоящее имя Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) (1476/1477–1510), итальянский живописец венецианской школы, один из основоположников искусства Высокого Возрождения, певец и музыкант; был близок к кругу венецианских гуманистов. Картина «Концерт» («Сельский концерт»), написанная ок. 1508–1510 г. (по мнению некоторых исследователей была завершена его учеником Тицианом) в начале XX в. находилась в галерее Палаццо Питти во Флоренции, впоследствии — в Лувре.

**Дидерихс (Diederichs)** Ойген (1867–1930), немецкий издатель, в 1896 г. основал издательство во Флоренции, в 1897 г. перевел его в Лейпциг, в 1904 — в Йену; публиковал книги М. Метерлинка, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, работы по истории и теории культуры, собрания документов.

- Дильтей** (Dilthey) Вильгельм (1833–1911), немецкий философ и историк культуры, основатель и виднейший представитель «философии жизни», основатель философской герменевтики, понимающей психологии, профессор в Базеле, Киле, Бреслау, Берлине. Автор трудов по истории немецкой философии, литературы, музыки. Многие сочинения переведены на русский язык.
- Дитерих** (Dieterich) Альбрехт (1866–1908), классический филолог, религиовед, профессор с 1897 г., с 1903 — в Гейдельберге, занимался античной культурой, историей религии, мифологией. Книга «Мать Земля» (1905) трижды переиздавалась.
- Дове** (Dove) Альфред Вильгельм (1844–1916), немецкий историк, журналист, ученик Л. Гейссера, Л. Ранке, профессор с 1874 г., автор «Истории Германии времен Фридриха Великого», биографических эссе, редактор журнала «Grenzboten», газеты «Allgemeine Zeitung», издатель трудов Л. Ранке.
- Домашевски** (Domaszewski) Альфред фон (1856–1927), немецкий историк древнего мира, профессор Гейдельбергского университета с 1887 г., автор работ по римской военной истории; главный труд — «История римских императоров» (1909). Занимался публикацией источников по истории Древнего Рима.
- Дриандер** (Dryander) Эрнст Герман фон (1843–1922), немецкий протестантский теолог, последний главный придворный проповедник в Берлине в 1898–1918 гг., был в тесных отношениях с императорской семьей, другом и советником Гогенцоллернов. Многие проповеди, а также воспоминания опубликованы.
- Дриш** (Driesch) Ганс Адольф Эдуард (1867–1941), немецкий биолог и философ, зоолог по образованию, к философии обратился в 1905 г., профессор в Гейдельберге с 1911 г., в 1920 — в Кельне, в 1921–1933 — в Лейпциге. Автор работ по философии науки, а также воспоминаний. Книга «Витализм, его история и система» издана на русском языке.
- Дун** (Duhn) Фридрих Карл фон (1851–1930), немецкий археолог, профессор Гейдельбергского университета с 1880 г. и до конца жизни, занимался греческими и римскими памятниками, автор работ об Акрополе, римском строительном искусстве, некрополях, книги «Помпеи».
- Дункер** (Duncker) Макс (Максимилиан) (1811–1886), немецкий историк античности, политический деятель, профессор с 1842 г. Участник революции 1848 г. Директор Прусского государственного архива в 1867–1874 гг. Автор фундаментальной «Истории древности» (в 7 томах, в 1878–1882 гг. вышло 5-е издание). Опубликована также политическая переписка.
- Екатерина Сиенская**, Катарина Бенинказа (1347–1380), монахиня-доминиканка, мистик, святая католической церкви, покровительница Италии, канонизирована в 1461 г.
- Еллинек** (Jellinek) Георг (1851–1911), немецкий юрист, профессор с 1883 г. в Вене, Базеле, Гейдельберге (с 1891), автор основополагающих трудов по государственному и гражданскому праву; русский перевод книги «Общее учение о государстве» неоднократно переизда-

вался, переведена также работа «Социально-этическое значение права, неправды и наказания». Его жена (1883) *Камилла* Вертхейм (1860–1940), юрист, публицист, деятель женского движения, член Союза немецких женских объединений, с 1907 г. — председатель его правовой комиссии, автор работ по вопросам права, а также книги «Женское движение в Германии» (1921). В книге упомяната их дочь Дора, в замужестве (1911) Буш.

**Жамм** (Jammes) Франсис (1868–1938), французский поэт, автор поэтических сборников, лирических и психологических романов, воспоминаний, его переводили И. Анненский, В. Брюсов, И. Эренбург, на русском языке опубликован сборник «Стихи и проза» (1913).

**Зальц** (Salz) Артур (1881–1963), немецкий экономист, социолог, профессор Гейдельбергского университета с 1917 г., в 1933 г. преподавал в Кембридже; основная работа «Сущность империализма» (1931). В 1934 г. эмигрировал в США.

**Зеринг** (Sering) Макс (1857–1939), немецкий экономист, ведущий исследователь аграрной политики в Германии, профессор с 1885 г. в Берлине, с 1889 — в Бонне, в 1897–1925 гг. заведующий кафедрой политической экономии, в 1922 г. основал Немецкий институт сельского хозяйства и поселений (закрыт в 1934 г.)

**Зибек** (Siebeck) Пауль (1855–1920), немецкий издатель; унаследованное от отца издательство и приобретенное издательство «J.C.B. Mohr» в Гейдельберге превратил в значительное научное издательство в Тюбингене (1877, название было сохранено), специализирующееся на книгах по философии, теологии, истории, социологии, юриспруденции, политической экономии. С 1886 г. член Немецкого союза издателей, в 1892/93 г. — его председатель. Издатель М. Вебера; в издательстве «Mohr» сочинения Вебера публиковались и при наследниках П. Зибека.

**Зибель** (Sybel) Генрих фон (1817–1895), немецкий историк и политический деятель, примыкал к национал-либералам, депутат рейхстага с 1867 г., ученик Л. Ранке, профессор с 1848 г., основатель журнала «Historische Zeitschrift» (1859), директор Прусского государственного архива с 1875 г. На русском языке опубликованы «История французской революции» и другие работы.

**Зигхарт** (Sieghart) (настоящая фамилия Зингер) Рудольф, австрийский экономист, финансист, политический деятель, сотрудник министерства финансов с 1895 г., автор работ по истории Австрии, таможенной политике, статистике, воспоминаний о политических деятелях.

**Зиммель** (Simmel) Георг (1858–1918), немецкий философ, социолог, культуролог, основоположник т. н. формальной социологии, представитель «философии жизни», профессор в Берлине с 1901, в Страсбурге с 1914 г. Вместе с В. Зомбартом, Ф. Тённисом, М. Вебером основал Немецкое социологическое общество (1909). Оказал большое влияние на развитие социологии в Германии и США. Многие работы переведены на русский язык. Его жена (1900) *Гертруда* Кинель, писательница (под псевдонимом Мария Луиза Энкендорф), участница женского движения, автор научно-популярных философских работ (под своим именем).

- Зоден** (Soden) Герман, барон фон (1852–1914), немецкий протестантский теолог, библиист, профессор, специалист по Новому Завету, провел огромную исследовательскую работу по подготовке издания греческого текста Нового Завета (1902–1910).
- Зомбарт** (Sombart) Вернер (1863–1941), немецкий экономист, историк культуры и социолог, профессор с 1890 г., с 1906 – в Берлине. Вместе с Ф. Тённисом, Г. Зиммелем, М. Вебером основал Немецкое социологическое общество (1909). Русский перевод (1902) работы «Социализм и социальное движение в XIX в.» (1896), переведенной на многие языки, до 1905 г. выдержал пять изданий; на русском языке изданы также его главный труд «Современный капитализм» (1903), «Буржуа» (1913) и многие другие сочинения.
- Иеринг** (Ihering) Рудольф фон (1818–1892), немецкий юрист, правовед, философ права, профессор в Базеле, Вене, Геттингене, специалист по римскому праву, основатель реалистической (прагматической) школы права; главные труды «Дух римского права», «Борьба за право» (15 изданий к 1903 г.), «Цель в праве», «Об основах защиты собственности» переведены на русский язык.
- Йолли** (Jolly) Юлиус (1823–1891), немецкий юрист, государственный деятель, публицист, законовед, профессор Гейдельбергского университета с 1857 г., с 1861 г. советник баденского министерства внутренних дел, в 1866–1868 гг. – баденский министр внутренних дел, в 1868–1876 – баденский государственный министр.
- Кальвин** (Calvin) Жан (1509–1564), французский деятель Реформации, основатель протестантского вероучения – кальвинизма. Склонился к протестантизму под влиянием проповедей Лютера. Главное сочинение – «Наставление в христианской вере», перевод которого с латыни сыграл большую роль в развитии французского литературного языка (имеется русский перевод, 1997–1999). Став с 1541 г. фактически диктатором Женевы, превратил ее в один из центров Реформации. Отличался крайней нетерпимостью как к католицизму, так и к реформационным течениям.
- Каниц** (Kanitz) Ганс Вильгельм Александр, граф фон (1841–1913), немецкий политический деятель, депутат рейхстага с 1869 г., член Германской консервативной партии, опубликовал ряд работ по вопросам экономики.
- Канторович** (Kantorowicz) Герман Ульрих (1877–1940), немецкий историк права, социолог, занимался критикой средневековых источников; в 1933 г. эмигрировал в Великобританию, публиковался в основном на английском языке.
- Капелле** (Capelle) Эдуард Карл Эрнст фон (1855–1931), немецкий военный деятель, с 1872 г. на флоте, с 1897 г. сотрудничал с А. Тирпицем, адмирал (1913), в 1914–1915 гг. помощник статс-секретаря, в 1916–1918 – статс-секретарь имперского морского ведомства.
- Капп** (Kapp) Вольфганг (1858–1922), немецкий политический деятель, землевладелец, журналист, сын Ф. Каппа, организатор с Э. Людендорфом и В. Лютвицем Капповского путча – контрреволюционного переворота в Германии в марте 1920 г. 13 марта был занят Берлин, правительство объявлено низложенным, образован

кабинет во главе с Каппом. Путч был ликвидирован 17 марта, Капп бежал. После двух лет пребывания в Швеции предстал перед судом по обвинению в государственной измене, умер во время следствия.

**Капп** (Карр) Фридрих (1824—1884), немецкий политический деятель, публицист, историк, участник революции 1848 г., эмигрировал в Америку (до 1850 г.), депутат рейхстага с 1872 г., автор книг по истории США, истории рабства, немецкой и европейской иммиграции в Америке, истории немецкой и немецко-американской книготорговли и книгоиздания.

**Каприви** (Caprivi) Георг Лео (Леопольд) де Карпера ди Монтечукколи, граф (1891) фон (1831—1899), германский государственный и военный деятель, рейхсканцлер в 1890—1894 гг., прусский министр-президент в 1890—1892 гг., на военной службе в 1849—1890 гг., генерал, член генерального штаба в 1860—1883 гг., сыграл значительную роль в франко-прусской войне 1870—1871 гг., военно-морской министр в 1883—1888 гг.

**Кар** (Kahr) Густав, риттер фон (1911) (1862—1934), немецкий политический деятель, монархист, глава правительства Верхней Баварии в 1917—1924 гг., баварский министр-президент в 1920/1921 г., генеральный стаст-секретарь в 1923 г., убит национал-социалистами в Мюнхене во время «ночи длинных ножей».

**Карлейль** (Carlyle) Томас (1795—1881), английский публицист, историк, философ, историк литературы, писатель, изучал и пропагандировал немецкую литературу и философию, переводил Гёте и немецкие романтические повести, автор «Истории Фридриха Великого» (1858—1865), статей о Гёте, автор биографии Шиллера (1821), изданной на немецком языке и получившей высокую оценку Гёте; переписывался с Гёте. Имеются русские переводы.

**Каролинги**, королевская (сменившая Меровингов в 751) и императорская (с 800) династия во Франкском государстве, названа по имени Карла Великого, после распада империи которого (843) Каролинги правили в образовавшихся королевствах: в Италии — до 887 г., в Германии — до 911, во Франции — до 987 г.

**Катилина** Луций Сергей (ок. 108—62 до н. э.), римский политический деятель, организовал заговор с целью насильственного захвата власти после очередного провала на консульских выборах 64 г. до н. э. (был избран Цицерон), его сторонники были схвачены и казнены, сам Катилина погиб в битве против консульской армии. Знаменитая «Речь против Катилины» Цицерона и книга Саллюстия «О заговоре Катилины» переведены на русский язык.

**Катон** Марк Порций Старший (234—149 до н. э.), римский писатель, государственный деятель, друг Цицерона, противник Цезаря; первый римский историк, писавший на латинском языке, сочинение «Начала» (история Рима и других итальянских городов) не сохранилось, целиком сохранился трактат «Земледелие», опубликованный на русском языке.

**Катулл** Гай Валерий (ок. 84 — ок. 54 до н. э.), римский поэт, друг Цицерона, противник Цезаря. Его творчество оказало влияние на раз-

витие римской и европейской поэзии. Из наследия сохранилось 116 произведений. Неоднократно переводился на русский язык, первые переводы принадлежат А. Фету.

**Каутский** (Kautzky) Карл (1854–1938), один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог центризма, публицист, экономист, чех по происхождению, автор ряда теоретических, экономических, исторических работ, все главные труды переведены на русский язык.

**Кей** (Key) Эллен Каролина Софья (1849–1926), шведская писательница, педагог, общественный деятель, участница движения за эмансипацию женщин, в 1883–1903 гг. лектор по истории литературы в Стокгольмском институте рабочих; была в дружеских отношениях с Рильке. Автор многочисленных работ по вопросам женского движения и воспитания детей, в том числе книги «Век ребенка» (1900, русский перевод 1905), получившей широкую известность в начале XX в.; переведены и другие работы.

**Кёрнер** (Körner) Карл Теодор (1791–1813), немецкий писатель, драматург, поэт-романтик, участник войны 1813 г. против Наполеона, в марте вступил в добровольческий корпус А. Лютцова, в августе погиб в бою, «певец Освободительной войны»; сборник «Лира и меч» (стихи 1812–13 гг.) был издан его отцом в 1814 г. Имеются русские переводы.

**Кистяковский** Богдан (Федор, Теодор) Александрович (1868–1920), правовед, философ, социолог, изучал философию у Г. Зиммеля и В. Виндельбанда, профессор Киевского университета с 1917 г., декан юридического факультета Киевского университета. Главные работы посвящены методологическим вопросам социологии.

**Клара Ассизская** (1194–1253), монахиня, последовательница Франциска Ассизского, основательница ордена кларисс, около 40 лет возглавляла созданную ей общину, святая, канонизирована в 1255 г.

**Клебс** (Klebs) Георг (1857–1918), немецкий ботаник, профессор с 1887 г., в Гейдельберге – с 1907 г., один из основоположников физиологии развития растений, предпринимал научные экспедиции по Яве и Индии (1910–1911), Кавказу и южной России (1912), Египту (1913), автор работ по систематике, морфологии, онтогенезу растений, теоретических работ. В книге ошибочно назван Отто.

**Кленау** (Klempau) Пауль Август фон (1883–1946), датский дирижер, композитор, автор многочисленных опер на исторические сюжеты, симфонических, хоровых, камерных произведений.

**Клингер** (Klinger) Макс (1857–1920), немецкий живописец, график и скульптор, представитель символизма и модернизма; испытывал влияние А. Бёклина. Автор серий офортов, картин и панно, скульптурных портретов (Ф. Ницше и др.), монументальных работ (памятник Бетховену).

**Кнапп** (Knapp) Георг Фридрих (1842–1926), немецкий экономист и статистик, представитель исторической школы, профессор в Лейпциге и Страсбурге в 1874–1918 гг., занимался теорией статистики населения, автор трудов по истории аграрных отношений и

теории денежного обращения, создал свою теорию денег. Имеются русские переводы.

**Книс** (Knies) Карл Густав Адольф (1821–1898), немецкий экономист, один из основателей исторической школы политической экономии, профессор в Фрейбурге (1855–1860) и Гейдельберге (1865–1896), автор книг «Политическая экономия с исторической точки зрения», «Деньги и кредиты», имеются русские переводы.

**Конрад** (Conrad) Иоганнес (1839–1915), немецкий экономист, профессор в Галле, член-корреспондент Российской Академии наук (1896), издатель «Ежегодников политической экономии и статистики», соиздатель (с В. Лексисом и др.) «Словаря общественно-политических наук» (1893, 1898, 1909). Автор очерков политической экономии, воспоминаний.

**Констанций Хлор Флавий Валерий** (264–306), римский император с 305 г., отец Константина I Великого (ок. 285–337), римского императора с 306 г.

**Котта** (Cotta) Иоганн Фридрих фон Коттендорф с 1818, барон с 1822 (1764–1832), немецкий издатель, политический деятель, публицист, владелец одного из старейших немецких книгоиздательств (основано в 1659 г. в Штутгарте), способствовавший приобретению издательством славы одного из лучших в Германии, издатель и друг Гёте и Шиллера (переписка с Шиллером опубликована). Участник Освободительной войны 1813 г. Основатель ведущей политической газеты «Allgemeine Zeitung», издавал другие газеты и журналы.

**Кремер** (Cremer) Август Герман (1834–1903), немецкий протестантский теолог, пастор, профессор богословия Грейфсвальдского университета с 1870 г., его «Библейско-теологический словарь грецизмов в Новом Завете» (1866) переиздавался более 10 раз, книга «Сущность христианства» выдержала 3 издания, переиздавались и другие работы

**Крепелин** (Krepelein) Эмиль (1856–1926), немецкий психиатр, ученик В. Вундта, основатель научной школы, профессор с 1886 в Дерпте, с 1891 – в Гейдельберге, в 1903–1922 – в Мюнхене, автор классификации психических заболеваний, основатель Мюнхенского психиатрического исследовательского института (1917), автор классического руководства по психиатрии (1883, выдержало 8 изданий, дважды издавалось на русском языке), оказал большое влияние на современную ему клиническую психиатрию.

**Крис** (Kries) Иоганнес фон (1853–1928), немецкий физиолог, профессор в Фрейбурге, автор трудов по физиологии и психологии, исследований зрительных ощущений, мышечной деятельности, кровообращения, а также работ по теории вероятностей и теории познания.

**Кронер** (Kroner) Рихард (1884–1974), немецкий философ, неогегельянец, ученик Г. Риккерта, профессор (с 1919 г.) в Фрейбурге, Дрездене, Киле, один из основателей международного журнала «Логос» (1910) и редактор немецкого издания (до 1933 г.), в 1935 г. отстранен от преподавательской деятельности, в 1938 г. эмигрировал в

Англию, в 1941 г. в США, профессор в Нью-Йорке; с 1940-х годов работы публиковались на английском языке, автор трудов по философии культуры, религии, председатель Гегелевского союза; имеется ряд русских переводов.

**Крузиус** (Crusius) Отто (1857–1918), немецкий филолог-классик, профессор с 1886 г., с 1898 – в Гейдельберге, с 1903 – в Мюнхене; президент Баварской Академии наук с 1915 г. изучал в основном античные мифы и сказания, занимался исследованием текстов, их публикацией с переводом и комментариями. В книге ошибочно назван Фридрихом.

**Крюгер** (Krüger) Стефанус Йоханнес Паулус (1825–1904), государственный деятель бурской республики Трансвааль, президент Трансвааля в 1883–1902 гг., главнокомандующий с 1864 г., один из руководителей буров во время войны за независимость 1880–1881 гг., приветственная телеграмма Вильгельма II в связи с неудачей англичан (1896) вызвала резкое недовольство в Великобритании. Во время англо-бурской войны 1899–1902 гг. отправился в Европу в надежде на поддержку. Последние годы жил в Швейцарии, автор мемуаров, переведенных на русский язык.

**Курбе** (Courbet) Жан Дезире Гюстав (1819–1877), французский живописец, график, скульптор, представитель и теоретик реализма, общественный деятель, участник Парижской Коммуны, в 1873 г. эмигрировал в Швейцарию; на русском языке издан сборник писем, документов, воспоминаний.

**Куртиус** (Curtius) Эрнст (1814–1896), немецкий историк античности, археолог, классический филолог, профессор в Берлине в 1844–1856 и с 1868 г. и в Геттингене с 1856 г., воспитатель кронпринца (Фридриха III) в 1844–1849 гг., руководил раскопками в Олимпии в 1875–1881 гг., автор многочисленных работ по истории, топографии, археологии Древней Греции, крупнейшая работа – трехтомная «История Греции» (1857–1866) переведена на русский язык (1880–1883; 2002).

**Кюльман** (Kühlmann) Рихард фон (1873–1948), германский государственный деятель, дипломат, писатель, на дипломатической службе с 1899 г., посланник в Великобритании в 1909–1914 гг., в Нидерландах – в 1915–1916, посол в Турции в 1916–1917 гг., статс-секретарь иностранных дел с августа 1917 г. до июля 1918 г., в 1918 г. возглавлял германскую делегацию в Брест-Литовске.

**Ланге** (Lange) Фридрих Альберт (1828–1875), немецкий философ и экономист, психолог, публицист, педагог, представитель неокантианства, профессор. Его главный труд «История материализма и критика его значения в настоящее время» опубликован на русском языке двумя изданиями. Переведена также неоднократно переиздававшаяся книга «Рабочий вопрос, его значение в настоящем и будущем».

**Ландсберг** (Landsberg) Отто (1869–1957), немецкий политический деятель, социал-демократ, имперский министр юстиции в 1919 г., посол в Бельгии в 1920–1923 гг., депутат рейхстага с 1912 и в 1924–1933 гг., в 1933 г. эмигрировал в Нидерланды.



- Ласк** (Lask) Эмиль (1875—1915), немецкий философ-идеалист, ученик В. Виндельбанда и Г. Риккерта, профессор Гейдельбергского университета с 1910 г., автор работ «Логика философии и учение о категориях» (1911), «Учение о суждении» (1912); погиб на галицийском фронте.
- Ласкер** (Lasker) Эдуард (1829—1884), немецкий политический деятель, юрист, адвокат, депутат рейхстага с 1867 г., один из основателей (в 1866 г., с Р. Беннингсеном и др.) и лидер национал-либеральной партии (вышел из партии в 1880 г.), автор ряда статей, посвященных прусской конституции, и публицистических работ.
- Лассон** (Lasson) Адольф (1832—1917), немецкий философ, юрист, правовед, профессор, признанный переводчик Аристотеля, изучал т. н. немецкое народное право, автор ряда работ по философии права, в том числе книги «Система философии права» (1882).
- Лёвенштейн** (Lewenstein) Карл (1891—1973), немецкий юрист, учился в Париже, Гейдельберге, Берлине, Мюнхене, автор ориентированных на М. Вебера исследований конституционного права и парламентаризма, работ о государственно-политических теориях Вебера (1965), политических идеях Вебера в перспективе нашего времени (1965).
- Лексис** (Lexis) Вильгельм Гектор Рихард Альбрехт (1837—1914), немецкий экономист и статистик, профессор с 1872, в Геттингене — с 1887 г., автор работ по статистике, а также вопросам денежного обращения; в статистике создал теорию измерения дисперсии, разработал теорию смертности. соиздатель с И. Конрадом «Ежегодника политической экономии и статистики», «Словаря общественно-политических наук».
- Лессер** (Lesser) Эрнст (1879—1928), немецкий физиолог, заведующий кафедрой физиологии в Страсбурге в 1914—1918 гг., один из первых исследователей гормонов, добился изготовления природного инсулина на основе экстракта поджелудочной железы; его жена *Марианна* (?—1966), художница, дочь г. Ф. Кнаппа. (Эдмунд Лессер-старший (1852—1918), известный немецкий врач-дерматолог, автор учебника, выдержавшего 14 изданий).
- Либкнехт** (Liebknecht) Карл (1871—1919), деятель германского и международного рабочего движения, публицист, один из лидеров левого крыла немецкой социал-демократии, депутат рейхстага в 1912—1916 гг., один из основателей Коммунистической партии Германии (1918), один из организаторов «Союза Спартака» (1916). Убит с Р. Люксембург при подавлении восстания рабочих в Берлине. На русском языке опубликованы избранные речи, статьи, письма.
- Ливий** Тит (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк, его «Римская история от основания города», из 142 книг которой, охватывающих период до IX в. до н. э., сохранились только 35 (первые 10 и с 21 по 45) и отрывки, почти все остальные книги известны в изложении более поздних авторов, — памятник мировой литературы; переведена на русский язык.
- Ллойд Джордж** (Lloyd George) Дэвид, граф Дуайфор (1863—1945), британский государственный и политический деятель, дипломат,

один из лидеров Либеральной партии, член палаты общин в 1930–1945 гг., палаты лордов с 1945 г., министр торговли в 1905–1908, министр финансов в 1908–1915 гг., премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из главных участников Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., один из авторов Версальского мирного договора 1919 г.; на русский язык переведены 6-томные «Военные мемуары» и книга «Правда о мирных договорах».

**Лоренцетти** (Lorenzetti) Пьетро (ок. 1280–1348), итальянский живописец, представитель сиенской школы, автор (вместе с учениками) росписи Нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи (1325–1329), фресок в Пизе, Сиене.

**Лотмар** (Lotmar) Филипп (1850–1922), швейцарский юрист, специалист по римскому праву. Ведущий немецкий специалист по промышленному праву; автор работ о трудовом договоре в германском и швейцарском праве, учебника пандектного права.

**Лотц** (Lotz) Вальтер (1865–1941), немецкий экономист, профессор финансов и статистики Мюнхенского университета в 1897–1935 гг., референт Союза социальной политики, член Баварской академии наук. Автор работ по финансоведению, банковскому законодательству, вопросам эмиссии, валюты, бумажных денег, торговой политики.

**Лотце** (Lotze) Рудольф Герман (1817–1881), немецкий философ, врач, психолог, физиолог, естествоиспытатель, профессор философии в Геттингене, Лейпциге, Берлине с 1844 г., автор специальных трудов по медицине и физиологии, философских работ. Книга «Микрокосм» (1856–64, русский перевод 1866–67) неоднократно переиздавалась. На русском языке опубликованы также «Основания психологии», «Основания практической философии».

**Лукач** (Lukács) Георг (Дьердь) (1885–1971), венгерский литературовед, философ, эстетик, литературный критик, политический деятель. Ученик Г. Зиммеля. Член Венгерской академии наук, профессор эстетики и философии. Писал на венгерском и немецком языках. С 1919 г. в Австрии, в 1931–1933 гг. в Германии, в 1933–1945 в СССР. Автор работ по теории литературы, эстетике, истории немецкой литературы. Книга «Душа и формы» опубликована в 1911 г. Выходили многочисленные русские переводы.

**Люден** (Luden) Генрих (1778–1847), немецкий историк, публицист, профессор в Иене с 1806 г., автор «Всеобщей истории народов и государств древности» (1824), 12-томной «Истории немецкого народа до 1237 г.»; издатель и автор политического журнала «Nemesis» (1814–1818), автор воспоминаний.

**Людендорф** (Ludendorff) Эрих (1865–1937), немецкий военный и политический деятель, генерал (1916), с 1894 г. служил в Генштабе, в Первую мировую войну начальник штаба сначала 8-й армии, затем Восточного фронта, в 1916–1918 гг. с П. Гинденбургом фактически руководил всеми вооруженными силами Германии; участник Капповского путча 1920 г., руководитель (вместе с Гитлером) фашистского («пивного») путча 1923 г. в Мюнхене, депутат рейхстага в 1924–1928 гг., баллотировался в президенты в 1925 г.; автор ряда

военно-теоретических работ и мемуаров, книга «Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг.» опубликована на русском языке.

**Людвик IX** Святой (1214—1270), французский король с 1226 г., провел ряд реформ, способствовавших централизации государства, возглавил 7-й (1248 г., Египет) и 8-й (1270 г., Тунис) крестовые походы; канонизирован в 1297 г.

**Люксембург** (Luxemburg) Роза (1870—1919), деятель германского, польского и международного рабочего движения, одна из руководителей и теоретиков польской социал-демократии, леворадикального течения германской социал-демократии и 2-го Интернационала, одна из основателей Коммунистической партии Германии (1918), одна из организаторов «Союза Спартака» (1916), публицист, литературный критик. Около 4-х лет провела в тюрьмах. Убита с К. Либкнехтом при подавлении восстания рабочих в Берлине. Опубликованы многочисленные русские переводы.

**Лютер** (Luther) Мартин (1483—1546), деятель Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма, профессор теологии, реформатор образования, языка, музыки; его перевод Библии на немецкий язык (работа начата в 1521 г., в 1534 г. вышло первое полное издание) утвердил нормы общенемецкого литературного языка. Избранные произведения изданы на русском языке.

**Люттвиц** (Lüttwitz) Вальтер, барон фон (1859—1942), немецкий военный деятель, генерал, в Первую мировую войну командующий 4-й армией, с 1916 г. начальник Генерального штаба группы войск, в 1919 г. главнокомандующий германской армией, организатор подавления революционных выступлений; отстранен от службы в связи с участием в Капповском путче.

**Лютцов** (Lützow) Людвиг Адольф Вильгельм, барон фон (1782—1834), прусский офицер, полковник (1815), генерал-майор (1822), участник войны 1806 г., во время войны 1813 г. создатель и командир добровольческого корпуса численностью 3 тысячи человек, состоявшего из 4 пехотных батальонов и 5 эскадронов кавалерии, т. н. «черный отряд» или «черные стрелки» Лютцова (носили черную форму). Корпус Лютцова не имел военного значения, но способствовал патриотическому воодушевлению и стал символом национального единения и юношеского героизма.

**Маккавеи** (Хасмонеи), иудейский жреческий род, в 142—40 гг. до н. э. правящая династия в Иудее; в 167 г. до н. э. возглавили восстание против Селевкидов и добились создания независимого Иудейского государства.

**Макс Баденский** (Максимилиан), принц (1867—1929), наследник баденского престола с 1907 г., рейхсканцлер в октябре-ноябре 1918 г., возглавил коалиционное правительство с участием социал-демократических лидеров, 9 ноября передал власть Ф. Эберту. Автор воспоминаний (1927).

**Манлий** (Маллий) Гай (? — 62 до н. э.), центурион римского диктатора Суллы, который наградил его землями в Фезулах (Этрурия), народный трибун, участник заговора Катилины, вместе с ним объяв-

лен сенатом врагом отечества, возглавил восстание при Фезулах, погиб, как и Катилина, в битве с римским войском.

- Маре** (Marées) Ганс фон (1837–1887), немецкий живописец, с 1857 г. в Мюнхене (приглашен А. Шаком как копиист), с 1864 г. работал главным образом в Италии, автор портретов, картин на мифологические сюжеты, росписи зоологической станции в Неаполе.
- Маркс** (Marcks) Эрих (1861–1938), немецкий историк, ученик Г. Баумгартена, профессор в 1893–1928 гг., с 1822 — в Берлине, автор работ по истории Германии XIX в., внешней политики Англии и Франции, историко-политических сочинений, мастер биографического жанра, автор психологических портретов Лютера, Елизаветы Английской, Вильгельма I, Бисмарка, Гинденбурга.
- Мартини** (Martini) Симоне (ок. 1284–1344), итальянский живописец сиенской школы, работал в Тоскане, Неаполе, Авиньоне, участвовал в росписи Нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи (сцены из жизни Мартина Турского); одна из картин хранится в Эрмитаже.
- Мауренбрехер** (Maurenbrecher) Макс Генрих (1876–1930), немецкий историк, теолог, политический деятель, публицист, сотрудник редакций еженедельника «Die Hilfe», газеты «Deutsche Zeitung»; генеральный секретарь Национально-социального союза с 1899 до его роспуска в 1903 г.
- Мейер** (Meyer) Эдуард (1855–1930), немецкий историк античности, профессор в Лейпциге с 1884, в Берлине в 1902–1923 гг., ректор Берлинского университета в 1920 г., автор работ по истории Древнего Востока, Греции, Рима. Главный труд — 5-томная «История древности» (1884–1909, 3-е издание 1910–1939). Ряд работ переведен на русский язык.
- Мейнеке** (Meinecke) Фридрих (1862–1954), немецкий историк, профессор в Страсбурге, Фрейбурге, Берлине, главный редактор «Исторического журнала» в 1896–1935 гг., один из основателей и первый ректор Свободного университета в Западном Берлине; исследования посвящены прежде всего изучению истории идей; наиболее значительный теоретико-методологический труд «Возникновение историзма» (1936) опубликован на русском языке (2004).
- Мейцен** (Meitzen) Август (1822–1910), немецкий статистик, историк-аграрник, профессор в Берлине, автор книги «История, теория и техника статистики» (1886), работ по истории и статистике земледелия. Научный руководитель М. Вебера при написании диссертации в 1891–1902 гг.
- Менгер** (Menger) Антон (1841–1906), австрийский юрист, экономист, политический деятель, профессор в Вене с 1877 г., специалист по австрийскому гражданскому праву, автор трудов по государственному праву, истории права, социальным аспектам правоведения; имеются русские переводы.
- Мендельсон-Бартольди** (Mendelssohn-Bartholdy) Альбрехт (1874–1936), немецкий юрист, преподаватель международного права, профессор, основал (в 1923 г.) и возглавил Институт внешней политики, с 1933 г. в Англии, профессор в Оксфорде. Внук Ф. Мендельсона.

- Мендельсон-Бартольди** (Mendelssohn-Bartholdy) Якоб Людвиг Феликс (1809—1847), немецкий композитор, дирижер, пианист, органист, основатель первой в Германии консерватории (Лейпциг, 1843), вел там класс композиции; издано Полное собрание сочинений в 36 томах.
- Меровинги**, первая королевская династия во Франкском государстве (кон. V в. — 751, уступили Каролингам), названа по имени полу-легендарного основателя рода Меровея (448—457).
- Мертон** (Merton) Вильгельм (настоящее имя Вильям Мозес) (1848—1916), немецкий предприниматель еврейского происхождения; металлургический «Мертон-концерн» достиг международного уровня. Основатель различных социальных организаций и образовательных учреждений во Франкфурте-на-Майне, в том числе Высшей торговой школы и университета.
- Метерлинк** (Maeterlinck) Морис (1862—1949), бельгийский писатель, драматург, поэт, представитель символизма, с 1896 г. жил во Франции, писал на французском языке, лауреат Нобелевской премии (1911). Автор около 30 пьес (входящих в репертуар мирового театра), 5 сборников стихов, книг философского содержания, многие произведения издавались на русском языке (в том числе «Сокровище смиренных», 1896). Пьеса-сказка «Синяя птица» с 1908 г. в репертуаре МХАТа.
- Микель** (Miquel) Иоганнес Франц фон (с 1897) (1828—1901), немецкий государственный и политический деятель, юрист, адвокат, депутат рейхстага в 1867—1877 и 1887—1890 гг., прусский министр финансов в 1890—1901 гг., провел финансовую реформу, вице-президент прусского кабинета министров с 1897 г.; один из основателей Национального союза и Национал-либеральной партии.
- Милюков** Павел Николаевич (1859—1943), русский историк, культуролог, публицист, политический деятель, один из основателей (1905), теоретик и лидер Конституционно-демократической партии, министр иностранных дел Временного правительства, с 1920 г. в эмиграции, автор «Очерков по истории русской культуры» и других работ.
- Михаэлис** (Michaelis) Георг (1857—1936), немецкий государственный и политический деятель, юрист, с 1909 г. работал в министерстве финансов Пруссии, в июле-октябре 1917 г. рейхсканцлер и прусский министр-президент. Опубликованы воспоминания.
- Михельс** (Michels) Роберт (1876—1936), немецкий историк, экономист, социолог, профессор, преподавал в Брюссельском, Базельском, Римском университетах, с 1926 жил в Италии (принял итальянское гражданство). Публиковался на немецком и итальянском (с 1913) языках. Книга «Что такое патриотизм» издана на русском языке.
- Моисси** (Moissy) Александр (Сандро) (1880—1935), немецкий актер, албанец по происхождению, с 1904 г. работал под руководством М. Рейнхардта, с 1905 г. в Немецком театре (Берлин), прославился в пьесах Шекспира, Ибсена, Л. Толстого, участвовал в организации Зальцбургского фестиваля, с 1933 г. в Австрии, гастролировал в СССР в 1924 и 1925 г.

- Молю** (Molo) Вальтер фон (1880–1958), немецкий писатель, инженер по образованию, с 1913 г. свободный писатель, автор историко-биографических романов о Ф. Шиллере, М. Лютере, Г. фон Клейсте, воспоминаний, издатель избранных сочинений иностранных авторов, в том числе Н.В. Гоголя; один из основателей немецкого ПЭН-клуба (1919).
- Мольтке** (Moltke) Гельмут Иоганн Людвиг Младший, граф фон (1848–1916), немецкий военный деятель, генерал-полковник, начальник Генерального штаба в 1906–1914 гг., в начале Первой мировой войны начальник штаба Ставки, отстранен за поражение в Марнском сражении (5–12 сентября 1914 г.).
- Моммзен** (Mommsen) Кристиан Маттиас Теодор (1817–1903), немецкий историк, политический деятель, депутат рейхстага в 1881–1884 гг., профессор с 1848, в Берлине с 1858 г., автор многочисленных (свыше полутора тысяч) работ почти по всем вопросам римской истории, государственному праву, нумизматике, эпиграфике, хронологии, метрологии, литературе, лингвистике; ему принадлежат образцовые издания источников (с комментариями); работы Моммзена заложили основы научной истории Древнего Рима; всеобщую известность ему принесла «Римская история» (1854–1857), первое издание которой на русском языке вышло в 1858–1861 гг. и дважды переиздавалось, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902); его сыновья: *Карл* (1861–1928), банкир, политический деятель, школьный друг М. Вебера, *Эрнст* (1863–1930), врач, женат на сестре М. Вебера *Кларе*.
- Монтгелас** (Montgelas) Максимилиан Мария Карл Дезидерий, граф фон (1860–1938), немецкий военный деятель, генерал, на военной службе с 1879 и до 1915 г., в 1901–1909 гг. военный атташе в Пекине, в 1910–1912 гг. работал в Генеральном штабе, затем командир пехотной дивизии; публиковал (вместе с В. Шюккингом) источники по истории Первой мировой войны, материалы к Версальскому договору, секретные документы. Автор воспоминаний.
- Мюзам** (Mühsam) Эрих (1878–1934), немецкий писатель, революционный лирик, драматург, эссеист, публицист, в 1919 г. член Баварского советского правительства, после поражения Баварской республики арестован, пробыл в тюрьме до 1925 г.; арестован в 1933 г., умер в концлагере. На русском языке опубликован сборник стихов и избранные рассказы.
- Мюнстерберг** (Münsterberg) Гуго (1863–1916), немецкий психолог и философ-неокантианец, ученик В. Вундта, профессор в Фрейбурге с 1891 г., с 1892 г. в США, профессор Гарвардского университета; представитель экспериментальной психологии, один из основателей прикладной психологии (психотехники); ему принадлежат первые работы по определению профессиональной пригодности, а также работы о методах психологии; имеются русские переводы.
- Нассе** (Nasse) Эрвин (1829–1890), немецкий экономист, политический деятель, профессор (с 1860) и ректор (1872/73) Боннского университета; член свободной консервативной партии, один из основателей Союза социальной политики и его председатель с 1874 г.;

автор сочинений о землевладении, об английской общине, о прусской налоговой системе и банках; имеются русские переводы.

**Натузиус** (Nathusius) Мартин Фридрих Энгельхард фон (1843—1906), немецкий протестантский теолог, с 1869 г. проповедник, с 1888 — профессор Грейфсвальдского университета, автор двухтомной работы «Сотрудничество церкви в решении социального вопроса» (1893—1894), соиздатель журнала «Allgemeine Konservative Monatsschrift», один из основателей свободной церковно-социальной конференции.

**Науман** (Naumann) Фридрих (1860—1919), немецкий политический деятель, публицист, профессор, в 1886—1890 гг. пастор, основатель Национал-социальной партии (1896), основатель (1895) и редактор еженедельника по вопросам политики, литературы и искусства «Die Hilfe». Первый председатель Демократической партии. На русском языке опубликованы работы «Демократия и императорская власть», а также «Обновление либерализма» (в соавторстве с Т. Бартом).

**Неер** ван дер Аерт (Арнольд) (Aert van der Neer) (1603/4—1677), голландский художник, автор пронизанных светом картин — речных и зимних ландшафтов, пейзажей в лунном свете, на закате солнца, в зарево пожаров — создающих поэтическое настроение. В 1982 г. в Бремене издан альбом.

**Нейманн** (Neumann) Карл (1860—1936), немецкий искусствовед, историк искусства, профессор, автор работ о Я. Буркхардте, рисунках Рембрандта, книги «Борьба за новое искусство» (1896) и др.

**Нейрат** (Neurath) Отто (1882—1945), австрийский философ, социолог, экономист, один из организаторов и лидеров Венского кружка, участник революционного движения, входил в руководство Баварской советской республики, советник правительства СССР в 1931—1934 гг., участник антифашистского движения в 1934—1945 гг., в 1934—1940 гг. в Нидерландах, с 1941 г. в Великобритании, преподаватель в Оксфорде.

**Ностиц**, Ностиц-Вальвиц (Nostitz-Wallwitz) Альфред фон (1870—1953), саксонский государственный деятель, на государственной службе с 1908 г., в 1916 г. посланник в Вене, с 1918 — министр культов и преподавания в Дрездене.

**Олденбарневелт** (Oldenbarnevelt) Ян ван (1547—1619), голландский государственный деятель, политический лидер борьбы за независимость, великий пенсионарий (высшее должностное лицо) провинции Голландия с 1586 г., в 1619 г. обвинен в государственной измене, арестован и казнен.

**Онкен** (Oncken) Герман (1869—1945), немецкий историк, публицист, профессор в Чикаго (1905—06), Гейдельберге (с 1907), Мюнхене (с 1923), Берлине (с 1928), в 1935 г. отстранен от преподавания. В своих исследованиях придерживался исторического метода Л. - Ранке. Автор работ о внешней политике Германии и Франции, Кромвеле, Наполеоне III. Политическая биография Ф. Лассалья, выдержавшая к 1923 г. 4 издания, вышла на русском языке.

**Оссиан**, легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в III в. Некоторые из его сказаний записаны не позднее XII в. Известна

литературная мистификация Джемса Макферсона (1736–1796), издававшего под именем Оссиана собственные сочинения, которые были восприняты как подлинник. Поэмы Оссиана издавались на русском языке.

**Отто Генрих** (Otto Heinrich, Ottheinrich) (1502–1559), курфюрст Пфальцский с 1556 г., пфальцграф Рейна с 1505, способствовал развитию наук и искусств, преобразовал университет Гейдельберга в новом протестантско-гуманистическом духе, в 1556 г. построил часть замка Гейдельберг (т. н. Otto-Heinrichs-Bau); основатель Палатины, богатейшей библиотеки Европы, большая часть которой в 1623 г. была подарена Ватиканской библиотеке и сохраняется отдельным фондом.

**Оффенбах** (Offenbach) Жак (настоящее имя Якоб Эбершт) (1819–1880), французский композитор, виолончелист, дирижер, выходец из Германии, с 1833 г. во Франции, один из основоположников французской классической оперетты, положил начало истории этого жанра, автор свыше ста оперетт, оперы «Сказки Гофмана».

**Паркер** (Parker) Теодор (1810–1860), американский теолог, унитарийский проповедник. Выступал за освобождение рабов. Основные труды: «10 проповедей о религии», «Теизм, атеизм, и популярная теология»; собрание сочинений опубликовано в Лондоне (1863–1870). Немецкие переводы ряда произведений изданы в 1854–1857 гг.

**Паульсен** (Paulsen) Фридрих (1846–1908), немецкий философ и педагог, профессор Берлинского университета с 1878 г., автор работ по истории философии, этики и педагогики. Книги «Система этики», «Иммануил Кант, его жизнь и учение» переведены и переиздавались на русском языке.

**Петроний**, Гай Петроний Арбитр (? – 66 н. э.), римский писатель, прозван «законодатель (арбитр) изящества», заподозрен в заговоре, по приказу Нерона покончил с собой, автор романа «Сатирикон», сохранившегося в отрывках; имеются русские переводы.

**Пленер** (Plemer) Эрнст (1841–1923), австрийский государственный деятель, с 1873 г. в рейхстаге, один из лидеров либералов, министр финансов в 1893–1895 гг., автор сочинений об английском фабричном законодательстве, банковском деле.

**Помпей Гней Великий** (106–48 до н. э.), римский военный и политический деятель, полководец, консул в 70, 55, 52 гг., член 1-го триумвирата (антисенатского союза) в 60 г., в гражданской войне перешел на сторону сената и с 50 г. командовал войском, которое в 48 г. нанесло Цезарю поражение, но вскоре было разбито, Помпей бежал в Египет, где был убит.

**Прейс** (Preuß) Гуго (1860–1925), немецкий государственный и политический деятель, юрист, ученик О. Гирке и Р. Гнейста, преподаватель государственного права, профессор публичного права в Берлинской торговой школе; один из основателей Германской демократической партии, видный деятель Национально-либеральной партии, министр внутренних дел в ноябре 1918 – июле 1919 г. Автор проекта Веймарской конституции, работ по нало-



говым проблемам, вопросам государственного и конституционного права.

**Пфлейдерер** (Pfleiderer) Отто (1839–1908), немецкий протестантский теолог, философ-идеалист, пастор, профессор Иенского (с 1871) и Берлинского (с 1875) университетов, занимался проблемами истории и философии религии, сравнительным изучением религий, основные сочинения – «Религия, ее сущность и история», «Мораль и религия», «Раннее христианство», «Философия развития религии», «Религия и религии».

**Радбрух** (Radbruch) Густав (1878–1949), немецкий юрист, правовед, социолог, политический деятель, профессор в Киле и Гейдельберге, в 1933 г. отстранен нацистами от преподавательской деятельности, с 1945 г. декан юридического факультета Гейдельбергского университета; депутат рейхстага в 1920–1924 гг., министр юстиции в 1921/1922 и 1923 г. Автор работ по философии права, литературных и культурно-исторических эссе, воспоминаний. На русском языке издано «Введение в науку права» (1915).

**Раде** (Rade) Мартин (1857–1940), немецкий протестантский теолог, профессор с 1904 г., один из основателей и издатель (в 1886–1931 гг.) журнала «Die Christliche Welt», член прусского национального собрания, один из основателей Евангелического союза и Евангелическо-социального конгресса.

**Ранке** (Ranke) Франц Леопольд фон с 1865 (1795–1886), немецкий историк, основатель современной исторической науки, профессор Берлинского университета в 1825–1871 гг., советник и воспитатель прусских королей и принцев, официальный историограф Пруссии с 1841 г., основатель Баварской исторической комиссии, издавшей немецкий биографический словарь и занимавшейся публикацией источников; интересовался главным образом политической и дипломатической историей, деятельностью выдающихся личностей, работы посвящены преимущественно истории XVI–XVII вв. Собрание сочинений (1867–1890) составляет 54 тома; имеются русские переводы.

**Ратген** (Rathgen) Карл Фридрих Теодор (1856–1921), немецкий экономист, японист, профессор в 1882–1890 гг. в Токио, в 1900–1907 – в Гейдельберге; путешествовал по Китаю и Северной Америке, в 1893 г. вернулся в Германию, с 1919 г. заведующий кафедрой экономики в Гамбурге; автор работ «Япония в мировой экономике», «Государство и культура Японии».

**Ратенау** (Rathenau) Вальтер (1867–1922), германский государственный и политический деятель, дипломат, публицист, крупный промышленник, финансист, председатель правления «Всеобщей кампании электричества» (AEG) с 1915 г., член Демократической партии с ноября 1918 г. Во время Первой мировой войны создатель и руководитель специального совета, (ведавшего снабжением армии) при военном министерстве; министр восстановления в 1921–1922 г., министр иностранных дел с января 1922 г. Автор многочисленных трудов по экономическим и социальным проблемам, публицистических и философских работ, опубликованы

письма и дневники за 1907–1922 гг.; имеются русские переводы. В июне 1922 г. убит в Берлине членами националистической террористической организации «Консул».

**Рахфаль** (Rachfahl) Феликс (1867–1925), немецкий историк, профессор с 1898 г. в Галле, Фрейбурге, Киле, Кенигсберге, последователь Л. Ранке. Автор работ по истории Германии, Нидерландов, Испании. Полемизировал с М. Вебером.

**Рейнхардт** (Reinhardt) (настоящая фамилия Гольдман) Макс (1873–1943), немецкий режиссер, актер, театральный деятель, австриец по происхождению; на сцене с 1894 г., режиссерскую деятельность начал в 1901 г., в 1905–1933 гг. (с перерывами) возглавлял Немецкий театр (названный впоследствии его именем) в Берлине, один из инициаторов проведения Зальцбургского фестиваля (1920, с Р. Штраусом и Г. Гофмансталем); в 1933 г. эмигрировал, до 1938 г. в Австрии, затем во Франции и США.

**Рейсы** (Reuß), княжеский род в Тюрингии, известен с XIII в., основатель дома в конце XII в. — Генрих Благодетельный, разделение на две (старшую и младшую) линии произошло в 1564 г., все князья с 1668 г. носят имя Генрих.

**Рейтер** (Reuter) Фриц (1810–1874), немецкий писатель, поэт, писал на нижненемецком народном диалекте, автор юмористических и сатирических произведений из провинциального быта, в 1833 г. за участие в студенческих корпорациях арестован, в 1836 г. приговорен к смерти, замененной 30 годами заключения, в 1840 г. амнистирован.

**Рембрандт**, семья голландского живописца Харменса ван Рейна Рембрандта (1606–1669): *Саския*, урожденная ван Эйленбург (?–1642), жена (1634), их сын *Титус* (1641–1668), актер и художник; *Хендрикке Стоффельс* (ок. 1617–1664), вторая (неофициальная) жена, их дочь Корнелия (род. в 1654).

**Ридль** (Riedl) Рихард (1865–1944), австрийский государственный деятель, дипломат, сотрудник министерства торговли, в 1921–1926 гг. чрезвычайный посол в Берлине.

**Риккерт** (Rickert) Генрих Джон (1863–1936), немецкий философ, неокантианец, основатель (совместно с В. Виндельбандом) баденской школы, профессор в Фрейбурге с 1894, Гейдельберге с 1916 г.; разрабатывал теорию познания применительно к наукам об обществе, главным образом к истории. На русском языке опубликованы (и переиздавались) «Науки о природе и науки о культуре», «Философия истории», «Философия жизни» «О системе ценностей» и другие работы. Его жена *Софи* (1864–1951), скульптор. Его отец *Генрих* Эдвин (1833–1902), политический деятель, редактор, один из основателей национал-либеральной партии (1866), депутат рейхстага с 1874 г., с 1893 г. лидер свободомыслящего объединения.

**Риль** (Riehl) Алоиз (1844–1924), немецкий философ, профессор, в 1905–1919 гг. — в Берлине, работы «Теория науки и метафизики с точки зрения философского критицизма», «Введение в современную философию». «Философия в систематическом изложении», книги о Ф. Ницше, И. Канте, Дж. Бруно опубликованы в русском переводе.

- Рильке** (Rilke) Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт. Изучал литературу, историю искусства, философию в Пражском, Мюнхенском, Берлинском университетах. Жил в Германии, Франции, Швейцарии, дважды бывал в России; знал русский язык, переводил русских поэтов. Оказал влияние на европейскую поэзию, искусство и философскую мысль XX в. На русском языке неоднократно издавались стихотворения, опубликованы также прозаические произведения, письма, дневники, воспоминания, статьи, переписка с М. Цветаевой и Б. Пастернаком.
- Рихтер** (Richter) Ойген (1838–1906), немецкий юрист, политический деятель, публицист, оратор, влиятельный лидер партии прогрессистов и свободомыслящей партии, первый немецкий профессиональный политик, депутат рейхстага с 1867 г., знаток финансовой политики, автор «Политического словаря» (1887), выдержавшего к 1903 г 10 изданий, политических сочинений, воспоминаний.
- Роде** (Rohde) Эрвин (1845–1898), немецкий филолог-классик, религиовед, профессор Гейдельбергского университета с 1886 г., со студенческих лет дружил с Ф. Ницше; исследовал греческую мифологию с применением методов сравнительного религиоведения. Автор книги «Психея. Культ души и вера в бессмертие у греков» (1894, переиздана в 1961), «Религия греков» (1895) и других работ.
- Росс** (Roß) Колин (1885–1945), австрийский путешественник-писатель, журналист, военный репортер во время Балканской войны, корреспондент в Мексике во время революционных событий 1914 г.; побывал в Америке, Азии, Австралии, Арктике, автор многочисленных захватывающих и информативных книг с иллюстрациями и картами, а также фильмов; книги выходили большими тиражами, переиздавались и переводились.
- Ростгорн** (Rosthorn) Артур фон (1862–1945), австрийский дипломат, синолог, на дипломатической службе с 1886 г., посол в Персии в 1906–1911 гг., в Пекине в 1911–1917 гг., профессор в Вене с 1922 г., автор работ по истории, социальной жизни, религии Китая, фонетике китайского языка, книги «Наши отношения с Китаем до и после войны».
- Ротенбюхер** (Rothenbücher) Карл (1880–?), немецкий юрист, профессор, автор работ по вопросам конституционного права, отношений между церковью и государством.
- Рошер** (Roscher) Вильгельм Георг Фридрих (1817–1894), немецкий экономист, один из основоположников исторической школы политической экономии, профессор в Геттингене с 1843, в Лейпциге с 1848 г. Основные труды «Система народного хозяйства» (в 6 томах, 1854–1894), «История экономической науки в Германии» (1871); на русском языке изданы «Начала народного хозяйства» и «Наука о народном хозяйстве».
- Рюмелин** (Rümelin) Густав (1815–1888), немецкий политический и государственный деятель, социолог, статистик, литературный критик, автор работ по истории и теории статистики, о Шекспире.

- Саллюстий** Гай Крисп (86—35 до н. э.), римский историк, политический деятель, сенатор, участвовал в войнах Цезаря, после смерти которого посвятил себя литературной деятельности; сохранились две книги: «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война», письма к Цезарю и фрагменты 5-томной «Истории», охватывавшей события 78—66 гг. до н. э.; все произведения переведены на русский язык (первый перевод 1759 г.)
- Селевкиды**, царская династия, правившая в 312—64 гг. до н. э. на Ближнем и Среднем Востоке (основная территория — Сирия), завоеваны Римом.
- Симон** (Simon) Генрих (1881—1941), немецкий журналист, публицист, издатель, сотрудник (с 1906), совладелец (с 1929) и директор семейного издательства, в 1914—1934 гг. председатель редколлегии «Frankfurter Zeitung», в 1934 г. эмигрировал в Палестину.
- Симонс** (Simons) Вальтер (1861—1937), немецкий государственный деятель, юрист, судья, участник мирных переговоров в Версале, министр иностранных дел в 1920/21 г., президент имперского суда в 1922 г., в марте—мае 1925 г. и. о. президента, с 1927 г. профессор Лейпцигского университета, президент Евангелическо-социального конгресса в 1925—1936 гг., автор работы «Религия и право», книги о Г. Преисе, юридических и политических сочинений.
- Солсбери** (Salisbury) Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил, маркиз, лорд с 1868 (1830—1903), английский государственный и политический деятель, лидер консервативной партии, член парламента с 1853 г., в 1866—1867 и 1874—1878 гг. — министр по делам Индии, в 1878—1880 — министр иностранных дел, в 1885—1886, 1886—1892, 1895—1902 гг. — премьер-министр и одновременно министр иностранных дел (до 1900 г.)
- Сомари** (Somary) Феликс (1881—1856), немецкий экономист, банкир, профессор в 1910—1914 гг., преподавал в Гейдельбергском и американских университетах, с 1919 г. глава банковского дома в Цюрихе. Книга «Банковская политика» (1915) многократно переиздавалась и переводилась. Автор воспоминаний.
- Стриндберг** (Strindberg) Юхан Август (1849—1912), шведский писатель, романист, драматург, сатирик, публицист, на русском языке издано полное собрание сочинений в 15 томах. Пьеса «Товарищи» написана в 1888 г.
- Таулер** (Tauler) Иоганн (ок. 1300—1361), немецкий мыслитель-мистик, монах-доминиканец (с 1318 г.), проповедник. Учение Таулера по существу направлено против признания какой-либо роли католического духовенства в религиозной жизни. Оказал влияние на деятелей Реформации, в том числе на М. Лютера. На русском языке опубликована книга «Царство Божие внутри нас».
- Тённис** (Tönnies) Фердинанд (1855—1936), немецкий социолог, философ, один из основоположников социологической науки в Германии, профессор Кильского университета в 1909—1933 гг. (отстранен от преподавания); вместе с В. Зомбартом, Г. Зиммелем, М. Вебером основал Немецкое социологическое общество (1909), был первым его президентом (демонстративно ушел с поста в 1933 г.). Важней-

шая работа «Общность и общество» (1887) неоднократно переиздавалась. Библиография насчитывает более 1000 названий; в Германии издается Полное собрание сочинений в 24 томах. Работа «Эволюция социального вопроса» опубликована в русском переводе.

**Тецель** (Tetzl) (настоящая фамилия Дицель) Иоганн (ок. 1465—1519), монах-доминиканец с 1488 г., священник, инквизитор в Саксонии с 1502 г. С 1516 г. вел торговлю индульгенциями в качестве эmissара архиепископа Майнцского, которому папа даровал право на продажу индульгенций в Германии. Проповеди Тецеля, слишком сосредоточенные на финансовой стороне, послужили непосредственным поводом для выступления Лютера против продажи индульгенций. В 1517 г. вследствие нападок Лютера Тецель удался в монастырь в Лейпциге.

**Тирпиц** (Tirpitz) Альфред фон (1849—1930), германский военный и политический деятель, гросс-адмирал с 1911 г., на флоте с 1865 г., с 1890 г. начальник штаба Балтийского флота, в 1892—1895 гг. начальник штаба германского военно-морского флота, в 1897—1916 гг. статс-секретарь военно-морского ведомства; расхождения с рейхсканцлером Т. Бетманом-Гольвегом по вопросу о подводной войне привели к отставке. В 1917 г. с В. Каппом основал Немецкую отечественную партию, в 1924—1928 гг. депутат рейхстага. Автор «Воспоминаний» (1919), переведенных на русский язык (1957).

**Толлер** (Toller) Эрнст (1893—1939), немецкий писатель, драматург, поэт, публицист, один из лидеров экспрессионизма; в Первую мировую войну добровольцем ушел на фронт, был тяжело ранен; деятель рабочего движения, член Независимой социал-демократической партии, участник революционных событий 1918—1919 гг., президент Баварской советской республики, после ее поражения осужден на 5 лет; в 1933 г. лишен германского гражданства, эмигрировал в Англию, затем в США; покончил самоубийством. На русском языке выходили многочисленные переводы, особенно в 20—30-е годы.

**Тома** (Thoma) Рихард Эмиль (1874—1957), немецкий юрист, правовед, профессор с 1908 г., в Гейдельберге в 1911—1928 гг., преподаватель государственного права, автор работ по международному праву, соавтор «Словаря немецкого государственного права» (1930).

**Трейчке** (Treitschke) Генрих Готхард фон (1834—1896), немецкий историк, публицист, профессор в Киле, Гейдельберге, Берлине, с 1886 г. официальный историограф Пруссии, с 1895 — член Прусской Академии наук; в 1866—1889 гг. — редактор журнала «Прусские ежегодники», с 1895 — «Исторического журнала»; депутат рейхстага в 1871—1884 гг. Его исторические и публицистические работы многократно переиздавались, главный труд — пятитомная «Немецкая история в XIX в.».

**Трёльч** (Troeltsch) Эрнст (1865—1923), немецкий протестантский теолог, философ, социолог, историк, один из основателей социологии религии, профессор теологии с 1892 г. в Бонне, с 1894 — в Гейдельберге, профессор философии в Берлине с 1917 г.; помощник статс-секретаря в прусском министерстве культов в 1919—1922 гг.

Автор работ по социологии религии и философии истории; сочинение «Историзм и его проблемы», две статьи, а также статья памяти М. Вебера переведены на русский язык.

**Тьер** (Thiers) Луи Адольф (1797–1877), французский государственный и политический деятель, дипломат, историк, журналист, член Французской академии (1833), один из основателей газеты «Насьональ» (1830), министр внутренних дел в 1832–1836 гг., премьер-министр и министр внутренних дел в 1836 и 1840 гг., президент Франции в 1871–1873 гг. Главная историческая работа – «История французской революции», а также «История консульства и империи во Франции» изданы на русском языке.

**Тэн** (Taine) Ипполит Адольф (1828–1893), французский литературовед, философ, социолог искусства, историк, эстетик, писатель, родоначальник культурно-исторической школы, профессор, член Французской академии (1878), автор трудов по историографии, истории литературы, философии, истории Франции; многие работы переведены на русский язык.

**Уайльд** (Wilde) Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс (1854–1900), английский писатель, драматург, критик; автор стихов, сказок, автобиографической поэмы, комедий, философского романа, трагедий, статей о литературе и искусстве (в том числе о русских писателях); на русском языке опубликовано Полное собрание сочинений в 4 томах и избранные пьесы. По трагедии «Саломея» (1893, первоначально на французском языке) написана опера Р. Штрауса (1905).

**Унгер** (Unger) Йозеф (1828–1913), австрийский юрист, государственный и политический деятель, профессор в Праге с 1855 г., в Вене – с 1857 г., с 1867 депутат рейхстага, в 1871–1878 министр без портфеля, с 1881 г. президент австрийского имперского суда; основной труд – «Система австрийского всеобщего частного права» – неоднократно переиздавался.

**Фалленштейн** (Fallenstein), семья: *Георг Фридрих* (1790–1853), учитель, государственный служащий, писатель, дед М. Вебера, его первая жена (1810) *Бетти* (1794–1831), у них было 6 детей, сыновья эмигрировали, трое из них – в Америку, дочь *Элизабет* (1827–1901) – жена (1852) Ю. Йолли, их внучка *Эмилия* (дочь одного из сыновей) – жена Отто Баумгартена; вторая жена (1835) – *Эмилия Суше* (1805–?), дочь Карла Корнелия Суше и Елены Шунк, бабушка М. Вебера, их дети: *Ида*, жена Германа Баумгартена, *Генриетта* (1840–1895), жена Адольфа Гаусрата, *Елена* (1844–1897), жена Макса Вебера-старшего, *Эмилия*, жена Эрнста Вильгельма Бенекке, *Эдуард* (?–1870), студент, погиб во время франко-прусской войны.

**Фейербах** (Feuerbach) Ансельм (1829–1880), немецкий живописец, с 1855 г. жил в основном в Италии, стремился к возрождению монументального искусства, писал портреты, пейзажи, исторические картины, создавал огромные полотна, главным образом на темы античных мифов; письма и дневники легли в основу книги «Завещание» (1882).

**Ферсгофен** (Vershofen) Вильгельм (1878–1960), немецкий экономист, писатель, с 1925 г. профессор Высшей экономической школы в

Нюрнберге, автор специальных исследований по экономике, внешней торговле, работ о пьесах Шекспира, а также философских произведений и романов.

**Филиппович** (Philippovich) Ойген, барон фон Филиппсберг (1858–1917), немецкий экономист, профессор с 1888 г, с 1891 – в Вене, автор теоретических исследований, работ по истории английского банка, переселенческой политике в Германии; «Очерки политической экономии» (в 2 томах, 1893–1907, выдержали 19 изданий в 20-е годы) переведены на русский язык.

**Фишер** (Fischer) Куно (1824–1907), немецкий философ-гегельянец, историк философии, профессор Иенского (1856–1872) и Гейдельбергского университетов (1872–1906), главное произведение – фундаментальный труд «История новой философии» в 10 томах (1852–77, русский перевод 1901–09 гг.; отдельные тома переиздавались). Автор ряда работ по философии и истории литературы, также опубликованных на русском языке.

**Форкенбек** (Forckenbeck) Макс фон (1821–1892), немецкий политический деятель, юрист, адвокат, президент прусской палаты депутатов в 1866–1873 гг., депутат рейхстага в 1867–1884, 1890–1892 гг., президент рейхстага в 1874–1879 гг., обер-бургомистр Берлина с 1884 г. Друг кронпринца, будущего императора Фридриха III. Один из основателей партии прогрессистов (1861), национал-либеральной (1866), германской свободомыслящей (1884).

**Фосслер** (Voßler) Карл (1872–1949), немецкий филолог, профессор в Гейдельберге (1902–1908) и Мюнхене (1911–1937 и 1945–1947), специалист по романским языкам, теоретик-лингвист; занимался итальянской, французской, испанской литературой и языками, автор общетеоретических и литературоведческих работ; имеются русские переводы. Двухтомная работа о Данте под названием «Божественная комедия» опубликована в 1907–1910 гг.

**Франкенштейн** (Franckenstein) Георг Арбогаст, барон фон унд цу (1825–1890), немецкий политический деятель, баварский землевладелец, член партии центра, депутат рейхстага с 1872 г., вице-президент рейхстага в 1879–1887, президент верхней палаты баварского рейхстага с 1881 г. В 1879 г. предложил поправку к проекту таможенного тарифа («клаузула Франкенштейна»), ставшую законом и с изменениями действующую до сих пор.

**Франклин** (Franklin) Бенджамин (Вениамин) (1706–1790), американский просветитель, государственный деятель, ученый, один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции (1787). Основатель первой публичной библиотеки (Филадельфия, 1731), Пенсильванского университета (1740), Американского философского общества (1743).

**Франциск Ассизский** (Franciscus Assisiensis) (настоящее имя Джованни Бернардоне) (1181/1182–1226), итальянский религиозный деятель, основатель ордена францисканцев, канонизирован в 1228 г.

**Фрейтаг** (Freitag) Густав (1816–1895), немецкий историк культуры и писатель, поэт, драматург, национал-либеральный журналист, автор исторических романов, воспоминаний; 22-томное собрание сочи-

нений переиздано, опубликована переписка с Г. Трейчке; на русский язык переведены исторические романы и пьесы.

**Фридрих II Великий** (1712—1786), прусский король с 1740 г., из династии Гогенцоллернов, полководец, военный деятель (создал сильнейшую, считавшуюся лучшей в Западной Европе армию; территория Пруссии при нем почти удвоилась), дипломат, философ (был другом Вольтера, затем его противником), покровитель искусств, музыкант и композитор; провел ряд реформ (административных, финансовых, судопроизводства, образования), автор ряда философских и исторических сочинений (преимущественно на французском языке); изданы 31 том собрания сочинений, 46 томов политической переписки.

**Фридрих III** (1831—1888), германский император и прусский король в марте-июне 1888 г., сын Вильгельма I (кронпринц Фридрих Вильгельм), из династии Гогенцоллернов; военный деятель, в 1849 г. поступил в гвардию и оставался на военной службе до вступления на престол, генерал-фельдмаршал с 1870 г., главнокомандующий 2-й прусской армии в войну с Австрией 1866 г., 3-й армии в франко-прусскую войну 1870—1871 гг.; вступил на престол неизлечимо больным, во время 99-дневного царствования принял ряд законов. Его женой (1858) была английская принцесса Виктория (1840—1901), старшая дочь королевы Виктории; проект бракосочетания их дочери, принцессы Виктории с бывшим болгарским князем Александром Баттенбергом был расстроен Бисмарком из политических соображений.

**Фридрих Вильгельм III** (1770—1840), прусский король с 1797 г., из династии Гогенцоллернов, внучатый племянник Фридриха Великого, воспитывался под его личным наблюдением. Провел ряд реформ, в результате войны 1806 г. уступил Наполеону половину территории Пруссии, в марте 1813 г. объявил войну Франции.

**Фризен** (Friesen) Карл Фридрих (1784—1814), немецкий общественный деятель, один из основателей немецкой гимнастики, последователь и сотрудник Ф.Л. Яна, преподаватель; участник Освободительной войны 1813 г., один из организаторов Добровольческого корпуса, адъютант А. Лютцова; на его руках умер Т. Кёрнер; после неудачного сражения остался один и был убит французскими крестьянами.

**Хауз** (House) Эдуард Манделл (1858—1938), американский государственный и политический деятель, дипломат, советник В. Вильсона, принимал активное участие в его предвыборной кампании 1912 и 1916 г., эмиссар президента в Европе во время Первой мировой войны, член американской делегации на Парижской мирной конференции 1919—1920 гг.; после 1920 г. занялся литературной деятельностью. На русском языке опубликован 4-томный «Архив полковника Хауза».

**Хафтан** (Kaftan) Юлиус (1848—1926), протестантский церковный деятель, теолог, профессор с 1874 г. в Базеле, с 1883 — в Берлине; член, с 1919 г. — вице-президент Евангелического Высшего совета, автор трудов «Философия протестантизма», «Церковь, право и теология», «Догматика» и др.



- Хейс** (Heuß) Теодор (1884–1963), немецкий государственный и политический деятель, писатель, публицист; изучал политическую экономию и историю искусств в Мюнхенском и Берлинском университетах. Президент ФРГ в 1949–1959 гг., депутат рейхстага в 1924–1928, 1930–1935 гг., один из основателей и председатель (1948–1949) Свободной демократической партии; его жена *Элли Хейс-Кнапп* (1881–1952), немецкий политический деятель, дочь Г.Ф. Кнаппа.
- Хензель** (Hensel) Пауль (1860–1930), немецкий философ, профессор с 1896 г., с 1898 – в Гейдельберге, друг Г. Риккерта, автор сочинений по философии религии, работы «Основные проблемы этики» (1903), книг о Руссо и Карлейле.
- Хобрехт** (Hobrecht) Артур Генрих Лудольф Джонсон (1824–1912), немецкий государственный и политический деятель, обер-бургомистр Берлина в 1873–1978 гг., прусский министр финансов в 1878–1879 гг., один из лидеров национал-либералов; его брат *Джеймс Фридрих Лудольф* (1825–1902), инженер-строитель, специалист по строительству железных дорог, линий метро, мостов, автор плана перестройки берлинских пригородов (1861), проекта канализационной системы Берлина, консультант при проектировании канализации в Москве (1881), разрабатывал проекты сточных систем 30 немецких городов, а также Токио, Каира, Александрии.
- Хонигсхейм** (Honigsheim) Пауль (1885–1963), американский социолог немецкого происхождения, в 1921–1933 гг. директор высшей школы в Кельне, профессор с 1927 г.; в 1933 г. эмигрировал в Швейцарию, затем в Париж, с 1938 г. в США. Автор работ по социологии культуры, искусства, музыки, религии, издававшихся на немецком и английском языках.
- Циммерманн** (Zimmermann) Артур, немецкий государственный деятель, дипломат, статс-секретарь по иностранным делам в ноябре 1916 – августе 1917 г.; «депеша Циммермана» – секретная инструкция посланнику Германии в Мексике, в которой предлагалось склонить Мексику к заключению военного союза против США, – была перехвачена английской разведкой, что послужило одним из поводов для вступления США в Первую мировую войну.
- Циттель** (Zittel) Карл (1802–1871), немецкий протестантский теолог, проповедник с 1834 г., с 1839 – в Гейдельберге, с 1848 – городской проповедник Гейдельберга, в 40–60-е годы редактор и издатель ряда газет и журналов, автор книги «Спор о вероисповедании в протестантской церкви» (1852) и других работ.
- Цицерон** Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель; раскрыл заговор Катилины, в 58–57 гг. в изгнании. Из сочинений сохранилось 58 судебных и политических речей, 19 трактатов по риторике, политике, философии и более 800 писем, которые неоднократно издавались на русском языке.
- Чемберлен** (Chamberlain) Хьюстон Стюарт (1855–1927), англо-немецкий писатель, родился в Великобритании, принял германское гражданство, писал на немецком языке, идеологические концепции нашли продолжение в нацизме. Главная работа – «Основы XIX века»; автор книг о Р. Вагнере, И. Канте. Имеются русские переводы.

- Ченнинг** (Channing) Уильям Эллери (1780–1842), американский теолог, унитарийский проповедник, автор работ о рабстве, о самообразовании, американской литературе; сочинения в 6 томах изданы в Бостоне в 1841–1843 гг., избранные проповеди – в 1872 г.
- Чинмабуэ** (Cimabue) Джованни (настоящее имя Ченни ди Пепо) (ок. 1240–ок. 1302), итальянский живописец, работал во Флоренции и Пизе, автор цикла фресок в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи.
- Чхеидзе** Николай Семенович (1864–1926), один из лидеров меньшевизма, депутат Государственной думы, председатель исполкома Петроградского совета в 1917 г., председатель Закавказского сейма (1918), Учредительного собрания Грузии в 1919 г., с 1921 г. в эмиграции; покончил жизнь самоубийством.
- Шак** (Schack) Адольф Фридрих, граф фон (1815–1894), немецкий писатель, поэт, переводчик, историк литературы и искусства, издатель, коллекционер произведений искусства, покровитель А. Бёклина. Автор «Истории литературы и искусства Испании» в 3 томах, переведенной на испанский язык. На основе его коллекции (прежде всего позднеромантического немецкого искусства) была открыта публичная галерея в Мюнхене (Schack-Galerie).
- Шамиссо** (Chamisso) Адельберт фон (настоящее имя Луи Шарль Аделаид де Шамиссо де Бонкур) (1781–1838), немецкий писатель, поэт-романтик, естествоиспытатель (отец с семьей бежал в Германию в 1790 г. от Французской революции), прусский офицер в 1798–1806 гг., в 1815–1818 гг. в качестве ботаника участвовал в русской кругосветной экспедиции, директор ботанического сада в Берлине, открыл явление метагенеза (чередование поколений) у салп (морские хордовые животные). Автор лирических стихотворений (на его стихи написан цикл «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана), повести-сказки, переводов П.Ж. Беранже, путевых очерков, научных трудов по географии растений и животных. На русском языке изданы повесть и избранные стихи.
- Шваб** (Schwab) Густав (1792–1850), немецкий поэт, автор баллад и романсов на сюжеты средневековой истории, популяризатор и издатель старинной немецкой литературы («Прекраснейшие сказания классической древности», 1838–40; «Собрание прекраснейших историй и преданий», 1836–37, «Немецкие народные книги», 1836). Один из первых издателей и биографов Ф. Гёльдерлина. Издавал с А. Шамиссо «Немецкий альманах муз» (с 1832).
- Шверин**, Шверин-Лёвиц (Scherin-Löwitz) (1847–1918), немецкий политический деятель, публицист, депутат рейхстага с 1893 г., председатель сельско-хозяйственного совета с 1901 г., президент рейхстага в 1910/11 г.
- Швинд** (Schwind) Мориц фон (1804–1871), немецко-австрийский живописец и график, представитель позднего романтизма, учился в Венской (с 1821) и Мюнхенской (с 1828) академиях художеств, работал в Германии и Австрии, автор жанровых картин, картин на темы немецких сказок и легенд, иллюстраций к сказкам, ему принадлежит роспись здания Венской оперы (1864–1867).

- Шеллхас** (Schellhass) Карл Иммануил (1862–?), немецкий историк, профессор, автор работ по истории внешней политики Германии XVI–XVII вв., контрреформации в Южной Германии и Австрии, историко-правовым вопросам, книги «Источники и исследования из итальянских архивов и библиотек» (1898).
- Шёнберг** (Schönberg) Густав Фридрих фон (1839–1908), немецкий экономист, профессор с 1869 г. Автор работ по социальной политике в Германии, финансовым проблемам, книги «Народное хозяйство современности» (1869), «Биржи труда» (1871), участвовал в создании неоднократно переиздававшегося «Словаря политической экономии», имеются русские переводы.
- Шефер** (Schäfer) Дитрих (1845–1929), немецкий историк, профессор с 1871, в Гейдельберге — с 1896 г. Автор исследований по истории Германии и Дании (продолжил работу Ф. Дальмана), издатель сборников документов. На русском языке опубликованы работы «История колоний», «Раздел мира между великими державами».
- Шефер** (Schäfer) Карл (1844–1908), немецкий архитектор, неоготик, реставратор, профессор в 1894–1907 гг., проектировал общественные здания, университетский корпус в Марбурге (1880), восстанавливал средневековые церкви, постройки Гейдельбергского замка; автор работ по истории строительного искусства, подготовил издание «Деревянная архитектура Германии XIV–XVII вв.»; его сын *Герман*, архитектор, погиб на фронте в 1914 г., жена Германа — *Лили*, сестра М. Вебера.
- Шеффлер** (Scheffler) Карл (1869–1951), немецкий искусствовед, издатель журнала «Kunst und Künstler» в 1906–1933 гг., автор работ «Дух готики» (1917), «Европейское искусство в XIX в.» (в 2 томах, 1926–1927), «Феномены искусства» (1952), автобиографии.
- Шлейермахер** (Schleiermacher) Фридрих Эрнст Даниэль (1768–1834), немецкий протестантский теолог, философ, общественный деятель, проповедник в 1794–1802 гг., профессор с 1804 г., в Берлинском университете — со дня его основания (1810), автор работ по философии, этике, эстетике; переводчик Платона. Издано собрание сочинений в 30 томах; имеются русские переводы.
- Шлоссер** (Schlosser) Фридрих Кристоф (1776–1861), немецкий историк, профессор с 1817 г., автор «Истории XVIII в.» (переработанный вариант: «История XVIII–XIX вв.» издавался 5 раз), 19-томной «Всемирной истории» (1843–1857, русский перевод 1861–69), переведены и другие работы.
- Шмид-Ноэрт** (Schmid-Noerr) Фридрих Альфред (1877–1969), немецкий писатель, с 1910 г. профессор философии и эстетики в Гейдельберге, с 1918 г. свободный писатель и частный преподаватель, автор лирических произведений, рассказов, романов, научных трудов по философии культуры, истории религии («История религии Ф.Г. Якоби». «Протестантская культура в немецкой духовной жизни XVIII–XIX вв.»; его жена *Клэр Шмид-Ромберг* — артистка.
- Шмидт** (Schmidt) Генрих Юлиан (1818–1886), немецкий журналист, критик, историк литературы, с Г. Фрейтагом издавал журнал «Grenzboten» (1848–1861), с 1861 г. сотрудничал во «Всеобщей берлинской газете»,

автор работ по истории немецкой, французской, английской литературы, политических очерков; издавались русские переводы.

**Шмоллер** (Schmoller) Густав фон (1838—1917), немецкий экономист, историк, государственный и общественный деятель, профессор с 1864 г., член прусского государственного совета с 1884 г., член Прусской академии наук с 1887 г., один из основателей (1872) и председатель (с 1890) Союза социальной политики, редактор (с 1881) журнала «Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reiche» (с 1913 — «Schmollers Jahrbuch») и серии исследований по общественно-политическим наукам и социальным наукам («Staats- und Sozialwissenschaftliche Forschungen», с 1878), издатель источников по истории Пруссии («Acta Borussica», с 1894). Ряд работ переведен на русский язык.

**Шпенглер** (Spengler) Освальд (1880—1936), немецкий философ, историк, теоретик культуры, публицист, в 1908—1911 г. преподаватель гимназии в Гамбурге, с 1911 г. — свободный писатель в Мюнхене; главная сфера интересов — философия культуры и философия истории; концепция культуры Шпенглера (учение о множественности равноценных по уровню культур, теория циклического развития) оказала большое влияние на историко-культурологическую мысль XX в. Основной труд «Закат Европы» и другие сочинения изданы на русском языке.

**Штаммлер** (Stammmler) Рудольф (1856—1938), немецкий юрист, теоретик права, экономист, философ-неокантианец, профессор с 1882 г., в 1916—1923 — в Берлине, утверждал первичность права по отношению к экономике и государству. Автор работ «Теория правоведения», «Право и власть», учебника философии права. На русском языке опубликованы книги «Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории», «Теория анархизма» (издавалась в различных переводах).

**Штейн** (Stein) Лоренц фон (1815—1890), немецкий юрист, экономист, социолог, преподаватель, профессор в Киле в 1846—1851, в Вене в 1855—1885 гг.; 2-томная «Система наук о государстве» дала толчок развитию социологии в Германии. Автор трудов «Государство и общество», «История социального движения во Франции», учебников, многочисленных работ по различным вопросам права, народного хозяйства, политической и общественной жизни, женскому вопросу. Имеются русские переводы.

**Штейн** (Stein) Шарлотта фон (урожденная Шардт) (1742—1827), в течение 12 лет близкий друг И.В. Гёте, автор трагедии «Дидо» (1794, опубликована в 1867 г.), изданы письма к ней Гёте 1776—1820 гг. (письма Штейн были уничтожены по ее просьбе).

**Штёккер** (Stoecker) Адольф (1835—1909), немецкий протестантский церковный деятель, политический деятель, придворный проповедник в 1874—1889 гг. в Берлине, депутат рейхстага в 1881—1893 и 1898 г., один из основателей Евангелическо-социального конгресса (1890), основатель церковно-социального союза в 1897 г.

**Штилер** (Stieler) Йозеф Карл (1781—1858), немецкий художник, учился в Германии, Австрии, Франции, долгое время жил в Италии, с

1816 г. — в Вене; придворный портретист (с 1820) баварского короля, автор портретов Бетховена (1819), Гёте (1828); в Эрмитаже представлен портрет Максимилиана Богарне (1821).

**Штраус** (Strauß) Давид Фридрих (1808—1874), немецкий теолог и философ-младогегельянец, историк, писатель, публицист. В 1876—1878 гг. издано собрание сочинений в 12 томах. Книги «Жизнь Иисуса», «Старая и новая вера», биография Вольтера и ряд других опубликованы на русском языке.

**Штраус** (Strauß) Рихард (1864—1949), немецкий композитор и дирижер, член Академии искусств в Берлине (1903), главный дирижер Берлинской оперы в 1898—1918, Венской оперы в 1919—1924 гг.; автор 14 опер (многие написаны в содружестве с Г. Гофмансталем), симфоний, инструментальных произведений и др.; симфонические поэмы «Дон Жуан», «Смерть и просветление» написаны в 1888 и 1889 г., опера «Саломея» (по трагедии О. Уайльда) в 1905 г. Один из организаторов Зальбургского фестиваля.

**Штуккен** (Stucken) Эдуард (1865—1936), немецкий писатель, поэт, драматург, по образованию египтолог и ассириолог, автор научных работ, стихов, рассказов, драматических циклов, эпического романа (о завоевании Мексики и гибели культуры индейцев).

**Штумм**, Штумм-Гальберг (Stumm) Карл Фердинанд, барон фон (с 1888) (1836—1901), немецкий предприниматель, политический деятель; превратил родительское предприятие в концерн, охватывающий железо- и сталелитейную и горнодобывающую промышленность в Саарской области и Лотарингии; депутат рейхстага в 1867—1881 и с 1889 г., имел влияние на Вильгельма II. Опубликованы речи в 12 томах (1906—15).

**Шульце-Геверниц** (Schulze-Gävernitz) Герхард (1864—1943), немецкий экономист, жил в Англии и России, в 1891—1892 гг. преподавал в Московском университете, профессор в Фрейбурге в 1893—1926 гг., испытывал влияние Л. Бретано, примыкал к исторической школе в политической экономии, его труды по экономике России и другие работы изданы на русском языке.

**Шурц** (Schurz) Карл (1829—1906), немецко-американский политический деятель, журналист, издатель, участник революции 1848—1849 гг., заочно приговорен к смертной казни, эмигрировал в Швейцарию, затем (1852) в США, сторонник А. Линкольна, участник гражданской войны в звании дивизионного генерала, сенатор при Гранте в 1867 г., министр внутренних дел в 1877—1881 гг.; издавал ряд газет в США, автор книги о Линкольне и других работ.

**Шюккинг** (Schücking) Вальтер Макс Адриан (1875—1935), немецкий юрист, профессор, преподаватель государственного права, с 1928 г. директор Института международного права в Кельнском университете, депутат рейхстага в 1920—1928 гг., с 1930 г. судья Международного суда; публиковал сборники документов по истории права и военной истории; автор работ по международным отношениям и внешней политике, книг «Культура и война» (1914), «Международные правовые гарантии» (1919).

- Эберт** (Ebert) Фридрих (Фриц) (1871—1925), германский государственный и политический деятель, один из лидеров Социал-демократической партии, депутат рейхстага с 1912 г., во время Ноябрьской революции 1918 г. принял от принца Макса Баденского пост рейхсканцлера, 10 ноября заключил тайное соглашение о введении в Берлин воинских частей; президент Германии с 1919 г.
- Эггерс** (Eggers) Фридрих (Фриц) (1819—1872), немецкий историк искусства, редактор, журналист, профессор Академии искусств в Берлине в 1863—1868 гг., основатель (1850) и руководитель (до 1958) журнала по искусству и истории искусства («Allgemeines Organ für Kunst und Kunstgeschichte»). Переписка с Т. Фонтане и письма Т. Шторма к Эггерсу опубликованы.
- Эгиди** (Ägidi) Людвиг Карл Джеймс (1825—1901), немецкий политический деятель, публицист, юрист, профессор права с 1857 г., с 1868 — в Бонне, с 1877 — в Берлине, один из основателей Национального союза, сотрудник ряда газет с 1861 г. издавал «Государственный архив» — собрание документов по современной истории.
- Эдуард VII** (1841—1910), король Великобритании с 1901 г., сын королевы Виктории, принимал деятельное участие в создании Антанты, безуспешно добивался отказа Австро-Венгрии от союза с Германией, вместе с тем вел переговоры с Вильгельмом II.
- Эйленбург** (Eulenburg) Франц (1867—1943), немецкий экономист, ученик Г. Шмоллера, профессор в Лейпциге с 1905 г., в Берлине — с 1921 г., автор трудов по теоретическим и социально-экономическим проблемам, вопросам внешней торговли, финансов, ценообразования, работ «Немецкая экономика в годы войны» (1915), «История Лейпцигского университета в XIX в.»; умер в гестапо.
- Эйснер** (Eisner) Курт (1867—1919), немецкий политический деятель, писатель, журналист, социал-демократ, член Социал-демократической партии Германии с 1898 г., редактор центрального органа СДПГ «Vorwärts» в 1898—1905 гг., с 1917 г. в Независимой социал-демократической партии; глава республиканского правительства Баварии в 1918—1919 гг., 21 февраля 1919 г. застрелен графом Арко-Валлеем, что стало поводом для провозглашения Баварской советской республики; на русский язык переведена книга о В. Либкнехте.
- Экк** (Eck) Эрнст Вильгельм Эберхард (1838—1901), немецкий юрист, автор работ по проблемам права наследования в современном римском праве и немецком гражданском кодексе, сравнительному изучению права собственности в римском и общем немецком праве, книги «Изучение и преподавание права в немецких университетах» (1893).
- Эрдманнсдёрфер** (Erdmannsdörffer) Бернхард (1833—1901), немецкий историк, профессор Берлинского (с 1871) и Гейдельбергского (с 1874) университетов, автор работ по истории Германии XVII—XVIII вв., книг о Мирабо (1900, дважды переиздавалась), Вильгельме I (1897).
- Эрнст** (Ernst) Пауль Карл Фридрих (1866—1933), немецкий писатель, драматург, эссеист, теоретик драмы, редактор, публицист, автор исторических романов и сборников новелл; дружил с Р. Демелем;

его жена (1916) *Эльзе* (Элизабет) фон Шорн, урожденная Апелът (1874–1946), писательница, переводчица.

**Эрибергер** (Erzberger) Маттиас (1875–1921), германский государственный и политический деятель, по профессии учитель, редактор газеты католической партии центра в 1896–1903 гг., депутат рейхстага с 1903 г., один из лидеров партии центра, член правительства Макса Баденского (октябрь–ноябрь 1918 г.), вице-канцлер и министр финансов в 1919–1920 гг., провел финансовую реформу; убит членами террористической организации «Консул». Мемуары переведены на русский язык.

**Ян** (Jahn) Фридрих Людвиг (1778–1852), немецкий общественный деятель, педагог, писатель, основатель немецкого патриотического спортивного движения, «отец гимнастики», организовал первую гимнастическую площадку в Берлине (1811), участник национально-освободительного движения, в войну 1813 г. командир батальона в составе корпуса А. Лютцова; автор книги «Немецкая система гимнастики» и других работ.

**Ясперс** (Jaspers) Карл (1883–1969), немецкий философ-экзистенциалист, психиатр, культуролог, доктор медицины с 1913 г., профессор психологии в Гейдельберге с 1916 г., профессор философии с 1921 г., в 1937 г. отстранен от преподавательской деятельности; на русском языке опубликованы работы «Истоки истории и ее цель», «Духовная ситуация времени», «Философская вера», «Философская автобиография», «Речь памяти Макса Вебера». Его жена (1910) *Гертруд* Майер (1879–1974), выпускница философского факультета.

**Яффё** (Jaffé) Эдгар (1866–1921), немецкий экономист, профессор с 1909 г., с 1910 г. — профессор Высшей торговой школы и университета в Мюнхене, автор работ по вопросам английской экономики, английской банковской системы, с 1904 г. вместе с М. Вебером и В. Зомбартом редактор «Архива социальных наук и социальной политики», редактор газеты «Europäische Staats- und Wirtschaftszeitung»; его жена *Эльза* фон *Рихтофен* (1874–1973), первая ученица М. Вебера; опубликован ее перевод с французского книги о внешней политике США.

# Указатель имен\*

Алдамс Джейн 251  
Аксельрод Павел Борисович 541  
Алексис Виллибальд 49  
Альтгоф Фридрих 147, 151, 177, 178, 360  
Альтман Самуэль Пауль, Альтман-Готтхейнер Элизабет 390  
Андреев Леонид Николаевич 320  
Андриан Леопольд 406  
Анзорге Конрад 414  
Ансееле Эдуард 238  
Аристофан 223  
Арко-Валлей Антон фон 552  
Арнсбергер Карл Филипп Фридрих 214

Байст Готфрид 182, 183  
Байсты 226  
Бакстер Ричард 297  
Бамбергер Людвиг 106  
Бар, Карл Людвиг и Акселена 99  
Барт Теодор 340  
Басерманн Эрнст 344  
Баум Мария 313  
Баумgarten Герман 26, 31, 67, 74–79, 87, 105, 107, 109, 113, 115, 146, 148, 576  
Баумgarten (урожд. Фалленштейн) Ида 26, 27, 32–34, 47, 56, 74–81, 85, 87, 89, 90, 115, 128, 129, 144, 161, 182, 198, 550, 576  
Баумgarten Отто 47, 64, 65, 74, 75, 79, 87, 90, 104, 115, 121, 123, 127, 131, 149, 170, 196, 550, 572, 576  
Баумgarten Фриц 47, 48, 55, 56, 59, 74, 181  
Баумgarten Эдуард 572  
Баумgarten (урожд. Фалленштейн) Эмилия 74, 75  
Баумgarten Эмми 87, 88, 133, 135, 137, 139, 144, 145, 149, 151, 162–165  
Баумgartены 65, 67, 181, 182, 226  
Бах Иоганн Себастьян 418  
Бибель Август 167, 344  
Безелер Георг 89  
Беккер Иммануил 62, 201, 202, 530  
Бёклин Арнольд 404  
Бёлау Елена 549

---

\* В ряде случаев приводятся страницы, где нет упоминания имени, а указаны родственные отношения (отец, жена и т.д.).

Инициалы (Г.С., К. и др.) раскрыты на основании указателя имен в немецком издании.



Бём Франц 230, 231  
 Бенекке (урожд. Фалленштейн) Эмилия 30 74, 550, 576  
 Бенекке Эрнст Вильгельм 74, 375, 550, 576  
 Бенекке, семья 67, 162  
 Беннингсен Рудольф фон 42, 105–108  
 Бенъян Джон 297  
 Бернсторф Иоганн Генрих фон 533, 534  
 Бетман, Бетман-Гольвег Теобальд фон 343/344, 462, 471, 474, 485, 491, 511, 533, 535, 572  
 Бетховен Людвиг ван 413, 418  
 Бибул Луций Кальпурний 54  
 Бидерман Густав 64, 68  
 Бисмарк Леопольд Отто фон Шёнгаузен 31, 42, 76, 77, 105–112, 117, 118, 120, 178, 194, 343, 396, 454, 481, 523, 524  
 Блауштейн 264  
 Блюхер Гебхард 508  
 Бодельшвинг Фридрих фон 121  
 Боймер Гертруда 313, 490, 507  
 Бокль Генри Томас 68  
 Бонус Артур 121  
 Браун Генрих 227, 241, 242  
 Браус Герман 434, 548  
 Брёгер Карл 490  
 Брентано Луйо 116, 199, 233, 295, 303, 339, 350, 507, 530, 532, 543, 546  
 Брокдорф-Ранцау Ульрих фон 537–539  
 Бруннер Генрих 89  
 Бюлов Бернхард фон 340, 342, 343, 491  
  
 Вагнер Адольф 116, 350, 351  
 Вагнер Рихард 150, 416, 418, 419  
 Валленштейн Альбрехт фон 576  
 Валленштейн Вильгельм фон 576  
 Ван Гог Винсент 416  
 Варбург Макс 537  
 Вашингтон Букер 257, 258  
 Вашингтон Джордж 258  
 Вебер Альфред 39, 42, 48, 58, 60, 90, 91, 93, 95, 131, 139, 221, 288, 289, 304, 310, 311, 345, 349–351, 526, 532  
 Вебер Анна 40  
 Вебер, Вебер-Шнитгер Анна 153, 154, 156  
 Вебер Артур 38, 44, 60, 131, 225, 427  
 Вебер Давид Христиан 29  
 Вебер Елена (урожд. Фалленштейн) 18, 22–25, 27–29, 32–34, 36, 38–41, 44, 47, 49, 55, 56, 58, 59, 67, 74, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 97, 98, 102, 121, 126–132, 134, 135, 137, 142–145, 150, 152, 157, 158, 161, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 181, 184, 198, 204–207, 211–213, 221, 222, 227, 230, 241, 244, 246, 305, 307, 308, 311, 313, 326, 327, 331, 368, 374–376, 388, 392, 404, 414, 417, 418, 421–427, 443, 469, 501, 505, 506, 511, 549–551, 566, 575  
 Вебер Елена (Эленхен) 40, 41, 428  
 Вебер Карл 39, 44, 131, 135–137, 426, 441–445  
 Вебер Карл Август 29, 310  
 Вебер Карл Давид 153–156  
 Вебер Клара (Меди) см. Моммзен Клара  
 Вебер Лили см. Шефер Л.

Вебер Макс-старший 26–29, 31–33, 37, 38, 40–42, 48, 59, 61, 78, 107, 129, 130, 153, 172, 178, 205–207  
 Вебер (урожд. Шнитгер) Марианна 7, 153–161, 164, 166, 167, 169, 172, 174, 175, 181, 182, 187–190, 192, 196, 203, 204, 210, 211, 213, 215, 218, 219, 222, 223, 226, 227, 230, 231, 234, 243, 244, 246, 247, 261, 262, 265, 301, 305, 310, 312, 317, 326, 327, 331, 366, 368, 375, 384, 387, 388, 392, 425, 427–429, 446, 502, 505, 534, 549, 551, 567, 574, 575  
 Веберы, Макс и Марианна 181, 182, 201, 207, 230, 312–314, 317, 318, 323, 333, 349, 375, 389, 392, 415, 432, 499, 566  
 Веберы, семья 35, 334  
 Вегенер Лео 215, 454  
 Венк Мартин 195, 196, 198  
 Вергилий Марон Публий 49, 50  
 Виктория, королева Великобритании 342  
 Виланд Кристоф Мартин 54  
 Вильгельм I, император (Вильгельм, принц-регент) 31, 49, 342, 343  
 Вильгельм II, император (Вильгельм, кронпринц) 107, 111, 112, 124, 337, 341, 477, 480, 489, 491, 513, 517, 519  
 Вильгельм, принц-регент см. Вильгельм I  
 Вильманс-Вебер Люси 29, 30  
 Вильсон Вудро 467, 510, 511, 513, 514, 521  
 Виндельбанд Вильгельм 270, 301, 304, 333  
 Виндшейд Бернхард 62  
 Винклер Йозеф 490  
 Вихерн Иоганн Хинрих 127  
 Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) 223  
 Вольф Гуго 414  
 Вольфскель Карл 381, 406  
 Вундт Вильгельм 271  
  
 Г. унд д. Л. см. Гейдебранд унд дер Лаза Э.  
 Г.С. см. Симон Г.  
 Гаазе Гуго 521  
 Гайдн Йозеф 413  
 Галлер Эрнст 223  
 Гаммерштейн Вильгельм фон 107  
 Гарнак Адольф фон 121, 252, 316, 419  
 Гартман Лудо Мориц 350, 470,  
 Гартман, жена Л.М. Гартмана 501  
 Гаупт 248  
 Гаусман Конрад 476, 485, 521  
 Гаусрат Август или Ганс 45  
 Гаусрат Адольф 63, 374, 375, 576  
 Гаусрат (урожд. Фалленштейн) Генриетта 63, 88, 374, 576  
 Гаусрат, семья 63  
 Гейдебранд унд дер Лаза Эрнст фон (Г. унд д. Л.) 344  
 Гейссер Людвиг 18  
 Гельдерлин Фридрих 381  
 Гельферих Карл 127, 462, 465  
 Ген Виктор 48  
 Георге Стефан 279, 378–385, 489, 419, 504  
 Гервег Георг 565  
 Гервей 247  
 Гервинус Виктория 24, 26, 395, 398

Гервинус Георг Готфрид 10, 18–20, 24–28, 76, 375, 576  
Гёре Пауль 121–124, 130, 148, 196, 198, 294, 458  
Геркнер Генрих 350  
Герлах Гельмут 341  
Геродот 50, 51  
Гертлинг Георг фон 510  
Гёте Иоганн Вольфганг 29, 47, 50, 139, 140, 269, 489  
Гиббон Эдуард 68  
Гильдебранд Адольф фон 415  
Гинденбург Пауль 471, 472, 475, 513, 533, 536, 540  
Гирке Отто 89, 186  
Гис Вильгельм 229  
Гнаук-Кюне Элизабет 195  
Гнейст Рудольф фон 89, 116  
Гоген Поль 416  
Гогенцоллерны 32, 76, 109, 343  
Гольдшейд Рудольф 401  
Гольдшмидт Левин 42, 104, 147, 166, 177, 375  
Гомер 25, 46, 49–51, 54, 55, 421  
Гораций Квинт Флакк 375  
Готейн Эберхард 301 312, 345, 349, 356, 378, 431, 548  
Готтль Фридрих фон 271, 272, 350, 378  
Готтхейнер Элизабет см. Альтман-Готтхейнер Э.  
Гофман Макс 504  
Гофмансталь Гуго фон 504  
Грабовски Адольф 490  
Гребер Юлиус 127  
Груле Ганс 312, 313, 376, 415, 573  
Грюневальд Маттиас 547  
Гундольф Фридрих 313, 376, 378, 380–382, 384, 385, 389, 390, 489, 504  
Гундольф Эрнст 410  
Густаф II Адольф, швед. король 576

Дальман Фридрих Кристоф 76  
Данте Алигьери 55, 213, 381  
Дега Эдгар 416  
Дейсманн Адольф 301  
Дельбрюк Ганс 195, 507, 512, 537, 538  
Демель Рихард 414, 490  
Дернбург Бернхард 455  
Джефферсон Томас 258  
Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) 236  
Дидерихс Ойген 490  
Дильтей Вильгельм 42, 270–272  
Дитерих Альбрехт 301  
Дове Альфред 99, 397  
Домашевски Альфред 301  
Достоевский Федор Михайлович 388  
Дриандер Эрнст фон 121  
Дриш Ганс 333  
Дун Фридрих 301  
Дункер Макс 76

**Екатерина Сиенская 419**

**Еллинек Георг 202, 226, 274, 301, 345, 394, 396**

**Жамм Франсис 574**

**Зальц Артур 313, 376, 572**

**Зальц Саша 572**

**Зеринг Макс 455**

**Зибек Пауль 290, 354, 368, 370**

**Зибель Генрих 42, 76**

**Зигхарт Рудольф 504**

**Зиммель Георг 223, 270—273, 303, 313, 349, 355, 356, 377, 385, 390**

**Зиммель Гертруда (псевд. Мария Луиза Энкендорф) 313, 385, 390, 570**

**Зоден Герман 121**

**Зомбарт Вернер 214, 233, 241, 242, 295, 313, 332, 350, 353, 355, 356, 490**

**Ибсен Генрик 547**

**Иеринг Рудольф 62, 500**

**Йолли Юлиус 76**

**К. см. Кар Г.**

**Кальвин Жан 297**

**Кампфмейер Ганс 490**

**Каниц Ганс фон 177**

**Кант Иммануил 45, 82, 83, 140**

**Канторович Герман 356**

**Капелле Эдуард фон 535**

**Капп Вольфганг 565, 566, 568**

**Капп Фридрих 42, 507**

**Каприви Лео фон 113**

**Кар Густав фон (К.) 567**

**Карлейль Томас 421**

**Каролинги, дин. 45, 404**

**Катилина Луций Сергей 51—53**

**Катон Марк Порций Старший 54, 576**

**Катулл Гай Валерий 54**

**Катценштейн Э. 515**

**Каутский Карл 532**

**Кафер Йорг 543, 573**

**Кей Эллен 315**

**Келли Флоренс 263**

**Керенский Александр Федорович 477**

**Кёрнер Теодор 9**

**Килиани 464**

**Кистяковский Богдан (Федор, Теодор) Александрович 286**

**Клара Ассизская 420, 495**

**Клебс Отто [Георг] 349**

**Кленау Пауль фон 382, 501**

**Клингер Макс 179, 181, 304**

**Кнапп Георг Фридрих 42, 116, 117, 350, 390, 396, 427**

**Книс Карл 63, 199, 202, 228, 243, 268, 285**

**Конрад Иоганнес 223, 248**

**Константин I Великий Флавий Валерий**

**Констанций Хлор Флавий Валерий 46**

Котта Иоганн Фридрих 47  
Кремер Герман 121  
Крёпелин Эмиль 289, 334  
Крис Иоганнес фон 183, 271, 273  
Кромвель Оливер 192, 297  
Кронер Рихард 490  
Крузиус Фридрих [Отто] 490, 521, 523, 577  
Крюгер Паулус 342  
Курбе Гюстав 404  
Курциус Эрнст 48  
Кюльман Рихард 510

Лагардель 401  
Ланге Фридрих Альберт 64  
Ландсберг Отто 229  
Ласк Эмиль 312, 333, 378, 441  
Ласкер Эдуард 106  
Лассон Адольф 333  
Лёвенштейн Карл 313  
Левин М. 515, 541  
Левине-Ниссен 541  
Лексис Вильгельм 176, 177  
Лессер (урожд. Кнапп) Марианна 390  
Лессер Эрнст 390  
Либкнехт Карл 520–522, 527  
Ливий Тит 49, 51  
Лист Ференц 414, 418  
Ллойд Джордж Дэвид 474, 475  
Лоренцетти Пьетро 420  
Лотмар Филипп 227  
Лотц Вальтер 104, 127, 530, 551  
Лотце Герман 64, 65  
Лукач Георг (Дьердь) 387, 388, 390, 406, 408  
Люден Генрих 9  
Людендорф Эрих 511, 513, 519, 522, 527, 533–536, 540, 568  
Людвик IX Святой 403  
Люксембург Роза 520, 527  
Лютер Мартин 45, 94, 297, 298  
Люттвиц Вальтер 568  
Лютцов Адольф фон 9

Мааг Отто 392  
Макиавелли Никколо 45  
Маккавеи 391  
Макс Баденский 511, 531–533  
Мане Эдуард 416  
Манлий (Маллий) Гай 52  
Маре Ганс фон 418  
Маркс Карл Генрих 276, 278, 279, 293  
Маркс Эрих 576  
Мартини Симоне 420  
Мауренбрехер Макс 198, 490, 491  
Мейер Эдуард 271  
Мейнеке Фридрих 490

Мейцен Август 104, 105  
 Мёллер, Карл и Герта (урожд. Вебер) 334  
 Менгер Антон 271  
 Мендельсон Феликс 414  
 Мендельсон-Бартольди Альбрехт 532, 537  
 Меровинги, дин. 45  
 Мертон Вильгельм 201  
 Метерлинк Морис 239, 379, 416, 469  
 Микель Иоганнес фон 42, 105, 107  
 Милуков Павел Николаевич 477  
 Михаэлис Георг 485  
 Михельс Роберт 304, 309, 313, 356, 400, 401  
 Михельсы, семья 401  
 Моисси Александр 501  
 Моло Вальтер фон 490  
 Мольтке Гельмут фон Младший 470  
 Моммзен Карл 127, 173  
 Моммзен (урожд. Вебер) Клара 44, 60, 91, 131, 150, 151, 173, 174, 421, 502, 550, 568  
 Моммзен Теодор 42, 48, 53, 89, 104, 105, 148, 173, 174, 277  
 Моммзен Эрнст 173, 421  
 Моммзены 421  
 Моне Клод 416  
 Монтгелас Макс фон 532, 537, 538  
 Монтескьё Шарль Луи де Секонда 223  
 Морель Эдмунд 531  
 Моцарт Вольфганг Амадей 414, 418, 546, 580, 581  
 Мюзам Эрих 515, 541  
 Мюллер Бруно 223, 335  
 Мюллер (урожд. Вебер) Вина 156, 170, 335, 337, 489, 505, 506  
 Мюллер, Георг и Карл 336  
 Мюнстерберг Гуго 182, 244, 263, 271, 272  
  
 Наполеон I Бонапарт 9, 18, 139  
 Нассе Эрвин 127  
 Натузиус Мартин фон 121  
 Науман Фридрих 122–125, 130, 175, 180, 193–198, 224, 241, 338–340, 344, 345, 350, 386, 387, 390, 455–457, 459, 471, 473, 477, 479, 507, 509, 512, 526  
 Неер Аерт ван дер 240  
 Нейман Карл 202, 226, 301  
 Нейрат Отто 541, 542, 554  
 Ницше Фридрих 278, 279, 315, 385  
 Ностиц Альфред фон 504  
  
 Олденбарневелт Ян ван 240  
 Онкен Герман 349, 507, 509  
 Онкены 349  
 Оссиан 46, 49, 54, 55  
 Отто Генрих, курфюрст 227  
 Оффенбах Жак 415  
  
 Паркер Теодор 33, 81  
 Паульсен Фридрих 167  
 Петроний Гай Арбитр 501

Платон 64  
 Пленер Эрнст 504  
 Помпей Гней Великий 54  
 Прейс Гуго 525, 526  
 Пфлейдерер Отто 64  
  
 Радбрух Густав 376  
 Радбрух Лина 378  
 Раде Мартин 121, 123, 124, 130, 196  
 Ранке Леопольд фон 63  
 Ратген Карл 214, 301, 350  
 Ратенау Вальтер 509, 537  
 Рахфаль Феликс 295  
 Рейнхардт Макс 414, 415  
 Рейсы, дин. 177  
 Рейтер Фриц 127, 421  
 Рембрандт Саския 237  
 Рембрандт Харменс ван Рейн 236, 237, 240  
 Ренуар Пьер Огюст 416  
 Ридль Рихард 504  
 Риккерт-отец Генрих 42, 106, 130  
 Риккерт-сын Генрих 181–183, 228, 270–272, 301, 310, 312, 346, 379  
 Риккерт, жена Г. Риккерта-старшего 130  
 Риккерт Софи 182  
 Риккеры 226  
 Риль Алоиз 182  
 Рильке Райнер Мария 7, 379–381  
 Рифф 55, 65  
 Рихтер Ойген 105  
 Рихтхофен Эльза фон см. Яффе Эльза  
 Роде Эрвин 396  
 Росс Колин 532  
 Ростгорн Артур 505  
 Ротенбюхер Карл 545  
 Рошер Вильгельм Георг Фридрих 63, 228, 243, 268, 271, 285  
 Руссо Жан Жак 223  
 Рюмелин Густав 238  
  
 Саллюстий Гай Крисп 49  
 Сезанн Поль 416  
 Селевкиды 391  
 Сервантес Сааведра Мигель 397  
 Симон Генрих (Г.С.) 346, 348  
 Симонс Вальтер 538  
 Систо Макс 238  
 Скотт Вальтер 49  
 Солсбери Роберт 478  
 Сомари Феликс 462  
 Спиноза Бенедикт 45, 140, 240  
 Стриндберг Юхан Август 414  
 Суше де ла Дюбуассьер, семья 13, 17, 18  
 Суше Карл Корнелий 13  
 Суше-Фалленштейн Эмилия 13–17, 19–21, 32, 35, 59, 566

Таулер Иоганн 380  
Тённис Фердинанд 333, 356, 490  
Тещель Иоганн 321  
Тирпиц Альфред фон 460, 462–464, 466, 474, 491, 507, 531, 535  
Тоблер Мина 312, 409, 414, 418  
Толлер Эрнст 490, 495, 541, 542, 546  
Толстой Лев Николаевич 84, 281, 328, 348, 388  
Тома Рихард 532  
Тревилян 531  
Трейчке Генрих 42, 48, 76, 89, 106, 109, 111, 277, 518  
Трёлч Эрнст 202, 227, 229, 244, 248, 290, 301, 312, 333, 356, 374, 376, 392, 507  
Троцкий Лев Давидович 509  
Тьер Адольф 523  
Тэн Ипполит 223

Уайльд Оскар 413  
Унгер Йозеф 397, 500  
Упгоф 490

Фалленштейн Генриетта см. Гаусрат Г.  
Фалленштейн Георг Фридрих 8–12, 14, 15, 17–20, 24, 48, 253, 258, 366, 373, 374  
Фалленштейн Елена см. Вебер Е.  
Фалленштейн Ида см. Баумгартен И.  
Фалленштейн Отто 12, 13  
Фалленштейн Эдуард 576  
Фалленштейн Элизабет (Бетти) 11, 15, 16  
Фалленштейн Эмилия см. Баумгартен Э.  
Фалленштейн Эмилия см. Бенекке Э.  
Фалленштейн Эмилия см. Суше-Фалленштейн Э.  
Фалленштейны, семья 8  
Фалленштейны, американские родственники: Бетти, Джеймс, Джефф (Джефферсон), Франц, Фриц 258–261  
Фейербах Ансельм 419  
Ферсгофен Вильгельм 490  
Филиппович Ойген фон 350, 353  
Фихте Иоганн Готлиб 83  
Фишер Куно 63, 201  
Форкенбек Макс фон 106  
Фосслер Карл 213, 229, 312, 333  
Франкенштейн Георг Арбогаст 106  
Франклин Бенджамин 296, 297, 299  
Франциск Ассизский 419, 420, 495, 574  
Фрейд Зигмунд 315–319, 321–323, 405  
Фрейтаг Густав 107  
Фридрих II Великий 150, 343  
Фридрих III 76, 107, 111, 304, 343  
Фридрих Вильгельм III  
Фризен Карл Фридрих 9

Хаген 127  
Хауз Эдуард 531  
Хафтан Юлиус 121  
Хейс Теодор 390, 490, 491  
Хейс-Кнапп Элли 390



Хендрике Стоффельс 237  
Хензель Пауль 202, 203, 226, 244, 248, 313  
Хобрехт, Артур и Джеймс 42, 427  
Хольцинг фон 532  
Хомейер 127  
Хонигсхейм Пауль 313, 378

Цезарь Гай Юлий 54  
Циммерманн Артур 459  
Циттель Карл 24  
Цицерон Марк Туллий 49, 51–53

Чемберлен Хьюстон Стюарт 437  
Ченнинг Уильям 33, 81–84, 88, 89  
Чимабуэ Джованни 420  
Чхеидзе Николай Семенович 477

Ш. см. Шееганс Г.  
Шак Адольф фон 419  
Шамиссо Адельберт фон 27  
Шваб Густав 404  
Шверин Ганс фон 177  
Швинд Мориц 419  
Шееганс Генрих (Ш.) 437  
Шекспир Уильям 412, 431  
Шеллхас Карл 223  
Шёнберг Густав 354, 368, 369  
Шефер Герман 227, 440  
Шефер Дитрих 226, 472  
Шефер Карл 227, 440, 443, 444  
Шефер (урожд. Вебер) Лили 38, 90, 149, 440, 441, 445, 446, 547, 566, 567  
Шеффлер Карл 490  
Шиллер Фридрих 139  
Шлейермахер Фридрих 64, 81  
Шлоссер Фридрих 18  
Шмид-Ноэрт Фридрих Альфред 312, 313  
Шмид-Ромберг Клэр 313  
Шмидт Юлиан 42, 427  
Шмоллер Густав фон 116, 243, 271, 350  
Шнитгер Марианна см. Вебер Марианна  
Шнитгер Эдуард 154, 170  
Шопен Фредерик 414  
Шопенгауэр Артур 45  
Шпенглер Освальд 553–555  
Штаммлер Рудольф 271, 310  
Штейн Лоренц фон 500  
Штейн Шарлотта фон 269  
Штёккер Адольф 107, 120–123, 127, 262  
Штилер Йозеф Карл 13  
Штраус Давид Фридрих 58, 64, 93, 94  
Штраус Рихард 413, 501  
Штуккен Эдуард 414  
Штумм Карл Фердинанд фон 194, 195, 199  
Шульце-Гевеверниц Герхард 179, 182, 341, 350, 356, 474, 512

Шунк Елена 13, 16  
Шунк, майор 13  
Шурц Карл 349  
Шюккинг Вальтер 532

Эберт Фриц 521  
Эггерс Фриц 427  
Эгиди Людвиг 42, 89  
Эдуард VII, король 337  
Эйленбург Франц 350, 456  
Эйснер Курт 520, 541, 552  
Экк Эрнст 151  
Энкендорф Мария Луиза, псевдоним Гертруды Зиммель, см.  
Эрдманнсдёрфер Бернхард 63, 201  
Эрнст Пауль 490, 554, 555  
Эрнст Эльзе 555  
Эрибергер Маттиас 484, 485, 521, 539

Ян Фридрих Людвиг 9, 11  
Ясперс Гертруда 313  
Ясперс Карл 313, 376, 468, 573  
Яффй Эдгар 211, 212, 312, 446, 490  
Яффй (урожд. Рихтгофен) Эльза 204, 215, 242, 312, 546, 569–573

# Содержание

Предварительное замечание .....	7
<i>Глава I. Предки .....</i>	<i>8</i>
<i>Глава II. Родительский дом и юность .....</i>	<i>35</i>
<i>Глава III. Студенчество и пребывание в армии .....</i>	<i>62</i>
<i>Глава IV. Первый успех .....</i>	<i>97</i>
<i>Глава V. Домашняя жизнь и развитие личности .....</i>	<i>126</i>
<i>Глава VI. Женитьба .....</i>	<i>153</i>
<i>Глава VII. Молодой преподаватель и политик .....</i>	<i>171</i>
<i>Глава VIII. Падение .....</i>	<i>201</i>
<i>Глава IX. Новая фаза .....</i>	<i>232</i>
<i>Глава X. Новая фаза продуктивности .....</i>	<i>266</i>
<i>Глава XI. Расширение деятельности .....</i>	<i>301</i>
<i>Глава XII. Деяния в миру и борьба .....</i>	<i>332</i>
<i>Глава XIII. Прекрасная жизнь .....</i>	<i>374</i>
<i>Глава XIV. Картины путешествий .....</i>	<i>399</i>
<i>Глава XV. Мать .....</i>	<i>421</i>
<i>Глава XVI. Служба .....</i>	<i>431</i>
<i>Глава XVII. Политик дореволюционного периода .....</i>	<i>452</i>
<i>Глава XVIII. Интермеццо .....</i>	<i>489</i>
<i>Глава XIX. Послереволюционный политик .....</i>	<i>507</i>
<i>Глава XX. Последняя .....</i>	<i>565</i>
Примечания .....	576
Примечания переводчика .....	577
Библиография трудов Макса Вебера. Редактор-составитель Е.Н.Балашова .....	582
Именной комментарий. Составитель Е.Н. Балашова .....	598
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова .....	644

**Марианна Вебер**  
**Жизнь и творчество Макса Вебера**

Корректор Е.Н. Балашова  
Компьютерная верстка В.Д. Лавреников

Лицензия ЛР № 066009 от 22.07.98

Подписано в печать 11.03.04

Гарнитура NewtonC. Формат 60х90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 41.

Уч.-изд. л. 39,4. Тираж 1500 экз. Зак. 1313

---

Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)

117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82

Тел.: 334-81-87 (дирекция)

Тел/факс: 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

## Жизнь и творчество Макса Вебера

Книга жены Макса Вебера представляет собой описание жизни Макса Вебера и формирования его как ученого и политика. Наибольший интерес вызывает публикация его писем к членам семьи и друзьям, в которых выражено его впечатление о разных странах и его отношение к различным событиям и политическим деятелям.

Главное достоинство книги заключается в том, что благодаря исключительной духовной близости к мужу и пониманию его натуры, Марианне Вебер удалось дать психологическую характеристику этого выдающегося мыслителя и замечательного человека. С этой стороны книга привлекает внимание тех, кто, занимаясь научным наследием Макса Вебера, проявляют интерес к его индивидуальности.